ЛЕРМОНТОВ





Виктор Афанасьев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК

719

Виктор Афанасьев

ЛЕРМОНТОВ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

ББК 83.3Р1
А 94

Рецензент
доктор филологических наук
В. А. КОШЕЛЕВ

Афанасьев В. В.
А 94 Лермонтов. — М.: Мол. гвардия, 1991. — 560 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 719).

ISBN 5-235-01518-5 (2-й з-д).

Новая биография М. Ю. Лермонтова — во многом оригинальное исследование жизни и творчества великого русского поэта. Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не бесспорные, но, безусловно, интересные авторские оценки лермонтовского наследия и суждения, не имеющие аналогов в практике отечественного лермонтоведения.

А $\frac{4702010201-159}{078(02)-91}$ 118—91 ББК 83.3Р1

ISBN 5-235-01518-5 (2-й з-д).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Осенью 1814 года в Москве было еще много погорелых мест, но уже белели и желтели свежими красками новые особняки. Всюду хрустела под колесами щепа. Бодрое, радостное чувство веяло в московском воздухе. Год был и в самом деле для России веселый — в марте пал Париж. Празднества, начавшиеся в Петербурге и Москве тою же весной, к осени стали еще веселее. Самыми желанными гостями на них были гвардейские офицеры, возвращавшиеся один за другим из Франции.

Только что вышедший в отставку министр юстиции (а для москвичей прежде всего поэт) Иван Иванович Дмитриев, как бы утверждая в Москве окончательный мир и покой, выстроил себе у Патриарших прудов, в тихом переулке, дом и заложил сад. На Дмитровке поселился историограф Николай Михайлович Карамзин — он упорно двигал вперед свой монументальный труд — «Историю государства Российского»...

Этой же осенью Василий Андреевич Жуковский, прославленный бард героев 1812 года — автор «Певца во стане русских воинов», — пережил крушение своих надежд на соединение с любимой им девушкой и поселился невдалеке от городка Белёва, в селе Долбине. Здесь, живя почти в одиночестве, совершая прогулки в полуоблетевшие осенние рощи, он сумел преодолеть «низкое уныние», овладевшее было его душой, и на этом жестоком изломе жизни окончательно выработал свою философию «жизни без счастия», но — жизни, полной труда. Долбинская осень была удивительной... Он наработал столько, что сам был поражен... «Жизнь без счастья кажется мне теперь чем-то священным, величественным», — писал он другу, Александру Ивановичу Тургеневу. Тургенев ему не возражал. В словах Жуковского — он это хорошо знал — была выстраданная глубина. «Обыкновенный»

человек мог, выслушав эти слова, только почтительно промолчать, чувствуя в них некую высшую правду, но не поступаясь своей: как же — человеку так свойственно искать себе счастья!..

В октябре 1814 года лицеист Александр Пушкин написал первый вариант своих «Воспоминаний в Царском Селе». Будучи простуженным, он находился тогда в лазарете. Здесь и прочитал товарищам «Пирующих студентов». Воспользовавшись ритмом и складом «Певца во стане русских воинов», Пушкин создал веселую кантату, где среди пирующих мелькнули многие из его друзей — Дельвиг, Пущин, Горчаков, а под конец возник, в весьма комическом виде, Кюхельбекер:

Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

Пройдут годы... Не за Жуковским повторит, а из глубины своей тоскующей души исторгнет Пушкин печальные строки:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег...

Не через Жуковского и не через Пушкина, а из смутной бездны его — еще детского — бытия придет это как бы сверхчеловеческое понимание жизни к Лермонтову. Он словно родится с ним. Счастье!.. Если грозно нараставшая и не получившая разрешения трагедия — счастье, то Лермонтов был, пожалуй, счастлив, и, может быть, *больше*, чем Пушкин или Жуковский.

Той осенью, в 1814 году, 3 октября, в Москве, а именно в ночь со второго на третье, в одном из домов на Садовой, напротив Красных ворот, в приходе патриаршей церкви Трех Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) в Огородниках, родился у супругов Лермонтовых — Юрия Петровича и Марии Михайловны — сын. Одиннадцатого числа мальчик был крещен и по настоянию бабушки его, которая стала и его крестной матерью, наречен Михаилом, в честь ее покойного супруга Михаила Васильевича Арсеньева, несмотря на то, что по традиции в роду Лермонтовых чередовались имена Юрия и Петра. Под крепкую оборону

небесного воителя — архистратига Михаила — отдала Елизавета Алексеевна своего внука и крестника.

То дождь, то мокрый снег ползли по стеклам окон. Молодая кормилица прикладывала младенца к груди. Фольга и краска поблескивали на иконах в свете лампад. Меч архангела одним своим видом устрашал демонов, таящихся во мраке... Младенец Михаил засыпал. И снилось ему не то море, не то небо — родная стихия. Она закачивала его до блаженства... Этот сон — или воспоминание — неожиданно прерывался — мальчику становилось душно, он плакал. И как ни слаб был его голос, к нему прислушивались пустынные улицы и снежные поля... Из дальней дали прилетал некий дух... Он склонялся над колыбелью, невидимый, с лирой, повешенной на шею по обычаю странствующих менестрелей. Может, была эта лира той, которая звучала в замке Эрлстоун над туманной рекой Твид, где певец, получивший в юности от царицы фей дар к сочинению песен и дар прорицания, пел на пирах. Его предсказания сбывались, и он стал славен среди шотландского народа. Так говорится в легендах о Томасе Лермóнте, авторе древнейшего варианта «Тристана и Изольды». Прошли годы, и в час, когда он этого не ждал, два белых оленя увели его в горы, и он исчез навсегда. Царица фей призвала своего должника, а должен он был ни много, ни мало — *душу* свою...

Рассеянный судьбою род Лермóнтов искал счастья по всему свету. Одна его ветвь оказалась в России. Царь Михаил Федорович указал выходцу из «Шкотской земли» Георгу Лермонту учить «рейтарскому строю» московских ратников и пожаловал его землями за Волгой, в Галичском уезде. К восьмому колену, когда и явился в этом роду младенец Михаил, Лермонты обрусели и стали Лермонтовыми, незнатными дворянами, почти совсем утратившими воспоминания о той земле, откуда вышли. К этому времени костромские земли они поменяли на тульские. Юрий Петрович Лермонтов, двадцатисемилетний капитан в отставке, был владельцем тульского села Кропотова.

Одетый в теплый халат, Юрий Петрович заходил в детскую, держа руки за спиной. Младенец Михаил его не узнавал. Другое дело мать, Мария Михайловна, хрупкая девятнадцатилетняя женщина с большими темными глазами. Когда она брала на руки сына, он замирал от восторга. Но как же это блаженство было всегда корот-

ко! «Отдай, отдай Мишеньку», — говорила бабушка не допускающим возражений тоном и отбирала младенца. Елизавета Алексеевна не спускала с него глаз. Нянька и кормилица не смели шагу ступить без ее указаний.

Снова наступала тишина ночи... Словно белые олени царицы фей, белела за окном лунная улица. Никто, кроме младенца Михаила, не слышал печального ропота струн... И не так, как всем, слышны были ему другие звуки, пронизывающие воздух от земли до Божьего престола, — говор меди, несущийся с московских колоколен. Изо дня в день будили эти колокола дремлющую душу младенца Михаила, полня ее чудесным и тревожным гулом... Вдалеке — Иван Великий; совсем близко — Три Святителя... Это говорила Россия.

2

Шел май 1825 года. Обоз двигался на юг уже около двух недель. Три большие кареты, пять-шесть телег, нагруженных и укрытых парусиной, запасные лошади, несколько верховых... Во время остановки на ночлег или на обед целая толпа людей выходила из карет, слезала с телег, разминала ноги. Барыни, девицы, барчата... А сколько дворовых, нянек, конюхов, поваров... Каждый знал свое дело и перед отъездом получил грозное наставление Елизаветы Алексеевны.

Где только не останавливался этот поезд — на почтовых станциях, постоялых дворах, в крестьянских избах, городских гостиницах и под открытым небом. Ночью ехать не рисковали. В дорогу пускались на рассвете. Ясная погода часто сменялась ненастьем. Раз днем их застигла буря с ливнем и непрестанным грохотом грома. Остановились. В карете были подняты окна. Тугие струи шипели и гремели сверху и с боков. Бабушка громко молилась в темноте. Когда все стихло и дверцы открылись, Миша соскочил на землю. Ветер нес последние обрывки туч.

Этот живой мальчик, сильный, коренастый, с непокорным светлым вихром в темных волосах, еще в Тарханах засматривался на облака. Они что-то говорили ему... Даже совсем маленьким — лет семи или восьми — он подходил ночью к окну и долго глядел на темные тучи, клубящиеся вокруг луны, набегающие на нее... Волшебница среди одетых в плащи рыцарей... И снова та же картина: ехал он в коляске с кем-то, вдруг — вот так же — гроза: налетела, отгромыхала, — снова прояснилось небо. Но клочок тучи, словно обрывок плаща, быстро мчался в синеве, уносимый ветром... Миша следил за этим клочком, словно чувствуя в нем какую-то тайну... Тайна, очевидно, была, потому как запомнилось ему это навсегда.

Он не заметил, как возле него оказались Миша Пожогин-Отрашкевич (его сверстник, двоюродный брат) и гувернер Жан Капэ. Этот худой, высокого роста человек — бывший офицер наполеоновской гвардии. Он попал в плен и осел в России, но навсегда сохранил любовь к своему низложенному императору. Капэ принялся рассказывать, что вот в такую же грозу, в Австрии... Француз чувствовал себя в походе прекрасно, по крайней мере всем так казалось. Ни пыль, ни тряска, ни жар как будто не действовали на него. Он был всегда в хорошо вычищенном сюртуке, выбрит и спокоен. Мальчикам он внушал, что они не должны чувствовать усталости. Их ждут гораздо более суровые испытания, когда они станут взрослыми, сделаются офицерами. Ведь непременно будут войны... А теперь — просто прогулка, отдых. Тебя везут, устраивают на ночлег, к твоим услугам куча лакеев, даже доктор. Пожалуй, и сам Бонапарт не имел в дороге таких благ.

Миша чувствовал правоту своего учителя. Он стал привыкать к новой жизни — к жизни в многодневном походе. Уставал и не жаловался. Сколько нового было в пути! Новое небо, новые леса и степи, незнакомые города. А ты сидишь и смотришь из окна кареты. Даже если не смотреть вокруг, а только вниз, прямо на дорогу, и там все новое и новое — песок, камешки, колдобины с грязью, резко вдавленные колеи, полугнилые бревна моста, а под ним бурьян и кустарник в овраге... огромные валуны... Дорога то ползет между сжавших ее холмов, то выходит в открытое поле. А можно посмотреть на все с неба! Подняться вдруг над землей, легко, как это бывает во сне. Далеко внизу, среди полей и рощ, белеет извилистый тракт, а по нему, словно жуки, ползут лошади и тащат повозки... Далеко ли они могут уползти, такие неуклюжие и маленькие? Впереди просторам конца не видно...

Дворецкий, отвечавший за порядок в пути, подъехал верхом к карете и заговорил с бабушкой через окно. Лермонтов смотрел на потемневший от дождя брезент, на заблестевшую упряжь, на верховых мужиков, сновав-

ших вдоль обоза, и в сердце его закипала радость, — да, это поход! Поход в новую жизнь, навстречу опасностям и приключениям. Ведь что бы ни говорил гувернер, а впереди — Кавказ. Там идет война, совершаются подвиги, гибнут люди... И недаром же сам Капэ и все мужчины обоза вооружены — среди вещей припрятаны пистолеты и ружья.

Чем дальше ехали, тем меньше вспоминались Мише Тарханы. Где теперь эти Тарханы! Так далеко, что, кажется, туда уже невозможно вернуться. А жизнь там шла шумная, веселая и даже буйная. Миша, в младенчестве перенесший несколько обыкновенных болезней, быстро окреп, стал шалуном и атаманом. Бабушка во всем ему потакала. Любит играть в войну? Так вот ему и куча «солдат» из крестьянских детей. Вот товарищи-сверстники, приглашенные из соседних имений жить в Тарханы. Вот лошадка живая. Катание на лодках. Походы в лес. Ледяные горы... Вот учителя — какие бы ни были, лишь бы занимали внука. Всякий день, а пуще всякий праздник — дым коромыслом, лишь бы Миша был весел. Ряженые... Качели... Дóма и на дворе Миша в окружении толпы, он задерган и заверчен в шуме и суете.

Бабушка с тревогой приглядывается к нему: вот как будто задумался, да грустно так. А вдруг спросит про отца — почему он редко бывает в Тарханах, почему не живет здесь? Вдруг начнет выспрашивать о матери — почему да как померла, да что было? Рано ему все это знать... Да не об отце ли он думает?!. «Миша, послушай, как девки хорошо поют!» — и ведет его в девичью. Девки знают, что надо петь веселое и плясать, чтобы барчук непременно развеселился. И ведь всегда добивались этого.

Он ничего не спрашивал. Но с какой радостью кидался к отцу в его редкие приезды, как льнул к нему! И как сокрушала эта сыновняя радость сердце Елизаветы Алексеевны! Любящее бабушкино сердце... Миша — один сын у Юрия Петровича. Но он же и единственный внук у бабушки.

Если бы не завещание Арсеньевой — забрал бы Юрий Петрович сына к себе, в Кропотово. Но связала она его этой бумагой, засвидетельствованной Пензенскою гражданскою палатой. «После дочери моей Марьи Михайловны, которая была в замужестве за корпуса капитаном Юрием Петровичем Лермантовым, — говорилось там, — остался в малолетстве законной ее сын, а мой родной внук Михайло Юрьевич Лермантов, к которому по свойственным чувствам имею неограниченную любовь и привязанность, как единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения, и желая его в сих юных годах воспитать при себе и приготовить на службу его императорского величества и сохранить должную честь, свойственную званию дворянина, а потому ныне сим вновь завещеваю и предоставляю по смерти моей ему, родному внуку моему Михайле Юрьевичу Лермантову, принадлежащее мне вышеописанное движимое и недвижимое имение... словом, все то, что мне принадлежит и впредь принадлежать будет, с тем, однако, ежели оной внук мой будет по жизнь мою до времени совершеннолетнего его возраста находиться при мне, на моем воспитании и попечении без всякого на то препятствия отца его, а моего зятя, равно и ближайших г. Лермантова родственников, и коим от меня его, внука моего, впредь не требовать до совершеннолетия его, со стороны же своей я обеспечиваю отца и родственников в определении его, внука моего, на службу его императорского величества и содержании его в оной соответственно моему состоянию, ожидая, что попечения мои сохранят не только должное почтение, но и полное уважение к родителю его и к чести его фамилии... если же отец внука моего истребовает, чем, не скрывая чувств моих, нанесут мне величайшее оскорбление, то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю по смерти моей уже не ему, внуку моему Михайле Юрьевичу Лермантову, но в род мой Столыпиных, и тем самым отдаляю означенного внука моего от всякого участия в остающемся после смерти моей имении».

Все или ничего! «Неограниченная любовь» бабушки не признает половинчатых решений... Что было делать Юрию Петровичу? Лишить сына всех этих бабкиных благ? А что скажет сын, достигнув совершеннолетия? И, может быть, не выучившись как следует и не попав ни в гвардию, ни в достойную статскую службу? Он-то, Юрий Петрович, едва сводит концы с концами, содержа себя, матушку Анну Васильевну и трех незамужних сестер-бесприданниц. Оскорблен был и унижен Юрий Петрович этим духовным завещанием Арсеньевой, но ради сына, ради его будущего, проглотил обиду, умолк. Человек он был гордый и потому страдал отчаянно, замкнув-

шись в себе, и даже начал приметно чахнуть. Он понимал, что Арсеньева нанесла ему сокрушительный удар, на который нет возможности ответить, но понимал также, что сделала она это из любви к внуку — его сыну.

Арсеньева же, добившись своего, не получила полного покоя. Внуку-то, Мише, что за дело до завещания? Что за дело ребенку до видов на будущее? И ведь не втолкуешь ему ничего. С ребенком об этих делах говорить не полагается. А потом? Потом он и завещание прочтет, и по-своему все обдумает. Неизвестно еще — как решит. Так пусть сейчас видит доброту бабки своей и что все в Тарханах для него. Пусть видит житье безмятежное.

Елизавета Алексеевна была бережлива. И не богата. Но, зная, что Мишу скоро придется отдать в учение в Москву или Петербург, решила сделать ему подарок, очень щедрый подарок — поездку на Горячие воды, очень дорогую, на целое лето. Лечить там ей было некого, все были здоровы. Миша тоже. На Горячих водах имела дом ее сестра Екатерина Алексеевна, в замужестве Хастатова, владевшая имением Шелкозаводское на Тереке, нередко подвергавшимся нападениям горцев, — «авангардная помещица», как ее звали почти не в шутку.

По зову Арсеньевой в Горячеводск съезжались многие из ее родных — дочь Хастатовой Мария Акимовна с детьми и мужем, отставным штабс-капитаном Павлом Петровичем Шан-Гиреем, и другая дочь ее — Анна Акимовна, тоже с детьми и мужем — Павлом Ивановичем Петровым, подполковником, командиром Моздокского казачьего полка. Вместе с Арсеньевой ехал ее брат Александр Алексеевич Столыпин — бывший адъютант Суворова — с женой Екатериной Александровной и дочерьми. Таким образом, Миша должен был попасть в среду бабушкиных родственников. Только Миша Пожогин-Отрашкевич, сын тетки Лермонтова Авдотьи Петровны, с шести лет живший в Тарханах, был в этой поездке представителем отцовской родни. Это путешествие должно было поднять авторитет бабки перед внуком на небывалую высоту.

И вот обоз в пути.

Почтовые тройки обдают его пылью и исчезают. Вообще же тракт пустынен — можно часами ехать и не встретить никого, кроме кучки бедных пешеходов с котомками или тяжелой телеги, запряженной волами, которых погоняет идущий рядом хохол в белой рубахе. Вокруг уже украинские степи. Среди тополей белеют крестьянские мазанки. Обоз подвигается быстро — после

Воронежа верст на четыреста тянется отлично шоссированная дорога.

В Новочеркасск въехали ночью. Побывали в соборе и ничего в городе больше не видели. Утром, часов в семь, уже были в пути. Равнина, покрытая свежей зеленью, сбегала вниз. Вдали поблескивали на солнце широко, верст на десять, разлившиеся воды Дона. Через несколько часов обоз Арсеньевой достиг станицы Аксайской. Здесь, у слияния Дона и Аксая, а также двух больших трактов (второй из Киева) был перевоз.

На берегу — множество народа, возы, бочки, скот, лошади... Шум, крик... На воде суда с распущенными парусами. Казаки, отплывавшие в барке, стреляли в воздух. Недолго задержался на берегу и обоз из Тархан — добротные барки при помощи парусов и попутного ветра в полчаса доставили его на другую сторону. При безветрии бурлакам пришлось бы потрудиться, таща барки бичевой вдоль берега верст восемь до узкого места. Вода была тиха и чиста. Все было бы превосходно, если б не тучи комаров да не дорогая плата за перевоз — по пятнадцати рублей за повозку. Попытка бабушки поторговаться не удалась.

Затем остановились в Ставрополе. Елизавета Алексеевна была довольна — внук счастлив и здоров. Дорога его очень развлекает. Он жаждет увидеть горы, величественный Эльбрус и настоящих горцев. В Ставрополе Миша улегся спать с надеждой, что утром им дадут казачий конвой, а может быть, и пушку, — кто-то рассказывал, что между Ставрополем и Горячеводском неспокойно, внезапно появляются конные черкесы. «А у нас с Мишей, — успел подумать он, засыпая, — нет никакого оружия! Ничего, мы попросим у казаков».

Утром замешкались, не поспели к заставе, — несколько семейств под охраной отряда казаков, полуроты солдат и одной пушки уже отправились к водам... Но двадцать казаков ехали в Георгиевск. Они присоединились к мирному обозу Арсеньевой, — загорелые, в папахах и черкесках, с ружьями в нага́лищах (бурочных чехлах), — совсем как горцы. Вид их был столь воинствен, что Арсеньева совершенно успокоилась: с такой охраной нечего бояться. Тем более, что через каждые три-четыре версты, на высотах, помещались казачьи пикеты, зорко осматривающие пустынную местность. Казаки были молоды, медленная езда скоро им надоела, и они время от времени принимались джигитовать, так что для путников полу-

чилось целое представление. Как разгорелись глаза у Миши Лермонтова! Он дал себе клятву научиться скакать не хуже этих казаков.

На подъезде к крепости Александровской вдруг открылось все Пятигорье. Сначала повитый голубой дымкой Бештау, а за ним, словно облачка, забелели вершины Большого Кавказа. Там угадывался легкий очерк двуглавого Эльбруса, — он то скрывался за горами и скалами, то возникал снова. Миша Лермонтов и Миша Пожогин-Отрашкевич уселись на козлах возле кучера, и уже никак их оттуда нельзя было согнать. А после Георгиевска им опять разрешили ехать верхом.

Через несколько часов езды достигли казачьего поста у Лысой горы. Тут, на возвышении, находились избушка, окруженная плетнем, и крытая вышка на четырех столбах, с которой казаки, сменяя друг друга, оглядывали далеко видимую безлесную равнину, замкнутую амфитеатром гор. Горячеводск был совсем рядом. Казак показал нагайкой вперед — там возвышался конический, поросший лесом Машук, скрывающий дома Горячеводска. Правее широко растянулся Бештау, вздымая к облакам несколько скалистых вершин. Еще правее — Железная, Развалка и Змеиная горы. Под Змеиной поблескивала река Кума.

3

Уже наступил июнь, а холодные ветры все продолжали дуть, нагоняя дождевые тучи. Мутный Подкумок мчался и гремел по долине. Городок — всего в несколько десятков домов — наполнялся приезжими, желающими лечиться минеральными водами.

На Горячей горе — отроге Машука — белеет украшенная колоннами галерея Ермоловских ванн. Выше — деревянный домик Александровских, к которому нужно подниматься по вырубленным в горе ступеням. Еще несколько купален расположено в простых мазанках и калмыцких кибитках. Горячая гора, вся в известковых потеках, дымится от бегущих по ней серных ручейков.

Позади ванн поднимается крутыми лесистыми склонами Машук. На одной из открытых площадок его — казачий дозорный пост. От подошвы Машука начинается Главная улица, пересеченная несколькими переулками. Дома почти все из тонкого леса, оштукатуренные и выбеленные, с камышовыми крышами. Несколько казенных зданий только строится — солдаты пилят мягкий тра-

вертин здесь же, на Машуке. Городок охраняется егерями и казаками; у въезда — две пушки... В сторону Бештау протянулась солдатская слобода, на краю которой затерялась маленькая, отслужившая свое Константиногорская крепость.

Неприятеля нигде не видно. Далекие горы молчат, в степи только изредка проскачет конный казак. Но в воздухе висит тревога и велит быть начеку. Казбек и Эльбрус, многочисленные степные курганы, широко разлившееся серебристое око озера Тамбукан.

Вообще взрослым, а гувернеру-французу в особенности, все кажется четко-определенным. И в этом городе для них нет ничего таинственного: здесь люди лечатся от болезней, а казаки и солдаты охраняют их от еще не покоренных горцев... Но почему же в этом городе больше торговцев, чем больных? И почему они такие разные... Купцы из разных краев везут сюда все, что имеет хоть какую-нибудь цену. В городе столько магазинов, лавок, палаток и навесов для торговли, что он похож на сплошной базар. Но и базар тут есть. Он — возле солдатской слободы. Небольшая площадь уставлена телегами и арбами. Шум стоит страшный: гортанный говор, крик, стук. Блеют овцы, ревет верблюд... Хлопают крыльями извлекаемые из корзин куры, которыми торгуют черкесы, приехавшие из ближних аулов. Немцы-колонисты продают хлеб, молоко, масло. Тут увидишь и еврея с пейсами и в лапсердаке, и калмыка в халате и сапогах с загнутыми носками, и грузина в остроконечной бараньей шапке и чухе с откидными рукавами. Среди толпы горделиво проезжают невозмутимо-суровые наездники в папахах. Какие под ними кони! Тонконогие, прекрасные, их шаг — словно медленный танец. Гремят бубны, верещат какие-то дудки. Разве есть во всем этом что-нибудь обыкновенное?

Однажды Миша шел с бабушкой по Главной улице, и навстречу им попалась гадальщица-грузинка, босая старуха в длинном черном платье, закутанная в шаль так, что видны были только глаза да орлиный нос. От пронзительного взгляда старухи у мальчика перехватило дыхание, и он чуть не упал в обморок. Миша не слыхал, как она попросила у бабушки позволения погадать, обещая предсказать будущее внука, и что на это ответила бабушка. И только когда гадальщица исчезла, Миша узнал, что она предрекла ему, сказав, что будет он великим человеком и дважды женатым... Второе он близко к сердцу не принял, а первое... Он не согласился с бабушкой, ко-

торая предположила, что Миша сделается известным генералом и будет в большом почете у государя. В этом он не увидел ничего необыкновенного и стал думать, чувствуя, что со временем и эта тайна ему откроется.

В погожие дни все огромное семейство — Хастатова с дочерьми, их мужьями и детьми, Столыпины, Миша с бабушкой, Миша Пожогин-Отрашкевич, старая уже Мишина бонна Христина Осиповна Ремер, несколько гувернеров и гувернанток и врач Ансельм Леви отправлялись в открытых колясках и верхом в окрестности Горячеводска. Однако дальше постоянных охранных постов заезжать было нельзя. В среду и воскресенье давался общий конвой для всех желающих ехать на Железные воды, а в остальные — на Кислые.

Дорога на Кислые воды была самой интересной. Она шла на юг, постепенно все выше забираясь в горы. От Сентуков путешественников сопровождал целый отряд из пятидесяти солдат и тридцати конных казаков, которому придана была еще и пушка. Все это двигалось шагом между нависающих скал и близко подступающих к дороге гор. Подкумок неумолчно шумел по камням. Гладкая дорога то забиралась наверх, то спускалась к реке.

На Кислых водах у Хастатовой также был свой дом, точно такой же, как на Горячих. Конечно, мало походили на прогулки эти вылазки под конвоем, но постоянная возможность попасть в плен к абрекам воспламеняла воображение мальчика. В том, что он из этого плена убежит, он был уверен.

В один из июньских дней Миша после обыкновенной прогулки на Машук, запыхавшийся и оживленный, вошел в гостиную, где сидели его кузины. Окна были открыты, и занавеси раздувало свежим ветерком. Мария Акимовна Шан-Гирей, которой тогда было двадцать семь лет, читала вслух книгу. Миша стал слушать.

Это были стихи о Кавказе. С первых же строк Мише стало казаться, что они словно раскрывают ему тайну гор... Он дослушал их до конца и не сразу заметил, что поэма кончилась, что Мария Акимовна умолкла, а девочки занялись своими куклами. Но стихи продолжали звучать в его душе. Вызванное ими волнение не проходило. Мише казалось, что он как-то причастен к этому волшебству — к этим стихам. Не обращая внимания на девочек, он подошел к Марии Акимовне и попросил книгу. Через мгновение он был в саду, в дальнем его уголке.

Книга открывалась портретом мальчика, который, подперев щеку рукой, задумчиво смотрел в сторону. Он был курчав, толстогуб, через плечо у него был переброшен плащ. «Издатели присовокупляют портрет автора в молодости с него рисованный, — говорилось в объяснении к портрету. — Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным».

Миша перечитал поэму. Читая, он поминутно возвращался к портрету, жадно впиваясь глазами в черты человека с «необыкновенным даром». Этот человек здесь был. Вот он вспоминает «пасмурный Бешту» и «его кремнистые вершины». Он был здесь с другом, с которым «сердцем отдыхал», «делил души младые впечатленья». Странно было, оторвавшись от книги, видеть наяву эти самые «кремнистые вершины»...

Кудрявый «автор» угадал тайну снежных гор. Он понял, что там таится «дикий гений вдохновенья»... Дикий!.. И он сумел вызвать этот гений, заставить служить себе.

История пленника и черкешенки необыкновенно увлекательна. Какие страдания! Какая любовь! И все это в горах, в черкесском ауле, на берегах горной реки. Как живо Лермонтов представил себе пленника, вынужденного пасти черкесских овец, когда он смотрел утром «на отдаленные громады седых, румяных, синих гор»:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.

Буря в горах... Разнообразный быт черкесов... Их схватки с казаками... Какие картины! Они так и будут теперь стоять перед глазами. А свидания пленника и великодушной черкешенки — эти таинственные ночи, шепот, опасность быть замеченными... С бьющимся сердцем Миша читал:

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась...

Шли дни. Миша не расставался с книгой. Но сколько бы раз он ни перечитывал поэму — ее конец ужасал его: прекрасная черкешенка не вынесла разлуки с русским.

Она бросилась в реку. Погибла... Миша всей душой понимал, с какими чувствами пленник, переплывший реку, возвращался домой, хотя автор повествует об этом по видимости спокойно.

Миша снова и снова взбирается по тропе на Машук. Вот и казачий пикет. Еще бы повыше, хоть немного... Эльбрус виден хорошо лишь утром, когда солнце, встающее из-за Машука, высвечивает его снега. Днем его едва видно, а часто он и вовсе закрыт облаками.

Это было действительно чудо — прочесть «Кавказского пленника» там, где он был задуман, и тем самым слить поэзию с природой. Нет, из этого должно выйти что-то такое, что перевернет или сожжет всю душу! Должно... Но он не мог предвидеть того, что произошло вскоре.

Как-то он вбежал в комнату и увидел незнакомую девочку, которая играла в куклы с одной из его кузин. Девочка эта, белокурая, с быстрым взглядом голубых глаз, внимательно посмотрела на него и отвернулась. Они продолжали игру. Миша их больше не интересовал. А он, слушая их говор и смех, прислонился к косяку, не в силах ни войти в комнату, ни сказать что-нибудь.

В смятении выбежал он из дома, не понимая, что с ним сделалось. В глазах стояли белокурые волосы, чистый, прекрасный лоб и голубой — небесной голубизны — взгляд. Миша повернул назад и подошел к дверям — ему хотелось сейчас же снова увидеть эти глаза. Вот уже слышны голоса девочек... Неожиданно для себя он заплакал. Вдруг отворилась другая дверь, и появилась бабушка. Не замечая в сумраке коридора его слез, сказала:

— Миша, поди к девочкам. Там... — Она назвала имя маленькой гостьи...

— Нет! — быстро ответил он. — Нет. Я иду в сад.

И вот он в саду. Один. «Кавказский пленник» с ним. Он не знает, что происходит, но чувствует, что все это тесно сплетено и не может существовать друг без друга — девочка с голубыми глазами, его слезы, поэма о Кавказе, приглушенные звуки зурны и бубна, доносящиеся с улицы, и далекая цепь снежных гор...

«И неужели все это пропадет, когда я отсюда уеду?» — думал он. Отъезд начал его пугать. Слава богу, что он еще не так близок... Он открывал книгу и читал наугад, что попадется:

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,

И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз;
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь...

Миша повторял, задумавшись: «Небесный пламень упоенья...» Вот как называется то, что у него сейчас на душе! Других слов найти нельзя.

Старшие кузины — сообразительные девицы — быстро заметили Мишину любовь. Он не мог скрыть волнения при виде голубоглазой гостьи. Никогда к ней не подходил. Убегал, когда с ним заговаривали о ней. Дичился ее и не мог заставить себя войти в комнату, где была она. А уж когда стали над ним посмеиваться, когда стали нарочно его поддразнивать, — он возмутился, но молча и стал избегать всех.

Так вместе с любовью стало расти в нем чувство одиночества, раньше совсем ему неизвестное.

Случалось, девочка не приходила в дом Хастатовой по нескольку дней. Это было пыткой для Миши. Ему нужно было хоть на миг, хоть издали, но увидеть ее. Он страдал и еле сдерживал слезы. Прятался ото всех, когда было невмоготу, чтобы выплакаться в одиночестве. Но «тайный глас души» — эти прекрасные слова нашлись в поэме — не достигал цели — ее сердца.

Он отбился от кузин, которые почти все приходились ему тетками, и стал проводить время с Марией Акимовной Шан-Гирей и ее детьми — Акимом шести и Катенькой двух лет. Мария Акимовна, красивая смуглая женщина с живыми черными глазами и тонкой талией, казалась Мише горянкой. Да и родилась она на Кавказе, на Тереке, с детства привыкла к горам. Мать ее была сестрой Мишиной бабушке, а отец — генерал, армянин — давно умер. Муж, Павел Петрович — офицер, немало повоевавший с горцами на Тереке и Кубани. Он тоже походил на горца — опаленный солнцем, одетый по-черкесски. Свою службу он начал в 16-м Егерском полку, стоявшем пятнадцать лет назад возле Горячеводска, в Константиногорской крепости, откуда полк выходил на усмирение «хищников», как называли тогда воюющих горцев.

Из рассказанных им историй особенно любопытна была одна — о разорении «разбойничьего» коша (кош — пастушья стоянка с временным жильем и загонами для

скота) возле Бештау. Этот кош устроил кабардинский князь Измаил Атажуков, который служил в русской армии, воевал под командой Суворова и достиг чина полковника. Атажуков, посланный в Кабарду для того, чтобы уговорить соотечественников не сопротивляться русским, стал подстрекать их к восстанию. В кош стеклось уже много кабардинцев, ответивших на его призыв, но тут были двинуты против них русские полки. Вспыхнули аулы, которых тогда немало было в окрестностях Машука и Бештау.

А Миша вспоминал:

Всё русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!..

У Марии Акимовны был альбом. Небольшой, изящный, в переплете красного сафьяна, с серебряной накладкой на нем и замочком в виде бабочки, тоже из серебра. Он лежал на столике в комнате Шан-Гиреев, поблескивая темной позолотой обреза. Его разрешалось смотреть всем.

Этот альбом Мария Акимовна завела в Петербурге, где училась в Институте для благородных девиц. На плотных разноцветных листах — записи институтских подруг, родственников, друзей. Вот запись бабушки — Елизаветы Алексеевны, которая желает «Милой Машеньке» здоровья. Вот стихотворение Павла Ивановича Петрова, мужа сестры Марии Акимовны. Различные записи в стихах и прозе, внесенные Столыпиными. Рисунки...

Вроде бы альбом как альбом — Миша уже видел подобные. Но этот оказался совсем особенным. Едва он прикоснулся к нему, как вдруг повеяло чем-то глубоко родным. Мария Акимовна показала ему записи его матери, своей двоюродной сестры, Марии Михайловны Лермонтовой, сделанные в Москве. Первые из них — в 1814 году, написанные, видимо, еще до появления сына на свет. Мария Акимовна приехала из Петербурга, не окончив института (года за три перед тем в том же институте училась и Мария Михайловна).

Лермонтов впервые увидел эти строки и был поражен несказанно (уж такое это было лето — полное потрясений!): это ведь были стихи! В том, что все эти сочи-

нения принадлежали ей, не было и сомнений... Он уже читал по-французски, поэтому легко прочитал ее французские стихи. Они все — о дружбе, о душе, о высоких чувствах... К концу каждой строки тонко и быстро выведенные ею буквы делаются все мельче, почти исчезая... Многие из этих стихотворений обращены к Марии Акимовне. Ей же посвящено русское четверостишие, подписанное «М. Лермонтова»:

В разлуке сердце унывает,
Надежда ж бедному твердит:
На время рок нас разлучает,
На веки дружба съединит.

Но вот одно совсем необыкновенное, похожее на грустную народную песню, с названием красивым и непонятным: «Элегия».

О злодей, злодей... чужая сторона!
Разлучила с другом милым ты меня,
Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей,
Как туманы в осень солнышко мрачат;
Но с любовью ты не можешь разлучить,
Она в сердце глубоко живет моем,
С ней расстанусь разве только лишь тогда,
Как опустят в мать сыру землю меня.
Для того ль, мой друг, свыкались мы с тобой,
Для того ль я сердцу радость дал вкусить,
Чтобы бедное изныло от тоски
Так, как былие без дождичка в степи.
Ах, я видел, как ручей катил струи
По долине меж цветущих берегов;
Вдруг повеял ветер буйный с стороны,
Отделилася потоком полоса,
Понесло ее по камням вниз горы,
Раздробилася на мелкие брызги
И иссохла, удаляясь от ручья.
Видно, участь ждет подобная меня,
Так изноет сердце в горести, в тоске,
Живучи без милой в дальней стороне.

И это подписано «М. Лермонтова».

Ночью Миша долго не спал, думал о матери, припоминал ее стихи. Мария Акимовна говорила, что у нее было много таких песен и все они были печальными... Потом Миша заснул. И ему приснилась мать — лица ее видно не было, только смутно белело платье... Она пела. Грустна была протяжная мелодия... Резко проснувшись, Миша сел на постели. Щеки его были мокры. Боясь пошевелиться, он напряженно вслушивался в свою память.

Вот! Вспомнил!.. Эту, эту песню певала ему мать. Всей душой приник он к этой песне и таял, исчезал вместе с ней в ночи... Такого блаженства он еще не испытывал никогда...

А утром... Ходил хмурый, молчаливый — то, что вспомнил ночью, снова ушло, забылось! И как же это было для него мучительно. Единственное живое воспоминание о матери ускользало. Однако, как он чувствовал, не совсем, не навсегда, — случайной искры может быть достаточно, чтобы это вернулось.

Миша рассказал о приснившейся песне Марии Акимовне, «тетеньке», как стал ее теперь называть. После этого разговора они словно заключили союз в память Мишиной матери.

Бабушка заметила эту дружбу и пришла в самое хорошее расположение духа — впервые за много лет. Да, стоило, нужно было ехать на Кавказ! Вот оно! Свершилось благое дело! Не кто-нибудь, а бабушкина любимая племянница заменит Мише покойную мать. Будет он при ней и при бабушке. И не до отца будет ему, и не покинет он их. Покоен, счастлив будет.

И тут Елизавета Алексеевна стала думать, как сделать, чтобы им почаще быть вместе — внуку и племяннице. Ездить на Кавказ — не наездишься, разорение... Машенька тоже не сумеет часто бывать в Тарханах. Но вот придумался план. Нужно, решила она, перетащить семью Шан-Гиреев поближе к Тарханам, купить там в соседстве недорогое имение. Зная, что денег у них нет, решила дать взаймы и тут же стала соображать, у кого бы самой занять эти деньги. У Машеньки Аким подрастает. Пусть он с Мишей дружит... В мечтах все получалось очень хорошо. Но надо было действовать. И Елизавета Алексеевна действовать начала.

Альбом тетеньки дождался самого преданного своего читателя. Скоро Миша знал наизусть почти все записи. А над стихами своей матери он сидел в раздумье целыми часами. Виделся ему ручей, разделенный бурей надвое... скала, разбитая горным потоком... два дерева на противоположных берегах, — наверху ветви их касаются друг друга, — образы разлуки.

— Не хочешь ли чего-нибудь написать сюда? — спросила Мария Акимовна.

Он промолчал. «Чего-нибудь» — это должны быть только стихи... Но как же это можно? Миша счел бы себя самым счастливым человеком на свете, если бы ему удалось сочинить вот такую «Элегию», как у его матери... Нет-нет, это не всякому дано! А как бы хотелось! Может быть, попробовать? Нет, это невозможно. Миша вздыхал и мучился душой...

Видя, что он не решается писать, Мария Акимовна сказала:

— Ну, нарисуй картинку.

Мише не надо было долго думать над тем, что ему нарисовать. Конечно, Кавказ. Он принес акварельные краски и принялся за работу. Но вот какой у него получился Кавказ — на первом плане он поместил большой верстовой столб и маленькую странницу, одетую в красную кофту и длинную юбку, — она, опираясь на палку, спускается с косогора, на котором утвержден этот столб... Справа и слева на рисунке шумят густою листвой деревья, кудрявится высокая трава. Всю середину его заняло озеро, по которому плывет вдалеке парусная лодка. За озером горы. Справа вроде бы округлый Машук, и под ним крыши города, вероятно, Горячеводска. Рисунок свой Миша подписал по-французски, в лад с французскими записями матери в этом альбоме: «M. L. L'an 1825 le 13 juin aux Eaux chaudes». То есть — «М<ишель> Л<ермонтов>. Год 1825, 13 июня, на Горячих водах».

Но откуда же тут взялось озеро? Подкумок мелок, по нему не пустишь лодки с парусом. Мише тут явно не хватало водной стихии. Он взял и «подвинул», а также немного пошире разлил озеро Тамбукан, которое видно с Машука. Странница же, явно русская, вполне могла дойти до Кавказских гор. У Миши свой Кавказ складывался в душе.

Он просыпался ночью и слушал. Чувствовалось, что Кавказ не спит, а как-то грозно замер. Лежа в постели с открытыми глазами и бьющимся, как после бега, сердцем, мальчик представлял себя летящим среди звезд, мысленно продолжая уже ставший привычным полет во сне. Огромное ночное пространство под ним казалось разумным. Темные горы под тускло серебрящимися шапками снега смотрят на спящие долины и думают. Где-то сорвались камни, прокатилось и умолкло эхо — это в безднах Эльбруса пошевелился закованный в цепи титан Амирани, кавказский Прометей. Бормочет, что-то рассказывает не знающая отдыха горная река... На плоскую кровлю сакли выходит черкешенка, одна, «луною чуть озарена»... А там, «склонясь на копья, казаки / Глядят

на темный бег реки». Душа мальчика переполнена. Все-все — горы, златоволосая девочка, стихи матери и ее печальная песня, и этот кудрявый юноша с задумчивым взглядом и с плащом, переброшенным через плечо, и старая гадалка — все живет в ней и просит какого-то выхода.

В начале июля жители Горячеводска были оповещены о большом восстании горцев в Чечне и призваны к особенной осторожности, так как и Кабарда казалась ненадежной. Передвижения по дорогам были еще более ограничены, охрана города усилена.

Рассказывали, что на Кубани огромные толпы шапсугов и абадзехов взяли несколько русских укреплений. Погибло много солдат и казаков. Лазутчики имама проникали в русские лагеря и, жертвуя собой, убивали офицеров. Так погиб генерал Греков. Другой генерал — Лисаневич — пал во время набега горцев... Словом, «скучен мир однообразный / Сердцам, рожденным для войны...». 8 июля восставшие взяли пост Амир-аджи-юрт; 15-го разгромили крепость Герзель-аул. Никто не мог предсказать, что будет дальше. Надеялись на военный талант Ермолова.

Сразу сделались подозрительными мирные аулы, в том числе и те, что располагались возле Бештау. Тем не менее самый большой из них — Аджи-аул — готовился к байраму, мусульманскому празднику разговенья. Там началось большое движение: женщины усиленно пекли, варили и жарили, а мужчины чистили коней, сбрую, оружие. В степи, между Бештау и Подкумком, горели костры, джигиты затевали пробные скачки, вкапывали столбы для состязаний, натягивали огромные палатки для отдыха гостей...

Лица горцев, приезжавших из Аджи-аула в Горячеводск, были суровы и непроницаемы. Разговоры у кислосерного колодца, где Миша в послеобеденное время выпивал стакан-другой целебной воды вместе со своим гувернером, были тревожные. Тем не менее старшина аула узден Амирхан с небольшой свитой явился к коменданту Горячеводска и пригласил весь город на празднование малого байрама. Это приглашение было традиционным.

Весь город собрался 15 июля ехать на праздник — здоровые и больные, офицеры и доктора, дамы и дети... Никто не желал оставаться дома. Все были в возбуждении. Миша тоже поехал — со всей большой семьей (Столыпины, Петровы, Шан-Гиреи...). Он сидел в коляске с Хастатовой, бабушкой и гувернером. Выехали около полудня. Солнце начинало медленно клониться к вершинам Бештау. Какую пыль подняли все эти кареты и экипажи, а особенно верховые!.. Много ехало к Аджи-аулу казаков — одни участвовать в джигитовке, другие следить за порядком. Равнина перед аулом запестрела народом. На широком пространстве в разных местах джигиты готовились к состязаниям.

Солнце зашло за гору. На равнину пала прохладная тень. Это было сигналом к открытию праздника. Миша вздрогнул — как-то сразу, внезапно, раздались крики, воинственный визг, бешеный топот коней, — земля загудела, началась виртуозная джигитовка, сразу в нескольких местах. Гости переходили от одной группы к другой, переговариваясь, восхищаясь... Миша, ходивший по полю с Жаном Капэ (оба они скоро покрылись пылью, которую вздымали кони), был изумлен всем этим великолепием, словно бы возникшим для него одного. Он подходил к всадникам, как во сне трогал их стремена... И не мог отделаться от чувства, что здесь ожили, воплотились в фигуры горцев стихи кудрявого юноши из поэмы «Кавказский пленник»:

...черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.

...Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен:
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.

Гул стоит на равнине. Вот несутся конники, стараясь сорвать друг с друга папаху. Сорвавший бросает ее на землю, скачет мимо, достает из нагалища ружье и, обернувшись назад на всем ходу, стреляет в нее... Точно так же стреляют в цель, обозначенную на столбе, — чуть выше цели красуется трофей — отделанный серебром чехол для пистолета. Вот мчится всадник, бросает шапку на землю и на скаку подхватывает ее... Бурные кони...

Молодецкие клики... Горящие отвагой глаза... Казаков не отличишь от горцев. Потом начались пляски...

Солнце село. Уже при свете факелов и костров большая толпа собралась слушать знаменитого ашуга Султана Керим-Гирея, расположившегося со своим инструментом, похожим на арфу, неподалеку от костра. Горцы слушали его в полном молчании, с крайним благоговением.

Факелы рассыпали снопы искр, выхватывая из темноты группы слушающих, которые сидели и стояли. Горцы в папахах, русские офицеры в мундирах и белых фуражках, щеголи во фраках, дамы, русские и черкесские дети, казаки, солдаты.

Ашуг — высокий и смуглолицый горец лет сорока, с седеющей бородой. Он был одет в белую черкеску и весь увешан оружием — пистолеты, кинжал, шашка, — все это искуснейшей кавказской отделки. Мелодии его песен были для русского уха дики, странны, но полны какого-то таинственного очарования.

В заключение он исполнил габзы́ — плач по убитому герою, прозвучавший во тьме ночи и при свете факелов мрачно и грозно. За спиной Султана Керим-Гирея вздымался Бештау.

Среди русских слушателей был высокий человек, статный и красивый, несмотря на то, что лицо было обезображено оспой, лишившей его одного глаза. В длинном сюртуке и цилиндре, он стоял неподвижно, скрестив руки на груди. Это был Николай Гнедич, поэт, занимавшийся переводом «Илиады» Гомера. Он приехал весной для лечения, но воды, как оказалось, лишь повредили ему. Здоровье его сильно ухудшилось. Невдомек было Мише Лермонтову, что этому статному господину, своему другу, доверил в 1822 году Пушкин издание «Кавказского пленника». И это он, Гнедич, без ведома поэта поместил его юношеский портрет в начале книги.

В празднике этом было много тревожного; горцы и русские воины не глядели друг другу в глаза. Аджи-аул не нарушил своей клятвы. Не обнажили оружия и немирные черкесы, которые во множестве проникли за линию и смешались с толпой. Любой русский офицер был на этом празднике под угрозой внезапной смерти. Однако немирные пришли не за кровью, но ради Султана Керим-Гирея, песни которого имели власть даже над самым отчаянным головорезом-карамзадой. Увидев и услышав этого

ашуга однажды, нельзя было его забыть. И потом, глядя на горы, невозможно было не вспомнить.

К концу кавказского лета Миша потерял всю свою живость. Бабушка стала с беспокойством приглядываться к нему. Но скоро поняла, что он не болен — он увлечен Кавказом. После праздника в Аджи-ауле Миша все пытался напевать врезавшуюся ему в сердце мелодию габзы... Слышал ли Керим-Гирея кудрявый юноша, автор поэмы о Кавказе? Не мог не слышать. Что же за Кавказ без этого единственного, как Эльбрус, ашуга? Да, да, это и есть тот самый «дикий гений вдохновенья», так странны, ни на что не похожи звуки этих песен!

4

«Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича, — вспоминал Аким Павлович Шан-Гирей. — Таким образом все мы приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы».

Пока Арсеньева собирала деньги для покупки Апалихи, для чего ездила в Москву, чтобы заложить в Опекунский совет часть своего имения, пока там все благоустраивалось и приводилось в жилой вид, семья Шан-Гиреев жила в Тарханах.

«Помнится мне еще, — продолжал Шан-Гирей, — как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки Кристины Осиповны, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров... Жил с нами сосед из Пачелмы (соседняя деревня) Николай Гаврилович Давыдов, гостили довольно долго дальние родственники бабушки, два брата Юрьевы, двое князей Максютовых, часто наезжали и близкие родные с детьми и внучатами, кроме того, большое соседство, словом, дом был всегда битком набит... Бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело».

Мальчик Аким был еще мал. В общем шуме и веселье он видел только самое наружное. Вот Мишель, сосредоточенный и потный, голыми красными руками катает огромные снежные шары и потом лепит колоссальные фигуры, потрясая малышей силой и мастерством. И лепит он не простых снежных баб, а бородатых рыцарей со щитами и мечами. Малыши суетятся кругом, визжат от восторга.

Дома — тоже лепка. Мишель страшно ею увлечен. Он мнет крашеный воск и раздумывает... Младшие друзья тоже тут. Они торопят Мишеля. Каждый выкрикивает, чего бы ему хотелось видеть вылепленным. «Зайца!» — кричит один. «Охотника!» — другой. «Собаку!» — третий. Мишель лукаво улыбается и начинает работу. Все довольны: на картонке явилась целая сцена — охота на зайца с борзыми.

Иногда Миша увлекается лепкой так, что уже ни на кого и ни на что не обращает внимания. Идут часы. Зовут к обеду. Он — ни с места. У него уже весь стол уставлен фигурами воинов, конных и пеших. Идет сражение. Вот скачет воин в латах и шишаке, он держит в боевом положении большую бабушкину иглу вместо копья. А вот черкесы в папахах подняли коней на дыбы — какое сражение без джигитовки... Глубоко задумавшись, Мишель мнет кусочек воска и вспоминает Кавказ. Он лепит сцену из поэмы: конный черкес тащит на аркане пленного офицера. Пытается лепить ашуга, но разве может воск передать все это волшебство?..

Он просит Марию Акимовну, уезжающую в Пензу, купить как можно больше «восков». Еще просит не забыть разного цвета фольги и бумаги. Восковые сражения разрастаются, делаются все пестрее; фольга, палочки, стеклярус, иглы, нитки — все идет в ход. И вот поднимаются горы. Вырастают на крутизнах крепости... В долине пенится река, и стоят шатры военачальников... Малыши поражены и подавлены. Нет, это уже не игра, не развлечение! Это что-то другое. И Мишель другой. Он не носится с нагайкой по саду, не командует. Лучше него никто из детей командовать не умел, — он сожмется как стальная пружина да так глянет, что мороз по спине... «Хоть умри, но ты должен это сделать!» — говорит он, и тот, кому это сказано, тотчас идет умирать или делать.

Аким ночью спит беспробудно. Он еще мал. А Миша часто просыпается, словно это сама ночь будит его. Можно выйти и быть одному. В прохладу осени. Или, вот как сейчас, в колкую стужу. Никто не знает, что такое ночные звезды, ночные облака. Какие тайны во всем этом! Но Миша знает одну тайну и иро человека, точнее — про себя. Он может в любой миг увидеть свой земной мир из небесной глубины. Чувство полета стало для него привычным и любимым. А ну-ка... Темны Тарханы, укрытые снегом и безмолвием. Темнеет деревянная церковка Николая Чудотворца на кладбище. Вон могила матери («Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24-го в субботу. Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней»)... Где она теперь? Миша погружается в думу и прислушивается к чему-то, поющему в душе, — это тень песни. Не вспугнуть бы ее, ускользающую...

Только так, с неба, можно увидеть сразу Тарханы и Горячеводск — тот дом, где единственные в мире синие глаза обожгли его душу. Сквозь эту синь встают, маня к себе пылкую душу Миши Лермонтова, горная гряда, сверкающая белыми вершинами, водопад, разбивающийся на ручьи, прыгающие среди камней, стремительные всадники в развевающихся бурках возле Бештау. Кавказ...

О, Кавказ! Любовь к нему иногда прямо-таки разрывает душу, и Миша не знает, чем облегчить ее. Слезы не помогают. Он лепит. Рисует. Но — втайне даже от него самого — глубоко в груди, рядом с тенью материнской песни, уже затеплилось другое желание — не лепить, не просто думать и плакать. Он открывает «Кавказского пленника», которого знает наизусть, и, подперев голову руками, смотрит на изображение кудрявого юноши. Пушкин... Лермонтов боится признаться себе, что он ничего так страстно не хочет, как сочинять стихи.

В Тарханах мало книг. Почти одни только учебные. Псалтирь, грамматики разных языков, словари, история, арифметика.... «Зрелище вселенныя». Поэма «швейцарского Феокрита» Геснера «Смерть Авеля» в переводе с немецкого на французский (весьма любимая, как сказал Капэ, во Франции), два или три тома из Собрания сочинений Беркена (его детская хрестоматия) на французском языке, и стихи Сент-Анжа и Лагарпа, любимцев Капэ. Эти книги изрядно потрепаны им в походах...

Мальчики и девочки в доме Арсеньевой зубрят английские, немецкие, французские и даже греческие фразы, сочиняют или переводят несложные тексты, и все это, страшно скучая, с желанием убежать в сад, пойти на пруд, играть. День за днем идут уроки; никакого движе-

ния вперед нет, — ничего в голове не прибавляется к заученному вчера и позавчера. Немного веселее на уроках музыки и танцев. Тут можно посмеяться и пошуметь. Миша скучал и веселился, как все. Или это казалось так.

Был предмет, который нравился всем, а Мише особенно. Это история, которой занималась с детьми Мария Акимовна Шан-Гирей. Большие карие глаза Миши как будто даже не мигали, когда она читала по учебнику Шреккера об Александре Македонском. Казалось, он слушал глазами.

Александр Македонский! Войска этого Наполеона древности шли через горы и пустыни, чтобы завоевать *весь мир*. Они шли в Индию. И откуда брались силы у его воинов — путь бесконечен, зной изнурителен, часто нет питья и пищи. Но сражение следует за сражением, и Александр Македонский побеждает.

Миша опять берется за свои воски и начинает творить чудеса. И вот уже идут воины в пернатых шлемах, трубят, подняв хоботы, богато украшенные боевые слоны, мчатся в бой колесницы... Сам Александр в центре сражения. В пылу битвы он забыл про осторожность. Враг, подскакавший на своем коне сзади, уже занес над его головой меч... Но Клит, друг Александра, поспел вовремя: он отсек руку врага вместе с поднятым мечом. Не только дети, но и взрослые искренне дивились Мишиному дару лепить столь сложные вещи. Тут без таланта ничего не сделаешь... Но также и без адского, бесконечного терпения, какого ни у кого в Тарханах, кроме Миши, не было.

Но уроки истории редки — Шан-Гиреи, оба, Павел Петрович и Мария Акимовна, заняты своим новым жильем — поместьем, находящимся всего в трех верстах от Тархан, на той же Милорайке, которая протекает и через Тарханы. У них много хлопот. Перестраивается усадебный дом, хоть и не роскошный, одноэтажный, но поместительный. Расчищается парк... Строится плотина на реке — какое же имение без пруда... Лето 1826 года было все занято этими делами. Павел Петрович решил несколько благоустроить и деревню — у крестьян, имевших маленькие наделы, разваливались избы. Шан-Гиреям часто приходилось ездить в Пензу и Москву за разными разностями. Миша любил бывать в Апалихе, когда там кипели земляные и плотницкие работы. Свежий, новый строился мир! Вот уже и лодка спущена на пруд. А осенью Шан-Гиреи переселились туда. Акима оставили пока жить с Мишей в мезонине...

Елизавета Алексеевна оказывала Шан-Гиреям всяческую помощь — крепостными мастерами, лесом. А у нее летом и осенью этого года была своя забота. Она решила снести деревянную церковь Николая Чудотворца и на ее месте поставить новую, каменную, но освятить ее хотела во имя Архистратига Божия Михаила — то есть в честь покровителя ее внука и покойного супруга. Этой перемены было добиться не так легко — бабушка писала прошения, ездила к епархиальным властям в Пензу и в «духовное правление», заведовавшее Тарханами, — оно располагалось в Нижнеломовском монастыре. Это были недальние поездки, и бабушка нередко брала с собой внука.

Тем временем в Тарханах заготавливали камень для будущей церкви, которая должна была стать одним из оплотов, созданных защитить Мишу Лермонтова от возможных ударов судьбы. Казалось, как крепко охранен мальчик. И теперь, и на будущие времена... Бабушка, Шан-Гиреи, гувернер, бонна да еще дядька — собственный Мишин крепостной, подаренный ему в 1816 году Александром Васильевичем Арсеньевым, братом деда.

Этот дядька, Андрей Иванович Соколов, со всей своей семьей стал собственностью Лермонтова. В 1826 году ему был 31 год. Он почти неотлучно находился при своем маленьком барине, ухаживая за ним как добрая нянька и всячески оберегая его. Если случалась дальняя прогулка — в леса, к Гремучему оврагу с пещерами, — Соколов был при этом главной порукой в том, что ничего не случится — никто не потеряется, не убьется, не наскочит на зверя, не оборвется в страшный, похожий на кавказское ущелье каменистый овраг, ощетинившийся яростно вздыбленными корнями косо растущих деревьев и путаницей кустарника. При Соколове мальчикам разрешалось даже залезать в полуобвалившиеся пещеры, где, как рассказывала бабушка, в «черный год» прятались помещики от пугачевской напасти. Овраг был сухой. Но весной проносились по нему буйные талые воды.

Миша с презрением подумал об этих помещиках. Прятаться! Это как-то нехорошо... Надо быть сильным и идти навстречу врагу (Капэ постоянно твердит об этом). Сильного и недруг уважает. У Миши крепкие мускулы. Он любит подтягиваться на перекладине, лазать по деревьям, бегать, бороться. Он уже не понимал, как можно этого не делать: настанет же время взяться за оружие. Поэтому и в играх Миша серьезен, вспыльчив. Играть нужно в полную силу, не кое-как, и обязательно соблю-

дать справедливость. После игр, в которых верховодил Миша, а особенно если это была игра в войну, во взятие крепости, мальчики, обессиленные, все в поту валились на землю. Такие игры их немного пугали, потому что мало походили на них.

Он много думал об отце, ни слова не говоря о нем с бабушкой. Знал, что отец тяжко страдает от разлуки с ним, своим единственным сыном, и как ни скрывал он это свое страдание, сын чувствовал его по глазам, по голосу... Поэтому, что бы он ни делал, о чем бы ни думал, за всем смутно виделось мужественное, но глубоко печальное любимое лицо отца.

Что он делает там, в Кропотове? Мальчик выходит на дорогу и так стоит, словно чего-то ожидая, глядя то на облака, то на дорогу. А там, вдалеке, за поворотом, нет-нет да пыль заклубится... Не зная ничего в точности, Миша все-таки знал, что между отцом и бабушкой легла страшная черная трещина. Что она, откуда? Спросить? Но всей правды все равно не узнаешь.

А разве не жаль бабушку? Она ведь добрая. Добрая ко всем, за исключением отца. Всем помогает, за всех хлопочет, а сама ходит в неснимаемом трауре, плачет на долгих молитвах, особенно ввечеру... Родни у нее — Столыпиных и Арсеньевых — множество, но два любимых брата умерли: Аркадий Алексеевич Столыпин в мае прошлого года, Дмитрий Алексеевич — в январе этого, 1826-го (один скончался сорока семи, другой сорока одного года). Тяжко, тяжко теснит ее судьба... Супругу ее, Михаилу Васильевичу Арсеньеву, Мишиному деду, было всего сорок два года, когда отравился он из-за тяжелой любовной истории, много мучившей его и бабушку. Случилось это в день встречи нового, 1810 года. Миша понимает, что он для бабушки — последнее дорогое на свете.

Он чувствует, какой мучительный узел многих бед и несчастий завязался на нем. Зачем? Конечно, это тайна. Но это действительно узел, не дающий пошевелиться и сделать что-нибудь для всех — для бабушки, для отца, для покойной матери. Остается страдать и ждать. Эти чувства гудели в нем, как скрытое пламя. А если бы сказать о них, если бы вдруг как-нибудь сказалось! Они не получили бы разрешения, но преисполнились бы великого смысла. Столько всего накопилось в душе, чуть тронь — сорвется лавиной. Миша стал побаиваться бумаги. Почти не рисовал. Учебные упражнения выполнял на листках, которые оставлял в классной комнате.

Елизавета Алексеевна заботливо подбирала эти листочки, а потом решила, что так не годится. Раз Миша не хочет писать в простых тетрадях, нужно сделать ему что-нибудь получше. Осенью, когда случилось ей поехать в Москву, она заказала в лучшей переплетной мастерской тетрадь для внука. По ее желанию обложка тетради была обтянута прекрасным голубым бархатом, а по бархату, кроме каймы на обеих крышках, на лицевой стороне — вензель M J L в круге, унизанном цветами, и листочки по углам, а на задней — такие же листочки и год: 1826. Все было искусно вышито по бархату золотом, позолочен был и обрез тетради. Это был скорее альбом и гораздо больше альбома Марии Акимовны.

В день рождения Миши, в октябре 1826 года, бабушка преподнесла ему свой подарок. Увидев альбом, Миша побледнел и с трудом заставил себя открыть его, чтобы посмотреть бумагу и поблагодарить бабушку... Она была довольна своей выдумкой.

— Ну вот и хорошо, а то я уж устала листки твои собирать...

— Выбрось их, бабушка.

— Нет-нет, вот поедем в Москву, они тебе пригодятся. Будешь готовиться в пансион, а там и поступать. Листки свои пересмотришь, припомнишь, чего учил.

Миша отнес альбом к себе в комнату. А на уроках снова писал на листочках. Альбом хорош, очень хорош! Именно таким и должен он быть. Миша мысленно открывал его и клал на стол, где горела свеча, отражающаяся в ночном окне. Весь дом спал, а он сидел, подперев голову рукой и глядя в темное стекло, в свои собственные глаза. Как бы сами собой на чистых листках являлись — строка за строкой — стихотворные строфы... Вечно бы длиться такой ночи! Но альбом лежал в ящике стола нетронутым. И пролежал так осень и зиму.

Шла зима 1827 года.

Как всегда, много было забав и веселья в Тарханах. Барчуки вместе с крестьянскими детьми строили крепости и устраивали снежные побоища, разделившись на две стороны. А во время масленицы на большом пруду устраивали «кулачки» — то есть кулачный бой стена на стену, начинавшийся после обеда и продолжавшийся до темноты. Крестьяне, господа — все тарханские жители собирались на плотине смотреть это сражение, не обходившееся без крови. Мише такая битва между своими не казалась забавой. Как ни серьезно относился к играм он сам, изряд-

но мучая своих партнеров, но у него до драки, а уж тем более до крови никогда не доходило.

И вот он смотрит с плотины на всю эту жестокую кутерьму — и недоумение, душевная боль терзают его. Какие полновесные удары! Прямо по лицу! Какие крики, аханье, кряканье, крепкая брань, зверские прибаутки... Сколько сбитых и затоптанных в снегу шапок, порванных полушубков... Сила! Миша сжал кулак. Я тоже, думал он, мог бы так треснуть... так, что только держись! Но со всей силой можно бить только по врагу. И когда садовник Василий Шушеров, не дождавшись окончания боя, с окровавленным лицом, без шапки, взлохмаченный и мрачный, выбрался из свалки и побрел на усадьбу, Миша заплакал, так ему стало жаль его. Он знал, что Василий всегда бьется на кулачки по справедливости и силы ему не занимать. А теперь вот ушел он с обидой на односельчан, с рассеченной губой, с выбитыми зубами. Миша вытер слезы. Один только маленький Аким успел увидеть их, и это его страшно изумило, он никогда не видал Мишу плачущим.

— Пойдем отсюда, Аким, — позвал его Миша. — Нечего тут смотреть.

В праздники усадьба Арсеньевой всегда была полна народу. Не только тарханские, но и окрестные — из Подсоты, Дерябихи, Апалихи, Михайловки — крестьяне идут в церковь Марии Египетской, что расположена вблизи барского дома. Собственно, это бабушкина домовая церковь... Когда-то на месте церкви Марии Египетской стоял дом Арсеньевых — в нем умер дед Лермонтова, в нем же угасла от чахотки его мать... Елизавета Алексеевна приказала сломать его и выстроить на этом месте церковь в память дочери-страдалицы. А усадебный дом был построен неподалеку. Но, увы, поселилось и в этом доме страдание, как бы обещая новые беды...

Миша любил эту церковь, напоминающую ему о матери. Он заходил сюда во время службы постоять среди пахнущих дымом и морозом крестьян и крестьянок. Вместе с ними он молился, исповедовался, причащался... Несколько раз мужики просили Мишу быть крестным отцом их детей. Так, в семье Соколовых он крестил младенца Дионисия, а в семье ополченца Отечественной войны 1812 года Степана Ивановича Рыбакова крестниками Лермонтова были трое детей: Петр, Федор и Валериан. Последний был крещен 13 февраля 1827 года. Лермонтов крестил мальчика в семье собственного

крепостного Дмитрия Летаренкова. Двоих — у дьякона церкви Марии Египетской Ивана Иевлева. Он делал это с большим воодушевлением. Всех этих ребятишек, своих крестников, он считал родней. Да и у крестьян возникало особенное, теплое чувство к Мише.

Он заходил к товарищам своих игр в избы, крытые соломой и топившиеся по-черному. Их вид, их запах давно привычны ему, стены, покрытые слоем сажи, не удивляют... Два длинных ряда таких домов вдоль замерзшей Милорайки и еще короткая улочка вбок... Снегу намело под самые стрехи.

Миша вспоминает рассказ бабушки о том, как его мать, сама уже слабая и больная, шла в какую-нибудь из этих избушек, едва узнав, что там есть заболевший человек. Дворовый мальчик нес за ней коробку с лекарствами. Над ней было низкое серое небо, а вокруг — зимние поля и леса. Она возвращалась домой и бродила по горницам, кутаясь в шаль и пытаясь согреться. Мише казалось, что он помнит это. Потом она садилась за фортепиано, а Миша забирался к ней на колени и, сжавшись в комок, сидел тихо. Она играла. Музыка была грустная, и у него текли слезы. Эта музыка до сих пор слышится ему над Тарханами — и над усадьбой, и над крестом Марии Египетской... Мелодия уже забылась, но все равно звучит.

Миша берет аккорды на старом фортепиано, прислушивается к улетающим звукам. Потом выводит на скрипке один долгий минорный звук... другой... Он уже умеет играть кое-какие несложные пьесы на том и другом инструментах, но играет редко. Чаще любит просто извлекать звуки и слушать их медленное угасание... Ему кажется, что он уносится вместе с ними. Все реже был слышен его голос в доме и на усадьбе. Все реже он атаманствовал в играх. Он начинал понимать одиночество. Все нужнее оно было ему.

Уже вовсю развернулась весна — парк блестел свежей листвой, гудел шмелями и пчелами, пестрел цветами. Миша полюбил сидеть в беседке у дамбы и думать или читать. Вокруг беседки густо запуталась акация... Сквозь ветви видно отражение облаков у дамбы, в темной воде.

Весной 1827 года он много раз перечитывал в этой беседке «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского. Это была великая поэма Одиночества и Силы — силы духа, конечно. «Мученик веры и патриотизма» (как сказал в предисловии Жуковский) Бонивар, проведший

долгие годы в подземелье замка Шильон на Женевском озере, разбудил в Мише Лермонтове неопределенные, но страстные мечты о каком-то мученичестве, может быть, и в таком вот каменном подземелье, в цепях, о некоем подвиге, который сотрясет мир, но за который он получит больше проклятий, чем славы, и даже казнь, так как мир этот жесток и завистлив.

Все поражало Мишу в этой поэме. И непрерывно текущий рассказ от первого лица, словно исповедь перед кем-то, может быть, перед теми людьми, которые первыми встретили Бонивара на воле... И — железные, кованые стихи с постоянным ударением на конце строки, словно удары молота, заклепывающего или, наоборот, разбивающего цепь узника.

Как мало страдал пленник кавказский по сравнению с женевским! Тот видел горы, любовался Эльбрусом и горными потоками, хоть и в цепях, но бродил по воле, даже был любим, и, наконец, плен его был краток — он бежал... Этот же был накрепко прикован к одной из колонн темницы. К двум другим были прикованы его братья, которые скончались у него на глазах и были похоронены тут же, в земляном полу их тюрьмы. Тюремщики обрекли их на неволю даже и после смерти. Железные окончания строк стучали у Миши в висках. Они словно подталкивали, гнали его куда-то... Так — размеренно и целеустремленно — скачет конь. Поэтому Миша с особенным азартом мчался на лошади по длинным аллеям сада и по сельской дороге... Душа его рвалась к какой-то цели, как ему казалось — уж близкой! Что-то начнется... Будут большие перемены.

Бабушка уже давно готовится к переезду в Москву — надо отдавать Мишу в учение. Она решила поместить его в Московский университетский благородный пансион, где учился ее покойный брат Дмитрий Алексеевич. Миша с учением явно запаздывал. Елизавете Алексеевне все не хотелось выпускать его из теплого гнезда. Но вот двоюродного брата его, Мишу Пожогина-Отрашкевича, сразу после поездки на Кавказ отправили в кадетский корпус. А они одних лет. Конечно, Мишу должны взять уже не в начальные классы, — пожалуй, еще с год ему надо будет позаниматься с учителями, хорошо бы пригласить самих пансионских... В Москве нанять дом. Там много близкой и дальней родни — Столыпины, Арсеньевы, Мещериновы.

А лето придется провести в деревне — у брата покойного супруга, Григория Васильевича Арсеньева, в Васильевском, и — в Кропотове у Юрия Петровича Лермонтова. Это давно договорено, и никуда тут не денешься. Надо Мише и с отцом побыть. Но Елизавета Алексеевна, обрадовав этой вестью внука, решила, что большую часть летних дней они все же постараются провести в Васильевском. Пусть Юрий Петрович туда наведывается, тем более что он там, как давний сосед, совсем свой человек. В Васильевском он познакомился с Марией Михайловной, здесь, именно здесь она, на беду свою, полюбила его...

Миша хотел читать. Есть, верно, что-нибудь в Кропотове... Ну и, конечно, в Москве. Нужно найти, прочитать, переписать стихи Пушкина, Жуковского, Козлова, о которых Мария Акимовна говорит, что это лучшие российские стихотворцы. Она читала на память «Людмилу» Жуковского — та же головокружительная скачка, что и в его переводе поэмы Байрона!

Скоком, лётом по долинам,
По буграм и по равнинам;
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт;
Пыль катится вслед клубами;
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
С громом зыблются мосты.

При этих строках все гудит вокруг и пол грозит провалиться...

Нужно найти «Чернеца» Козлова. Бабушка говорит, что слепой поэт Иван Иванович Козлов — дальняя родня Столыпиным, а значит, и ему, Мише. Его охотно печатают в альманахах, и он славен не меньше Пушкина. У него есть перевод поэмы Байрона «Невеста абидосская». И еще другие поэмы и стихи. Миша расстроен — ну как же ничего этого нет в Тарханах. И никто не привезет...

Приезжал весной в Тарханы на несколько дней Святослав Раевский, бабушкин крестник, сын ее подруги. Он студент, к осени кончает Московский университет. Бабушка взяла с него слово, что если он останется в Москве, то будет жить у нее. Святослав сразу же познал про любовь Миши Лермонтова к стихам. Уезжая, обещал приготовить многое для чтения. Это было очень кстати.

Святослав и раньше бывал в Тарханах, но только в этот приезд обратил серьезное внимание на Мишу. И был приятно удивлен тем, что вместо мальчика нашел очень серьезного, странного, но любопытного отрока, полного фанатичной любви к поэзии. И при том он не хлипкий

мечтатель, а сильный и ловкий паренек — бороться с ним лучше и не берись... Читал он мало, но как читал! «Кавказского пленника» и «Шильонского узника» он не просто прочитал, а вобрал в душу, как-то спаял, слил со всем своим существом. Словом — присвоил себе безраздельно! «Да, — подумал Святослав, — это действительно его собственные поэмы, потому что можно сколько угодно клясться, что другого такого читателя, как Миша Лермонтов, эти поэмы не нашли».

Итак, Миша уезжал из Тархан. Конечно, он не покидал их навсегда и даже намеревался побывать здесь следующим летом, но чувство у него было такое, что он пускается в дальнее плавание, в неизведанные дали. Многого ему было жаль.

Жаль было и Жана Капэ, который еще зимой сильно захворал, долго крепился и пытался «исполнять свой долг», то есть опекать Мишеля и заниматься с ним своими любимыми французскими поэтами Лагарпом и Сент-Анжем. Он послал письмо каким-то своим родственникам в Турень или Овернь, ждал ответа, но его все не было. Весной он вообще слег и лежал в своей комнатке, выставив из-под одеяла орлиный нос, — он был спокоен, но печален. У него была чахотка. Миша пожелал ему выздоровления. Жан Капэ приподнялся, и они обнялись.

«Больше я его не увижу», — подумал вдруг Миша и испугался этой невольной мысли. Он еще раз взглянул на длинное тощее тело, укрытое суконным одеялом, и с отчаянно горьким чувством пожалел этого одинокого человека, погибающего на чужбине. Он представил себя на его месте — это было ужасно... Боевой наполеновский офицер, железная воля и сила, и вдруг — это серое одеяло, чужой дом на краю света... Но на что и долгая жизнь, если Император уже шесть лет как угас, а на родине заправляют всем убийцы маршала Нея, трусливые Бурбоны. Тарханы для Капэ — тот же остров Святой Елены.

5

Юрий Петрович поджидал Елизавету Алексеевну и сына в Васильевском. Он действительно был здесь как дома и в большой дружбе со всеми братьями Арсеньевыми. С Никитой, петербургским генералом, избиравшим всегда Юрия Петровича поверенным в своих делах по имению, с Николаем, попечителем Московского опекунского совета, через которого делали заклад имения и Елизавета Алексеевна, и Юрий Петрович, а также с Григорием и Александром, почти постоянно жившими в Васильевском. Последние были страстными охотниками, читали мало, и если не охотились и не принимали кого-нибудь, то валялись в халатах и с трубками на диванах, пуская дым в потолок. Юрия Петровича, который ни в чем не был похож на них, они знали с самого раннего возраста. Мать Юрия Петровича еще до его женитьбы бывала в Тарханах, так что знала и Михаила Васильевича, и Елизавету Алексеевну, и дочь их Машу. А потом пировала там же и на свадьбе сына.

Нет, не случайным было знакомство Юрия Петровича с Марией Михайловной! Не мимолетная встреча, внезапно высекшая искру... Было у молодых людей время повидаться, потанцевать, побеседовать... Они сблизились и полюбили друг друга. Братья и сестры Арсеньевы с одобрением отнеслись к назревающему браку. Елизавета Алексеевна, втайне недолюбливавшая родню покойного мужа, сделала несколько осторожных попыток отговорить дочь, но куда там! Любовь ее была такая страстная, какую только можно себе представить.

Елизавете Алексеевне не хотелось ехать в Кропотово, а Мише так не терпелось побывать там... И она отпустила его с отцом. Сама сказалась больной и обещала приехать сразу, как пройдет несносная ломота, вызванная дорожной тряской. У нее был такой расстроенный вид, что Миша поверил в ее ломоту, а от нее не укрылось, что он был рад поездке в Кропотово без нее. От этого ей и в самом деле стало худо.

Когда коляска отъезжала, она подошла к окну и смотрела ей вслед до тех пор, пока синий сюртук отца и зеленая куртка сына не слились в одно темное пятно. День был безветренный, и пыль долго стояла в воздухе... Страшно стало Елизавете Алексеевне. «Зачем же я не поехала? — всполошилась она, словно предчувствуя недоброе. — Что же теперь будет?»

Солнце пылало в голубом небе. В одной руке Юрий Петрович держал белый картуз, в другой — руку сына, изредка пожимая ее. Они так редко виделись, вместе и не жили, если не считать младенческих лет жизни мальчика. Мише не терпелось спросить, отчего ему нельзя всегда жить в Кропотове, ведь это-то и есть *лермонтовское* поместье... Но не спросил. Он знал, что тут есть тайна, и нужно ждать, когда она откроется, а не вынуждать отца

к заведомо уклончивым ответам. Но отец прочитал этот вопрос в его глазах.

— Жди, как жду я, — сказал он тихо. — Может быть, настанет такое время... Но не сейчас... Ты должен быть с бабушкой.

Он достал платок и обтер Мише лицо — Миша и не заметил, что по его щекам бегут слезы. Отец отстранился и сказал, почти не разжимая губ:

— Надо быть твердым.

Коляска катилась уже в тени старых ветел по плотине. Затем вверх по склону, по аллее серебристых тополей, рассекающей огромный фруктовый сад, к усадебному дому. Мише на мгновение показалось, что он приехал в Тарханы — дом походил на тарханский, также с мезонином, но поменьше. И церкви возле дома нет.

Через минуту Миша попал в руки к теткам, которых он, конечно, не помнил. Они вертели, тормошили его, целовали, расспрашивали... Потом показывали дом — провели в большую залу, гостиную, в свои комнаты... Миша не мог не заметить, что в доме отца гораздо меньше блеску, позолоты, бархата, зеркал и простору, чем в Тарханах. Нет шума, толчеи. Его дом, несмотря на свою деревенскую обычность, чем-то напоминает замок. Может быть, строгостью, тишиной.

Всем теткам уже за тридцать. У них еще свежие лица, блестящие глаза, и в них много спокойствия и грусти. Они детски-беспечны и полагаются во всем на брата. Дни их проходят в одинаковых занятиях — игре на фортепиано, вышивании, гулянье в парке, чтении. Изредка принимают гостей. По вечерам читают в гостиной вслух. Три кротких создания, как в сказке... Их белые платья, белые шляпки и белые зонтики плывут среди деревьев, сливаются с солнцем и тенью... Призраки, которые вот-вот растают в воздухе...

Отец болен. Но он мало думает о болезни, которая грызет его уже лет десять. И столько же лет, но еще ужаснее, грызет его тоска. Однако он не позволяет себе слабостей. Здесь, в глуши, он всегда тщательно одет, выбрит и причесан. Каждое утро совершает верховую прогулку, потом занимается делами по имению (управляющего не держит), уходя для этого в контору, или читает у себя в кабинете. После смерти жены он не приобрел никаких книг, но у него в шкафу есть очень хорошие сочинения на французском, немецком и русском языках.

Оставшись вдовцом, Юрий Петрович забыл о женщинах. Он не смирился, не успокоился. И не просто затосковал. Он вдруг почувствовал, что любовь его к супруге стала расти, захватывать все его чувства и мысли. И незаметно для себя он стал жить не теперешним, вот сейчас текущим временем, а тем, безвозвратно ушедшим. Он вспоминает и вспоминает, воскрешая все, кажется, уже напрочь забытое.

Каждое утро Миша вместе с отцом едет верхом, неспешно, по длинной аллее, через плотину и по дороге над Любашевкой... Бабушка все не едет. Но Юрий Петрович знал, что она постарается приехать. Каждый вечер в Васильевское отправляется нарочный с сообщением о здоровье Миши. Юрий Петрович понимает, что это мера совершенно необходимая, знает, как глубоко любит Елизавета Алексеевна своего внука. И так дни идут — Миша в Кропотове. Его комната возле кабинета отца.

Нет, не пустился Юрий Петрович в бурные изъявления отцовской любви, не повел длинных рассказов о прошлом, не стал делать сыну родительских наставлений. Он дал ему полную свободу. После молитвы, верховой прогулки и завтрака Миша брал книгу из отцовского шкафа и уходил в парк, спускался к речке, шел к прудам, а иногда дальше — в поле, где уже поспевала рожь. По пыльной тропе, заросшей по краям васильками, добирался до леса. Везде было тихо и безлюдно. Амбары, овины, крестьянские избушки, жердяные ворота у околицы — все казалось давно знакомым, родным. Ночью он выходил через гостиную на террасу. Ни одной не мог пропустить, чтобы не взглянуть на нее, не подышать ее воздухом. Кропотовские были гораздо грустнее тарханских ночей...

Не остановилась ли тут жизнь? Ведь ни отец, ни тетки, ни весь этот дом по-настоящему не живут... В этом доме кажется живым один только портрет. Портрет Марии Михайловны Лермонтовой. Он висит в кабинете отца вместе с другими портретами — самого Юрия Петровича (ему тут двадцать семь — двадцать восемь лет), отца его, Петра Юрьевича (в кафтане с большими пуговицами и в парике с буклями), и деда — Юрия Петровича, также в парике: на груди у него знак депутата Комиссии по составлению нового уложения, которая созвана была Екатериной II в 1767 году.

У Елизаветы Алексеевны в Тарханах есть миниатюрный портрет дочери — ей там всего лет двенадцать или тринадцать. Она еще ничья не жена и не мать. А с кро-

потовского портрета, писанного, как и другие, висящие тут, масляными красками, посмотрела Мише в глаза — с нежной и доброй улыбкой — *мать,* как бы вдруг выступив отчетливо из его мучительно-смутных снов. Кружевные воротнички, белое платье; руки окутаны красной шалью. Открытое, прекрасное, молодое лицо. Миша не мог глаз отвести от портрета, когда отец впервые привел его сюда. Отец стоял поодаль. Казалось, и Мария Михайловна смотрела — глаза ее как будто раскрылись шире, и улыбка стала живее, и лицо просветлело... Ах, какие это были мгновения! Казалось, сейчас она выпростает руки из-под складок шали и протянет их к сыну, к супругу.

Долго стоял Миша, не помня себя. А когда оглянулся — отца уже не было в кабинете. Миша посмотрел на его портрет, висящий рядом с портретом матери. И тут только понял, как сильно отец постарел! Поредели светлые кудри, явственно пробилась в них седина. Как-то вытянулось, посуровело и потемнело лицо... А художник изобразил спокойно-приветливого франта в белом галстуке и белом жилете... Бакенбарды... Две кокетливые завитушки с явным расчетом спущены на лоб. Нет, теперешний отец, как внезапно решил Миша, лучше!

Мать и отец смотрят на него с портретов ясно и безмятежно. Он не верит этой ясности. «Нет, это обманчивый вид, — думает он. — Это перед художником... для людей. Ведь потом, и очень быстро, была та песня... Потом — смерть... Никто не мог спасти ее. Может быть, она не хотела жить... Ведь то была песня души тоскующей, уже одинокой!» Миша не знал, что думать... Глаза его заволокло туманом. Голова горела.

Так разрасталась тревога его души.

Но в кропотовском доме была тишина. Ничто не рассеивало, не разбивало дум и мечтаний. Не мешало читать.

Отец разрешил Мише в любое время, хоть ночью, входить в его кабинет, рыться в книгах и единственно только не тревожить его, если он сидит с каким-нибудь делом за столом. Но чаще всего Миша вовсе его не заставал. Какое богатство находилось в этом широком, простой деревенской работы шкафу! Корнель, Расин, Вольтер, Шатобриан — эти имена он впервые прочел здесь на корешках книг, а слышал о них еще от Жана Капэ. Из немецких писателей Юрий Петрович когда-то приобрел некоторые сочинения Гёте, Шиллера, Лессинга, Клопштока, Виланда. Но Миша бросился в первую очередь на

русских стихотворцев. В течение первой же недели Ломоносов, Херасков, Державин, Капнист, Жуковский, Дмитриев «перекочевали» в его комнату и расположились на кровати, столике, подоконнике и стульях.

Читал он беспорядочно, торопясь от жадности, открывая книги наугад и иногда не посмотрев даже, кого именно из поэтов он читает. Не все стихотворения и не все поэмы он прочитывал целиком. Его взгляд скользил по страницам с жадностью, останавливаясь по какому-то внезапному и таинственному сигналу.

Так прошел почти весь июль.

Дважды Миша ездил с отцом в Васильевское. Во второй раз он застал там младшую бабушкину сестру Наталью Алексеевну Столыпину, которая приехала сюда с дочерью. Анюте было двенадцать лет. Она с любопытством поглядывала на своего кузена, словно чувствуя, что этот мальчик не совсем обыкновенный. Крепко сбитый, сильный, он был неутомим в дальних прогулках, хорошо ездил верхом. Ее поразил его глубокий, пристальный взгляд, говоривший о том, что этот мальчик много думает. Она подсматривала за ним — Миша молчит, забыв обо всех, и лицо у него строгое, даже печальное. Он вел себя очень сдержанно, и знакомство с кузиной (точнее — с двоюродной теткой) налаживалось туго. Если бы не она сама, если бы не ее любопытство... Ведь в Москве она не встречала таких странных детей... При слове «дитя», которое пришло ей на ум, она рассмеялась: «Нет, это к нему уже совсем не идет».

Словом, он затронул ее воображение.

У нее не оказалось здесь подруг. Миша тоже был один. Само собой сложилось так, что они постоянно виделись. Анюта вела себя просто, без кокетства, неловкость скоро пропала, и они стали гулять вдвоем по саду. Она рассказывала ему о своей московской жизни, а когда узнала, что он осенью едет в Москву учиться, искренне обрадовалась:

— А после, когда выучитесь, что будете делать?

— Я стану офицером и поеду на Кавказ, — твердо отвечал Лермонтов.

Анюта заметила, что ничего интереснее и быть не может. Услышав это, Миша так и вспыхнул мгновенной радостью. Кажется, чуть ли не в эту минуту он полюбил девочку, в которой встретил такое понимание. Чистые серые глаза, на которые падала тень широкой шляпы, заставили его забыть о синих, не так давно мучивших его

тоской по ним... Нет, он не выбросил их из души, но они словно заволоклись туманом, ушли на дно...

Оказалось, что девочка читала «Кавказского пленника».

— Кто вам больше нравится — пленник или черкешенка?

— Конечно, черкешенка, — ответила Анюта. — Она отдала жизнь за любовь. А пленник был слишком занят своей особой.

Миша весело рассмеялся: прекрасный, неожиданный ответ!

Она лукаво посмотрела ему в глаза:

— Если б я была та черкешенка, а вы русский...

— Я бы не оставил вас на берегу, — быстро сказал Миша.

Они посмотрели друг другу в глаза и оба смутились.

Дальнейшие события сблизили их еще теснее. Елизавета Алексеевна сочла, что ей уже неприлично не ехать в Кропотово. Одной добираться не хотелось, и она предложила сестре сопровождать ее. Та взяла с собой дочь.

Миша был очень рад, что бабушка наконец едет в Кропотово. «Не примирятся ли они? — раздумывал он. — Как бы хорошо было... Мы поехали бы все вместе в Москву!» Слабые надежды быстро выросли в уверенность, и ему уже кажется: все счастливы, всем хорошо.

И вот они уже едут... На полдороге Елизавета Алексеевна попросила остановить экипаж. Миша испугался не на шутку: передумала!.. вернется!.. Но оказалось, что ее опять растрясло — слишком неудобный у отца экипаж. Потребовался короткий отдых.

Анюта с матерью принялись собирать цветы на опушке березовой рощи. Юрий Петрович остался в экипаже с Елизаветой Алексеевной. У них шел тихий разговор. Миша бросился в траву, перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Глубокая лазурь... одинокое пушистое облачко... Увидев это облачко, он сразу вспомнил о матери. «Как же мы можем быть счастливы без нее?» — грустно подумал он. И сразу все надежды на хорошее пропали.

Он приподнялся на локтях и посмотрел на экипаж, стоящий у обочины дороги. Нет, до идиллии далеко! Бабушка с сердитым видом выговаривала что-то отцу, даже не глядя на него. Он, сидя напротив, лицом к ней, смотрел поверх ее головы, изредка вставляя реплики в ее монолог. Лицо его было бледно. Миша чуть было не крикнул: «Ну что же вы? Надо простить все друг другу!» — но заставил себя лежать молча. «Вот сейчас они разругаются, бабушка вернется в Васильевское, — пронеслось у него в голове, — а после? Что будет с отцом? А со мной?» Однако не прошло и получаса, как экипаж покатил дальше.

Остаток лета, проведенный в отцовской деревне, был похож на сон. Яблони, усыпанные спелыми плодами, благоухали. Все Кропотово было засыпано яблоками — красными, желтыми, нежно-зелеными, белыми... Они лежали кучами в саду. Их везли в телегах, несли в корзинах... Они валялись по всем аллеям, плавали в пруду и красовались на подоконниках и столах в доме. Отягощенные яблоками ветки иногда с треском обламывались, особенно во время грозы... Анюте полюбилось гулять в этом раю, и Миша был счастлив, бродя с ней по саду целыми днями. Он брал с собой нож, чтобы почистить и разрезать яблоко, которое они съедали пополам; подавал ей руку, чтобы перевести через канаву, а потом так и шли, держась за руки; садились под яблоню и молчали, глядя друг другу в глаза. А однажды девочка увидела на стволе яблони свежевырезанные буквы *А* и *М*...

Потом был темный августовский вечер. Юные влюбленные вышли из гостиной на балкон и долго сидели там, прижавшись друг к другу. Взошла луна... Ужасная грусть охватила душу мальчика — ему казалось, что это — последнее его счастье, а уж завтра ничего не будет... Она отвечала пожатию его руки.

Но вдруг раздался голос Натальи Алексеевны, и Анюта ушла. Миша остался один — вспоминать все мгновения, пережитые в этот вечер, и ожидать завтрашнего дня. Под утро он ушел в свою комнату. А на другой день после завтрака Анюта с матерью уехали в Москву. Так что предчувствие его не обмануло. Еще неделю бродил он одиноко по саду. Больно было ему видеть места, где вчера еще бывала она, буквы *А* и *М* на коре яблони.

Только сейчас он хорошо присмотрелся к этому дереву — было оно толще и старее других, с наростами и узлами и совсем сухой верхушкой... Он прижался лбом к этой яблоне. «Ты свидетельница моей любви, — шептал он. — Ты видела нас счастливых... Живи дольше! Если ты засохнешь — и я умру. Пусть меня похоронят у твоих корней».

И тут ему привиделся будто холмик — недалеко от этого дерева... И, кажется, уже не минуты, а дни и даже

годы несутся мимо. И облако скорби не рассеивается над этой одинокой могилой погубленного разлукой юноши. Сад опустел и затих.

6

В доме на Поварской осенью 1827 года для Лермонтова началась новая жизнь. Тут не было тарханской суеты, состоящей главным образом из развлечений. Мишу начали готовить для поступления в пансион. По рекомендации своей родственницы Мещериновой Елизавета Алексеевна пригласила одного из лучших педагогов Московского университетского благородного пансиона Алексея Зиновьевича Зиновьева, а уже он рекомендовал ей других учителей.

В этом году Зиновьев защитил магистерскую диссертацию под названием «О начале, ходе и успехах критической Российской истории», которая была тотчас же издана в Москве. Статьи магистра появлялись в московских журналах — он писал по вопросам истории, искусства, литературы и педагогики. В этом же году он начал трудиться над учебником для студентов по всемирной истории. В пансионе он преподавал русский и латинский языки, всеобщую историю и географию. Всеми этими предметами Алексей Зиновьевич и занялся со своим новым учеником. Надо было в течение года пройти программу трех первых классов пансиона. Осенью 1828 года Лермонтов должен будет поступать в четвертый.

Немного склонный к полноте, оживленный, Зиновьев начинал урок прямо с порога. Ему было двадцать шесть лет, он намеревался изучить все и стать великим педагогом вроде Локка или Песталоцци — своих кумиров. Он любил поэзию и превосходно декламировал стихи Державина, Жуковского, Пушкина. Истинный поэт был для него и философом. Примером служили Шекспир, Шиллер и Гёте. Часто среди урока по русской грамматике или географии он отвлекался — мысль его, переходя с одного на другое, останавливалась на Шиллере или Гёте, и он до конца урока читал по-немецки их стихи.

От него Миша снова услышал о Байроне. Зиновьев принес как-то несколько номеров «Московского телеграфа» за текущий год и объявил, что здесь напечатаны великолепнейшие, первые таковые у нас, переводы из этого поэта — отрывки из стихотворной мистерии «Манфред» и поэма «Сон» в переводе некоего Михаила Вронченко, офицера, человека, видно, души необычайной. У Николая Полевого — поведал учитель — редактора «Московского

телеграфа», имеется превосходный перевод его «Гамлета» Шекспира, отрывок из которого также был помещен в журнале. В сентябрьском номере «Московского телеграфа» — портрет Байрона, прекрасно гравированный, с воспроизведением подписи поэта. Гордый поворот красивой головы, открытая шея, складки темного плаща... Так вот он каков, автор «Шильонского узника»! Зиновьев оставил журналы Мише, и это оказалось для него самым захватывающим чтением. А как напоминает «Манфред» о Кавказе! И как понятна Мише любовь Манфреда к ночи:

Зажглися звезды; полный месяц встал
Над снежными верхами гор. Прекрасно!..
Еще природа мне утешна; с ночью
Я более сдружился, чем с людьми...

Грамматика, география, арифметика и алгебра и даже рисование, которое преподавал ему Александр Степанович Солоницкий, давались Лермонтову без труда. Он поворачивал небесный глобус, следя орбиты планет, твердил грамматическое правило, переводил латинский текст, чертил контуры предметов, но все это было как бы на поверхности души. Вся же ее глубина томилась жаждой, не совсем понятной ему самому. Ему хотелось читать. Но не просто читать, а находить свое, объясняющее ему самого себя, особенно в стихах. Вот Манфред стоит на краю пропасти. Он весь в страстных думах — в нем отражаются природа, горы... Он безумец и храбрец... он все может отринуть от себя, даже то, что любит... Он хотел бы, чтобы на него рухнула гора, так сильно его разочарование в жизни... Лермонтов всей душой с ним, там, на краю бездны, в которой «седой туман... стелется серно-огнистой тучей, как пена моря адского».

Прочитав третье действие «Гамлета» в «Московском телеграфе», переведенное Врonченко, Лермонтов твердо встал на сторону принца, которого называли безумным за его страстные, горько-правдивые речи. Гамлет собирался мстить за отца и хотел спасти мать, разбудить в ней совесть. Разговор Гамлета с матерью-королевой написан огнем, а не словами. Эта огненность, это напряжение страстей больше всего увлекали Лермонтова.

...Бонивар, Манфред, Гамлет, Пленник из поэмы Пушкина... нет, скорее Черкешенка; а теперь еще Чернец из поэмы Ивана Козлова, Селим из «Невесты абидосской» Байрона в переводе Козлова — все они собирались в гордое, мятежное единство, несмотря на одинокость каждого.

Их все прибывало, так как теперь недостатка в книгах не было. Их приносили Зиновьев и Святослав Раевский. Ими можно было пользоваться в небольшой, но хорошо подобранной библиотеке семьи Мещериновых, где Лермонтов довольно часто бывал, будучи дружен с тремя братьями этой семьи. Старший из них, Владимир, учился в 1827 году в четвертом классе того пансиона, в который собирался поступать и Лермонтов, а два младших — Петр и Афанасий — брали уроки у того же Алексея Зиновьевича Зиновьева.

Владимир Мещеринов любил читать, но совсем не то, что могло бы понравиться Лермонтову, — не увлекался ни Байроном, ни Пушкиным, а просиживал ночи над всякими путешествиями и военными приключениями, над «страшными» романами вроде «Удольфских тайн» Анны Рэдклифф. Кроме того, усиленно занимаясь французским языком, он делал переводы отрывков из Вольтера, Монтескье, Летурнера и других авторов, помещенных во французской детской хрестоматии Арно Беркена, которой терпеть не мог Жан Капэ, называя ее «холодной окрошкой». Любой автор, которого Беркен затаскивал в свою хрестоматию, делался поневоле проповедником; любой гений совершенно терялся здесь, как солдат в общем фронте... Стихи, проза, одноактные пьески, моральные поучения и прочее — все было брошено на то, чтобы задавить скукой душу ребенка с целью сделать ее справедливой и доброй... Лермонтова в Тарханах тоже изрядно помучили Беркеном учителя-французы, но Капэ решительно восстал против него. Он заменил его «Метаморфозами» Овидия и «Георгиками» Вергилия во французском стихотворном переводе.

Афанасий Мещеринов читал мало — он увлекался музыкой. С ним занимался Карл Геништа, отличный пианист, преподаватель университетского благородного пансиона. Афанасий разучил и хорошо играл, отзываясь на частые просьбы гостей, несколько трудных пьес Моцарта и Бетховена. Миша, совсем не стремившийся стать музыкантом, но всегда, будучи благодарным слушателем, горячо одобрял его.

Елизавета Алексеевна следит за тем, чтобы Миша был всегда занят. Уроки, чтение книг, рисование. Иногда Зиновьев идет с ним на прогулку, почти всегда излюбленным маршрутом: Поварская, по бульварам до Страстного монастыря, потом по Тверской до Охотного ряда, на Красную площадь, а там в Кремль... Именно с Зиновьевым

Лермонтов впервые поднялся на верхний ярус колокольни Ивана Великого и окинул взглядом Москву, словно пролетая над ее крышами, над громадой Сухаревой башни, над бульварами, Москвой-рекой, бедными домиками, монастырями и садами, пышными хоромами и многочисленными маковками церквей. Они поднимались туда несколько раз, и в хорошую и в дурную погоду. Миша не боялся высоты. Он всматривался в даль — окраины города переходили в поля, а дальше осенней мглою темнел горизонт...

Вместе с Мещериновыми и Аркадием Столыпиным он побывал в Большом театре. Давали «волшебно-космическую» оперу «Князь-невидимка» Катерино Кавоса. Как только раздались звуки увертюры и поднялся занавес, Миша вспомнил, что слышал эту оперу еще пятилетним ребенком, с бабушкой. Только и интересного оказалось в ней — его детские воспоминания... Как радовался он тогда — совсем вот как сейчас восьмилетний Аркашка Столыпин. Да и как не радоваться было, не изумляться, видя шагающего по сцене огромного слона, на котором волшебник Личарда принимает разные обличия, полет человека на облаке и прочее... Как и тогда, ложи полны детей. Миша незаметно отступил назад и лишь изредка взглядывал на сцену из-за портьеры. «Как это было давно! — с каким-то ужасом думал он. — Восемь лет пролетело. Неужели я все еще дитя?» Смешно было видеть, с каким простодушным удовольствием воспринимали все эти сценические чудеса взрослые господа и дамы, иные хохотали не меньше Аркашки. Детству иногда не бывает конца.

Мещериновы затеяли сделать дома кукольный театр. Собственно, театр марионеток. Столяру был заказан корпус самого театра — это был ящик, открытый спереди и сверху. Дети усердно обклеивали этот ящик золотой и серебряной бумагой, блестками и бисером, разрисовывали задник и пол, устраивали занавес и освещение. А когда принялись за кукол — то здесь пригодился Мишин талант. Он лепил из воска головы, руки и ноги, а все остальное делалось из всякой мишуры. Один за другим в картонной коробке для «актеров» появлялись арапы, рыцари, короли и королевы, карлики и великаны.

Дети спрашивали друг друга: а что будем играть? «Князя-невидимку»? Да разве его сыграешь... Может быть, «Кота в сапогах»? Владимир предлагал одноактные пьески Беркена, но Миша стал горячо доказывать ему, что

нет ничего более скучного, чем эти назидательные сценки о хороших и плохих детях... Рассказы, собранные Беркеном, тоже не годились для кукольного театра, — все эти идиллические пастухи и пастушки, восточные визири и мудрецы, беспутные юноши и спасающиеся из неволи матросы были только иллюстрациями к нравоучениям, нередко выраженным прямо в заглавиях: «Счастлив отец, имеющий доброго сына», «Надобно любить и быть любиму», «Человек, благотворительный и после своей смерти» и т. п. Куда лучше Беркена была мадам Жанлис, которую читали Мишины тетки в Кропотове.

— Но Беркен будет! — вдруг сказал Миша. — Завтра я его принесу.

Так появился смешной пузатый человечек в зеленом кафтане, в больших башмаках и треугольной шляпе... У него был большой смеющийся рот, крючковатый нос с бородавкой на конце и блестящие бусины вместо глаз. «Покажу я им, каков этот Беркен, толкующий о нравственных достоинствах человека, — думал Миша. — Сам-то он, видно, был хуже разбойника...» Миша придумал и пьеску на французском языке, где Беркен в первом действии приходит с рекомендациями к богатому маркизу, и тот берет его гувернером для своих пятерых детей; во втором писклявым голосом читает детям свои нравоучения, в третьем ведет своих подопечных на прогулку, заводит в лес и продает разбойникам, а в четвертом сидит в харчевне среди арапов и матросов и пьет из большой кружки. В пятом действии дети, сбежавшие от разбойников, ловят Беркена и бьют его палками. В конце концов является маркиз, который хватает Беркена за воротник и волоком тащит в полицию...

Миша сам водил Беркена, стоя на скамеечке за сценой. Театр был поставлен на столик и вдвинут в дверной проем — куски красной ткани закрывали пространство выше и ниже театра. Таким образом, публика, смотревшая спектакль, находилась в одной комнате, а актеры в другой. Пьеса о Беркене шла под неумолкаемый смех и рукоплескания. Зрителей набралось довольно много, не только детей, но и взрослых. Беркеном в России потчевали детей с 70-х годов XVIII века, так что он успел надоесть и отцам, и дедам, и матерям, и бабушкам...

Однажды, придя от Мещериновых, Миша узнал, что в Тарханах скончался Жан Капэ. Он вспомнил свое прощание с ним перед отъездом в Кропотово... Потом стал вспоминать все, что было с ним связано. Его рассказы о

Республике, стремительно превращавшейся в Империю... О походах Наполеона в Италию, Испанию, Египет... О покорении Европы. Наконец, о крушении великой армии. Капэ участвовал в Бородинской битве, был ранен и попал в плен. Так что самого ужасного для французов — их зимнего отступления из России — он не видел. Капэ столько раз заставлял Мишу переводить и переписывать отрывки из переведенных на французский язык Сент-Анжем «Метаморфоз» Овидия, что он запомнил их наизусть почти целиком.

Миша достал свой альбом (на днях он без всякого почтения к его роскоши вырвал из него лист и написал письмо Марии Акимовне в Апалиху) и принялся записывать некоторые отрывки из «Метаморфоз», потом балладу Лагарпа «Геро и Леандр» (тут ему нужна была сама легенда, а не легкое остроумие поэта) и кусочек из «Георгик» Вергилия в переводе на французский язык Делиля... Он вспоминал голос Капэ, диктовавшего стихи и расхаживавшего взад и вперед по дощатому полу. Геркулес, погибающий в пламени... Борей, похитивший свою возлюбленную... Самодовольный Нарцисс и несчастная нимфа Эхо... Леандр, обессилевший в бурных ночных волнах... Капэ как будто давал ему еще один урок. Миша вдруг заметил, что почти все переписанные им отрывки — о смерти... Это вышло само собой, ведь это были скорее поминки, чем урок... Какие все трагические истории! Он невольно вспомнил заключительные строки из прочитанных уже этой осенью «Цыган» Пушкина:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Последнее было — смерть Эвридики из «Георгик»: «Смерть закрыла ее глаза; нимфы, ее подруги, своими скорбными криками наполнили горы... Ее супруг удалился в дикую пустыню — там, в одиночестве, играя на лире и утешая свое вдовство, нежная супруга! — только тебя призывала его любовь...» Здесь Миша подумал о своем отце и мысленно перенесся в Кропотово. Там уже сады и леса облетели, шумит ветер... Поистине «дикая пустыня»! В камине трещит сухая коряга... Да, отец спустился бы и в ад, если бы было можно... «Нет, — подумал Миша печально, — не могу... Довольно». И написал внизу листа по-французски: «Я не кончил, потому что не мог».

Альбом остался лежать на столе. Миша больше не убирал его. Как-то зашел к нему в комнату Святослав

Раевский — он уже два месяца жил по приглашению Елизаветы Алексеевны в доме на Поварской, но Миша видел его нечасто, так как Святослав, окончивший нравственно-политическое отделение университета, осенью стал еще усерднее посещать лекции — он ходил сразу на три факультета, слушая лекции Мерзлякова, Павлова, Сандунова, Перевощикова.

— Ну что ты тут переписываешь! — сказал он, перелистывая голубой альбом. — Ведь это рухлядь.

Миша вспыхнул, но промолчал, не стал говорить, что это за стихи и зачем они тут.

— Ты бы лучше поступил так, как многие студенты. Они переписывают себе в тетради поэмы Пушкина, Байрона, «Сашку» Полежаева, «Горе от ума» Грибоедова. Вон какая толстая у тебя тетрадь, что только сюда не войдет... Под одной обложкой будет у тебя целая библиотека. А я, как обещал, найду тебе многое.

— Но у меня эта тетрадь уже начата. Как быть?

— Очень просто. Прямо на следующем листе... Открывай, открывай! Вот тут пиши: «Разные сочинения».

Миша написал. Ниже вывел свои инициалы, сделал росчерк, проставил дату: «1827 года — 6-го ноября».

— С чего бы ты начал?

— С «Шильонского узника».

— Хорошо. Но не лучше ли начать с Пушкина? «Шильонский узник» прекрасен, но ведь мы с тобой еще не знаем, сколько там Байрона, а сколько Жуковского, между тем как Пушкин говорит с нами напрямую, на родном языке. И ты ведь не ставишь его ниже Байрона?

Об этом Миша еще не думал. Однако в нем шевельнулся некий слабый протест. Шевельнулся и умолк, еще не осознанный. Родной — не родной... Как это так — не родной? Почему не напрямую, — разве не напрямую?.. Байрон — Пушкин... Пушкин — Байрон... Ладно, Пушкин. Но что именно Пушкина? Как ни нравился ему «Кавказский пленник», помещать его в начало собрания ему не хотелось. Все восхищало его в этой поэме, но будь его воля... он изменил бы немного сюжет. Если уж нельзя не гибнуть черкешенке, то для чего судьба милостива к пленнику, который оставил ее на смерть... «Цыганы»? Он боялся признаться себе, что они ему тоже не во всем по душе.

— Начну с «Бахчисарайского фонтана», — сказал он. — А потом будет «Шильонский узник».

В «Бахчисарайском фонтане» было какое-то особенное

очарование — недосказанность, отрывочность, таинственная дымка грусти... Здесь тоже гибнут, но не блещет кинжал и не брызжет кровь, как в «Цыганах». Язык страстей благороден и сдержан. Неподвижность и сон чередуются с огнем и бурей. Иногда они и вместе — так сабля Гирея, поднятая в битве для удара, застывает в воздухе... Зарема угрожает Марии смертью, но Мария сама не хочет жить. Автор гадает:

Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..

Но Зарема «в ту ночь, как умерла княжна», была утоплена по приказанию хана. Может быть, хан ошибся, — думал, что Марию умертвила она? Или он казнил ее только за то, что она угрожала польской княжне? Читатель должен связывать все эти концы, угадывать истину этого «преданья старины», о которой журчит фонтан в заброшенном дворце... Угадывать, но не угадать. Вместе с поэтом он предается «неизъяснимому волненью», вместе с ним скачет верхом по дороге близ моря, где шумит «зеленеющая влага».

Переписывая поэму, Лермонтов так сроднился с ней, что кое-где позволял себе заменить то или иное слово Пушкина своим, переставить слова, а в двух местах сделал сокращения — десять строк и две. В обоих случаях очень искусно. В первом выбросил обобщенное описание «ночей роскошного Востока» и соединил разорванное действие (ему показалось, что тут его разрывать не нужно), во втором — строки из речи Заремы, ничего, как он думал, не прибавляющие к прочему, сказанному ею. При сокращении даже рифмовка не нарушилась: рифма была тройная.

Но переписывал он не один. Кто-то, но не Святослав Раевский, проникся интересом к этой переписке и вошел «в долю»: после 404-го стиха «Бахчисарайский фонтан» переписан — до конца уже — другим почерком — красивым, очень хорошо выработанным. Этот переписчик был, как видно, старше и опытнее Лермонтова, так как внес ряд поправок в переписанный им текст: это были мелкие ошибки и описки.

«Шильонский узник» начат той же неведомой рукой. Мише, очевидно, уже надоела эта коллективная переписка поэм, и он охотно уступает перо. Вторую поэму он пере-

писывал, начиная со второй главы. Кончил на шестой строке, даже не на точке, главы седьмой. И все. Дальше, и опять, как при переписке первой поэмы, до конца (в поэме четырнадцать глав) шла рука чужая... За «Шильонским узником» в альбоме не последовало ничего, он был заброшен — решительно и навсегда. Совет Святослава Раевского не пошел впрок. Кто-то навязался Лермонтову в сопереписчики, кому он не мог почему-то отказать, и все испортил.

Испортил, но это вышло к лучшему, так как Миша давно уже хотел писать свое. Глядя на страницы переписанных поэм, он видел уже за ними свои... свое... И он начал писать. Правда, больше сидел над бумагой, чем писал, но пальцы его сжимали и вертели перо, голова клонилась к столу, отяжелев от напряжения чувств, — слишком много накипело в душе... Все разом просилось в стихи. Трудно было выбрать что-нибудь в этом многоголосом урагане. Тоска по матери... Вьюга, разыгравшаяся за окном... Сгорающий в пламени Геркулес... Прикованный к скале Прометей... Вершины Кавказа... Кропотовская пустынная осень... Любовь... Еще любовь... Свившись в один вихрь вместе со стихами Пушкина, Байрона, Жуковского, Козлова — все это пылало в его груди и заставляло набрасывать на листах синеватой почтовой бумаги пробные строфы и строки, зачеркивать их, рисовать профили... Несколько первых листов он порвал и сжег на свече. Но дальше стал все черновики складывать в ящичек.

Лавина еще не сорвалась, но уже сдвинулась и нависла над краем пропасти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В Тарханах впервые за многие годы было немноголюдно. Ни мальчиков из соседних имений, ни учителей. В доме пустовато и тихо. Дворни почти не видно. Крестьянские дети, товарищи Лермонтова по играм, теперь заняты работой — их детство кончилось. Да и Мише чем-то давним и далеким казались теперь их воинственные забавы — то штурм, то защита земляных валов потешной крепости.

Миша привез сюда учебные книги. Зиновьев дал ему на лето довольно большое задание. Кончилась долгая зима. Сколько он за эту зиму прочитал! То, что его увлекало, он запоминал раз и навсегда... Это были целые поэмы, стихотворения, а во многих случаях — отдельные места, строфы или даже просто строчки, чем-нибудь его поразившие... Иногда ему и не хотелось запоминать точно — он пересочинял целые отрывки по-своему.

В середине февраля в дом на Поварской приехал отец. Он пробыл дня три и большую часть времени был занят делами. Он должен был заложить в казну свое имение, то есть 140 душ крепостных, чтобы продолжать вести жизнь в привычных рамках и не скатиться в полунищету. Сестры выдали ему от себя доверенность, и он хлопотал. В последние годы доход от имения падал. Осенью 1827 года цены на хлеб были необычайно низкими. В этом, 1828-м, произошло дальнейшее падение цен, так что от продажи кропотовского урожая особенной поправки делам не ожидалось. Многие помещики в округе занялись винокурением, но Юрию Петровичу претил такой выход из положения (которым не пренебрегали, например, Столыпины). Винные заводы... винные откупа... нет, это для кого угодно, но не для него. От забот еще более посуровел Юрий Петрович.

Он посмотрел Мишины рисунки, покопался в книгах, порасспрашивал об учителях и друзьях, прогулялся с Мишей по Тверскому бульвару. Видно было, что в Москве ему неуютно, что его интересует здесь только сын. Но сын по воле обстоятельств отходит от него все дальше, и уже не остается надежд на совместное житье. Юрий Петрович уверен, что жить ему остается недолго. Да нет и охоты жить долго, ведь душа, самая родная ему на свете, — *там*... Уже давно и светло пели в нем строки Жуковского: «Приют сокровенный! желанный предел! Туда бы от жизни ушел, улетел».

Миша отчасти угадывал его настроение... И вот он уехал в Кропотово, пообещав навестить сына после первых выпускных экзаменов. Он перекрестил его и сухими губами поцеловал в лоб. Миша остался в своей комнате, где отец простился с ним, и долго сидел, сжав руками голову. Его охватила ярость, все существо его закипело возмущением — раб, раб, раб! Этим словом он беззвучно клеймил себя. За то, что не может уйти с отцом... за то, что еще мал и зависим... опутан жизнью, словно цепями... Да, надо ждать годы! И надо гнать их, чтобы летели скорее! И началась эта гонка, этот бег, полет...

Он успел показать отцу свои стихотворные пробы — тут были «Стансы к***», «Элегия», несколько антологических эпиграмм в духе Дмитриева или Батюшкова, «Цевница», кое-где проложенная отдельными словами из «Беседки муз» Батюшкова, «Эльбрус» (первое излияние любви к Кавказу), послание «К***» и два отрывка на темы «Метаморфоз» Овидия — «Геркулес» и «Прометей». Кроме того, он начал писать поэму о черкесах, но это был пока еще хаос набросков, даже сюжет не придумался.

Юрий Петрович из всего похвалил одну «Цевницу»:

— Ты в ней соединил Батюшкова с Жуковским. Твоего я тут ничего не вижу, но написано чисто, легко и с чувством.

Он прочитал вслух:

Там некогда моя последняя любовь
Питала сердце мне и волновала кровь!..
Сокрылось всё теперь: так, поутру туманы
От солнечных лучей редеют средь поляны.
Исчезло всё теперь; но ты осталось мне,
Утеха страждущих, спасенье в тишине,
О милое, души святое вспоминанье!..

Юрий Петрович внимательно посмотрел сыну в глаза:

— А ведь это, знаешь ли, о моих обстоятельствах... У тебя-то какая «последняя любовь», какое «вспоминанье»... Но ты молодец. И о мече предков к месту... Я возьму эти стихи.

Ну, как жить без отца?

...Весной опять несказанно поразил его Байрон. В мартовской книжке «Атенея», который издавал инспектор Университетского благородного пансиона Павлов, было напечатано стихотворение Байрона «Мрак» в переводе Врончено. Это были стихи о гибели мира. Миша был поражен огромностью темы. Когда потухло солнце, началась страшная агония человечества. Вот эту агонию — в невыразимо жутких деталях — и описывает Байрон. Он как бы хватает читателя за шиворот и грубо, резко ставит перед страшным, хотя и условным, итогом его жизни на Земле. Смотри и думай, говорит он. Зачем понадобилось поэту пугать людей — даже не светопреставлением, а каким-то жалким протуханием без всякой надежды — ни на жизнь за гробом, ни даже на мучения в аду? Словно оскорбленный всеми гнусностями человеческой жизни, поэт внезапно гасит солнце. Что за этим? О чем думал Байрон? И вот, наконец, то главное, о чем думал Байрон, создавая это мрачнейшее стихотворение, открылось Лермонтову: Байрон призывал людей перемениться! Оставить ложь, вражду, начать любить друг друга и Землю, все на Земле... верить, что добро необходимо всей Вселенной во всей ее бесконечности. Байрон плохо верит в возможность таких перемен. Среди живых существ нашелся только один пес, не утративший любви и верности. Он охранял труп своего хозяина «от птиц, зверей и человеков»:

Без пищи сам, с протяжным, скорбным воем
Холодную лизал он долго руку
И вдруг залаял жалобно, и умер.

Значит, главное в человеке — любовь. Без любви нет человека — душа его мертва и недостойна вечной жизни... Лучше быть псом, умирающим на трупе своего хозяина, чем одним из жестоких «тощих» («тощие съедали тощих»)! Человек алчный, не знающий любви, не может и умереть достойно. Человек без любви — не человек... Так сколько же в мире людей? Можно ли их разглядеть в толпе тощих (обладающих нередко и временной полнотой)? И тех и других надо уметь видеть сейчас, не ожидая гибели солнца.

Любовь! Лермонтов начинает думать о ней, понимать ее. Всякая его любовь слита со страданием. Истинная любовь, кажется ему, только такова... Вот он приехал в Тарханы. И сразу почувствовал, что они для него стали другими — освященными воспоминаниями. О матери... О детских играх. Вот беседка у плотины, где читал он впервые «Шильонского узника». Вот комната бедного Капэ — она пустует со дня его кончины. У окна кровать, накрытая серым одеялом... На столе две-три книги... в углу сундучок с пожитками, который не знают, куда отправить... Миша взял себе кизиловую палку, привезенную гувернером с Кавказа, поставил ее в уголок у дверей своей комнаты. Потом пошел в село.

Лето было пустынное, тихое. Шан-Гиреи уехали куда-то. Дядьку своего, Андрея Ивановича, Миша отпустил к родным погостить... Ему хотелось побыть в одиночестве. Надо было многое написать... И уж бог с ними, с учебными книгами!

Еще в Москве нарисовал он обложку для своей поэмы, которой дал название «Черкесы»: скрещенные пистолеты, горка пуль, лира... Внизу печатными буквами записал конец «Эпилога» из «Кавказского пленника» Пушкина, но записал по памяти, невольно пересочинив некоторые строки и расставив свои знаки. Собственно, из этого отрывка и выросла первая поэма Лермонтова. В то же время (в Москве, весной) задумал он своего «Кавказского пленника», который давно уже жил в нем, как перекипевший и пересоздавшийся в его сознании пушкинский. В той же тетради нарисовал он вторую обложку — прямо на следующем листе. Он четко написал «Кавказкой пленник», пропустив нечаянно букву «с». А на обороте акварелью изобразил горца, который влечет на аркане пленного русского... Лермонтов тщательно и любовно разработал на этом рисунке пейзаж — ряды коричневых, синих и белых гор, буйный поток, уступами падающий по ущелью, деревья, кусты и синее небо... Две обложки — одна за другой... «Черкесов» писать тут уже было негде, и он начал их просто на листе бумаги — в Тарханах.

Сюжет «Черкесов» прост, но самостоятелен. Некий черкесский князь увидел «вещий сон» — его брат, плененный русскими, явился перед ним и просил освободить его. Черкесы выступают в поход, но внезапное нападение на русский город не удается — они разбиты... Поэма написана не по-пушкински, то есть не в том байроническом

духе, который отличает первые поэмы Пушкина. Она не отрывочна, внимание читателя от прямого действия никуда не отвлекается. В ней вообще нет не только байронического, но и никакого героя. Действуют массы: черкесы с одной стороны, русские — с другой. Так и кажется, что Лермонтов, едва начав писать, задумал нарушить утвердившийся тогда пушкинский канон, вызвавший множество рабски-подражательных поэм на «пленнические» и «гаремные» темы.

Но тут не обошлось без некой подсказки. Один умный человек, скрывшийся под цифровым псевдонимом «9.11», поместил в мартовской книжке «Московского вестника» за 1828 год статью «Нечто о характере поэзии Пушкина» — первый разбор поэм Пушкина, как это и отметил критик. «Кавказским пленником» начинается *второй период пушкинской поэзии*, который можно назвать *отголоском лиры Байрона*... Подобно Байрону, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую надежду, и почти каждому из его героев можно придать название *разочарованного*», — пишет этот «9.11».

Было видно, что автор статьи один из истинных почитателей поэзии Пушкина. «Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недостатки? — спрашивает он сам себя. — С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоценные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни русского народа!» В Пушкине, говорит автор статьи, много «национального, чисто русского», его нельзя «назвать простым подражателем... Пушкин там даже, где он всего более приближается к Байрону, все еще сохраняет столько своего особенного, обнаруживающего природное его направление, что для вникавших в дух обоих поэтов очевидно, что Пушкин не случайно встретился с Байроном, но заимствовал у него или, лучше сказать, невольно подчинялся его влиянию. Лира Байрона должна была отозваться в своем веке, быв сама голосом своего века».

Пушкин, как говорит «9.11», «много уступал» влиянию на него Байрона, и это жаль, так как он, «сохранив более оригинальности, по крайней мере в наружной форме своих поэм, придал бы им еще большее достоинство». И вот главное, на что обратил внимание Лермонтов: «Такое влияние обнаружилось прежде всего в «Кавказском пленнике». Здесь особенно видны те черты сходства с

Байроном, которые мы заметили; но расположение поэмы доказывает, что она была первым опытом Пушкина в произведениях такого рода, ибо все описания черкесов, их образа жизни, обычаев, игр и т. д., которыми наполнена первая песнь, бесполезно останавливают действие, разрывают нить интереса и не вяжутся с тоном целой поэмы. Поэма вообще, кажется, имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но являются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные стороны. Зато какими достоинствами выкупается этот важный недостаток! Какая поэзия разлита на все сцены! Какая свежесть, какая сила чувств! Какая верность в живых описаниях! Ни одно из произведений Пушкина не представляет столько недостатков и столько красот».

Два содержания... каждое отдельно... нить интереса... Отчего бы не попробовать написать поэму прямую как стрела? Сжатую накрепко, словно кулак бойца? И уж, конечно, не для соперничества с Пушкиным, потому что Пушкин — это Пушкин, а Лермонтов — Лермонтов... Поскольку множество отрывков было готово (в основном картины битвы — ему давно хотелось описать битву в четырехстопных ямбах), он кончил поэму в несколько дней.

Одиннадцать небольших глав, или больших строф, сцепились в крепкое единство. В первой — обстановка жизни черкесов, природа; во второй — обстановка войны и постоянных тревог; в третьей — сбор черкесских вождей для совещания; в четвертой — постановка задачи; в пятой — обоснование этой задачи (нападения на русских); в шестой — ожидание утра для выступления в поход; в седьмой — русский город, не ожидающий нападения; в восьмой — тревога в городе; в девятой — начало битвы; в десятой — основное развитие сражения и разгром черкесов; в одиннадцатой — успокоение, наступающее в русском городе. Ни посвящения, ни эпилога, ни примечаний, ставших уже необходимой частью байронической поэмы, в «Черкесах» нет.

Но Лермонтов все же не рассчитывал, что кончит свою поэму так внезапно. Описав битву и заключив десятую главу следующим образом:

Помалу тихнет шумный бой.
Лишь под горами пыль клубится.
Черкесы побежденны мчатся,
Преследоваемы толпой

Сынов неустрашимых Дона,
Которых Рейн, Лоар и Рона
Видали на своих брегах,
Несут за ними смерть и страх, —

он вдруг встал в тупик... Вождь черкесского войска, князь, убит, дружины его разгромлены и рассеяны. Брат князя остался в плену... Лермонтов стал думать: а не устроить ли этому пленнику побег? Вот он обманул часовых; вот он уже в горах и сзывает соплеменников на месть... Что тогда? Но тогда — еще один бой, черкесы опять будут разбиты, их князь также может погибнуть... и все это будет повторением уже написанного! То есть двинется по прежнему кругу, а не вперед...

Итак — первая поэма написана... В ней есть чужие строки, но они вживлены в текст искусной, не ученической рукой. В первой главке, в описании леса, использован отрывок из сказки Дмитриева «Причудница», но без изменений взята только одна строка («В глуши кукушка занывает»); остальные пять-шесть строк лишь напоминают соответствующее место сказки. Вторая глава начинается строкой из «Невесты абидосской» Байрона в переводе Козлова, а в середину вкраплено четыре стиха из пушкинского «Кавказского пленника». В пятой главе четыре слова из «Освобождения Москвы» Дмитриева. Шестая начата строками Козлова из «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой» («Восток алея пламенеет, / И день заботливый светлеет...»), — далее есть еще две строки из этой поэмы. В эту главу очень естественно влился отрывок из элегии Жуковского «Славянка», но из шестистопного ямба Лермонтов сделал четырехстопный, сжав и изменив длинные строки. В седьмой главе еще кусочек из «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой». В девятой несколько строк из «Освобождения Москвы». В десятой — семнадцать с половиной строк из «Сна воинов» Батюшкова, а также первая строка «Эпиграммы» Пушкина — «Лук звенит, стрела трепещет» (Лермонтов перед «Лук» подставил для размера «Уж»...). Можно найти в этой поэме и более смутные отблески и отзвуки чужого, но она сделана на удивление уверенно, так, что никаких «швов» не видно. Она самостоятельна не только в замысле, но и в таком вот образе заимствований. Видно, что это делал *не подражатель, не раб*.

В одном из номеров «Атенея» Лермонтов нашел статью, написанную Павловым: «Различие между изящными искусствами и науками», в которой было объяснено,

как показалось Лермонтову, именно его, Лермонтова, отношение к миру литературы. «Что значит оратория Гайдна «Сотворение мира»? — спрашивает Павлов и отвечает: — Мысль, отпавшая от своего творца и в звуках принявшая особое, предметное существование. Где Гомер? Уже протекли столетия, как сошел он с позорища мира, а его творения как предметы самостоятельные существуют доселе... Если каждое произведение изящных искусств изображает собою мысль или понятие, то что представят нам все произведения, вместе взятые, подведенные умственно под одну точку зрения? Особый мир, мир понятий и мыслей, обращенных в предметы. Мир сей отличен от целой вселенной... Это позднейшее создание, *новая природа*, зиждитель оной —человек, венец, краса природы творческой».

...Во-вторых, «новая природа»; во-вторых, с точки зрения одного человека. Вот теперь — Лермонтова... Еще где-то (Павлов печатал статьи во многих журналах и альманахах) Лермонтов нашел романтическое уподобление «предметов» в природе (в «старой», главной, и в «новой», то есть в изящных искусствах) — *морю*, волны которого и есть эти предметы.

Святослав Раевский, рассказывая Мише о профессорах университета, с особенным жаром и подробностями обрисовывал знаменитейшего из них — Павлова; он не пропустил ни одной его лекции по «физике», хотя сам был на словесном отделении. Все словесники бросались в аудиторию, где читал Павлов, где он учил, что *философия* (а ведь это было на лекциях по физике...) не есть особая наука, но что каждая наука должна быть философией. Науки же — все — должны слагаться в общую систему. По Павлову, образовываться — значит учиться мыслить. Многие факты и детали, воспринятые на лекциях, — говорил он, — могут и забыться, но останется главное — «образование», то есть умение анализировать, учиться, пробиваться к своему, избранному в жизни знанию. Он учил выбирать свой путь в море природы. Павлов зажигал студентов страстью к изучению наук, которые переставали быть кучей накопленных фактов, сухих сведений... Искусства, особенно поэзия, сливались с философией... Поэт, гениальный поэт расширяет свою вселенную вдвое... Как и в старой, в новой природе ничего не построишь из ничего: так учение Павлова вышло из философии Шеллинга и Окена... Но надо быть хозяином, не подражателем, не рабом.

— Знаешь ли, что такое, по Павлову, материя, то есть вещество? — сказал Раевский. — Огонь! А огонь есть соединение двух сил — света, то есть силы расширительной, и тяжести, силы сжимательной. Павлов говорит, что природа — Феникс, сгорающий и из пепла своего возникающий.

Мишу это страшно поразило... Огонь! Все состоит из огня... Человек — огонь... Мысль — огонь...

Окончив «Черкесов», Лермонтов не перевел дыхания, не почувствовал, что нужна остановка: огонь продолжал пылать... Заглавный лист «Кавказского пленника» и рисунок, изображающий главную сцену поэмы, были перед ним. С кавказского лета 1825 года он раздумывал над характерами пушкинских героев. Пушкинский Пленник, сильный и смелый человек, без колебаний взял свободу из рук Черкешенки и дал ей погибнуть, не предприняв ничего для ее спасения... В течение нескольких лет Пленник, живший в представлении Лермонтова, утратил героические черты и всю байроническую загадочность, то есть превратился в довольно ничтожную личность: такая-то личность и скрывалась — глубоко — в образе пушкинского героя. А Черкешенка стала еще более сильной и самоотверженной.

У Лермонтова Пленник уже не одинок. Он также пасет стадо, но и сам входит в толпу, бессловесное, покорное стадо других пленников, которых черкесы, пригоняя их с поля в аул, просто привязывают к ограде, словно скотину.

Так же, как у Пушкина, у Лермонтова две части, но их он еще разделяет на отмеченные цифрами строфы, а посвящения, эпилога и примечаний нет у него и здесь. Обе поэмы начинаются одинаковой сценой: в ауле (у Лермонтова «близ саклей», у Пушкина «на своих порогах») «черкесы... сидят» и беседуют. У Пушкина действие развивается стремительно — уже во второй строфе конный горец доставляет в аул Пленника... У Лермонтова после сидения горцев за курением табака продолжается описание их быта. Черкесы садятся на коней, а «черкешенки младые» забираются на горы и смотрят на дорогу... Там Терек, лес, табуны... Затем следует сцена, напоминающая нечто из «Бахчисарайского фонтана»: там — в гареме у фонтана, здесь — у «потока нагорного» резвятся девушки; одна только строка взята у Пушкина буквально: «Сидели резвою толпой». Далее Лермонтов описывает

возвращение в аул пастухов-пленников. В шестой строфе черкесы готовятся к нападению на русских, а в седьмой — вот только где, — появляется верховой:

Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника...

У черкеса появилось имя — Гирей: может быть, из «Бахчисарайского фонтана», а может, Лермонтов вспомнил ашуга Керим-Гирея. Как и в «Черкесах», в этой поэме много заимствований, и они так же умело использованы. Больше всего — из Пушкина: из «Кавказского пленника» и «Евгения Онегина». Несколько строк из «Андрея, князя Переяславского» Бестужева-Марлинского и из «Невесты абидосской» Байрона в переводе Козлова.

Пленник Пушкина по своему характеру не чужд живописным и грозным горам — он хорошо вписывается в героический кавказский пейзаж:

Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи...

Он «бури немощному вою / С какой-то радостью внимал», а Пленник Лермонтова:

Блистая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал.

В природе он находит символы своей жалкой участи:

И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает,
И видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг — и вновь
Их с криком кверху поднимает...
Так! думал он, я жертва та,
Котора в пищу им взята.

Он слаб, немощен. Все его чувства настолько угнетены неволей, что он не может понять, зачем к нему ходит Черкешенка, — не верит в ее жалость к нему, тем более в любовь... Нет, он нисколько не похож на пушкинского Пленника и не раскрывает, как тот, своей души

в ответ на страстные речи, на любовь Черкешенки. Как и что он сказал ей — остается неизвестным, об этом можно только гадать по ее словам:

...но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.

Хотя ничего такого Пленник не говорит в поэме, он лишь молча видит в «блистающих очах» Черкешенки другой образ («вечно милый»), в ее речах — «знакомые он слышит звуки»... Но ничего не говорит в отличие от пушкинского Пленника, который произнес целую речь, подобно Онегину, увещевавшему Татьяну после ее письма к нему... Пушкинский Пленник не молчал угрюмо, он ласкал Черкешенку, говорил с ней... И все же и о нем можно сказать, как Лермонтов о своем Пленнике: «Слезы девы черноокой / Души не трогали его».

Черкешенка Лермонтова более требовательна. Она любит Пленника и призывает его забыть «другую». Она готова с ним «бежать на край вселенной», и хотя Пленник считает себя обреченным и собирается умереть здесь, в цепях, она от этих цепей его освобождает и чуть ли не силой тащит к свободе. В конце поэмы они гибнут оба, — Пленника убивает выстрелом из ружья отец Черкешенки, а она бросается в реку. В заключительных строках вообще нет речи о Пленнике, — тут обличается злодейство отца, погубившего дочь.

Мысль Лермонтова продолжала лихорадочно работать. Его удивило, что «9.11», критик, писавший в «Московском вестнике» о Пушкине, совершенно отрицательно отозвался о «Братьях разбойниках». А между тем поэма Пушкина так коротка, в ней так мало действия, что о характере исповедующегося перед собратьями разбойника трудно делать окончательные выводы. Его судьба только намечена. Он, конечно, злодей, но у него было тяжкое детство, унижения, обиды — люди приложили свои усилия, чтобы столкнуть его с прямой дороги. Да, он злодей. И все-таки есть в нем искра любви и доброты: он любил брата, в нем жило, хотя и глубоко запрятанное, насильно затолканное на дно души, сострадание; он сознавал себя, как это часто бывало среди русских разбойников, «грешником», страшился Божьего гнева и, отверженный Богом, все же испытывал иногда потребность вознести к нему молитву (он не лишен был возможности спасения, как тот разбойник, который распят был рядом с Христом)... «9.11» не считает этого героя

байроническим, то есть сильным, вознесенным над толпой. Он говорит, что, кроме «красоты стихов», «в этой поэме нет ничего поэтического».

Но не забыл ли критик Байронова «Корсара»? Этот грозный вождь пиратов, отважный мореход, лев в битве и аскет в жизни, мог быть в начале судьбы своей вот таким разбойником, как у Пушкина... Нет-нет, этот злосчастный «9.11» противоречит себе! Ведь вот что пишет он сам далее, поругав «Братьев разбойников» и «Цыган» за различные недостатки: «Любимая мечта британского поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает его холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живет в его сердце и день и ночь, поглощает в себя все бытие его и отравляет все наслаждения. Но в каком бы виде она ни являлась: как гордое презрение к человечеству, или как мучительное раскаяние, или как мрачная безнадежность, или как неутолимая жажда забвения — эта мысль, всеобъемлющая, вечная, что́ она, если не невольное, постоянное стремление к лучшему, тоска по недосягаемом совершенстве? Нет ничего общего между Чильд-Гарольдом и толпою людей обыкновенных: его страдания, его мечты, его наслаждения непонятны для других, только высокие горы да голые утесы говорят ему ответные тайны, ему одному слышные. Но потому именно, что он отличен от обыкновенных людей, может он отражать в себе дух своего времени и служить границею с будущим, ибо только разногласие связует два различные созвучия». Да, да, и конечно, «стремление к лучшему»! Все — и презрение, и безнадежность, и мрачность...

«Шильонский узник», «Корсар», «Невеста абидосская» Байрона, «Братья разбойники» Пушкина и «Андрей, князь Переяславский» Бестужева снова и снова, попеременно и все вместе будоражили душу Лермонтова. На бумагу легла первая строка третьей его поэмы сумасшедшего тарханского лета:

Друзья, взгляните на меня!..

Так начинается «Шильонский узник» («Взгляните на меня: я сед»). Начинается исповедь — основа основ той поэзии, о которой уже стал мечтать Лермонтов. У Байрона Бонивар, Мазепа рассказывают о себе, а главное — Гяур, исповедующийся перед стариком-монахом. Правдивая, запечатленная страданием исповедь — священнейший долг человека перед Богом... Новая поэма Лермонтова получила название «Корсар». Ее начало — со второй строфы — напоминает «Братьев разбойников». А самая первая строфа — как бы последняя, так как подводит итог еще нерассказанной жизни Корсара:

Исчезло всё!.. одни страданья
Еще горят в душе моей.

История его жизни начинается, как у пушкинского разбойника, с описания сиротской жизни в чужих людях:

Я не видал своих родимых, —
Чужой семьей воскормлен я...

У Пушкина: «Вскормила чуждая семья...» И далее:

Один лишь брат был у меня,
Предмет всех радостей любимых.
Его я старе годом был,
Но он равно меня любил,
Равно мы слёзы проливали,
Когда всё спит во тьме ночной,
Равно мы горе поверяли
Друг другу жаркою душой!..

На этом отзвуки «Братьев разбойников» в «Корсаре» кончаются. У Пушкина братья решили покончить с жалкой сиротской жизнью и пошли грабить и резать людей... Один из братьев умирает только после побега из тюрьмы, в конце поэмы. У Лермонтова же младший из братьев умирает в третьей строфе, то есть эта смерть делается исходной точкой всего дальнейшего, а не заключением. С этой же точки начинаются загадки поэмы. Брат умер неизвестно отчего — «вдруг». Старший потрясен его смертью. В то же время:

Но сожаленье, не любовь
Согрели жизнь мою и кровь...

Но ведь любовь была. А смерть вызвала всего лишь «сожаленье». Образ лепится как из воска, как бы на глазах... Сразу после смерти брата начинает складываться личность героя поэмы — Лермонтов набрасывает ее разорванными фразами, не объясняя ничего... Собственно жизнь — реальная — остается за текстом. При лепке образа Лермонтов пользуется строками из пушкинских «Кавказского пленника» и — в большей степени — «Евгения Онегина». Кроме того, Лермонтов откровенно работает со штампами, общими байроническими фразами, но, может быть, благодаря юношеской шероховатости

стиля они как-то освежаются. И все это — заимствования и штампы — легко ложится в текст; с каждой строфой возрастает художественность поэмы, ее поэтическая прелесть.

Поэма шла вперед. Корсар решил бежать, но куда и зачем — он не знал и сам. Он взял кинжал и пистолеты... Его влек вперед «вихорь сердца молодого» (так убегают — бестолково и стихийно — подростки в «дальние страны»). На берегу Дуная он сидел на камне (как многие герои поэм Пушкина, Байрона, Козлова, Бестужева, Рылеева...), потом простился с могилой брата и отправился в путь. На пути, в лесу, кое-какие решения стали приходить ему в голову: «Я в Грецию идти хотел, /Чтоб турок сабля роковая/ Пресекла горестный удел», — то есть он пытался не с разбоя начать, а с борьбы за освобождение угнетенных, в этом случае угнетенных турками греков. Лермонтов пишет поэму как бы без плана — первая часть оказывается по смыслу как бы последней. А вторая и третья части должны как будто бы поместиться перед последней строфой первой части. Так прихотливо Лермонтов вел свой байронический рассказ о... не то борце за свободу Греции, не то о пирате, атамане шайки. Его положение двойственно. А мы ведь еще не знаем, чем так страшно истерзана его душа!.. чем грозит ему Рок! Все это тайна, тайна... Исповедь не доходит до самых глубин.

Кое-где Корсар удивляет читателя сообщением о каких-то «светлых» моментах его прошлой жизни.

...я готов теперь бы дать
Всё, что имею, за те годы,
Которые уж я убил
И невозвратно погубил, —

говорит он. Корсар кипит в яростных битвах и в то же время «слезы льет», вспомнив «золотые» годы юности, которых, как помнится читателю, вроде бы не было; но надо заметить, что память человека своенравна, и бывает, что самые тяжкие детство или юность вспоминаются светло. Создается впечатление, что Лермонтов рисует характер, а не действующее лицо. Он рисует портрет души Корсара, которая в процессе своего возникновения и бытия и теряет и приобретает какие-то черты... Загадки останутся, но что-то и прояснится, если поиметь в виду, что Лермонтов, рисуя Корсара, стремился излить и свою собственную душу, не всегда в связи с содержанием. В самом деле — в любой байронической поэме один из главных героев — сам автор. А нередко он берет себе не одну роль, а две или даже три.

Третья часть «Корсара» — описание бури и гибели греческого судна — стремительна и великолепна. Сюда между прочим с неожиданной легкостью лег отрывок из оды Ломоносова (о буре), и тут нельзя не удивиться еще раз тонкому чувству Лермонтова, находившему свое и так далеко. Ломоносов у Лермонтова может сойтись с Байроном и слиться с ним в едином потоке.

Много загадок в «Корсаре». Загадочен и конец его — трудно понять, отчего Корсар «омертвел», потерял покой и способность любить. Подобно «Бахчисарайскому фонтану» эта поэма Лермонтова полна недосказанностей и тайн. Из трех первых поэм Лермонтова она самая искусная, красивая и поэтичная и если бы тогда же попала в печать, то, без сомнения, произвела бы на читателя самое хорошее впечатление.

Вот так и прошло лето. В августе он уехал с бабушкой в Москву.

2

Целый год не было у Лермонтова гувернера, и он не хотел никого. Кто мог заменить ему покойного Капэ?.. И тем не менее бабушка такого нашла. Когда Миша приехал в Москву, его встретил француз, настолько напоминавший Капэ, что Миша изумился... То же смуглое, сухое лицо и строгие черные глаза, та же седина в тщательно подстриженных волосах, тот же высокий рост. Просто чудеса! Бывший наполеоновский офицер... гвардеец... капитан... Он встретил юношу без улыбки, слегка пожал ему руку и выразил надежду, что у них не будет разногласий. Это был Жан Пьер Келлет-Жандро, который, как и Капэ, застрял в России, учительствовал в Петербурге и Москве, был официально экзаменован и получил разрешение преподавать французский язык, всеобщую историю и географию. Как и многие бывшие соратники Наполеона, он находился под секретным надзором и в Петербурге, и в Москве. Обер-полицеймейстер Шульгин еженедельно рапортовал московскому генерал-губернатору Голицыну о «поведении» Жандро.

Лермонтову предстоял вступительный экзамен. Зиновьев и Жандро в последние две недели августа беспрерывно экзаменовали его — он все прекрасно знал. На

вступительных экзаменах оказался одним из лучших. И вот с 1 сентября он начал ездить в пансион. Дядька Андрей Иванович отвозил его в Газетный переулок к восьми часам, когда начинался первый урок. С двенадцати до двух были обед и отдых, а с двух до шести вечера снова «классы». После этого Миша, как полупансионер, уезжал домой, а полные пансионеры занимались повторением уроков, отдыхали, ужинали и расходились по своим спальням. Нередко Миша приезжал в пансион и в воскресенье, когда устраивался бал с приглашением гостей или спектакль, поставленный силами учеников. В таком случае Лермонтов привозил целую компанию — во-первых, бабушку, во-вторых, своих кузин и кого-нибудь из друзей. Бахметевы, Лопухины, Верещагины, Поливановы перебывали в пансионе и завели там знакомства.

После тарханского одиночества Лермонтов опять попал в кипучее море молодой жизни — новые товарищи, большой круг родных и знакомых. Кроме того, бабушка попросила Марию Акимовну Шан-Гирей прислать своего сына Акима — не в гости, а на житье, в постоянные товарищи Мише, хотя у них была большая разница — не только в возрасте, но и в общем развитии. Вслед за Акимом приехал еще один приглашенный — Николай Давыдов, воспитывавшийся в Тарханах вместе с Лермонтовым еще в 1820—1824 годах. Тогда сестра его Пелагея Гавриловна учила их в Тарханах русскому языку. Мать Николая Давыдова, Марья Яковлевна, имела усадьбу вблизи Тархан, в деревне Пачелма, и была давней приятельницей Елизаветы Алексеевны.

Миша не был рад ни тому, ни другому. Аким, черноглазый, недалекий в ту пору мальчик девяти лет, добрый, очень привязанный к Мише, годен был пока лишь для игр в веселую минуту. Приехав, он осмотрел комнату Лермонтова, страшно удивился, что у него целый шкаф книг, а на столе вороха тетрадей, журналов, перья, карандаши... Он раскрыл одну тетрадь и увидел стихи под названием «Стансы к***». Ему очень хотелось спросить, что такое стансы и зачем тут три звездочки, но промолчал, думая, что, верно, глупо этого не знать... Николай Давыдов был старше Лермонтова на год, он готовился в университет и не был интересен ровно ничем. Был грамотен, то есть почти не делал ошибок в письме, и обладал прекрасным почерком, что сулило ему в будущем карьеру чиновника в любом департаменте.

Всех троих принял под свою команду властный Жандро. Впрочем, Миша видел своего гувернера только по вечерам, да и то не всегда, так как часто выезжал в гости. Поэтому вся суровость Жандро падала на Давыдова и особенно на Шан-Гирея, не отличавшегося ни трудолюбием, ни сообразительностью.

Миша легко вошел в пансионскую жизнь. Среди новых товарищей он прослыл шутником и остроумцем, а также силачом — во время послеобеденного отдыха он отличался в играх, происходивших на дворе. Во что только не играли там — в лапту и чехарду, в горелки и даже взятие снежной крепости. К широкоплечей фигуре Лермонтова очень шла пансионская форма — синий сюртук со стоячим малиновым воротником и синие брюки. Это, собственно, была форма студентов Московского университета, но студенты имели на воротнике по две золотых петлицы, а пансионеры по одной.

«Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность, — пишет в своих воспоминаниях о пансионе этого времени Дмитрий Милютин. — Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали... Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтическою школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева («Войнаровский»). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху), или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова... Один из моих товарищей издавал другой журнал — «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания».

Чуть ли не каждый второй воспитанник пансиона

мнил себя поэтом и сочинял стихи. Это даже не казалось никому из них особенно трудным. Различные «Эстетики» и «Риторики», а также руководства к стихосложению (Баккаревича, Рижского, Мерзлякова и т. д.) казались им прямыми практическими руководствами. Главное — выбрать тему, соблюсти меру «прекрасного» да попотеть над стройностью речи и точностью рифм. Многие пускались не столько в изучение, сколько в нетерпеливое перелистывание фундаментальных теоретических трудов по литературе — многотомных «Лицея» Лагарпа и «Принципов литературы» Баттё. Стихи и поэмы читались учениками на торжественных актах, литературных собраниях и просто в дружеском кругу. Они попадали в рукописные журналы, в домашние альбомы и даже в издания московских журналистов, которым вечно не хватало материалов... В пансионской библиотеке было множество сборников, напечатанных в типографии Московского университета, все они состояли из трудов пансионеров, но все уже были в прошлом: «Распускающийся цветок» (1787), «Полезное упражнение юношества» (1789), «Утренняя заря» (от 1800 до 1808-го), «И отдых в пользу» (1804), «В удовольствие и пользу» (1810 и 1812), сборники «Каллиопа» (1815, 1816, 1817 и 1820) и другие.

Инспектор пансиона Павлов подумывал о возобновлении этой традиции и время от времени делился своими соображениями с профессорами Дубенским, Зиновьевым и Мерзляковым. Однако никого из них не удовлетворяла всеобщая гладкопись и неизбежная подражательность, царившие в сочинениях пансионеров, отличавшихся, впрочем, по большей части прекрасной начитанностью, знанием языков. «Молодо — зелено» — так обыкновенно оценивал Алексей Федорович Мерзляков, поэт и профессор риторики и красноречия, подаваемые ему для прочтения стихи... Иные из учеников стихотворствовали очень активно — это Степан Жиров, Семен Стромилов, Николай Колачевский, Иван Грузинов. Многие занимались прозаическими переводами. Из стен пансиона в разное время вышло немало литераторов — Владимир Одоевский, Степан Шевырев, Лукьян Якубович, Александр Грибоедов, а в еще более раннее время — Александр Воейков, Павел Свиньин, Николай Грамматин, Михаил Милонов, а главное — Василий Жуковский, память о котором живет в пансионе особенно ярко (он окончил его в 1800 году). Всем стихотворцам пансиона путеводной звездой светит слава Жуковского, некогда бессменного

секретаря литературного общества в пансионе. Сколько надежд, сколько радужных планов на будущее витало в юношеских головах! Почти никто не мечтал сделать себе карьеру, добиться чинов и званий... Хотели быть писателями, философами, путешественниками, художниками... А потом проходило время, и остывали горячие головы.

В пансионе Лермонтов сделался «клиентом» Зиновьева — так это здесь называлось. То есть он находился под постоянным наблюдением своего бывшего домашнего наставника. У всех преподавателей были среди учеников свои «клиенты», и за это они получали от их родителей особую плату. Уроки Зиновьева часто превращались в лекции по словесности. Но так случалось не только с его уроками, для пансиона это было обычным явлением. Так и Дмитрий Никитич Дубенский, прирожденный эстетик и критик, читавший в том же четвертом классе русскую грамматику и латинский язык, редко оставался в рамках предмета. Дубенский занимался стиховедением. Осенью 1828 года он издал книгу под названием «Опыт о народном русском стихосложении», в которой доказывал превосходство народного стиха над книжной поэзией, что многих поражало новизной... «Для чего не искать нам, — писал он, — в старинных русских песнях законов и тайны стихотворного склада, не прислушиваться к народной поэзии». Он щедро цитировал известный сборник Кирши Данилова, беря оттуда примеры из былин и песен. «Время заглянуть нам в свою национальную сокровищницу, — заключает Дубенский книгу, — куда несколько поколений склали свои любимые привычки, родной быт, обычаи, доблести народные, проявя все это в простой самостоятельной пиитической форме, образовавшейся по такту сердца».

В пятом классе вел уроки законоведения профессор гражданского и уголовного права и юрисконсульт Московского университета 60-летний Николай Николаевич Сандунов. Уроки его, как и лекции в университете, привлекали массу посторонних своей занимательностью. Собственно, юридических теорий, да и римского права, профессор не признавал — он учил в точности следовать существующим законам и беспощадно преследовать их нарушителей, сколь бы высокого звания они ни были. Его звали «оракулом Москвы», так как вся Москва обращалась к нему за советами. На уроках он рассказывал о старинной русской юриспруденции, приводил различные

примеры, всегда находя что-нибудь оригинальное или смешное, — это помогало слушателям запоминать рассказанное. И вот этот строгий законник тридцать лет тому назад перевел «Разбойников» Шиллера, и они еще не сошли со сцены с тех пор. В 1827 году перевел он и «Коварство и любовь»... Около десятка его собственных пьес шло в театрах Петербурга и Москвы, а также и на пансионской сцене. Еще более удивительным казалось то, что он сочинял стихи... Брат его, Сила Николаевич, был известный московский актер. Они были из грузин (настоящая их фамилия Зандукели), но обрусели настолько, что сыпали русскими пословицами и поговорками на каждом шагу.

Что говорить о Мерзлякове и Раиче — это признанные стихотворцы, ученые-словесники; их уроки были самыми заманчивыми для Лермонтова, но они преподавали в старших классах — пятом и шестом. Большинство рукописных журналов тоже выпускалось в старших классах. Но пятый класс для Лермонтова — это уже следующий год!

Он перезнакомился почти со всеми старшеклассниками. Рукописные журналы всегда попадали в его руки. Он читал их дома. Его очень интересовало, что пишут... Он находил там все жанры — элегии, послания, баллады, поэмы. Писали обо всем — о Кавказе тоже. Посвящали стихи друзьям и красавицам. Переводили Байрона. Не забывали Шиллера и Гёте. Перепевали Пушкина и Жуковского. Начитавшись этого, Лермонтов достал свой ящик с рукописями, пересмотрел их и больше половины порвал и выбросил. Были еще в журналах прозаические отрывки — «рассуждения» и «мысли», «разговоры» и «анекдоты»... Подписей почти нигде не было — все буквы, цифры или явно выдуманные фамилии. Все было очень красиво переписано. С особенной тщательностью отделывалась обложка.

Аким Шан-Гирей и Николай Давыдов с жадностью набрасывались на журналы. Лермонтову немного смешон был их искренний восторг перед этими чудесами каллиграфии и сочинительства. Но все-таки и в нем проснулся дух соревнования. Он объявил в классе, что начинает издавать журнал... Дома сшил довольно толстую тетрадь из глянцевой голубоватой бумаги и красиво написал на обложке: «Каллиопа. Ежемесячный журнал словесности и наук. № 1. 1828». Название он позаимствовал от альманаха, издававшегося в пансионе до 1820 года. Ну,

кто такая Каллиопа, он тут же разъяснил Акиму и Николаю: муза эпической поэзии и науки, мать великого песнопевца Орфея... Поскольку почерк Лермонтова ни в малой степени не был каллиграфическим, то эту тетрадь он передал Николаю: «Ты будешь редактором. Я стану доставлять тебе сочинения, а ты вписывай их сюда».

Лермонтов оставил свой домашний журнал незаполненным, тем более, что подходили дни испытаний, — он оканчивал четвертый класс, придя в него даже не в середине года, а в последнюю четверть. Экзамены длились с 13 по 20 декабря. Лермонтов набрал тридцать баллов, а для перевода в пятый класс достаточно было двадцати четырех. «Я сижу 2-м учеником», — писал он после экзаменов Марии Акимовне Шан-Гирей.

Вспомнив ее просьбу о картинке и стихах для альбома, Лермонтов пишет: «Прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, — а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание.

Вот стихи:

ПОЭТ

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души моей кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Всё тише, и призрáк бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

М. Л.».

20 декабря, в день последнего экзамена (по французскому языку — пустяки!..), Миша приехал домой очень радостный. Окончен четвертый класс. Он промчался так

стремительно, что Мише казалось — он взял его приступом, с ходу, с марша. И дальше бы так... Жизнь-то ведь коротка. Остались пятый и шестой классы, гораздо более трудные, набитые многоразличными предметами до отказа, но их все же всего два!.. И уже сейчас можно рисовать себе картины дальнейшего. Скажем, учения в университетах Берлина, Парижа... Или — офицерский мундир и подвиги на Кавказе... Но в любом случае — слава Поэта.

Юрия Петровича Миша застал беседующим с месье Жандро. Его вдруг поразило их сходство — они одного роста, оба одеты в темное, оба седоватые, но еще не старики... И тот — капитан в отставке, и другой тоже... Но когда-то это были враги! И может быть, даже встречавшиеся на поле брани! Оба они были в той войне ранены. И у каждого, но уже по-особенному, изувечена жизнь. Оба полны такого достоинства, которое любому счастливцу не снилось. Миша вспомнил еще одно, и сердце его сжалось, — они оба больны. А другие, прочие! — они толпой возникли в Мишиной голове и сгинули. Их тысяча не стоит этих двух.

Юрий Петрович и Жандро остались довольны «Ведомостью о поведении и успехах Университетского благородного пансиона воспитанника 4-го класса М. Лермонтова», подписанной инспектором Павловым. В семь часов вечера был обед с приглашенными, на котором торжественно председательствовала Елизавета Алексеевна, во все дни Мишиных экзаменов маявшаяся зубами. Она была очень представительна в отделанном черными кружевами темном платье и высоком старинном чепце без лент. Щека у нее немного припухла, лицо было бледно, но большие глаза сияли добротой и радостью, несмотря на присутствие за столом Юрия Петровича... Здесь были кое-кто из Столыпиных и Арсеньевых, Верещагина с дочерью Сашей, семейство Бахметевых, Святослав Раевский. Сразу после веселого застолья Юрий Петрович и Миша покинули гостей, так как им нужно было побыть вместе — Юрий Петрович наутро собирался ехать, не желая на Рождество оставлять сестер одних.

Разговор шел тихий и ровный. Дом давно опустел. Ушел к себе Жандро. Бабушка, вероятно, легла спать. Отец и сын иногда умолкали, прислушиваясь к шуму ветра и думая об одном, своем заветном. В эти минуты они жили настоящей, а не навязанной обстоятельствами жизнью. Все мироздание было их домом — и Мария Михайловна, конечно, была с ними. Это была семья неразлучная — неразлучная в вечности...

Миша опять рассказывал о пансионских учителях и друзьях. «Точно ли они твои друзья?» — спросил отец, и спросил именно то, о чем Миша думал. Да, их трое — Дмитрий Дурнов, Михаил Сабуров, Дмитрий Петерсон. Все годом старше Лермонтова, но учатся с ним в одном классе, — вот теперь перешли в пятый. Один — добряк и лентяй, другой — изящный острослов, живой как ртуть, переменчивый, пылкий, третий — полон тайн, чего-то затаенно-злобного, умный как бес, но не знаешь, что он сделает в следующую минуту. Друзья? Да нет, — Миша испытывает их по-своему, он почти готов поверить... Но сближение идет трудно.

Книг на полках прибавилось. Юрий Петрович берет то одну, то другую. «Гамлет» в переводе Вронченко... «Откуда?» — спрашивает отец. Миша рассказывает, что он любит заходить в лавку Ширяева на Страстном бульваре. «Под Шаликовым?» — улыбается отец. Миша смеется. В самом деле — почему-то кажется смешным, что князь Шаликов живет над книжной лавкой. Конечно, тут нет ничего смешного, но все-таки... Как вспомнишь его фигуру, прогуливающуюся на Тверском... Да и все анекдоты о нем. Отец продолжает перебирать книги. Вот альманахи, только что изданные «Стихотворения Ивана Козлова»... четвертая, пятая и шестая главы «Евгения Онегина»... «Разбойники» Шиллера в переводе Кетчера, это уже не сандуновская переделка... Все от Ширяева. В деньгах бабушка не отказывает. Но Миша берет книги, а Ширяев записывает. С деньгами Миша не имеет дела.

Миша развязывает большую папку с рисунками — это штудии, деланные под руководством учителя рисования, приходящего на дом, Александра Степановича Солоницкого. Здесь копии с гравюр. Юрий Петрович ставит листы на стул, рассматривает. «Не подаришь ли мне вот эти?» — говорит он, откладывая два рисунка. «С большим удовольствием!» — восклицает Миша и краснеет. Он засуетился, начал рыться в папках, нашел пустую: «Положим их вот сюда», — сказал он, убирая рисунки в папку и отдавая ее отцу. Потом в руках Юрия Петровича оказалась тетрадь со стихами. Он прочитал последнее, посланное Марии Акимовне, — «Поэт» — и сказал: «У тебя талант... это дар Божий... береги его». Это и было главное. Вот так говорили они о том и о сем, перебирали

книги и рисунки, потом стихи, — и вдруг сказалось самое нужное... Отцом! А отец и не подозревал, какую волшебную опору дал он своему сыну в его мечтах о поэзии.

3

В первый же день каникул, 1 июля 1829 года, Лермонтов отправился с бабушкой в имение Столыпиных Середниково. Дом здесь у Екатерины Аркадьевны великолепный. Главный корпус в два этажа, с круглой башенкой наверху и четыре флигеля, тоже с башенками. Въездные ворота с затейливыми вереями, каждая в четыре колонны под общей железной крышей. В середине решетки ворот, наполовину поднимаясь над ней, четко рисуется на зелени деревьев черное кованое солнце, — когда ворота открываются, оно разделяется пополам. Дом, флигеля, колонны — все массивное, выстроенное в 70-е годы XVIII века, — не только красиво, но и прочно.

В 1825 году это имение купил у прежних владельцев брат бабушки Лермонтова Дмитрий Алексеевич Столыпин, генерал-майор, служивший в Южной армии. Но недолго наслаждался он красотой здешней природы — скоропостижно скончался здесь, в Середникове, в январе 1826 года. В библиотеке Середникова стоят в шкафах тома «Артиллерийского журнала», где закладками отмечены написанные Столыпиным статьи. Вот и книга его — «О фортификационном профиле», на французском языке. Рядом — издание на русском языке 1828 года, — эту книгу перевел ученик Московского университетского благородного пансиона Петр Юркевич.

Миша поднялся в ротонду. День был солнечный, но ветреный, тревожный. Покачивались огромные лиственницы по бокам широкой каменной лестницы, спускающейся к пруду. Со всех сторон волнами закипала листва парка. За прудом речка, над которой, на холме, приютилась со своими амбарами и огородами деревенька. Луг взбегает на холм, пестреющий цветами, змеится тропа по склону. Трудно уйти из этой башенки, с этого балкончика, окружающего ее. С писком пролетают над зеленой крышей ласточки. Так близко от Москвы — и такое благоухание, тишина... Место для Миши новое, но как будто знакомое: что-то здесь есть и от Тархан, и от Кропотова.

Последние полгода были довольно тяжелы. В пятом классе занятий гораздо больше, чем в четвертом. Ни в

пансионе, ни дома нет передышки. Хлопотливая жизнь! Лермонтов слушал Сандунова, Каченовского, Мерзлякова, Раича, Василевского, Перевощикова. Перевощиков пробудил в нем любовь к математике: отобрав из класса четверых учеников, профессор начал с ними ускоренный курс, чтобы в два года пройти его от начал до дифференциального исчисления. Близ Трехгорной заставы у Перевощикова была астрономическая обсерватория (и математику и астрономию он читал в пансионе и университете) — тут, в вечерние зимние часы, совершал он с учениками мысленные полеты от созвездия к созвездию. Божье мироздание раздвигалось до немыслимых пределов...

Профессор истории Василевский, некогда блестящий лектор, но теперь как бы угасший и несколько вялый, читал по своей потертой тетрадке о новейших событиях в Европе — от французской революции до падения Наполеона... Лермонтов старался записать все, но старичок часто возвращался к уже рассказанному, а иногда в одну фразу вколачивал события за несколько лет...

Семен Раич, узкоплечий маленький человек с длинными волосами, всегда оживленный и даже вдохновенный, поэт, переводчик Вергилия и Тассо, издатель «Новых Аонид», преподавал в пансионе «Практическую российскую словесность», в отличие от Каченовского и Мерзлякова, занимавшихся теорией. Из русских поэтов он более всего любил Державина и Дмитриева, а затем Батюшкова. Мысли его о поэзии были довольно просты. Он считал, что «дидактика», то есть нравоучительность, «полезность» стихов, должна уравновешиваться их «приятностью», благозвучием, чтобы ум и сердце, одновременно получая пищу, сливали это воедино. В своих собственных стихах он старался быть легким и разнообразным, но старание проглядывало все-таки сквозь вдохновение. А особенно в переводах. В 1828 году он выпустил в четырех томиках «Освобожденный Иерусалим» Тассо, но не воспроизвел в нем классической итальянской октавы, а передал всю поэму двенадцатистрочной строфой с чередованием четырехстопных и трехстопных ямбических строк. Что хорошо было в балладах Жуковского, то оказалось на удивление скучным в эпической поэме... Но упрямый Раич принялся за новую большую работу — тем же балладным складом начал переводить «Неистового Роланда» Ариосто. И все же, и все же — когда Раич входил в аудиторию или открывал заседание литературного Собрания в библиотеке пансиона, — с первого взгля-

да было видно, что это поэт, что стихи для него — воздух, которым он дышит. Пансионские стихотворцы больше тянулись к нему, чем к Мерзлякову, который хотя и был тоже поэтом, но уже несколько отодвинутым в прошлое. Раич был в свое время его учеником, ходил на публичные чтения о поэзии, которые Мерзляков устраивал для всей Москвы. И действительно, вся Москва, любители словесности из всех слоев населения, набивалась в те залы, где Мерзляков «разбирал» огромную поэму Хераскова «Россиада» или рассказывал о Гомере, Вергилии, Тассо. Ему было около пятидесяти лет. Сил у него оставалось мало. Публичных лекций он уже не читал, но пансионеры и студенты все еще слушали его с увлечением. Не держа под рукой никаких книг и записей, Мерзляков на кафедре всегда импровизировал — ему помогал колоссальный запас знаний. Небольшого роста, с простоватым лицом, он говорил, по-мужицки напирая на «о», слегка заикаясь, но голос у него был звучный, красивый, завораживающий. Его все любили. Но пансионские стихотворцы еще и боялись. Никакой снисходительности к ним он не проявлял и говорил прямо, что стихи — *плохие* (по большей части они таковыми и были). И уж конечно, похвала от него многого стоила...

Всю жизнь он репетировал, то есть давал частные уроки, так как всегда жил в нужде. Бабушка, не спросивши согласия Миши, пригласила Мерзлякова для домашних занятий с ним. Профессор приходил раз в неделю. Мише с ним было почему-то дома неловко. Эти занятия его тяготили, он делался угрюмым и скованным. А Мерзляков, если у него не налаживалось хорошее понимание со слушателем, терял почти все свое красноречие... Однако некоторые мысли его хорошо запомнились Лермонтову. Мерзляков говорил о том, что «наружные прелести сочинения» — красота слога, живость и сила языка — не могут быть главными при суждении о его достоинстве. «Мысль и чувство есть душа творения, — говорил он. — Им поэт жертвует иногда и самой гармонией слога, им посвящает и новый, не вошедший еще в общее употребление оборот или слово... В руке великого писателя все облагораживается, оживотворяется, в руках обыкновенных все цветущее вянет и сохнет... Отчего Гомер, Феокрит, Вергилий не только в хороших, но и в посредственных переводах узнаны и всегда остаются друзьями всех, которые совсем не знают ни по-гречески, ни по-латыни? Оттого, что истинное и вечное достоинство

заключается в сущности сочинения и остается равно неизменным для всех народов и во всех веках, оттого, что сочинение может стареть в наружном облачении или слоге, но внутренние красоты его действуют всегда в своей мере и силе, а потому и всякая похвала, относящаяся единственно к слогу и красотам его, не должна составлять главной и существенной цены творения».

Да, Раич говорил о том же, но насколько убедительнее продуманные заключения Мерзлякова!

...Облака темнели. Сквозь них пробивались последние лучи солнца. Как быстро наступил вечер! Снизу донеслись звуки фортепиано, послышались голоса. Во флигелях засветились окна. Стал виден костер на реке. Через двор прошли две старушки с книгами в руках — читали в парке. Это гостьи Екатерины Аркадьевны. Служанка несет за ними зонты и складные стулья. У Екатерины Аркадьевны всегда живут какие-то дальние, вовсе неведомые Мише родственники. А вот отец сюда не приедет. Мишу будто что-то кольнуло в сердце. Он сбежал вниз и через минуту оказался в своей комнате. Сел у окна... Нет, отец не приедет... Виделись они в этом году всего два раза — в феврале и мае. Как всегда, мимолетно. Однако в феврале, 6-го числа, смотрели вместе «Разбойников» Шиллера с Мочаловым в роли Карла Моора. А 19 мая — «Тридцать лет, или Жизнь игрока», мелодраму Дюканжа и Дино, тоже с Мочаловым — в роли Жоржа де Жермани, молодого человека, который проиграл в карты свое состояние, впал в нищету и вынужден был жить в лесной хижине, чтобы укрыться от кредиторов.

Картежник! И больше как будто ничего! Но Мочалов играл его так тонко, с такой страстью, что он выглядел чуть ли не падшим ангелом, в котором оставалось немало чистого и благородного. Три акта пьесы — три разных возраста Жоржа. В первом он юноша. Негодяй Вернер, его злой гений, толкает его в бездну. Он пытается сопротивляться, но напрасно. В последнем акте он старик, в нем живет сознание страшной катастрофы, постигшей его душу. До сих пор звучит в ушах Лермонтова потрясающий голос Мочалова в заключительной сцене: «Теперь пойдем, злодей! Я от тебя не отстану! Клянусь в том адом!» — Жорж тащит своего губителя в горящую хижину... они погибают вместе... Картежник! Шулер! Да, но... Лермонтов вспомнил благообразных вельмож с картами в руках, в трубочном дыму... Что они? Кто лучше — Жорж или такой вот бездельник со звездой, — это еще

вопрос. Лермонтов почти готов был ответить на такой вопрос в пользу Жоржа.

В «Разбойниках» Сандунов изрядно ощипал Шиллера, но несколько сильных мест осталось, и тут, на фоне в общем скучноватого спектакля, давал себя знать великий талант актера. Один — игрок. Другой — разбойник. Оба они преступники в глазах благоразумия. Но той части благородства, которая в них есть, хватит на тысячу «честных» людей! Сандунов перекроил «Разбойников», но эта трагедия давно известна Мише в ее настоящем виде. и не в переводе. У него есть Шиллер, Лессинг и Гёте на немецком языке.

На дворе раздался шум — стук колес, топот лошадей, восклицания. Замелькали фонари... Еще кто-то приехал к Екатерине Аркадьевне. Гостиная будет полна стариков и старух. Из молодых никого пока нет, кроме Аркашки Столыпина. Жаль, что нет Жандро! И что за несчастная судьба у этих бравых наполеоновских офицеров? Капэ погиб от чахотки. Жандро все крепился, но перед отъездом в Середниково слег. Дай Бог, чтобы прошло, пронесло. Неуютно им на чужбине. Россия для них слишком сурова. Как нарочно, и лето нынешнее прохладно.

Нет, отец не приедет сюда. Миша взял большую книгу в кожаном переплете — сочинения Байрона в одном томе, изданные на английском языке во Франкфурте-на-Майне в 1826 году, раскрыл. На титульном листе виньетка: картина морской бури, гибнущий корабль, молнии, яростные валы у скал на переднем плане. Эту книгу купил в лавке Горна отец. В последний свой приезд в Москву. Там же он купил для сына собрание стихотворений Томаса Мура, также на английском языке и в одном томе, и тоже изданное не в Англии — в Париже. Миша подумал об этом по-своему: это *изгнаннические* книги, то есть книги поэтов трудной судьбы. Юрий Петрович, узнав, что Миша обожает Байрона, читает переводы его на русский, французский и немецкий языки и все, что может найти о нем, что его очень интересует Мур, а уж о Шекспире и говорить нечего, — решил, во-первых, купить ему эти книги, а также словарь и грамматику, а во-вторых, объявить Елизавете Алексеевне о желании сына и предложить ей нанять учителя английского языка. Вероятно, он говорил с ней об этом (Миша не слыхал). А пока Миша учит английские слова и сразу пытается читать Байрона. Начал он со «Сна», поверяя себя прекрасным переводом Врончено, напечатанным в июне 1827 года в «Московском телеграфе».

Ах, этот «Сон»! Маленькая поэма полна откровений. Это история двух жизней, любви, разлуки, страданий. Целая трагедия. Шиллер бы и сделал из этого трагедию. Поистине, как говорит Байрон: «Мысль наша и во сне/ Объять способна годы, сократить/ В единый час деянья долгой жизни...» Лермонтов снова окунулся в этот «Сон». Ему так в нем все было близко, все так растравляло его душу, что он стал думать, не с ним ли это было... не с ним ли это будет!

Он вспомнил Кавказ, девочку с синими глазами. Если бы их не разлучили, все равно было бы так — или похоже — как у Байрона. Разве это не горько? И в то же время невозможно забыть лета в Кропотове. Миша не раз видел Анюту Столыпину в Москве и всякий раз уверял себя, что его любовь к ней — до гроба... Могли ли встречи в Москве быть похожими на кропотовские? Нет. Не могли... Ведь она в Москве сделалась совсем другой. Не про нее ли в «Сне» — «любила тайно она другого...»? А ведь из этого вот что стало: юноша сделался «бездомным странником». На пути его мелькнуло некое ложное счастье, обман, и он снова вернулся к своему горю и к одиночеству:

Все существа, с ним бывшие, исчезли
Или восстали на него; он стал
Раздорами, враждою окруженный,
Погибели и разрушенья метой:
Мученье было яств его приправой...

Да это все он — Манфред... Конрад... Чернец... Гамлет... Его узнаешь сразу — он всю душу приводит в трепет.

Несколько дней Лермонтов перебирал свои стихи, написанные с начала этого года, одно за другим переписывал в новую тетрадь, озаглавленную «Мелкие стихотворения». Батюшков начинал свои «Опыты в стихах и прозе» посланием «К друзьям» («Вот список мой стихов...»). Только что вышел первый том сочинений Веневитинова, изданный посмертно, — он также открывается стихотворением «К друзьям»... А древние? Катулл, римлянин, вызывающе назвавший свой сборник-свиток «Безделки», открыл его посланием к другу — историку Корнелию Непоту. Раздумывая над этим, Лермонтов в рассеянности чертил на обложке тетради быстрые завитки и делал рос-

черки, нечаянно поставил несколько клякс, в разных местах пробовал очиненное перо, брал другое, снова писал: «Проба пера...»; «Милостивому государю...», «Проба...», «Милости...», «Мило...» — название тетради скрылось словно в облаках, тем более что Лермонтов нечаянно размазал рукавом написанное. Он думал. Он решал важный вопрос: кому посвятить свое собрание «безделок»? Вот послание к Петерсону — оно не годится. «К Дурнову» («Я пробегал страны России...»)? Оно слишком спокойно таким спокойствием, какого нет в жизни... Дурнов хороший товарищ, но в нем нет страстей, словно его мирная и веселая душа спит. Если ему открыться во всем-всем — он не поймет.

Лермонтов стал думать о Сабурове. Он похож на Петерсона скрытой, но хорошо видной, по крайней мере ему, Лермонтову, порочностью. Петерсон еще до пансиона был посажен на хлеб и воду за распутство. Теперь по просьбе родных (отец его англичанин) за ним усиленно надзирают. Он ругает весь свет и не верит ничему. Сабуров уверен в себе, красив, блестящ. На хлебе и воде он не сидел, так как хитер и очень осторожен. В нем есть даже черты благородства. Но... Вот он не верит, что Миша в самом деле презирает мелкие «удовольствия». Сколько раз Сабуров отворачивался от Лермонтова, думая, что он скрывает что-то. Дружба их почти сразу дала трещину. Дело в том, что некий Вернер, юноша, уже вышедший из пансиона, стал раздувать в Сабурове страсти игрока и повлек его в бездну. Может быть, Мише это только так казалось. Как бы ни было, вот и стихотворение... Ему вспомнился Пушкин: «Когда твой друг на глас твоих речей...» (это напечатано в «Московском вестнике» прошлого года). Лермонтов представил себе Сабурова гибнущим, а себя верным другом, готовым на все для его спасения. Стихи сложились быстро:

Вот, друг, плоды моей небрежной музы!
Оттенок чувств тебе несу я в дар.
Хоть ты презрел священной дружбы узы,
Хоть ты души моей отринул жар...
Я знаю все́: ты ветрен, безрассуден,
И ложный друг уж в сеть тебя завлек...

«Пир», «Веселый час», «К друзьям», «Эпиграмма», «Мадригал», «Романс», «Портреты»... Последние — пять словесных изображений пансионских товарищей, и одно, шестое (по порядку номеров первое), — попытка очертить некий контур, в котором он и сам пока не стал бы признавать себя. Но это он, хотя, быть может, и не совсем в жизни, скорее на сцене и в гриме, а узнать все-таки можно:

Он некрасив, он невысок,
Но взор горит, любовь сулит,
И на челе оставил рок
Средь юных дней печать страстей...

Здесь он назвал себя одиноким «природы сыном» и уподобился «сухому листку», гонимому бурей.

Потом переписал в тетрадь элегию «К Гению». Тот, кто столь резкими штрихами был очерчен в первом «портрете», перешел от общих слов к подробностям своей жизни. Он бросился в самую пучину своих страстей — вспомнил лето в Кропотове:

Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь, взор
Без цели бродит вкруг, прошедших дней укор
Когда зовет меня, невольно, к вспоминанью:
Какому тяжкому я предаюсь мечтанью!..
О сколько вдруг толпой теснится в грудь мою
И теней, и любви свидетелей!.. Люблю!
Твержу забывшись им...

То были «последние» радости, «пламень» которых отгорел... «Неверная дева» не знала, что она уже не властна над этим пылким сердцем, что *та яблоня* для него — памятник *былого* («Здесь жили вдохновенья!»). А может быть, ему *былое* нужнее того, что может быть *сейчас*. Прекрасное, совершенное, неизменяемое... Дева может быть неверна, может забыть («Но ты забыла...»), но былое живет само по себе и только в одном сердце. Уже не пылающем. Они забыли оба, но по-разному:

Но, милая, зачем, как год прошел разлуки,
Как я почти забыл и радости и муки,
Желаешь ты опять привлечь меня к себе?..
Забудь любовь мою! покорна будь судьбе!
Кляни мой взор, кляни моих восторгов сладость!..
Забудь!.. пускай другой твою украсит младость!..

Затем было переписано «Покаяние» — разговор «девы» с «попом». Дева, грешница, как оказалось, пришла вовсе не для покаяния, а единственно для исповеди, для рассказа о себе, — и нисколько не ради спасения:

Я спешу перед тобою
Исповедать жизнь мою,
Чтоб не умертвить с собою
Всё, что в жизни я люблю!

Это нераскаянная грешница... Она рассказывает о своих грехах, но не только не сожалеет о них, а хочет, чтоб в памяти «попа» они сохранились и тем как бы продолжили ее грешную — столь дорогую ей — жизнь... Эта «дева» полностью во власти Сатаны... Это путь «забывающей», способной на «неверность»... Да, это Анюта Столыпина!

Лермонтов заболел. Вот он лежит, бабушка приходит часто и сидит с ним... рассказывает о том, о сем, и о балах... Конечно, не сама ездила туда, а рассказали. Лермонтов думает об Анюте Столыпиной. Она сегодня едет в Благородное собрание. А он болен и перечитывает Батюшкова. Два стихотворения, переведенные Батюшковым из Парни, слились в одно... В первом умерший юноша появляется возле своей возлюбленной — он игрив и подобен невидимой бабочке, порхающей вкруг «тайных прелестей». Во втором — обманутый любовник становится привидением (еще при своей жизни), какой-то фурией, преследующей везде «клятвопреступницу». Вспомнил «Завещание» Веневитинова, который как будто знал, что его смерть — на пороге... Он молит возлюбленную: «Не забывай!» Грозит ей мщением из-за могилы:

И если памятью преступной
Ты изменишь... беда! С тех пор
Я тайно облекусь в укор;
К душе прилипну вероломной...

Лермонтов подумал, что ведь и он может в любую минуту умереть. Вот возьмет и поднимется еще больший жар... А если так, зачем терять время? И он начал писать стихотворение, озаглавив его «Письмо»:

Свеча горит! дрожащею рукою
Я окончал заветные черты.
Болезнь и парка мчались надо мною,
И много в грудь теснилося — и ты
Напрасно чашу мне несла здоровья,
(Так чудилось) с веселием в глазах,
Напрасно стала здесь у изголовья,
И поцелуй любви горел в устах.
Прости навек!..

«Так чудилось»... И когда письмо окажется в ее руках, —

Быть может, я, при песнях погребальных,
Сойду в мой дом подземный навсегда!..
Но ты не плачь: мы ближе друг от друга,
Мой дух всегда готов к тебе летать...

В обращении к другу — к Дурнову («Романс») — Лермонтов бросает общий взгляд на свое прошлое и неожиданно, а для себя совершенно естественно, оценивает его двумя словами — «отчаяние» и «счастье». Это для него синонимы. Потом опять мелочь — два перевода из Шиллера, не обработанные, а выбросить жаль. Послание к Сабурову, тоже пустяковое, да к тому же полное какого-то нехорошего — мстительного чувства («Я оттолкну униженную руку...»; «Таких друзей не надо больше мне...»; «...будешь в горе ты, /И не пробудится в душе моей участье!»). Затем чепуховые эпиграммы и язвительное послание к Грузинову, которого он уже обрисовал в «Портретах» как скучного, смешного не только для Лермонтова, но и для московских красавиц модника, у которого щечки — «полненькие сливы». Грузинов как-то говорил Лермонтову, что он все свое время отдает стихам, что это необыкновенно трудный удел для человека, словом, что он приносит себя «в жертву музам». Он чуть не заплакал от обиды, когда Лермонтов передал ему листок, где было написано следующее:

Скажу, любезный мой приятель,
Ты для меня такой смешной.
Ты муз прилежный обожатель,
Им даже жертвуешь собой!..
Напрасно, милый друг! коварных
К себе не приманишь никак;
Ведь музы женщины — итак,
Кто ж видел женщин благодарных?

Нет, Грузинову, мнящему себя поэтом, нечего жертвовать, кроме блестящей пустоты и надутого самомнения. Поэт совсем не то. Дар поэта — удел немногих. Веневитинов знал эту тайну. Лермонтов открыл том его стихов. Вот стихотворение «Три участи». Первая участь — это судьба того, кто «ве́ка судьбой управляет, /В душе неразгаданной думы тая./ Он сеет для жатвы, но жатв не сбирает: /Народов признанья ему не хвала/, Народов проклятья ему не упреки». Это Наполеон. «Завидней поэта удел на земли», — говорит Веневитинов, сам истинный поэт, поэт-пророк с душою-вещуньей; поэт «воспитан свободой», — и поет только о том, что чувствует:

Стеснится ли сердце волнением муки, —
Он выплачет горе в горючих стихах.

Первое — Наполеон... Второе — Байрон. Третьей участи, участи бездумного и ленивого эпикурейца, ни тот, ни другой не возьмут. И Лермонтов не возьмет. О Байроне

и Наполеоне — думы многих поэтов, Веневитинова и Пушкина среди них. Байрон, переживший Наполеона всего на три года, много размышлял о его судьбе, чувствуя в нем что-то родственное себе. Он клеймил и стыдил Наполеона в оде на отречение его от престола, громил с истинно наполеоновской яростью своего кумира. Он попрекал его Эльбой, но очень скоро простил ее Наполеону, сумевшему вырваться из плена и снова царствовать, хотя и недолго... За Святую Елену Байрон уже не корил его — он написал «Прощание Наполеона», где император, поверженный во второй раз, обещает Франции: «Меня призовешь ты для гордого мщенья, /Всех недругов наших смету я в борьбе»... Но Чайльд-Гарольд, стоя на поле Ватерлоо («Франции могила!»), видит символическую картину: «В последний раз, еще непобедим, /Взлетел орел — и пал с небес пронзенный»/. И, наконец, Байрон в третьей песне «Паломничества Чайльд-Гарольда» без восхищения, но одновременно с отвращением и ужасом, называет одного из самых грозных в истории завоевателей «сверхчеловеком»... В сорок пятой строфе — образ такого гиганта:

Всегда теснятся тучи вкруг вершин,
И ветры хлещут крутизну нагую.
Кто над людьми возвысится один,
Тому идти сквозь ненависть людскую...

Это Байрон... А сколько мелких стихоплетов, мнящих себя «возвышенными» (вроде того же Грузинова), пишут стихи, в которых Наполеон не «сверхчеловек», так как им не дано понять, что это такое, а обыкновенный элегический герой, грустно опочивший в изгнании в забытой всеми могиле.

Лермонтов не заметил, как кончился день, как потом пролетела ночь... Что вышло — бог весть, но, назвав новое стихотворение «Наполеон», он переписал его в свою тетрадь. Стихотворение Пушкина с таким же названием в книге, изданной в 1826 году, было перед ним, но Лермонтов имел свою мысль и не хотел, чтоб его стихотворение было похоже на пушкинское. Ни строки не взял из него. У Лермонтова «певец возвышенный, но юный», с арфой в руках, «пришел мечтать» над могилой Наполеона. И вот он «запел, ударил в струны», и начал так и сяк славословить «героя дивного», который в конце концов был «побежден московскими стенами». Нарочно это сделано или нет, — в этой элегии есть что-то сатирическое (такое

смешение бывало у Байрона), но только в отношении «певца», который поет о гибели «воина дерзновенного», о том, что он угасал здесь, «огнем снедаем угрызений», и как над могилой его «порхнет зефир весенний» и соловей поет, а рыбак, будто ничего не слыхавший о Наполеоне, «попирает» его могилу, «таща изорванную сеть». Вся эта идиллия внезапно взрывается:

Вдруг!.. ветерок... луна за тучи забежала...
Умолк певец. Струится в жилах хлад;
Он тайным ужасом объят...
И струны лопнули... и тень ему предстала.
«Умолкни, о певец! — спеши отсюда прочь, —
С хвалой иль язвою упрека:
Мне всё равно; в могиле вечно ночь.
Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки:
Я презрю песнопенья громки; —
Я выше и похвал, и славы, и людей!..»

«Певец» был явно не Байрон и не Пушкин (и не сам Лермонтов) — у них бы не лопнули струны перед явлением этого сатанинского гордеца, который стал богом сам для себя.

В начале августа Лермонтов написал еще несколько стихотворений: «Пан», «Жалобы турка», «Черкешенка» и другие, но после «Грузинской песни» дело остановилось. Ему почудилось в этой «Песне» что-то ложное. Он убеждал себя, что вроде помнит нечто такое со времени поездки на Кавказ, — песню о том, как старый армянин убил из ревности жену, «грузинку молодую»... Но слишком уж напоминает она знаменитую «Черную шаль» Пушкина! Измена... месть... И — концы в воду.

Тоска напала на Лермонтова. Странно как-то получалось. Он сидел на склоне холма, спускающегося к Горетовке, и смотрел на облака. Его удивляло, как быстро в его душе легкий хмель Пана может переходить в тяжелую мрачность. Словно черный Демон оттесняет светлого Гения и диктует свое: «В сердце ненависть и холод...».

Ему вспомнилось напечатанное в «Мнемозине» 1824 года стихотворение Пушкина «Мой демон». Вообще-то он и не забывал его — оно жило в душе и медленно там зрело. Счастлив Пушкин: тот «злобный гений» *навещал* его (уже в прошлом). Но перестал. И души его не отравил. Пушкин видел в нем врага и не попытался при-

близиться к нему, понять его. Лермонтов не отпустил бы его просто так. Ведь это если и враг, то особенный. Не может одна только ненависть стоять за таким страшным всеотрицанием:

Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Ничего!.. Страшно быть изгнанным на Землю, навек, и ничего не любить на ней. Лермонтов озаглавил свое стихотворение «Мой демон», как Пушкин. И сразу начал лепить свой образ:

Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.

Демон Лермонтова любит земную природу... Он у Лермонтова не клевещет, не насмешничает, не презирает — единственное, что он «презрел», то есть отверг, так это — «чистую любовь»... Демон Пушкина «вдохновенье презирал», а лермонтовский — само вдохновенье, бурно летящее в тучах, полное «страстей». Пушкинский — статичен, он как бы один на один с поэтом. Лермонтовский — и на «недвижном троне», и в облаках над реками и дубравами.

Лермонтов сидел ночью у окна и слушал, как шумит дождь. Выходил под крышу колоннады и стоял, глядя на темные облака, стремительно несущиеся над лесом, слушал скрипы, шорохи, бульканье воды, отдаленные раскаты грома. Поднимался на бельведер... Там пролетает Демон, для которого земля — темное море, а дома — словно гибнущие в шторм корабли. Людям снятся бури... Где-то далеко в ночи не спит отец. Он лежит, наверное, закинув руки за голову, и в сумраке, где трепещет огонь свечи, думает о матери.

Проблескивает сквозь тучи луна. Такие ночи любил, без сомнения, бард Оссиан, сын богатыря Фингала! Луна — его вдохновительница; она — богиня бардов. «Луна смотрела сквозь облаки, окуренна парами, скрывающими в себе тени мертвых», — пел Оссиан. И дальше: «Луна испускает лучи свои на вершину горы. Я вижу привидение, облеченное в одежды белее снега, имеющее руки, подобные алебастру, и черные власы. Ах! се дщерь нашего вождя... Дыхание ветров гонит ее пред собою, — она теряет свой образ и, изменяясь, превращается в белый туман, простирающийся над холмами». Это холмы Шотландии.

Ударит порыв ветра — и понесутся тени. Мрачные голубоглазые герои, гиганты с копьями в целое дерево, веля плащами, спускаются с гор навстречу врагу. На черных валах моря вздуваются паруса вражеских кораблей. Северная Церера — Керидвен — в окружении богатырей, погибших в давние времена, льет зловещий свет на поле битвы. Бард узнает в бурных тучах то одного, то другого героя Севера. Вот молодой Кухулин, владетель Тура, единственный, кто был равен в силе царю страны Морвен седовласому Фингалу, отцу Оссиана. Фингал, Финн — вождь финниев... С ними и Сваран, их враг, но они уже не враги... «Далекий ветер шумит в лесу. Безмолвна равнина смерти. Духи тех, о которых поет бард, приходят в шумящем ветру, — видно, как они наклоняются, прислушиваясь к арфе Оссиана».

Лермонтов вспомнил, как еще ребенком подходил к окну, со страхом и любопытством смотрел в ночное небо, на луну, мелькающую в облаках. Вот и сейчас он вздрогнул, увидев на миг знакомое лицо, тронутые улыбкой губы, медленно клубящуюся шаль, закрывающую зябкие руки. Ночное небо говорит душе о многом! Холоден свет луны, а сердце от него все-таки загорается. Гений поэта!.. Богиня юного скальда!.. Лицо матери... Лицо возлюбленной... Кажется, что все эти таинственные тучи оттуда — из страны Вальтера Скотта, воспевшего Томаса Лермонта — Тома Рифмача. А Байрон? Рожденный в Англии, он знал, что его предок — тот же Томас Лермонт!.. Шотландец!.. Байрон провел в Шотландии детские годы. Гора Лохнагар, шотландский Эльбрус, навсегда осталась в его памяти:

Ах, в детские годы там часто блуждал я
В шотландском плаще и шотландском берете...

Мокрый, так как он незаметно для себя вышел на дождь, прерывисто дышащий от волнения, словно он летал в этих черных вихрях над лесом, Лермонтов побежал

к себе в комнату, сбросил куртку. Нужно успеть быстро записать мелькнувшее — образ лунной богини скальдов. Слова найдутся. И они нашлись:

Покрыта таинств легкой сеткой,
Меж скал полуночной страны,
Она являлася нередко
В года волшебной старины.
И Финна дикие сыны
Ей храмины сооружали,
Как грозной дочери богов;
И скальды северных лесов
Ей вдохновенье посвящали.
Кто зрел ее, тот умирал...

Ночной дождь продолжал бушевать. Лермонтов закончил стихотворение, озаглавил его «Жена Севера», но пера не положил. Душа еще кипела. Ему хотелось написать еще что-то — суровое, богатырское. Такое, что мог бы петь перед костром, окруженным воинами, молодой скальд. Над самой крышей страшно затрещало. Окна то и дело из черных становились белыми. Рамы дрожали от напора воды. А он писал — быстро, словно кто-то диктовал ему:

Ах было время, время боев
На милой нашей стороне.
Где ж те года? прошли оне
С мгновенной славою героев.
Но тени сильных я видал
И громкий голос их слыхал:
В часы суровой непогоды...

Перепевать Оссиана, как многие стихотворцы это делали и делают, Лермонтову не хотелось. Но пусть герой будет скандинав, варяг. Рюрик? Игорь?.. Нет, лучше Олег. Олег Вещий! Прекрасно о нем рассказано у Карамзина в первом томе его «Истории государства Российского». Нет, не борьба с Киевом, не походы против хазар, а война с греками, взятие Царьграда! Поход по великим рекам — через Дон и Волгу — в Черное море. Олег всегда перед походами приносил жертвы Стрибогу, владевшему ветрами. И Стрибог к нему благоволил — мощно дул в его паруса, ладьи летели как птицы. Но вот он пришел к озеру — жилищу Стрибога — просить о еще большем: чтобы суда его могли идти на парусах и посуху. Чтобы дружина Олега могла прийти на них прямо к стенам столицы гордых греков. Лермонтов написал и

об этом. Его Олег пришел к озеру в «стране глухой и опустелой»... «Вокруг угрюмый бор»... Скалы... В ответ на призыв князя:

...шумно взволновались воды,
Растут свинцовые валы,
Как в час суровой непогоды,
Покрылись пеною скалы.
Восстал в средине столб туманный...
Тихонько вид меняя странный,
Ясней, ясней, ясней... и вот
Стрибог по озеру идет.

На другой день Лермонтов написал еще два небольших отрывка к поэме об Олеге — о священном дубе и языческом кумире в лесу («скальдов северных не раз / Здесь раздавался смелый глас...»). Но интерес к этому замыслу вдруг пропал — Лермонтов отложил наброски, чтобы продолжить работу когда-нибудь потом... И все же Север еще не отпускал его. Поэма Байрона из юношеского сборника «Часы досуга» «Оскар Альванский» навела его на мысль о вражде братьев из-за женщины (Аллан убил своего брата Оскара и завладел его невестой). Может быть, ему вспомнилась и Эда, героиня поэмы Баратынского, «финляндка», один из ликов Жены Севера (страдающий...). Стал возникать новый сюжет, непохожий ни на «Эду», ни на «Оскара Альванского»: один брат у другого похитил пленную красавицу финляндку. И вот они в полном вооружении явились к жертвеннику, высказали друг другу все, что было на душе, а потом:

Они колена преклонили,
Взаимной злобой поклялись.
Вот на коней своих вскочили
И врозь стрелою понеслись.

Дальше Лермонтов начал было рассказывать об их прежней любви друг к другу, о том, как один из них, Аскар (так Лермонтов изменил имя Оскар), любил свою пленницу, и как эта пленница плакала, вспоминая «скалы Финляндии своей», но на описании скал и бедных хижин поэма остановилась. Потом!.. потом!.. «Вражда братьев... Нет, я этого не оставлю, — думал Лермонтов. — Но надо получше обдумать».

Брат восстает на брата (Каин на Авеля... Франц Моор на Карла Моора у Шиллера в «Разбойниках...). Сын на отца (тот же Франц). Страшный грех пытается найти себе оправдание... Разбойник Пушкина «режет старика»,

а что, если бы это оказался его отец? Как это было в «Лондонском купце» Джорджа Лилло: Барневельт по наущению своей возлюбленной бросается с кинжалом на дядю, убивает его, а он перед смертью открывается ему в том, что он его отец:

Он силится меня к груди своей прижать;
Он силится рукой дрожащею обнять
Убийцу, варвара!..

Вакации незаметно идут к концу. В это лето у Лермонтова в Середникове нет друзей. А ему их и не нужно. Слава богу, что Акима отправили в Апалиху... Саша Верещагина приезжала с матерью в свое Федорово. Это близко. Но видел он ее всего раза два в церкви Алексия Митрополита у обедни. Потом они уехали в Петербург. Лето им показалось слишком холодным. Лермонтов один дома, один в большом парке. Но он не чувствует себя одиноким. Толпы различных образов его фантазии осаждают его. Лавина наконец сорвалась... Он думает и пишет.

Приходит на ум Наполеон. Его воины шли, сея смерть. По его воле убиты тысячи, — а он *герой*! Но безвестный разбойник-душегуб, который режет людей на большой дороге, — преступник. Разве грех не одинаков для каждого человека? Ведь зло — везде Зло! Злодей, утомившийся от убийств, редко раскаивается, но все же и его каменное равнодушие дает трещину. Для него не все потеряно. Случается, что и он возносит «грешные молитвы», что и ему хочется исповедаться. Пусть не перед священником, а перед своими товарищами, для которых его рассказ лишь «потеха», приправа к чарке вина. Для него-то это все-таки исповедь. «Собранье зол его стихия». И исповедь преступника — истинное «собранье зол». Пушкинский Разбойник рассказывает об истоках и начале своих преступлений в общих чертах. Картин этих преступлений у него нет. Есть только упоминания о них. Однако отчего разбойники Пушкина могли сделаться разбойниками? Ведь должны быть очень важные, особенные причины, а их там нет... От бедности, забот, от сиротства? Если так — мир давно стал бы адом! Может быть, человек вообще изначально преступен? Или он делается преступником по внушению духа тьмы, как у Байрона Каин, по логике этих внушений пришедший к тому, что ему нужно убить брата своего Авеля? Но где же в это время Ангел-Хранитель, светлый гений души человека?

Неужели он поставлен Богом в зависимость от человека? Неужели человек, губящий себя, губит и Ангела-Хранителя?

...Еще одна поэма... Уже складывается новый сюжет. Его герой — не бедный сирота Пушкина; отец его «знатен и богат». У него молодая мачеха. Вот отсюда все и пошло — мачеха совратила пасынка, отец проклял его и выгнал из дома. Сын на проклятие ответил проклятием (оба они совершили страшный грех этим), пожелав, чтобы «небесный гром» сжег все — не только дом, но даже и берега реки, на которых он стоит, и «коварные седины» отца... словом — все!.. Проклятие, помноженное на проклятие, породило вереницу преступлений, в конце концов — отцеубийство и тот самый «небесный гром», от которого и в самом деле все погибло (Лермонтов верит в страшную силу проклятия). Что-то мрачное, ветхозаветное есть в этой истории, тем более что товарищами Преступника сделались «два жида», ставших разбойниками. Один из них «служитель Аарона, / Ревнитель древнего закона». Оба — разорившиеся купцы. Второй, кроме того, что купец, был еще и «обманщик и судья». Служитель Аарона играет в поэме Лермонтова зловещую, демоническую роль. Он:

Бродяга пасмурный, скупой
На деньги, на удар лихой,
На поцелуи сладострастья.
Но скрытен, недоверчив, глух
Для всяких просьб, как адский дух!..

Преступник для него находка! Ведь Преступник молод, силен, безрассуден и именно очень способен «на удар лихой». Он бросился в зло не из корысти. Он стихия... Служитель Аарона, этот «адский дух», и благословил его на «святое» дело, указал ему путь и предложил помощь, взяв на себя роль лазутчика, казначея и оруженосца. Имя ему Лермонтов дал очень знаменательное — Иуда!

Во все это время, пока он работал над поэмой, — а это было, вероятно, несколько дней, — в его сознании жила тень Демона, как бы торопившая его перейти от Преступника к нему. «Преступник» и был той кузницей, где выковывались основные узлы следующей, большой, как казалось Лермонтову, даже гигантской поэмы, вроде «Потерянного рая» Мильтона... Демон был не Сатана. Он был ангел или серафим. Его отчий дом — рай. Отец — Бог... Как отец проклял Преступника, так Бог

проклял Демона, обрек его на преступную жизнь, потому что первое, что встретил тот на новом для него пути, было «адским духом»... И вот Демон сеет зло на Земле. Но, несмотря на это, совершенное и конечное — сатанинское — Зло ему недоступно, потому что «лучших дней воспоминанья» (эта строка из «Кавказского пленника» Пушкина многое освещала Лермонтову в его душе) тлели в нем неугасимо. Не отождествляя себя с Демоном, еще не видя отчетливо его черт, Лермонтов смутно чувствовал в нем что-то свое... Он начал набрасывать «Посвящение», адресованное какому-то «поэту», может быть вымышленному:

Я буду петь, пока поется,
Пока волненье позабыл,
Пока высоким сердце бьется,
Пока я жизнь не пережил,
В душе горят, хотя безвестней,
Лучи небесного огня,
Но нежных и веселых песней,
Мой друг, не требуй от меня...
Я умер. Светлых вдохновений
Забыта мною сторона
Давно. Как скучен день осенний,
Так жизнь моя была скучна;
Так впечатлений неприятных
Душа всегда была полна;
Поныне о годах развратных
Не престает скорбеть она.

Он, вероятно, почувствовал, что «неприятные» впечатления и «развратные» года снижают мрачную величественность демонизма. Но разговор идет о действительно трагических ощущениях: «Нежных и веселых песней» не будет, так как певец — «умер» для вдохновений. Жизнь была «скучна», и душа скорбит... Отложив этот текст, Лермонтов начал другой вариант «Посвящения»:

Я буду петь, пока поется,
Пока, друзья, в груди моей
Еще высоким сердце бьется
И жалость не погибла в ней.
Но той веселости прекрасной
Не требуй от меня напрасно,
И юных, гордых дней, поэт,
Ты не вернешь: их нет как нет;
Как солнце осени суровой,
Так пасмурна и жизнь моя;
Среди людей скучаю я:
Мне впечатление не ново...
И вот печальные мечты,
Плоды душевной пустоты!..

Тут он нашел нужный ему тон. Жизнь здесь уже не «скучна», а «пасмурна», космически пасмурна: «как солнце осени»... После этого пасмурного солнца по-иному выглядит и скука, она всеземная — «среди людей» скучает поэт... Речь идет об одиноком, как бы отверженном всеми певце, который все же сохранил «жалость» (то есть чувство сострадания) и любовь к «высокому»... Но последние две строки не увязались с целым, словно Лермонтов вдруг охладел к написанному и закончил его кое-как, первым, что пришло на ум. О «пустоте»-то написанное до этих строк как раз и не говорит... Эти две строки заимствованы у Пушкина, и хотя Лермонтов их переделал, они не приладились к его тексту (редкий у него случай!). У Пушкина вот как:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Но и второе посвящение Лермонтову было не нужно. Это был лишь разбег, подступ... Действительное начало поэмы о Демоне было уже близко... Лермонтов чувствовал его. И вот что странно: он связывал свои думы о Демоне с ночью, напряженно искал первых слов поэмы под звездным небом, а они пришли в ясный полдень, и он принял их как откровение:

Печальный демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним.
Тех дней, когда он не был злым...

После этого стало ясно, что поэма есть. Нужно только писать...

Лермонтов спешил — скорей, скорей найти сюжет! В нем должна быть одна из «дочерей человеческих», которых, по библейской книге Еноха, любили «сыны Божии», ангелы. «Любовь ангелов» Мура и «Небо и Земля» Байрона подсказывали, и очень настоятельно, основной мотив — небесное пленяется земным. Ангел... А Демон? Может быть, он должен разрушить такую любовь. В памяти Лермонтова всплыла одна русская поэма, список которой, без обозначения автора, показывали Лермонтову то ли Петерсон, то ли Сабуров. Поэма озорная, ее и читать-то нужно было тайком. В ней выворочен евангельский рассказ о Благовещении. Автор заставил Бога

влюбиться в земную деву. Нужды нет, что в той поэме все лишь для смеха и что насмешливая, лисья физиономия Вольтера (не ему ли подражал автор) невольно виделась сквозь игривые строчки. Демон в подобном сюжете, взятом серьезно, мог бы занять место Сатаны. Все повернулось бы другой стороной. Бога сюда вмешивать не нужно. Пусть это будет один из Байроновых ангелов.

Содержание будущей поэмы наметилось такое: «Демон узнает, что ангел любит одну смертную, демон узнает и обольщает ее, так что она покидает ангела, но скоро умирает и делается духом ада. Демон обольстил ее, рассказывая, что Бог несправедлив и проч. свою историю». В той озорной поэме Сатана рассказывал деве Марии, как несправедлив был Бог к Адаму и Еве. Однако Лермонтов сразу отбросил этот сюжет. «Нет, — думал он. — Тут только злодейство... А где же его мучения, его тоска?.. Где его величие?»

Он начал новую стихотворную пробу:

Любовь забыл он навсегда.
Коварство, ненависть, вражда
Над ним владычествуют ныне...
В нем пусто, пусто: как в пустыне...

Вот где пригодилась та пушкинская «пустота»: Лермонтов оторвал ее от своей души и отдал Демону. Но все равно в этой злобной пустоте упрямо вырастает стремление к чему-то доброму, сожаление (и то и другое — смутное) о злых делах:

...Он
Своим злодействам не смеется...

Бывают у него даже такие мгновения, когда он:

Роняет посреди мученья
Свинцовы слезы иногда,
И им забыты на мгновенье
Коварство, зависть и вражда?..

Теперь должно что-то произойти... И вот тут — подобно ветхозаветным ангелам — Демон видит «дщерь человеческую». Однако Лермонтову и ангела устранять не нужно было. Возник новый сюжет: «Демон влюбляется в смертную *(монахиню)*, и она его наконец любит, но демон видит ее ангела-хранителя и от зависти

и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой». Месть... Неудержимый порыв души гордой, не умеющей смиряться. Месть даже ценой собственной гибели... Лермонтову казалось, что нечто такое есть и в нем, что и ему на чистую, безоглядную любовь ответили отказом. Он так и писал в послании к Дурнову:

Я победить жестокость не умел.
Но я пошу отказ и месть с собою...

Лермонтов успел сделать в Середникове небольшой набросок, попытавшись избежать в нем этого мотива мести. Но после сцены Демона с монахиней остановился. Что же — Демон наконец спасен? Да нет, это слишком все просто. Спастись ему не дано.

За неделю до отъезда из Середникова вдруг — известие о смерти Жандро. Лермонтов невольно отметил, как он спокойно принял эту весть... Не ужаснулся, не заплакал. Разве не любил он бедного Жандро? Любил!

В конце августа Лермонтов приехал в Москву. Но уже в другой дом, не на Поварской, а на Малой Молчановке.

4

Еще гувернер!.. Лермонтов с большим неудовольствием посмотрел на человека, стоявшего в комнате бабушки спиной к нему, — он беседовал с бабушкой, но ее не было видно, и Миша не спешил входить. Низенький, без шеи, в черном сюртуке и широких клетчатых штанах. Рыжеватые волосы вздыблены коком. Говорит по-французски, но как-то странно... «На кой мне черт гувернер после бедных моих Капэ и Жандро... Да еще такой вот... шут, — с досадой подумал Лермонтов. — Что я с ним буду делать?» И вошел.

— Мишенька, — сказала Елизавета Алексеевна, — это господин Виндсон, учитель английского языка, нанятый по твоему желанию. Он англичанин.

Виндсон повернулся. С лица он оказался гораздо приятнее, чем со спины. Он не улыбался; его серо-голубые глаза смотрели с холодным вниманием. Это Мише понравилось. Виндсону было лет тридцать. Оказалось, что он уже пять лет живет в России. Несколько месяцев тому

назад женился на русской. Детей у него нет. Через год-два собирается ехать на родину... Лермонтов поинтересовался, не шотландец ли он. Увы, его надежда не оправдалась. Виндсон родился и жил в Саутгемптоне, у Ла-Манша. Только однажды посетил Эдинбург, но это была короткая деловая поездка, и он там ничего не разглядел. Миша завел было разговор о Байроне, но Виндсон был к нему равнодушен, как и вообще к поэзии. Он верен был семейной традиции — у них дома читали Ричардсона... Театр? Нет, у него не было времени посещать театры, и ни единой пьесы Шекспира он не видал. А впрочем, его старший брат видел в Лондоне «Отелло» — он очень подробно рассказывал, в чем там дело...

Лермонтов едва сдерживал смех. Но чем дальше он слушал простодушные признания англичанина, тем менее смешным он ему казался. Виндсон был независимым, твердого характера человеком с грубоватыми, но уверенными манерами. И ведь он — на чужбине... А это всегда загадка! Ведь что-то заставило его покинуть Англию. И занимается он тут, в России, явно не своим коренным делом. Но это все, может быть, и узна́ется, но после... после...

Русского языка Виндсон не только не выучил, но и не собирался учить. Он объяснялся по-французски, сильно корежа слова, или по-немецки, гораздо лучше. На первый урок он принес английскую Библию, раскрыл в заложенном бумажкой месте и прочитал 136-й псалом, которым всегда начинал занятия с новым учеником. Прочитал он не по книге, а наизусть, и прочитал прекрасно: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе: на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселия: «пропойте нам из песней Сионских». Как нам петь песню Господню на земле чужой?..» Знакомый псалом словно засветился вдруг изнутри неведомым огнем... Да, это поэзия!

Занятия начались как нельзя лучше. Они прочли книгу Бытия. Потом вдруг перешли к Апокалипсису — и в этом оказался свой смысл. Несколько уроков они читали эту огненную, загадочную книгу, полную пророчеств и страшных видений. Мише все это было знакомо, но, как и псалмы, Виндсон поворачивал известное другой стороной, за каждым словом словно вспыхивало пламя... Неужели это чудо совершали английские слова? Может быть, потому, что английские слова — язык Байрона... Лермонтов жил этой книгой несколько дней, переживая каждую фразу Иоанна Богослова, каждый увиденный и записанный им образ. Иоанн был на острове Патмос и сидел в одиночестве, как вдруг услышал «громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есмь Альфа и Омега, первый и последний; то, что видишь, напиши в книгу». Иоанн обернулся и увидел «подобного Сыну Человеческому» — «глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его — как пламень огненный... и голос его — как шум вод многих». Семь светильников пылало вкруг него; в правой руке он держал семь светящихся звезд, а из уст его «выходил острый с обеих сторон меч»... Иоанн пал на землю... «И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся; я есмь первый и последний и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти...» Потом открылась «дверь» на небе; пророк увидел Сидящего на престоле, держащего «книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Грозный Ангел провозгласил: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» «И никто, — пишет пророк, — не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее».

Никого! Если вдуматься, то это действительно страшно. И все-таки пророку дано было это нечеловечески тяжкое счастье. Не письменами, а живыми образами книга показала ему будущее. Вот явился Агнец «как бы закланный» — Искупительная Жертва, — который имел «семь рогов и семь очей», — и взял книгу из рук Сидящего. Снятие каждой печати вызывало грозные явления. Сначала возник гигантский белый конь, «и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вошел он как победоносный, и чтобы победить». Потом «вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга»... Затем вышел «конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей»... И еще — «конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».

Когда была снята пятая печать — «души убиенных за слово Божие» завопили, обращаясь к Сидящему, почему он «не мстит живущим на земле» за кровь их. Пос-

ле снятия шестой печати «произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и звезды небесные пали на землю...» Люди попрятались в пещеры, но напрасно — пришел «день гнева» Господня!.. И вот снята последняя печать. Семь ангелов стали по очереди трубить и «сделались град и огонь, смешанные с кровью... Как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью»... Полчища чудовищ бросились на землю мучить людей, чтобы довести их до раскаяния. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

Прозвучала седьмая труба, и архангел Михаил со своим воинством напал на Сатану, «дракона, древнего змия, называемого диаволом», и низверг его на землю, а вместе с ним и «его ангелов». Не в преисподнюю, а на землю, — ему дана была власть над людьми. Ангел с неба громко известил их, «кто поклоняется зверю и образу его... тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Но были такие, что поклонялись. И снова — огонь и огонь... Язвы и кровь... Град и землетрясение... Гибель тех, кто обольщен был дьяволом. И потом дьявол повергнут был в бездну, и положена была «над ним печать» на тысячу лет. «После же сего ему должно быть освобожденным на малое время» — тогда он снова «выйдет обольщать народы».

Виндсон, применяя старинный способ изучения языка по Библии, не преследовал никаких нравственных целей — это был только метод. Ему случалось наводить на своих учеников скуку. Тогда начиналась откровенная зубрежка. С Лермонтовым было не так. Уроки английского языка давали ему новую пищу для размышлений. Много всего он тут передумал. И главное — если Бог требует полного повиновения от любого человека, то требует ли он того же от великого поэта? Или и ему предлагается тот же «тесный путь спасенья»? «Откровение...» говорит о будущем. Но и в этом будущем Земля похожа на гигантскую кузницу, где в грохоте и пылании куется душа человека... Горы, звезды, вода, пламя — все рушится на наковальню. Ангелы Сатаны (демоны) тоже держат в руках по молоту... Может ли, думает Лермонтов, под таким натиском у человека образоваться душа испуганная и смиренная? Преисполненная одной любви? Вот среди таких мыслей и возникло стихотворение «Молитва», в которой Лермонтов попытался не объяснить, а как-то, пусть пока приблизительно, очертить свое отношение к Сидящему на престоле, — отношение *поэта*:

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденьи бродит
Мой ум далёко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

Лермонтов видит невидимую для других Кузницу. В словах «Молитвы» ее отблески: всесильный... могильный... лава клокочет... дикие волненья... пламень... всесожигающий костер... камень... страшная жажда... спасенье... Словарь Апокалипсиса. Огонь... То, о чем говорил Павлов. Все горит, плавится, возникает из огня. Принимает свои образы и снова растекается пламенем.

Он пишет стихи, в которых мысль как бы плавится, — то принимает определенный образ, то распадается, то выливается в нечто противоположное. «Я не пленен небесной красотой», — говорит он в послании к Дурнову. — «Но я ищу земного упоенья». Можно подумать, что «упоенья» счастьем... Нет. Далее идет рассказ «пылкой души» о том, что не будет она «счастливой близ прекрасной», жестокость которой непобедима; сравнивает себя с «вором седым», который «не кается еще в своих грехах», и кончает послание строками:

И я к высокому, в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их...

В «Элегии» он восклицает, как бы сокрушаясь душой о своей «закоренелости» («Но я в любви моей закоренел...»):

О! Если б дни мои текли
На лоне сладостном покоя и забвенья,
Свободно от сует земли...

Тогда бы, да еще «усмиря... воображенье» (то есть справившись как-то со «страшной жаждой песнопенья»...), — «я верно не искал / Ни наслаждения, ни славы, ни похвал». Ему мало посланных судьбой испытаний, он ищет их:

Ищу измен и новых чувствова́ний,
Которые живят хоть колкостью своей
Мне кровь, угасшую от грусти, от страданий,
От преждевременных страстей!..

Но «лоно сладостное» все-таки не изгнано из воображения! А помимо «крови угасшей», есть «деятельная и пылкая душа»! И еще, кроме этого, в одно время с этим — усталость и разочарование... как ржавчина на остывшем железе, пятнающая душу:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...

Это страх перед закостенением в пасмурном «однообразии», на одном, хотя бы и родном, месте, перед ужасающе быстрым остыванием души («Остылой жизни чаша...»), перед мимолетностью жизни, в которой человек своих талантов употребить не успевает... Эта ржавчина одно из сильнейших испытаний — она оборотная сторона пылкости (для металла ржавчина и огонь — две крайние точки его бытия). Одно для Лермонтова несомненно: в человеке живет бессмертный дух, о котором говорит Байрон: «Дальше, дальше, без крыл, надо всем, через всё, летят мысли этого существа без имени, без конца, существа, забывшего, что такое смерть».

...Мчатся дни... Медленно идут полные размышлений ночи... Однообразен дневной шум пансиона с его профессорами, надзирателями, толкучими переменами. Еще шумнее собрания по поводу очередного выпуска, а также экзамены... Весь день сверкание и треск, словно некий изобретательный пиротехник запустил в действие замысловатый фейерверк. Разряженные пансионеры, торжественные профессора, тревожно-сдержанные надзиратели, старающаяся быть скромной, но лезущая в глаза своей барской пышностью публика в креслах для приглашенных. Длинные столы с образцовыми чертежами и рисунками. Речи на всех языках. Фехтование. Игра на разных инструментах. И, наконец, с двенадцати часов ночи бал! Лермонтов, как и все пансионеры, поневоле актерствовал: произносил речь, декламировал стихотворение Жуковского «Море» (появившееся в «Северных цветах на 1829 год»), играл на скрипке отрывок из концерта Людвига Маурера. Ему аплодировали. А на балу он танцевал, но без особой охоты.

На последнем пансионском балу 1829 года были многие из его родных и знакомых — Поливановы, Бахметевы, Лопухины, Мещериновы. Была Саша Верещагина, умная и насмешливая... В толпе мелькали все знакомые лица — настроение было самое праздничное: праздники и наступали... Лермонтов перешел в последний — шестой — класс пансиона. Он смотрел уже в самые глаза Свободы — восхитительной, вольной, взрослой жизни!..

Оркестранты старались вовсю... Рухнул и рассыпался угасающими искрами еще один год жизни.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Во время вакаций было несколько важных событий. Событий, а не просто веселья, шума и беготни по домам! Шум закипал и стихал. Но среди этого шума Лермонтов услышал один взволновавший его звук — голос... голос уст и глаз, тонкой талии и душистых локонов... Это было знакомство, тайное от всех друзей, от всей родни, хотя и случившееся у них на глазах... Никто, даже кузины Лермонтова, даже Саша Верещагина, знавшая всегда все, не подозревал, что он влюблен. Он твердо решил скрыть это. Ему казалось, что и она любит его. Их встречи были редки и многозначительно-серьезны. Он даже стал показывать ей свои новые стихи. Среди них — «Мой демон», написанный уже в этом году, — обработка старого. Демон стихотворения — это не Демон поэмы, над которой продолжалась работа. Это антипод Ангела-Хранителя поэта. У него власти столько же, если не больше, чем у Ангела... Поэт предчувствует трудную жизнь и собирает все свои силы. И вот какова, как он думает, будет его жизнь:

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

Ей показалось, что он слишком много уступает своему демону. «Нет! — с жаром сказал Лермонтов. — Он ведь *покажет* мне совершенство! Это уже все». — «А счастье? Неужели его совсем нет?» — «Как нет! А предчувствие счастья — разве это не больше, чем оно само?» — «Так вы согласны со своим демоном?» — «Нельзя не согласиться со своей судьбой». — «Это великая судьба, — подтвердила она, — но тогда вам нужно быть дальше от людей, как Байрон». На это он ничего не ответил, но в следующий раз принес ей стихи:

Один среди людского шума,
Возрос под сенью чуждой я,
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня.
И вот прошли мои мученья,
Нашлися пылкие друзья,
Но я, лишенный вдохновенья,
Скучал судьбою бытия...

Если не один — то без вдохновения (к чему тогда жизнь?). А если один — то нет страстей, слез, пламенных порывов... Вообще это стихотворение и было написано лишь как реплика в споре, ведь Лермонтов не стремился к людям. Ему дороги были — по отдельности — тот человек и другой человек... Но он еще не всегда верил себе. Путался. Делал промахи и потом жалел об этом. Так, не один уже раз, он просил Сабурова не порывать с ним дружбы — поднимал бурный разговор, страстно, со слезами оправдывался (хотя и сам не понимал, в чем), а Сабуров смотрел на все это не просто холодно, но даже с иронией. Мучил его. Ему это ничего не стоило.

Лермонтову казалось, что он — злодей по отношению к Анюте Столыпиной, хотя ей это и в голову не приходило. Ему трудно было видеться с ней. Это была его первая любовь (а та девочка, что на Кавказе, — она как бы *над* жизнью или *перед* жизнью). Прошла или не прошла первая любовь, но она — навсегда, и навсегда первая. Поэт вечный должник перед ней. Это один из вечных светочей в его душе.

18 января Юрий Петрович Лермонтов пригласил сына на бал-маскарад в Благородное собрание. «Довольно детских танцулек, — сказал он весело. — С этого дня ты взрослый человек». В огромном зале, полном блестящей публики, света и музыки, Юрий Петрович оттолкнул сына от себя: «Ступай... делай, что хочешь». Они не были костюмированы — только в узких черных масках. Лермонтов пошел сквозь толпу, ловя себя на том, что не испытывает никакой неловкости. Он решил не танцевать, а смотреть.

Очень скоро он узнал Сашу Верещагину, отвел ее в сторону и долго прохаживался и разговаривал с ней.

Он держал себя так непринужденно — смеялся, говорил, смело поглядывал вокруг, — что Саша не утерпела и спросила, давно ли он ходит на такие роскошные балы. «Давно!» — небрежно сказал Лермонтов и даже слегка зевнул, прикрыв рот перчаткой. Хитрая, очень догадливая Саша едва не рассмеялась.

А чуть позже появилась и она. Довольно долго он не мог подойти к ней — она танцевала, а между танцами возле ее и маменькиного стула (мадам Чарторижская, в первом браке Иванова) стояли кавалеры, на которых она даже не глядела. Он не ревновал, как ему казалось, но смешиваться с ними не хотел. Она не скрыла своего изумления, увидев его там, где не рассчитывала видеть. Но была ему рада, и он это заметил. Разговаривая с ним, она пропустила несколько танцев. «Бежите от себя и своего демона? — серьезно спросила она. — От своих милых печалей к этому холодному веселью?» — «Нет, не бегу, — отвечал он. — Но вы здесь, и это мирит меня с толпой». — «Я — совсем другое! Мне нечего терять. Это мое место. А вас может погубить этот вздорный мир». Он почувствовал, что она говорит правду. Она — единственная, кто принимает его совсем всерьез. «Ваша печаль рождает прекрасные стихи, — продолжала она. — Не знаю, родит ли что-нибудь веселье». Она посмотрела ему в глаза близорукими голубыми глазами: «Вы должны мыслить, желать и жить только сердцем...» Она умело раздувала его любовь...

Дома он начал писать стихотворное послание к ней, как бы продолжая разговор, который ему ни днем, ни ночью не хотелось прерывать. Он рассказывал в нем, что «с начала жизни» любил «угрюмое уединенье», «укрывался весь в себя», боясь людского отклика. Ни дружба, ни любовь, думал он, «черных дум не унесут».

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;
Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.

Она возвращала его к одиночеству, к сердцу, но приближала этим и к себе...

Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,
К тому, чему даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам Бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.
Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызёт от колыбели...
И в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум, печальной цели.

Зло — на пути к Высокому и на пути к самопознанию, вернее — поперек пути. «Черные» и «печальные» думы имеют какую-то еще другую цель, кроме познания бессмертия духа, вечности жизни. «Я бы мог...», но... Еще многое впереди («мышления и годы»)... Зло — поперек пути... Но только ли поперек? В следующем послании к ней он попытался и на это ответить:

Не говори: одним высоким
Я на земле воспламенен,
К нему лишь с чувством я глубоким
Бужу забытой лиры звон;
Поверь: великое земное
Различно с мыслями людей.
Свершил с успехом дело злое —
Велик; не удалось — злодей...

И дальше о Наполеоне. Бог не помешал ему стать Великим Злодеем. Больше того: Бог попускает Сатане обольщать людские сердца. Эти обольщения звучат непрерывно — вместе с внушениями Святого Духа. Непрерывные удары молота с двух сторон. Пламя... Невольно приходит на ум судьба Демона, его беспросветное одиночество:

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье все готовы —
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены...

Одиночество сродни смерти. Значит, смерть не тонкая черта между жизнью и неизвестным, — она протягивает свою руку глубоко во всю жизнь человека, до самого мига его рождения (раз прочитав, нельзя забыть того,

что говорит об этом знаменитый автор «Ночных мыслей» Эдвард Юнг: «Смерть обретается в воздухе, коим мы дышим; в пище, коею подкрепляемся: в крови, нас одушевляющей; покой нам столь же смертоносен, как и труды; мы так же погибаем от изобилия, как и от нужды; повсюду смерть внедряется и круговращается в самых источниках жизни»). Смерть живет с человеком и много ему навевает на душу, если он умеет чувствовать... А не значит ли это, что все равно — когда умереть? Или даже лучше — скорее?

...И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над землей?

Ради чего медлить? Может быть, ради воспоминаний... самых далеких, самых ранних. Синий, туманный Кавказ... Хочется сидеть целыми ночами с думой о нем. Почему же о нем? Чем он освящен? Кавказ — это страна, где живет душа поэта, «отторгнутого» судьбой от ее гор... Это еще один — из многих — путь, по которому идет жизнь.

В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Этот «памятный глас» — эхо рано пресекшейся жизни, забытая песня матери. Это «забытое» он будет слушать не только всю жизнь, но и после смерти. Он уже сейчас знает это.

Она бывала на вечерах в пансионе. Покойный отец ее — писатель Федор Иванов — был другом Мерзлякова. Мерзляков нередко навещал вдову и «малюток» (у Наташи была сестрица). И даже когда вдова нашла себе новое счастье, заботливого супруга, когда явились на свет еще малютки, — Мерзляков и тогда не забывал семьи друга, ездил даже в деревню, за тридцать верст, чтобы порадоваться красоте и уму Наташи, с которой можно беседовать не по пустякам, да и кое-что порассказать ей, привезти книг... Мерзляков приглашал ее на пансионские вечера и балы.

Семья не бедствовала. Екатерина Ивановна, ныне Чарторижская, не была оставлена множеством влиятельной и богатой родни. И деревню Никольское-Тимонино она купила у князя Ивана Михайловича Долгорукова, поэта, уже в 1818 году, через два года после смерти

мужа. В полуверсте от имения располагалась Лосиная фабрика, где служил помощником директора давний знакомец Ивановых — Михаил Николаевич Чарторижский... Он был холост.

Дурнов, несмотря на всю свою беспечность и наивность, едва не раскрыл тайны. Он что-то видел или случайно подслушал. Его осенило... И он начал приставать к Лермонтову: «Ты влюблен... скажи, если ты мне друг, в кого... не запирайся... это нечестно». Лермонтов отшучивался. Но когда Дурнов надул губы, он решил, что лучшему-то другу нельзя не сказать совсем ничего! «Хорошо, Митя, — думал он. — Завтра получишь ответ. Добавлений к нему никаких не будет!» Это было послание «К Дурнову»:

Довольно любил я, чтоб вечно грустить,
Для счастья же мало любил,
Но полно, что пользы мне душу открыть,
Зачем я не то, что я был?
В вечернее время, в час первого сна,
Как блещет туман средь долин,
На месте, где прежде бывала она,
Брожу беспокоен, один.
Тогда ты глаза и лицо примечай,
Движенья спеши понимать,
И если тебе удалось... то ступай!
Я больше не мог бы сказать.

В январе Лермонтов писал заново «Демона». Первую строфу он оставил почти такой, как она была, но переделал две строки:

...Когда сердечная тревога
Чуждалася души его...

Два слова «сердце» и «душа» — он заменил на одно: «ум»:

...Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его...

Сердце и душа Демона многие века, со дня клятвы перед Сатаною на Сионе, окованы были «железным сном». Сеющий на земле зло Демон «не знает ни добра, ни зла», у него нет никаких желаний... Но образ начинает двоиться, он зыбок, нечеток... Уже через несколько строк Демон — «душой измученною болен», ему «все горько», он «все на свете презирает», и это уже — жизнь духа... Двойственность эта дала свои плоды — уже во

второй главке. Звук лютни и «чей-то голос» разрушают все спокойствие «беглеца Эдема»:

...Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело... Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится.
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.

Давший клятву Сатане — не любить, — может ли полюбить? В Демоне вспыхнула надежда: «века бесплодных размышлений» могут кончиться... Но могучий Демон полон неуверенности и страха...

Всё оживилось в нем, но вновь
Ужель узнает он любовь?
Тому не быть: так, если мчится
Сын ливня в поле мутный ключ,
И солнца полумертвый луч
На нем случайно отразится,
Он лишь мгновенно озарит,
А мутных вод не просветит.

Он решил отступиться. Но отступить уже было невозможно! Он хотел было «искусить» — то есть обольстить и погубить ту, что пела, но почувствовал, что не может... Любовь успела угнездиться в нем... Когда-то он пал перед Богом. Теперь он согрешил перед Сатаной, «нарушил клятвы роковые». Его связь с «силой адской» нарушилась. Он удалился в горы, как бы не зная, что предпринять, но с «пламенем новым мечты». В нем начинает прорастать добро... ему хочется помогать людям. И он начинает делать это: то освещает «заглохший, незжáный путь», то охраняет от вьюги идущего в горах... Наконец, ему показалось, что он в состоянии навсегда отойти от Сатаны, что «любить он может», и что даже «в самом деле любит он»... Он еще обманывает себя, готовясь к свиданию, будто он хочет лишь «раз ей в очи поглядеть / И невозвратно улететь». Нет, он все-таки ступил на путь примирения с Богом, зная, что нет для него этого пути.

Теперь лишь видно, что он любит!

Но в келье монахини был ее Ангел-Хранитель, который опередил его. И что же Демон? «Кипит он, ревностью пылая, / Явилась снова воля злая...» Значит, нельзя падшему серафиму полюбить любовью настоящей, от которой уже нельзя отступить. И Демон, встретив Ан-

гела, сразу забывает о своей любви. У него теперь одно желание — отомстить! Отомстить опередившему, посмевшему стать на его пути... Монахиня теперь лишь жертва его сатанинской гордости. Теперь он вспомнил свое «искусство» и — искусил... погубил... Ангелу осталось лишь плакать над могилой монахини, так как душа ее, полюбившая Демона, улетела в ад... А Демон? Что сменил он на давнюю мстительную вражду? Любовь? У Лермонтова не нашлось прямого ответа на это. Может быть, любовь... Ангел не дал ему спастись, одним своим видом эту любовь уничтожив. Знал ли Ангел, что делал? Простодушен и слаб прекрасный Ангел, которого Лермонтов рисует чистыми, тонкими красками:

С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный;
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной.
И кудри, мягкие, как лён,
С главы венчанной упадали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьми сияли;
Стан тонкий свеж и прям: таков
Зеленый кипарис садов.

Призрачная, прозрачная фигура — что-то хрупкое, незащищенное, хотя за ним — Бог. Таким был и Демон до своего падения. Ангел — это его отнятая юность. Нет, страшному Демону, прошедшему сквозь адские бездны, не стать снова Ангелом. Демон — это безмерная печаль одиночества и жажда любви. Могучий сокрушитель скал — он может испытывать и благоговейный трепет («непонятный страх», «муки живые»), и нерешительность («он не мог / Переступить через порог»). Преисполненный страстей, он — в тупике. Рванувшись к добру, он пал еще глубже.

Он обречен на вечное одиночество в пустынных горах. Душа Лермонтова в который раз летит вместе с Демоном над снежными вершинами гор, как навсегда близким сердцу образом, страстно внимая тайному голосу его тоски. Вот и скала над морем... и могильный крест на ней. У могилы плачет Ангел.

Тогда над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Летел с вершины диких гор,
Как будто прелести творенья
Непозволительный укор.
Как свод безлучный в день осенний,

Был мрачен искуситель гений.
Он близ могилы промелькнул
И, тусклый, мертвый взор кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул...

Итак, месть совершена... Но что же дальше? Поэма окончена (но, может быть, и нет), а Лермонтова мучает весь этот вымысел, как нечто совершившееся с ним. В какой-то степени это так и есть. Он думает о Демоне. Думает так, как будто пытается решить свои духовные проблемы. Конечно, не мог бы «пытающий, нескромный, хитрый взор» проникнуть в грудь оставшегося в одиночестве Демона, а все же? Ну, будь он человек с такою же — подобною — душой? Быть может, он сказал бы, что было время:

Когда любил в огне мучений злых
Я женщин мертвых более живых.

Быть может, он сказал бы, что никакая любовь не сильнее первой, но что никто не дорожит ею, а потом расплачивается страданиями воспоминаний. Разве это не грех — оттолкнуть живущее тобой, чистое, невинное существо? Оттолкнуть... погубить... оставить в вечном горе... даже обречь на смерть. Не дьявольское ли это дело?

Зачем цену утраты на земле
Мы познаём, когда уж в вечной мгле
Сокровище потонет, и никак
Нельзя разгнать его покрывший мрак?
Любовь младых, прелестных женских глаз,
По редкости, сокровище для нас
(Так мало дев, умеющих любить);
Мы день и ночь должны его хранить;
И, горе! если скроется оно:
Навек блаженства сердце лишено.
Мы только раз один в кругу земном
Горим взаимной нежности огнем.

Воспоминания о матери... Волшебные видения далекого детства... Первая любовь... Вот мир души на всю жизнь! Все остальное — грех, грех... непреодолимый, неизбежный, но ужасный.

Лермонтов писал новую поэму «Джюлио», но она была для него как бы продолжением «Демона», — с героями в других обличьях, но внутренне теми же. Джюлио оставил Лору и пустился в развлечения — поехал в Париж, на Рейн, потом в Венецию. Здесь настигла его бурная любовь венецианки, и он чуть не погиб, бросившись с кинжалом на соперника. Его спас призрак Лоры, вставший на его пути. С этих пор он не знает покоя от мук совести. Он вернулся на родину, посетил могилу погубленной им девушки и опять отправился в чужие края, но уже не в поисках приключений, а в самоизгнание. Он забился под землю. Буквально. Стал рудокопом в Швеции... Состарившись раньше времени, он ожидал смерти («зароют мой изгναннический прах...») как отмщения за то, что он осквернил «первоначальной страсти жар святой». Вот так мог бы каяться и Демон, погубивший монахиню, свою первую любовь:

О, тень священная! простишь ли ты
Тому, кто обманул твои мечты,
Кто обольстил невинную тебя
И навсегда оставил не скорбя?
Я страсть твою употребил во зло,
Но ты взгляни на бледное чело,
Которое изрыли не труды, —
На нем раскаянья и мук следы;
Взгляни на степь, куда я убежал,
На снежные вершины шведских скал,
На эту бездну смрадной темноты,
Где носятся, как дым, твои черты,
На ложе, где с рыданием, с тоской
Кляну себя с минуты роковой...
И сжалься, сжалься, сжалься надо мной!..

Что делать человеку? Грех, подобно Смерти, жмет его, обступает со всех сторон, забирается в самую сердцевину чистого, сопутствует каждому желанию... Юноша, которого отделяет от детства всего лишь несколько лет, беззащитен перед грехом. Он страстно хочет быть добрым, но...

Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет;
Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.

Лучше не любить... Но это невозможно, так как страсти зажжены в душах дьяволом — они будут бушевать, пока не останется в мире ни одного счастливого человека. Их не остановить. Вот что говорит по этому поводу Джюлио:

Средь гор кавказских есть, слыхал я, грот,
Откуда Терек молодой течет,
О скалы неприступные дробясь;
С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстие лавина завалит,

Как мертвый, он на время замолчит...
Но лишь враждебный снег промоет он,
Быстрей его не будет Аквилон;
Беги сайгак от берега в тот час
И жаждущий табун — умчит он вас,
Сей ток, покрытый пеною густой,
Свободный, как чеченец удалой.
Так и любовь...

В ходе этих дум Лермонтов перевел два стихотворения из Томаса Мура — «Арфа» и «Вечерние выстрелы», где юношеское желание или предчувствие смерти стало настойчиво искать поэтического оправдания. В стихотворении «Весна» он смотрит в природу как в зеркало — оно не пророчит человеку возрождения:

Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

Байрон собрал в «Часы досуга» стихи, написанные в пятнадцать-восемнадцать лет. Как ни откроешь страницу — вот он, родной, глубоко проникающий в сердце голос друга, да и сверстника. «Годами я еще не стар, — пишет юноша Байрон, — но чувствую уже, что свет — не для меня. Зачем же в сумраке скрыт от нас час, когда человек должен умереть? Мне снился раз чудный сон, видение, полное блаженства. О действительность! зачем пробудила меня ты из этого мира?.. Охотно я бежал бы от людей: я избегаю их, я их ненавижу. Грудь моя жаждет мрачной долины, сумрак которой соответствует ночи мысли моей. О если бы были мне крылья даны, крылья, какие несут голубку к родному гнезду, я бы рассек ими свод небес и улетел бы туда на покой!»

Это было Лермонтову ближе, чем более поздние рассуждения Байрона о смерти, где он чаще всего говорит не о своей собственной, а вообще о смерти, как, например, в четвертой песне «Чайльд-Гарольда»: «Мы погружаемся в бездну, чтобы узнать, чем будем мы, когда наше существо распадется на что-нибудь еще более ничтожное, чем это презренное тело...» Презренное? — с этим Лермонтов был решительно не согласен. А вот еще — Байрон с иронией отозвался в «Дон Жуане» об умершем лет за двадцать до его рождения поэте Юнге, но огромная поэма Юнга, состоящая из рассуждений о «жизни, смерти и бессмертии», читалась во всей Европе. В России во времена Екатерины и Павла появилось множество переводов ее — и отрывки в журналах, и полные (Алексея Кутузова в 1785-м и Ивана Лопухина в 1799 году). Английского издания книги у Лермонтова не было, а русские прозаические переводы отличались тяжелым языком. Но и в этих переводах поэма поражала силой воображения и мысли.

Весной 1829 года «Московский телеграф» поместил в двух номерах «Ночь. I» из поэмы Юнга, ее начало, в стихотворном переводе Михаила Вронченко. Это был тот же английский пятистопный ямб без рифм, что и у Байрона в «Мраке» и «Сне». В нем было что-то завораживающее:

По сне, обычно кратком и прерывном,
Я пробужден: блажен, кто спит сном вечным!
Блажен, когда мечтаний нет во гробе!
Я, пробужден, восстал из моря грез,
Грез бурных, где без цели и надежды
Носилась мысль, рассудка руль утратив.
Ей пробужденье горькая замена
Страданий злых на злейшие страданья...

...Как беден, как богат, почтен, презренен,
Как многосложен, дивен человек!
Сколь непостижным существом он создан,
В нем крайностей так много согласившим!
Он свойств противных чудное смешенье,
Избранная миров далеких связь,
Отличное в цепи существ звено,
Ничтожества и Божества предел,
Эфирный луч, померкший, оскверненный,
Божественный и в самом униженье.
Безмерного величья малый образ,
Наследник славы, краха бренный сын;
Ничтожный, вечный; слабый, беспредельный;
Червь, Бог!..

Вот откуда постоянный внутренний разлад в человеке! Борьба многих начал. Лермонтов вспомнил Державина: «Я царь — я раб — я червь — я Бог!» Без Юнга тут не обошлось. Да ведь и Юнг не свои — оригинальные — мысли высказывал, горе, тяжкое житейское горе заставило его выговорить все эти истины столь искренне, таким голосом, что все невольно прислушались.

Со всех сторон теснили память Лермонтова строки, строфы, стихотворения и целые поэмы о бренности жизни человека, о бессмертии души, о греховности мира, о надеждах и отчаянии, о страхе и презрении. Иван Козлов вольно перелагает Григория Назианзина:

А знаю ль я, зачем рожден на свет?
Что жизнь моя? — Те дни, которых нет...
Как бурный ток, пролётная вода,
Теку — стремлюсь — исчезну навсегда.
Удел мой гроб; сегодня человек,
А завтра — прах. Ужели прах навек?..

Батюшков как страшную, открытую им новость сообщает Вяземскому истину, тревожившую всех людей от начала мира: «Минутны странники, мы ходим по гробам...»

Не новы и проклятия Жуковского «свету» — миру, в котором живет человек, но высказаны они с неотразимой силой. Он противопоставляет ему «край незримый», небесный:

Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где доброму следов ко счастью нет;
Где мнение над совестью властитель,
Где все, мой друг, иль жертва, иль губитель!..

Отрицание... презрение... Лермонтов чувствовал, что он не может согласиться со всем этим полностью. Неужели душа без всякой жалости оставляет тело? Неужели тело — не более чем прах, глина? Пусть прах, но ведь не простой. Тело — обиталище и друг духа бессмертного. Смертный друг. Какой страшный конец ожидает его, и неизбежно!.. Справедливо ли это?

Он решил написать свои «Ночи», и, конечно, не по-юнговски. Он отбросит этот дух полного самоуничтожения. Он вступится за друга души. Юнговско-байроновским белым пятистопником он начал рассказывать — поначалу как будто что-то обыкновенное:

Я зрел во сне, что будто умер я;
Душа, не слыша на себе оков
Телесных, рассмотреть могла б яснее
Весь мир — но было ей не до того;
Боязненное чувство занимало
Ее; я мчался без дорог; пред мною
Не серое, не голубое небо
(И мнилося, не небо было то,
А тусклое, бездушное пространство)
Виднелось...

Душу, летевшую без цели, встретил «светозарный ангел», который приказал ей вернуться на землю, туда, где зарыт ее труп: «Ступай и там живи», и молись до второго пришествия: «И выстрадай прощенье». Она вернулась, увидела землю «с досадой» и с той же досадой и «холодным трепетом» увидела «ту, которую любил так сильно прежде». С «презрением» взглянула на «ликующих» друзей и их кубки, где «грех с вином кипел»... Она полетела к своей могиле. Лермонтов в этом стихотворении говорит то «душа», то «я».

И я сошел в темницу, узкий гроб,
Где гнил мой труп — и там остался я;
Здесь кость была уже видна — здесь мясо
Кусками синее висело — жилы там
Я примечал с засохшею в них кровью...
С отчаяньем сидел я и взирал,
Как быстро насекомые роились
И поедали жадно свою пищу;
Червяк то выползал из впадин глаз,
То вновь скрывался в безобразный череп,
И каждое его движенье
Меня терзало судорожной болью.
Я должен был смотреть на гибель друга,
Так долго жившего с моей душою,
Последнего, единственного друга,
Делившего ее земные муки —
И я помочь ему желал — но тщетно...

Он «припадал на бренные останки», пытаясь их согреть, может быть, оживить... Это были безумно-безнадежные попытки.

Тогда я бросил дикие проклятья
На моего отца и мать, на всех людей, —
И мне блеснула мысль: — (творенье ада)
Что если время совершит свой круг
И погрузится в вечность невозвратно,
И ничего меня не успокоит,
И не придут сюда простить меня?..
— И я хотел изречь хулы на небо —
Хотел сказать...
Но голос замер мой — и я проснулся.

Это стихотворение «Ночь. I». Решив немедленно продолжать, он начал другое («Ночь. II»), но тут у него не было столь четкой мысли, как в первом. Он начал фантазировать. Представил себе ночь, небо в звездах... Однако это был взгляд не с земли, а откуда-то из глубин мироздания. Он видел, как вдали «земля вертелась наша». И там, на земле, себя самого, — единственного не спящего в этот момент человека... Затем он выдумал апокалипсически страшный образ Смерти — видение, явленное адскими силами одному неспящему ему. «Скелет неизмеримый» поднялся в небе, заслоняя звезды и растаптывая в прах «целые миры».

И вот *он* поднял костяные руки —
И в каждой *он* держал по человеку,
Дрожащему — и мне они знакомы были —
И кинул взор на них я — и заплакал!..
И странный голос вдруг раздался: «Малодушный!
Сын праха и забвения, не ты ли,
Изнемогая в муках нестерпимых,
Ко мне взывал — я здесь: я смерть!..
Мое владычество безбрежно!..
Вот двое. — Ты их знаешь — ты любил их...
Один из них погибнет. — Позволяю
Определить неизбежимый жребий...»

Это были двое «друзей». Вопрошаемый пришел в смятение и не решился предпочесть одного другому. «Оба, оба!» — воскликнул он. Но если уж так:

Ах! — и меня возьми, земного червя, —
И землю раздроби, гнездо разврата,
Безумства и печали!..

Этой второй «ночью» Лермонтов остался недоволен. Нагнетенные воображением страхи сложились в довольно искусственный сюжет. Зато на фоне этой «Ночи» увидел он, что в первой — одна из таких тем, что даются озарением, счастливым, редким... И вместе с тем он понял, что «Ночь. I» не доделана, что она требует развития, уточнений. Конечно, это уже не будет начало «юнговской» эпопеи — просто стихотворение или небольшая поэма (как «Мрак» или «Сон» Байрона) под названием «Смерть».

И начал с того, что он не «умер» (как было в первом варианте), а «умирает», что смерть уже начинает «студить» его кровь.

И тело, видя свой конец, старалось
Вновь удержать души нетерпеливой
Порывы, но товарищу былому
С досадою душа внимала, и укоры
Их расставанье сделали печальным.

Душа еще как бы не знала, что станет после смерти с его «товарищем». Но самое странное здесь, что «я» — ни тело, ни душа, а нечто третье, находящееся «между двух жизней в страшном промежутке», — это, очевидно, пока еще не разделившиеся, но начавшие разделяться душа и тело. Это «третье» больше понимает тело, чем душу:

...я не мог
Понять, как можно чувствовать блаженство
Иль горькие страдания далеко

От той земли, где в первый раз я понял,
Что я живу, что жизнь моя безбрежна,
Где жадно я искал самопознанья,
Где столько я любил и потерял,
Любил согласно с этим бренным телом,
Без коего любви не понимал я.

Как углубилась мысль... Душа спешит к вечной жизни, летит, но совершает всего лишь замкнутый круг. Вместо ангела явилась вдруг на ее пути «книга», развернувшаяся «с великим шумом» (как в Апокалипсисе). Душа прочла в ней свой «ужасный жребий» — возвратиться на землю. Книга исчезла.

И опустело небо голубое;
Ни ангел, ни печальный демон ада
Не рассекал крылом путей воздушных,
Лишь тусклые планеты, пробегая,
Едва кидали искру на пути.

Душа сошла во гроб. Может быть, это страшнее, чем сойти во ад... Это одна из тех «бед безвестных», о которых говорит Гамлет. Все дальнейшее Лермонтов оставил по-старому.

Той же весной 1830 года написал он еще одно стихотворение под названием «Смерть». Оно преисполнено «вертеровского» настроения, решимости уйти из жизни... «Окончен путь, бил час, пора домой» (домой — на «небесную родину», если по Жуковскому). «Пора. Устал я от земных забот...» И это не игра в смерть, это действительно мысли о самоубийстве, настолько тяжело дается Лермонтову жизнь во всех ее проявлениях. Он буквально изнемогает душой... Он любит земное, любит жизнь с ее страстями, и никто, как он думает, не подвержен им так сильно, как он, — любит даже мучения, но он устает, как пловец среди больших волн.

И вот возникает некий протест, душевный срыв.

Он словно обеими руками отталкивает от себя «пытки бесполезных дум», «самолюбивую толпу», «дев коварную любовь»...

Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой попрежнему страдать
И столько же любить? Всесильный Бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей!

Он не совершил этого греха, но готовность к самоубийству оставила рубец на его душе, не первый уже, но далеко и не последний.

В это время он замыслил трагедию о молодом человеке, который действительно не вынес мучений жизни и покончил с собой.

2

В начале марта 1830 года Лермонтову дважды довелось увидеть императора Николая Павловича. 8 марта, в субботу, был в Благородном собрании концерт с участием знаменитого пианиста Джона Фильда. Попасть на него было трудно, да Лермонтов и не думал об этом. Но его пригласил Павел Петрович Шан-Гирей, которого московские знакомые его звали Шангареевым.

И вот они сидят довольно далеко от сцены. Зал просторен, но уже через несколько минут дышать стало тяжело... Все было заполнено нарядной публикой, слышался говор, шарканье, многие входили, выходили... дамы без устали обмахивались веерами.

Ирландец Джон Фильд, один из первых виртуозов мира, уже лет десять как живет в Москве (а до этого — двадцать лет в Петербурге), но ничего московского, как и вообще русского, к нему не пристало.

После Фильда к публике вышли Петр Булахов и Надежда Репина, лучшие певцы московского Большого театра. У нее дивной красоты сопрано. У него — превосходный тенор. Под конец Булахов спел «Соловья» Алябьева и с ним же вышел на «бис».

Публика стала расходиться.

Лермонтов и Шан-Гирей не спешили. Пропуская дам, они остановились возле колонны. Вдруг вся эта говорливая, благоухающая, шуршащая шелками публика замолкла, приостановилась и, как по команде, образовала пустой круг, в который вступил, ведя под руку необыкновенной красоты даму, высокий генерал в белом кавалергардском мундире. Он слегка улыбался, поглядывая по сторонам. Чувствуя что-то из ряда вон выходящее, Лермонтов пристально смотрел на него, и — взгляды их встретились. Гордая голова, красивое лицо с прямым носом и голубыми выпуклыми глазами — лицо человека, привыкшего властвовать и принимать безусловное повиновение. Павел Петрович Шан-Гирей, стоявший рядом с Лермонтовым, вытянулся как струна и ел глазами генерала.

Через минуту видение исчезло.

— Его императорское величество, — прошептал на ухо Лермонтову Павел Петрович, вынимая платок и вытирая взмокшую то ли от духоты, то ли от волнения шею.

Наконец и они двинулись к выходу.

— Какова царица! — прошептал Шан-Гирей. — У нас на Кавказе сказали бы — гурия!.. Ни в Москве, ни в Петербурге нет ей подобной.

Возвращались домой они в санках.

— Пожалуй, ни в Грузии, ни в Персии, — продолжал Павел Петрович. — Красавица... Помнишь стихи Жуковского о ней?

Всё — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной...

— А царь?

— Ну что же царь, — пожал плечами Павел Петрович. — Мужчина видный.

В понедельник Лермонтов не ездил в пансион. А во вторник, 11 марта...

Перемена шла к концу. Длинный коридор гудел от беготни и криков. Запыхавшиеся ученики начинали возвращаться в классы. Лермонтов хотел уже войти в свой 6-й, как вдруг его словно что-то толкнуло изнутри. Он повернул голову и увидел знакомый белый мундир и знакомые выпуклые глаза, смотревшие с противоположного конца коридора, со стороны актового зала, через головы всей этой галдящей и бушующей толпы — прямо, как ему показалось, на него. Это были глаза разгневанного Юпитера. Но Юпитер при этом не громыхал. Ученики с недоумением поглядывали на неизвестно откуда взявшегося генерала, молча и твердо шагавшего по коридору, разбегались по классам, как мыши по норам.

Лермонтов продолжал стоять. Ему казалось, что все это происходит во сне. Слишком нелепо это выглядело. Но тут у дверей пятого класса Костька Булгаков вытянул руки по швам и крикнул с петушиной звонкостью: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Все разом стихло. Коридор опустел. Император вошел в пя-

тый класс. Лермонтов — в свой. Надзиратель протирал аспидную доску, ожидая Перевощикова, — предстоял урок математики. Лермонтов, сжав зубы, расширенными глазами смотрел на дверь, как бы ожидая некоего своего преследователя, чтобы сразиться с ним. Мускулы его напряглись. И вот в дверях возник белый мундир. Грозные глаза... Ого! Император сердится... Да как!

— Немедленно... собрать всех воспитанников в актовый зал... Слышишь? — проговорил удушливо-яростным голосом император, наступая на растерявшегося, уронившего тряпку на пол надзирателя, который посинел от страха, втянул голову в свой высокий воротник и шипел еле слышно:

— Слушаюсь... ва-ш-ш-ш...

В коридоре послышался громкий топот поспешно бегущих людей. Затем все стихло. За спиной императора, в дверях, показались комически жалкие, испуганные и потные лица директора Курбатова, инспектора Павлова и его помощника Светлова.

Спектакль продолжался.

Казалось, что царь ткнет сейчас пальцем в кого-нибудь и скажет:

— В рядовые... без выслуги... на Кавказ!

«Меня бы, — подумал Лермонтов. — Но что случилось? Может быть, у нас в пансионе завелось тайное общество, а я не знал?» Пожалуй, педагоги и надзиратели думали о чем-то таком же... Сибирский холодок побежал у них по спинам и зашевелил волосы, у кого они были... По сравнению с молодцеватым гигантом царем они казались сборищем жалких стариков, мешковатых карликов.

Пансионеров собрали в актовом зале и выстроили по классам. Император в нетерпеливом ожидании, все с тем же грозным видом, крупно шагал взад и вперед, сильно припечатывая подошвы лаковых ботфорт. Наконец и директор расставил кое-как своих педагогов и надзирателей. Все смолкло. И тут император остановился и произнес короткую, полную вулканического пламени речь, обращаясь то к воспитанникам, то к педагогам, и одинаково тем и другим грозя пальцем, как гувернер нашалившим малышам.

Тайного общества обнаружено не было. Никто не сочинил нового «Сашки». Ничего чрезвычайного не случилось. Однако императора(!), пусть даже и явившегося неожиданно, встречает в вестибюле всего лишь полуглухой старик сторож, а дальше этот император идет один по лестницам, через этот вот зал, и не видит на своем пути ни единого надзирателя, никого!.. А что творится в коридоре?! Это не пансион для дворянских детей, а толкучий рынок! В пансионе нет никакого порядка... Педагоги не проявляют требовательности, а воспитанники благонравия... В храме наук должны быть дисциплина и тишина!..

Директор Курбатов слушал, виновато склонивши голову на одну сторону. Все чувствовали себя униженными. О возражениях нечего было и думать. Возразишь — погибнешь... Пансион потерянно молчал. Кончив речь, император повернулся, вышел из зала, сбежал по лестнице и уехал. Прошло несколько минут тягостной тишины.

— Господи, — сипло сказал наконец Курбатов, хотя голос у него всегда был отчетливый и звучный, — нам есть о чем подумать... Прошу разойтись по классам.

Надзиратель пошел по коридору, потрясая колокольчиком.

Это был закат некогда блестящего, любимого дворянами учебного заведения (половина гвардии наполнена его выпускниками). Удар, нанесенный ему Николаем Павловичем, оказался сокрушительным. 29 марта «высочайшим» указом Правительствующему сенату Московский университетский благородный пансион был преобразован в гимназию — якобы ввиду того, что «права и преимущества, дарованные ему в 1818 году, противоречили новому порядку вещей и нарушали единство системы народного просвещения, которую правительство ставило на правилах твердых и единообразных». Ученики, оканчивающие эту гимназию, лишены были права получать в зависимости от успехов, как это здесь было, гражданские чины 14-го, 12-го и 10-го классов по Табели о рангах (или соответствующие им офицерские), и должны были достигать их позднее, уже по службе. Через некоторое время была сделана поблажка для поступивших в пансион до указа (им оставлялось право получения чинов), но это произошло уже в мае. Лермонтов же подал прошение об увольнении от пансиона в середине апреля. 16 апреля он уже получил свидетельство, где говорилось о том, что он «обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами». Этот отзыв о Лермонтове нисколько не был формальным.

В день выхода указа, еще не успевшего дойти по назначению, в пансионе было торжественное собрание в честь выпуска 1829 года. Как всегда, было большое стечение гостей, публичные испытания учеников, вернее — демонстрация их успехов, концерт, а потом — бал, последний для Лермонтова в пансионе. В этот день, как лучший ученик шестого класса он получил и последнюю свою награду, какую-то книгу. Он был рад всему: что покидает пансион, что начинается весна и бабушка уже готовится к отъезду в Середниково. Одно было грустно — Наташу Иванову он не увидит до осени, может быть, до самой поздней. Она едет в деревню. Лермонтов уверял ее, что проведет лето как монах, в трудах неустанных, а осенью даст ей отчет. У него задумано много сочинений — стихи, поэмы, драмы. Он готовит к перевозу в середниковскую келью свой кабинет — тетради, книги, карандаши и перья, а также краски и кисти.

Однако предстоящее лето не обещало способствовать его планам — Саша Верещагина с матерью ехали в свое Федорово, а в Большакове (полторы версты от Федорова) будет жить со своей теткой Катерина Сушкова, новая приятельница Саши, недавно приехавшая из Петербурга. В Москве жили ее дядья с семействами. Сын одного — Сергей Сушков — учился в младшем классе пансиона. Лермонтов был знаком с дочерью другого — с Додо Сушковой, бывавшей на детских балах у Столыпиной. Она сочиняла стихи. Все это были коренные москвичи. Но Катерина Сушкова, на редкость красивая девица, всегда одетая очень модно, обо всем московском отзывалась с пренебрежением. Московские дамы ужасали ее своим безвкусием, а балы — мещанским пошибом... Тем не менее она эти балы посещала, много танцевала, стараясь прибрать к рукам лучших кавалеров. Это ей удавалось.

Один из дядей Сушковой, отец Додо, имевший троих почти уже взрослых детей, еще не старый и даже красивый человек, живой и любезный, намеревался жениться на Саше Верещагиной, которая, как начинали потихоньку поговаривать, уже засиделась (ей было почти двадцать лет), но имела значительное приданое. Тетка посылала Катерину Сушкову к Верещагиным почти каждый день, наказывая расхваливать там дядю и намекать Саше на его любовь. Умная Саша вмиг все это раскусила и взяла дело в свои руки — через Сушкову она стала водить за нос и тетку и дядю, держа их в смутных надеждах для того, чтобы не скучать, иметь у себя в гостях почаще

петербургскую болтунью, которой она также скоро начала морочить голову. Она внушила ей, например, что Мишель, Сашин кузен, иногда сопровождавший их обеих на вечера и прогулки, безумно влюблен в нее. Катерина сначала усомнилась:

— Да у него всегда такой гордый вид, такая презрительная улыбка...

— Он это напускает на себя, не надеясь на успех... Он не хочет, чтобы ты догадалась и стала мучить его. Он уверен, что ты стала бы мучить его и смеяться над ним. Помнишь, третьего дня мы катались в Петровском, ты дала ему на сохранение перчатки, а он одну потерял?

— Так что?

— Он ее украл. Чтобы обливать слезами и целовать, когда никто не видит.

— В самом деле?

— Ах, вот и Лермонтов идет... слышу его шаги.

— Лермонтов? Кто это?

— Как кто? Мишель! Поди сюда, покажись, Катерина говорит, что она тебя еще не разглядела.

Вбежавший впопыхах Лермонтов поклонился и вопросительно посмотрел на Сушкову.

— Простите, Мишель, — сказала она. — Я не знала, что ваша фамилия Лермонтов. Я думала, что вы Арсеньев, как и Елизавета Алексеевна... Я виновата.

— А он виноват в том, — еле сдерживая смех, сказала Саша, — что вздыхает по петербургским модницам и крадет у них перчатки!

Лермонтов махнул рукой и убежал.

Девушки посмотрели в окно.

— Ты его совсем смутила! Он в отчаянии, — продолжала Саша. — Бежит сломя голову... А в кармане твоя перчатка... Ты знаешь, он посвящает тебе стихи, но пока не решается преподнести... Конечно, ему нет еще шестнадцати, а тебе скоро восемнадцать... Он еще дитя, а ты... Но любовь у него самая сумасшедшая.

Сушкова сделала равнодушное лицо:

— Да тут ничего любопытного. Мальчики всегда влюбчивы...

Саша внутренне торжествовала. Она решила посвятить в этот свой розыгрыш Лермонтова. Игра может быть интересной и долгой... «Зазнайка! — думала Саша. — Красоты много, ума ни на грош!»

Лермонтов спешил домой. В эти минуты он не думал

ни о Сушковой, ни о Саше-озорнице, которая то читала с ним Байрона или, выпросив у него его собственные стихи, восхищалась ими, то вдруг принималась разыгрывать его. Например, принимала важный вид и говорила:

— Мишель! С этого дня ты будешь звать меня «ma tante».

— Почему?

— Я старше тебя на четыре года и вовсе тебе не кузина, а в самом деле то ли троюродная, то ли четвероюродная, то ли просто никакая, но тетка.

— Да полно... какая разница?

— А ну-ка скажи: «ma tante».

— Ни за что. Пускай Аким или Аркашка тебя так зовут.

Лермонтов спешил домой, в свой мезонин. Теперь, когда наступила свобода от всего и не надо ходить в пансион, и больше нет никаких учителей и гувернеров (в марте съехал с квартиры и исчез в неизвестном направлении Виндсон со своей супругой), нужно было *писать*... К концу года должны быть готовы три или четыре драмы, как он решил, и одна из них в стихах, а может, и две.

Он не хотел, чтобы его драмы были похожи на Шиллеровы, но думал он все же о них. Опять отец и сын... и брат. Нет, брата пусть не будет, а то получатся те же Франц и Карл Мооры. Лучше сестра. Сын далеко, как и Карл Моор, но он не разбойник, а офицер. Он едет домой в отпуск и в пути должен нечаянно встретить свою возлюбленную, которая должна будет погибнуть. Не от него, как в «Разбойниках» или «Эмилии Галотти», а от... от отца этого офицера. Отец — тайный разбойник, убийца, дочь его, сестра офицера, тоже убийца, они по ночам грабят в округе с помощью своей челяди. Значит, должно быть ночное нападение. Отец не должен был знать, что в трактире остановился его сын, что здесь он встретился со своей возлюбленной и ее матерью. Сын приехал раньше того времени, которое он в письме отцу назначил для своего приезда домой. Он хочет сделать приятную неожиданность... И вот ночь. Подъезжают тройки... Стук в ворота. Все трещит... Смятение и шум... Люди в масках убивают всех, кто подворачивается под руку. Офицер вынимает саблю и яростно защищается. Он убивает одного, другого, третьему отсекает руку, но его заталкивают в чулан и задвигают запором. Через какое-то время, когда



М. Ю. Лермонтов.
Художник П. Е. Заболотский. 1837.



Дом Е. А. Арсеньевой в Тарханах.



Классная комната.



М. Ю. Лермонтов в детские годы.



Рисунок Лермонтова, сделанный во время поездки на Кавказ в 1825 году.



Е. А. Арсеньева, бабушка поэта.



М. М. Лермонтова, мать поэта. *1810-е гг.*



Ю. П. Лермонтов, отец поэта. *1820-е гг.*



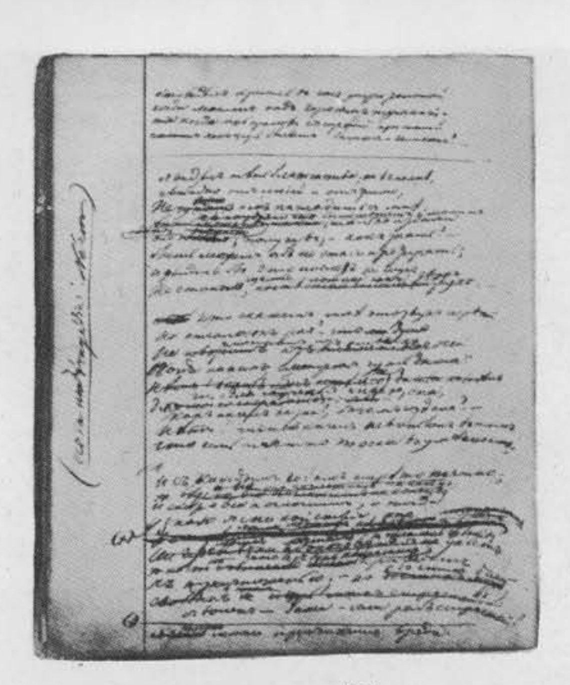
М. Ю. Лермонтов в детстве.



Дом у Красных ворот, где родился Лермонтов.
Автолитография П. И. Львова, 1939.
(На месте этого дома теперь высотное здание).



Красные ворота. *Гравюра первой половины XIX века.*



Автограф стихотворений Лермонтова
«Кто видел Кремль в час утра золотой...»
и «Я видел тень блаженства; но вполне...». *1831.*



Московский университетский Благородный пансион.



Усадебный дом в Середникове.



Автограф стихотворения Лермонтова с рисунком. *1830.*



Н. Ф. Иванова. *Рис. В. Ф. Бинемана. 1830-е гг.*



Е. А. Сушкова. *Миниатюра. 1830-е гг.*



А. М. Верещагина. *Миниатюра. 1837.*



В. А. Бахметева (урожд. Лопухина).
Худ. Э. Мартен. 1830-е гг.

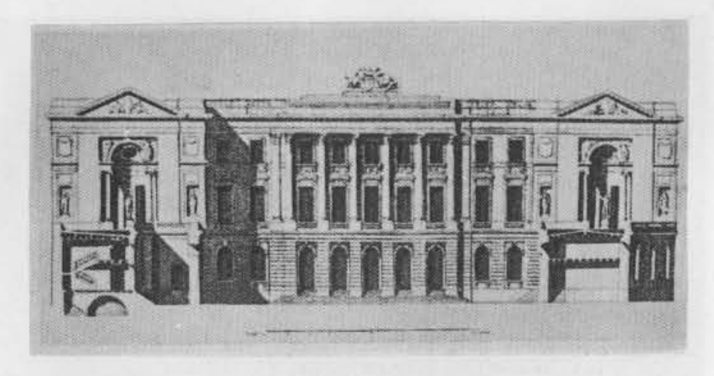


Дворянское собрание в Москве.
Литография по рисунку С. Дица. 1840-е гг.



Дом Павловых в Москве.

Автограф стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта». *1837.*



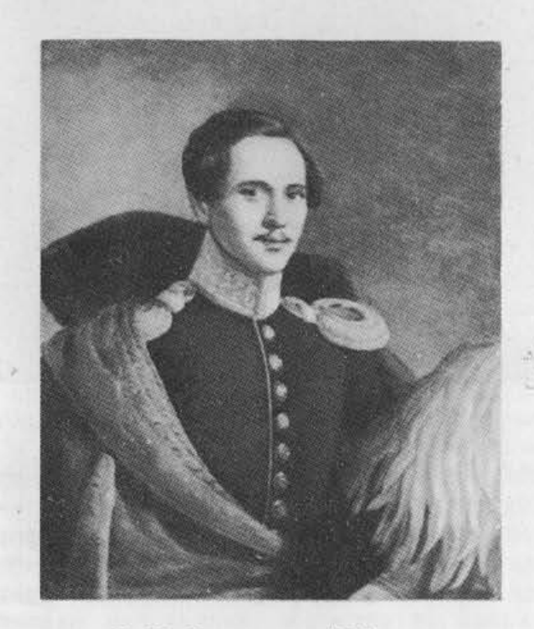
Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге. Фасад на Мойку. *С гравюры Колпашникова по чертежу Деламота. 1826.*



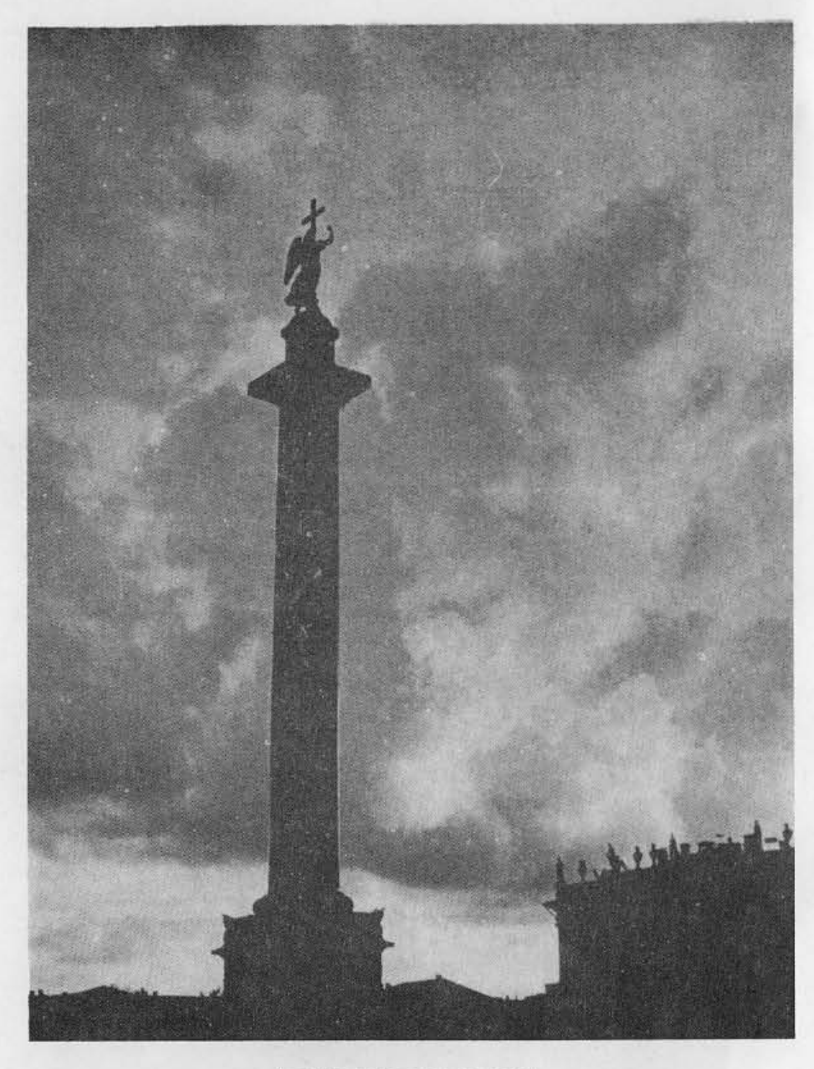
Дом на Садовой, где жил Лермонтов в 1836—1837 годах. *(Впоследствии надстроено два этажа.)*



Лермонтов-юнкер. *Худ. А. Челышев.*



М. Ю. Лермонтов в 1834 году. *Худ. Ф. О. Будкин.*



Александровская колонна.
Архитектор А. А. Монферран.
Скульпторы Б. И. Орловский, И. Леппе, П. В. Свинцов. 1830—1834.

все стихло, он разбивает дверь, выскакивает и видит на полу свою возлюбленную — она убита. Он решает мстить. Для этого спешит к отцу, чтобы там найти помощь.

Лермонтов пишет подробный план. *«Ночь у отца,* — продолжает он. — Дочь примеривает платья убитых несколько дней тому назад; люди прибирают мертвые тела. Прибегает вскоре сын, сказывает о себе, его впускают, он рассказывает сестре свое несчастие — вдруг отец — он без руки... сын к нему — и видит — в отчаянии убегает. Смятение в дому. Меж тем полиция узнала не о сем, но о другом недавнем злодеянии и приходит; сын сам объявляет об отце: вбегает *с ними.* Полиция. Отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Тут вбегает служитель старый сына, добрый, хочет его увидеть и видит его мертвого».

Низко пал отец-разбойник, но он мог пасть еще ниже — убить сына. Только случайно этого не произошло. Но он все-таки отец. А сын, пусть не ведая того, едва не убил отца и даже тяжело ранил его. И уже совершенно открыто отдал его в руки властей, мстя за смерть своей возлюбленной. Уже этим, а не выстрелом из пистолета, он убил себя. Конечно, перед смертью он должен произнести длинный монолог, где осудит себя, но он должен будет осудить и жизнь, в которой возможны такие обстоятельства.

В этой пьесе Лермонтова больше всех интересовал офицер, но для него здесь было мало действия. Нужно было еще много чего-то другого, помимо стычки с разбойниками. Тут не покажешь, как он жил раньше, как рос, что с ним было... что он думал... мучился ли чем... хотел ли чего... Нужно писать пьесу прямо о молодом человеке. Без разбойников. Пусть, например, он будет мещанин или попович, который с детства полюбил чтение, стихи, науку, — пусть он против воли родных отправится в университет, в Москву, где его примут за его таланты учиться на казенный счет. Он, конечно, учится блестяще, но тихий нрав и робость его вызывают насмешки у товарищей-студентов, никто с ним не дружит, он нигде не бывает. Он полюбил, но и любовь его оказалась несчастной. Университет отправил его на казенный счет в чужие края — он побывал в лучших университетах Европы: в Париже, Берлине и Мюнхене. Он чувствовал, что мог бы стать крупным историком, философом, но им все больше овладевает грусть. В России он начинает служить, но его унижают начальники, общество не принимает его...

Он не находит в себе смирения, впадает в отчаяние... И, наконец, застреливается.

Но этот сюжет годился больше для романа, чем для пьесы.

Следующая мысль была уже о том, что надо взять свой круг, даже может быть себя, своих родных, что-то оставить как есть, но многое переменить, дать другой ход, ввести новые лица... Итак, молодой человек окончил в Москве пансион. Ну, не сейчас, а... шесть лет тому назад. Он живет в имении у бабки, у которой, кроме него, никого нет. Мать его скончалась, когда он был младенцем. Отец, бедный помещик, живет в своем имении, он хотел бы взять сына к себе, но не может, так как самому едва есть на что жить, а бабка богата... И вот сын (пусть будет он Юрий) отправляется учиться за границу, а отец приехал проститься с ним... Юрий все внимание отдает отцу, а бабка сокрушается, боится, что останется одна... Нет, это надо еще осложнить. Бабке надо прибавить и лет, и злобы на отца. Все, что осталось после дочери, — людей, имение — она у него оттягала через суды. Внук также остался у нее. Когда же внук подрос, она стала ему наговаривать на отца, на дядю (пусть и дядя будет...), чернить их.

Попробовать написать, как она будет говорить: «Экой он сделался — бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, пока мал был, и напрасно я его удаляла от отца — таки умели Юрьюшку уверить, что я отняла у отца материнское именье, как будто не ему же это именье достанется. Кто станет покоить мою старость! — и я ли жалела что-нибудь для его воспитания... готова была от чаю отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю. Ставила фунтовую свечу каждое воскресенье, всем святым поклонялась. Ему ли не наговаривала я на отца, на дядю, на всех родных — все не помогло...». Как будет говорить отец: «Поверьте, что отец имеет более права над сыном, нежели бабушка... Я, сжалясь над вами, уступил единственное свое утешение, зная, что вы можете Юрия хорошо воспитать... Но я ожидал благодарности, а не всяких неприятностей, когда приезжаю повидаться к сыну... Я очень огорчен вашим против меня нерасположением... Но что ж делать, вы задели меня за живое: я отец и имею полное право над сыном». Всех труднее Юрию, и в речах его больше горечи: «Помнишь ли Юрия, — говорит он приятелю-гусару, — когда он был счастлив, когда ни раздоры семейственные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшим разговором для меня было размышленье о людях. Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое, как пламенно я любил природу, как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих? Сон этот миновался, потому что я слишком хорошо узнал людей... От колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня. Часто я во мраке ночи плакал над хладными подушками, когда воспоминал, что у меня нет совершенно никого, никого, никого на целом свете... Несправедливость, злоба — все посыпалось на голову мою... У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает».

Юрий должен покончить с собой. Такому его решению должно послужить что-то особенно страшное. Но что? Может быть, он узнает какую-нибудь тайну, которой нельзя пережить без позора. Может быть, любовь... Например, с отцом приезжает дядя, у которого две взрослые дочери, в одну из них Юрий влюбляется. Пусть это будет как бы Анюта Столыпина... Можно еще дать роль дяде — сделать его неумелым помощником отцу, он чернит бабку в глазах Юрия, называя ее злобной и хитрой старухой, рассказывая, что Юрия она прибрала обманом, увезши в другую деревню, выигрывая время и строя интриги... Юрия эти наговоры только отталкивают от дяди, он страдает... Этот дядя, узнав о том, что у Юрия с его дочерью было «любовное свидание», решает ему отомстить и клевещет на него брату. «Вчерась, в ее комнате, — сообщает он, — он говорит своей бабке: довольны ли вы теперь моей привязанностию! вам тяжко присутствие моего отца! я ему про вас наговорил, он с вами побранился — и теперь вы имеете полное право ему указать порог». Отец Юрия взбешен. Всякая любовь к сыну в нем пропадает, и он совершает самое страшное, чего, по мнению Лермонтова, ни один человек не должен делать: проклинает сына.

А сын в это время и без того был в тяжком душевном положении. Любовь (так звали дочь его дяди), чистое, робкое создание, с которой они поклялись любить друг друга, вдруг, как ему показалось, коварно изменила ему — он случайно увидел своего друга-гусара на коленях перед ней (но гусар просил ее в это время помочь ему повидаться с ее сестрой)... Юрий вызвал гусара на дуэль, но дуэль не состоялась. Любовь, которая решилась

откровенно объясниться с ним, выяснить причины его внезапной «холодности», он оттолкнул.... Эта сцена, как предположил Лермонтов, должна быть очень бурной. Может быть, Юрий даже застрелит девушку, а потом проклянет землю и небо.

После этого удара проклятие отца должно сокрушить Юрия. Поначалу он пытался добиться правды, но отец был уверен, что Юрий «надев маску привязанности, являлся к каждому и вооружал одного против другого», что благодаря Юрию отец «как последний нищий выгоняем из собственного дома». «Я всё знаю... теперь поздно твое коварство... Ты больше мне не сын... прочь, прочь отсюда с твоим наследством. Ты мне золотом не заклеешь язык... я всё тебя отвергну, хотя б с тобой были миллионы... такое коварство... почти отцеубийство, если не хуже, потому что я тебя любил... Может быть, я скоро совсем разорюсь... буду просить милостыню... но верь мне, даже не подойду к твоему окошку... я не захочу встретить на нем печать моего проклятья». Прокляв сына, отец убил в нем и любовь к себе. «Ха! ха! ха!.. отец проклял сына... как это легко, — говорит Юрий. — Посмотрите, посмотрите, посмотрите на это самодовольное лицо... посмотрите на эти спокойные черты: этот отец проклял сына!»

Наброски множились, и план драмы усложнялся. Давняя распря действовала не сама собой, ухудшая отношения бабки и отца Юрия. Должна быть — в глубине — какая-то незаметная пружина. Какая-то злая сила, действующая неуклонно и беспощадно. Так появилась горничная Дарья, баба 38 лет, заслужившая лестью полное доверие старухи, которая посылает ее шпионить: «Слушай, что они там ни будут говорить с отцом, всё узнавай и приходи сказывать мне... Ты всегда мне верно служила». Но мечта Дарьи — поссорить отца с сыном, чтобы отец уехал. При старом житье она могла многое прибирать к рукам. «Теперь я могу сделать славную штуку, — говорит она, — заставя ее поссориться с зятем и внуком, сама их меж собой перессорю, да после, если это откроется, свалю на нее. А отняв именье у Юрья Николаича, верно, барыня мне даст много денег...» Дарья похожа на злую колдунью. Бабка иногда как бы просыпалась, и тогда ей многое становилось понятно. «Не ты ли мне всё это советовала? — упрекала она Дарью. — Не по твоим ли словам я поступала? — право, если бы мы не хитрили, гораздо бы лучше шли все дела мои... Ты, дьявол, мне жужжала поминутно про эти адские средства, ты... ты хотела моей печали и раздора семейственного». Однако через минуту она снова обращается к Дарье: «Не знаешь ли, какое в моем положении средство осталось? как помочь?..» И средства находились — прежние, сатанинские... «Кинув пронзительный взгляд», Дарья возглашает: «Клевета!» Надо пустить в ход клевету. Бабка соглашается. Она уже хочет мести. «Мне хочется им отомстить!» — говорит она Дарье и уже готова избавиться не только от отца, но и от сына его, от своего внука («Мне только на совесть свинец, — говорит она, — если он будет жить в моем доме да укорять меня»). «Поеду в Киев, — бормочет старуха, — половину именья отдам в церковь, всякое воскресенье 10-фунтовую свечу перед каждым образом поставлю... только теперь помогите отомстить». (Старуха не сознает даже, в какой большой грех она впадает.) Дарья думает так же, как барыня, и ее не пугает грех... Оставшись одна, она ликует: «Теперь рыбки попляшут на сковроде... Эта старуха вертится по моему хотенью, как солдат по барабану... Я теперь вижу золотые, серебряные... ха! ха! ха!.. в руке моей звенят кошельки... без них ведь я буду хозяйкой здесь... барыня-то слаба: то-то любо!» С Богом у нее просто: «Мне скажут, грех тяжкий эти сплетни, Бог накажет... как бы не так... я слыхала от господ старых, что если на исповеди все скажешь попу да положишь десять поклонов земляных — и дело кончено, за целый год поправа. Да и что за грех — штука теперешняя, я не понимаю, — поссорить отца с сыном — не убить, не обокрасть».

Вышло все-таки — убить.

Удар для Юрия оказался тем сильнее, что он после тяжелой душевной борьбы решил уйти к отцу. «А он, мой отец, меня проклял! — говорит он, готовясь выпить яд, — и так ужасно... в ту минуту, когда я для него жертвовал всем: этой несчастной старухой, которая не снесла бы сего... Глупейшая клевета сделала то, что я стою здесь на краю гроба.... Он меня проклял! в тот самый день, когда я столько страдал, обманутый любовью, дружбой... Что мне жизнь теперь, когда в ней все отравлено... что смерть! переход из одной комнаты в другую, подобную ей».

Клевета... Измена любимой... Проклятие отца... Это много, но и это не все причины, приведшие Юрия к самоубийству. Сам склад его души вел его к этому. Тут

Лермонтов много дал ему от себя. Как и ему, Юрию тяжко давалась жизнь. С каждым днем он приближался к катастрофе, по крайней мере ему казалось, что это так. Каждый миг он ощущал близ себя бездну. Каждое воспоминание терзало его душу. Всякое зло причиняло боль нестерпимую. Он не умел ни в самой малой степени приспосабливаться и применяться к условиям жизни. Зная, что самоубийство — смертный грех, Юрий решается на это. «Я терпел сколько мог, — говорит он, — но теперь... это выше сил человеческих!.. Как подумать, что эта ничтожная вещь победит во мне силу творческой жизни? что белый порошок превратит в пыль мое тело, уничтожит создание Бога?.. Но если он точно всеведущ, зачем не препятствует ужасному преступлению, самоубийству; зачем не удержал удары людей от моего сердца?.. зачем хотел он моего рожденья, зная про мою гибель?.. где его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?.. Душа моя погибла. Я стою перед Творцом моим».

Это то же, что у Лермонтова в одном из стихотворений:

...Всесильный Бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог...

Ни бабушка, ни отец в этой драме не были похожи на бабушку и отца Лермонтова. Дядю и двоюродных сестер он выдумал. Дарью тоже. Выдумал также друга Юрия Волина — гусара Заруцкого. Однако он поднял очень близкие к своей жизни проблемы, а Юрию и прямо передал многие свои мысли. Этой драмой Лермонтов снял со своей души часть непосильного напряжения. Отступила и стала несколько бледнее тень смерти — самоубийства, — постоянно сливавшаяся с душой Лермонтова. Он стал сильнее. Взрослее. Но о смерти он, конечно, продолжал думать. Работая над драмой (он назвал ее «Menschen und leidenschaften», — то есть «Люди и страсти», с подзаголовком «Ein trauerspiel» — трагедия), он писал и стихи. Уже в Середникове, 16 мая, появилось стихотворение «Боюсь не смерти я. О нет!..», где он высказывает нежелание «исчезнуть совершенно», как исчезает самоубийца, порвавший через свое самоуправство с Богом. Следом вырываются у него, как кажется, совершенно непроизвольно, строки:

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет...

Но «я хочу» — разве достаточная причина для того, чтобы труд «увидел свет»? «Я хочу» — значит я буду знать после смерти об этом, я приду посмотреть в ваши благодарные глаза, невидимый...

Хочу — и снова затрудненье!
Зачем? что пользы будет мне?
Мое свершится разрушенье
В чужой, неведомой стране.
Я не хочу бродить меж *вами*
По разрушении! — Творец,
На то ли я звучал струнами,
На то ли создан был певец?
На то ли вдохновенье, страсти
Меня к могиле привели?..

А на что? Ответа он даже и не пытается дать (а «чужая, неведомая страна» — это «тот свет»). То есть я не хочу знать, что будет с моим трудом, «увидевшим свет». Главное то, что он не мог не быть написан, он просто часть моей жизни. «Страсти» — «Люди и страсти». О *людях* Лермонтов много говорил в стихах, совсем недавно: пусть хоть в ад, «но только дальше, дальше от людей!» Заголовок трагедии по смыслу читается так: «Люди и страсти, которые довели до самоубийства Юрия Волина»... Люди плохие, а страсти — роковые. Конечно, это не так просто. В том же стихотворении, озаглавленном «1830. Маия. 16 число», он говорит, что любит «мучения земли» (а это он говорил уже не раз и раньше) и что «вечного покоя», обещанного за гробом, «не будет»:

Тех длинных, тех жестоких лет
Страдалец вечно не забудет!..

Если бы спросили Лермонтова тогда: «Чего же ты хочешь?» — он наверняка ответил бы: «Не знаю...» Ему не нужны были однозначные решения.

Люди и страсти... В том же мае возникло короткое стихотворение «Волны и люди»:

Волны катятся одна за другою
С плеском и шумом глухим;
Люди проходят ничтожной толпою
Также один за другим.
Волнам их воля и холод дороже
Знойных полудня лучей;
Люди хотят иметь души... и что же? —
Души в них волн холодней!

Это стихия... Но в ней есть волны-души, которые *любят*, — любят и его, отрицателя этой стихии. Любит

и он, но он, как отрицатель, как некий демон, может принести своей любовью только несчастье:

Мне любить до могилы Творцом суждено,
Но по воле того же Творца
Все, что любит меня, то погибнуть должно,
Иль как я же страдать до конца.
Моя воля надеждам противна моим,
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.

Душа его крепнет. Он уже сам начинает сознавать ее силу, — трагическую, но необоримую:

...под ударом судьбы,
Как утес неподвижен стою,
Но не мысли никто перенесть сей борьбы,
Если руку пожмет он мою;
Я не чувств, по поступков своих властелин,
Я несчастлив пусть буду — несчастлив один.

Это байроновский герой, несчастный, одинокий, но могучий. Он и среди бури при скрипе снастей холоден и даже «равнодушен»... крики ужаса «не трогают молчания его». Он везде дома, даже на палубе гибнущего корабля... У Лермонтова это поэт. Пусть пока безвестный, но чувствующий свою принадлежность всему миру:

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Всё, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен...

В его сердце «есть чувство правды», объемлющее «в краткий миг» пространство и время («И Всемогущий мой прекрасный дом / Для чувства этого построен...»). Но дух поэта тревожен, его отношение к своему огромному дому двойственно:

...И осужден страдать я долго в нем,
И в нем лишь буду я спокоен.

В таком тревожном состоянии Лермонтов заканчивал трагедию «Люди и страсти». Он хотел посвятить ее Ивановой и даже написал ее имя под словом «Посвящается», но тут же стал его тщательно замарывать. Эту, так близко стоящую к его жизни драму, нужно — решил он — посвятить Анюте Столыпиной. Первой любви своей. Любви этой нет, но как часто он думает о ней!.. Он смотрит на «далекую звезду», к ней летит его душа, и он признается этой звезде:

Я видел взгляд, исполненный огня
(Уж он давно закрылся для меня),
Но, как к тебе, к нему еще лечу;
И хоть нельзя, — смотреть его хочу...

В стихотворении «Первая любовь» он вспомнил лето 1828 года в Тарханах, когда «на мягком ложе сна не раз во тьме ночной» при свете лампады он мечтал, вызывал в памяти «женский лик» («он хладен был как лёд»...), «этот взор» («Как совесть, душу он хранит от преступлений...»). Он говорит о тогдашнем себе как о «младенце» и что было это «в ребячестве». Да, давно это было! Два года тому назад! Это и есть те «долгие» годы страданий, о которых он часто говорит в стихах.

В стихотворном посвящении к трагедии — своя трагедия:

...Одной тобою жил поэт,
Скрываючи в груди мятежной
Страданья многих, многих лет,
Свои мечты, твой образ нежный;
Назло враждующей судьбе
Имел он лишь одно в предмете:
Всю душу посвятить тебе,
И больше никому на свете!..
Его любовь отвергла ты...

Справа, на широком поле листа, он нарисовал женскую фигуру и сухое деревцо, как бы напоминание о кропотовском лете, о тех счастливых днях, о той яблоне, которая, вероятно, давно засохла и, может быть, даже срублена и сожжена...

3

Оказалось так, что не нужно было делать никаких усилий, чтобы чаще быть одному и заниматься драмой и стихами. Катерина Сушкова со своей теткой Прасковьей Михайловной и Саша Верещагина с матерью Елизаветой Аркадьевной поселились в своих деревнях близ Середникова, но сюда являлись только по воскресеньям — сначала слушать обедню у Алексия Митрополита, потом в гостиную Екатерины Аркадьевны Столыпиной, где Лермонтов обедал вместе со всеми.

За столом тесным кругом сидело множество девиц, девочек, мальчиков, разных стариков и старух, гувернер Аркадия Столыпина мистер Корд, его же учитель русского языка Петр Иванович Орлов, юноша лет двадцати

двух, бывший семинарист, гувернантка младших детей Екатерины Аркадьевны. В столовой было свежо, солнечно. Мимо окон с писком пролетали мухоловки. Четыре лакея принимали у дверей блюда, суетились за спинами обедающих, успевая незаметно угодить каждому, исключая, впрочем, семинариста, которому подавали не все, а вина в его бокал вовсе не лили — это по приказанию хозяйки, так как Орлов и обедать-то приходил уже вполпьяна. Его вообще терпели тут ради рекомендации Алексея Григорьевича Столыпина, родственника, двадцатипятилетнего гусара, с которым служил вместе брат Орлова, старший военный лекарь и поэт.

Лермонтов всегда сердился на семинариста, видя, как невозмутимо он переносит все эти мелкие унижения, — лучше бы он вовсе не садился за этот дурацкий стол. Но Орлов не пропускал обедов в барской столовой, они ему почему-то нравились. По нему никак не было видно, что он унижен. Он довольно рассеянно ел и с добродушной улыбкой поглядывал вокруг. А после обеда все выходили на балкон, и иногда кто-нибудь, чаще всего мистер Корд, просил Орлова петь. И тот пел русские песни. Ему приносили гитару, он садился на плетеный стул, брал несколько аккордов и запевал чистым, сильным тенором:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...

Он пел, не обращая внимания на слушателей, одну песню за другой. В окнах флигелей показывались слушающие... Лермонтов понимал, что Орлов никого не развлекает и никому не угождает этим пением. Он пел не для барынь и барышень, а для облаков, сосен, солнечного света... для себя... Бывало, пел долго. После двух-трех песен все расходились. Катерина и Саша тоже исчезали. Дольше всех сидел мистер Корд, которому очень нравились русские песни. Но вот и он поднимается с места. Остается один Лермонтов.

Они сидели молча. Над ними шли в синеве облака. В доме было тихо. Старики и старухи заваливались спать. Орлов иногда начинал разговор о стихах. Он любил Ломоносова, Хераскова, Державина, а Пушкина, Баратынского, даже Жуковского не очень жаловал, да почти и не читал их. Лермонтов много раз пытался втолковать ему, что такое Пушкин. Нет, они — говорил Орлов — пишут темно и нечисто... низким штилем... суют в стихи всякие «чу» или «вот»... Истинно поэтических — словенских — речений совсем почти не употребляют. Важности нет. Восторга... Наконец, как всегда, переходил он к стихам своего брата, гусарского лекаря, неисправимого архаиста, перед которым благоговел, и читал:

Спокойный дух в день тяжкой нужды,
В дни счастия презорства чуждый...

Он читал дальше (это был перевод из Горация), а Лермонтов мучительно напрягал память: что такое «презорство»? А там набегали еще неведомые слова. И все теряло смысл и обращалось в словесный грохот. Но этот грохот печатали журналы — «Московский телеграф», например! И «Невский альманах»... «За что Хвостова все ругают, — думал Лермонтов. — Хвостов лучше!» Орлов, певший песни чистым тенором, стихи почему-то читал сипло, с каким-то шипением, но везде раскатывал букву «р»... Лицо его принимало дурацки-вдохновенное выражение. Казалось, песни пел один человек, а вирши читал другой... Но за песни можно было и эти стихи простить.

Лермонтову было жаль Орлова. Он чистый, добрый, ничего лишнего не желает, никого не осуждает. Бедность свою несет достойно. Сюртук его сильно потерт — он один у него. Скупа Екатерина Аркадьевна, в черном теле держит учителя... Из-за этого Лермонтов в гостиной и столовой у Екатерины Аркадьевны часто сидел нахмуренный и мрачный, а все думали, что он занят своими стихами.

Катерина Сушкова не могла и здесь, в деревне, не кокетничать. Мистер Корд, чисто выбритый, худощавый, хорошего роста джентльмен, счел, что, кроме него, некому здесь делать ей комплименты. Он объявил ей за обедом, что у нее необыкновенно красивые глаза.

— Я буду, с вашего позволения, называть вас мисс Черноокая (Miss black eyes).

Это всем понравилось, даже старухам и старикам. Сушковой тоже. Лермонтов мрачно промолчал, боясь не сдержать насмешливой улыбки. Красота сама по себе — пустая красота — мало трогала его.

Однажды Сушкова попросила оседлать ей лошадь посмирнее и стала кататься по двору вдоль колоннады. Мистер Корд, Саша, Лермонтов и еще кто-то стояли на

террасе. На третьем кругу лошадь тяжело поскакала, Катерина натянула поводья и откинулась назад — с нее слетела шляпа, и волосы, рассыпавшись, плеснули длинной черной волной и покрыли ее всю, чуть не до самых стремян.

— Диана! Диана-охотница! — восторженно крикнул по-английски мистер Корд и захлопал в ладоши. Саша Верещагина тоже сложила раза три вместе свои ладошки и с насмешливым видом покачала головой.

— Так вот для чего понадобилась лошадь, Мишель, — тихо сказала она. — Это она тебя пленяет. Я ей сказала, что ты в нее влюблен. Будь добр, подари ей какие-нибудь стихи. Все равно какие.

Мистер Корд помог Сушковой сойти с седла. Она собрала волосы под шляпу и сказала, смеясь, совершенно непринужденно:

— Ах, какое несчастье, шпильки совсем не держат.

И ушла в дом.

Такую же точно сцену со шпильками она устроила еще раз, в следующее воскресенье.

По воскресеньям, во второй половине дня, Катерина и Саша гуляли в парке. Саша всегда звала при этом Лермонтова, и ему, как он ни отнекивался, приходилось идти. От Саши не отвертишься... Но он не ходил с ними рядом. Бродил вокруг, углубляясь в чащу, даже садился и читал книгу где-нибудь невдалеке от них. Вид у него был почти всегда очень серьезный. Он был занят своими мыслями, обдумывал новую драму.

— Посмотри на него, — говорила Саша Катерине, — прямо Манфред или Лара! Сколько суровости, загадочной мрачности! Чайльд-Гарольд! Он младше тебя на два года и боится, что ты сочтешь его мальчишкой, вот и надувается... Он воображает себя великим поэтом... А что? Вдруг и в самом деле он им станет.

— Но он в самом деле странен. Как жаль, что он еще не юноша.

Последние слова Лермонтов услышал. Не подав виду, что раздосадован, он сказал, что ему нужно идти, и убежал. «Еще не юноша! — в ярости думал он на бегу. — Дура! Видела бы ты мою душу...»

Но вскоре успокоился. Он был один у себя в комнате. «Пятнадцать лет! — сказал он вслух. — Неужели мне всего пятнадцать лет!.. Но разве мои пятнадцать такие же, как и у других?»

Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
И скоро старость приведет
Меня к могиле...

Да, конечно, старость ведь не только от долгих лет бывает. Душа может одряхлеть в минуту и утратить все силы. Тогда могила — один исход. Как жить без этого огня — без стихов, без этих огненных волн...

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне.
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине...

Раза два-три ему случилось побывать и в Федорове, у Верещагиных, и в Большакове у Сушковых, но, как правило, все они предпочитали для прогулок и отдыха середниковский огромный парк, а в ненастную погоду гостиную Столыпиной, где можно было поиграть в карты, поболтать в обществе старушек и детей, помузицировать слегка, посмеяться.

В библиотеке всегда было сумрачно и пусто. Пахло старой кожей и сыростью. Здесь было много книг о войне (Бутурлин, Жомини, Михайловский-Данилевский... французские, немецкие и английские авторы) и до ста книг и брошюр о Наполеоне. Здесь вспыхивал давний интерес Лермонтова к великому полководцу. Давно хотелось ему написать о Наполеоне поэму... И вот он решился, начал ее. Написал вступление — о том, как призрак полководца появляется «в неверный час меж днем и темнотой» на берегу маленького острова в океане, «где сгнил его и червем съеден прах».

О! как в лице его еще видны
Следы забот и внутренней войны,
И быстрый взор, дивящий слабый ум,
Хоть чужд страстей, всё полон прежних дум...

Конечно, «гроза бунтует и шумит», «блещет молния», а «недвижная» фигура стоит, пугая «пловцов», в своей неизменной позе, — «руки сжав крестом»... Но дальше поэма не пошла... Написанный отрывок он назвал «думой». Потом написал четырехстрочную «Эпитафию Наполеона», но сразу ее перечеркнул. Да, решил он окончательно, мысль о поэме пока придется оставить.

Снова стал думать о своей жизни... Что, если б далась ему «счастливая», тихая, как ручеек на лугу, жизнь... Демоны не терзали бы души... «Грозный дух» не точил бы его жизнь «как скорпион»... А нельзя, чтоб его не было! Стихотворение «Поток» («Источник страсти есть во мне...») он заканчивает очень решительно:

Я праздный отдал бы покой
За несколько мгновений
Блаженства иль мучений.

Наташа Иванова не считала его мальчишкой, понимала его. Понимала... «Но почему это подумалось мне как будто о прошедшем? — мелькнула у него тревожная мысль и сразу стала расти. — Можно ли так долго не видеться и сохранять любовь?» Они врозь... Нет встреч... Ничего нет... Ничего не совершается! Но он всей душой чувствует течение каких-то мучительных событий. Наконец, он пришел даже в отчаяние и не мог бы сказать, что ни с того, ни с сего... Он впадал в тоску, а потом, очнувшись, писал, и почему именно это — он не мог бы объяснить... Но это связано именно с ней:

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою.
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Я к одиночеству привык,
Я б не умел ужиться с другом;
Я б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом.

Мне скучно в день, мне скучно в ночь.
Надежды нету в утешенье;
Она навек умчалась прочь,
Как жизни каждое мгновенье.

И вот он уже видит себя странником, покидающим родные края: «Ни с кем в отчизне не прощусь...» Он прощается только с возлюбленной:

Прости, мой друг!.. как призрак я лечу
В далёкий край: печали я ищу;
Хочу грустить, но лишь не пред тобой,
Ты можешь жить, не слыша голос мой...

«Ты можешь! А я нет... Я-то и в разлуке вижу тебя, слышу твой голос... Иначе откуда бы взялось все это, что написалось в стихах?»

Меня забыть прекрасной нет труда, —
И я тебя забуду навсегда;
Я мучусь, если мысль ко мне придет,
Что и тебя несчастие убьет,
Что некогда с ланит и с уст мечта
Как дым слетит, завянет красота,
Забьется сердце медленней, свинец
Тоски на нем — и что всему конец!
Однако я желал бы увидать
Твой хладный труп, чтобы тебе сказать:
«Чего еще! желанья отняты,
Бедняк — теперь совсем, совсем оставлен ты!»

Им глубоко овладело это «прощальное» настроение, порыв к бегству, непременно к морю: «Вид моря грусть мою рассеет...» Он переводит отчаянное стихотворение Байрона «Farewell! if ever fondest prayer...» («Прощай! если когда-либо самая горячая молитва...») и пишет «Элегию», в которой он, подобно Наполеону, стоит «близ моря на скале»:

Один; покинув свет и чуждый для людей
И никому тоски поверить не желая...

Вот состояние души, мало похожее на фантазию, на поэтическую выдумку:

Как жалок тот, чья младость принесла
Морщину лишнюю для старого чела,
И отобрав все милые желанья,
Одно печальное раскаянье дала;
Кто чувствовал, как я, — чтоб чувствовать страданья,
Кто рано свет узнал — и с страшной пустотой,
Как я, оставил брег земли своей родной
Для добровольного изгнанья!

Это изгнанническое настроение равносильно вертеровскому — это разрыв со всем святым, уход, уничтожение всего («тщетно в нас жила любовь...»). И пусть это, как и самоубийство, не совершалось, но не совершалось оно только в глазах других видевших, что Лермонтов дальше Федорова или Лигачева пока не едет и что если он куда и собирается, то всего лишь в Новый Иерусалим, до которого от Середникова всего восемнадцать верст.

Катерина и Саша нередко приглашали Лермонтова к себе, но, съездив туда раза два, он стал упорно отказываться. Ему надоела глупая роль «влюбленного мальчишки», а кроме того, прискучили их однообразные увеселения, все эти parties de plaisir, шумные кавалькады, завтраки на траве, в лесу... Будни, почти как пра-

вило, он проводил в одиночестве. Случалось, когда Аркашка Столыпин сильно приставал, Лермонтов вырезал ему из картона и бумаги рыцарские доспехи, делал копье, меч, лук, и тот с двумя-тремя дворовыми ребятишками, еще меньше его, с дикими воплями мчался в чащобу, к оврагу у Чертова моста, где, по его мнению, водились мавры и великаны... Лермонтов целые дни проводил в своей комнате, навалившись грудью на край стола или на широкий подоконник.

Еще не совсем закончены были «Люди и страсти», а он затевал новую драму, в стихах, с нерусским героем... Может быть, итальянцем... Он из Турина или Милана... Не знатного происхождения, но юный и гордый — «с возвышенным челом». Его возлюбленная живет с матерью-вдовой, чванливой аристократкой.

В тетради после «Эпитафии Наполеона» он начал набрасывать план: «В Парме...» Неожиданно для себя передумал, зачеркнул это и написал: «В Испании...» Конечно, в Испании! На родине герцога Лермы, вынужденного ее покинуть и поселиться в Шотландии. Как можно об этом забывать!.. Вспомнив о Лерме, Лермонтов еще более вдохновился. Пусть это будет Кастилия. Люди здесь более суровы, чем в Италии, страсти их скрыты, но, вырываясь, сметают все на пути... Он будет испанец, решающий вопросы чести кинжалом. Инквизиция со своими страшными монахами и кострами. Что, если столкнуть в соперничестве... Нет, если монах, то он должен действовать скрытно и хитро, деньгами и обманом. Или — монах, тайный похититель знатных девиц, сильный и ловкий бандит, скрывающийся под рясой... Может быть так: «В Испании у матери дочь увез в дурной дом обманщик, хотя служащий при инквизиции, который хочет после обмануть и другую сестру. Любовник первой, за которого не хотели отдать, ибо у него нет многих благородных предков, узнает происшествие, когда сидит с друзьями. Он спасает жида от инквизиции прежде. Жид и говорит, что ее увезли. Он клянется живую или мертвую привезти ее. Жид ему помогает ее найти. Он находит — ему злодей не отдает. Он ее убивает и уносит. Злодей не мешает, ибо сам боится, чтоб не узнали похищения. Злодей идет к матери. Приносит тот свою любезную мертвую. Его схватывают, спрашивают, полиция. Входит злодей. Обвиняемый бросается к нему на шею, целует и кинжалом колет в сердце. Его ведут казнить».

Потом он решил, что «дурной дом» не годится, а пусть

будет тайный гарем у богатого и сластолюбивого монаха, который пополняется при содействии шайки разбойников... Он уверен в их молчании, так как не только платит им, но пугает их пытками и костром инквизиции, где он один из главных... В этом монахе будет безграничное, сатанинское зло — ничего доброго в его душе нет. Он должен быть не испанец. У жида Моисея — лучшие человеческие чувства (что-то от Натана Мудрого из одноименной пьесы Лессинга). Когда молодой испанец, по имени Фернандо, приходит к нему, то его дочь, прекрасная, влюбляется в него... Здесь может быть трагедия своего рода, как в «Натане Мудром», — там дочь Натана, богатого иерусалимского еврея, любит спасшего ее из пожара молодого рыцаря, но она оказывается не дочь Натана и к тому же она — сестра этого юноши... Итак... Фернандо — сын Моисея! Вот так дела!.. Это было неожиданно и для Лермонтова. Он — брат еврейки Ноэми, но в младенчестве был потерян отцом и попал в семью богатого испанца Алвареца. Тайна открывается лишь под конец, когда Фернандо ведут на костер. Ноэми умирает... Моисей не может спасти сына, хотя отдает все свои деньги инквизитору, — над ним смеются, но золото забирают. А Фернандо? За что он получает костер? В «Эмилии Галотти» Лессинга отец убивает дочь, чтобы спасти ее от бесчестия. У Шиллера Карл Моор из чувства долга перед разбойниками убивает свою возлюбленную Амалию, сироту, воспитанную в их семье, в замке Мооров. Фернандо под маской прокрадывается в жилище монаха и находит там Эмилию. Не имея возможности вывести ее отсюда, он ее закалывает. То, что он сын еврея, он узнает лишь перед смертью. Он думал, что он сирота. Воспитывавший его испанец сначала обещал ему в жены свою дочь, но потом, когда нашлась лучшая партия, отказал. Хотя нет — он ничего не обещал. Не мог обещать. Любовь между Фернандо и Эмилией для него неожиданность; он взбешен... Ссора... Алварец выгоняет Фернандо из дома. У Эмилии — мачеха, коварная и корыстная женщина, которая нашла общий язык с иезуитом. Она совершает преступление — продает падчерицу за драгоценности, способствует ее похищению, прикидываясь перед ней любящей и доброй. Если Эмилия исчезнет, имение старого Алвареца достанется ей, мачехе. А укоротить его дряхлую жизнь не так уж трудно.

Спесивый Алварец наказан — он теряет дочь и остается в руках злодейки жены. Но монах (Лермонтов

назвал его «патер Соррини», он итальянец) почти не внакладе, — он только слегка ранен в руку и упустил очередную добычу, что вскоре, конечно, наверстает с удвоенной осторожностью. Соррини настолько преступен, что даже нанятые им бандиты кажутся чуть ли не порядочными людьми. Один из них говорит:

Признаться, я не верю, чтоб у нас
У каждого одни грехи с ним были.
Мы делаем злодейства, чтобы жить,
А он живет, чтобы злодейства делать.

Когда убийцы привели гитариста, они с радостью говорят иезуиту:

Вот мы певца поймали на дороге,
Не хочешь ли послушать, он споет
Про старину, про гордых наших предков;
Не хочешь ли, почтенный патер?

Но патер не стал слушать песен, ханжески отговорившись тем, что ему, «пастырю», не к лицу «быть свидетелем мирских веселий», что он уходит замаливать «грехи свои и ваши»... Кроме того, бандитам не приходило в голову, что он и не испанец вовсе — чтó ему испанские «гордые предки»... Бандиты же — все-таки люди из народа... В драме белый стих, но в сцене с певцом один из них вдруг заговорил в рифму:

Люблю я песни, в них так живо
Являются душе младенческие дни.
О прошлом говорят красноречиво
И слёзы на глаза влекут они;
Как будто в них мы можем слезы возвратить,
Которые должны мы были проглотить.
Пусть слезы те в груди окаменели,
Но их один разводит звук,
Напомнив дни, когда мы пели
Без горькой памяти, без ожиданья мук.

Человек, пусть даже разбойник, все еще человек, если его до слез трогают песни, воспоминания младенчества, предания старины. Сатана еще не совсем одолел его. И название родины для него не пустой звук.

А Соррини не просто чужестранец — он чужд вообще всему, даже злым людям. Он чужак. Может быть, вовсе и не человек... И уж конечно, не мог он быть одноземцем славного предка английских Лермóнтов и русских Лермонтовых! Испания была в душе Лермонтова неким

преданием, родовой легендой, одним своим именем приводящей в трепет. Он и представить себе не мог, что она, Испания, есть и сегодня.

Сердце доброго, чистого человека — вещун. Лермонтов убежден в этом. И не для большей живости или занимательности действия он вводит в драму два вещих сна — один видит Эмилия, другой — Ноэми. Эмилия видит, что Фернандо хочет ее заколоть. А Ноэми видит его обрызганным кровью, — он называет себя ее братом... Герои драмы, как бы чувствуя правду, часто говорят слова, открывающие тайну, но в эти слова не вдумываются. Когда Фернандо, раненный бандитами, подосланными патером, оказывается в доме Моисея (Фернандо незадолго до этого помог Моисею скрыться от инквизиции, то есть он помог, не зная того, своему отцу), он сетует на то, что у него «нет ни родных, ни дома, ни друзей», но в это время он находится именно в доме отца, а сестра, не зная, что говорит это брату, утешает его:

Я прошу тебя: подумай,
Что я твоя сестра, что тот еврей — отец твой.
И воображение тебя утешит...

И потом, ухаживая за ним, раненым, повторяет: «Я буду для тебя сестрой». И еще больше: она начинает любить его, но ей что-то мешает:

Самой себя стыжусь или боюсь!..
Чего стыдиться, я не понимаю,
Любви! — все любят — что же тут худого;
Так точно — ничего худого нет в любви;
К чему же совесть тут мешается
И будто сердце предостерегает?..

Уходя, Фернандо говорит: «Прощай, отец... Я своего не знаю». И так же, не ведая, что творит, нечаянно проклинает его, когда узнает от него же, что Эмилия похищена: «О! проклятие тому, кто дал мне жизнь...» А такое проклятие, как и всякое проклятие вообще, как был уверен Лермонтов, не может не навлечь на человека и его близких самых страшных несчастий: в драме «Люди и страсти» Юрий перед смертью говорит своему слуге Ивану: «У тебя есть дети... не проклинай их никогда». Тем не менее судьба может подставить человеку такую ловушку... Фернандо, по видимости, прав, но в борьбе со злом он сам творит зло, совершает тяжкие грехи (проклятие... убийство...) и даже в отчаянии «союз с землей и небом» разрывает. Он становится почти демоном:

...нет, я судьбе
Не уступлю, хотя бы демон удивился
Тому, чего я не могу не сделать.

Он отталкивается от «людей», ему кажется, что свет полон злобы; я проклинаю их, говорит Фернандо,

за то, что не могу
Я видеть хладнокровно, как они
Стараются друг другу делать зло...

Люди забыли, что такое справедливость, они «заставляют демонов краснеть» за себя, поражают их необыкновенной «любовью к злу»:

У них отец торгует дочерьми,
Жена торгует мужем и собою,
Король народом, а народ свободой...

Наконец, Фернандо преисполняется сатанинской гордости:

Я здесь один... весь мир против меня!
Весь мир против меня: как я велик!..

Но и Соррини считает себя чем-то вроде Наполеона: «Я достиг — и умный человек. Не удалось — глупец!» Принцип, оправдывающий безнравственность в глазах безнравственного человека. Он не верит ни в Бога, ни в рай, ни в ад («сказки...»), но путем плутней мечтает подняться по ступеням церковной власти:

Обманывать и лицемерить научусь!
О! это важная наука в мире!
Наука женщин! с нею прямо в папы;
И этому есть доказательства у нас.

В какой-то миг, к его страшному удивлению, в нем вдруг шевельнулось что-то вроде совести:

Но совесть! — совесть вздор! однако ж... как, Соррини?
Ты совести боишься, и давно ль?

И он с гневом восклицает, что «презирает» эту совесть...

Мачеха Эмилии, продавшая ее за драгоценности, сообщает Алварецу, что она бежала с Фернандо, нарушив волю отца. Алварец проклинает дочь, не зная, что в это

время ее уже нет в живых, что через минуту увидит ее труп. Но и в нем есть остатки чувства, — едва проклянув, он спохватывается, словно угадывая истину:

Ну, если умерла Эмилия... за гробом
Проклятие отцовское не тронет!..
За гробом есть другой отец!.. прощаю
Тебя, когда тебя не будет...

В драме «Люди и страсти» бабка Юрия дает обет поехать в Киев и там замолить грех... В «Испанцах» мачеха Эмилии говорит:

...В Мадрит отправлюсь.
Там получу прощение грехов,
И совесть успокоится моя...

Моисей теряет сына и дочь и все свое достояние: он с горя пытался подкупить Соррини, но тот отобрал у него деньги и с угрозами выгнал. Драма заканчивается костром инквизиции... Зло торжествует. В это же время в одном из стихотворений Лермонтов пишет:

Теперь я вижу: пышный свет
Не для людей был сотворен.
Мы сгибнем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон.
Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам.
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.
...Вот казнь за целые века
Злодейств, кипевших под луной.

«Испанцев» Лермонтов назвал в стихотворном посвящении к ним (обращенном, очевидно, к Анне Столыпиной) «грустным трудом», над которым он «много плакал». Не для «надменного, глупого света» писал он его, не для «важного шута».

4

В июле бабушке понадобилось съездить в Москву, и Лермонтов отправился с ней. Они пробыли там почти неделю. Москва, несмотря на жару, не была пуста, особенно в вечерние часы. На Пресненских и Патриарших прудах гуляло пешком, сидело на плетеных креслах и каталось в колясках немало всякой публики, конечно, не самой богатой (та разъехалась по имениям), но весьма пышно наряженной. Раза два Лермонтов прошелся

по Тверскому бульвару. Здесь дышали воздухом остатки знати, старики и старухи, засевшие в Москве из боязни дальних переездов, — комический маскарад ветхих гордецов, сопровождаемых слугами, несущими аптечные коробки и стулья, чтобы подставить их в нужный момент. С ними пожилые дочки, кажущиеся молодыми на фоне родительских морщин. Им хочется замуж... Но какие нелепые на них наряды! Будто бы прямо по парижской моде... Вороха тряпья, кружев... Длинные ленты, зонтики. А как милы просто одетые, незавитые девицы, хотя франтихи и смотрят на них с презрением.

Однажды вечером, вернувшись с прогулки, Лермонтов достал тетрадь:

С минуту лишь с бульвара прибежав,
Я взял перо — и, право, очень рад,
Что плод над ним моих привычных прав
Узнает вновь бульварный маскерад...

Двенадцать строф октавами вылились в один присест, словно кто-то отпустил сжатую пружину. Лермонтов остался доволен стихотворением, которое назвал «Булевар», — это была острая сатира в духе строф «Дон Жуана» Байрона, который умел быть шутливым, язвительным и гневным. И Пушкин умеет быть таким. И они остаются при этом на вершине поэзии... Лермонтов почувствовал, что в сатирическом таланте не отказано и ему.

Тогда же, вероятно на следующий день, он хотел продолжить эту сатиру, в которой от бульвара перешел к общей жизни света и в которую неожиданно для него самого вклинилась совсем не сатирическая строфа (о «божественной» головке, которую он не может забыть, «как песню матери» своей), но уже первая строфа, та же, что и в «Булеваре», октава с одними ударными окончаниями строк показала, что это другое стихотворение. Вместо заглавия он вставил дату: «1830 год. Июля 15-го (Москва)». Он думал *о них*... Да, их можно осмеять, заклеймить... Но они не только жалки. Они страшны. Ему вспомнилось детство. Тарханы...

...Всё сердце грело там,
Всё было мне наставник или друг,
Всё верило младенческим мечтам...

...Но в общество иное я вступил,
Узнал людей и дружеский обман,
Стал подозрителен и погубил
Беспечности душевный талисман.

Куда девался весь сатирический, бодро-язвительный настрой. «Не речь, но стон» сменил его, и это была какая-то непроизвольная метаморфоза, вернее — возвращение к себе. Он не сочинял. Стихи являлись вместе с чувствами. Еще раз выговорилось («Всё, что любит меня, то погибнуть должно...»):

Страшусь, в объятья деву заключив,
Живую душу ядом отравить
И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня.

В тишине ночи он закончил стихотворение признанием своего бессилия перед жизнью, перед такой жизнью, какой живут *другие*:

Что ж. — Ныне жалкий, грустный я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

«Булевар» написан — от него Лермонтов не стал бы отрекаться, как и от всех прочих своих стихотворений, где он клеймил «свет», «людей». Но в этом последнем стихотворении (оно все-таки продолжение «Булевара») вдруг открывается, что ему больно быть оторванным от всех, одиноким:

Но лучше я, чем для людей кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть;
И что молва кричит о мне... боюсь!
Когда б я знал, не мог бы перенесть.
Противу них во мне горит, клянусь,
Не злоба, не презрение, не месть...

«Булевар» и его продолжение — как бы небольшая поэма в двух главах, таких разных, но не перечеркивающих друг друга, наоборот — дополняющих. Смыкаясь, они высекают грозовую молнию.

Всего несколько дней тому назад услышал он обрадовавшую его весть о крупном восстании в Дагестане, Чечне и Осетии, о том, что пророки Гази-Мухаммед и Ших-Шабан собрали грозную силу в горах и выиграли несколько сражений у царских войск. Лермонтов начал было писать стихотворение:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны...

Кавказ, страна его детства, должен быть свободным, диким! Но нет, кому не ясно, что покорение этих гор и ущелий только дело времени. Огромная империя медленно, как тень грозовой тучи, наползает на страну «вольности простой». Скоро, скоро услышит она «звон славы, злата и цепей»... Новое стихотворение, как вторая часть «Булевара», окончилось печально:

Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее.

Он сидел и раздумывал над этими стихами. И все больше Кавказ казался ему как бы образом его собственной жизни. Дикий и вольный — это он сам, ребенком. Империя завоевывает, начинает теснить его... Вон сколько их, соединенных в армию, непримиримых к чуждым и чистым, — на бульварах, в особняках, на балах, в казенных кабинетах, везде... Устоять ли? Нет... надо затаиться. Слава Богу, «они в лице не могут чувств прочесть»! Ни силы, ни слабости им не прочесть. Раздумывая, Лермонтов вспомнил: «Как солнце осени суровой, / Так пасмурна и жизнь моя»... Это из «Посвящения» к «Демону» прошлого, 1829-го, года. «Солнце осени» — как это верно... Оно нисколько не остыло; оно хранит в себе тот же жар, но люди «не могут быть огреты им», потому что уже осень...

...так точно
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь
И до ланит он вечно не коснется.
Зачем вторично сердцу подвергать
Себя насмешкам и словам сомненья?

Это стихотворение он так и назвал: «Солнце осени». Затаиться, храня в себе свою силу... и свою слабость... Жить отдельной — вольной — страной, куда никто не сможет найти входа. Тогда можно будет, если таковые найдутся, допускать людей истинно верных. Пока только Наташе Ивановой доступен его Кавказ. Но как ни любит он ее, ему этого мало. Горько-пустынна его тихая и тайная страна.

Был он у Ширяева. Отобрал несколько книг. И вдруг услышал разговор. Двое у окна. Один весь в черном, пожилой, высокий, другой в мундире горного ведомства, молодой человек.

— А я вчера сподобился.

— Неужели? Ради бога, где и как... Нельзя ли и мне.

— Но вы должны знать, что книга запрещена для ввоза в Россию.

— Отчего же? Мур не бунтовщик... он поэт, совершенно...

— Но Байрон! Борец за свободу...

— Греков.

— Все равно за свободу. И вообще личность независимая, покинувшая свою страну... У него какая-то история с женой... Наш Николай Павлович примерный семьянин и не любит этого... Вот цензура и бдит... Чего у нас только не запрещают.

— У нас в журналах были статьи о жизни Байрона...

— Это всё отрывки, письма, характеристики, разборы... А Мур составил обстоятельную биографию... Два тома.

— Да отчего же нам нельзя иметь их?

— Пушкин и Вяземский пытались напечатать перевод ее у нас, просили издателей прямо корректуры пересылать, — это в Лондоне Меррей, а в Париже братья Галиньяни, у которых книга выходила разом на четырех языках... Русский был пятым.

— Есть ли у Горна французское?

— На ваше счастье. У него как раз английское и французское.

Лермонтов вышел из лавки как в тумане. Так, значит, у Горна... Биография Байрона... Старик Горн всегда рад был Лермонтову, он знал и о его интересе к Байрону. Словом, в Середниково Лермонтов повез парижское издание — «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни Томаса Мура. В четырех томах» — на английском языке, два первых тома. Книги еще пахли типографской краской, не были разрезаны и в бумажных обложках. Лермонтов не стал отдавать их в переплет, бросился сразу читать.

В Середникове он читал эту книгу по целым дням у себя в комнате или брел по аллее, сидел на берегу пруда, уткнувшись в ее страницы. Бегло читать по-английски он еще не мог, и дело шло медленно.

Он находил в жизни Байрона много сходного со своей. Вот Мур приводит запись Байрона о том «странном обстоятельстве», что среди его родных — и сам он —

почти все «единственные дети». «Такая запутанность *единственных* детей, всех, стремящихся *в одну* семью, достаточно исключительна и выглядит почти как фатальность». Лермонтов был один ребенок у отца и матери. Мать его тоже была единственным ребенком. Еще более удивительное совпадение: «Когда ему еще не было восьми лет, — пишет Мур о Байроне, — чувство, более похожее на любовь, чем это можно предположить в таком маленьком ребенке, полностью овладело, по его словам, его мыслями и показало, как рано чувствительная его душа была пробуждена для этой страсти». В конце страницы Мур сделал примечание: «Мы знаем, что Данте было всего девять лет, когда на майском празднике он увидел и полюбил Беатриче; Альфьери, который сам был влюблен в детском возрасте, считает, что столь ранняя чувственность является безошибочным признаком души, предназначенной для изящных искусств... Канова * часто говорил, что он хорошо помнит, как был влюблен пяти лет от роду». В связи с этим Мур приводит запись из дневника Байрона за 26 ноября 1813 года: «В последнее время много думал о Мэри Дафф. Не странно ли, что я так преданно, так безраздельно любил эту девочку в том возрасте, когда не мог ощущать страсти и даже понимать значение этого слова? Как сильно я чувствовал!.. Отчего это произошло со мной так рано? Что могло породить это чувство? Ни тогда, ни еще годы спустя, я не имел понятия о половом влечении, но мои страдания, моя любовь к этой девочке были так сильны, что я иногда сомневаюсь, бывал ли я после этого действительно влюблен». Дальше Лермонтов нашел еще одну запись Байрона об этом: «Страсть проснулась во мне очень рано — так рано, что не многие поверят мне, если я назову тогдашний свой возраст и тогдашние ощущения. В этом, быть может, кроется одна из причин моей ранней меланхолии — я и жить начал чересчур рано». Тут Байрон как бы объяснял Лермонтову его жизнь. Продолжение записи так его поразило, что он уже целый день не читал, а ходил с этой мыслью, затвердив ее словно заповедь: «В моих юношеских стихах выражены чувства, которые могли бы принадлежать человеку по крайней мере на десять лет старше, чем я тогда был; я имею в виду не основательность размышлений, а заключенный в них жизненный опыт». Под этим Лермонтов мог бы уже подписаться...

* Итальянский скульптор первой половины XIX века.

По мере чтения Лермонтов стал делать свои заметки. «Когда я начал марать стихи в 1828 году, — писал он, — я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило!». «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала *то же самое* старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон».

Подобно Байрону Лермонтов набрасывает целую картину своей детской любви: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. — Один раз, я помню, я вбежал в комнату: она была тут и играла с кузинами в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. — Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! — и так рано!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз». К этому отрывку Лермонтов сделал примечание: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. — Я думаю, что в такой душе много музыки».

И все же это — не любовь уже теперь, а «воспоминание» (как говорит и Байрон) о любви. Первая любовь была потом, уже не детская, но на самой заре юности. У Байрона это была мисс Чаворт, соседка его по имению Ньюстед, — о ней рассказано в стихотворении «Сон». Этой любви поэта Мур посвятил много страниц в своей книге. Мисс Чаворт была старше Байрона на два года и не любила его. Он сопровождал ее с компанией подруг на конных прогулках, катался с ними на лодке, посещал танцы, хотя по причине своей хромоты не танцевал. «Все это время, — пишет Мур, — он с болью

сознавал, что сердце той, которую он любит, было занято другим». В 1805 году она вышла замуж. Жизнь ее не была счастливой. Мур пишет, что эта любовь совершила в характере Байрона «опустошительную перемену». Он полюбил одиночество.

Первая любовь... Это кропотовские летние дни, Анна Столыпина... старая яблоня с сухим верхом... Она не была безответной. Но потом что-то мешало им. Больше, кажется, ему. Мур назвал любовь Байрона к Мери Чаворт «агонией, не оканчивающейся смертью», прошедшей через всю жизнь поэта. Лермонтову эти слова показались определением и его любви. Ему думалось, что он сам превратил эту любовь в мучение. Но для себя ли одного? Этот вопрос он пытался разрешить в «Джюлио». В душе его помимо воли все больше росло чувство вины, греха (чего не ведал Байрон).

Мур пишет, что еще ребенком Байрон посадил в своем поместье — в Ньюстедском аббатстве — дубок и загадал на него. Спустя шесть или семь лет дерево засохло, задушенное сорняками. Байрон написал стихи: «Я надеялся, что твои дни будут дольше, чем мои». В другом месте Мур приводит гордые стихи пятнадцатилетнего Байрона о том, что в будущем на его могильном камне должно быть написано только одно его имя: «Если же оно не сможет увенчать славой моего праха, о, пусть никакая другая известность не вознаградит мои деяния! Оно, только оно пусть отличит мое место в земле».

Чтение книги Мура как бы меняло, показывало по-другому прошлое Лермонтова. Среди своих заметок он сделал прозаический план стихотворения «Мое завещание» с подзаголовком «про дерево, где я сидел с А. С.»: «Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим; я любил под ним и слышал волшебное слово «люблю», которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца: в то время это дерево, еще цветущее, при свежем ветре, покачало головою и шепотом молвило: «безумец, что ты делаешь?» Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слёзы есть принадлежность тех, у которых есть надежды; но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухой яблоней; положите камень; и пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»

Из этого вышло стихотворение под названием «Дереву», в котором он вспомнил «два талисмана», то есть две буквы — *А* и *М*, — вырезанные им на коре яблони:

И деревцо с моей любовью
Погибло, чтобы вновь не цвесть;
Я жизнь его купил бы кровью, —
Но как переменить, что *есть?*
Ужели также вдохновенье
Умрет невозвратимо с ним?
Иль шуму светского волненья
Бороться с сердцем молодым?
Нет, нет, — мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит;
И эти ветви над могилой
Певца-страдальца освятит.

«Нет, это совсем не о том, — подумал он. — Это слишком от Байрона... Где же мое злодейство? Байрон злодеем не был, но ведь я-то злодей...» Хотя это было, может быть, не совсем так, Лермонтов упорно считал себя погубителем своей первой любви. «Не забывай о Джюлио, — увещевал он себя. — Вот как бы надо тебе поступить... Умереть в раскаянии!» Но не Джюлио, он сам, Лермонтов, своими мыслями доводил себя до страданий. Беззвучно взывал он в пустоте ночи: «О сжалься, сжалься, сжалься надо мной!» Эти слова Джюлио жгли ему сердце. И жгли до тех пор, пока он не написал «Раскаяние»:

К чему мятежное роптанье,
Укор владеющей судьбе?
Она была добра к тебе,
Ты создал сам свое страданье.
Бессмысленный, ты обладал
Душою чистой, откровенной,
Всеобщим злом незараженной,
И этот клад ты потерял.

Огонь любви первоначальной
Ты в ней решился зародить
И далее не мог любить,
Достигнув цели сей печальной.
Ты презрел всё; между людей
Стоишь как дуб в стране пустынной,
И тихий плач любви невинной
Не мог потрясть души твоей...

О, вымоли ее прощенье,
Пади, пади к ее ногам,
Не то ты приготовишь сам
Свой ад, отвергнув примиренье.
Хоть будешь ты еще любить,

Но прежним чувствам нет возврату,
Ты вечно первую утрату
Не будешь в силах заменить.

Это рассказ не о том, что было, а о теперешнем состоянии собственной души, выросшем не только из жизни, но и из своих стихов. Таинственный горн пылал, грохотала наковальня... не только ангелы и демоны, но и он сам держал в руках молот, куя собственную душу... И как он был рад, если она отзывалась болью.

Он продолжал читать Мура. Находились еще родственные для него черты в Байроне, отдельные, но очень красноречивые (хотя в общем он видел, что их характеры, свойства души, поступки — разные). Вот сходное: Байрон любил физические упражнения и старался развивать силу мускулов, то же делали Эсхил, Данте, Камоэнс, Тассо, Купер и многие другие писатели; ночь была у него любимым временем для творчества; у Байрона была привычка выставлять в рукописях даты написания стихотворений (Лермонтов делал это довольно часто); Байрон в ранней юности думал, что скоро умрет; он был *страстен* во всем, так же и в дружбе: «со страстным энтузиазмом он бросался в свои ребяческие дружбы», — писал Мур. Но ни одна его дружба, как говорит в своем дневнике Байрон, «не оказалась прочной». И все это только в первом томе! Пожалуй, самое значительное из этих сходств: «Отчаяние встретило Байрона на самом пороге жизни». Однако и это еще не все! Мур пишет: «Надежда потрясти мир в будущем в качестве вождя или героя не меньше смешивалась с его юными мечтами, чем предвидение поэтической славы. «Я когда-нибудь, — любил он говорить мальчиком, — подниму войско: мужчин, одетых в черное и скачущих на черных конях. Они будут называться «Черные Байроны», и вы услышите, какие чудеса доблести они покажут!» В «Часах досуга», в стихотворении «При отъезде из Ньюстедского аббатства», Байрон вспоминает своих предков, «покрытых кольчугой баронов», сражавшихся в Палестине, при Калѐ, Кресси́ и Ма́рстоне, — «летопись говорит еще и теперь о том, как вы бились и как умирали».

В одно мгновение возгорелось воображение Лермонтова. «Черные Байроны» — это вместе мрачно и мужественно и напоминает таинственных всадников из Апокалипсиса... С этой минуты мечта о подвиге — может быть, жестоком и страшном — начинает все чаще посещать Лермонтова. А пока, по прочтении строк Мура,

он ответил на Черных Байронов *своим* Апокалипсисом, российским, где слились отзвуки русских восстаний от Разина и Пугачева до декабристов — на тревожном библейском фоне всеобщей кары и расплаты, с явления некоего могучего существа:

И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

«И ты его узна́ешь» — ведь ты — царь — дважды встречался с ним глазами... В них мог ты прочитать свое будущее, рассерженный на кучу резвящихся детей красавец-кавалергард... Ты когда-нибудь встретишься среди пламени и мрака с одиноким героем... Нет, Байрону не приходили в голову мечты такого рода. Да, впрочем, и для Лермонтова это ужасное видение было мимолетным.

Только первый том... подробности, тысяча подробностей. До этого жизнь Байрона была известна Лермонтову в общих чертах — из разных статей в журналах и предисловий к его сочинениям. Но никогда раньше он столько не думал о нем. В стихотворении «К ***» Лермонтов сделал попытку выяснить, хотя бы отчасти, степень своей близости к нему:

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки;
О если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды,
И бурь земных и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!

Это эскиз, набросок самых первых сближений. Думая над ними, находя общие точки, Лермонтов все более уточнял и разницу между собой и Байроном. *Разные* могут быть очень близки друг другу — так в этом случае и было.

Приближался август. Лермонтов продолжал трудить-

ся над своими трагедиями, читал жизнеописание Байрона, думал над новыми поэмами. Ему пришлось-таки преподнести два-три стихотворения Сушковой, но он немножко нарушил правила игры: сначала без досады, а потом и с каким-то, похожим на влюбленность, чувством стал он встречать взгляд Черноокой, молча любоваться ею, когда она, прикрывшись от солнца зонтиком, болтала с Сашей на скамейке возле цветочных клумб или молилась в прохладном сумраке церкви. В нее, конечно, немудрено было влюбиться, но с Лермонтовым этого не произошло. Он знал, что она отвергла бы его, но не мог представить себе, как бы он страдал... Вероятно, вовсе бы не страдал. Нет, их пути нигде и никак не сходятся и не сойдутся, думал он, глядя на нее, уверенную, что он погибает от любви к ней.

Первого августа — в день памяти крещения Руси — это был и первый день Успенского поста — обитатели Середникова отправились в Новый Иерусалим. Нужно было пройти и проехать 18 верст по проселочным дорогам. Отправились до восхода солнца. В поле и в лесу, встречая рассвет, гремели птицы, стлался туман по низинам, было свежо. В трех колясках ехали Столыпины, Елизавета Алексеевна, Сушкова с теткой, Верещагины, еще кто-то. Мистер Корд, Орлов, Лермонтов ехали верхом. Как только начало пригревать и обсохла роса, стали ехать медленно, временами шли пешком.

Лермонтов никогда не думал, что так близко от Середникова есть настоящее диво дивное — монастырь, окруженный садами, сияющий огромными куполами церквей и соборов, среди которых всех выше вознесла главу с крестом круглая трехступенчатая башня, опоясанная по каждому ярусу окнами. Солнце вспыхивает на сини и золоте, на ярких изразцах и беленых стенах... Вот и восточные ворота с надвратной церковкой. Вблизи, однако, монастырь оказался не столь наряден — давно не чинившиеся здания и стены пообтрескались, пошли пятнами, кое-где на крышах, на жилых корпусах и даже на царском дворце, довольно скромном, весело зеленели неприхотливые березки.

Монастырь был полон народу. Шла служба в громадном, скопированном с Иерусалимского, храме Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, где находилось воспроизведение Гроба Господня. Купол храма терялся на огромной высоте и едва брезжил сквозь пересекающие друг друга столбы света, бросаемые со всех сторон бесчисленными окнами трех ярусов. Синие стены, завитки белой лепки, золото окладов и разных украшений, мерцание паникадил... Не дождавшись конца службы, Лермонтов вышел и стал искать дом патриарха Никона, по замыслу которого строился этот русский Иерусалим. Оказалось, что нужно выйти в западные ворота, сойти по заросшей бурьяном каменной лестнице, тут-то и находилась небольшая патриаршья пустынь. Она была брошена в небрежении и зияла пустыми оконницами. Это был двухэтажный дом с плоским гульбищем вместо крыши, огороженным решеткой. Над ним возвышалась с одного края потемневшая маковка с крестом, возле которой стояла совсем маленькая звонничка, виден был в ней и небольшой колокол. Внизу были службы, поварня, кельи монахов-прислужников, наверху келья Никона, крошечная, с каменным ложем, и во все остальное пространство — зимняя церковь. Здесь патриарх, личность сильная, независимая, скромно проводил годы ссылки, терпя обиду от поверившего боярским наветам «собинного» друга его — царя Алексея Михайловича. Ему не дали достроить храм-ротонду, возводившийся лучшими мастерами не один год, услали дальше от Москвы.

Когда-то в этих руинах пахло жилым духом. Наверх, в зимнюю церковь, проникал запах рыбного пирога или щей. Никон писал в своей келье за конторкой. У окошка, взятого в затейливую решетку, висела позолоченная клетка искусной работы, в ней прыгал с жердочки на жердочку небольшой попугай («птищь, зовомая панега...»). В пруду возле пустыни плавали лебеди... По дорожкам ходил павлин... Пруда теперь нет. В маленьком болотце квакают лягушки.

На обратном пути разговоров было меньше, все устали. Незаметно подошел день отъезда в Москву — нужно было подавать прошение в университет. А перед тем Елизавета Алексеевна решила вместе с внуком совершить пешее хождение в Троице-Сергиеву лавру. Она пригласила Сашу Верещагину и Катерину Сушкову. Вообще-то они должны были еще оставаться в деревне, но Сашу мать отпустила с тем, чтобы тотчас вернулась. Катерину же строгая тетка ее, Прасковья Михайловна, решила не пускать. Катерина загрустила... Лермонтову стало жаль ее, тем более, что он не надеялся больше ее увидеть, — она собиралась осенью в Петербург. Вот так-то и возникло послание к ней:

Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прекрасный взор —
Не билось сердце у меня.

И что ж? — разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю — зачем скрывать!

Однако же хоть день, хоть час
Еще желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.

Он показал этот мадригал Саше.

— Я бы рассердилась, если б мне написали такое... «Я не люблю»! С ума сошел... Разве можно *красавицам* говорить такие ужасные слова! А кроме того, для нее будет новостью, что она целое лето не могла зажечь в твоей груди *огня.*

— Так не отдавать?

— Нет, отдай... Она прочтет не как я... Она все равно вычитает здесь что-нибудь приятное для себя. Мы с ней сейчас пойдем в сад. Ты приди и подбрось этот листок к ее ногам. Это романтично... И придаст стихам цену в ее глазах.

Лермонтов так и сделал. Он подошел к девицам, сказал несколько слов и ушел, как бы нечаянно уронив сложенный вчетверо листок... Сашу душил смех, поэтому она вскочила и побежала за Лермонтовым, он увидел ее и тоже пустился бежать... В глубине сада они остановились. Саша повалилась со смехом на траву. Но Лермонтов молчал, испытывая какую-то неловкость. Наконец Саша перестала смеяться и взглянула на него.

— Что с тобой, Мишель?

— Не знаю. Мне все-таки жаль ее.

— О, не жалей... Она бы тебя не пожалела.

Тетка все-таки смилостивилась, и послание Лермонтова потеряло свою насущность. Наутро, это было 13 августа, Лермонтов с бабушкой, а с ними Саша и Катерина отбыли в Москву.

«На следующий день, — вспоминала Сушкова, — до восхождения солнца, мы встали и бодро отправились пешком на богомолье; путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка ехала впереди шагом;

верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовлять заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием».

Троицкая дорога никогда не бывала пуста, а нынешним летом, говорят, она была особенно многолюдна. Слухи о приближающейся с низовьев Волги чуме, как нередко называли тогда холеру, гнали москвичей замаливать грехи и отмаливаться от напастей. Во всех придорожных селах трактиры, гостиницы, постоялые дворы, частные дома были полны богомольцев, идущих к Троице или обратно... В Мытищах, по общему обычаю, бабушка устроила чаепитие с знаменитой, считавшейся целебной, водой из «громовых колодцев». Этих колодцев было десятка четыре. Над каждым был домик, так что издали они казались каким-то селением. Долгие остановки были в Пушкине и Братовщине. Где-то в пути, раздумывая над слухами о холере, Лермонтов сочинил стихотворение «Чума в Саратове». Воображение снова стало рисовать ему картины всеобщей гибели, страшного наказания людям за их нераскаянность... Ему виделись «миллионы мертвых тел», дым костров, на которых они горят... У него не было мысли о том, что могут умереть отец или бабушка, или кто-нибудь из близких... Нет, чума должна поразить его самого, но не умертвить, нет... Хуже — страшнее! Она должна прибавить к его тяжкому греху еще один — он не сумел сохранить первую любовь, а теперь... Вот ее мертвое тело:

Его земле не отдадут,
И крест его не осенит;
И пламень, где его сожгут,
Навек мне сердце охладит...

Судьба не даст ему и горького утешения «облегчить последний миг» ее, получить свой конец из ее уст:

Лобзая их, я б был счастлив,
Когда б в себя яд смерти впил...

Миновали Радонеж — родину Святого Сергия. Бабушка припасла с собой в дорогу старую книжку «Вестника Европы», где Карамзин описывал свое путешествие в Лавру. Везде по пути он припоминал исторические события. В селе Воздвиженском, на самых подступах к

монастырю, по приказу царевны Софьи был казнен стрелецкий начальник князь Хованский, оклеветанный другим стрелецким начальником — князем Милославским. Юный Петр был свидетелем его казни — он был уверен, что Хованский желал его смерти. «Верст за семь от Троицы, — писал Карамзин, — открываются среди зелени лесов златые главы церквей ее вокруг огромной колокольни, подобной величественному столпу. Я взъехал на гору Волкушу... Русские патриоты! это место должно быть вам известно. Здесь архимандрит монастыря Троицкого благословлял крестом и кропил святою водою достойных сынов России, которые с вождем Пожарским и с гражданином Мининым шли освободить Москву от чужестранных тиранов!.. Я стал на вершине горы, и воображение представило глазам моим ряды многочисленного войска под сенью распущенных знамен, украшенных именем городов, которых добрые жители шли под ними: Нижнего Новагорода, Дорогобужа, Вязьмы, Ярославля, Владимира и проч.». Пишет Карамзин и о начале Лавры: «Святой Сергий, рожденный в несчастные времена нашего отечества, когда внешние неприятели и внутренние раздоры обращали Россию в истинную *юдоль плача*, в самой цветущей юности удалился от света, который представлял ему горестное зрелище злодейств и бедствий... Скоро уединение благочестивого Сергия сделалось известным, и многие старцы захотели молиться вместе с юношею. Вот происхождение сей обители». Карамзин называет Лавру «истинно русскою защитою». Тот же Сергий положил начало этому святому делу защиты Руси. «Когда Димитрий, — пишет Карамзин, — вдохновленный любовию к отечеству, осмелился, наконец, чрез 150 лет удивительной робости славянского потомства, сразиться с татарами, он спешил принять совет и благословение Сергия, который не только утвердил его в сем великом предприятии, но дал ему и двух иноков, Пересвета и Ослябю, явивших себя героями на поле сражения. Хотя радость народа и торжество Димитрия были кратковременны, хотя злобный Тохтамыш скоро после того опустошил Россию, взял и выжег Москву: однако ж на поле Куликовском исчезло гибельное суеверие русских, главная вина их постыдного рабства: *они считали грозных татар бичом небесным, которому ничто не могло противиться*».

При царе Шуйском монастырь больше года геройски выдерживал осаду — огромное войско «Тушинского вора», Лжедмитрия, после многочисленных приступов вынуждено было отступить. Тогда вместе со стрельцами сражались на стенах Лавры иноки. И потом, после изгнания поляков из Москвы войсками Пожарского и Минина, Троице-Сергиева лавра была снова осаждена, на этот раз польским королевичем Владиславом, претендовавшим на русскую корону... Но и на этот раз монастырь не сдался.

Вот во что вылилось дело, начатое юным Сергием, рожденным в Радонеже. Бегство от «мира», от «людей» обернулось благодаря великой душе праведника спасением для этого мира, для этих людей... И ничего так не хотелось Лермонтову, когда он думал о Сергии, как быть одним из тех иноков, которых он послал умереть во главе русского войска... Нет, это совсем другое дело! Это не дух гордости, «надмения».

«На четвертый день, — вспоминает Сушкова, — мы пришли в Лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою, дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам Бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!» Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола, в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью».

Все дружно хлебали, постукивая ложками, когда Лермонтов встал с колен и придвинул свой стул к столу. «Что можно написать вот так, на ходу, — подумала Сушкова, — кроме мадригала или эпиграммы? Судя по его серьезности — первое... Уж не мне ли?» Она перестала жевать и выжидающе-лукаво посмотрела на Лермонтова. Да, он был очень серьезен. Стихи были написаны не для нее. Вообще ни для кого... И даже не для Наташи Ивановой, которая, как ему казалось, уж не встретит его с таким пониманием, как бывало. Сушкова

облизнулась, положила ложку и развернула вдвое сложенный листок, оказавшийся у нее в руке.

— Прочти нам, — сказала Саша, не спрашивая Лермонтова, можно ли.

Катерина прочла:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Тут начался такой разговор, что Лермонтов пожалел о том, что отдал Сушковой стихи. Она без тени сомнения приняла их на свой счет, поджала губы и с покровительственным видом сказала:

— Благодарю вас, monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами.

Лермонтов еле сдерживал ярость: «Посвящение! Ничтожные слова! Милые экспромты!..» И что за менторство, что за докторальный тон!

Саша вмиг поняла, в какое положение влип Лермонтов из-за глупости Катерины.

— Да, будут гордиться, — воскликнула она, — но прежде всего *сами собой,* особливо *самые первые!..* Браво, Мишель!

— А вы... вы будете... гордиться? — едва выдавил из себя Лермонтов. И Сушкова, приняв его яростное замешательство за смущение влюбленного отрока, повела речь еще более напыщенно:

— Может быть, больше других, но только со временем, когда из вас выйдет настоящий поэт, и тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь, monsieur Michel,

пишите, но пока для себя одного; я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет, за него вы со временем будете меня благодарить.

Совершенно подавленный всей нелепостью разговора, Лермонтов пробормотал:

— А теперь еще вы не гордитесь моими стихами?

— Конечно, нет, — с деланным смехом отвечала Сушкова, — а то я была бы похожа на тех матерей, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость, и характер, а согласитесь, что и вы, и стихи ваши еще в совершенном младенчестве.

Лермонтов сказал с злобной насмешкой:

— Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок.

— Да ведь это правда, — безжалостно унижала его Сушкова. — Мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете.

Он сказал еще что-то. Сушкова отвечала в том же духе. Саша Верещагина при начале этого разговора еще смеялась, но скоро умолкла. Нет, все это слишком далеко от веселых розыгрышей... Мишель не заслуживает таких унижений, да еще от таких непроходимых дур, хотя и обладающих прекрасными глазами. А стихи о нищем — совсем не «младенческие». Бедный Мишель... И чего она тычет ему в нос своим «светом», словно он и вправду его не видал.

На обратном пути Лермонтов был мрачен и почти не участвовал в разговорах. 21 августа они приехали в Москву. В этот же день Лермонтов подал в концелярию университета прошение: «Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермонтова; имею от роду 16 лет; обучался в Университетском благородном пансионе разным наукам в старшем отделении высшего класса; ныне же желаю продолжать учение мое в Императорском московском университете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня в число своекоштных студентов нравственно-политического отделения, допустить к слушанию профессорских лекций. — Свидетельства о роде и учении моем при сем прилагаю. К сему прошению Михаил Лермонтов руку приложил».

Назначен был день испытаний.

В Москве в это время говорили о двух вещах — о приближающейся холере и о революции во Франции. Но

больше все-таки о революции. Москва не Петербург... Здесь, вдали от двора и Третьего отделения (даром, что у них везде есть уши), исстари привыкли к свободным беседам. У Лопухиных, Поливановых, Бахметевых и Мещериновых, да и почти везде, где Лермонтов бывал, он в августе и сентябре 1830 года слышал все новые и новые подробности о том, как старый республиканец генерал Лафайет, возглавив стихийное восстание народа в Париже, сверг короля Карла X, осмелившегося отменить Конституционную хартию и новыми указами уничтожить почти все народные права. Три дня, с 27 по 29 июля, на всех парижских улицах лилась кровь, звучал клич «Долой Бурбонов!», разрушались правительственными войсками одни баррикады, но тут же возникали другие.

Лафайет настаивал на отречении Карла X, укрывшегося в Сен-Клу. В ночь с 29 на 30 июля был взят Тюильри. Лафайет, восстановивший в эти дни распущенную королем Национальную гвардию, мог в любой момент стать диктатором, даже восстановить республику, но последнего не произошло.

На французском троне появился другой монарх — Луи Филипп, герцог Орлеанский, поклявшийся в Палате депутатов, что сохранит все конституционные свободы... Словом, как сказал Виктор Гюго: «1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге». Луи Филипп, конечно, с первых дней начал борьбу со всякими свободами.

В гостиных Москвы уже несколько недель ходили по рукам потрепанные листы парижской газеты «Journal de Debats» с описанием июльской революции. Передавались и различные слухи. Речи за карточными столами, за чаем, за сигарой в кабинете были такие:

— Луи Филипп давно намеревался основать свою династию... Он обманул честного Лафайета... Все дело в том, что Луи Филипп в 1789 году был под началом Лафайета в Национальной гвардии... Так сказать, брат по оружию.

— А Бурбон? Не сам ли он себе вырыл яму? Его предупреждали.

— Кто?

— Европейские монархи... Николай Павлович сказал французскому послу в Петербурге Мортемару, что нарушение королем Конституционной хартии приведет к катастрофе, король лишится трона, будет кровопролитие... Оказалось, что Николай Павлович лучше знает характер французского народа, чем Карл. «Вся ответственность за это, — сказал Николай Павлович, — ляжет на него одного». Наш посол во Франции Поццо ди Борго предупреждал французское правительство об этом мнении императора Николая и добавил, что безопасность Бурбонов только в соблюдении хартии. Князь Меттерних высказал ту же мысль... Однако Карлу X не хватило здравомыслия... Теперь он в Англии, а во Франции *пока* — конституционная монархия.

— Однако, черт с ними, с Бурбонами, все-таки дрянь они.

— Да не в том дело... Мог ведь возродиться 1789-й.

— Одно слово Лафайета...

— Республиканцы убеждали его провозгласить Республику и стать ее президентом... «Популярность, — с улыбкой отвечал он, — как и всякое сокровище, должна расходоваться только в интересах отечества». Он ничего не хочет для себя.

— Лафайет стар... Луи Филипп дождется времени выпустить когти.

— Опять будет кровь.

— Свободы ничем больше не купишь.

— А у нас...

— Романовы не Бурбоны — власть!

— Нева красна была, говорят... Картечь-то не милует.

— Все кровью берется. Свобода, власть, все...

— Еще увидим, что будет с Луи Филиппом.

— Что?

Вместо ответа кто-то провел ребром ладони себе поперек горла.

— Лафайет уже отставлен.

— Уже?

— В Палате депутатов одни правые.

Лермонтов представил себе Париж в день 30 июля, после трех дней страшной битвы. Карл не пожалел крови своих сограждан. Ведь не на полях сражений... Брат на брата... Он преступен, презренен и будет на Страшном суде напрасно молить о прощении, трус, беглец.

— Луи Филипп встает на путь своего предшественника... Влез лисой, обернулся волком... Это значит...

— Что?

— Кровь... Снова будет кровь... кровь...

— Кровь...

Темной и ветреной ночью Лермонтов сидел в тишине. «Кровь, — думал он. — Кровь, льющаяся из-за глупых

поступков слабого, ничтожного, корыстного человека, вздумавшего быть тираном... Предмет насмешек ада, тень, призрак...»

Он быстро писал:

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. — Ты полагал
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Лучше бы ему было не видать ее! Она не только совершенно не помнила — или не хотела помнить — их кропотовской любви, но и не сохранила в себе ничего от той прелестной девочки. Черты ее изменились. Душа тоже... Может быть, она стала лучше, но не для него... При ней дики показались ему собственные покаяния, призывы «сжалиться» над ним, «растоптавшим» свою первую любовь. Не «тихий плач любви невинной» услышал он, а смех... Аннет с матерью, Натальей Алексеевной, приехала проститься с бабушкой. Они уезжали. И все-таки он решился открыть ей свои чувства, теперешние, такие сложные. Он поведал ей, что первая любовь, сколько бы человек ни любил потом других, остается святыней в его душе и вместе с этой душой уходит на небеса... В «Стансах», которые Лермонтов, конечно, не отдал ей (они были написаны в тот же день, 26 августа), эта встреча отразилась как одна из самых крупных его жизненных катастроф:

Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой...
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.

Я жертвовал другим страстям,
Но, если первые мечты
Служить не могут снова нам, —
То чем же их заменишь ты?..
Чем успокоишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю,
А может быть и в небесах?..

Справа, на широком поле листа, Лермонтов нарисовал фигуру девушки с лицом, повернутым в профиль. Неожиданно для него она получилась похожей, хотя и со-

всем чуть-чуть, на Катерину Сушкову. Он уже не мог думать о ней без некоторого раздражения. Катерина, афишировавшая свою любовь к танцам, особенно к мазурке, не пропускала ни одного стоящего бала, а там уж ни одного танца... Несколько раз он встречал ее у Поливановых (это всегда были блестящие балы, о которых упоминалось даже в журналах), в Благородном собрании, у Хитрово... Возле нее почти всегда был некий петербургский конногвардеец, отобранный ею у московских девиц в совершенно безраздельное пользование, несмотря на его некоторую нескладность (однажды во время мазурки он едва не уронил ее)... Петербургский офицер! В Москве Сушкова никогда не танцевала со студентами и «архивцами», молодыми людьми, служившими в архиве министерства иностранных дел, хотя это были, пожалуй, самые блестящие из московских кавалеров. Она открыто выражала им свое пренебрежение. А друзья? Однажды, когда она появилась у них в доме вместе с Сашей, Лермонтов, пристально глядя ей в глаза, спросил, будет ли она танцевать с ним на очередном балу.

— С вами? — сказала она, не задумавшись. — Боже меня сохрани. Я слишком стара для вас.

Лермонтов промолчал. Он подумал, что если бы ему захотелось, он бы многое мог. Она, конечно, и не представляет себе всей своей слабости и беззащитности. Но она ушла, и он сразу о ней забыл.

В сентябре Павлов прислал ему книжку своего «Атенея», запоздавшую часть четвертую, наполненную в основном учеными статьями издателя. В разделе «Словесность» Лермонтов нашел свое стихотворение «Весна», подписанное литерой L, которое он еще в пансионе подал инспектору для несостоявшейся «Каллиопы». Этот сюрприз его не обрадовал и не нарушил его решения ничего не отдавать в печать.

Веселье в городе быстро угасало. Многие стали уезжать. В самой Москве еще не было случаев холеры, но неподалеку от нее что-то подобное проявилось... Холера была в разгаре на Волге и на Дону. Она была в Пензе и, вероятно, в Тарханах... Сушкову увез отец, приехавший за ней из Петербурга. Елизавета Алексеевна решила оставаться в Москве, так как Миша должен был держать вступительный экзамен в университет, а потом посещать лекции. Была надежда, что холера не дойдет до Москвы.

Накануне экзамена, 28 августа, Лермонтов написал

стихотворение «Ночь» — той же строфой, что и «Стансы». Это было явное продолжение «Стансов», обращенных к Столыпиной:

Воспоминанье о былом,
Как тень, в кровавой пелене,
Спешит указывать перстом
На то, что было мило мне.

Слова, которые могли
Меня тревожить в те года,
Пылают предо мной вдали,
Хоть мной забыты навсегда.
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет —
Он обладал моей душой.

Мур пишет, вспомнилось ему, что в юности Свифт был очень похож по своему внутреннему складу на Байрона (а Свифт был одним из самых любимых писателей Байрона), что в нем «разные разочарования и несправедливости отворили источник горечи, который уже более не закрывался...». «Мур мог бы сказать это и обо мне», — с грустью подумал Лермонтов. Ему стало казаться, что Анюта не была искренне влюблена в него тогда, в то лето... Иначе можно ли было бы не помнить тогдашнего чувства, говорить о нем с насмешкой, как о каком-то пустяке? Еще и еще раз припоминал он последний разговор с ней... «Что ж, пусть это живет во мне одном», — вздохнул он.

Возможно ль! первую любовь
Такою горечью облить;
Притворством взволновав мне кровь,
Хотеть насмешкой осудить?
Желал я на другой предмет
Излить огонь страстей своих.
Но память, слезы первых лет!
Кто устоит противу них?

...Экзамен был вечером. Поступавших вызывали по нескольку человек в конференц-зал, где сидели за столами профессора-экзаменаторы. Их было восемь человек — по числу предметов. Дело пошло на удивление легко. Будущие студенты не задерживались у столов более пяти минут. Здесь надо было мигом решить задачу из алгебры или геометрии, там перевести две-три строки латинского текста, тут просто перекинуться с профессором несколькими французскими фразами, затем припомнить дату ка-

кой-нибудь знаменитой в истории битвы. Не прошло и часа, как все было кончено. Лермонтов вышел на улицу уже студентом.

В начале сентября он прослушал несколько лекций, изрядно поскучав на них в обществе небольшой кучки студентов в почти пустых аудиториях. Иногда возвращался домой, не прослушав ничего по причине неявки профессора. Жизнь университета замирала. А скоро и вовсе пресеклась. Умер от холеры казеннокоштный студент, а вслед за ним профессор Денисов. В конце сентября все присутственные места, учебные заведения, а также и университет были закрыты.

Изо всех застав потянулись вон из Москвы экипажи, телеги, толпы бросивших работу фабричных. Те, кто не успел уехать, заперлись в домах. Профессор Погодин начал выпускать бесплатно раздававшуюся «Ведомость о состоянии города Москвы». Елизавета Алексеевна, как, впрочем, и многие, никого не принимала. Она настаивала на том, чтобы Миша одевался как можно теплее, берегся и сидел дома. Он не возражал. Но иногда выбирался на улицу. Там было пустынно. Редкие прохожие далеко обходили его, держа у носа платок, смоченный противохолерным снадобьем. Попахивало хлором и дегтем, тянуло дымом. Экипажи мчались быстро. Казалось, вот-вот разразится катастрофа — улицы наполнятся трупами, запылают дома, раздадутся вопли горя и отчаяния. Но тишина не нарушалась. Да и погребальных дрог было как будто не больше, чем всегда. Часто и надолго заряжал дождь... 1 октября въезд и выезд из Москвы были запрещены. Стали возникать слухи: кого-то, пробиравшегося тайком мимо заставы, пристрелили караульные солдаты... умерло столько-то человек... сто... триста... тысяча... кто-то был в обмороке и попал в фуру с мертвецами.

3 октября Лермонтову исполнилось шестнадцать лет. В этот день были у него трое друзей — Николай Поливанов, Николай и Владимир Шеншины (Николай также в этом году поступил в университет, а Владимир был уже на втором курсе). После скромного стола друзья до поздней ночи сидели в комнате Лермонтова. Шуток и смеха почти не было, хотя выпили они не одну бутылку вина. Они были настроены на возвышенно-печальный лад, были бледны. На пороге взрослой жизни встретила их холера, тайно выбиравшая свои жертвы. Друзья стали просить Лермонтова прочитать им какие-нибудь свои стихи. Он сказал, что у него веселого и легкого сейчас ничего нет, а если... Тут все разом заговорили, что именно грустного-то им и хочется, что такие уж теперь времена, не знаешь, будешь ли завтра жив. Он достал тетрадь и прочитал им «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами...»). Они были поражены тем, что их сверстник, юноша, которого все они давно знали, мог написать такое, что под силу разве одному Байрону... Они молчали, глядя на него восхищенными глазами. Лермонтов, увидев, какое впечатление он произвел на них, прочитал еще несколько стихотворений. Потом они обнимались, прощаясь, а через неделю сошлись снова, здесь же.

Они сразу же стали требовать стихов. Оказалось, что грустные, а часто по-настоящему трагические стихи Лермонтова дают им душевную силу, какую-то внутреннюю свободу, при которой не страшна даже смерть. Да, можно страдать, даже жаловаться, но во всем этом должна быть предельная полнота; надо иметь взгляд, не боящийся проникать в самые глубины ада... Ведь многие живут как бы зажмурившись, отгоняя от себя мысли о смерти, распаде тела, муках души, давя в себе память о своих грехах и грешках.

Он прочитал «Чуму в Саратове» и сказал:

— Это моя первая любовь. Не спрашивайте, кто она... Эту любовь мы оба, каждый по-своему, погубили. После того, как я написал это, много было для меня тяжкого и теперь гнетущего... Вот что сочинил я минувшей ночью.

Закат горит огнистой полосою,
Любуюсь им безмолвно под окном,
Быть может, завтра он заблещет надо мною,
Безжизненным, холодным мертвецом;
Одна лишь дума в сердце опустелом,
То мысль об *ней*. — О, далеко она;
И над моим недвижным, бледным телом
Не упадет слеза ее одна.
Ни друг, ни брат прощальными устами
Не поцелуют здесь моих ланит;
И сожаленью чуждыми руками
В сырую землю буду я зарыт.
Мой дух утонет в бездне бесконечной!..
Но ты! — О, пожалей о мне, краса моя!
Никто не мог тебя любить, как я,
Так пламенно и так чистосердечно.

Лермонтов пристально посмотрел на товарищей. Он не питал к ним той восторженной дружбы, какая бывала у него в пансионе. Восторженных, безоглядных дружб, думал он, у него уже не будет никогда. Всей души он

не раскроет теперь никому. Но вот они — трое верных, добрых товарищей. Они начинают просыпаться. Даже Николай Поливанов задумался. А Шеншины и вообще не без интересов. Николай, этот весельчак, любитель поплясать на балах, читает летописи, Шлёцерова «Нестора», у него всегда на столе «История государства Российского» Карамзина. Псков и Новгород, древние вольные города распаляют его воображение. А Владимир Шеншин увлекается поэзией Байрона, Мура, Вальтера Скотта, усердно занимается английским языком. В одном из номеров «Атенея» он поместил в своем переводе отрывок из «Новой истории Греции» Нерулоса, изданной на французском языке в Женеве в 1828 году. В этом отрывке говорилось о Байроне: «Уже несколько лет человек, рожденный быть поэтом, восхищал образованные народы. Превосходный гений его царил выше обыкновенной сферы и проникал испытательным взором своим в сокровеннейшие глубины сердца человеческого. Зависть, не могши вредить поэту, устремилась на человека и жестоко уязвила его. Но он не стал защищаться, будучи могуществен; не хотел мстить врагам, ибо был великодушен: он искал одних сильных впечатлений и жил высокими чувствованиями. Способный к благороднейшим пожертвованиям и уверенный, что прекрасное можно найти только в справедливом, он посвятил себя делу Греции. Он пожелал биться за свободу Эллады».

В ноябре Лермонтов прочитал друзьям совсем небольшую поэму «Две невольницы», отчасти навеянную «Бахчисарайским фонтаном». Лермонтов и здесь перевернул пушкинский сюжет — у него вышло так, как если бы Гирей приказал утопить Марию... Отсюда совсем новая мысль. Гречанка Заира гибнет, оставаясь верной чувству своей первой любви:

Султан! я в дикой, бедной доле,
Но с гордым духом рождена;
И в униженье, и в неволе
Я презирать тебя вольна!
Старик, забудь свои желанья:
Другой уж пил мои лобзанья —
И первой страсти я верна!

Эта маленькая поэма примыкает к циклу стихотворений, посвященных Столыпиной, оказавшейся столь далекой от лермонтовского идеала. Она не захотела помнить «первую страсть», а это отделяет, отчуждает от нее ту девочку, которой она была в Кропотове. Та остается неизменной — к ней можно обращать свои неумершие воспоминания, дающие силу жить дальше. «Две невольницы» кому-то могли показаться просто сюжетным наброском, вариацией к «Бахчисарайскому фонтану», а для Лермонтова — философской поэмой, размышлением его о жизни.

Почти то же произошло и со следующей поэмой, написанной в ноябре и декабре этого года, — с «Последним сыном вольности». Может быть, не без подсказки Николая Шеншина Лермонтов начал обдумывать сюжет из русской истории, о восстании Вадима в древнем Новгороде против варяжского князя Рюрика, нарушившего свой договор с народом. Об этом событии глухо упоминает Никоновская — поздняя — летопись: «...уби Рюрик Вадима храброго и иных многих изби новгородцев советников его». Карамзин этот рассказ подвергает сомнению: «Не знаем, благословил ли народ перемену своих гражданских уставов? Насладился ли счастливою тишиною, редко известною в обществах народных? Или пожалел ли о древней вольности? Хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство и какой-то Вадим, именуемый Храбрым, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новегороде — случай вероятный: люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать властителей, но могли и раскаяться, ежели варяги, единоземцы и друзья Рюриковы, утесняли их — однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом».

Еще 3 октября, в день своего рождения, Лермонтов сделал набросок — посвящения или вступления к поэме:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет наше сердце и кипит!..

Но он это перечеркнул.

Затем взял эпиграф из «Гяура» Байрона («Когда такой герой будет жить вновь?») и начал поэму с описания холодной осени на берегах озера Ильмень. Это описание как бы от лица героя вылилось в сетования об утраченной вольности:

Увы! пред властию чужой
Склонилась гордая страна...

Шестеро юных воинов и с ними седой бард Ингелот скрываются в лесах. Их возглавляет Вадим. Он просит барда спеть «о чем-нибудь», но, однако, не для него, а для прочих:

Пой для других! моя же месть
Их детской жалобы сильней:
Что было, будет и что есть,
Все упадает перед ней!

Когда Ингелот начал петь —

...даже призраки бойцов,
Склонясь из дымных облаков,
Внимали с высоты порой
Сей песни дикой и простой!..

Это строки из «Фингала», поэмы Оссиана (начало песни 6-й), — картина, давно привлекавшая Лермонтова.

В «Песни Ингелота» пересказывается предание о Гостомысле — новгородском старейшине, который, умирая, завещал соотечественникам призвать «князя чуждого»... И вот:

Кривичи, славяне, весь и чудь
Шлют послов за море синее,
Чтобы звать князей варяжских стран.
«Край наш славен — но порядка нет!» —
Говорят послы князьям чужим.

Эту поэму, как и предыдущую, Лермонтов сближает со своей жизнью, наделяя Вадима своими чувствами и иногда даже выражая их стихами своего «столыпинского» цикла.

...Вадим
Любил. Но был ли он любим?..
Нет! равнодушной Леды взор
Презренья холод оковал:
Отвергнут витязь; но с тех пор
Он всё любил, он всё страдал.
До униженья, до мольбы
Он не хотел себя склонить;
Мог презирать удар судьбы
И мог об нем не говорить.
Желал он на другой предмет
Излить огонь страстей своих;
Но память, слезы многих лет!..
Кто устоит противу них?

Здесь выделены строки, в слегка измененном виде взятые из стихотворения «Ночь» («Один я в тишине ночной...»).

Далее в поэме все усложняется мотив мести. Во-первых, Вадим мстит Рюрику за поруганную свободу Новгорода, во-вторых — за гибель своих товарищей. В-третьих, — и это чуть ли не самый сильный мотив, — за то, что Рюрик обесчестил и довел до гибели его возлюбленную. Он идет на отчаянно смелый шаг. В разгар праздника в виду варяжской дружины и толп народа Вадим является в полном вооружении и вызывает Рюрика на единоборство. Он идет на явную смерть.

Он пал в крови, и пал один —
Последний вольный славянин!

Лермонтов считал, что к подвигу ведет героя не одна какая-нибудь идея, а вся его жизнь, все его духовное бытие. Его Вадим подобен «мощному человеку» из стихотворения «Предсказание», который поднял «булатный нож» на царя. И подобен самому Лермонтову с его неразделенными воспоминаниями о первой любви, которые смещаются и как-то перестраиваются, усложняясь и превращаясь в вечно тревожное чувство, в постоянную часть его души. Как могучий, но одиноко растущий в поле дуб, герой живет с предчувствием грозового удара:

И буря вкруг него шумит,
Но великана не свалит:
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежею толпой
Он не оденется вовек...

Имени Вадима нет в первой — древнейшей — русской летописи. Отсюда и сомнения в его существовании у Карамзина. Это побудило Лермонтова в конце поэмы сказать, что «свободы витязь», Вадим, «забыт славянскою страной». В виде эпилога Лермонтов цитирует начальные строки поэмы Оссиана «Картон» (их использовал и Пушкин в «Руслане и Людмиле»):

A tale of the times of old!..
Tte deeds of days of other years!..

В 1816 году Василий Капнист (он полностью перевел эту поэму) передал эти строки так:

События веков протекших!
Деяния минувших лет!..

Видно, в лице Николая Шеншина блеснул Лермонтову смутный призрак настоящей дружбы — ему посвятил он «Последнего сына вольности», названного в подзаголовке «Повестью». В посвящении Лермонтов снова, как и во многих прочитанных друзьям этой осенью стихах, говорит о безнадежности и отчаянии, царящих в его душе. «Дни надежд ко мне не придут вновь», — утверждает он, связывая эти строки с изменой первой любви.

Пока Лермонтов писал эту поэму, холера в Москве почти прекратилась. Заставы были открыты. Быстро оправившиеся от страха москвичи заговорили, зашумели, а там начали и веселиться. На улицах началось прежнее движение; Поливановы в конце декабря дали первый послехолерный бал, и не только Лермонтов, но и Елизавета Алексеевна побывала на нем. Чуть ли не в одну неделю — вихрь радостных потрясений: видел в сутолоке одного из балов Пушкина... купил только что появившуюся в Москве трагедию Пушкина «Борис Годунов»... Впервые, чуть ли не с самой весны, встретил Наташу Иванову... Вся душа его запылала и потянулась к ней, как умирающий от жажды — к воде...

А тут и новое испытание, одна из мучительнейших задач, которую невозможно решить. Бабушка показала ему свое завещание, думая, что он все эти обстоятельства только теперь и узна́ет, — забыла, что уже давно понемножку, нечаянно, от случая к случаю, почти все пересказала их ему. Но хотя завещание и не было неожиданностью — это был *документ*... Бабушка, всегда прямая, вдруг сгорбилась и, промакивая глаза платком, жалобно сказала ему, что он теперь совершеннолетний и сам волен решать, где жить — у нее, по-старому, или у батюшки. Если же у батюшки, то теперь она и наследства его не лишит. «Однако, — вздохнула она, — и то надо знать тебе, Мишенька, что Юрий Петрович болен и болезнь его самая жестокая, отчего он никак не согласится менять твое житье».

В тот же вечер от волнения Елизавета Алексеевна слегла и целую неделю не могла подняться, так была расстроена и слаба.

И Лермонтов решил не только не менять ничего, но даже и не вдаваться больше в обсуждение этих обстоятельств ни с бабушкой, ни с отцом... «Слишком это поздно», — подумал он.

2

В январе возобновились занятия в университете, но лекции читались нерегулярно, аудитории были полупусты. Из-за холеры половина учебного года была потеряна. Но холера и теперь еще не совсем ушла из Москвы. Окончание ее официально объявлено не было. «Ведомость о состоянии города Москвы», выпускавшаяся Погодиным, продолжала выходить. Погодин, отдававший ей много сил, еще читал и лекции в университете. Это был, пожалуй, единственный профессор, которого слушали охотно. Как вспоминал однокурсник Лермонтова Костенецкий, Погодин давал студентам «понятие о критической стороне истории», знакомил их со «всеми вообще современными знаменитыми историческими писателями, — немецкими, французскими, английскими», раскрывал перед студентами «весь современный кругозор». Но и Погодин в своей ведомости часто отмечал отсутствие студента Лермонтова. Остальные профессора видели его еще реже. Он не мог принуждать себя слушать то, что было ему по большей части известно. Словом, университет, хотя Лермонтов и поступил в него с большим желанием, привлекал его мало.

На балу в Благородном собрании он встретил Додо Сушкову и разговорился с ней. Он похвалил ее стихотворение «Талисман», напечатанное в этом году в «Северных цветах», но она стала уверять его, что оно плохое, детское и что князь Вяземский без ее ведома переслал его в Петербург Дельвигу, и что у нее теперь есть другие, лучшие стихи. Это было очень милое женское самохвальство. Она быстро говорила, а он слушал, поглядывая на нее и думая, что она своей грацией и живостью восполняет недостаток красоты настолько, что ею можно увлечься до безумия. Маленькая, изящная, похожая на южанку — итальянку или француженку, и говорит как француженка даже на русском языке. Болтунья, но ею можно заслушаться как сиреной. Она обожает Гюго, Пушкина и Байрона, которого читает по-английски... Она знакома с Пушкиным. В день их знакомства, два года тому назад, на балу у Голицыных он танцевал с ней весь вечер, спрашивал, что она теперь сочиняет, не бросит ли стихов, выйдя замуж. А потом он познакомился с ее семьей. Он теперь женится. Не бросит ли он теперь стихов?.. Лермонтов вздрогнул, услышав такое, хотя и шутливое, предположение. Не дай Бог! И вообще женитьба...

Он вспомнил, сколько пришлось пережить Байрону из-за женитьбы, — свирепая клевета, поход целого общества против него — война ханжей против великого поэта, вынужденное самоизгнание из отчизны... Кто знает, сколько потеряла при этом поэзия. Байрон женился по выбору, без страсти. В общем, это обычно... Но, может быть, не для Пушкина? Лермонтов вспомнил о своем отце. О себе. «Да, я дитя любви», — подумал он. Додо между тем все говорила. Лермонтов вслушался... Она с восхищением отзывалась о декабристах. Вот в ее речи мелькнули строки Пушкина об «обломках самовластья»... Вот она выражает надежду, что будет месть за казненных... Лермонтов забыл обо всем и впился в нее изумленным взглядом. Нет, это не просто милая болтунья! Это сильная, поэтическая, прекрасная душа! Додо вполголоса, мягко скрадывая «р», произносила свои стихи:

Когда настанет день паденья для тирана,
Свободы светлый день, день мести роковой,
Когда на родине, у ног царей попранной,
Промчится шум войны, как бури грозной вой...

Она продолжала... Это было нечто великолепное, грозное, но вместе с тем и чисто женское. Далее в стихах говорилось о некоем «защитнике свободы», который облачится в «воинственный наряд» и клятву даст «погибнуть иль сгубить». А женщина, «сокрытая во мгле уединенья», «без прав опасность с ним делить», будет «за него всечасно трепетать»... Это стихи и о борьбе за свободу, и о любви. Но дальше: она идет в храм молиться, но ее кумир видится ей там и затмевает даже алтарь! Это было Лермонтову так понятно... Но если, говорит она, «грозный рок» «победу нашим даст», позволит им «к обновлению Россию воскресить», тогда они вернутся, «восстановители прав вольности святой», и он с ними — «и имя вдруг его в народе пронесется».

И я услышу всё, всем буду наслаждаться!..
Невидима в толпе, деля восторг его,
Я буду медленно блаженством упиваться,
Им налюбуюся... и скроюсь от него!

Потом Лермонтов узнал, что этот герой не выдумка, не мечта, а живой человек. Додо влюблена... Но *он* об этом даже не подозревает. И вместе с тем Додо ничего так не любит, как балы, эти женские «праздники молодости», откровенно наслаждается нарядами, танцами,

блеском и музыкой, любезностями кавалеров. Она одна из первых невест в Москве, к ней то и дело сватаются, но она всем отказывает, хотя ей *уже* девятнадцать лет (невесте Пушкина — восемнадцать). «Бальной» стороной жизни Додо сильно напоминала Катерину, свою кузину. Лермонтову еще не раз удалось вызвать ее на серьезный разговор, когда она (о, чудо!) забывала о танцах. Оказалось, что стихи она пишет, как и он, больше по ночам, таясь от родных, которые постоянно выговаривают ей за «сочинительство», особенно бабушка, важная аристократка. Самый близкий человек у Додо — мадемуазель Дювернуа, ее бывшая гувернантка, а теперь компаньонка, которая во всем помогает ей.

Ночью Лермонтов вспоминал ее стихи: «Свободы день, день мести роковой...» Какое многообразное чувство месть! — думал он. — Тиран свергается не только из желания свободы, но еще и из мести за погубленных им, хотя и врагов его, но одноземцев, патриотов. Любовник и после смерти хочет мстить своей возлюбленной, коль скоро она изменит его памяти. Один брат кроваво мстит другому за женщину. Желание мстить скрепляется клятвой и делается неотвратимым. Бывает, одна совершившаяся месть вызывает другую, а та третью. Это кровники на Кавказе. У черкесов, говорят, это до сей поры в обычае... Ну, а если тут вмешается клеветник? Такой, которого нельзя не послушаться? Мулла, например. Молодой, пылкий человек, думая, что совершает подвиг, может сделать преступление. Святое — обычаи дедов — обернется сатанинским. Итак, мулла... Он сидит на коврах за своим кальяном, перед ним юный горец-сирота, кабардинец Аджи. Мулле чем-то мешает одна семья в ауле, неважно чем, но мешает сильно. Он лжет, увещевая Аджи *вырезать* ее:

Теперь настал урочный час,
И тайну я тебе открою.
Мои советы — божий глас;
Клянись им следовать душою.
Узнай: ты чудом сохранен
От рук убийц окровавленных,
Чтоб неба оправдать закон...

...Отец твой, мать твоя и брат,
От рук злодея погибая,
Молили небо об одном:
Чтоб хоть одна рука родная
За них разведалась с врагом!..

...Из обреченного семейства
Ты никого не пощади;
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный — и поди!

Аджи пробирается ночью в чужую саклю, где все спят, убивает юношу, потом старика, но над постелью девушки долго медлит. Его душа вдруг прозревает, ему открывается истина, и он ужасается.

Чей это стон? Кто так простонет,
И не последний в жизни раз?
Кто, услыхав такие звуки,
До гроба может их забыть?
О, как не трудно различить
От крика смерти — голос муки!

Это простонал Аджи, заколовший спящую девушку. Он не мог не исполнить клятвы. Вадим, пытаясь совершить акт мести над Рюриком, погиб. Он, хотя и не сделал главного, стал героическим примером для других. Аджи, лишив жизни невинных людей, умертвил свою душу. И пусть после ложной состоялась и настоящая месть — юноша уничтожил муллу, — это его не спасло. Он стал бездомным бродягой, он «как дикий зверь людей чуждался», дал обет молчания.

Убийца... По-черкесски, кажется, «каллы́».

Байрон назвал бы подобную повесть «неистовой». В «Абидосской невесте» у него есть такие строки: «Вот край Востока; вот страна Солнца, — может ли оно встречать улыбкой деяния, какие совершали его дети? О! неистовы, как возгласы любовников при расставании, сердца, ими носимые, повести, ими рассказываемые...» Это Лермонтов взял эпиграфом к новой поэме, которую назвал «Каллы».

Окажись Каллы в монастыре — это был бы кавказский Гяур, пугающий братию своим страшным, молчаливым отчаянием. Можно было бы представить себе и его исповедь перед каким-нибудь ветхим старцем. Может быть, у Лермонтова и были подобные планы, но он оставил поэму неоконченной.

Его не переставало волновать чувство, близкое к отчаянию, как бы перешедшее к нему из ненаписанной части поэмы, в которой Каллы, грешник все-таки невольный, бродит по горам и жаждет смерти, не решаясь взять на себя грех уже вольный — самоубийство. Он с тоской смотрит на один из неприступных горных пиков, где кто-то (в это трудно поверить!) сумел побывать: там чернеет крест.

О, если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурею братом назвался бы я!

Самому Лермонтову необязательно было попадать в такую вот ловушку судьбы (какую он придумал для Аджи), чтобы сроднить со своей душой «состояние каллы», — оно жило в нем вместе с другими чувствами, неведомыми многим... Выразившись в кратком и емком сюжете, оно из этого сюжета ушло, чтобы перейти в стихи, где оно и раньше возникало у Лермонтова в связи с его душевными переживаниями.

Вообще в начале 1831 года Лермонтов, несмотря на внешнее рассеяние (балы, московские похождения с друзьями), был в мрачном и даже подавленном состоянии. Бабушка словно ждала от него каких-то решений или слов после того, как он прочитал ее завещание, но он молчал. Между ними возникло даже некоторое отчуждение. Бабушка все прихварывала. В доме стояла тишина. Отец был оповещен бабушкой о том, что Мише показано ее завещание. Это вызвало его на один решительный шаг. В начале февраля приехала из Кропотова тетка Лермонтова Наталья Петровна. Она привезла копию *письма-завещания Юрия Петровича к сыну.* От одного вида его, от первой его строки, у Лермонтова тревожно забилось сердце: неужели настал этот страшный предел? Почему отец не приехал сам? От тетки он узнал, что отец сейчас здоров, насколько он вообще может быть здоров при своем недуге. Но шлет он не обычное, как всегда, письмо, а *предсмертное* наставление... Конечно, это в ответ на бабушкино завещание... Это было не совсем приятно — что́ это за спор двух завещаний, словно поединок двух скелетов...

«Во имя Отца, Сына и Св. Духа Аминь, — писал Юрий Петрович. — По благости Милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашел я за нужное написать сие мое родительское наставление и, вместе, завещание тебе, дражайший сын мой Михаил, и, как наследнику небольшого моего имущества, объявить мою непременную волю, которую выполнить в точности прошу и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи

твердо уверен, что за невыполнение оной ты будешь судиться со мною перед лицом Праведного Бога.

Итак, благословляю тебя, любезнейший сын мой, именем Господа нашего Иисуса Христа, Которого молю со всею теплою верою нежного отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя Духом Своим Святым и наставит тебя на путь правый: шествуя им, ты найдешь возможное блаженство для человека. Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это *талант*, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, — не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть покойно.

Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.

Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!.. Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю...»

Далее шли подробные распоряжения Юрия Петровича, которые после его кончины до́лжно было исполнить, — о разделении движимости и недвижимости между сыном и его тетками, об уплате долга в Опекунский совет и о прочем. «Выполнением в точности сего завещания моего, дражайший сын мой, ты успокоишь дух

отца твоего, который, в вечности, благословлять и молить за тебя у Престола Всевышнего будет».

Юрий Петрович почему-то был уверен, как видно из письма, что он умрет раньше Елизаветы Алексеевны. «Да полно, здоров ли он? — думал Лермонтов. — Ведь это не просто спокойные, деловые распоряжения человека, вздумавшего составить завещание загодя, вот как бабушка это сделала. В письме ясно чувствуется безнадежное состояние души человека, пришедшего к своему пределу, — после этого письма жизни не может быть. Тут не имеет значения, здоров он или нет, стар или молод...» Чем дольше размышлял Лермонтов над завещанием отца, тем глубже открывалось ему все его страдание. Юрий Петрович лишен был возможности жить одной семьей с сыном. Терпел от бабушки какие-то несправедливости, но «был готов любить ее всем сердцем», за одно то, что она мать его покойной супруги... Ему не хочется в ее глазах оставаться врагом, и он прибегает к защите и помощи сына: «Прошу тебя уверить свою бабушку...»; «Скажи ей...»... Это был конец всяких ожиданий, прощание со всем дорогим, прощение обидчикам.

Много раз, прежде чем показать его бабушке, перечитывал Лермонтов это письмо, не вникая в цифровые суммы и их назначение и вообще в его имущественную часть. Он вспоминал свою недолгую жизнь в Кропотове, портрет матери в кабинете отца, его приезды в Москву... Раньше всегда, пусть смутно, стояло перед ним его будущее с отцом. Теперь этого будущего не стало. Отец еще жив, но отошел так далеко, стал так таинственно недоступен, как и мать... Лермонтову поневоле начали видеться они вместе. Но где? Думая об этом, он поднимал глаза к небу... И вдруг спохватывался: «Что ж я? Ведь он жив!»

Наконец, не в силах больше видеть этого завещания, он отнес его бабушке и попросил положить в шкатулку, где она хранила всякие бумаги. «Отец все вам прощает и готов любить вас», — сказал он. Бабушка вязала, сидя в креслах. Он присел на скамеечку у ее ног и смотрел на нее снизу вверх.

— Поверь, Мишенька, мне, старухе; страха Божьего ради не солгу... Если что когда и сказала недоброго твоему папеньке, то не оттого, что я обиду сделать ему хотела, нет... Достойнее его трудно сыскать человека в нынешние времена.

— Отчего же?

— Оттого, что ты, мой свет, одно в старости моей утешение... Не могла я и помыслить о разлуке с тобой.

Лермонтов молчал, опустив голову. Одиночество... Для нее без него, без внука, жизнь была бы адом. И она восставала против этого ада. Внук возле нее — и у нее есть жизнь... Отними внука — это равно как если бы вынуть душу из нее.

Он ничего не мог предпринять. Вокруг кипело, а он должен был оставаться в бездействии, принимать все, что даст судьба. Бабушка и отец были в полной зависимости от него, от его поступков, если бы он решился на что-то. Любой его шаг стал бы катастрофой для них. Нужно было не двигаться. Пусть сохраняется хотя и неверное, но как-то укрепившееся равновесие, — пусть оно всей тяжестью давит на его душу... на его... И это теперь навсегда. Уйти от этого можно теперь только в смерть.

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют — и я пою за ними,
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад. —

Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

3

Прошло три месяца. Из университетской учебы за это время вспомнить было нечего. Лекций Лермонтов почти не посещал. Но свидетелем «маловской истории» в одно из своих редких посещений вдруг оказался. Михаил Яковлевич Малов, сорокалетний профессор уголовного права, высокий, сутулый человек, чем-то напоминающий отставного солдата, был нелюбим и даже презираем студентами, — вероятно, за то, что при всей своей злобности он был труслив, а потому никогда не умел добиться полного внимания к себе. Кроме того, он был экстраординарным профессором, то есть как бы не настоящим, и это мешало ему приобрести должную уверенность. В марте

1831 года он был наконец сделан ординарным. На этом его слабый характер сломался. Если раньше он перед студентами заискивал, то теперь стал строгим и грубым. Раньше он со смиренными улыбками просил «милостивых государей» не шуметь, а теперь стал требовать этого. Дальше — больше. Он начал оскорблять студентов. Кого-то назвал мальчишкой, а кого-то попросту свиньей. Словом, студенты решили проучить его. На одну из его лекций (он должен был читать о «брачном союзе»), 16 марта, студенты нравственно-политического отделения пригласили товарищей с других факультетов.

Когда Лермонтов увидел, что аудитория набита так, как будто читает не Малов, а Павлов, он удивился, но, не подав виду, раскрыл книгу и углубился в чтение, как почти всегда делал на лекциях. Он не знал, что студенты решили сделать Малову скандал и изгнать его. На середине лекции началось шарканье ногами, все громче и громче. Малов умолк и с изумлением прислушался. Он поворачивался к правой стороне скамей, но тут все умолкало, а шаркало слева... Он поворачивался к левой — шаркала правая... Малов испугался и, состроив подобие улыбки, залепетал:

— Ну что я вам, милостивые государи, сделал? За что вы на меня сердитесь? Помилуйте меня... Извините меня, если я вас чем-то оскорбил... Оставьте это!

Тут всем стало жаль его, и шарканье умолкло. Но Малова словно черт дернул... Он вдруг приосанился и, думая, что победа за ним, сказал с насмешкой:

— Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте! Вы свои мысли выражаете как лошади — ногами!

Сразу поднялась буря. В Малова полетели тетради, шапки... Раздались крики: «Вон его!», «Pereat!» («Да сгинет!» — по-латыни). Многие вскочили на скамьи. Малов съежился и, сойдя с кафедры, стал пробираться к выходу. По коридору и потом по лестнице он уже побежал, подгоняемый криками: «Ату его! Ату!..» — вслед ему бросили забытые им галоши.

Студенты пошли на большой риск — начальство могло дать делу очень серьезный ход. Но через несколько дней выяснилось, что из-за Малова оно не хочет подвергать университет гневу императора. Ему было доложено, что виновные наказаны (шестеро студентов сидели в карцере), и государь ограничился тем, что приказал отправить в отставку Малова.

23 марта Лермонтов был у Николая Поливанова, сидел долго в его комнате и между прочим рассказал о происшествии с Маловым, а потом долго пребывал в задумчивости, сидя с книгой в углу дивана. Он размышлял о происшедшем. В карцер посадили случайных людей, просто взяли кого попало, потому что зачинщиков не нашли. Если бы император не согласился с доводами университетского начальства, что бы ему стоило точно так же кого попало из студентов сдать в солдаты. Мог бы, например, приехать из Петербурга какой-нибудь адъютант, который для получения звезды на грудь сделал бы из маловской истории заговор, имеющий далеко идущие цели. Тогда бы и каторгой запахло... И пришлось бы кому-нибудь из тех, кто был в аудитории 16 апреля, пойти в Сибирь по этапу, в кандалах, в товарищи сосланным декабристам. И почему бы не ему, Лермонтову? Он бы и оправдываться не стал. Так мог бы стать последним любой его вечер с друзьями, например — вот этот. Ночью или на рассвете его увезли бы... Он пересел за стол, раскрыл альбом Николая и стал писать:

Послушай! вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный...

Когда Лермонтов ушел, Поливанов сделал к этому стихотворению пояснение: «23-го марта 1831 г. Москва. Михайла Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания». Ничего Лермонтов не ожидал... Но исток стихотворения шел от маловской истории, от размышлений о ней, и эти размышления окрасились «чувством каллы» — иначе зачем бы тут было «презренный» в приложении к изгнаннику.

12 апреля неожиданно приехал Юрий Петрович — ему нужно было перезаложить имение, чтобы снизить ежегодные взносы в Опекунский совет, которые стало трудно выплачивать. Теперь оно было заложено сроком на 37 лет. Юрий Петрович двигался бодро, но выглядел уже почти стариком — глаза впали, лицо стало темным, а волосы почти совсем побелели. Завещание как-то нарушило их прежние отношения, оба они растерялись, разговор пошел неловкий, хотя любовь их друг к другу

не только не нарушилась, но стала сильнее. Всего один вечер провел Юрий Петрович на Малой Молчановке. Утром, еще затемно, он уехал, торопясь, как всегда, домой. И каждый знал, что у другого осталось чувство вины перед ним. И спешили расстаться, чтобы тосковать друг о друге.

Вечером Лермонтов был на балу и опять разговаривал с Додо Сушковой. И на другой день он был на балу. Здесь была Наташа Иванова. Его любовь к ней перестала быть тайной. Первой о ней узнала, конечно, Саша Верещагина — она отнеслась к этому с полным сочувствием. Затем Шеншины и Николай Поливанов. Умными разговорами и светскими манерами Лермонтов очаровал мать и отчима Наташи и был приглашен в дом. Наташа, уверившись, что он ее любит, доставляла ему, по своему произволу, то радость, то страдание. То кокетничала с ним и совсем не была похожа на себя, то делалась подчеркнуто холодна, и он ни в том, ни в другом случае не находил в ней ничего из того, что в ней любил. И он уже сам не понимал, почему его любовь так сильна. И ему делалось все больнее.

Мать не скрывала, что ищет для Наташи жениха. А Наташа посмеивалась, говоря, что замуж не собирается, что ей и так хорошо. В ней вдруг проглядывало что-то от Катерины Сушковой — Наташа под разными предлогами отказывала ему, когда он приглашал ее танцевать. И танцевала только с военными. Предпочтительно с усами и шпорами. Злобное, мстительное чувство захлестывало его. Но оно пропадало без следа, когда смотрел в ее глаза — тут он становился послушным ее рабом и прощал ей все сразу. И это так расстраивало Лермонтова, что ему было не до учений. Притом в университете поговаривали, что этот год не будет засчитан никому, все студенты останутся на прежних курсах, так как годовая программа из-за холеры и разных неурядиц не будет выполнена.

До вакаций было еще далеко, но начальство охотно давало студентам отпуска, снабжая их проездными бумагами. В мае, когда зацвела по московским садам черемуха и настали благодатные дни, взял отпуск и Лермонтов — с 18-го числа на 28 дней. В конце мая в свое Никольское-Тимонино уехали Чарторижские, и мать Наташи, Екатерина Ивановна, пригласила Лермонтова приехать к ним погостить на денек-другой. Поливановы тоже уехали в свое Петрищево. Из друзей в Москве оставался

один Владимир Шеншин, с которым Лермонтов встречался в это время почти ежедневно.

Шеншин советовал Лермонтову как можно скорее воспользоваться приглашением Чарторижской. Лермонтов и без того едва удерживался, с трудом выжидал время. И вот 1 июня рано утром они с Шеншиным поскакали верхом. Ехать нужно было около сорока верст по знакомой Троицкой дороге. Вскоре Шеншин, пожелав ему доброго пути, повернул обратно, а Лермонтов стал погонять коня. Вскоре он уже скакал вихрем, задыхаясь от встречного ветра.

Его поселили в маленькой комнатке деревянного флигеля. Он прожил здесь пять дней и за эти дни так настрадался, что еле сдерживал слезы. Наташа никогда не была одна — возле нее то мать, то сестра Дашенька, а то и целый выводок малышей — два братца и еще сестрица. Она играла на фортепьяно, читала, гуляла, гарцевала верхом — всегда ею можно было любоваться, но поговорить наедине никак не удавалось. Очень скоро Лермонтов понял, что она изменила свое отношение к нему, избегает, разлюбила его, если вообще оно было у нее, это чувство к нему... На третий или четвертый день Лермонтов узнал, что сюда едет дальний родственник Наташи по матери, кузен, гвардейский офицер, кавалерист, граф Мусин-Пушкин. В доме все прибиралось, приводилось в порядок. Навстречу молодому графу были высланы подставные лошади. Его ждали 5 июня. Екатерина Ивановна, с умилением поглядывая на дочь, расхваливала достоинства графа-кавалериста, не раз начинала говорить о преимуществах жизни в Петербурге, особенно при надлежащих средствах и в окружении влиятельнейшей родни. Наташа посмеивалась, как будто все это были шутки.

Лермонтов проклинал все на свете, не находя в себе сил уехать. Четвертого вечером он оседлал своего серого и поскакал по дороге вдоль Клязьмы, потом на другой берег, в лес, по незнакомым тропам и в поле... Солнце стало заходить. Наконец, он решился — вернуться в Никольское, проститься с Наташей и сразу же, не дожидаясь утра, отправиться домой. Но не знал, в какую сторону теперь ехать, он заблудился. Ему помог прохожий, старый крестьянин. И вот берег Клязьмы, но другое место. Дорога ведет к мосту, а моста нет — одни сваи торчат. Лермонтов, не раздумывая, натянул поводья и толкнул коня. Брызги поднялись столбом, конь поплыл...

Сильное течение стало сносить его в сторону. Все происшедшее походило на сон. А может, и в самом деле им было:

...И вот уж он на берегу другом
И на гору летит. — И на крыльцо
Соскакивает юноша — и входит
В старинные покои... нет ее!
Он проникает в длинный коридор,
Трепещет... нет нигде... ее сестра
Идет к нему навстречу. — О! когда б
Я мог изобразить его страданье!
Как мрамор бледный и безгласный, он
Стоял... Века ужасных мук равны
Такой минуте. — Долго он стоял,
Вдруг стон тяжелый вырвался из груди,
Как будто сердца лучшая струна
Оборвалась... Он вышел мрачно, твердо,
Прыгнул в седло и поскакал стремглав,
Как будто бы гналося вслед за ним
Раскаянье... И долго он скакал,
До самого рассвета...

7 июня Владимир Шеншин писал Поливанову в деревню: «Любезный друг. Первый мой тебе реприманд: зачем ты по-французски письмо написал, разве ты хотел придать более меланхолии твоему письму, то это было совсем некстати. Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою... Твое нынешнее письмо доказывает, что ты силишься придать меланхолический оборот твоему характеру, но ты знаешь, что я откровенен, и потому прими мой совет, следуй *Шпигельбергу*, а не Лермонтову, которого ты безжалостно изувечил, подражая ему на французском языке».

Это все писалось на глазах Лермонтова. Он улыбался, следя за тем, как Шеншин дурачил простоватого Поливанова, — будто бы всерьез он советует ему подражать не Лермонтову, а пьянице и плуту, одному из беспутных соратников Карла Моора по разбойничьим делам... Но когда он сам взял перо, чтобы продолжить письмо друга, он без всяких шуток поделился с ним своими печалями: «Любезный друг, здравствуй! Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. — Черт возьми все свадебные пиры. Нет, друг мой! Мы с тобой не для света созданы; — я не

могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. — Source intarissable*). — Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? — Прощай, друг мой».

Лермонтов засел дома. Шеншин, заходя, безуспешно звал его туда и сюда, потом отстал, понял, что на его друга накатило, — не слышит, что ему говоришь, заметно тяготится присутствием товарища, словом — сочиняет. На столе раскрытые тетради. Вскоре Шеншин также взял в университете отпуск и уехал. Лермонтов остался один. Поездка в Никольское-Тимонино растревожила всю его душу. Отчего Наташа показывала ему такую холодность? Ведь не всегда так было. Раньше в ее глазах можно было прочесть, ну если не любовь, то что-то близкое к ней — участие, внимание, живой интерес. Она, как ему казалось, понимала его, ей нравились его стихи. И вдруг... Неужели это из-за графа, которого они там ждали? Неужели она всерьез принимала маменькины планы? Не хотелось бы этого думать. А может, до них дошли какие-нибудь сплетни. Неужели Наташа способна поверить сплетням? Нет, надо разобраться во всем этом, то есть в себе, в Наташе, во всем-всем, а то ведь сойдешь с ума!

«Разбираться» и писать уже давно стало для Лермонтова одним и тем же. Ему так много хотелось написать — он не знал, за что взяться: за драму... за стихи... Мур писал, что Байрон, «вселяя так много из своей жизни в поэзию, не меньше переносил в свою жизнь из своей поэзии, так что трудно, распутывая ткань его чувств, отделить вымысел от реальности». Жизнь сплеталась с поэзией. Байрон часто в жизни вел себя так, как заставлял вести героев своих поэм, особенно в отношении чувств. И поведение это было у поэта бессознательным, естественным. Это был особенный дар. Был он и у Лермонтова. И в еще большей степени, чем у Байрона.

Он обдумывал драму о себе и Наташе, но фантазия его преображала все совершившееся в другую, более соответствующую его чувствам реальность, придавала ему трагическую завершенность. Сначала он написал несколько стихотворений (будто их пишет главное лицо драмы, юноша). Начал с картины — он и она сидят на крыльце. Солнце зашло. Наступила тихая, лунная ночь... *Дева* «пленительна, грустна», хотя, может быть, эта ее грусть и «притворная». Но *он* верит всему. Вот он:

---

* Неиссякаемый источник *(фр.)*.

У ног ее (ребенок, может быть)
Сидел... ах! рано начал он любить,
Во цвете лет, с привязчивой душой,
Зачем ты здесь, страдалец молодой?
И он сидел и с страхом руку жал,
И глаз ее движенья провожал.

В этих глазах *не отразилось ничего из того*, что чувствовал он:

И не прочел он в них судьбы завет,
Мучение, заботы многих лет,
Болезнь души, потоки горьких слез,
Всё, что оставил, всё, что перенес;
И дорожил он взглядом тех очей,
Причиною погибели своей...

Так вырисовывались герои будущей драмы. Да, он погибнет, и она станет среди его погубителей главным лицом. Но, может быть, он и не умрет, но, погибнув, отправится в изгнание, на Кавказ. Между ними все кончится, но он обратится к ней с последней просьбой, которой она не посмеет не исполнить, ведь она должна знать его лучше, чем все. Пусть в ее сердце нет любви. Но пусть не будет и равнодушия. И может же она уважить страдания, вызванные ею же?

...Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой?
О, будь!.. О, вспомни нашу младость,
Злословья жертву пощади,
Клянися в том!..

Важно не то, что думает толпа, а то, что она, дева, — защищает. Там, вдали, он будет ее любить без отзыва, готовый пройти снова пережитые мучения. Он не видит никакого унижения в странной мольбе:

Заклинаю тебя всем небесным,
И всем, что не сбудется вновь,
И счастием, мне не известным,
О, прости мне мою любовь...

В том, что она «изменила», он винит не ее, а «судьбу», давшую ей сердце, для которого любовь «как веселье легка». Ее взор — «звезда приветная» для его «соперников» (он им мрачно «желает счастья»). И все же ему трудно смириться с мыслью, что она не любила его... Воображение его мечется и, наконец, останавливается на совершенно невозможном, *притворстве наоборот:*

Но если ты ко мне любовь хотела скрыть,
Казаться хладною и в тишине любить,
Но если ты при мне смеялась надо мною,
Тогда как внутренно полна была тоскою...

Это-то он мог бы принять! Его мучениям соответствовали бы ее мучения! Но если так, то как же она могла изменить? Не преступление ли это, не убийство ли любви?

Ночью глухо лают собаки... Сторож бьет «в чугун печальный»... Ветер трясет распахнутые створки окна.

...Мне скушно,
Мне тяжко бденье, страшен сон;
Я не хочу, чтоб сновиденье
Являло мне ее черты;
Нет, я не раб моей мечты,
Я в силах перенесть мученье
Глубоких дум, сердечных ран,
Все, только не ее обман...

Обман выбивает все опоры и разверзает бездну небытия. Тогда кажется обманом и вся жизнь. Нет, сердце его «не увидит блаженства»:

Одна лишь сырая могила
...Успокоит того, может быть,
Чья душа слишком пылко любила,
Чтобы мог его мир полюбить.

Я «не умею жить среди людей...» «Я не рожден для света...» «Я одинок над пропастью стою...» Всем этим будет жить герой драмы. Не столкнуть ли его с отцом, как это было в «Menschen und leidenschaften»? Пусть опять прогремит несправедливое проклятие. Пусть он будет обманут, умчится в изгнание, сойдет с ума, умрет — все это будет для него... естественно.

За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец...

Сквозь ветки деревьев перед домом напротив всегда светится окно. Кто-то проводит ночи без сна. Там иногда чудится темная согбенная фигура...

И только я увижу свет лампады,
Сажусь тотчас у своего окна,
И в этот миг таинственной отрады

Душа моя мятежная полна.
И мнится мне, что мы друг друга понимаем,
Что я и бедный мой сосед,
Под бременем одним страдая, увядаем,
Что мы знакомы с давних лет.

А одно из этих стихотворений никак не кончалось. Он писал другие, возвращался к этому и прибавлял одну, две, три строфы... Вот уже десять, пятнадцать, двадцать строф по восемь строк в каждой с одними ударными рифмами, как в «Шильонском узнике». Вместо заглавия он проставил дату: «1831-го июня 11 дня». Это была поэма размышлений, попытка собственного стихотворного портрета в рембрандтовско-байроновском духе — с глубокими тенями, тревожным светом, исповедальной открытостью... Начал он с истока: «Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала...» Затем с отчаянием посетовал на то, что речь его не может передать всей правды:

...Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу, и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь.

В четвертой, пятой, шестой и седьмой строфах он размышлял о земном (тленном) и «небесном» (вечном). Небесное — душа, а также ее создания — стихи... Для них, как бы они ни были несовершенны, как и для души, «могилы нет»:

Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву всё принесть,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я отдал смерти всё, что дар земной.

Не отдал — небесного... Свет «благословит» его мечты, «хоть не поймет их». Он узнает, кому они посвящены и запомнит ее имя («ты... со мною не умрешь»). Она станет знаменита, как Лаура или Беатриче. Так навсегда свяжут ее имя с именем поэта.

В другом стихотворении, которое он так и назвал «Слава», он писал о том же, но без Лауры или Беатриче:

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет всё душа моя
Во всём дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она бессильная страдает...

Как поэту искать славы без опубликования стихов? Нынче ведь не времена Гомера, когда устраивались состязания поэтов... А Лермонтов твердо решил ничего не печатать («Весна» в «Атенее» появилась случайно). Судьба юношеских «Часов досуга» Байрона, несправедливо обруганных эдинбургским журналом, укрепила Лермонтова в этом решении. Только укрепила, а решение у него было самостоятельное. Слишком искренни были его стихи. Слишком они все были у него «для себя», как потайной дневник, который можно иногда показать близким друзьям, но не массе неведомых читателей... Много ли среди них нашлось бы сочувствующих душ? И уж, вероятно, не было бы недостатка в равнодушии, недоверии, насмешках.

Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками,
Что вдохновенного труда
Мир не обидит клеветами;
Что станут верить и внимать
Повествованью горькой муки...

Ну, пусть поверят и внемлют... Пусть не теперь, а после его смерти... Что из того?

Другой заставит позабыть
Своею песнию высокой
Певца, который кончил жить,
Который жил так одиноко.

А к *длинному* стихотворению прибавлялись новые строфы. В восьмой он вспомнил свою первую любовь — «печальный призрак прежних дней»... В девятой продолжил рассказ о своей отверженности от людей: «Никто не дорожит мной на земле...» И далее: «Грядущее тревожит грудь мою», — то есть уже *после смерти;* он хотел бы знать, где его душа «блуждать осуждена»:

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла

Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты Бог или злодей...

В одиннадцатой строфе он гадает о том, как он «кончит» жизнь... А в двадцать восьмой и в тридцатой отвечает: «Я предузнал мой жребий, мой конец... Смерть моя / Ужасна будет: чуждые края / Ей удивятся, а в родной стране / Все проклянут и память обо мне...» «Кровавая меня могила ждет, / Могила без молитв и без креста», — и на чужой стороне, «на диком берегу ревущих вод»... И снова, в последней, тридцать второй строфе, о бессилии слова:

...Сладость есть
Во всем, что не сбылось, — есть красоты
В таких картинах; только перенесть
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена...

У Лермонтова было такое чувство, что Наташа ему изменила. С тех дней, которые он провел возле нее в деревне, много возникло и взросло в его душе такого, чего уже нельзя было не принять за правду. Нет, она не вышла замуж. И не станет, быть может, возлюбленной или супругой этого кавалериста. Но измена все же есть... Он ощутил *ее* холодность, и от нее болит душа... Как было раньше? Было понимание... Одно и то же, одно и то же терзало его... Раньше! Теперь!.. Теперь она убивает в нем веру в жизнь, гасит в его душе свет, ставит над пропастью. Она как бы сливается с обществом, всегда враждебным ему, даже стоит впереди него, — ведь не ему, а ей верил он. И чувствовал, что не любить ее не может, и понимал, что жить, не разрубив этого узла, невозможно...

Теперь все мысли его сосредоточились на драме. Ему хотелось выразить в ней самое страшное — всеобъемлющую Измену, уничтожающую человека с доверчивой душой и потому странного для всех, научившихся жить без души... Так и назвал он драму: «Странный человек». Ставить ее на сцене он не думал (в черновике предисловия он говорит не о зрителе, а о читателе). По окончании ему хотелось показать ее Наташе — как объяснение того, чего она, может быть, не понимает, как укор в том, что она не захотела поступиться ничем ради спасения человека, который только один и любил ее по-настоящему. Чтобы показать ей, как убивает странного человека все

то, что он любит: родные, друзья, женщина... И пусть именно его, убиваемого, люди называют эгоистом, считают плохим, учат жить, осыпают упреками.

А месть? Не обойдется в драме и без нее. Пусть будет такой же отец, как в «Menschen und leidenschaften», — не человек, а раб условностей, живущий «для людей», который будет жестоко мстить своей супруге, изменившей ему, но раскаивающейся и умоляющей о прощении (она умрет непрощенной)... И еще — месть женщины, которая через эту месть хочет добиться добра для себя, — месть княжны Софьи Арбенину (так назвал Лермонтов своего героя). У отца открытая месть, а здесь — тайная (княжна влюблена в Арбенина). Месть отца вызовет протест сына... Отец его проклянет. И все-таки измена матери отцу была зерном, из которого выросло это проклятие. С другой стороны — измена любимой. Сцилла и Харибда!.. То или иное — Арбенин обречен. Все ссорит его с Богом.

Сначала Лермонтов обозначил «Действие первое» (и потом следовали «явление 1», «явление 2»...), но вскоре драма стала выстраиваться по-другому, как ряд сцен. «Борис Годунов» Пушкина подсказал ему такое решение. Лермонтов писал целыми днями. Закончил 17 июля. Арбенин сошел с ума и умер. Похороны его были в один день со свадьбой Наташи Загорскиной. Все, что происходит в его «романтической драме» (таков подзаголовок «Странного человека»), Лермонтов считал «истинным происшествием», несмотря на то, что в ней очень немногое напоминало действительные события. Истинное заключалось в духе происходящего на сцене. Арбенин — не Лермонтов. Но Лермонтов дал Арбенину многие свои черты, некоторые поступки, всю свою любовь к Наташе, все свое неприятие света и — свои стихи. В маленьком предисловии Лермонтов сначала написал, что он «изложит драматически» *происшествие*. Потом исправил: *происшествие истинное*. Он написал также, что *«почти все* действующие лица писаны мною с природы» (это исправлено: «*Половина* действующих лиц...», и затем: «Лица, изображенные мною, *все* взяты с природы»). Он «желал бы» добиться от всякого рода мстителей и изменников *раскаяния*. Лермонтов высказывает свое отношение к обществу: «*Оно всегда останется* для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя маленькая искра небесного огня!..» Дальше следует горькая фраза: «И этому обществу я отдаю себя на суд». Не драму, а себя. Все-таки себя в лице Арбенина.

В одном из черновиков вместо слов «Лица, изображенные мною...» было написано: «Предметом моего сочинения был характер...» И хотя он это вычеркнул, драма в основе своей — изображение характера Арбенина. Она вся прошита характеристиками, которые дают Арбенину он сам, Наташа Загорскина, Белинский и другие лица. Все говорят об Арбенине, все рисуют его портрет, как кто его видит.

Он сам: «Нет, вижу, должно быть жестоким, чтобы жить с людьми; они думают, что я создан для удовлетворения их прихотей, что я средство для достижения их глупых целей! Никто меня не понимает, никто не умеет обходиться с этим сердцем, которое полно любовью и принуждено расточать ее напрасно!..»; «Я бы желал совершенно удалиться от людей»; «Вся истинная жизнь моя состоит из нескольких мгновений, и всё прочее время было только приготовление или следствие сих мгновений»; «Я верю предчувствиям»; «Какой я ребенок!.. как будто одними ее взглядами и словами я живу на свете»; «Как бы я желал предаться удовольствиям и потопить в их потоке тяжелую ношу самопознания, которая с младенчества была моим уделом!»; «Я так часто был обманут желаньями и столько раз раскаивался, достигнув цели, что теперь не желаю ничего... Я вижу людей, которые из жил тянутся, чтоб чем-нибудь сделать еще несноснее мое существование!»; «Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему! Все, что я люблю, убегает меня... Я похож на чумного! Всё, что меня любит, то заражается этой болезнью несчастия, которую я принужден называть жизнию!»

Гость 1: «Он ужасный повеса, насмешник, и злой насмешник; дерзок и все, что вы хотите; впрочем, очень умный человек... Все об нем этого мнения»; «Я слыхал, что он был величайший негодяй. Удивительно, что почти всегда честные отцы имеют дурных сыновей».

Наталья Федоровна Загорскина: «Я третьего дни целый час спорила с дядюшкой, который утверждал, что Арбенин не заслуживает названия дворянина, что у него злой язык и так далее... А я знаю, что Арбенин так понимает хорошо честь, как никто, и что у него доброе сердце... он это доказал многим!»; «Он мне сначала немного нравился. В нем что-то необыкновенное... а зато какой несносный характер, какой злой ум и какое пе-

чальное всегда воображение. Боже мой! да такой человек в одну неделю тоску нагонит. Есть многие, которые не меньше его чувствуют, а веселы».

Княжна: «Он так умен, так полон благородства... Он не красавец, но так не похож на других людей, что самые недостатки его, как редкость, невольно нравятся; какая душа блещет в его темных глазах! какой голос!»; «Да, он мужчина, он крепок духом».

Доктор: «Шалун, повеса, заслуживший в свете очень дурную репутацию: говорят даже, что он пьет... Если его принимают в хорошие общества, то это только для отца».

Белинский: «Ты имеешь скверную привычку рассматривать со всех сторон, анатомировать каждую крошку горя»; «Эгоист»; «Он странный, непонятный человек: один день то, другой — другое! Сам себе противоречит, а всё как заговорит и захочет тебя уверить в чем-нибудь — кончено! редкий устоит! Иногда напротив — слова не добьешься, сидит и молчит»; «Ты желаешь спокойствия, но не способен им наслаждаться; и оно сделалось бы величайшею для тебя мукой, если бы поселилось в груди твоей»; «Жалко, что столько способностей ума подавлено бессмысленной страстью! И как не уметь себе приказать?»

Заруцкий: «Он всегда таков: то шутит и хохочет, то вдруг замолчит и сделается подобен истукану; и вдруг вскочит, убежит, как будто бы потолок проваливался над ним».

Снегин: «Странный человек Арбенин!»

Итог подвел в последней сцене *3-й гость:* «Если он и показывался иногда веселым, то это была только личина. Как видно из его бумаг и поступков, он имел характер пылкий, душу беспокойную и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает, отчего она произошла! Его сердце созрело прежде ума; он узнал дурную сторону света, когда еще не мог остеречься от его нападений, ни равнодушно переносить их. Его насмешки не дышали веселостию; в них видна была горькая досада против всего человечества! Правда, были минуты, когда он предавался всей доброте своей. Обида, малейшая, приводила его в бешенство, особливо когда трогала самолюбие. У него нашли множество тетрадей, где отпечаталось всё его сердце; там стихи и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства! Я уверен, что если б страсти не разрушили его так скоро, то он мог бы сделаться одним из лучших наших писателей. В его опытах виден гений!»

Арбенина, помимо прямых характеристик, рисуют, как и всякого человека, его поступки. Так в пятой сцене он у своего друга Белинского слышит рассказ мужика о зверствах помещицы и «в бешенстве» произносит монолог (напоминающий «Разбойников» Шиллера): «Люди! люди! и до такой степени злодейства доходит женщина, творение иногда столь близкое к ангелу... О! проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство — все куплено кровавыми слезами...» Мужик умоляет «доброго барина» Белинского: «Купи нас, родимой!» Арбенин ссужает Белинскому последние деньги («Ты мне отдашь когда-нибудь»), чтобы помочь ему купить деревню. Белинский — изменник, один из погубителей Арбенина, но в нем проглядывает что-то хорошее. Сообщив мужику свое решение, он радуется: «Впервые мне удается облегчить страждущее человечество! Так: это доброе дело». И когда Арбенин говорит, что «есть люди, более достойные сожаления, чем этот мужик. Несчастия внешние проходят, но тот, кто носит всю причину своих страданий глубоко в сердце... Но для чего говорить об таких людях? им не могут сострадать», — Белинский справедливо упрекает его: «Можно ли сравнить свободного с рабом?» Арбенин — эгоист (по слову того же Белинского). Однако разница между ними в том, что Белинский любуется своей добротой, а Арбенин делает добро как бы мимоходом, в порыве чувства; для него делать его так же естественно, как дышать. И то, что он тут же начинает говорить о себе, о своих страданиях («эгоист»...), не уменьшает его сочувствия к «страждущему человечеству». Поэтому Белинский не совсем прав, называя Арбенина эгоистом. Эта его неправота подтверждается впоследствии, когда он («чья взяла, тот и прав»...) призывает Арбенина не сердиться на него за то, что он женится на Наташе Загорскиной: «Ну посуди сам: разве я не имел одинакового права с тобой на ее руку? Ты, братец, эгоист!» Недоброму делу Белинский даже перед самим собой стремится придать видимость добра: «Испытаю верность женщины! Посмотрим, устоит ли Загорскина против моих нападений. Если она изменит Арбенину, то это лучший способ излечить его от самой глупейшей болезни» (то есть от любви...). И все же он честно пытался открыть Арбенину глаза: «Она кокетка!.. Когда ей весело, тогда твоя Наташа об тебе и не думает, а когда скучно, то она

тобой забавляется. Вот и вся тайна». Он же предупреждает Арбенина об интриге, затеянной против него княжной Софьей. Арбенин, чувствуя правду, отмахивается от нее: «Не говори ни слова, не разрушай моих детских надежд»... Белинский не прост. В нем, светском человеке, было зерно правды, — иначе как бы он мог стать другом Арбенина? Но правды погибающей... Любящий «добро» Белинский отчасти похож на управителя, который приказал «руки вывертывать» Федьке, «мужику славному» (как рассказывал деревенский ходок, просивший Белинского купить их деревню). «Господин управитель! — сказал Федька. — Что я тебе сделал? Ведь ты меня губишь!» — *«Вздор!»* — сказал управитель... «*Вздор!* он не так сильно любит, как показывает: жизнь не роман!» — говорит Белинский, приступая к «вывертыванию» души Арбенина.

Таким же вывертыванием души своего сына занимается Арбенин-отец. У него по отношению к сыну самые жестокие планы: «Я вижу, что не довольно строго держал сына моего. Какая польза, что так рано развились его чувства и мысли?.. Однако же я не отстану от своих планов. Велю ему выйти в отставку года через четыре, а там женю его на богатой невесте». О своей супруге, матери Арбенина, он говорит ему в глаза, что она «сирена... скверная женщина», а наедине с собой: «Не могу вспомнить без бешенства, как она меня обманывала. О! коварная женщина! Ты испытаешь всю тягость моего мщения; в бедности, с раскаянием в душе и без надежды на будущее, ты умрешь далеко от глаз моих... Я очень рад, что у нее нет близких родных, которые бы помогали». На исступленные просьбы и даже требования сына исполнить последнее желание умирающей, пойти к ней и выслушать слова ее раскаяния («она не хочет сойти в могилу, пока имеет врага на земле»), отец сначала поддается («никто нас не увидит?»), но тут же («Да нет ли тут какой-нибудь сети?») отказывается: «Скажи своей матери и бывшей моей жене, что я не попался вторично в расставленную сеть... Желаю ей *веселой дороги*!» Сын потрясен таким жестоким напутствием... Отец, собственно, и пошел бы, но законы света, приличия для него в жизни главное. Ему нужна была гарантия, что жена умрет без промедления и что его во время визита никто не увидит. На упреки сына он отвечает злобными ругательствами, называет его «сумасшедшим», «неблагодарным», «чудовищем», грозит наказанием, гонит из дома

и, наконец, проклинает... Прокляв, спокойно идет в гости. Слуги осуждают его: «Проклясть сына, ехать в гости, эти две вещи для него так близки между собою, как выпить стакан вина и стакан воды... Лучше убить, чем проклясть».

Итак, Арбенин проклят отцом. «Теперь испытаю последнее на земле: женскую любовь! — думает он. — Боже, как мало ты мне оставил! Последняя нить, привязывающая меня к жизни, оборвется, и я буду с тобой». Собираясь «испытывать», он твердо уверен, что «оборвется». И она оборвалась, эта последняя нить. Последний разговор его с Наташей — пытка для него, не хуже, чем вывертывание рук для Федьки... И сравнение здесь Наташи с лютой помещицей будет нелишне.

Лермонтов крупно вывел в рукописи слово «Конец», и ему показалось, что он сошел с ума и умер вместе с Арбениным. Показалось также, что сумел он при помощи «Странного человека» оторваться душой от Наташи Ивановой, — по крайней мере уже не так упорно возвращались к нему мысли о ней. 17-го он закончил драму. Через два или три дня после этого он поехал с бабушкой в Середниково. Тут уже не красовалась, восхищая мистера Корда, Катерина Сушкова. Гораздо меньше было гостей у Екатерины Аркадьевны. Бесследно исчез семинарист Орлов. А Саша Верещагина была тут, поблизости, в своем Федорове. Как только она появилась в Середникове, он дал ей тетрадь со «Странным человеком», сказав, что он потому и жив, что написал эту вещь, что он был весь последний месяц между жизнью и смертью, умер, но, кажется, начинает потихоньку воскресать... Саша заметила, что он сильно возмужал, что теперь ни одна из самовлюбленных красоток не может не принять его всерьез и что она даже за себя не ручается отныне... Нет, Саша не могла обойтись без шуток!

4

Однажды в библиотеке Середникова Саша сняла с полки первый томик (из шести) французского издания «Юлии, или Новой Элоизы» Руссо с гравюрами Юбера Гравело и долго перелистывала его, потом спросила:

— Ты читал этот роман?

— Нет, — ответил Лермонтов.

— Уж конечно, — сказала она. — Все считают, что

это приманка для девиц, да и опасная... «Юлию...» прячут от них, но им-то она всего интереснее. Мне было пятнадцать лет, когда я тайком ее прочла... Чуть не утонула в собственных слезах.

— Сантименты?

— Не совсем... Руссо изображает такие положения и таких людей, какие, быть может, только на луне есть... Или будут через тысячу лет на земле... Не поймешь, что за книга. С одной стороны, длинно, скучно, с другой — начинаешь любить героев и потом находишь, что они остались в сердце, как и лучшие твои воспоминания.

Лермонтов взял второй том.

— Я знаю, — сказал он, — что Гёте и Байрон любили эту книгу, что «Вертер» в каком-то смысле потомок «Юлии...», а я не читал ее.

— Мне кажется, что тут ты много найдешь для себя... Сен-Пре был так же страстно влюблен и несчастен, как ты. Только он не писал стихов, значит, ему было труднее... А сколько мыслей! О вере, о воспитании, свободе воли, добре и зле, равенстве людей... о любви... о душе человека и о всяких его земных заботах... Я многое выписывала. Откроем-ка наугад. Вот Сен-Пре: «Бороться и страдать — вот удел в этом мире добродетельного человека; творить зло и тоже страдать — удел злодея... Человек подвержен тысяче бедствий, его жизнь есть ряд несчастий, и кажется, будто он рожден только для страданий... Для нас сознание бытия заключается в чувстве горя». Это прямо о тебе! Вот еще: «Жить без боренья человеку не свойственно, такая жизнь все равно что смерть...» Вспомни-ка свои стихи: «Так жизнь скучна, когда боренья нет...» А в этой книге столько борьбы! Каждый борется со своими страстями и делается все благороднее, но и несчастнее... А происходит все это в Швейцарии, на озере Леман, вблизи Шильонского замка.

— Там жил Байрон.

— Вот видишь... Какие в этой книге картины природы — бурное озеро, скалы, снежные вершины гор... У тебя в стихах много об изгнании говорится. А Сен-Пре — вечный изгнанник. Юлия и кузина ее Клара из самых добрых чувств терзают его и гонят... Ему пришлось совершить даже кругосветное путешествие. В порту он спешит дописать прощальное письмо к Юлии и ее кузине: «Пора кончать. Простите, прелестные подруги! Простите, бесподобные красавицы!.. Прошу вас, вспоминайте подчас о неудачнике, который существовал лишь ради того, чтобы посвящать вам обеим все чувства своей души, и перестал жить, разлучившись с вами... Если когда-нибудь... Но вот подают сигнал, я слышу крики матросов. Ветер крепчает, раздувая паруса. Пора подниматься на борт, пора в путь. Море безбрежное, море бескрайнее, если ты не поглотишь меня, не скроешь в недрах своих, обрету ли я, плавая по волнам, тот покой, который бежит моего мятежного сердца?» Можно подумать, что я читаю «Чайльд-Гарольда», правда, Мишель?

Лермонтов унес «Юлию...» к себе во флигель. Читать ее было скучно, хотелось пропускать страницы, но и оторваться было невозможно. Письма Сен-Пре пылали страстью настолько живой, что не хотелось видеть в нем вымышленное лицо. Любовники (они оба любят, это счастливая любовь), не имея надежды соединиться, «обуздывают» свои страсти, горько философствуют, не могут расстаться и навеки разлучены чуть ли не с самого начала своей любви... Они страшно терзают и насилуют себя добродетелью! Какие у них редкостные друзья, какой у Юлии появился необыкновенный супруг, сделавшийся лучшим другом Сен-Пре!.. Невозможно во все это верить! Но сколько в этой книге трогательного, умного.

Многое из того, что писал Сен-Пре, было очень понятно Лермонтову. Вот, например, когда Сен-Пре узнал, что Юлию отдают замуж: «Ты в объятиях другого!.. Другой будет обладать тобою!.. Нет!.. Лучше потерять, чем делить тебя с... Почему небо не вдохнуло в меня мужество, равное по силе порывам моей страсти!.. И тогда, — прежде чем руку твою осквернят эти роковые узы, отвергаемые любовью и порицаемые честью, — я вонзил бы в твою грудь кинжал, обескровил бы твое непорочное сердце, дабы ты не запятнала его изменой. Престол любви — грудь, пронзенная моей рукой... кровь, кипящим ключом изливающаяся из нее вместе с жизнью... Нет, живи и страдай, неси бремя моей трусости!» Позднее — герои Лессинга и Шиллера были решительнее. И Фернандо в «Испанцах» Лермонтова... Когда Юлия уже имела детей, Сен-Пре был на прогулке с ней. Они плыли на лодке: «Я готов был уступить соблазну — схватить Юлию в объятия и броситься вместе с нею в воду, чтобы покончить с жизнью и с долгими своими муками. Ужасное это искушение стало наконец столь сильным, что я вдруг резко оттолкнул ее руку и,

поднявшись, пересел на нос лодки... Умиление взяло верх над злобной тоской, из глаз хлынули слезы». А признания изгнанника? Это ли не лермонтовское: «Не весь я повлекся в изгнание, а лишь моя бренная оболочка: все, что во мне одухотворено, неотступно с вами. Дух мой безнаказанно лобзает ваши очи, уста, грудь, все прелести ваши: он, как некий пар, окутывает вас, и я так счастлив наперекор вам, как никогда не бывал по вашей воле».

«Я читаю Новую Элоизу, — записал Лермонтов в тетради. — Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины. — Ума слишком много; идеалы — что в них? — они прекрасны, чудесны; но несчастные софизмы, одетые блестящими выражениями, не мешают видеть, что они всё идеалы. — Вертер лучше; там человек — более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. — У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, — но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого, родилась мысль написать Новую Элоизу».

Он все-таки продолжал читать эту книгу. А между тем писал стихи и собирался еще раз переделать «Демона». В тетради появилось «Завещание» («Есть место: близ тропы глухой...»), написанное ночью у окна; затем «Сижу я в комнате старинной...» — тоже ночью писано, в полуобвалившейся старой бане, куда Лермонтов пошел с одним приятелем Аркашки Столыпина, Лаптевым, непременно хотевшим напугать священника, который должен был пройти мимо оврага, — заухать филином, заверещать нечистой силой... Лермонтов сидел в сыром зальце пахнущей плесенью мыльни и писал при свете фонаря стихотворение, положив листок на кирпичный подоконник. Наконец Лаптев продрог, испугался летучей мыши, а поп все не появлялся.

Третье стихотворение — послание к Наташе, которое, впрочем, он ей отдавать не собирался:

Всевышний произнес свой приговор,
Его ничто не переменит;
Меж нами руку смерти он простер
И беспристрастно всё оценит.
Он знает, и ему лишь можно знать,
Как нежно, пламенно любил я,
Как безответно всё, что мог отдать.
Тебе на жертву приносил я.
Во зло употребила ты права,
Приобретенные над мною,

И мне, польстив любовию сперва,
Ты изменила — Бог с тобою!
О нет! я б не решился проклянуть!..

Перед ним лежала тетрадь с рукописью «Демона», написанного в прошлом году. Первую строфу он оставил без изменений. Во второй вместо «В изгнанье жизнь его текла» написал: «Уныло жизнь его текла...» Вместо «Как жизнь развалин...» поставил: «В пустыне мира...» Но «Демона» ему пришлось отложить на два-три дня. Некий странный сюжет вдруг появился в голове Лермонтова и потребовал немедленного воплощения... Ему вдруг представилось, что историю любви Демона можно сблизить с его собственной историей. Только теперь он понял, что его представление *о ней* ничуть не совпадало с тем, что она есть. Он всю глубину души своей посвящал ей, а она словно не замечала этого. Он полюбил ее навек, а она по слову маменьки спокойно идет замуж... Что, если вот в такие обстоятельства поместить Демона? Ну, пусть не именно Демона, а другого падшего ангела... Может быть, самого вестника смерти, Азраила.

Азраил сидит на кургане. «Издохший конь лежит близ кургана, и вороны летают над ним. Всё дико...». Он ждет земную Деву, в которую влюблен. Свое бессмертие он считает страшным наказанием. Он завидует людям с их мимолетной жизнью... Мечтает:

Она придет сюда, я обниму
Красавицу и грудь к груди прижму,
У сердца сердце будет горячей;
Уста к устам чем ближе, тем сильней
Немая речь любви. Я расскажу
Ей всё и мир и вечность покажу;
Она слезу уронит надо мной,
Смягчит творца молитвой молодой,
Поймет меня, поймет мои мечты
И скажет: как велик, как жалок ты.
Сей речи звук мне будет жизни звук
И этот час последний долгих мук...

(В «Юлии...»: «...чтобы покончить с жизнью и с долгими своими муками...») И вот Дева приходит. Она любит — по-своему — Азраила, но не знает, кто он. Просит его рассказать о себе. Услышанному она не поверила, оно ее только испугало. Он рассказал ей, что жил среди ангелов, но в отличие от них не славил Бога, а «искал чего, быть может, нет», то есть:

Творенье, сходное со мной
Хотя бы мукою одной.

Такого творения не находилось... Он наконец начал роптать. Тогда Бог его покарал:

И паказание в ответ
Упало на главу мою.
О, не скажу какое, нет!
Твою беспечность не убью...

У Азраила вид страдальца. Он похож на Странного человека, то есть на Арбенина:

Взгляни на бледное чело,
Приметь морщин печальный ряд,
Неровный ход моих речей,
Мой горький смех, мой дикий взгляд...

Азраил молит Деву «поверить» ему; говорит, что никто не мог бы ее любить «так пламенно», как он. Дева плачет. Он понимает эти слезы так, как ему хочется: «Я любим...» Но дальше высокая трагедия терпит катастрофу: натыкается на комедию... Поэма кончается почти тем же, чем последнее послание к Наташе. Там:

Чем заслужил я, чтоб твоих очей
Затмился свежий блеск слезами?
Ко смеху приучать себя нужней:
Ведь жизнь смеется же над нами!

Здесь, в «Азраиле»:

«*Дева:* Я пришла сюда, чтобы с тобой проститься, мой милый. Моя мать говорит, что покамест это должно, я иду замуж. Мой жених славный воин, его шлем блестит как жар, и меч его опаснее молнии.

Азраил: Вот женщина! она обнимает одного и отдает свое сердце другому!

Дева: Что сказал ты? О, не сердись!

Азраил: Я не сержусь, (горько) и за что сердиться?»

Азраил не стал бороться за сердце Девы, оно было чужое. Другое дело Демон. У него соперник не воин, а ангел. Тут трагедия остается трагедией.

Лермонтов заменял в «Демоне» слова и строки, вычеркивал большие куски и на полях тетради писал новые... Перемен оказалось много. Было сделано несколько набросков посвящения. Не понравилось ему то, что вышло в первом (о душе своей, которая после его смерти осуждена, «быть может», на «жизнь безотрадную» на земле):

Тогда я буду всё с тобою
И берегись мне изменить...

Во втором наброске он решительно сближает Демона с собой:

Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворен;
Но для чего живу страдая,
Про это больше знает Он.

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;

Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.

Затем он выбрал два эпиграфа из «Каина» Байрона на английском языке. Второй зачеркнул («*Каин:* Вы счастливы? *Люцифер:* Мы могущественны. *Каин:* Вы счастливы? *Люцифер:* Нет, а ты?»).

Горы и море... В прошлогоднем варианте это была Испания. Теперь же, может быть, смутно думая о Кавказе, он убирает из поэмы испанские приметы. Уже не называет лютню монахини «испанской». Раньше был упомянут услышанный Демоном «голос» вместе со «звуком лютни». Теперь она: «песню гор играя пела...». Романтическая Испания герцога Лермы понемногу отступала.

Усиливался мотив безнадежности судьбы Демона, бесплодности его попыток «воскреснуть», вырваться из мира зла:

...Так, если мчится
По небу летнему порой
Отрывок тучи громовой,
И луч случайно отразится
На сумрачных краях, она
Тот блеск мгновений презирает
И путь неверный продолжает
Хладна, как прежде, и темна.

...Но впрочем он перемениться
Не мог бы: это был лишь сон.
И рано ль, поздно ль, пробудиться
Навеки должен был бы он.
Успело зло укорениться
В его душе с давнишних дней:
Добро не ужилось бы в ней...

Теперь Демон не только видит ангела в келье монахини, но и слышит ее песню — признание в любви к этому ангелу... В первом варианте песни она поет:

Нежней меня его любить
Не станет женщина другая;
Но должен мне Творец простить;
Любовь к нему не может быть
Преступна, как любовь земная.

Это Лермонтов переписал по-другому:

Тебя лишь любила, Творец,
Я поныне с младенческих дней,
Но видит душа наконец,
Что другое готовилось ей.
Виновна я быть не должна:
Я горю не любовью земной;
Чиста, как мой ангел, она,
Мысль об нем неразлучна с тобой!

Вспомнив свое стихотворение «Мой демон», где этот дух носился «меж темных облаков» и любил «бури роковые», Лермонтов разворачивает в поэме бурно-романтическую картину:

И часто, подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Он дико мчится в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное — забыть!

Не спастись, не забыть... В этой «борьбе» только сильнее все вспыхивает. Да и не хотел бы Лермонтов победить «стихию мятежную». Она зеркало его души. И у Демона безнадежность — чувство сильное, не отнимающее у него воли.

Многие вечера Лермонтов проводил на бельведере своего флигеля, глядя, как темнеют вечерние дали. Здесь свободно гулял ветер и близко пролетали птицы. Тут легко было вообразить себе Демона, летящего в синеве или среди туч. Вспоминались детские мечты о небе, желание увидеть оттуда землю. С детства он часто летал во сне. Теперь он стал думать: не предвестие ли это будущей участи его души? Летать над землей и, может быть, так долго, что на ее глазах развалятся родные стены, уйдут многие поколения людей. Кто знает, может быть, и душа Томаса Лермонта томится в земной неволе. Зато

здесь пути ее свободны! Она может невидимо пролетать и над этими лесами.

Лермонтов смотрел на садящееся солнце. Запад, запад!.. Где-то там, далеко, развалины замка Эрлстоун... Душа его вдруг страстно устремилась туда, вон из родных, но сделавшихся в этот миг чуждыми мест:

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах
Их забвенный покоится прах...

«Лишь свободу» — и больше никого и ничего... (Зачин стихотворению дала новогреческая песня в переводе Гнедича: «Зачем я не птица! взлетел бы, взвился бы высоко!..») «Но тщетны мечты», законы судьбы «строги»... «Нездешней» душе «последнего потомка отважных бойцов» предстоит угасание в безвестности, «средь чуждых снегов». И вот он уже «пришелец», как сказано в стихотворении, написанном 7 августа («В деревне на холме; у забора»):

Блистая пробегают облака
По голубому небу. Холм крутой
Осенним солнцем озарен. Река
Бежит внизу по камням с быстротой.
И на холме пришелец молодой,
Завернут в плащ, недвижимо сидит
Под старою березой. Он молчит...

Он, почти как у Руссо, «сын природы» и даже «любимец» ее — на нем «лежит ее печать». Любимец ее потому, что «не ропщет на судьбу свою», как остальной мир, как почти все люди, которые «к ничтожеству спешат» и которых природа «презирает»... Он жаждет любви, мечтает о том, чтоб его полюбили, но он был так горд, что об этом «просить он неба не желал». Он на воле, среди природы... Но, может быть, еще отчетливее его фигура рисуется за переплетом толстой решетки... в тюрьме монастырской... Он сидит на соломе. Молодое лицо, темные кудри... Его ждет смерть.

Это монах, испанец. Он с детства воспитывался здесь, но... «Кровавая его могила ждет...» — неужели это просто романтическая фантазия? «Могила без молитв и без

креста...» — ведь это могила самоубийцы или преступника... Сюжет выплывал из тюремной мглы так, как будто все яснее становилось Лермонтову воспоминание о чем-то давнем. Юноша нарушил монастырский обет. У него была возлюбленная, тоже монахиня, тоже юная, как и та, что в «Демоне», живущая в монастыре «с младенческих дней». Но полюбил ее не Демон... человек. И вот его судьба. Его схватили. Он не выдал ее. Молодой монах «знал людей» и поэтому «оправданья не искал». У него было такое сердце, какое мечтал иметь сам Лермонтов. Старцу, который пришел его исповедать, он говорит:

Пусть монастырский ваш закон
Рукою неба утвержден;
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой.

Ему страшны не смерть, не ад, а разлука с возлюбленной:

Я о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь;
Пусть вечно мучусь; не беда!
Ведь с ней не встречусь никогда!

И если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде, чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там, среди святых,
Погибший рай надежд моих?

Юлия, умирая, пишет своему возлюбленному: «Что мне за радость без тебя в вечном блаженстве?» Молодой монах считает себя чистым перед Богом. Он уверяет старого исповедника:

...если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я преступник иль злодей.

Не «Божий суд» определил ему казнь, а, как он говорит, «люди, люди»:

И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам.
И тень невинного, поверь,
Не отопрет им рая дверь.

В другом монастыре одна из «двенадцати дев», монахиня, услышала во время моления погребальный звон. Она все поняла. «Слабый крик» раздался в храме:

...Дважды из груди одной
Не вылетает звук такой!..
Любовь и жизнь он взял с собой.

Столько планов теснилось в его голове, что он не все их успевал записывать в тетрадь. Он хотел написать большую поэму о Кавказе, прибавить несколько сцен к «Странному человеку» (среди них такую, где «читают историю его детства, которая нечаянно попалась Белинскому»). Чтение Плутарха навело его на мысль написать трагедию «Марий» в пяти действиях. Это была бы история жестокого консула, авантюриста, удачливого военачальника, бывшего то у власти, то в изгнании... Лермонтов хотел начать пьесу с того времени, когда Марий, предавший Суллу, отправившегося в поход на Митридата, просчитался и бежал в Африку. Ему уже семьдесят лет. Казалось, все было кончено... Однако честолюбивый старик со своим сыном сумел собрать войско, штурмом взять Рим и устроить там жесточайший террор — пять суток шла резня, грабежи, город горел... Через полгода он умер. Спустя несколько лет одним из двух консулов стал сын его, тоже Марий. «Сластолюбивый сын его тиранствует», — пишет Лермонтов, пораженный, очевидно, тем, что тирану всего двадцать лет, как Владимиру Арбенину, что молодой человек может так низко пасть... Этого молодого тирана ждал бесславный конец — войско его было разбито Суллой, а сам он покончил с собой. Труп его отца был выброшен из могилы в реку. «Сыну Мария, — пишет Лермонтов, — перед смертью в 5-м действии является тень его отца и повелевает умереть; ибо род их должен ими кончиться».

Затем Лермонтов написал план то ли поэмы в духе «Руслана и Людмилы», то ли «волшебной оперы» вроде «Ильи-богатыря» Крылова с разными приключениями и чудесами: «При дворе князя Владимира был один молодой витязь, варяг, прекрасный, умный, но честолюбивый и гордый», — начал он. Далее явились и «тень девы», умоляющей спасти ее от власти чародея, и колдун-царь Стамфул, и люди, превращенные в воронов, и призрак отца (как и в «Марии»), повелевающий своему сыну-язычнику креститься. Кончается все это трагически: «На другой день свадьбы она умерла...» Весь этот об-

ширный план Лермонтов перечеркнул. И снова поэма: «Написать поэму «Ангел смерти». Ангел смерти при смерти девы влетел в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков. — Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим». Еще замысел: «Написать длинную сатирическую поэму: приключения демона».

И вот он уже пишет «Посвящение», на этот раз единственному другу — Саше Верещагиной, которая больше не подшучивает над ним, а сочувствует ему до глубины души:

Тебе — тебе мой дар смиренный,
Мой труд печальный и простой,
Но пламенный, не вдохновенный
Воспоминаньем и — тобой!
Я дни мои влачу, тоскуя
В душе, всё прежнее храня...

«Печальный» труд он исправил на «безвестный», а последнюю строку переделал так: «И в сердце образ твой храня». Ведь Саша не только друг, она милая девушка... Он рассказал ей план этой поэмы об ангеле, утешителе умирающих людей, которых он жалел, — его поцелуй облегчал последние муки:

Но об одном тебя прошу я:
Будь ангел смерти для меня.
Явись мне в грозный час страданья,
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, в стране другой!..

Действие поэмы происходит на «златом Востоке», «отчизне соловья и розы» (и потом уточнено: «Под жарким небом Индостана»). Зораим и Ада полюбили друг друга. Он — «изгнанник, пришелец», гонимый «людьми и небом» юноша, но уже не «человек мрачный и кровожадный, начальник греков», как записано в плане. Он избегал людей, но «сам не был лучше их» и обольщался «счастьем ложным»... «Любил он ночь, свободу, горы...» Он оказался чем-то похожим на Алеко из «Цыган»... В беседах с Сашей уточнялись некоторые детали поэмы. Ада разбудила «мертвое сердце» изгнанника. Он ее полюбил. Однако их идиллическая жизнь в пещере длилась

недолго. Девушку сразила болезнь, она оказалась на грани смерти. Ангел Смерти, пролетавший мимо, был тронут отчаянием Зораима, — он оживил тело Ады «душою ангельской своей»... Он думал, что все счастье юноши в ней, в этой воскресшей девушке, но ошибся. Зораим больше не может «однообразно дни влачить», у него «душа в неволе». Он мечтает о «чаше славы» и убеждает Аду:

Я знаю: никогда любовь
Геройский меч не презирала,
Но если б даже ты желала...
Мой друг, я должен видеть кровь!
Верь: для меня ничто угрозы
Судьбы коварной и слепой...

(Последняя строка — из «Цыган» Пушкина.)

Зораим ринулся в битву и, совершив чудеса храбрости, погиб. Ада разыскала его на поле битвы среди трупов. Он еще был жив. Оказывается, честолюбие его имело свой исток:

Еще в стране моей родимой
Гадатель мудрый, всеми чтимый,
Мне предсказал, что час придет —
И громкий подвиг совершу я...

Как только Зораим умер, ангел Смерти покинул тело девы, освободился от «уз земных». Он оставался «все тот же», но чувство сострадания к людям он утратил — «простился с прежней добротой»:

Его неизбежимой встречи
Боится каждый с этих пор;
Как меч — его пронзает взор;
Его приветственные речи
Тревожат нас, как злой укор...

Это не падший ангел, как Азраил или Демон, но и не светлый, подобно тем, что окружают Сидящего на престоле. Пройдя сквозь земную, телесную оболочку, сделав это не по воле Бога, а по собственному произволению, он также в своем роде пал, утратив «ангельскую доброту», лишившись тем самым ангельского совершенства. Вместо добра он стал делать зло, — нести людям страдание... Начало его падению положил человек, Зораим, променявший любовь на злобу, то есть на войну... Его измена любви нарушила небесную гармонию и принесла несчастье всему человеческому роду.

Битва «двух грозных царей», описанная в «Ангеле Смерти» (где лилась «кровь рекой» и «на трупы трупы

упадали»), по окончании поэмы не ушла из головы Лермонтова, как бы прося другого, дальнейшего воплощения. Поначалу у него вертелась в сознании строчка из поэмы: «Как тени зна́мена блуждали...» Скоро она повернулась как бы другой стороной: «Блуждали зна́мена, как тени...» И следом возникла внушительная в своей жуткой простоте краткая строка: «Гора кровавых тел...» Битва зазвучала в новом ритме. Раздался гул пушек, треск барабанов... В глубине души начали воскресать воспоминания — прочитанное, рассказанное ему отставными солдатами в Тарханах, дедом Афанасием, братом бабушки, артиллеристом-гвардейцем... 26 августа он вдруг вспомнил, что это день Бородинской битвы. Ему стало ясно, чьи это слышатся барабаны и пушки... Наполеон и Кутузов...

Это было «Поле Бородина» (название пришло от «Поля Ватерлоо» Вальтера Скотта). Лермонтов писал его так, словно сам был участником битвы, русским воином, творящим в ночь перед встречей с врагом «молитву родины своей» и давшим «клятву верности» умереть под Москвой в ответ на призыв вождя... Это был бой за святыню, бой — как суд Божий... Солдат был настроен возвышенно: «Перекрестился я...», «В душе сказав: помилуй Боже!..» Он вспоминал «Чесму, Рымник и Полтаву», громкие победы, покрывшие славой русское оружие, но они не шли в сравнение с теперешней битвой, она — «громче гремит»:

Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.

Вот битва, в которую не задумаешься бросить свою жизнь, каких бы ожиданий она ни была исполнена. «Пуля смерти» миновала воина. Он пережил пожар Москвы, пришел в Европу, в Париж. И через годы в облаке воспоминаний яркой звездой горело в его памяти Бородино — главное событие тех грозных лет. «Поле Бородина» для Лермонтова было как глоток свободного воздуха, освобождение от «страстей»... Пропели золотые трубы, и снова все стихло.

Всего несколько дней оставалось до отъезда из Середникова. Уже посыпались желтые листья. Холодно стало по ночам в парке... Ему казалось, что целый век не был он в Москве — столько здесь, в Середникове, пережито, написано всего за полтора месяца... Об университете он не думал. Он почувствовал, как стала в нем возрождаться

притихшая как будто любовь... Он думал о встрече с Наташей. Встреча эта неизбежна, страшна и желанна... В эти последние дни он написал «Песню» («Колокол стонет...») — о девушке, «насильно» запертой в монастыре, «где жизнь без надежды и ночи без сна»:

Так мое сердце
Грудь беспокоит
И бьется, бьется, бьется.
Велела,
Велела
Судьба мне любовь от него оторвать
И деву забыть, хоть тому не бывать...

А в стихотворении «Вечер» («Когда садится алый день...») он «с покорною душой» принимает судьбу без счастья и не ждет от небес «чуда», оно — «не для ничтожного глупца, /Которому твой взгляд/ Дороже будет до конца/ Небесных всех наград». Затем он пишет «Чашу жизни», в которой отозвалась «Элегия» барона Дельвига («Когда, душа, просилась ты...»). Середниковское лето 1831 года Лермонтов закончил элегией «Унылый колокола звон...», в которой отозвались все страдания, все чувства этого года. Здесь он «в грудь втеснить желал бы всю природу», здесь он «силится купить страданием своим/ И гордою победой над земным /Божественной души безбрежную свободу».

5

Так и получилось — все студенты были оставлены на прежних курсах. Лермонтов, приехавший из Середникова, явился в университет как бы впервые, первокурсником. Это было скучно. Для него каждый год казался вечностью, а тут... Вот этим мальчишкам все нипочем. Эти птенцы сторонились его, но с любопытством приглядывались. Один из них, Павел Вистенгоф, которого он не замечал, как других, считал, что у него «несходчивый характер» и что не только он, Вистенгоф, но и все прочие студенты его «не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания». «Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций, — продолжает Вистенгоф. — Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не

производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впирались в человека».

Лермонтов молчал и почти не двигался, но от него исходил какой-то тревожный ток, вопреки словам Вистенгофа о том, что студенты «не обращали на него никакого внимания», будоражащий всю аудиторию. «Так прошло около двух месяцев, — пишет Вистенгоф. — Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.

Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение».

Вистенгоф придумал самое простое.

«— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без некоторого волнения.

Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее, — ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.

Как будто ужаленный отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу, — она была английская».

Загадка не разрешилась. Бывает так, что один человек чувствует себя неловко среди публики, а тут вышло наоборот — всем было как-то неловко перед одним человеком... Тот же Вистенгоф пишет: «Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или

совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительная. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице!»

Почти все лекции были для Лермонтова неинтересны... Он почти перестал ходить в университет, и многие профессора вообще ни разу его не видели. Но так как экзаменов все же миновать было нельзя, то он почти по всем преподававшимся в университете наукам читал новейшие труды, выискивая их по книжным лавкам и выписывая из-за границы по газетным объявлениям.

Иногда друзьям удавалось вытащить его на прогулку — они искали приключений в разных уголках Москвы, и тут уже главенствовал не Лермонтов, а Андрей Закревский, студент третьего курса, бражник и бабник, но острого ума и не чуждый литературных интересов человек. Это был тип Буянова, гуляки из «Опасного соседа» Василия Пушкина. Постоянными «адъютантами» Закревского были два студента-словесника Валериан Гагарин и Дмитрий Тиличеев, первый «глуп и пьян» (как писал Лермонтов в шуточном послании к Закревскому), а второй — «шут, алырь, женолаз».

Закревский был знаком с Полежаевым, сосланным на Кавказ, и знал наизусть «Сашку». Однажды он привел Лермонтова в низенький домик на Девичьем поле — там жил друг Полежаева Лукьян Якубович, стихотворец, молодой человек лет двадцати пяти. Жил он бедно, перебиваясь уроками русского языка, но был весел и любил под бутылку шампанского с упоением декламировать Жуковского или Пушкина, а иногда и свои стихи. Он понравился Лермонтову, потому что был настоящий, открытый, добрый... Полежаев присылает ему свои стихи. — Якубович передает их своему бывшему наставнику Раичу (Якубович окончил Благородный пансион еще до поступления туда Лермонтова) для «Галатеи». Потом Лермонтов пришел к нему один и читал ему свои стихи. Якубович с восторгом кидался ему на шею, целовал его, уверял его, что он великий поэт. Убеждал обратиться со стихами в журналы, но скоро понял, что Лермонтов этого не хочет.

— Ну что ж, — говорил он, — ну что ж! Если не теперь, то все же придет такое время, когда ты вдруг потрясешь всех!

В холодной, почти не топленной комнате Якубовича было пусто. Столик, два или три стула, полка, на кото-

рой несколько книг... Шинель висит на гвозде. На столе бумаги, трубочный пепел, стаканы, и одна книга — «Борис Годунов» Пушкина. Он перечитал ее раз тридцать.

— Я без ума восхищен им, — восклицал Якубович. — Вот поэзия, вот жизнь, вот сила!

Оказалось, что он знаком и с самим Пушкиным. Знакомство состоялось за несколько дней до его женитьбы.

Добрый Якубович и в стихах своих был виден как успокоитель-философ. Лермонтову нравились эти искренние, хотя чуждые ему всеми своими мыслями стихи:

Не помни зла, не помни горя,
И в настоящем много бед,
Терпи у жизненного моря:
За тучей ведро будет вслед.
Мой друг, поверь мне: мир прекрасен,
Исполнен блага божий свет!..

И все же он спросил однажды Якубовича:

— Ты, когда пишешь это, помнишь ли о Полежаеве?

— Я всегда о нем помню, — отвечал он смущенно. — Я бы поменялся с ним судьбой, чтобы ему было лучше... И это ведь не для него стихи, а для тех, кто забывает о добре и благе.

— Ну, стало быть, для меня... — засмеялся Лермонтов.

Он постукивал замерзшими ногами друг о дружку — из щелей пола несло холодом. Над кроватью Якубовича, застланной шерстяным одеялом, свисал клок розовых обоев... «Да, мир действительно прекрасен, — думал Лермонтов, — если есть такие люди...». Они стали изредка видеться.

В эту осень было необычайно много балов в Москве. Лермонтов получил целую кучу приглашений. Каждый вторник он посещал Благородное собрание. (Здесь он иногда встречал Наташу Иванову. Но — увы! — все, что их некогда сближало, исчезло. Она больше не интересовалась его стихами (значит, думал он, раньше она притворялась, что интересуется ими), а давний, почти случайный и единственный поцелуй стал казаться ему сном. Он все реже подходил к ней. Его любовь и гнев, скрытые под маской равнодушия, выливались в стихи:

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила

Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила...

В стихах он как бы опережал события жизни. Наташа еще не вышла замуж, и он не знал, как обстоят у нее эти дела. Бывать у них в доме он перестал. Но он чувствовал, что очень скоро что-то произойдет. В стихотворении «Сентября 28» («Опять, опять я видел взор твой милый...») он с мучительной ревностью рисует любовную сцену между ней и ее воображаемым супругом («другой лобзает эти очи...») и старается при этом все переделать так, чтобы и он сам не был совсем обделен: «Он для тебя не создан»... Он не умеет ради нее презирать «мир презренный»... Он видит в ней только «красоты наружной совершенства», но не то таинственное, что доступно его, Лермонтова, взору... И вот вывод из этой фантазии:

Так! ты его не любишь... тайной властью
Прикована ты вновь
К душе печальной, незнакомой счастью,
Но нежной, как любовь.

Это было своего рода заклинание, отчаянная попытка колдовства с желанием выправить ход будущих событий. Кто-то могущественный должен же принять эту страстную, облеченную в стихи логику воображения. Встать на его сторону... Если надо — изменить для этого ход созвездий.

Кончился сентябрь. Жизнь, словно за попытку влиять на ее движение, ответила страшным ударом. Первые дни октября были не явью, а бредом. Лермонтову казалось, что он тяжко болен и видит все это во сне. Будто они с дядькой Андреем Ивановичем мчатся по мокрым, грязным дорогам в обдаваемой потоками дождя коляске, до костей пронизанные холодным ветром, в молчании, в тяжком оцепенении горя. Где-то останавливались. Где — он не помнит, потому что душа его продолжала нестись вперед, туда, в Кропотово.

Отец скончался!.. И вот дом, вот осиротевшие тетки, одетые в черное. Завешанные зеркала. Портрет матери, к которому он припал с судорожным рыданием, бедный сирота. А когда траурный поезд отправился в Шипово, повалил снег, еще свирепее рванул ветер... Отпевание в Шиповской церкви длилось недолго. И вот он стоит у свеженасыпанного холмика без шапки, ветер сваливает волосы на сухие глаза (нет слез!)... Ах, если бы слезы!..

Сон; ночной кошмар... Как часто жизнь бывает похожа на кошмар.

А это была правда.

Они соединились. А он, их сын, должен еще идти земными путями... Сейчас, в дни горя, отринул он от себя все, даже осенние поля, уже посыпанные снегом, эту «степь», которая родна душе, как свобода:

Но эта степь любви моей чужда;
Но этот снег, летучий, серебристый
И для страны порочной — слишком чистый,
Не веселит мне сердце никогда.
Его одеждой хладной, неизменной
Сокрыта от очей могильная гряда
И позабытый прах, но мне, но мне бесценный!

Смерть, совершившуюся только что, он уже вдвинул в большое космическое время. И сам он смотрит на могилу отца, на «степь», на «страну» из той вышины, откуда идет «слишком чистый» снег... В одном краю шумит лес... и в другом тоже... А людей словно и нет:

Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне — судьбина,
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться;
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться...

...А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое...

Не то разбойная песня, не то выговоренные русским складом мысли француза Руссо о братании с природой человека, уставшего от гнета цивилизации:

Мои братья в лесах —
Березы да сосны.
Несусь ли я на коне, —
Степь отвечает мне;
Брожу ли поздней порой, —
Небо светит мне луной;
Мои братья в летний день,
Призывая под тень,
Машут издали руками,
Кивают мне головами;
И вольность мне гнездо свила,
Как мир — необъятное!

Это печальная «вольность» Демона, одинокого отверженца, который как ветер летит куда хочет... Но как бы высоко он ни поднялся, как бы широко перед ним ни

раскинулись леса и степи, он не теряет из виду «могильной гряды», не отрывается душой от «бесценного праха» — в Тарханах... в Шипове.

«Метель шумит и снег валит...». Темно и глухо в мире, но ветер доносит «дальний звон», голос, от которого вздрагивает душа:

То звук могилы над землей...

А когда небо ясно, светит холодными звездами, то вовсе не хочется быть человеком, не хочется мечтать о счастье:

...О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье моё!

Чем ты несчастлив,
Скажут мне люди?
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо —
Звезды и небо! — а я человек!..

Несчастья человека — от него самого... Женщина, которую ты клеймил как изменницу, не виновата. Бог создал ее «ангелом казни», чтобы испытывать тебя:

Нет! чистый ангел не виновен в том,
Что есть пятно тоски в уме моем;
И с каждым годом шире то пятно;
И скоро всё поглотит...

Нет, не просто любовь среди пестроты бальной, не обыкновенная измена девушки и страданья молодого человека, — это сцепление сил мирозданья, таких, как Бог, Природа, Звезды, Вечность... Звук ее речей — «отголосок рая»; она — все, что на свете любит поэт («Все, что чуждо ей, то чуждо мне...»). Он во всем от нее зависит, но «волен — даже если раб страстей!». Он страшится того, что «счастье» может сбыться:

Быть может, я б его стал презирать;
И увидал бы, что ни слёз, ни мук
Не стоит счастье, ложное, как звук.

Может быть, и сама любовь — поиски рая небесного, путей в него... И он прислушивается к «голосу могилы» («То звук могилы над землей...»):

О мой отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.

Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

Для того чтобы человек верил в «полное блаженство» рая, Бог вложил в его душу «неисполнимые желанья» — стремление к совершенству, к счастью, дал ему надежду, которая для человека — «бог грядущих дней»:

Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

Вот что скрывается за любовью земной. В том «месте» исчезнет «пятно тоски», сатанинская отметина, мучающая человека, навлекающая на него беды, доводящая душу до ненависти, проклятий, нелюбви ко всему родному, — и Сатана, глядишь, уже готов заместить Бога в душе этого человека... Путь туда — к любви — для человека лежит через смерть, через могилу:

...я родину люблю
И больше многих: средь ее полей
Есть место, где я горесть начал знать;
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшися с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.

Зима, снег валит, гудят московские колокола... А там, в Шипове, одинокий колокол говорит со снежной бурей, как пророк в пустыне:

...всегда один,
Высокой башни мрачный властелин,
Он возвещает миру всё, но сам —
Сам чужд всему, земле и небесам.

Чужд как поэт... Ангел принес его душу с неба («По небу полуночи ангел летел...»), заронив в нее искру божественного воспоминания:

...И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Лермонтову показалось, что со смертью отца в нем стала угасать любовь к Наташе. Как будто уходила в прошлое вторая жизнь — вторая любовь, соединяясь в одно прекрасное, но горькое воспоминание (все горькое — для него; все счастливое — для других: «О, не скрывай! ты плакала об нем...»). Ее любовь кончилась, или ее не было. А он не может не любить. Нелюбовь для него — совершенное опустошение... И он уверяет себя почти с отчаянием: «Люблю! люблю!..» А если и на небесах нет любви?

О, если так, то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере я люблю!

«Чувство каллы» словно сторожит его, чтобы напомнить о себе. Ах, ты любишь! Но вот уходит твоя любовь, а это значит, что не вся твоя душа — любовь (как бы нужно)... Истощится стихия любви, уйдут и любовь к отчизне, и любовь к отцу, всякая любовь уйдет... Ну вот любил ли ты отца своего? Мало, мало любил...

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный Творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!

«Огонь божественный» — любовь... Они «не нашли вражды», а нашли ли любовь? Унес ли отец с собой любовь к нему в «вечность роковую»? «Ужель теперь совсем меня не любишь ты?» Неужели нет любви бесконечной?.. Стоит ли тогда любить — на время?.. При такой мысли будущее делается пустым, — «ни мук, ни радостей» в нем, только «конец — ожиданный конец»...

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,

Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом, —
В ней соку нет, хоть зелена, —
Дочь смерти — смерть ей суждена!

И, наконец, из глубины души — усталый вздох:

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я...

Пойти на войну! —

Пусть паду, как ратник, в бранном поле.
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя.
Юных лет святые обещанья
Прекратит судьба на месте том,
Где без дум, без вопля, без роптанья
Я усну давно желанным сном...

Но, хотя душа этого жаждет, желание это пока неосуществимо. И жизнь не закончена. Еще и еще раз оплакивает он свою любовь, которая его «как все земное обманула». Ему больно думать о «былом», которое «вьюгой зла занесено, /Как снегом крест в степи забытый...». Ему хочется еще раз испытать судьбу. Ему хочется полюбить ту, которая мелькнула «в веселом вихре бала», но это тщетная попытка... «Черты другие, другая тень («Лицо бесцветное и взоры ледяные!..») пролетела в его воображении... Черный силуэт этой тени («печальный цвет...») висит у него на груди, как «тень блаженства»... Надвигалась тяжкая борьба с самим собой. На победу надежд было мало:

Не смейся, друг, над жертвою страстей,
Венец терновый я сужден влачить;
Не быть ей вечно у груди моей,
И что ж, я не могу другой любить...

«Взор ледя́ный» ее он встречает «тем же», но это стоит ему многих сил.

А видел он в «вихре бала» Вареньку Лопухину, которую знал еще девочкой. Она двоюродная сестра Саши Верещагиной и Аркашки Столыпина. В последние год или два ее не было в Москве, и он не вспоминал ее, словно забыл, что у Алексея Лопухина и его старшей сестры Марии есть еще сестра. Варенька была увезена родителями в их тульское имение, и вот только теперь, в начале ноября, вернулась. Она не была так красива, как Наташа,

но во всем ее облике (первое, что хотелось сказать — «ангельском») было столько таинственной прелести, что ее нельзя было не заметить в толпе.

Лермонтов стал чаще бывать у Алексея Лопухина, чтобы видеть ее, — они жили рядом. Все ему стало дорого в этом доме, исполнившемся для него надежд, — и недалекий, но добрый Алексей, и старшая его сестра Мария, которую все звали Мери, и камердинер Алексея — молодой «арап» (или эфиоп) в красном тюрбане и расшитой золотом куртке без рукавов, Ашиль, с которым забавно было поболтать... Мери, очень умная, как и ее брат, добрая, была немного горбата и некрасива, отчего и не вышла замуж (ей было почти тридцать лет). Лермонтов нашел в ней настоящее понимание, они сдружились. Когда он приходил, Мери вызывала его на разговор, и он отшучивался, не прибегая к светской болтовне. А Варенька по большей части молчала, прислушиваясь к беседе. Лермонтов встречался с ней глазами.

Любовь?.. Лермонтов поглядывал на нее, привыкал к ней, — она как бы преображалась, становилась красивой, даже прекрасной... Белокурые волосы, продолговатое лицо, прямой нос, задумчивые черные глаза, родинка над бровью... В ней не было никакого кокетства, но были удивительная природная грация, мягкость и, если сказать словом Жуковского, «тишина» движений... Лермонтов смотрел на нее, и в нем, словно от какого-то кошмарного сна, просыпалась душа. Это была радость, как увидеть, проснувшись после грозовой ночи, голубое небо. Но странная это была для Лермонтова радость — в ней цепко сидело отчаяние, не дающее свободно вздохнуть. Случилось то, что он очертил год назад в пророческих для себя стихах:

Беден, кто судьбы в ненастье
Все надежды испытав,
Наконец находит счастье,
Чувство счастья потеряв.

Он смотрел на Вареньку, как на утраченную еще до встречи свою единственную и настоящую любовь. Встречи с ней он называл своим «счастьем». Страшась надеяться на будущее, он трепетал от одной мысли, что это счастье может как-нибудь замутиться... Вот ведь уж тут как тут ее маменька, похожая решительно на всех московских маменек, — у нее одна забота: выдать дочку замуж, не прозевать жениха. Ну, Лермонтов, конечно же, не жених... Мальчик. Неизбежность, какая-то фатальность такого по-

ложения страшно его удручала. А однажды, когда маменька, по его догадкам, зашла слишком далеко, Лермонтов упал духом и перестал появляться у Лопухиных. Вскоре он встретил Вареньку у Бахметевых — с первого взгляда она поняла, что с ним. Двух-трех слов хватило, чтобы его успокоить. Родительские проекты пока еще не имели над ней власти. Пока... Да, она действительно несла мир его душе.

Но мир был не для него!

4 декабря (Варварин день) праздновались ее именины. У Лопухиных было многолюдно. Вареньке было весело. Она, как никогда, много танцевала. Лермонтову и минуты не удалось побыть с ней наедине. А черт уже тут — стал нагонять Лермонтову в душу сомнения, мрачные и неясные предчувствия... Ничего не случилось, а ему стало так тяжело и горько, что он, не дождавшись общего разъезда гостей, ушел домой... В тетради, которая лежала раскрытой, он записал: «Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страданья?» Но если бы *она* смогла проникнуть в его душу, — ее охватил бы ужас... Там шла борьба. Он отчаянно отталкивал от себя измучивший его образ с «леде́ными» глазами, ненавидел его и не мог выбросить из сердца... Он писал стихи, подобные заклинаниям, пытаясь отправить в прошлое дотлевающую любовь:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он;
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть его не мог,
Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё бог!

Он любил ночную тишину своей комнаты. Ряды своих книг... Листы голландской бумаги, картоны, небольшой мольберт, краски... Любил скрипку, на которой редко играл, а ночью и вовсе было нельзя (бабушка спит, и ее сон чуток). В одну из таких ночей в комнате, уже изрядно выстывшей, он перечитал «Странного человека», недавно пополнившегося еще несколькими сценами. Итак, он закончен... Арбенин погиб не на войне. Подвига не совершил. Он всего-навсего хотел жить по правде... И так страстно захотелось Лермонтову вырваться из этого убийственно-мирного быта в бурю сражений и подвигов... Написать, например, поэму о Кавказе. А может быть, патриотическую трагедию вроде «Пожарского» Крюковского или «Дмитрия Донского» Озерова.

Он вспомнил, что в одной из прошлогодних тетрадей записана у него песня, слышанная еще в Тарханах: «Что в поле за пыль пылит...», о том, как мать и дочь встретились в татарском плену. Ее могут петь в поэме или драме... Герой — древнерусский витязь, который хочет спасти отчизну от татар. Это ему не удастся, но подвиг будет совершен.

Начал Лермонтов с монолога:

Три ночи я провел без сна — в тоске,
В молитве, на коленях — степь и небо
Мне были храмом, алтарем курган;
И если б кости, скрытые под ним,
Пробуждены могли быть человеком,
То обожженные моей слезой,
Проникнувшей сквозь землю, мертвецы
Вскочили б, загремев одеждой бранной!

(Это «свинцовая» слеза Демона.)

«Кровь собратий» звала к мщению («Кровь стариков, растоптанных детей...»), приближала для витязя «час славы иль стыда»... «Природа» с ним заодно — она его «в свои объятья приняла», тогда, когда он лишился родного дома. Здесь, на кургане, понял он, что нужно делать:

...потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу.

После этого он набросал небольшой план:

«Имя героя Мстислав, — черный прозвание от его задумчивости, — его сестра — Ольга.

Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя Россия...»

Как в «Последнем сыне вольности» Мстислав с воинами должен прокрасться в татарский (там — варяжский) стан; его постигнет неудача. Может быть, ему как-то помешает сестра Ольга, которая любит татарского мурзу (есть что-то похожее в «Вадиме Новгородском» Княжнина). Нужно еще обдумать все это. Мстислав тоже «странный человек». Всех удивляют его мрачность, молчаливость; никто не знает, о чем он думает. А он «вопрошал природу». В зимнюю метель, в лесу он «сладость пил с ее волшебных уст». «Дивился» бесконечному простору неба, «завидуя» самому Богу. Это русская «разбойная» натура,

у которой братья — «березы да сосны», а мать — «степь широкая» (или «злая кручина»)... Мстислав не князь, скорее — простой воин, который среди других выделяется только своей силой и храбростью. Дом его — «избушка», где живет его семья, — мать, юная жена, ребенок. Жена, «славянка юная», ждет его, качая люльку и напевая песню об отце, который встал «в ряду бойцов против татар». Тут происходит событие, которое могло бы стать концом поэмы о Мстиславе: вдруг в избушку входит воин, весь в крови, в «избитых» латах, он говорит, что «орда взяла, и наши пали».

И он упал — и умирает
Кровавой смертию бойца.
Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца:
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди!..»

Этот стихотворный рассказ о «славянке юной» Лермонтов внес в тетрадь под названием «Баллада». Он все-таки решил писать трагедию, а баллада могла бы пригодиться для поэмы. В пьесе же, думалось ему, лучше поместить народную песню о «злых татаровьях», и чтобы ее пела не жена Мстислава (он еще молод и не должен быть женат), а крестьянка в деревне.

В то же время он продолжал мечтать о Кавказе. Он жил в его душе как страна его детства, страна первых потрясений, пробудивших в нем поэта. Горы в снежных шапках. Гадалка... Стихи матери и ее песня. Голос ашуга. Он бледнел от волнения, вспоминая это... И там, на Кавказе, вольный сын природы, «странный человек», может совершать подвиги ради своей родины, — такой же, как Мстислав, молчаливый, сдержанный, но со страстною душой витязь, наездник. И вдруг возникло — вспомнилось — имя: Измаил-Бей... Тот черкес, который стал русским офицером (о нем много рассказывал Павел Петрович Шан-Гирей), получил европейское образование, храбро сражался под началом Суворова. Думы о родине не оставляли его, и наконец он поднял соотечественников на борьбу с русскими, потерпел поражение и погиб. Там должно быть много всего и, конечно, любовь. Этот замысел уже почти вытеснил все другие, но тут напомнил о себе университет: меньше недели оставалось до предрождественских «репетиций». Идти было необходимо. Лермонтов засел за книги.

Павел Вистенгоф вспоминал, что вышло у Лермонтова

из этой попытки: «Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие, и согласно ответам ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.

Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику».

Как-то не задался Лермонтову университет... Повздоривши с профессорами, раздражавшими его своими требованиями знать наизусть их тощие тетрадки, он вернулся к Измаил-Бею.

Новый год он собирался встретить в Благородном собрании. Готовился бал-маскарад, и нужно было придумать себе костюм. Лермонтов решил явиться туда астрологом-предсказателем в остроконечном колпаке и черном плаще, усеянном золотыми звездами. Вместо гадательной книги он сделал большую папку и вложил туда листы с иероглифами, срисованными с чайного ящика (Аким Шан-Гирей помогал ему вырезать их из черной бумаги и наклеивать). Под каждым иероглифом он поместил стихи, нарочно для этого написанные. Их оказалось около двух десятков — это были небольшие (по две, четыре, чаще по восемь строк) мадригалы, в основном дружески-иронические, предназначенные разным знакомым. Но замысел у Лермонтова при этом был самый серьезный. Он надеялся встретить там Наташу Иванову и Додо Ростопчину. Для первой он сочинил почти эпиграмму, на которую она не могла бы не обидеться. Для второй — самое длинное стихотворение в гадательной книге — шестнадцать строк, — мадригал без всякой иронии (и совершенно искренний).

Додо он писал:

Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить...

Далее он сравнивает ее со «свободным парусом челнока», называет «мигом отрадным» в печальный день... Словом, много хорошего сказал он ей в этих стихах. И какая резкая противоположность к этому стихи «Н. Ф. И.»:

Дай Бог, чтоб вечно вы не знали,
Что значат толки дураков,
И чтоб вам не было печали
От шпор, мундира и усов;
Дай Бог, чтоб вас не огорчали
Соперниц ложные красы,
Чтобы у ног вы увидали
Мундир, и шпоры, и усы!

Это так все и было прочитано в кружке молодежи под одобрительный смех и хлопки, на маскараде... Это был конец всяких отношений с Наташей (так он думал). Но, вернувшись под утро домой, он понял, что все далеко не так просто, что Варенька еще не вытеснила из его души былого... Наташа могла бы быть вполне отомщена, если бы прочитала то, что Лермонтов написал после маскарада:

Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел.

Мгновенное пренебреженье
Ее могущества опять
Мне доказало, что влеченье
Души нельзя нам побеждать;
Что цепь моя несокрушима...

Он ошибся: бросился в битву без щита...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

В январе и феврале «Московский телеграф» (он выходил раз в две недели) печатал повесть Марлинского «Аммалат-бек», и Лермонтов нетерпеливо разрезал полученные книжки в фиолетовых обертках, чтобы сразу читать очередной кусок. Как это счастливо пришлось к его мыслям! Аммалат-бек далек от Измаил-Бея, но — и это вовсе не противоречие — в них многое родственно. «Обрусевший» Аммалат, как и Измаил (обрусевший гораздо более), возвращается в прежнее состояние. Они оба знатного рода и удальцы, каких и на Кавказе немного. Оба клятвопреступники, но Измаил целиком из мести за родной аул, сожженный русскими, а Аммалат — будучи завлеченным в сети клеветы. Измаил — кабардинец из-под Бештау, князь; Аммалат — «татарин» из Тарков, наследник титула шамхала. Его вотчина в горах, в виду Каспия, между Дербентом и Баку... Оба героя действительно существовали.

«Аммалат-бек» написан несколько цветисто, но это можно ему простить за его истинно кавказский дух. Здесь царствуют горы — горы в ненастье и ведро, скалистые и покрытые лесами, снегом, пронизанные грохотом рек. Марлинский увлечен Кавказом и не скупится на картины. Он описывает Терек по всему его течению от Дарьяльского ущелья до Каспия; сакли, одежду жителей, их обычаи, оружие и коней... Конные состязания, разбойные набеги за Терек, на русскую сторону, битвы... Блеск русских штыков во мраке леса и на крутых склонах гор... Рев пушек, сыплющих картечью... Сам Ермолов появляется в повести, и эти страницы здесь из лучших. К месту и не к месту Марлинский употребляет в повести «татарские» слова, щеголяет целыми фразами, и в этом есть своя прелесть. И над всем — над страстями, над кровью — высятся покрытые льдом и снегом сверкающие горные

вершины. И уж смотришь на красивости слога снисходительнее, — бог с ними! — ведь автор безумно любит Кавказ! Многие места, например, описание Дарьяльского ущелья и Терека, Лермонтов перечитывал много раз.

Обдумывая поэму, он, как всегда, писал стихи. Ему вспоминались ковыльные равнины Пятигорья, по которым мчались всадники. Случалось и ему тогда вместе с Капэ проскакать, хотя и не столь лихо, как казаки или горцы, по каменистой дороге близ Подкумка. Он вспоминал, и прошлое преображалось, принимало более совершенный вид. Вот он описывает ночь в краю «синих гор» и себя так, как хотел бы видеть себя в том прошедшем:

Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне,
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня
И гриву и хребет коня
Сребристым блеском осыпал...

Следом он написал «Прощание», взяв за основу «Прощание аравитянки» Гюго из его сборника стихотворений «Ориенталии». Путник, «лезгинец молодой», прогостив два дня в чужой сакле, уезжает, — полюбившая его девушка просит его остаться:

Взгляни: вокруг синеют цепи гор,
Как великаны, грозною толпой;
Лучи зари с кустами — их убор:
Мы вольны и добры; — зачем твой взор
Летит к стране другой?

Но юноша связан «кровавой клятвой» — месть врагам для него священнее любви... За этим юношей — пока еще смутно — возникала фигура Измаил-Бея. Как бы символом души своей видел Лермонтов Кавказ — некой могучей опорой для нее... Молодой лезгинец в «Прощании» любит, но у него твердая воля и долг чести, — он не раб своих чувств. В таких образах искал Лермонтов спасения от стремящейся поработить его страсти. Кавказ посылал силу. Лермонтов сочинял некие молитвы к нему, не то стихами, не то ритмической прозой: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах

Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..»

Первую строфу первой части «Измаил-Бея» (Лермонтов задумал большую поэму, может быть, даже роман в стихах) он начал почти теми же словами:

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.
И долго мне мечталось с этих пор
Всё небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы...

По той неторопливости, с какой разворачиваются первые строфы (или, может быть, маленькие главы), чувствуется, что конец будет не скоро. «Старик чеченец» провожает «чрез горы» русского путника — а это и есть рассказчик, передающий читателю «повесть» старика, «рассказ, то буйный, то печальный», который «странен» может оказаться «на севере дальном»... Это эпос. И недаром Лермонтов придает старику величаво-эпические черты, как бы облик кавказского Гомера:

...под столетней, мшистою скалою
Сидел чечен однажды предо мною;
Как серая скала, седой старик,
Задумавшись, главой своей поник...
Быть может, он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

Вот где естественность, полное слияние с природой.

Только в четырнадцатой и пятнадцатой строфах завязывается действие. К этому времени читатель глубоко введен в кавказскую стихию. Он смотрел на облака над горной грядой, ему рассказали о «диких» племенах, которым «бог — свобода, их закон — война», о прошлом Пятигорья, где «аулы мирные цвели», и не знали еще «ни золота, ни русской стали!», о том, как «арбы тяжелые скрипели», увозя жителей, бежавших отсюда, покинувших «прах отцов своих»:

В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы...

Далее идет рассказ о всаднике, который неспешно проезжал «между Железной и Змеиной», ища родного аула. Это Измаил-Бей, черкес:

Но смуглый цвет почти исчез
С его ланит; снега и вьюга
И холод северных небес,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно всё, что он черкес! —

Однако это черкес, вкусивший «яда просвещенья», переживший на севере много разочарований, и поэтому он уже «старик для чувств и наслажденья», хотя и молод. У него «сердце мертвое» и «хладен блеск его очей».

Как в «Аммалат-беке», в поэме Лермонтова стремительное действие сменяется картинами природы (тоже в своем роде «стремительными» — мчатся потоки, летят тучи...), рассуждениями рассказчика. Измаил-Бей вернулся в родные горы, но он уже не может полностью слиться с ними. Его естественность нарушилась жизнью на севере. Кавказ встретил его завистью и враждой. Враждой самой страшной — братниной... Ему завидует брат Росламбек, князь, с появлением Измаил-Бея утративший популярность, ищущий случая расправиться с братом. Измаил-Бея ждет медная горская пуля, посланная новым Каином.

Порвав с Россией, Измаил-Бей, однако, не смог вовсе оторвать от нее своей души, — там осталась его любовь (на груди у него был белокурый локон в медальоне, а рядом Георгиевский крест, — обе реликвии он должен был таить от соплеменников). Горянка из стихотворения «Прощание» продолжает здесь свою жизнь — она не смирится с тем, что ее возлюбленный оставит ее здесь навсегда. Под именем Селима, в воинской одежде, она появится среди верных Измаилу наездников и станет для него чем-то вроде оруженосца. Подобная ситуация есть в «Ларе» Байрона: паж Калéд, — но там была тайна для всех, кроме Лары; здесь же обманут и Измаил.

Измаил-Бей — сильный человек, одиночество его, даже отверженность, словно еще сильнее закаляют его. В нем черты Демона («Мое дыханье радость губит...»). Ему повинуются. Словом, он — сверхчеловек:

Бывают люди: чувства — им страданья;
Причуда злой судьбы — их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами...
...Толпа дивится часто их уму,

Но чаще обвиняет, потому,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

Именно в это время у Лермонтова нет душевной крепости. Он устал. Он уже точно знает, кого ему надо было бы любить, но не может и не знает — сможет ли... Он давно понял, кого ему любить не нужно, но любит, хотя эта любовь стала похожей на ненависть раба, потерявшего надежду освободиться... Простые и печальные стихи («Солнце») он посвящает Лопухиной:

Как солнце зимнее прекрасно,
Когда, бродя меж серых туч,
На белые снега напрасно
Оно кидает слабый луч!..
Так точно, дева молодая,
Твой образ предо мной блестит;
Но взор твой, счастье обещая,
Мою ли душу оживит?

Чуть простыл, заболел — самая первая мысль о смерти: «Я счастлив! — тайный яд течет в моей крови...» Для мертвого мук любви нет. «Шести досток» хватит для того, чтобы достичь «надежного» покоя... «Время сердцу быть в покое», — пишет он, думая о том, что буря прошла, но нет — море еще «бурно плещет». Ему кажется, что в Наташе живут остатки любви к нему, но она давит, уничтожает их... Сумеет ли она совсем уничтожить их? Вдруг — нет? Это дает надежду... И он уже мечтает: они с ней — две части скалы, рассеченной «громами»... Но, наконец, душа его возмутилась, вспомнила о своей гордости и попыталась поднять бунт:

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам...

Она простила бы ему эпиграмму, тот насмешливый мадригал об усачах, но не могла перенести похвалы другой женщине — Додо, высказанной при всех.

Шел февраль. Лермонтов не появлялся в университете и перестал думать о будущем, словно его и не предвиде-

лось. Он посещал балы, но не мог веселиться на них... Ему приятнее было проводить вечера у Бахметевых или Лопухиных. Лучшие его друзья — старые девы: Софья Бахметева и Мария Лопухина. Им обеим по тридцать, но как они живы, умны, добры... Лермонтов с ними совершенно откровенен. За всякими разговорами, шутками, смехом быстро пролетает время. Спокойнее делается сердце.

Он отложил «Измаил-Бея» и снова начал переделывать «Демона», чувствуя, что Демон, плод собственной его фантазии, обретает какую-то свою, отдельную от него, жизнь и становится во многом для него загадочным. Это уже давно не простой дух зла. Это отвергнутая Богом, могучая и одинокая душа, хотя и мечтающая о «прощении» (как человек о счастье), но, если б оно последовало, может быть, и не принявшая бы его. И не только из гордости. А из любви к своей судьбе, такой, как она есть, из верности своему бытию. Ведь даже и человек может полюбить свои страдания... А Демон страдает уже многие века. Он как человек не защищен от ударов судьбы. Своего будущего он не знает. Любовь к земной женщине нахлынула на него внезапно, и оказалось, что сердце его не так крепко защищено от добра, как могло бы быть у адского духа. Этот удар был сокрушителен:

...Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится,
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится...

В первой главе появилось описание моря («О море, море! как прекрасны...»), по которому «несется гордая волна». Волны бросаются в битву «с суровым небом и землей; закат золотит их гривы. Они живут «без гроба и без колыбели, /Без мук, без счастия, без цели»... Этот кусок Лермонтов почему-то вычеркнул, едва написав. Во второй главе он заставил Демона, решившего «исторгнуть из груди» возникшую любовь, «замешаться» в толпу презираемых им людей, чтобы «убить в них веру в провиденье». Оказалось, что Демон еще и простодушен, — он думал, что люди во что-то верят:

Но до него, как и при нем,
Уж веры не было ни в ком.

Люди и без него — сами себя погубили.

Любовь его погибла так же внезапно, неожиданно для него, как и возникла. Ни в том, ни в другом случае, очевидно, не было его воли. И если начало ее было ознаменовано «нечеловеческой слезой», прожегшей камень, то конец — «ужасным криком» и «адскою волною» ярости... Собственно, история его души в этих рамках и заключается. Любил он не по своей воле. А разлюбив — тоже не по своей — стал делать свое «обычное» зло, уже по воле своей.

Думы о Демоне теперь уже всегда думы и о себе. Страшно делалось от невозможности понять самого себя, как будто несколько таинственных душ живут в тебе под одной телесной оболочкой.

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет...

Перечитывая поэмы Байрона, он подчеркнул в «Корсаре» несколько поразивших его строк — самые первые. Это начало песни пирата, который называет море своей родиной. Если человеку нет места на земле, то не обязательно он должен оказаться в могиле, — есть ведь еще и океан! Не успев как следует замыслить новую поэму, Лермонтов начал набрасывать для нее отдельные строфы и взял сюда отрывок о море, вычеркнутый только что из «Демона», — его место было тут. Стала получаться поэма о моряке. Еще одна исповедь:

В семье безвестной я родился
Под небом северной страны,
И рано, рано приучился
Смирять усилия волны!
О детстве говорить не стану.
Я подарён был океану,
Как лишний в мире...

Это тот же «естественный» человек Руссо, родной природе, но не нужный людям. «Не ведал счету» он своим друзьям, а они — волны моря, которых «разговор» он понимал, веря, что в каждой есть «душа». Он искренне счастлив «меж небом и волнами», закрепляя парус на мачте, поднимаясь выше к тучам. «Я все имел, что надо птице», — говорит он.

Было написано всего семь строф. После заголовка («Моряк») Лермонтов поставил «Отрывок», а в конце приписал слово «конец». И после этого снова принялся за «Измаил-Бея», которого окончил вчерне 10 мая, уже в Середникове. Перед отъездом большой компанией (Лопу-

хины, Бахметевы, Шан-Гиреи, Саша Верещагина) ездили ко всенощной в Симонов монастырь, где, выйдя из храма, перед закатом солнца, гуляли у знаменитого Лизина пруда, поднялись на стену, смотрели на Москву с площадки одной из башен. Потом прошлись по тенистому, благоухающему цветами кладбищу. Лермонтов не отходил от Вареньки. Во время езды сюда — всю дорогу — они говорили. На обратном пути, когда линейку сильно тряхнуло, он нечаянно коснулся губами ее пылающего уха. Какие пустяки... Но так вдруг взволновался, что долго не мог справиться с собой. Это его озадачило. Ему стало грустно. Он чувствовал — вот счастье, которое безнадежно опоздало!

Лермонтов писал в стихах к ней:

Мы случайно сведены судьбою,
Мы себя нашли один в другом,
И душа сдружилася с душою,
Хоть пути не кончить им вдвоем!

...Будь, о будь моими небесами,
Будь товарищ грозных бурь моих;
Пусть тогда гремят они меж нами,
Я рожден, чтобы не жить без них.

Он хотел бы научить ее видеть счастье в страданиях, в сострадании друг к другу, и не только на земле, но и после смерти... Там она станет «ангелом», он — «демоном»:

Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга всё счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне — вселенной!

Лермонтов затронул ее душу. Они обо многом беседовали, но открывалось ей не многое. А она хотела знать все, не только общие, хотя и сильные слова о душевных муках. Всего он не хотел ей рассказывать, так как в жизни — в ежедневных ее поворотах — не отразилась вся правда души. И даже наоборот — многое из того, что произошло, было лживо. Истинное существовало только в его душе и в его стихах.

Оставь напрасные заботы,
Не обнажай минувших дней:
В них не откроешь ничего ты,
За что б меня любить сильней!
Ты любишь — верю — и довольно;
Кого, — ты ведать не должна...

Она знала о его несчастной любви и, кажется, еще больше любила его за это несчастье. Но ей хотелось (женское любопытство?) знать, кто эта жестокая... Он отвечал ей:

Мой друг, напрасное старанье!
Скрывал ли я свои мечты?
Обыкновенный звук, названье,
Вот всё, чего не знаешь ты...

В Середникове было так хорошо — молодая листва, цветы, синее небо... А в июне приехала сюда Софья Александровна Бахметева, у которой был такой легкий характер, и сама она была такая легкая, что Лермонтов иногда брал при ней пушинку и дул — пушинка тихо взлетала, а он говорил: «Это вы, ваше Атмосфераторство!» Ему самому, увы, было нелегко — тяжелее некуда... Он по большей части сидел у себя в комнате и писал. Никогда, пожалуй, он не писал так быстро и так много, как в эту весну и в таком мрачном состоянии!

После «Измаил-Бея» он вернулся к Мстиславу Черному и составил подробный план пятиактной трагедии, которую сразу же хотел начать. Но тут пошли стихи... Он написал «Эпитафию», в которой вспоминал погребение отца, когда он стоял над могилой «недвижный, хладный и немой». Там, в небесах, — «увидимся ль мы снова?» — с отчаянием вопрошает он. И еще более отчаянно, но без упрека: «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал...».

Он думает о Байроне. Мур прочитан. Снова и снова перелистывая эту книгу, он видит все больше различий между собой и Байроном. Наконец это уяснилось окончательно:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит,
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!

...16 мая начались публичные испытания в университете, но Лермонтов не поехал в Москву. Его осаждали новые планы... Так, он сделал несколько набросков к

большой сатирической поэме о Москве, о похождениях «проказника молодого» (три отрывка октавами: «Она была прекрасна, как мечта...»; «Склонись ко мне, красавец молодой!..»; «Девятый час, уж тёмно; близ заставы...»). Начал роман в прозе, где решил под именем Арбенина описать себя, свою жизнь и любовь. Какие уж тут экзамены!

Но бабушка все-таки призвала его к ответу — спросила, что он думает делать. Лермонтов призадумался. Можно остаться на первом курсе на второй год, но, считая холерный, это будет уж не второй, а третий! Нет, это слишком... И как посмотрит на него вся эта компания юнцов, с почтением слушавшая его отповедь профессорам. И этот настырный Вистенгоф... Без сомнения, он вызубрил все, что угодно было профессорам, и теперь успешно перебирается на второй курс. Нет, нельзя оставаться. Опять те же Победоносцев, Гастев, Терновский, Кубарев, Щедритский etc. Нет... И тут его осенило:

— Бабушка! Поедем нынче в Петербург! Я попрошу свидетельство для перевода в тамошний университет.

Выслушав его доводы, бабушка согласилась. Она давно поняла, что в здешнем университете его дела плохи. В самом деле, переменить одну столицу на другую — может, и на пользу пойдет. А там много своих, больше, чем в Москве, да и Миша так сильно загорелся, не удержишь! Полететь готов.

У Лермонтова была еще мысль: уехать от Наташи Ивановой подальше; постараться забыть... А как же Лопухина? Лермонтов остановился перед зеркалом, с недоумением посмотрел на себя и развел руками. Никак! Можно письма писать, а потом и приехать... Время покажет — судьба ли это. Он подал прошение в университет. А тем временем, отложив начатый роман, засел за поэму «Литвинка».

Русский витязь Арсений, живущий на границе с Литвой в своем богатом замке, — сверхчеловек, наделенный силой рук и железной волей, презрением не только к людям, но и к небу. У него один закон — собственное желание... Однажды он привез прекрасную пленницу-литвинку, поселил ее в замке, а свою жену отправил в монастырь.

Он изменил ей! — Что святой обряд
Тому, кто ищет лишь земных наград?
Как путники небесны, облака,
Свободно сердце, и любовь легка...

Вот таким образом ищет он счастья. Литвинка его не любит. И тут вся его власть и вся его сила ни к чему не приводят. Он оказывается обманутым. Друзья, проникшие в замок, помогают пленнице бежать, а затем и он сам гибнет у нее на глазах. Арсений знал, что душа его безвозвратно погублена, и в последнюю минуту он пожалел «об одной земле»:

Свой ад и рай он здесь сумел сыскать.
Других не знал, и не хотел он знать!..

Такую судьбу в своем воображении Лермонтов также примерял к себе, пытаясь отыскать в таком ее повороте хоть часть истины. Может быть, и весь образ Арсения вырос из одной строфы написанного перед тем стихотворения:

...И все мечты отвергнув, снова
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.

«Ничтожный властелин», однако, хотел бы распорядиться и своей загробной судьбой. Он не желает вечно помнить своих земных страданий:

Тому ль пускаться в бесконечность,
Кого измучил краткий путь?
Меня раздавит эта вечность...

Но он уже понял, что для него, как для поэта, земные муки — «сокровища святые», «святое царство души», счастье, жизнь, а без них не было бы ничего! И он призывает их к себе, он уже не знает, сколько их от настоящей жизни, сколько от собственной души:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

Все жалели, что он уезжает. Очень опечалилась Варенька Лопухина. Мария Лопухина и Софья Бахметева пытались его отговорить. Наташа Иванова пригласила его зайти к ним проститься. Ему не хотелось, но, чтобы потом не жалеть об упущенном, он пришел. Посидел немного с сестрами — Наташей и Дашей — в гостиной, написал в альбом обеим по небольшому стихотворению, — оставил «след единственный печальный», и ушел. Долго не мог отделаться от чувства горькой досады — нет, все-таки не надо было принимать этой жалкой милости... Дома он написал другое послание к Наташе, которое ей не отдал: «Прости! — мы не встретимся боле...». Да и нельзя было его отдавать — он повернул здесь ее чувства по-своему, он вкладывал ей в душу то, что сам от нее мог принять. Равнодушия с ее стороны он признать не мог. Конечно, она «счастья не сыщет в другом»: конечно, она будет страдать, если, например, услышит о его гибели; конечно, «есть звуки», в которых, «как в гробе закрыто былое», и их только они — двое — могут понять... Ему даже стало казаться, что им *обоим* «трудно» далось прощание.

Он уже не мог отступить назад, но Москвы ему было очень жаль. Он простился с Середниковом (когда-то удастся побывать в этом таком родном для души месте?). Потом с Арбатом, Тверским бульваром. Как-то в солнечный день вошел в Кремль. Иван Великий сиял золотом купола. «Русский великан», — подумал Лермонтов. Вдоль Арсенала — французские пушки... Вот тут, на Ивановской площади, стоял, скрестив на груди руки, коротконогий плотный человек в треуголке. Он смотрел вверх, на шлем русского богатыря, отражавший зарево московского пожара... Человек был рассержен... Он поднял руку и что-то крикнул...

...Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

Страшны миру были оба
С гордым пасмурным челом;
Но в одном кипела злоба,
А презрение в другом,

Последнюю строфу Лермонтов зачеркнул.

Перед самым отъездом он заглянул к Якубовичу. Тот сообщил, что в Москве печатаются сразу две книги Полежаева — в одной стихи, в другой две кавказские поэмы: «Эрпели» и «Чир-Юрт». Лермонтов не сказал ему, что тоже пишет кавказскую поэму. Серьезного разговора не получалось, так как Лукьян был сильно навеселе. Он расхваливал «Эрпели», страшно воодушевился и прочитал наизусть несколько отрывков, но, на беду, как раз таких, которые не могли понравиться Лермонтову: Полежаев стремился развенчать романтические красоты Кавказа, для него горы — «уродство — больше ничего!»; он призывает перестать удивляться «Кавказа вздорным чудесам». Конечно, солдату нелегко карабкаться по скалам, но... Лермонтов ничего не сказал, стал мрачен. В остальное даже не вслушался.

Оказалось, что Якубович тоже едет в Петербург — там больше журналов, больше издается альманахов, а тут Полевой и Надеждин поглядывают свысока. Якубович не думал ни об Арбате, ни об Иване Великом. Он весь жил в стихах. И Петербург его интересовал только с этой — стихотворной — стороны. На просьбу прочесть стихи Лермонтов все-таки отозвался. Якубович слушал, слушал, а потом вскочил и принялся по обыкновению обнимать Лермонтова:

— Ты наш Байрон!.. Но, милый друг, твои стихи всегда мрачны... Я еще не слыхал от тебя других.

Лермонтов сделал нетерпеливое движение рукой, словно желая прервать его. Но Якубович не унимался:

— Нет, в самом деле! Хорошо, что ты едешь в Петербург... Поэту нынче нужно жить там... Европа поразвеет твою русскую хандру... Вот встретимся мы там, Мишель, загуляем! Но постой... без стихов этого не скажешь... сейчас...

Он отодвинул стаканы, взял клочок бумаги и начал писать, бормоча себе под нос. Что ж, и Лермонтову приходилось писать вот так, при других, — ничего удивительного. Лермонтов так задумался, что не сразу понял, что Якубович уже читает ему только что написанное. Начала он не разобрал, но потом вслушался и догадался, что это послание к нему:

...Стихи твои, как бурны тучи,
На человека мещут гром:
Они — то отгул злополучий,
То жизни быстрый перелом.

Товарищ! Жду иных я звуков:
В часы вакхических отрад
Пускай в семействе наших внуков
Об нашей удали твердят...

Так как это послание было очень некстати (хотя и от души написано), то Лермонтов, придя домой, совершенно забыл о нем. Осталась только легкая досада. А в комнате его было уже пусто — все вещи отправлены в Петербург, к Никите Васильевичу Арсеньеву. Наутро Лермонтов с бабушкой покидали дом на Малой Молчановке.

Он писал последние строки в этом доме, в котором всю ночь не умолкала возня дворовых, что-то прибиравших, выносивших, хлопавших дверьми...

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых...

2

«Ваше Атмосфераторство!
Милостивейшая государыня,
София, дочь Александрова!..
ваш раб всепокорнейший Михайло, сын Юрьев, бьет челом вам.

Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске: извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартере вонь, и перо скверное!..

Кажется довольно, чтоб истощить ангельское терпение, подобное моему...».

Так писал Лермонтов к Софье Александровне Бахметевой из Твери, по пути в Петербург. «Раб ваш M. Lerma» — поставил он подпись... В этой дороге он оказался как в пропасти — он покинул Москву и тут же пожалел об этом, а в Петербург ему очень не хотелось. Но карета ехала вперед. Медное... Торжок... Выдропуск... Вышний Волочек... Хотилово... Зимогорье... Яжелбицы... Наконец — Новгород, в котором остановились на целый день. Нельзя было не осмотреть кремля, не побывать в соборах, не постоять на берегу Волхова.

Приветствую тебя, воинственных славян
С восторгом я взирал на сумрачные стены,
Святая колыбель! пришлец из чуждых стран,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,

Который отзвонил ее уничтоженье
И столько гордых душ увлек в свое паденье!..
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?

И вот Петербург. Прямые улицы, много камня и мало зелени. Каналы... широкий разлив Невы у Биржи... шпиль приземистой крепости... В Коломне, где жил Никита Васильевич Арсеньев, попроще, победнее. Здесь, у Арсеньева, пожили дней с десять, — бабушка нашла удобную квартиру у Синего моста на Мойке, рядом со Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, неподалеку от Исаакиевского собора, и от Невского проспекта, и от Зимнего дворца. Окно комнаты Лермонтова выходит на Мойку. Не скоро эта комната приняла жилой вид, — дядька Соколов расставлял и раскладывал все как мог, а сам Лермонтов пока ни к чему, даже к книгам, не притрагивался. Душа его словно оцепенела.

Он вынужден был ежедневно ездить с бабушкой по родным — многих из них он увидал впервые. Побывали у Веры Николаевны Столыпиной на даче — там Лермонтов познакомился с ее сыновьями Николаем и Алексеем. У Александры Алексеевны Евреиновой, бабушкиной сестры, сын ее Павел служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Прасковья Николаевна Ахвердова, троюродная сестра матери Лермонтова, только второй год живет в Петербурге. Она много лет провела в Тифлисе. Была воспитательницей жены Грибоедова — теперь вдовы — Нины Александровны Чавчавадзе. От нее Лермонтов уехал с надеждой впоследствии расспросить ее о Грузии, Грибоедове, Ермолове... И еще во многих домах побывал он с бабушкой.

«Любезная Софья Александровна, — писал он в августе Бахметевой, — до самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах; ездил туда-сюда, к Вере Николаевне на дачу и проч., рассматривал город по частям и на лодке ездил в море — короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!..

Странная вещь! только месяц тому назад я писал:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело;
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман: —
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь.

Одна вещь меня беспокоит: я почти совсем лишился сна — Бог знает, надолго ли; — не скажу, чтоб от горести; были у меня и больше горести, а я спал крепко и хорошо; — нет, я не знаю; тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит».

Однажды он достал тетрадь с набросками своего романа и начал писать. В это время он с особенной охотой пишет письма Софье Бахметевой и Марии Лопухиной (но пока ни одной строки Варваре Александровне). Для этих писем он сочиняет стихи, иногда экспромтом, прямо набело, как, например, Бахметевой:

...Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот,
Как шиш торчит перед тобой;
...И наконец я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул;
Нет! как оно, я не был волен;
Болезнью жизни, скукой болен,
(Назло былым и новым дням)
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам.

«Назвать вам всех, у кого я бываю? — спрашивает он Лопухину. — *Я сам* — вот та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием; правда, по приезде я выезжал довольно часто к родным, с которыми должен был познакомиться, но в конце концов нашел, что лучший мой родственник — это я сам...

Пишу мало, читаю не больше; мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, чтобы извлечь из нее все, что способно обратиться в ненависть, — и в беспорядке излил все это на бумагу: читая его, вы бы пожалели меня!»

Он посылает Лопухиной два стихотворения, которые, как он ей пишет, «выразят вам мое душевное состояние лучше, чем я бы мог это сделать в прозе». Первое он написал предыдущей ночью, когда, сидя у окна, видел, как поднималась вода в Мойке (два пушечных выстрела известили горожан об угрозе наводнения). Светила луна...

А стихи получились, по видимости, мирно-меланхолические, но начиненные глубокой душевной мукой, понятной внимательному взгляду:

Для чего я не родился
Этой синею волной?..

Тогда бы он к «студеной груди» — «страдальцев прижимал»; «не страшился б муки ада», а главное:

Не искал бы я забвенья
В дальнем северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!

Ведь он бежал на север от... И не мог покончить с собой, так как в этом он, как всякий Божий человек, — не «волен».

Второе стихотворение — набросок, который он сразу же переделал. Это было «Что толку жить!.. Без приключений / И с приключеньями — тоска...». С горьким юмором пишет он, что «веселее умереть», чем всматриваться в людей и понимать их, находить «в мужчине глупого льстеца», а «в каждой женщине Иуду»... Мертвому лучше:

Когда ж стеснится уж кладбище.
То ваше узкое жилище
Разроют смелою рукой...
И гроб поставят к вам другой.
И молча ляжет с вами рядом
Девица нежная, одна,
Мила, покорна, хоть бледна;
Но ни дыханием, ни взглядом
Не возмутится ваш покой —
Что за блаженство, Боже мой!

В конце августа приехала из Москвы Анна Столыпина с матерью. К своему удивлению, Лермонтов встретил ее равнодушно. Он даже попытался всколыхнуть былые свои покаянные чувства, вспоминал о заветном дереве в Кропотове, но все это больше не связывалось с ней, — нет, не та это была Аннет, не милая девочка, а холодная, насмешливая светская девица... В Петербурге родные принялись искать для нее выгодную партию... Она рассказывала о московских знакомых и родне, что была перед отъездом у Лопухиных и видела в комнате Алексея голову испанца, «герцога Лермы», написанную Лермонтовым прямо на штукатурке стены. Лермонтов рассказал ей, как появилось это изображение. Он сидел однажды, поздно вечером, у Алексея — они решали вместе математичес-

кую задачу, но, так и не решив, уснули... Лермонтову приснился этот испанец, который и подсказал ему решение задачи. Проснувшись, он эту задачу действительно решил. И тут ему пришла в голову фантазия нарисовать этого человека, которого он окрестил герцогом Лермой, на стене... «M-ll Аннет сообщила мне, что еще не стерли со стены знаменитую голову! — писал Лермонтов Лопухиной 2 сентября. — Жалкое честолюбие! это меня обрадовало, да еще как! Что за глупая страсть оставлять везде следы своего пребывания!» Он пишет Лопухиной, что очень рад приезду Натальи Алексеевны и Аннет — они ведь приехали «из наших мест, ибо Москва моя родина и всегда ею останется. Там я *родился*, там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!»*

В этом письме он посылает стихотворение, которое «сочинил на берегу моря», это — «Белеет парус одинокой...» — раздумье о себе, о своей одинокости (как парус на безбрежном море), о грустной бесцельности жизни, когда ни в прошлом, ни в будущем (уходящем в вечность) нет «счастия», как нет и настоящих бурь, способных насытить (успокоить) душу мятежную... Путь через солнечную лазурь вод к небытию... «Прощайте же, прощайте, — продолжает он после стихотворения письмо, — я не совсем хорошо себя чувствую: счастливый сон, божественный сон испортил мне весь день... не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! оборотная сторона жизни, часто более приятная, нежели реальность... ибо я отнюдь не разделяю мнение тех, кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, ибо жизнь моя — я сам, тот, кто говорит с вами, — и кто через мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: Я! При этой мысли вселенная есть только комок грязи».

Ему кажется, что он никого не любит, — ушла первая любовь; от Наташи Ивановой этот переезд оторвал его совершенно... как будто внезапно стихла буря. И Варвару Александровну он вспоминает как давний счастливый сон... Но вот, неожиданно для себя, заканчивая письмо с «Парусом» и уже простившись и подписавшись Лермой, он вдруг прибавляет P. S: «Мне бы очень хотелось

задать вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадаете — хорошо, я буду рад; если нет — значит, задай я этот вопрос, вы все равно не сумели бы на него ответить. Это такого рода вопрос, какой, быть может, вам и в голову не приходит!» Мария Александровна ответила: «Поверьте мне, что я не потеряла способности угадывать ваши мысли, но что вы хотите, чтоб я вам сказала? Она здорова, по-видимому, довольно весела, вообще ее жизнь такая однообразная, что даже нечего о ней сказать, сегодня как вчера. Я думаю, что вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но с своей стороны я бы желала для нее немного разнообразия, потому что, что эта за жизнь для молодой особы, слоняющейся из одной комнаты в другую, к чему приведет ее такая жизнь? — сделается ничтожным созданием, вот и все. Ну что же? Угадала ли я вас?»

Лермонтов рассчитывал поступить в Петербургский университет на второй курс и, проучившись два года, выйти наконец на свободу и начать жизнь литератора. Однако, так как он не сдавал экзаменов в Москве за свой первый курс, ему предложили начать все снова. К тому же срок обучения в университете увеличился еще на год. Получалось, что учиться нужно было не два, а четыре года... От одной мысли об этом Лермонтов пришел в бешенство. Его планы рушились. Бабушка попыталась уговорить его все-таки пойти на первый курс, уверяя, что время пролетит незаметно и что надо же получить настоящее образование и начать какую-нибудь службу, как вот Святослав Раевский. Но Лермонтов буквально восстал против университета. Он уже выбросил из головы всякую мысль о нем. Елизавета Алексеевна, не зная, что делать, так расстроилась, что слегла в постель. Родственники забеспокоились. Они приезжали, охали вместе с бабушкой, приступали к Лермонтову с уговорами и даже упреками. Аннет Столыпина писала своей кузине Пашеньке Столыпиной в Москву, что у Лермонтова большие неприятности, которыми он довел бабушку до болезни. Положение создалось тяжелое, на первый взгляд безвыходное.

Однажды вместе с Натальей Алексеевной и Аннет пришел отставной гусарский офицер (он как раз собирался вернуться в полк) Алексей Григорьевич Столыпин, брат Аннет. Когда они сидели одни в комнате Лермонтова, Столыпин сказал:

— Я учился в Школе юнкеров... Подумайте, Мишель: два года, и вы офицер гвардейского полка! — хоть нашего, славного лейб-гвардии Гусарского. Поступить туда вам будет нетрудно. Не захотите служить — подадите в отставку. Вот мне двадцать семь, а я третий год в отставке. Вы сможете располагать собой. Из нашей родни многие учились в этой школе. В этом году будут поступать мой брат Михаил и наш с вами кузен Николай Юрьев, в следующем — сын Веры Николаевны Алексей. Я похлопотал бы, чтобы вас зачислили унтер-офицером в наш полк.

Это путь оказался единственно приемлемым для Лермонтова. К тому же там, в Школе юнкеров, уже были свои люди — Николай Шеншин и Мишель Сабуров уже отучились там один год. Правда, Елизавета Алексеевна не хотела, чтобы внук шел в военную службу, но он, захваченный новым планом, был так красноречив, что переубедил ее. В конце сентября он подал в канцелярию школы соответствующее прошение. В это же время он узнал, что один из его лучших московских приятелей, Николай Поливанов, также едет поступать сюда... Это окончательно укрепило Лермонтова в его намерении стать военным. В день своего рождения, 3 октября, он написал об этом Марии Александровне Лопухиной. «Я не могу вам выразить огорченье, — отвечала она, — которое причинила мне дурная новость, сообщенная вами. Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным начать совершенно новый образ жизни? Это поистине неприятно. Я не знаю, но думаю все же, что вы действовали с излишней стремительностью, и, если я не ошибаюсь, это решение должно было быть вам внушено Алексеем Столыпиным, не правда ли?» Опять догадка! Лермонтов был поражен.

Зная характер Лермонтова, Мария Александровна не боится быть непоследовательной. Она дальше, в этом письме, не только не решается продолжать свои упреки, но сводит их на нет: «На военной службе вы также будете иметь все возможности, чтобы отличиться: с умом и способностями возможно всюду стать счастливым. К тому же сколько раз вы говорили мне, что если бы вспыхнула война, вы бы не захотели оставаться безучастным. Ну вот, вы, так сказать, брошены судьбой на путь, который дает вам возможность отличиться и сделаться когда-нибудь знаменитым воином. Это не может помешать вам заниматься поэзией; почему же? одно другому не мешает. Напротив, вы только станете еще более любезным военным».

До получения этого ответа Лермонтов послал Марии Александровне еще письмо: «Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь военным. Быть, может, такова особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам Богом, что везде буду впереди».

Здание Школы юнкеров находилось тут же, у Синего моста, неподалеку от квартиры, нанятой Елизаветой Алексеевной в доме Ланского. Прямо от моста ворота вели во двор — налево гауптвахта, направо — канцелярия и вход в кабинет командира школы; прямо — главный подъезд с лестницей, украшенной касками, кирасами, карабинами. Внизу и вверху классы, залы для занятий, дортуары. Подпрапорщики и юнкера, носившие форму тех полков, где они числились, были все люди состоятельные, из аристократических семей. Они пользовались некоторой свободой и имели собственную прислугу. Это был в некотором роде военный лицей. Позади школы располагался обширный сад с плацем посредине, за ним — конюшни, манеж, дом, где жили офицеры. Поступающим разрешалось ходить по всей школе и все осматривать.

4 ноября Лермонтов экзаменовался. С 8-го числа он уже должен был «числиться налицо» в школе. 14-го его приняли унтер-офицером в лейб-гвардии Гусарский полк. «Здравия желаю! Любезному гусару! — писал ему из Москвы Алексей Лопухин. — Право, мой друг Мишель, я тебя удивлю, сказав, что не так еще огорчен твоим переходом, потому что с живым характером твоим ты бы соскучился в статской службе... Насчет твоего таланта, ты понапрасну так беспокоишься, — потому кто любит что, всегда найдет время побеседовать с тем». Лермонтов еще полтора месяца числился в школе «кандидатом», так как в юнкера экзаменовавшиеся зачислялись очередно, по старшинству набранных баллов (сдавались пять предметов: математика, история, география, русский и французский языки). Так что Лермонтов и на этих, очень легких для него экзаменах нисколько не постарался блеснуть.

Оказавшись в Школе юнкеров, Лермонтов будто вернулся в пансион, столько тут было среди товарищей школьничества, озорства. Он давно отвык от этого, давно стал взрослым, но что было делать! Здесь были свои традиции... Приходилось отчасти возвращаться в детство. Словно время вдруг дало обратный ход. Здесь не университет — отойти от всех, устраниться — нельзя. Нужно спать в одном дортуаре, есть в одной столовой, заниматься в одних классах и маршировать бок о бок с товарищами.

Конечно, Лермонтов не только не сделался одним из «новичков», над которыми старшие традиционно подшучивали, испытывая их на прочность, но сразу стал одним из первых, так как во всем эскадроне только юнкер Евграф Карачинский мог сравняться с ним в силе рук, а если говорить о силе воли, то ему не было равных. Ни военные учения, ни тем более лекции, до предела упрощенные, не представляли для него большой трудности. Единственная трудность — поднадзорное житье, невозможность свободно располагать собой. Как бы дружески ни обращались с юнкерами дежурные офицеры, они все же следили за порядком, и нарушителя его ждали карцер и гауптвахта.

Запретные плоды были особенно сладки — юнкера тайком курили жу́ковский табак, выставляя свой караул и выпуская дым в печную отдушину. Через лакеев, школьную прислугу, солдат добывали вино. Ухитрялись переодеваться в лакеев и выходить из школы прямо через главные ворота в кондитерскую Беранже у Синего моста или в ресторан Фельета на Большой Морской. В лихой бескозырке, куртке с двумя рядами пуговиц и рейтузах Лермонтов ощутил себя выпавшим из своей жизни. Он словно дважды уехал из Москвы — сначала в Петербург, потом в «военный монастырь». Гомон голосов, шорох многочисленных ног на лестнице, запах сукна и лошадиного пота в манеже. Пение трубы и звук барабана. Ему казалось, что он видит сон.

Проснулся он от страшного удара — резкая боль пронзила его, и он потерял сознание...

В последних числах ноября, на очередных учениях в манеже, Лермонтов сел на молодую, еще не выезженную лошадь. Она вставала на дыбы, вертелась, но Лермонтов вцепился в нее как кошка и справился бы с ней наконец, если бы она не врезалась в группу стоявших в стороне лошадей. Одна из них ударила копытом, попала Лермонтову в ногу ниже колена и расшибла ее до кости. Очнулся он в госпитале, на верхнем этаже школы. Первое, что он увидел, была бабушка, сидевшая у изголовья. Поодаль стоял дядька Андрей Соколов. Тут же были доктор Гасовский и младший фельдшер Кукушкин. Нога была забинтована, распухла и страшно болела, так, что невозможно было повернуться.

— Ну вот, Мишенька, — сказала Елизавета Алексеевна, — видно, не судьба тебе быть военным... Господин доктор говорит, что ушиб весьма серьезный.

— Авось обойдется! — весело сказал чернявый, с лукавыми глазами фельдшер. — Перелома нет. А парень крепкий, дай Бог всякому.

Две недели Лермонтов отлежал в госпитале. Потом начал прохаживаться на костылях, но больше приходилось лежать... Он читал или рисовал. Каждую свободную минуту его навещали товарищи. Рисуя, он не таился их. Изображал пером и карандашом лошадей, юнкеров, офицеров, деревни, тройки, различные сцены. Много раз он набрасывал профиль Варвары Александровны Лопухиной, но потом пририсовывал ей усы и превращал в мужчину. Одно воспоминание о ней умиротворяло душу, прогоняло все тяжкие воспоминания. Теперь он окончательно понял, что любит ее. Любит не тревожно, не страстно, удивляясь этому новому для себя чувству.

Елизавета Алексеевна добилась для внука разрешения лечиться дома — тут его раз в неделю стал навещать лейб-медик Арендт. Многие из родственников стали уговаривать Лермонтова уйти из юнкерской школы (кое-кто из них действовал по просьбе Елизаветы Алексеевны), — благо, что есть удобный для этого повод. Лермонтов упрямо не соглашался, и его стали обвинять в черствости, в пренебрежении общими родственными интересами... Между тем 18 декабря был отдан приказ по школе о переименовании «недоросля Михайла Лермонтова» из кандидатов в юнкера — только теперь дошла его очередь. Следующим должен быть офицерский чин, но уже по окончании школы. Лермонтов твердо решил не отступаться.

А неодобрение родственников доносилось и из Москвы. «У тебя нога болит, любезный Мишель!.. — писал ему Алексей Лопухин. — Что за судьба! Надо было слышать, как тебя бранили и даже бранят за переход в военную службу. Я уверял их, хотя и трудно, чтобы поняли справедливость безрассудные люди, что ты не желал огорчить свою бабушку, но что этот переход необходим.

Нет, сударь, решил какой-то Кикин, что ты всех обманул... А уж почтенные-то расходились и вопят, вот хорош конец сделал и никого-то он не любит, бедная Елизавета Алексеевна — всё твердят».

Все это Лермонтова нисколько не трогало.

Юнкерская амуниция была сложена в сундук. В одной рубашке, расстегнутой до пупа, он сидел у камина с книгой или писал за столом. Он снова был литератором. Пошли в ход и краски. Узнав, что голова испанца, нарисованная им на стене комнаты Лопухина, оказалась нечаянно испорченной (столяр, пытаясь прикрыть ее стеклом и обить рамой, повредил штукатурку), Лермонтов написал ее по памяти масляными красками и отослал Лопухину. Несколько дней пытался он продолжать свой мучительный роман об Арбенине, но понял, что эта вещь заходит в тупик, — его уже не так волновали излагавшиеся в нем события, связанные с его собственной московской жизнью. При очередном просмотре эта рукопись так ему не понравилась, что он бросил ее в камин. Хотелось писать стихи, но душа молчала, — ни любви, ни горя, ни гнева — ничего не кипело в ней... Ему в какие-то минуты стало даже страшно: неужели у него «мертвое сердце», как у Измаил-Бея? Он заставил себя написать несколько баллад — «Тростник», «Русалка», «Куда так проворно, жидовка младая?..». Наконец, решил выразить теперешнее свое душевное состояние в стихотворении «Гусар»:

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан.
Но знай: покой души не вечен
И счастье на земле — туман!

...Пускай судьба тебя голубит
И страсть безумная смешит;
Но и тебя никто не любит,
Никто тобой не дорожит.

...Гусар! ужель душа не слышит
В тебе желания любви?
Скажи мне, где твой ангел дышит?
Где очи милые твои?

Молчишь — и ум твой безнадежней,
Когда полнее твой бокал!
Увы — зачем от жизни прежней
Ты разом сердце оторвал!..

Ты не всегда был тем, что ныне,
Ты жил, ты слишком много жил,

И лишь с последнею святыней
Ты пламень сердца схоронил.

«Измаил-Бей» был закончен. Перечитывая его, Лермонтов невольно будил в себе воспоминания о Кавказе. «Измаил-Бей» много прибавил к ним. Вновь зазвучала в его душе песня матери — без слов и почти без напева, одно щемящее чувство. А она давно уже связалась у него с белыми снежными вершинами. И вот, как уже бывало, тлеющая, но не угасающая любовь к Кавказу вдруг снова вспыхнула в нем пожаром. И в эти дни, когда Лермонтов, хромая, бродил по комнате и прислушивался к шуму зимнего ветра, к шороху саней на снегу набережной Мойки, горы вытеснили из его души и Москву, и Тарханы, и Кропотово. Ему казалось, что он вырос там, что они — именно горы — были его домом, горы, а не какая-нибудь сакля в ауле... Эта его любовь превращалась в некую веру — образы белоглавых вершин виделись ему как бы в святом ореоле... Это было настоящее наваждение. И вот он уже ни о чем другом не может думать. Кавказ! Кавказ!.. Вспомнилось ему, как он мысленно летал над горами:

Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня, лелея, ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной, как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.
Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые,
Когда по ним гремя катался гром,
И пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры окликалися кругом,
Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..

Так началась новая поэма о Кавказе. И началась она с молитвы, с клятв в верности ему: «На севере в стране тебе чужой / Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!..»; «Я твой! я всюду твой!..» Он называет Кавказ «святой землей» и говорит, что в его душе, которой «не понял мир», во «мраке ее глубоком», живут воспоминания о снежных вершинах... Мысль его снова полетела туда, где был он семь лет тому назад, — в степь «между Машуком и Бешту» (там же начиналось и действие «Измаил-Бея»). Там, во время прогулок верхом вместе с Капэ или

Шан-Гиреем, им показывали место, где среди груды камней и зарослей угадывался давно исчезнувший аул по названию Бостанджи («огородник»).

Его уж нет. Кудрявыми кустами
Покрыто поле: дикий виноград
Цепляясь вьется длинными хвостами
Вокруг камней, покрытых сединой,
С вершин соседних сброшенных грозой!..

Кавказ не знает простого, мирного житья. Все там гроза и буря — война, любовь, месть, природа... Новая поэма была о страшной, роковой любви-погубительнице. Юноша Селим полюбил жену старшего брата Зару, и нарушился их братский союз. Долго таил свою любовь Селим, понимая, что она преступна, но наконец во время страшной грозы, когда «все черней утесы становились», он не выдержал и приступил к брату с мольбами отдать ему Зару... После этого они стали врагами. Селим скрылся в горы. Попытка уговорить Зару бежать с ним не удалась. И тогда Селим совершает второе преступление — похищает Зару, убивает и, привязав ее к похищенному у брата же коню, пускает в обратный путь. Теперь он стал каллы — убийцей, человеком, отверженным всеми:

Да упадет проклятие людей
На *жизнь Селима...*

Да упадет проклятие Аллы
На голову убийцы молодого...

Кто сжег аул — Селим или его брат — понять трудно; кажется, у обоих могли возникнуть мотивы для совершения этого злодеяния (если это Селим, то для него оно третье). Лермонтов нарочно оставляет это событие неясным («...чей-то смех мучительный и злой / Сквозь дым и пламя вылетал порой» — это поджигатель, решивший и сам погибнуть в огне.) Поэма невелика, сюжет ее по видимости прост, но заряжен истинно грозовой, во многом таинственной энергией. События поэмы нарастают и потом рушатся, подобно горной лавине. Нет, Кавказ для Лермонтова не идиллическая «страна детства», не преисполненный мирных поэтических красот Восток.

Перед Рождеством навестил Лермонтова Лукьян Якубович. Он принес только что вышедшие в свет книги Полежаева и рассказал, что автору «Сашки» в два последние года пришлось немало повоевать на Кавказе. Жизнь

его тяжка, как и жизнь всякого солдата, но он надеется добиться прощения, и не только своей воинской храбростью, но и прославляющими русское оружие поэмами. «Начальство очень одобрило эти две поэмы, — сказал Якубович. — Дай бог! Довольно уже страданий пережил мой друг». Лермонтов хмуро слушал его, молчал, но недоумение росло в его душе. Как! Автор «Сашки», этот лихой молодец, не ведавший страха, и вдруг — одобрение начальства! Да как бы ему там ни было трудно... Ну, писал бы он прошения, а не поэмы... Ведь это он же, он написал «Песнь пленного ирокезца»:

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
    Но как дуб вековой,
    Неподвижный от стрел,
    Я недвижен и смел
    Встречу миг роковой!

Лермонтов прочитал обе поэмы. Стоило ли их писать? Ведь это рифмованные отчеты о походах в Дагестан, против орд Кази-Муллы, — о боях, убийствах, пожарах... Горы у Полежаева — «уродство», горцы — «разбойники», «изуверы», «кровопийцы», «злодеи», вообще «звероподобный народ», не признающий «начальства» (мила им «безначальная свобода»...), «Христовой веры палачи»... Поэту не жаль «злодеев» — жаль себя. Его тревожит то «пятно», которое он положил на свою совесть поэмой «Сашка»:

Последней кровью для отчизны
Я жажду смыть мое пятно!..

На войну с горцами этот несчастный страдалец-поэт смотрит почему-то глазами императора Николая. В год казней, когда по воле Николая был повешен Рылеев с товарищами, а другие были отправлены в тюрьмы, на каторгу и в ссылку, Полежаев, московский студент, бесстрашно прочитал вслух ему самому — по его приказу — своего вольного «Сашку». Это подвиг! Солдатская шинель, одевшая плечи студента, стала его честью и славой. И вот эти пресловутые «Эрпели» и «Чир-Юрт» — Полежаев и их бы прочел перед лицом самодержца, будь им вызван для этого. И, вероятно, с должным восторгом верноподданного. Он бы прочитал, что горцы «под кровом русской власти / Узнали счастье и покой» и даже «веселый мир», а война идет потому только, что они не ценят этого покоя. Нет, это не годится. Певец не должен унижаться даже ради свободы, даже ради жизни.

Эти размышления как бы сами собой перешли в стихи:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец — не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

3

1833 год начался оттепелью — снег в Петербурге почти весь растаял, часто моросил дождик. Туман обволакивал улицы, иногда шквалистый ветер потрясал в домах оконные рамы... Началась эпидемия гриппа. Елизавета Алексеевна почти каждый день ездила к родным — кто-нибудь из них да болел. Лермонтов еще не мог бросить костылей и не выходил из дому.

В это время он занялся разборкой своих стихов и попытался составить из них книгу с мыслью — пока еще нетвердой — издать ее. Сто пять стихотворений вошли в большую тетрадь, внесенные сюда рукой переписчика. Еще тринадцать Лермонтов вписал сам. Тетрадь лежала на столе. Решимость издавать ее исчезла. Больше того — перечитав ее, Лермонтов подумал, что эти стихи не только не прославят его, а покажут всем его ничтожество. Ужасное беспокойство охватило всю душу. Что же это — гибель всех надежд? Значит, он не «неведомый избранник»? Никто?.. Вот заживет нога, снова он сядет на коня, отучится и станет гусарским офицером!.. Конечно, он со временем может совершить подвиг, погибнуть, но ведь это дела обыкновенные! А душа, душа остается невыраженной. В бездействии оставаться нельзя, это подобно смерти... Стихов он больше писать не сможет, но может быть, будут лучше удаваться романы?

Вальтер Скотт был поэт, а прославился как автор исторических романов.

Лермонтов сидел у камина и смотрел в огонь. Там, казалось ему, все еще догорал его бедный роман-исповедь, первый прозаический опыт. Нет, нужна не исповедь, которая равняет роман со стихами. Нужно что-то другое. Бурные события, многолюдные сцены, странный и могучий герой... Полено затрещало, рассыпая искры, отблески огня заплясали на полу, на стене. Пожар!.. Один роман был брошен в огонь, другой должен выйти из огня. Пусть будет он полон сил огненных. Рев пламени, искры, клубящийся дым — орущие, полные ненависти толпы идут на штурм с жаждой крови и мщения. Языками огня взвиваются лохмотья и ножи... Невольно вспомнился горбач Квазимодо из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» в сцене его расправы с толпой, на которую он рушит огромные балки. Могучий урод, один на один вставший против всего мира.

Вспомнились рассказы тарханских стариков о «пугачевском годе» — черном годе, — когда все деревни и села поднялись с кольями и вилами, и казалось, конец света настал в огне и дыму. Вспомнилось многое из времени детства, уже почти забытое, — походы к пещерам Гремучего, где когда-то прятались от пугачевцев помещики. Поездки с бабушкой в Нижний Ломов — там высоко на холме раскинулся монастырь. Икона «Страшный суд» над Святыми вратами (дьявол окружает цепью грешников, чтобы тащить их в ад). Каменная лестница ведет в гору. Картина тихая, мирная! А что тут было при пугачевцах — и вообразить трудно.

Он решил писать исторический роман. Имя героя пришло сразу: Вадим. Нет, не крестьянин. Дворянин. Но дворянин, выбитый судьбою из своего сословия. Он провел детство в монастыре. Потом, вынужденный носить отрепья и скрываться в толпе нищих и бродяг, он ожидал своего часа... У него есть смертельный враг — помещик, который подкупом так повел тяжбу с его отцом, что разорил его, отнял у него имение, довел до смерти. А были как будто друзья, но однажды на охоте отец Вадима посмеялся над собакой этого помещика, которую обогнала его собака (такую историю Лермонтов в самом деле слышал). Сестру Вадима Ольгу, а она была еще младенцем, этот «милосердный» помещик-разоритель взял в свой дом... Итак, узел завязан — теперь нужно обдумать весь ход романа и начинать, скорее начинать!

Помыслив о Вальтере Скотте и Гюго, Лермонтов, однако, не стал подражать их обстоятельности, а повел быстрый и сжатый, как в собственных поэмах, рассказ. Уже во второй главе (а эти первые главы по две страницы всего) он столкнул Вадима с его врагом, помещиком Палицыным. Вадим нанялся к нему в слуги, чтобы выждать момент и убить его. Между тем начали ходить слухи, что на дворян поднялся мужицкий царь Пугачев, — его ждали и здесь, на Суре и Верхней Волге, в городах и селах вокруг Пензы, на пути к Самаре.

Вадим открылся Ольге, выросшей в доме Палицына, что он ее брат, и взял с нее клятву, что она будет ему помогать в мщении. Вскоре приехал в отпуск сын Палицына Юрий, офицер, красивый молодой человек. Ольга полюбила его, и Вадим снова стал одинок в своих мыслях о мщении. Единственная на свете родная душа предала его, как он считал. Ему каким-то образом удалось связаться с пугачевскими «генералами», он стал доверенным лицом Белобородко под кличкой Красная Шапка. Но все, что он ни делал, клонилось только к осуществлению его заветной мечты — к погублению Палицына, а теперь и его сына, которых он желал бы убить сам.

Вадим — тип каллы. Едва он принял обет мести, как стал, прежде чем стать мстителем, обыкновенным убийцей. Так, в монастыре он оттолкнул от себя старуху, требовавшую милостыни, — она упала, стукнулась головой о камни и умерла (потом он увидел труп, но «не вспомнил, что *он* толкнул старуху»). Карауля с топором возле баньки, где Ольга ждала Юрия, Вадим вместо Юрия убивает его слугу Федосея. Потом он подстрекнул пугачевских казаков на убийство старика дворянина и его дочери, которых везли «к Белобородке»: Вадим сначала «с участием» смотрел на старика, а во время расправы над ним «нашел, что душу ничего не волнует». Он мечтал «увидеть слезы, раскаяние Палицына — увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха».

Когда крестьяне деревни Палицына стали допытываться у Вадима, где их барин, чтобы убить его, он ничего не сказал им, но подумал: «Никто не наложит руки на него, кроме меня. Никто не услышит последнего его вопля, никто не запечатлеет в своей памяти последнего его взгляда... Он мой — я купил его у небес и ада, я заплатил за него кровавыми слезами... О! я не таков, чтобы равнодушно выпустить из рук свою добычу и уступить ее вам... подлые рабы!..» Вадиму все равно, какова будет судьба этих «подлых рабов» — освободит их Пугачев или нет. Вадим говорит Ольге, что у него «вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения». И это при том, что он — сверхчеловек, который (как шептал ему некий «насмешливый голос») мог бы «обнять своею мыслию все сотворенное... мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый».

Он преступник, нераскаявшийся демон. Лермонтов упорно подчеркивает его демонизм: «язвительная улыбка придала чертам его... что-то демонское»: его «улыбка» «вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству... в ней было больше зла, чем люди понимать способны»; «он похож был в это мгновение на вампира»; он говорит сестре: «В этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливцев... где есть демон, там нет Бога»; он обращается к Богу: «Ты меня проклял в час рождения... и я прокляну твое владычество в час моей кончины»; Вадим «не мог вырваться из демонской своей стихии»; «Он верил в Бога, но также и в дьявола!»

Вадим как черная тень (в одном месте Лермонтов сравнивает его с «черной тучкой») проходит на пестром фоне толпы, народа, не сливаясь с ним даже тогда, когда делается добровольно рабом. Народ — это второй, после Вадима, герой романа, который с него и начинается. Возле монастыря нищие «спорили, бранились, делили медные деньги... Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные». После этой, во фламандском вкусе, картины, через несколько страниц, — размышления о психологическом состоянии народа: «Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь его могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!.. Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить, но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтобы смотреть на сво-

его господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей!»

«Картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ: камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но, несмотря на то, сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!»

Лермонтов так же тщательно описывает вид толпы, как, в иных местах, внешность Вадима, Палицына или Ольги: «Тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унизительных и благородных... и между ними кое-где сиял молодой взор и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями»; «Скоро все слилось перед его глазами в пестрое собранье лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород; и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному живому, вечно движущемуся существу».

Помещик Палицын самая гадкая личность, какую только можно себе представить. Он все — тиран, пьяница, злобный и мстительный человек, трус и старый сладострастник... Он дважды обречен на гибель — Вадимом с одной стороны, крестьянами его деревни — с другой. Обе стороны готовили ему самую мучительную расправу. Пугачевцы ищут его... И этот Палицын, теперь уже гонимый и жалкий, находит себе защиту в том же самом народе. Его спасает «бедная солдатка», спрятавшая его и перенесшая ради его спасения пытки, которым подвергли ее казаки пугачевского отряда. «Борис Петрович упал на колена, — писал Лермонтов, — и слезы рекой полились из глаз его; малодушный старик! он ожидал, что целый хор ангелов спустится к нему на луче месяца и унесет его на серебряных крыльях за тридевять земель. Но не ангел, а бедная солдатка с состраданием подошла к нему и молвила: *я спасу тебя.* В важные эпохи жизни, иногда, в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует». Солдатка не сверхчеловек. Совершая свой подвиг, она думала: «Спрятала-то я старого, спрятала, а как станут меня бить да мучить... ну, уж коли на то пошла, так берегись, баба!.. не давши слово держись, а давши крепись... только бы он сам не оплошал!» Пытки, как ни странно, укрепили ее душу. Когда отступились от нее и принялись за ее сына, она крикнула ему: «Если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгоню со двора, заморю, убью!..» Петруха, сын ее, боялся матери больше, чем всех казаков на свете».

При всем этом присутствовал Вадим, «который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление» (на этом читатель прощается с Вадимом). Ему-то ясно было, что Палицын спрятан солдаткой, тем более что угрозу своему сыну она выкрикнула «звонким голосом», во всеуслышание. Она даже не подумала, что теперь может быть у нее с палачами только открытое противостояние, а потом неизбежная смерть... Было о чем задуматься Вадиму... И когда казаки вышли за ворота, на улицу, «рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе; он, охая и стоная, лежал на земле; мать содрогаясь подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость: он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам».

После слова «душегубцы» (оно относилось и к Вадиму) Лермонтов положил перо, не зная, что писать дальше, и вообще не будучи уверен — нужно ли это делать... У него было смутное сознание того, что роман закончен. Вадим и солдатка — антиподы. Злоба и милосердие. Вадиму казалось, что он выполняет волю отца, просившего его отомстить, но теперь он не мог не вспомнить слов сестры об отце: «Не верю, не могу верить... чтобы он, в жилище святых, желал погибели этого семейства, желал сделать нас преступными». А был ведь момент, когда и сам Вадим испытал сильное сомнение в себе. «И что же он такое? — думал Вадим о себе в третьем лице. — Вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик, незаметный в пьяной, окровавленной толпе! — Не сам ли он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу како-

го-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем... какая слава! если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... а теперь?.. имея в виду одну цель — смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности... ужели он родился только для их казни!..» Вывод из этих размышлений оказался горьким: «Он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце!»

Лермонтов не списывал Вадима с себя, но в нем есть его черты: физическая сила не совсем обыкновенного порядка, магнетизм взгляда, сильная воля, бурная смена чувств, доходящих почти всегда до крайнего напряжения, большая голова, кривость ног... Все это, конечно, дано в преувеличении (некрасивость превращена в отталкивающее безобразие, то есть в своего рода совершенство, противоположное красоте), но и преувеличения имеют свой источник — они пришли из лирики Лермонтова и его поэм. Внутренняя жизнь Вадима соткана из отзвуков поэзии Лермонтова. Он как будто отдает ему то, от чего желал бы наконец избавиться. Взятое из стихов слегка искажается так, чтобы лечь в лермонтовскую же, но теперь с отрицательным знаком систему. После этого романа обрывалась та поэтическая нить, которая в последние два или три года тянулась непрерывно и стремительно. Лермонтов уничтожал самого себя. Он понимал, что новое не возникнет сразу, что для этого потребуется время, может быть, годы... Он понимал также, что может и не возникнуть ничего. Увы! не вышло мирного творчества в духе Вальтера Скотта; не ему, не Лермонтову, быть мудрым и добродушным творцом пухлых романов, которыми зачитывалась бы Россия (или весь мир). Он в самом деле — ничто... Он летит в пропасть... Но что же он теперь? Только юнкер! И он решил полностью принять на себя эту роль ничтожного юнкера, может быть, первого по ничтожеству среди ничтожных.

В середине апреля, совершенно здоровый, он вернулся в Школу, а в мае принял участие в трудной подготовке к смотру войск военно-учебных заведений. Этот смотр состоялся 10 мая на Марсовом поле. Оставался месяц до переходных экзаменов, потом — в летние лагеря. Лермонтов стал до самозабвения опустошать душу, словно торопясь: долой, долой; все прежнее — вон!.. Он стал одним из самых энергичных и даже буйных юнкеров, всегда готовым на веселье, на шалости, на всевозможные приключения.

Юнкера имели прозвища. Когда заметили, что у Лермонтова еще нет «имени», то стали думать, как бы его окрестить. Много разных пустяковых имен было предложено, но когда Поливанов (у него была кличка *Лафа)* предложил имя горбуна из «Собора Парижской Богоматери», Лермонтов невольно вздрогнул... Квазимодо!.. Не прозвали так лишь потому, что это длинно.

— Что ж, — сказал Лафа, — есть и другой горбун, тоже француз! Так что, Мишель, не отвертишься... Monsieur Mayeux! Остроумный, знаменитый, злой, коварный... Оно и коротко: Маё! Эй, Маё!

Все захохотали. Прозвище прилипло. Господин Маё был героем длинного романа Рикера — с 1830 года этого романа с продолжением вышло уже три тома.... Никто, однако, не предполагал, насколько многозначительно было для Лермонтова такое вот имя — имя горбуна. Оно напоминало ему Вадима, отождествляло с ним! Как тот в толпе нищих или крестьян, так он должен скрываться среди юнкеров... Однако его не могли не заметить и хорошо запомнили. Николай Мартынов вспоминал о нем: «Наружность его была весьма невзрачна: маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное. Обыкновенное выражение глаз в покое несколько томное; но как скоро он воодушевлялся какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте, зрачки же передвигались справа налево, и эта безостановочная работа с одного человека на другого производилась иногда по нескольку минут сряду... Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг. Как я уже говорил, он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади, но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади... По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, как и в конном строю,

но еще усугубленные, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику. Эскадронный командир сильно нападал на него за пеший фронт, хотя он тут ни в чем виноват не был».

8 июня Лермонтов выдержал переводной экзамен в первый — старший — класс. 19-го, перед выступлением Школы в лагерь, Лермонтов писал Марии Лопухиной: «Вчера последнее воскресенье провел я в городе, потому что завтра (во вторник) мы отправляемся на два месяца в лагерь; я вам пишу сидя на школьной скамье, среди шумных приготовлений и т. д. Вам будет, я думаю, приятно узнать, что я, пробыв в Школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых... это вселяет надежду на скорое освобождение!.. С тех пор как я писал вам, со мной случилось столько странного, что я сам не знаю, каким путем пойду — путем порока или глупости. Правда, оба пути приводят к одной и той же цели. Знаю, что вы станете увещевать меня, постараетесь утешить — это было бы излишним! Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице!»

Выступление в Петергофский лагерь — трехдневный поход, в котором участвуют все петербургские военно-учебные заведения, конные и пешие, с авангардом и арьергардом, с вагенбургом, в котором везлись все необходимые пожитки, припасы, палатки и прочее. Словом, это была целая армия. Перед походом состоялось несколько репетиций на Измайловском плацу. Отсюда и выступили 20 июня.

Все дачи на Петергофской дороге были заблаговременно заняты родственниками юнкеров. Поселилась вблизи лагерей и Елизавета Алексеевна Арсеньева. Лето оказалось дождливым, и юнкера мокли на учениях, а потом развешанная в палатках амуниция не успевала просыхать.

У Лермонтова образовался большой круг товарищей — тут были Поливанов, с которым вместе рисовали, заполняя его альбом, Вонлярлярский, великовозрастный юнкер, которому было уже больше двадцати лет, остроумнейший рассказчик. Дружбы Лермонтова искали и выпускники, самые беспардонные повесы, — князь Барятинский, Бибиков, Шубин и Александров, прозванный Стенькой Разиным... Время в лагерях было строго расписано. На гуляния в садах Петергофа юнкеров отпускали специальным приказом, группами во главе с офицером.

Но озорства здесь было больше, чем на зимних квартирах, в Школе. Лермонтов и тут был первым.

Поливанов часто спрашивал, нет ли у него новых стихов, упрекал его в том, что он их скрывает. Лермонтов отговаривался тем, что он теперь не стихотворец, что он сейчас и старых своих стихов не признает, что его дело — конь, добрый эспадрон и карабин... Конечно, Лермонтов не мог, не в силах был раскрыть перед Лафой все, что грызло его душу, а грызло его сознание того ничтожества, в которое он вынужден впадать, и, впадая, он как бы подталкивает сам себя, чтоб оказаться как можно ниже, лучше всего — на самом дне... А стихи? А талант его? И талант — решил он — нужно ввергнуть туда же! Запачкать... опошлить... удушить в ничтожестве. Пусть он брызжет хмелем, как шампанское из бутылок, когда пьют юнкера. Авось как «Сашка» Полежаева, все это дойдет до Николая Павловича, он возмутится, полный презрения и гнева, и прикажет сослать юнкера-сочинителя на Кавказ. Вот тут-то, думал Лермонтов, проклянут меня и отступятся от меня совсем все друзья и родные... Так! Быть тому!.. Лермонтов затевал разные проказы, был буйно-весел и назойливо-насмешлив. Бог знает почему — ему нравились дожди и грязь, мрачные сырые облака, ветер, раздувающий палатку.

Он решил писать нечто вроде юнкерской «Илиады» — эпопею в стихотворных рассказах, такую, чтобы в пустых головах будущих кавалеристов она могла осесть навечно, как образ их разгульной и пьяно-матерщинной молодости. Вскоре он объявил, что в его палатке будет чтение поэмы. Юнкера-уланы, юнкера-гусары и юнкера-кирасиры набились в палатку, отвернули ее полы и сидели вокруг, чувствуя, что это неспроста, что от Лермонтова, конечно же, нужно ожидать какой-нибудь остроумной выходки... Но то, что они услышали, превзошло все их ожидания. Чтение шло под гомерический хохот, и когда подходил кто-нибудь из офицеров, Лермонтов прятал листки и делал вид, что рассказывает что-то... Это была «Уланша», поэма, главным героем которой был Лафа (Поливанов), — улан, а место действия — деревня Ижорка, где юнкера ночевали во время перехода из Петербурга в лагеря. Картина ночевки «пестрого эскадрона» оказалась на редкость живой, а события... события... Взрывы хохота заглушали чтение, и Лермонтову многие места приходилось повторять по три-четыре раза... Что Барков! Его «Девичья игрушка» — благоприличный ле-

пет против «Уланши», наполненной матерными словами, ввернутыми лихо и к месту. Потом листы с «Уланшей» пошли по кругу, их стали тут же переписывать... Успех был полный. Лафа, как и все, был доволен, выучил поэму наизусть и тоже стал героем дня, как главное ее лицо... Теперь, сидя за выпивкой, он повторял, размахивая указательным пальцем перед носом у собутыльника:

Но без вина что жизнь улана?
Его душа на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян,
Тот, извините! — не улан.

Героем другой, столь же нашумевшей поэмы, стал кирасир Дмитрий Бибиков, который после лагерей должен был готовиться к выпуску из Школы. Это был «Петергофский праздник», еще более блестящий в описаниях, чем «Уланша»:

Кипит веселый Петергоф,
Толпа по улицам пестреет,
Печальный лагерь юнкеров
Приметно тихнет и пустеет.
Туман ложится по холмам,
Окрестность сумраком одета —
И вот к далеким небесам,
Как долгохвостая комета,
Летит сигнальная ракета.
Волшебно озарился сад,
Затейливо, разнообразно;
Толпа валит вперед, назад,
Толкается, зевает праздно.
Узоры радужных огней,
Дворец, жемчужные фонтаны,
Жандармы, белые султаны,
Корсеты дам, гербы ливрей,
Колеты кирасир мучные,
Лядунки, ментики златые,
Купчих парчевые платки,
Кинжалы, сабли, алебарды,
С гнилыми фруктами лотки,
Старухи, франты, казаки...

А сюжет, события... В том-то и дело, что Лермонтов их выдумывал и ни с Лафой, ни с Бибиком ничего такого не происходило... А вот что касается князя Барятинского — тут можно было обойтись почти без воображения. «Князь Б., любитель наслаждений», кидался с головой во всякие приключения, не думая о последствиях, хотя и оказывался часто в дураках из-за своей недалекости. Лермонтов соединил князя и Лафу в одном

приключении. Это была самая уморительная из всех, написанных им, скабрезных поэм, для юнкеров буквально сногсшибательная (они валялись от смеха) — «Гошпиталь», напоминающая некоторые из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера, которого Байрон презирал и считал пошлым, а почитаемым только лишь за его древность... Князь Барятинский был беспощадно осмеян, выставлен в самом унизительном и глупом виде. У князя хватило ума не показать своего недовольства, но он затаил против Лермонтова злобу... «Гошпиталь» также быстро разошелся по рукам, его выучили, и он прочно вошел в школьный обиход.

4 августа уже из Петербурга Лермонтов пишет Марии Александровне Лопухиной: «Мы возвратились в город, и скоро снова начинаются наши занятия; одно лишь меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно: во-первых причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском; я знаю, вы будете возражать; но, увы, пора моих грез миновала, прошло время, когда я верил; мне нужны чувственные наслаждения, ощутимое счастье, счастье, которое покупают за деньги, счастье, которое носят в кармане, как табакерку, счастье, которое обманывает только мои чувства, оставляя душу в покое и бездействии!.. Вот что мне теперь необходимо, и вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я несколько изменился; как скоро я заметил, что мои прекрасные мечты разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые; гораздо лучше, подумал я, научиться жить без них. Я попробовал; я походил на пьяницу, который мало-помалу старается отвыкнуть от вина; мои усилия были не напрасны, и вскоре прошлое представилось мне лишь перечнем незначительных и весьма обыденных похождений». И дальше еще о прошлом: «Моя жизнь до сих пор была лишь рядом разочарований, теперь они смешны мне». «Но это очень грустный предмет, — прибавляет он, — и я постараюсь в другой раз к нему не возвращаться».

Чуткая женщина уловила, конечно, что душа Лермонтова не участвует в этой браваде и полна грусти... Другое дело Школа! Здесь Лермонтов для всех Маё, Маёшка, будущий гусарский офицер, который не ищет одобрения начальства — ни зычноголосого Алехи Стунеева, командира эскадрона, ни сурового командира Школы ба-

рона Шлиппенбаха; Маё не лезет вперед, но в учении всегда один из первых. Начальники часто приглашали юнкеров обедать к себе домой, — Лермонтов не любил этого и всегда отказывался. Не ходил он и к великому князю Михаилу Павловичу, у которого всегда по субботам обедало несколько юнкеров по выбору школьного начальства... Тех, кто ходил, он высмеивал, донимал шутками (например, *Мартышку* — как звали в Школе Мартынова).

Маёшка бьется на эспадронах с Мартыновым, и их окружают восхищенные зрители — лихо рубятся! Маёшка с Карачинским вяжут узлы из шомполов — кто больше... Вдруг в залу входит Шлиппенбах: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети, что ли, вы, чтобы так шалить... Ступайте под арест». Отсидели сутки... «Хороши дети, — смеялся Лермонтов, — которые могут из железных шомполов вязать узлы». Кучка юнкеров у рояля — перед ними ноты, что-то поют, стараются... Лермонтов пристраивается к ним и запевает совсем другое, сбивает всех и смеется... Шалит Маёшка!

К началу 1834 года в эскадроне накопилось много разных непристойных сочинений, так как юнкера начали подражать Лермонтову, — это были стихи, поэмы, прозаические анекдоты. Кто-то предложил выпускать журнал, а чтобы с ним не было долгой возни, делать так: в один из шкафчиков в дортуаре сочинители кладут в течение недели все, что пожелают, не только сочинения, но и рисунки. В субботу все это сшивается в одну тетрадь, делается обложка — и журнал готов. Его читают вслух, потом пускают по кругу, а тем временем идет сбор материалов для следующего номера. Назывался журнал «Школьная заря». Три поэмы Лермонтова и несколько подобных же его стихотворений были помещены сюда без его участия.

Семь недель выходила «Школьная заря», пока не иссяк запас сочинений. Вслед за тем иссяк и энтузиазм издателей. Но выпущенные семь номеров во множестве копий разошлись не только по школе, но и по всему Петербургу, особенно среди офицеров гвардии. Имени Лермонтова под его вольными сочинениями подписано не было — это немедленно навлекло бы на него неприятности. Он подписывал их. «Гр. Диарбекир» и «Степанов». Конечно, все знали настоящее имя сочинителя. Попала в этот журнал и «Юнкерская молитва»... Но Лермонтову расхотелось быть автором новых «Кентерберийских рассказов». Юнкеров, особенно новеньких, и еще более особенно воспитанных дома, в благонравных семьях, восхищали матерные слова, лихо и открыто вплетенные в стихи, написанные прямо на бумаге... Но слова, но сюжеты, как ни варьируй то и другое, всё одни и те же, вертятся вокруг одного и того же... Лермонтову стало скучно. Он забросил свою неоконченную юнкерскую «Илиаду», хотя своей славы скабрезного поэта он уже не в силах был уничтожить. Это от него не зависело.

В душе было пусто. Он вспоминал Москву, четыре лета в Середникове... Сколько тогда было чувств, мыслей, как несло его и ввысь, и в бездны! Как полно он жил на грани погибели! А что же сегодня — ожидание второй жизни? Что за мука... А есть живущие без муки, на которых поглядеть отрадно. Вот Алексей Столыпин, юноша удивительно благородной красоты. Он этой осенью поступил в Школу. Его прозвали *Монгó*. Хотя вернее было бы *Мýнго*... Алексей любит читать книги о путешествиях. Из любимейших у него «Всемирный путешествователь» аббата де ла Порта, состоящий из множества томов. Еще осенью, в самом начале своего учения, он принес в Школу «Путешествие во внутреннюю Африку, предпринятое по приказанию и под управлением английской Африканской компании в 1795, 1796 и 1797 годах хирургом Мунго Парком», переведенное с английского на французский профессором дю Вуазеном и изданное в Париже в 1800 году... Мунго Парк — прославленный во всем мире отважный открыватель реки Нигер, которой он достиг после невероятно опасных приключений, ограбленный, оборванный и голодный... Алексей восхищался железной волей, выдержкой, выносливостью англичанина, который шел один среди лесов и пустынь через земли, населенные дикарями, никогда не видавшими белого человека... Поэтому Алексей усердно развивал свою силу, в чем Лермонтов охотно составлял ему компанию.

Отец Монго, двоюродный дед Лермонтова, сенатор, был близок к декабристам, как и дед его самого, отец Веры Николаевны, матери Монго, адмирал Мордвинов. Когда отец Монго скончался (это произошло 5 мая 1825 года), Рылеев поместил в «Северной пчеле» стихотворение, которое помнят и любят в семье. Оно обращено к Вере Николаевне, а говорится в нем о ее детях, среди них об Алексее:

Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;

18*

Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых мы узрим
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

С этим заветом декабриста Столыпин-Монго и начал свою жизнь. А долга ли будет жизнь, наверняка ли обещана судьбой будущность, показали им два случая, — в декабре они вместе со всей Школой хоронили внезапно скончавшегося юнкера-улана Егора Сиверса, а 20 февраля юнкера-гусара Михаила Столыпина, брата Аннет. Юные жизни унесены были смертью беспощадно. Так когда же ждать перемен в опустошенной душе, есть ли для этого время?

Лермонтов помрачнел и стал уединяться от товарищей в пустых классных комнатах. Он решил сомкнуть разорванную цепь усилием воли — вернуться к Кавказу «Измаил-Бея» и «Аула Бастунджи», написать еще поэму о своей Святой земле... Не проснется ли душа к новой жизни? К той, что должна быть не равна всей прежней, столь полной и отчаянной, а превышать ее во всём... Ведь это переход через пропасть, через мрачное ущелье к подножию новой, сияющей снегами, горы! Написать поэму — во искупление тех трех юнкерских (в своих только глазах, конечно), если искупление еще возможно.

Это была одна из страшных историй, происходивших в горах, — отчасти правда, отчасти предание... Хаджи Абрек изощренно мстит своему кровному врагу Бей-Булату:

И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О, нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»

Он приехал в саклю Бей-Булата, когда того не было дома, и (в нарушение и закона кровной мести и закона гостеприимства) отсек голову его юной жене, которая

встретила его как гостя, угощала чихирем и пшеном и даже развлекала пляской... Кажется, уж куда страшнее, но и этот ужас осложнен, увеличен. Предыстория убийства женщины такова: в ауле Джемат, где жил Хаджи Абрек, один из стариков, у которого Бей-Булат похитил дочь, кинул клич:

Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?

На его призыв и ответил Хаджи Абрек. Он привез старику голову дочери... Он ведь не обещал доставить ее живой! Это потрясение убило старика на месте. Бей-Булату этот страшный мститель не позволил долго горевать о жене — он нашел его и исполнил свой долг, хотя и ценою собственной жизни:

Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая путники нашли,
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!..

Это отзвук «Гяура» Байрона: «Ненависть толкает двух врагов в последние взаимные объятия, когда, сцепившись в бою, они обхватывают друг друга руками с тем, чтобы никогда уже не разойтись... Истые враги, раз встретившись, остаются неразлучны даже в смерти».

Хаджи Абрек мстил за смерть брата. Но он, подобно Вадиму, становится еще до совершения мести убийцей — убита юная Леила, убит и ее старик отец. Если сильная личность устремляется к злой цели — каждый ее шаг порождает зло и враждебен людям. Это прóклятый человек... Каллы... Ни молодость, ни старость не склоняют его сердца к милосердию. Ни горы Кавказа, устремленные к небу... У Хаджи Абрека душа Демона, порвавшего с небом.

Кавказ... Демон... Все мысли, все чувства, связанные с ними, вызревали в Москве, — она еще и поэтому для Лермонтова родина, а не только потому, что он там родился. Как бы красив ни был Петербург, он ничем, даже морем, не мог затронуть души Лермонтова. Ни ули-

цы, ни дворцы, ни каналы, ни балы — ничто ему тут не нравилось. И как вспыхивало сердце, когда ему вспоминались Кремль с Иваном Великим, Сухарева башня, Симонов и Донской монастыри, Тверской бульвар, Марьина роща, Петровское.

Когда преподаватель русской словесности Василий Тимофеевич Плаксин задал юнкерам «описательное» сочинение по тем правилам, которые содержались в «Кратком курсе словесности, приспособленном к прозаическим сочинениям», Лермонтов стал описывать Москву с птичьего полета. Много раз бывал он на верхнем ярусе колокольни Ивана Великого, а увиденное оттуда не может забыться.

«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, — писал Лермонтов, — кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь». Московский колокольный звон! — нельзя не сказать о нем уже в самом начале. Это родной, с детства привычный голос города: «Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр с пением скрыпки и флейты образуют одно великое целое; — и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!.. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая, витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!»

С высоты — это взгляд Лермонтова на мир, — на Москву и на Кавказ, на все... Он не умеет смотреть на него с уровня своего низенького человеческого роста. Духовные глаза могут в смутный, переходный период жизни на время закрыться, как бы затмиться сном, но они есть. И есть такой слух, который слышит неземную музыку. Он может вообразить себя на высоте «царем этого невещественного мира» звуков, владеющим языком, «сильным, звучным, святым, молитвенным»... И это есть его собственная, настоящая сущность, веры в которую он не может утратить до конца, каким бы ничтожеством он ни представлял себя.

Как раз в дни, когда Лермонтов захвачен был воспоминаниями о Москве, пришел к нему оттуда привет, словно один из тихих звуков «неземной музыки». Явившись в одно из майских воскресений домой, он застал там Акима Шан-Гирея. Он приехал поступать в Артиллерийское училище и поселился у Елизаветы Алексеевны.

«Я привез ему поклон от Вареньки, — вспоминал Шан-Гирей. — В его отсутствие мы с ней часто о нем говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:

— Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

— А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь ее мизинца! — возразил я, рассердившись не на шутку.

Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились».

Лермонтов не заметил, что тут произошла какая-то «ссора». Увидев, что мальчишка вскинулся на защиту Вареньки, он улыбнулся, похлопал его успокоительно по плечу и ушел к себе. «Покойна... довольна... счастлива! — подумал он. — Слава Богу! Для меня же — не слова, для меня — влажные глаза... Вот что она шлет мне... Она любит меня». Он хотел почувствовать себя счастливым и не мог, хотя всей душой понимал, что это — его счастье. Одиноко и грустно стало ему. Но раньше грусть и горе заставляли его писать стихи! Жгли его душу, гнали ее куда-то. А что же теперь? Переход через пропасть?

Трудные времена настали для Лермонтова. С застывшей в пустом отчаянии душой жил он среди юнкеров, готовился к экзаменам, потом, 5 июня, сдал их и отправился со Школой в Петергофский лагерь. В начале августа возвратился оттуда и стал ждать производства в офицеры, так как его учение кончилось. Время шло, Лермонтов числился юнкером и не мог покинуть Школу, — должен был сидеть в классах, маршировать, ходить в манеж.

Петербургские родственники начинали тревожиться и, конечно, винить Лермонтова, а не начальство в этой задержке его выпуска. В Москве же предполагали, что он уже офицер, а кое-кто передавал это за верное. Лермонтов получил письмо от Саши Верещагиной из Федорова. В последний год их переписка — по вине Лермонтова — почти прекратилась, и это письмо начиналось упреками. «Но довольно, вы раскаялись, — продолжала она, — я слагаю оружие и соглашаюсь все забыть. Вы офицер, примите мои поздравления. Это для меня большая радость, тем более что она была неожиданна. Потому что (я это говорю вам одному) я скорее ожидала увидеть вас солдатом. Вы сами согласитесь, что у меня были основания бояться, и даже если б вы были вдвое благоразумнее, чем прежде, вы все же еще не вышли из разряда сорванцов. Но, во всяком случае, это уже шаг вперед, и я надеюсь, что вы больше не будете пятиться назад... Умоляю, пишите мне скорее, теперь у вас больше времени, если вы не расходуете его на то, чтобы глядеться в зеркало; не делайте этого, потому что кончится тем, что ваш офицерский мундир вам надоест, как все то, что вы видите слишком часто, — это у вас в характере». В этом письме проявилась вся натура Саши — гордая, насмешливая, но искренняя и верная в дружеских привязанностях.

Наступила осень. 30 августа вместе со Школой Лермонтов участвовал в параде по случаю открытия на Дворцовой площади Александровской колонны, ангел на которой должен был теперь вечно напоминать о мире, принесенном русскими войсками в Европу после Отечественной войны 1812 года. В сентябре были маневры в Красном Селе. «Что тетушка Елизавета Алексеевна думает делать? Когда же Мишу ее произведут — и куда?» — спрашивает у Аннет Столыпиной, теперь уже Философовой, ее муж, находящийся в отъезде. Да и сам Лермонтов начинал тревожиться, гадать: в чем тут дело? Уж не довел

ли кто злополучные юнкерские поэмы до сведения начальства. Тогда, может быть, ожидания Саши Верещагиной увидеть его солдатом сбудутся. «Я бы и рад, — думал Лермонтов, — но что станет с бедной бабушкой! Она умрет с горя».

В октябре Лермонтов получил от Саши еще письмо. В нем не было упреков и шуток, все — о «деле»... «Я знаю, — писала она, — что вы не встречаетесь с мадемуазель Сушковой, и никогда бы не посоветовала вам возобновить это знакомство (не нужное ни вам, ни мне, но которое у меня нет возможности прекратить), если бы не одно чрезвычайное обстоятельство... Один наш с вами близкий друг в большой опасности — я делаю что могу и призываю на его защиту вас, поскольку вы теперь имеете свободный доступ в петербургские гостиные... Это мой кузен Алексей Лопухин, только что потерявший, к несчастию, своего отца, ставший самостоятельным человеком и богатым наследником».

Далее Саша коротко передала, как летом 1833 года, будучи в Москве, Катерина Сушкова «увлеклась» Лопухиным, с которым чаще всего виделась у Саши, и как Алексей поддался на эту удочку, несмотря на то, что Саша передавала ему все, что слышала от Сушковой (и рассказала ему все о ее прошлом). О, этот мечтательный и простодушный Алексей! Большие глаза Катерины отуманили ему голову... Родные Лопухина были весьма огорчены. Сушкова уехала в Петербург с уверенностью, что Лопухин вскоре будет к ней свататься. До самой кончины отца он не смел этого делать. Теперь же...

Он обратился к Саше, как к ближайшей подруге Катерины, с просьбой помочь ему подготовить это сватовство. Саша согласилась, но решила окончательно испортить их отношения и начала тайную войну против Сушковой, сохраняя вид верной подруги. Она в письмах просила Сушкову не разглашать пока ее отношений с Лопухиным и не извещать о них своей родни, сообщив, что Алексей также по ее совету нем как рыба. Это, мол, нужно для того, чтобы цель была достигнута без помех. Лермонтова же Саша просила во имя его дружбы с Алексеем попытаться сблизиться с Катериной и расстроить как-нибудь этот предполагаемый брак. «Нужно спешить, — писала она, — так как в декабре Алексей едет в Петербург осуществлять свое намерение. Этого нельзя допустить!» Лермонтову и в самом деле стало жаль Алексея. Однако, чтобы начать исполнение этого заговора, нужно

было дождаться корнетских эполет — без них-то к Сушковой не стоит и подходить... 1 ноября темный вопрос о производстве Лермонтова в офицеры вдруг прояснился.

В этот день в Школе был вывешен приказ: «Завтрашнего числа после развода его императорское высочество командир отдельного гвардейского корпуса изволит смотреть юнкеров и подпрапорщиков, предназначенных к выпуску в офицеры, в Михайловском экзерциргаузе, а потому рекомендую всем гг. штаб- и обер-офицерам эскадрона и роты находиться на сем смотру в полной парадной форме». Командиром гвардии был великий князь Михаил Павлович, известный своим знанием фрунта и необыкновенной придирчивостью. Юнкеров он смотрел в конном строю. Ротмистр Стунеев боялся за Лермонтова, но все обошлось. Великий князь был в духе, юнкера показались ему «твердыми в верховой езде», и он объявил «особенную» благодарность всем офицерам Школы. Теперь нужно было ждать высочайшего приказа. Наконец последовал и он: «Его императорское величество, в присутствии своем в Риге, ноября 22-го дня 1834 года, соизволил отдать следующий приказ... По кавалерии: производятся по экзамену из юнкеров в корнеты: Кавалергардского ее величества полка Тизенгаузен 2-й, в тот же полк, и Мартынов в лейб-Кирасирский его высочества наследника... Лейб-гвардии Гусарского полка: Лермонтов. Подписал: за отсутствием военного министра, генерал-адъютант Адлерберг». 4 декабря приказом по Школе Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка и «исключен из списочного состояния». Офицерский мундир был уже сшит. Елизавета Алексеевна искала хорошего портретиста, и ей указали на Филиппа Осиповича Будкина, «постороннего ученика» Академии художеств, серебряного медалиста, о котором с похвалой отзывался Карл Брюллов. Будкин в два сеанса написал маслом большой портрет, причем терпения Лермонтова хватило только на лицо — мундир художник отделывал без него.

Лермонтову не хватало времени. Он был теперь гусарский офицер, но назначения в полк еще не получил. Он опять, как по приезде в Петербург, объезжал с визитами родню, исполняя тяжкий долг и не смея отказать в этом бабушке, которая с гордостью (дело сделано и все неудовольствия позабыты!) показывала всем своего гусара.

Того же 4-го числа, когда он получил право надеть

офицерский мундир, вечером, Лермонтов появился на балу у мадам Кнорринг, не зная, будет ли тут Сушкова. Она оказалась здесь. «Мишель подбежал ко мне, — вспоминала она, — восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:

— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.

Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще больше как другу Лопухина. Лопухин был моей первенствующей мыслью. Я не видала Лермонтова с 1830 года; он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел...

— Меня только на днях произвели в офицеры, — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен... В юнкерском мундире я избегал случая встречать вас; помню, как жестоко вы обращались со мной, когда я носил студенческую курточку.

— А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись, теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами...

Тут мы стали болтать о Сашеньке, о Середникове, о Троицкой лавре. Много смеялись, но я не могла решиться замолвить первая о Лопухине.

Раздалась мазурка; едва мы уселись, как Лермонтов сказал мне, смотря прямо мне в глаза:

— Знаете ли, на днях сюда приедет Лопухин.

Для избежания утвердительного ответа я спросила:

— Так вы скоро его ждете?

Я чувствовала, как краснела от этого имени, от своего непонятного притворства, а главное — от испытующих взоров Мишеля.

— Как хорошо, как звучно называться madame de Lopoukhine, — продолжал Мишель, — не правда ли? Согласились бы вы принять его имя?

— Я соглашусь в том, что есть много имен лучше этого, — отвечала я отрывисто, раздосадованная на Лопухина, которого я упрекала в измене; от меня требовал молчания, а сам, без моего согласия, поверял нашу тайну своим друзьям, а может быть, и хвастается влиянием своим на меня. Не помню теперь слово в слово разговор мой с Лермонтовым, но помню только, что я убедилась в том, что ему все было известно и что он в беспрерыв-

ной переписке с Лопухиным; он распространялся о доброте его сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве».

Через день, 6 декабря, Лермонтов был принят в доме Сушковых. Там, танцуя, он продолжал с Катериной разговор о Лопухине:

— Я уверен, что если бы отняли у него принадлежащие ему пять тысяч душ, то вы бы первая и не взглянули на него.

— Могу вас уверить, я не знала, богат он или беден, когда познакомилась с ним в Москве... Для меня богатство все равно, что роскошный переплет для книги: глупой не придаст занимательности, хорошей не увеличит цены.

— Да, я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему, а он-то совсем растаял; я знаю все; помните ли вы Нескучное, превратившееся без вас в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами он сюда едет.

«Мне еще досаднее стало на Лопухина, зачем поставил он меня в фальшивое положение перед Мишелем, разболтав ему все эти пустяки и наши планы на будущее», — пишет Сушкова.

Лермонтов приехал к Сушковым и на другой день. Он не верил, что Катерина может быть верна своему жениху. Он решил заставить ее полюбить себя, выступить в роли светского Демона, — обольстить и погубить, то есть расстроить ее брак с Лопухиным, так как он увидел ясно, что она такое.

13 декабря Лермонтов выехал в Царское Село, в свой полк, где Алексей Григорьевич Столыпин, вернувшийся из отставки, представил его командиру полка Михаилу Григорьевичу Хомутову и офицерам, в том числе начальнику Лермонтова командиру 7-го эскадрона полковнику Николаю Ивановичу Бухарову. 19-го Лермонтов снова в Петербурге, на балу у адмирала Шишкова, где встречает Катерину Сушкову, которая уже любит его. Опять был долгий разговор о Лопухине. «Я хоть бессознательно, но уже действовала, думала и руководствовалась внушениями Мишеля», — писала она.

21 декабря Лопухин приехал. Лермонтов, узнав об этом, примчался из Царского и в тот же день вместе с другом был у Сушковых. Катерина встретила своего жениха весьма холодно. «Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис, — писал Лермонтов Марии Александровне Лопухиной. — Узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся, потирал руки... Послушайте, мне показалось, будто он чувствует нежность к m-lle Катерине Сушковой... известно ли вам это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани Боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за всё встречное! Было время, когда она мне нравилась; теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, надломленное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях». Лопухин уехал, простившись со своей невестой навсегда.

О дальнейших событиях Лермонтов писал Саше Верещагиной: «Я понял, что m-lle С., желая *изловить меня* (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден к ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда); когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. *Она* так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленною любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывая всем близким моим знакомым, что любит меня — я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как всё это пригодилось мне, — это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории: когда я увидал, что в глазах света

надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ — я написал анонимное письмо: *«M-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д.... предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит и т. д... вот доказательства (разный вздор и т. д...»*. Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения — я всё отношу насчет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, — я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки... Теперь я не пишу романов — я их делаю».

Алексей Лопухин убедился в том, что Сушкова постоянно встречается на балах и танцует с Лермонтовым, что он стал завсегдатаем в их доме и что в их отношениях вообще много подозрительного. Не зная, что это игра, он принял стремление Лермонтова к Сушковой всерьез. Сам он действительно ее любил, и для него тяжка была эта утрата. Его рассказы о Лермонтове (по приезде из Петербурга) даже Сашу Верещагину ввели в сомнение, — кто его знает, думалось ей, — можно же, начав игру с холодной душой, и перемениться. Все говорит о том, что Лермонтов, спасши Алексея от ошибки, занял его место, а в этом есть известная доля коварства. Саша не ответила на письмо Лермонтова, и переписка их снова оборвалась. И если бы знал Лермонтов, что Варвара Александровна Лопухина слушала все разговоры брата Алексея с Сашей... Если бы знал он, сколько тайных слез она пролила, пытаясь похоронить свою любовь к нему... И ей уже стало казаться, что она его больше не любит. К тому же он не писал к ней. А в письмах к Марии Александровне не передавал ей приветов ни явно, ни намеком. Сам того не ведая, Лермонтов разбивал жизнь и самому себе, и тому существу, которое могло бы принести ему счастье, если бы оно было ему суждено.

Что-то призрачное, неживое было для Лермонтова в этой суетливой жизни, где он громоздил обман на обман, говорил то, чего не думал, шел туда, куда не хотел идти. В самый разгар интриги против Сушковой он пишет

Марии Александровне Лопухиной в Москву: «Милый друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; это означило бы порвать последние нити, еще связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущности, пуста и заурядна. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня вовек не получится ничего путного со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути... ибо недостает то удачи, то смелости!.. Мне говорят, что случай когда-нибудь представится, а смелость приобретается временем и опытностью!.. А кто знает, когда все это будет, сберегу ли я в себе хоть частицу молодой и пламенной души, которой столь некстати одарил меня Бог? не иссякнет ли моя воля от долготерпения?.. и, наконец, не разочаруюсь ли я окончательно во всем том, что движет вперед нашу жизнь?»

Эти слова свои Лермонтов назвал «исповедью».

«Возможно и теперь вы пожелаете, — продолжал он, — разогнать ласковыми словами холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается мне в душу, как вода просачивается в разбитое судно!»

В это же время Елизавета Алексеевна пишет о внуке одной из родственниц: «Гусар мой по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденькой, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку не много будет».

4

В Царском Селе Лермонтов остановился у Алексея Григорьевича Столыпина. Он легко вошел в полковую среду — большинство офицеров было ему знакомо с юнкерских времен, а эскадронный командир Бухаров оказался добродушнейшим человеком, прекрасным товарищем и любителем попировать в дружеском кругу. В наряд (дежурство в полку, караул во дворце) офицеры назначались не часто, учений не было, поэтому они почти все время проводили в Петербурге, посещая театры и балы. Командир полка не препятствовал этому. Основные тяготы службы начинались летом — во время смотров, лагерных учений и маневров.

Итак, пропасть как будто перейдена. Запоздалое

мальчишество, вклинившееся в его жизнь вместе с юнкерской школой, исчезло как пар, не оставив следа. Свобода — добыта... Год-два — и можно будет подумать об отставке. Он был в самом бодром настроении. Продолжая посещать театр и балы, он чувствовал, как в нем не по дням, а по часам крепнет намерение писать.

С начала этого года, кроме Шан-Гирея, жил у Елизаветы Алексеевны Святослав Раевский, служивший в министерстве финансов. Лермонтов сошелся с ним уже на равных. Они подружились. Многие часы проводили дома за чтением, шахматами, рисованием, музицированием... Начали ходить в книжные лавки. В этом году вышло много хорошего, — книги стихотворений Пушкина, Баратынского, Бенедиктова, Кольцова, повести Павлова и Гоголя, великолепное «Путешествие ко святым местам» Андрея Муравьева... Библиотека Лермонтова умножалась. Больше всего пополнялся иностранный отдел ее — Купер, Бальзак, Дюма, Виньи, Бульвер Литтон... Были выписаны французские и английские журналы, петербургская «Библиотека для чтения» и московский «Телескоп».

Прошлое становилось воспоминанием, которое уже не тяготило его, а было ему совершенно подвластно. То, что ему не хотелось вспоминать, он забыл. Даже такое сильное, долго мучившее его, как первая любовь и любовь к Наташе Ивановой. То и другое, вместе с окрашивавшими их вертеровским настроением и состоянием каллы, стало просто атмосферой его ранней поэзии и довольно бурной. По ту сторону пропасти, которую он за эти последние два года перешел, темнели фигуры, с которыми ему все-таки еще жаль было расставаться. Это Корсар, Преступник, Джюлио, Аджи, молодой чернец, Ангел смерти, юный моряк, Измаил-Бей, Селим, Хаджи Абрек и Вадим, горбун... Там не было Демона! И не могло быть. Демон не позволил бы ему забыть его... И теперь он тут — его дыхание слышится рядом. И все, что из юношеской лирики Лермонтова оказалось близким ему, Демону, он принес сюда, на этот берег. А юный исповедующийся узник-чернец? С ним расставаться больно — слишком близок он душе и теперь. В той стихии, которую творит поэт, судьба его героев может быть им изменена. Так уже бывало у Лермонтова. «Может быть, и самому мне жить недолго, — думалось ему, — но пусть мой чернец, вкусивший любви и свободы, не будет казнен людьми! Я дам ему волю, пусть и горькую...».

Чернец получил русское имя Арсений, и сразу вокруг него зашумели русские леса, забелел русский снег... А тот седобородый витязь, который жил в своем замке у границ Литвы, отдав свое имя чернецу, остался там, где жил, но сделался боярином Михаилом Оршей, у которого была не строптивая красавица литвинка, взятая в плен, а юная дочь. В русские песни и легенды, в русскую историю понеслось воображение Лермонтова... Сирота, бежавший из монастыря и ставший разбойником... Царь Иоанн Грозный и не менее грозный любимый его боярин... Судилище в монастыре... Сражение русских с литовцами... Арсений, сражавшийся на стороне врага против русских, узнает от умирающего Орши, что дочь его «Не ест, не спит, все ждет да ждет, / Покуда милый не придет!» — и это была (чего не знал Арсений) насмешка... Орша в ту же ночь, как схватил Арсения в светлице его дочери, запер ее там, оставив умирать без еды и питья... И Арсений, примчавшийся освободить ее, нашел в светлице только прах:

Теперь осталось мне одно:
Иду! — куда? не все ль равно,
Та иль другая сторона?
Здесь прах ее, но не она!
Иду отсюда навсегда
Без дум, без цели...

Поэма написана в ритме «Шильонского узника» («Судом в подземелье» Жуковский подтвердил этот ритм).

Так и кажется, что это не история, а предыстория Арсения, что здесь жестокая судьба разбила, а вернее — выковала его душу на огненной наковальне, и теперь, после последней строки поэмы, начнется его жизнь, полная тайны. Байрон, вероятно, только тут и начал бы поэму примерно как это есть в его «Корсаре». Нет, Лермонтов «не Байрон» — он стремится глубже исследовать судьбы своих героев. У него уже сделаны наброски к большой поэме, где он спустится в простой быт и живо, даже с легкой иронией, будет рассказывать жизнь своего рано погибшего сверстника, шаг за шагом, историю за историей, отчасти как в «Дон Жуане» Байрона, но совсем, совсем не то... Это не будет и роман в стихах, подобно пушкинскому «Онегину». Жизнь во всем ее разнообразии, не исключая и того непошлого непотребства, в котором ей приходится обитать. Несколько строф для этой вещи были готовы еще до Школы. Это те, в которых он

сказал, что падшие женщины бывают куда честнее и чище тех, которые в глазах мужчин высшего света мнят представить себя чуть ли не ангелами во плоти... И это будет всерьез... Без юнкерских, рассчитанных на дружный смех слушателей, скабрезностей. Не юнкерская «Илиада»... Но все же — «Илиада», эпос его поколения... Имя героя он недолго искал: Сашка!

Бабушка намеревалась ехать в Тарханы, порядок там наводить, и надолго, может быть, на год. Это было необходимо. Доходы с имения упали. А внуку, офицеру блестящего гвардейского полка, нужно было немало денег, чтобы содержать себя без лишнего, но достойно — квартиры (здесь и в Царском Селе), амуниция, лошади... Да и без товарищеских пирушек не обойдешься. И книги немало стоят. Гвардейскому офицеру нельзя иметь меньше десяти тысяч в год — волей-неволей придется уйти в армейский полк или в отставку.

У бабушки каждый день кто-нибудь из родственников. В середине мая приехала из Москвы тетка Лермонтова, двоюродная сестра его матери мадам Углицкая, еще молодая особа. За обедом она много жаловалась на свою несчастную жизнь, но Лермонтов так и не понял, в чем ее несчастье, ведь она и здорова и богата... Он почти не слушал ее, но вдруг весь похолодел и уставился на нее так, что она поперхнулась. Она сказала, что m-lle Barbe в самое ближайшее время выходит замуж за г-на Бахметева... Лермонтов, однако, быстро справился с собой.

— Может быть, это не совсем так? — хмуро заметил он.

— Как! Вы считаете, что я могу сказать неправду? — обиделась тетка. — Конечно, никто не ожидал... Но m-lle Barbe удивила даже свою мать быстрым согласием на брак с человеком уже немолодым... Ее сестра, очевидно, до сих пор не может прийти в себя от изумления... И все же 25 мая.

— Свадьба?

— Да, уже и свадьба.

«Вот он — последний удар... Теперь отнято все. Ну что ж, ни горя, ни рыданий, ни скрежета зубовного — ничего не будет!» — Лермонтов побледнел, глаза его налились тяжелым мраком... Бабушка с тревогой всмотрелась в него:

— Здоров ли ты, Мишенька?

— Здоров, — сказал он твердо и вышел из столовой.

Шан-Гирей проводил его внимательным взглядом и остался за столом.

Несмотря на всю неожиданность этого известия, Лермонтов как будто ожидал его. Он не стал делать никаких предположений, вдумываться в возможные причины этой измены (конечно, это измена). Ясно было, что Варвара Александровна выходит замуж не по любви и не по приказу маменьки. А отца ее, который и мог бы приказать, — его уже нет. Лермонтов попытался рассердиться на нее, подумать о ней с презрением — и не смог. «Бахметев богат и стар, ей захотелось свободы, нарядов и блестящей жизни; ей надоело девичье затворничество; она — как все; обыкновенная баба», — пытался он настроить себя против нее. И ничего — совсем ничего! — не получалось из этого. Он вспоминал ее лицо. Она смотрела грустно, почти скорбно... Лицо ее было тихое, милое, единственное... Как будто не она выходит замуж. Лермонтов попробовал себя поставить на место Бахметева (уж этот-то точно — старый сноб, золотой мешок и сухарь!) и — тоже не смог.

Он достал из ящика акварельные краски, кисти и принялся писать. Контур лица Вареньки ему удалось схватить сразу... Лермонтов оглянулся — у дверей стоял Аким. Нет, Аким не увидел в глазах Лермонтова ожидаемых им слез. Он увидел спокойствие, почти равнодушие. Аким раскрыл было рот, чтобы сказать что-то, но вдруг рассердился и убежал. Лермонтов положил кисть, подпер голову рукой, и глаза его наполнились слезами. «Я все это предчувствовал, — думал он. — *Он* меня теснит, отнимает у меня все и думает, что это — последнее...

Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда...

Он продолжал писать красками — тяжелое платье синего бархата... «греческая» прическа с золотым обручем... родинка над левой бровью... Нет, это не она выходит замуж. Та, которую он любит, — идеальный образ, бесплотный дух... Она всегда будет с ним. Саше Верещагиной он писал в беспечном тоне сорванца, каким чаще всего перед ней выступал: «Я желаю M-lle Barbe жить в супружеском согласии до празднования ее *серебряной* свадьбы — и даже долее, если до тех пор она не пресытится!..»

Стихов не было. Ни одной строки! Если их писать, то когда же, если не теперь? Но какие это нужно было бы писать стихи? Разве такие только, в которых пришлось бы порвать и с небом и с землей и бросить свою душу в адское пламя... А это уже не поэзия — такого языка у поэзии нет и не должно быть... И он смирил свою душу. И молчал. Но в это же время начался его эпос о Сашке.

Ему казалось, что он замыслил нечто противоположное своим прежним стихам и поэмам, но, зайдя к своей душе с другого конца, он пришел к тому же. Как ни опускал он своего героя в быт (семейный, пансионско-университетский, светский), тот поднимался в романтическую сферу, то есть в ту, где только и могла существовать душа Лермонтова.

Уже в третьей строфе он сообщает, что Сашка умер на чужбине и сердце его спит «в земле чужих полей», что не понял никто его последних слов, слов чужеземца... В «Сашку» прорвались воспоминания о Москве, о пансионе и университете, о доме Лопухиных с его выразительной и незабываемой тенью — «арапом» Ахиллом (его звали на французский лад Ашилем), где и призрака Варвары Александровны ни в каком, самом беглом, очерке не возникло... В «Сашку» вошли начала повести в стихах, вернее только необходимейшие Лермонтову контрасты, резкие параллели (Кремль — бордель; Варвара Александровна — Варюшка, гулящая девка; гулящие девки — дамы света). А сюжета, связного рассказа, кроме предыстории героя, — нет... Лермонтову и не нужен был сюжет в обычном понимании. Еще один контраст — ирония и печаль, причем вторая преобладает, и ее-то Лермонтов невольно поддерживает, выдавая истинное свое настроение. Он выдает его и тем, что охотно бросает рассказ и переходит к стихам, как бы замаскированным под строфы «иронической» поэмы, — в ней упрятан цикл лирических излияний Лермонтова: он словно бы от самого себя замкнул их сюда.

В начале поэмы автор оказывается в самом для него святом месте — в Кремле, у колокольни Ивана Великого:

> Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
> Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
> Люблю священный блеск твоих седин
> И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
> Напрасно думал чуждый властелин
> С тобой, столетним русским великаном,
> Померяться главою и — обманом
> Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

> Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
> Вселенная замолкла... Величавый,
> Один ты жив, наследник нашей славы.
> Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
> Заветное преданье поколений...

Тут отразилось и стихотворение «Два великана», прощальное, написанное перед отъездом в Петербург.

Может показаться чуть ли не кощунством, ну, если сказать мягче, ухарством, что прямо из Кремля («Ну, муза.../ Куда теперь нам ехать из Кремля?/ Ворот ведь много, велика земля!») автор мысленно из всей «великой земли» выбирает лачугу на Пресне, едет к проституткам, невидимо вместе со своей музой входит туда и описывает двух девиц, пока праздно сидящих за картами, — Тирзу и Парашу. Однако нет, из святого места читатель вовсе не попадает в грязное и пошлое. Оно, конечно, не святое, но оказывается и не грязнее всего того, что в обществе считается чистым... К тому же здесь больше искренности, простоты и даже чувства... Здесь Лермонтов, может быть невольно, мстит изменившей ему Варваре Александровне. Рассказав о судьбе красавицы Тирзы, он переходит ко второй:

> Она звалась Варюшею. Но я
> Желал бы ей другое дать названье:
> Скажу ль, при этом имени, друзья,
> В груди моей шипит воспоминанье,
> Как под ногой прижатая змея;
> И ползает, как та среди развалин,
> По жилам сердца. Я тогда печален,
> Сердит, — молчу или браню весь дом,
> И рад прибить за слово чубуком.
> Итак, для избежанья зла, мы нашу
> Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

«Она звалась Варюшею...» — ведь все же назвал! — а это имя отсылало читателя того времени к весело-разгульной поэме Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед», где имя это носит одна из девиц в таком же домике и на той же Пресне...

И дальше, тут же, но без всякого сарказма и без иронии, он дает читателю понять, что имя это для него свято, отодвигая воспоминания, связанные с ним, назад, на «много лет»:

> Увы, минувших лет безумный сон
> Со смехом повторить не смеет лира!
> Живой водой печали окроплен,
> Как труп давно застывшего вампира,

Грозя перстом, поднялся молча он,
И мысль к нему прикована... Ужели
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук иных —
Волшебный стан и пару глаз больших?
(Хоть признаюсь вам, разбирая строго,
Получше их видал я после много)...

Сашка приезжает на Пресню не из Кремля — с бала. И вот он разговаривает с девицей, с которой ему свободно и хорошо:

«Откуда ты?» — «Не спрашивай, мой друг!
Я был на бале!» — «Бал! а что такое?» —
«Невежда! это — говор, шум и стук,
Толпа глупцов, веселье городское, —
Наружный блеск, обманчивый недуг;
Кружатся девы, чванятся нарядом,
Притворствуют и голосом и взглядом.
Кто ловит душу, кто пять тысяч душ...

Картина переворачивается — свет оказывается внизу... Поехать из Кремля на бал — вот это было бы святотатством.

В лице Сашки — черты многих героев, близких Лермонтову (Чайльд-Гарольда... Онегина...), и его самого, такого, каким он строил себя в своих стихах. Подробный рассказ о детстве и отрочестве Сашки, о его жизни в Симбирске, на Волге, как будто выводит читателя в большое романное время, обещая впереди столь же подробные главы о других периодах его жизни, но оказывается, что для замысла Лермонтова начальной главы достаточно, — все остальное сжато в емкие характеристики, в отдельные факты; нескáзаное — сказано; воображение читателя летит по инерции дальше текста поэмы, и в результате ему кажется, что он знает о Сашке все. А на самом деле он не знает главного: содержания трагедии, которую Сашка пережил в свете. Ясно, что он ее пережил, что она заставила его, как Джюлио или Арсения, мчаться куда глаза глядят, на чужую сторону или подобно Вадиму-горбуну «дышать со всей природой одним дыханьем», вместе с тем желая «одним ударом весь разрушить свет!..» (душа Вадима хотела «обнять всю природу и потом сокрушить ее»).

Обещания вести рассказ в духе полежаевского «Сашки» («Пою, смеюсь. — Герой мой добрый малый»; «Сашка тихо развязал /Свой галстук... «Сашка» — старое названье! /Но «Сашка» тот печати не видал,/ И недозревший он угас в изгнанье...») не сбываются. Лермонтов ничего не взял от «Сашки» Полежаева, да и не собирался брать, хотя в жизни обоих героев были и пансион, и университет — и все это в Москве. В этих намеках на полежаевского «Сашку» есть лукавство особенного рода: Лермонтов как бы обещает еще одну скабрезную поэму, такую, какие он написал в Юнкерской школе. Но этот, может быть уже потирающий руки в предвкушении удовольствия, читатель постепенно разочаровывается, видя, что поэма вполне «серьезна». Даже сцены в борделе не грубы, не пошлы... ни дебошей, ни вина, ни матерщины... Странно! И в девках есть как будто что-то порядочное, даже благородное, особенно в Тирзе.

Никакого ухарства... Все с сочувствием воспринимает *добрый* читатель — наивные мечты простодушной Тирзы сделаться светской львицей. «Сверчка ночного жалобные трели»... шуршание мыши за обоями. Рассказ о том, как Саша возрастал... И, наконец, он забывает о Сашке и слушает самого поэта, отрывки его исповеди: «Я прикажу, кончая дни мои, /Отнесть свой труп в пустыню и высокий/ Курган над ним насыпать...»; «О, я люблю густые облака, /Когда они толпятся над горою...»; «Я здесь один. Святой огонь погас / На алтаре моем. Желанье славы, / Как призрак разлетелося...»; «Я для добра был прежде гибнуть рад, / Но за добро платили мне презреньем...»; «О, вечность, вечность! Что найдем мы там/ За неземной границей мира?..»; «Блажен, кто верит счастью и любви, / Блажен, кто верит небу и пророкам...»; «Блажен, кто посреди нагих степей / Меж дикими воспитан табунами...».

Бабушка не оставила за собой квартиры на Мойке. Лермонтов переехал к Никите Васильевичу Арсеньеву, а она отправилась в Тарханы. Лермонтова навещал здесь Святослав Раевский. Часто приходил Николай Юрьев. Он знал наизусть много стихотворений Лермонтова, считал его великим поэтом и настоятельно убеждал отдавать стихи в журналы. Лермонтов решительно не соглашался, но сам подумывал, что «Сашку» он, пожалуй, мог бы без чувства неловкости видеть в печати. Да чересчур нравственная цензура, конечно, не поймет его намерений и начнет черкать красными чернилами... Нет уж, пусть полежит «Сашка» дома — в целом виде... Юрьев, блестящий декламатор, прочел «Сашку» вслух, — кроме Раевского и Шан-Гирея, были при этом Столыпин-Монго, окончивший учение в Юнкерской школе, Алексей Григорьевич Столыпин и еще два-три человека — все родственники.

На другой день он уехал в Царское Село. Там Алек-

сей Григорьевич зазвал нескольких офицеров, и они упросили Лермонтова прочесть «Сашку», думая, что это нечто вроде «Уланши» или «Гошпиталя». Он прочел — спокойно, не очень внятно, к концу все более твердо. Ему похлопали. Однако, уже уходя, полковник Ломоносов прогудел ему на ухо, как бы шутя:

— Брось ты стихи... Государь узнает, и наживешь ты себе беды!

Лермонтов только посмеялся в ответ. Ну, конечно, грандиозные попойки с бабами, ужасный картеж со ставками тысяч по десяти — это государю ничего, гусарские шалости... сквозь пальцы он смотрит на это. А офицер, который пишет стихи, для него — плохой офицер! Да он чуть ли и не прав со своей стороны. В отставку нужно идти, господин плохой офицер!.. В отставку!.. Тем более что вместо службы в голове что-то вроде «Горя от ума» вертится. Пьеса в стихах. Лермонтов наконец решился выйти к публике как поэт, но не со стихами или поэмами, а с пьесой, с трагедией. Написать, поставить на сцене Александринского театра. И тогда решится его судьба: офицер — или все-таки литератор.

Во время учений в лагерях, в палатке, в свободные часы он обдумывал эту пьесу. Он представил себе Мочалова в главной роли. Какая же это будет роль? Конечно, сильный, во всем разочарованный человек, который делает последнюю ставку... на любовь. Игрок. А уж тут злые силы света замелькали вокруг, интригуя, угрожая, ускользая... Лермонтов ни о чем другом не мог больше думать.

Значит, начать с пьесы.

И как же он был расстроен, раздосадован, когда, возвратившись в начале августа в Петербург, раскрыл последний том «Библиотеки для чтения» и нашел там своего «Хаджи Абрека». Он сразу понял, чьих это рук дело, — Юрьева! Это он списал и отнес Сенковскому поэму. Предательство! Обругать... прибить... Лермонтов кипел негодованием. Юрьев, однако, предвидя такой оборот, недели две не появлялся, а потом пришел и спокойно закурил трубку, развалившись в креслах и положив ногу на ногу.

— Ты понимаешь, что ты наделал? — спросил Лермонтов. — Теперь могут обо мне судить по этой поэме как о плохом стихотворце.

— Поэма вовсе не плоха, — отвечал Юрьев. — Наоборот, она очень хороша! А Сенковский сказал мне, что

берется напечатать все, что ты ни напишешь, все, до последней строки... Наперед, не читая!

— Видать купчишку... И заплатит мне деньги.

— Разумеется. Он всем своим авторам платит.

— «Библиотека для чтения» есть просто пук ассигнаций, превращенный в статьи. Это я тебе привожу слова Шевырева из его статьи «Словесность и торговля». Стало быть, «Хаджи Абрек» принесет мне новые сани... А потом Сенковский напечатает «Сашку», и я куплю себе ковер на стену и новые канделябры. Нет, Юрьев, слышишь? Пусть будут и деньги, но не от хитрого журнального купца. Театр! Вот старинное доброе дело для благородного литератора... А Сенковскому скажи, что я его денег не возьму, я ему ничего не продавал. И никаких стихов он от меня не получит.

— Ты хочешь писать пьесу? — обрадованно воскликнул Юрьев.

— Кто это тебе сказал? — нахмурился Лермонтов. — Ты опасен! Ты и пьесу мою можешь запродать, только оставь ее на виду. Я прикажу дядьке Андрею присматривать за тобой.

Через минуту они сидели за шахматами. Лермонтов стащил фигуру и спрятал ее в карман. Потом другую... На третьей Юрьев его поймал, и поднялся хохот.

— Это за тобой нужно присматривать! — кричал, смеясь, Юрьев.

Юрьев исчезал. Появлялся кто-нибудь другой. Раевский сидел подолгу, выбирал книгу и погружался в чтение. А Лермонтов писал пьесу. Он мог даже во время игры в шахматы оторваться на минуту и набросать несколько строк. Его герой — по имени Арбенин — с юности жил в свете, научился брать от жизни все, что ему хотелось, и наконец стал Наполеоном ломберного стола и кавалером пиковой дамы. Он испытал «все сладости порока и злодейства»; его обуревали «страстей и ощущений тьма»; он заставлял карточную судьбу «с смиреньем» падать к своим ногам. Но он не забывал, что был когда-то обыкновенным желторотым юношей, не сверхчеловеком, не демоном во фраке. Тогда он начал с того, что проигрался, пошел купить яду и вернулся к игре, чтобы восстановить все или умереть: «Счастье вынесло»... И больше он не проигрывал. Сделался богат, независим. Но счастья хотел он другого.

Лермонтов начал пьесу с того времени, когда Арбенин достиг желаемого — он женат и любит свою жену, юное,

невинное создание; она его также любит. Карты оставлены, как он думает, навсегда. С прежними товарищами, участниками его разгульной жизни, порвано... Живет, как ему кажется, добродетельной жизнью. Он даже свое шулерское искусство использовал однажды в добрых целях, — нарушая клятву не садиться за стол, он отыгрывает деньги разорившемуся в один миг молодому офицеру. Он мог управлять ходом игры, и ему казалось, что он владеет и ходом своей жизни, знает людей, всю их тайную природу и что любой поступок любого человека может не только правильно оценить, но и предугадать... Это и было так, но только в отношении злых людей и злых поступков. В конце концов он оказался настолько чуждым добру, что не почувствовал истинности в любви Нины, своей жены, и погубил ее, будучи уверен, что наказывает порок. Он мстил за то, что его обманули в самом главном, в его вере в добро, но ему только казалось, что он верил в него. Он «все перечувствовал» в своей жизни, утончился душой, изощрился разумом, но правды добра его душа не воспринимает. Она во власти Сатаны, который и руководит его поступками, то есть играет игроком, который «проклят Богом». Поэтому Нина с самого начала обречена; ее «счастье» с Арбениным — до первого неблагоприятного случая. Стоило ей в маскараде потерять браслет, как темные силы пришли в движение. Обречен и Арбенин, и его наслаждение добром может длиться только до того же случая. И вот вся его колоссальная опытность летит к черту, разбивается вдребезги о ту железную границу, которая в его сознании разделяет добро и зло. Да, как сказал Шеллинг, — «душа всякой ненависти — любовь»... Да, как считал он (и не только он), — добро и зло происходят из одного источника... Но Бог и Сатана, рай и ад, добро и зло — понятия противоположные и не могут переходить друг в друга даже хотя бы отчасти. Поэтому Арбенину лишь казалось, что он перешел к добродетельной жизни, — он не мог, как полностью предавшийся злу человек, перейти к ней. Решая судьбу Нины, убивая ее, он окончательно уничтожает свою душу, самоуничтожается; он и раньше считал возможным в решительную минуту «на карту бросить душу».

Нет сверхчеловека без мании величия. И Арбенин, мстя, выступает как бы от лица своего поколения:

Я докажу, что в нашем поколенье
Есть хоть одна душа, в которой оскорбленье,
Запав, приносит плод...

Мстит он не сгоряча, не безрассудно, нет... Он тщательно заметает следы. Застав своего оскорбителя князя Звездича спящим, Арбенин хочет убить его (но не убивает):

(растворяет дверь.)

Он спит!.. что видит он во сне в последний раз?

(страшно улыбаясь)

Я думаю, что он умрет ударом —
Он свесил голову... я крови помогу...
И всё на счет благой природы!

Когда начинает действовать яд, когда Нине остается жить считанные минуты, он отсылает прислугу, запирает комнату и, несмотря на просьбы Нины, не зовет доктора. Она это поняла:

Сюда, сюда... на помощь!.. умираю —
Яд, яд — не слышат... понимаю,
Ты осторожен... никого... нейдут...

Самый деятельный человек в своем поколении — преступник, хладнокровный убийца, не позволяющий себе излишнего риска. Так, оскорбив князя Звездича, он отказался выйти с ним на поединок, не дал ему возможности отстоять свое честное имя.

Князь

...Да в вас нет ничего святого,
Вы человек иль демон?

Арбенин

Я? — игрок!

Совесть его не тревожит. Он не ищет себе оправданий, потому что считает себя орудием судьбы. Решив, что нужно убить Нину, он говорит:

Ей, видно, суждено
Во цвете лет погибнуть...

Тем более что яд, этот «талисман таинственный и чудный», он берег для себя, «на черный день», подобно пушкинскому Сальери. И когда черный день настал (он отравил жену — куда чернее!), он играет с собой... Нина отдает ему пустое блюдечко,

Арбенин *(берет)*

Всё, всё!
Ни капли не оставить мне! жестоко!

(в размышлении)

Шаг сделан роковой, назад идти далёко,
Но пусть никто не гибнет за нее.

(Бросает блюдечко об землю и разбивает.)

Сначала сожаление о том, что Нина ничего не оставила ему, потом *размышление* (и тут-то он понял, что на блюдце достаточно отравы), а затем он разбивает блюдце, чтобы *никто другой* не отравился (значит, достаточная капля для него самого все же оставалась).

Лермонтов написал сначала четыре акта (столько же, сколько их в «Горе от ума»), затем переработал всю пьесу, выбросил несколько сцен, многое переделал, особенно в конце. Стало три акта. И назвал пьесу «Маскерад». Она кончалась репликой Арбенина, брошенной уже умершей Нине (на ее последние слова: «Невинна перед Богом»): «Ложь». Это главное в пьесе слово. Лермонтов вбивает его решительным ударом в голову зрителя и оставляет этого зрителя в тяжелом размышлении. Арбенин — сильный, энергичный человек — напитан и опутан ложью, взросшей на его чудовищном эгоизме. Место нравственных устоев занимает в нем маниакальное самолюбие. И если он — «лучший» представитель общества, вернее — своего поколения, то и слава Богу, что оно бездейственно, не плодит Арбениных, которые, если их окажется много, могут разрушить мир.

Рядом с Арбениным Лермонтов поместил его тень — Афанасия Павловича Казарина, игрока и товарища Арбенина в те дни, когда он гнался за «счастьем» и «добродетелью». Казарин — это неукрашенный, не расцвеченный страстями Арбенин. Казарин — суть или скелет Арбенина, — игрок и больше ничего. Казарин не заблуждается насчет Арбенина (как Арбенин на свой счет) и говорит о нем:

Женился и богат, стал человек солидный;
Глядит ягненочком, — а, право, тот же зверь...
Мне скажут: можно отучиться,
Натуру победить. Дурак, кто говорит;
Пусть ангелом и притворится,
Да черт-то всё в душе сидит.

Казарин это говорит Адаму Петровичу Шприху. Дальше идут слова:

И ты, мой друг, *(ударив по плечу)* хоть перед ним ребенок,
А и в тебе сидит чертенок.

Это сравнение Шприха с Арбениным не напрасно. Шприх — карикатурное, но все-таки отражение Арбенина. Ничтожество в полном смысле слова — то, что на самом деле есть и сам Арбенин. Они пара: черт и чертенок... Шприх также имеет власть над людьми света — он ссужает деньги под проценты. Он ищет свои жертвы, тех, кого можно втянуть в долги и разорить, у карточных столов и действует заодно с шулерами вроде Казарина. Арбенин дает ему характеристику — такую, которую можно и к нему самому отнести:

Взглянуть — не человек, — а с чертом не похож.

Шприх, как и Арбенин, сплошная ложь, не человек, а вымысел. Его как бы не существует. Он то, что нужно в очередное время; как говорит Казарин, он —

...с безбожником — безбожник,
С святошей — езуит, меж нами — злой картежник,
А с честными людьми — пречестный человек.

Арбенин смотрит на него с презрением, не чувствуя в нем своего двойника. «Говорят, у вас жена красотка», — поддевает он Шприха. «Ну-с, что ж?» — недоумевает тот. «А ездит к вам тот смуглый и в усах!» — смеется Арбенин и уходит, «насвистывая песню»... И невдомек ему, что вскоре этот Шприх сможет посмеяться над ним!

Лермонтов прочитал «Маскерад» Раевскому. Тот выслушал его в безмолвии и потом деловито сказал, что его нужно предложить Гедеонову, в дирекцию театров.

— После «Горя от ума» я не помню столь хорошо написанной и такой умной пьесы, — сказал он. — И откуда это все у тебя взялось? Ты не человек, а сплошная загадка... Между прочим, твой «Маскерад» не совсем далек от комедии Грибоедова.

— Я не мог не помнить о ней.

— Ну да, и стих сам по себе, и портреты разных лиц, особенно в начале. Пьесы ваши не похожи, но чем-то напоминают Арбенин Чацкого, а Звездич Молчалина.

— Да, да, а Нина — Софью, а Казарин — Репетилова, а Шприх — Загорецкого... Однако если смотреть бли-

же — сходства не получится. Они просто одного поля ягоды...

— У Чацкого с Арбениным есть сходство — оба они страдают самолюбием. Чацкий не собирался мстить Софье, но вспомни, что он ей сказал:

Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал,
близко.
Пред кем я давече так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! о Боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!..

И все это, как Арбенин, *с жаром*... И Арбенину нестерпимо, что его «продали», но больше всего, что продали «за поцелуй глупца». Ты столько страдания вложил в речи Арбенина, что ему начинаешь сочувствовать, хотя уже знаешь, что он и бывший шулер, то есть низкий человек, и злодей. Но вот теперь я начинаю думать, что Арбенин твой еще и глупец... Даже не просто глупец, а смешной дурак под маской учености! Он и страшен, и смешон в одно время. Какую истерику закатил из-за одного только подозрения! Готов лить кровь, убивать, ничего не проверив и никому не поверив, не подумав, что может ошибиться... Ты так его и мыслил?

— Не совсем... Но ты говоришь истину. Я еще хотел сказать, что человек без души, то есть запродавший ее дьяволу, живет одним разумом, а разум без чувства не способен понимать людей, живущих чувствами.

— Это и есть, хотя и в другом смысле, горе от ума.

— Без Грибоедова теперь не может быть театра. И потом не будет.

Они чувствовали, что будут цензурные затруднения. Раевский, как человек дела, решил предпринять в этом направлении какие-то шаги, — он познакомил Лермонтова со своим двоюродным братом Александром Киреевым, который был управляющим в Дирекции императорских театров, а тот представил его директору театров Александру Гедеонову. В октябре Лермонтов беседовал с Гедеоновым и вручил ему список «Маскерада»... Впечатление от этой встречи у него осталось хорошее. Но цензор Ольдекоп, которому передана была пьеса, решительно высказался против ее постановки. После краткого изложения содержания «Маскерада» он писал: «Я не знаю, сможет ли пьеса пойти даже с изменениями; по крайней мере сцена, где Арбенин бросает карты в лицо князю, должна быть совершенно изменена. Возможно, что вся пьеса основывается на событии, случившемся в нашей столице. Я не понимаю, как автор мог допустить такой резкий выпад против костюмированных балов в доме Энгельгардтов...» — и далее привел слова баронессы Штраль, сказанные князю Звездичу в ответ на его предположение, что она была на маскараде:

Я объявить вам, князь, должна,
Что эта клевета ни мало не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, осмеет;
Рискнуть быть узнанной, — вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов.

Этого Ольдекоп, конечно, не мог понять. Какая смелость!.. Или вернее — какая наглость! Неужели автор не знает, что на маскарадах у Энгельгардтов бывают члены императорской фамилии? Сама царица — инкогнито, под маской. Кому же это неизвестно? Лермонтову, может быть, это и не было известно. Раевскому тоже. Поэтому, ничего в тексте не изменив, Лермонтов предпринял некоторые действия в защиту пьесы. Летом этого года он познакомился с жившим в Царском Селе Андреем Николаевичем Муравьевым, поэтом, автором известных «Путешествий ко святым местам», другом Грибоедова и Пушкина. Этот высокий — прямо великан, — белокурый человек служил обер-прокурором в Синоде. Лермонтов был у него раза два-три и в ответ на его усиленные просьбы прочел однажды несколько своих стихотворений. Муравьев, сам поэт довольно бесстрастный и даже холодный, все-таки с удовольствием отметил в стихах молодого гусара «пылкие страсти»... Двоюродный брат Муравьева Александр Мордвинов был одним из начальников в Третьем отделении, ведавшем и цензурой. Раевский заставил Лермонтова пойти к Муравьеву, прочесть ему «Маскерад» и попросить его о помощи. Все это было весьма непривычно и даже дико для Лермонтова, но он все-таки пошел...

Муравьев увидел в «Маскераде» «резкую критику на современные нравы» и отдаленное сходство с «бессмертным творением Грибоедова» (как он говорил). Этого сходства для него, считавшего себя одним из задушевнейших друзей Грибоедова (они вместе путешествовали по Крыму), было достаточно. Он обратился к своему брату, рассказал ему о Лермонтове и о том, что тот недоволен отзы-

вом цензора. Мордвинов потревожил самого Бенкендорфа, и тот, прочитав пьесу Лермонтова, сразу увидел выпад против «всякого сброда» на маскарадах у Энгельгардта, но запрет цензора подтвердил другими мотивами — тем, что в пьесе характеры и страсти «слишком резки», что «в ней добродетель недостаточно награждена» и что вообще надо, чтобы «она оканчивалась примирением между г-ном и г-жой Арбениными»... Лермонтову этот отзыв Бенкендорфа был передан устно, вероятно, Мордвиновым.

— Вот она, жизнь литератора, — говорил Лермонтов Раевскому. — Как на войне: только высунешься, а уж по тебе палят...

— Однако это ведь не журнальные критики... С критиками бороться не следует, а с этими нужно. Тут своего рода политика...

— Ты думаешь?

Лермонтов снял со стены эспадрон и дважды крест-накрест с силой рассек воздух.

— Да, — сказал он. — Мне ведь не напрочь отказано. «Возвращено для нужных перемен»... Чего хочет Бенкендорф, того я не сделаю... Но кое-что переменю.

И засел за работу. «Всякий сброд» он не выбросил, хотя легко мог бы им пожертвовать (а в нем-то и была главная опасность). Он ввел в пьесу новый персонаж — Неизвестного, который как бы продолжил линию Казарина, исчезнувшего на полпути. И написал четвертое действие, совершенно новое. В конце третьего у Арбенина смутно блеснуло сомнение в своей правоте. Он смотрел на умирающую жену и *содрогался:*

Бледна! Но все черты спокойны, не видать
В них ни раскаянья, ни угрызений...
Ужель?

Из этого «ужель» и выросло все четвертое действие. Арбенин сидит в размышлении, вспоминает «ее мольбы, тоску» и гонит прочь правду:

...О! мимо, мимо
Ты, пробужденная змея.

(Упадает головою на руки.)

Случившийся тут Казарин не верит в его тоску: «Да полно, брат, личину ты сними», — говорит он. Но тут он ошибается. Арбенин начинает понимать, что он не Судья, наказывающий порок, а обыкновенный убийца, преступник... Он еще борется против такого унизительного состояния, пытаясь восстановить свое эгоистическое душевное равновесие, но оно приходит во все больший разлад. И последний удар эгоисту наносят эгоисты, замкнутые всеми своими мыслями на себе, — князь Звездич и Неизвестный. Они входят в дом Арбенина, где еще стоит гроб его жены, и открывают ему, что его жена не виновата. И это в тот момент, когда он мучился догадкой:

Ужель я ошибался? — невозможно
Мне ошибиться...

Неизвестный — это человек, который «семь лет тому назад» был разорен за карточным столом Арбениным, пущен по миру... Он говорит Арбенину:

Недавно до меня случайно слух домчался,
Что счастлив ты, женился и богат.
И горько стало мне — и сердце ароптало,
И долго думал я: за что ж
Он счастлив — и шептало
Мне чувство внятное: иди, иди, встревожь,
И стал я следовать, мешаяся с толпой,
Без устали всегда повсюду за тобой...

Этот Неизвестный на балу, очевидно, подсмотрел, как Арбенин насыпал яд в мороженое и подал жене... А тот был уверен, что свидетелей нет... «Послушай: ты... убил свою жену!...» — *протяжно* сообщает Арбенину Неизвестный. Здесь в разговор вступает князь Звездич, который требует от Арбенина удовлетворения — тут же, сейчас, а между прочим сообщает ему, что его жена безгрешна, что браслет нашла баронесса Штраль:

И баронесса — этим вот письмом
Вам открывается во всем.

Арбенин сходит с ума. Гордый мститель в нем уничтожен. От Арбенина не осталось ничего. Наказан ли он? Неизвестный считает, что да:

Давно хотел я полной мести,
И вот вполне я отомщен!

А князь Звездич считает, что Арбенин, сойдя с ума, ускользнул от расплаты — и от собственного горя, и от его — Звездича — пистолета:

Он без ума... *счастлив...* а я? навек лишен
Спокойствия и чести!

Они оба включены Арбениным в *стихию мести*, всем существом подчинены ей. Это тени самого Арбенина. Они все гибнут. Арбенин сошел с ума; Звездич потерял возможность восстановить свою репутацию; Неизвестный, достигнув цели своей жизни, утратил двигавшую им идею и потерял смысл жизни... Люди связаны в один узел, живут призрачными страстями, и у них как будто общая судьба.

Нужно, нужно поставить пьесу на сцене... пускай зритель с тоской задумается о добре... Не о злобе, эгоизме, и мести, а о добре! Пусть мысленно переиграет все события, чтобы Арбенин отдал деньги Неизвестному, сам бросил карты — раньше того, как достиг высот «искусства»: чтобы *поверил правдивым словам Нины и не преследовал князя*, который ни в чем перед ним не виновен... Пусть зритель думает, думает!.. А пьеса не басня — выводить в ней прописей морали не следует...

Итак, Лермонтов сделал в «Маскераде» *перемены*, но, *оказалось*, не совсем *нужные*, по представлениям цензора. Он просто поработал, крепко поработал недели с три, забыв обо всем... Он ясно понимал, что драма удалась, что получилась серьезная, настоящая вещь... Но хлопотать больше не мог, как его ни уговаривал Раевский. Не знал, что делать. И вдруг его осенило: он решил подарить «Маскерад» Раевскому:

— Хлопочи, ставь на сцену, если удастся, бери с нее доход.

Он должен был ехать в Тарханы. 20 декабря у него начинался отпуск.

Раевский согласился, разумеется, не ради дохода. Попросил только написать к Гедеонову. Лермонтов продиктовал ему такое письмо: «Милостивый Государь, Александр Михайлович, возвращенную цензурою мою пьесу «Маскерад» я пополнил четвертым актом, с которым, надеюсь, будет одобрена цензором; а как она еще прежде представления Вам подарена мною г-ну Раевскому, то и новый акт передан ему же для представления цензуре. Отъезжая на несколько времени из Петербурга, я вновь покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать моему труду высокое внимание ваше...». Своей рукой поставил только подпись.

Елизавета Алексеевна уже с сентября ждала внука в Тарханах. «Истинно, мой друг, забываю все горести, — писала она ему, — и со слезами благодарю Бога, что он на старости послал в тебе мне утешение»... Она купила ему тройку лошадей («И говорят, как птицы летят»), да еще «домашних» лошадей, но не объезженных... Она прочитала в Тарханах «Хаджи Абрека» и назвала его «бесподобным». Дошли до нее слухи о «Маскераде»: «Да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, — все, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а коли можно, то и пришли через почту». Бабушка сообщала, что в Середниково заезжать не нужно, так как Катерина Аркадьевна уже переехала в Москву, что в Москве у нее в доме «на дворе тебя дожидается долгуша точно коляска, перина и собачье одеяло, может, еще зимнего пути не будет...» Советовала ехать из Москвы не на Пензу, а «на Рязань, на Козлов и на Тамбов, а из Тамбова на Кирсанов в Чембар», чтобы не делать «слишком двести верст крюку».

Дня за четыре до своего отъезда Лермонтов отправил в Москву кучера Митьку, поручив ему сундук со своим добром — мундиры, белье, книги... 21 или 22 декабря и сам, простившись с Раевским, выехал. Три с лишним года не был он в Москве. Но не годами, не календарем измеряется жизнь! Уезжал из Москвы студент, а возвращается гусарский офицер. Уезжал мучимый страстями и, как ему казалось, уставший жить и страдать юный стихотворец. Возвращается... Да полно, не тот же ли самый? Чем ближе к Москве, тем больше волнения и воспоминаний. Казалось, ушла куда-то, уснула любовь, а она словно вместе с ветром летит на него. И опять в груди горечь и страдание. Неужели это так, неужели Варенька замужем? Смешно, конечно, пребывать в каких-то сомнениях, но лучше об этом пока не думать. Надо это увидеть! А нужно ли ее — или их — видеть-то? Нужно... Непременно нужно поглядеть ей в глаза. Что же это было с ее стороны — ошибка или измена?

5

«Миша приехал ко мне накануне нового году. Что я чувствовала, увидя его, я не помню и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен, — писала Елизавета Алексеевна Крюковой. — Тут начала плакать, и легче стало. План жизни моей, мой друг, переменился: Мишинька упросил меня ехать в Питербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла ему отказать и так решилась ехать в маии. Его отпустили ненадолго... на шесть недель и в первых числах

февраля должен ехать... Я все думала, что он болен и оттого не едет и совершенно страдала. Нет ничего хуже как пристрастная любовь, но я себя извиняю: он один свет очей моих, все мое блаженство в нем». Елизавета Алексеевна пишет в этом письме и о погоде, какая была в Тарханах во время приезда Лермонтова: «У нас морозы доходют до 30 градусов, но пуще всего почти всякой день мятель, снегу такое множество, что везде бугры... ветра ужасные, очень давно такой жестокой зимы не было».

Радости было много — для Андрея Соколова и его жены, которые наконец свиделись; для кормилицы и крестников Лермонтова, а также для многих крестьян — они шли один за другим в усадьбу посмотреть на молодого барина, теперь бравого офицера, а особенно — для друзей его детских игр. В новогодний праздник он побывал во многих избах села — беседовал, угощался, слушал песни. И везде за ним ходила тень его матери — он чувствовал сердцем ее любовь, ее доброту, ощущал ее прикосновение как тогда, когда она вела его за руку, маленького мальчика, неустойчиво шагавшего на косолапых ножках...

Всю ночь трещали поленья в камине, за окном шумел ветер. Лермонтов вспоминал свое краткое пребывание в Москве.

Он остановился у Катерины Аркадьевны Столыпиной. В тот же день (случай!) у нее была с визитом племянница — Варвара Александровна Бахметева с мужем Николаем Федоровичем Бахметевым. Лермонтову страшно было видеть Вареньку рядом с тридцатисемилетним супругом, уже успевшим обзавестись небольшой лысиной и брюшком, — он был самоуверен и благодушен и, как видно, ничего не слыхал об их прежней любви. Лермонтов много говорил, делая намеки, понятные одной Вареньке. И когда он почувствовал, что она его еще любит, невыносимое страдание охватило его душу. Он умолк. Он был в растерянности и страхе. Да полно, правда ли это, какой-то муж... богатый человек, который решил, что ему нужна жена, и выбрал самую скромную девицу из тех, которых видел вокруг себя. Откуда ему знать, что судьба ее должна быть иной. Как же теперь помочь судьбе? Оскорбить Бахметева и вызвать на дуэль? Нет, это не годится. Кажется, теперь ничего не исправишь. Но любовь — она может остаться и быть... Из Москвы Лермонтов выехал в полном смятении. Нужно было что-то делать.

А что же делать? Отогреваясь чаем на почтовых станциях, он фантазировал. Вот если бы, думал он, послать ей записку с предложением прийти на тайное свидание, пригрозив дуэлью с Бахметевым... Конечно, он не стал бы этого делать, это чересчур театрально, но это могло стать для него мигом полного счастья, которым можно было бы дышать всю остальную жизнь... Лермонтов все больше чувствовал в себе какое-то раздвоение — с одной стороны он понимал Вареньку, вернее, как-то верил ей, в ее любовь, несмотря на замужество, от которого она, Бог знает почему, не могла отказаться; с другой — ненавидел за измену, за разбитую жизнь, хотел бы преследовать ее — так, чтобы она ни минуты покоя не знала, чтоб не могла больше никого любить. Мстить... мстить ей.

Да, *двое*... Он стал мысленно делить свои чувства надвое, и получились как бы два человека, *два брата*. Сильнее из них тот, кто более зол, — мститель, способный на все, хотя и отвергнутый, но не желающий быть жертвой. Он эгоист. Он не сердцем, только головой знает, что такое любовь... Для него нет ничего святого. В нем что-то от Евгения Арбенина. А в другом много от Арбенина Владимира из «Странного человека». И в нем-то Лермонтов видел себя больше, чем в том, другом.

Еще в пути, под свист полозьев и понукания ямщика, стала складываться в голове у Лермонтова интрига пьесы о двух братьях.

Юрий, офицер, после трех или четырех лет отсутствия, возвращается в Москву, к отцу и брату Александру. Юрию двадцать один год, Александру — тридцать. Отца зовут Дмитрий Петрович, и он очень болен, при смерти.

«Александр. Да вот уж четыре года, как брат не был дома... И сам он много переменился, и здесь в Москве всё, кроме нас, переменилось... Я думаю, он не узнает княгиню Веру.

Юрий. Какая княгиня?

Дм. Петр. Разве не знаешь?.. Веринька Загорскина вышла за князя Лиговского! Твоя прежняя московская страсть.

Юрий. А! так она вышла замуж, и за князя?

Дм. Петр. Как же, 3000 душ и человек пречестный, предобрый, они у нас нанимают бельэтаж, и сегодня я их звал обедать».

Отец просит Юрия «не покушаться никогда разрушить их супружеское счастье».

Наконец — встреча. Юрий начинает язвить Веру. Он подхватывает рассказ Александра о женщине, отказавшей

«жениху с миллионом»: «Женщина, отказавшая миллиону, поздно или рано раскается, и горько раскается. Сколько прелестей в миллионе! Наряды, подарки, вся утонченность роскоши, извинение всех слабостей, недостатков, уважение, любовь, дружба... вы скажете, это будет всё один обман; но и без того мы вечно обмануты, так лучше быть обмануту с миллионом». Веру эти слова мучают. Она перебивает речь Юрия, переводит внимание всех на другое. Юрий упорно возвращается к своему и говорит насмешливо: «Да, княгиня, миллион вещь ужасная». Потом она просит Александра сказать Юрию, что он ее «чрезвычайно обидел, намекая на богатство мужа». Она говорит, что ее замужество — «безумие, ошибка». Оставшись одна, она вдруг понимает, что ее любовь к Юрию не прошла: «С нынешнего дня я чувствую, что я погибла!.. я не владею собою, какой-то злой дух располагает моими поступками, моими словами».

При второй встрече (втроем: Юрий и князь с женой) Юрий прямо при князе рассказывает свою историю, слегка ее замаскировав, так, что князь ничего не принял на счет Веры и себя. Юрий сказал, что только что сделал «очень интересный визит» и страшно взволнован. «Я видел девушку, в которую был прежде влюблен до безумия».

«Вера (рассеянно). А теперь?

Юрий. Извините, это моя тайна, остальное, если угодно, расскажу...

Князь. Пожалуйста — писаных романов я не терплю — а до настоящих страстный охотник.

Юрий. Я очень рад. Мне хочется также при ком-нибудь облегчить душу. Вот видите, княгиня. Года три с половиной тому назад я был очень коротко знаком с одним семейством, жившим в Москве... Девушка, о которой хочу говорить, принадлежит к этому семейству; она была умна, мила до чрезвычайности; красоты ее не описываю, потому что в этом случае описание сделалось бы портретом; имя же ее для меня трудно произнесть.

Князь. Верно, очень романтическое?

Юрий. Не знаю, но от нее осталось мне одно только имя, которое в минуты тоски привык я произносить как молитву; оно моя собственность. Я его храню, как образ благословения матери, как татарин хранит талисман с могилы пророка.

Вера. Вы очень красноречивы.

Юрий. Тем лучше. Но слушайте: с самого начала нашего знакомства я не чувствовал к ней ничего особенного, кроме дружбы... говорить с ней, сделать ей удовольствие было мне приятно — и только. Ее характер мне нравился: в нем видел я какую-то пылкость, твердость и благородство, редко заметные в наших женщинах, одним словом, что-то первобытное, допотопное, что-то увлекающее — частые встречи, частые прогулки, невольно яркий взгляд, случайное пожатие руки — много ли надо, чтоб разбудить таившуюся искру?.. Во мне она вспыхнула; я был увлечен этой девушкой, я был околдован ею; вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе; она вырвала у меня признание, она разогрела во мне любовь, я предался ей, как судьбе, она не требовала ни обещаний, ни клятв, когда я держал ее в своих объятиях и сыпал поцелуи на ее огненное плечо; но сама клялась любить меня вечно — мы расстались — она была без чувств, все приписывали то припадку болезни — я один знал причину — я уехал с твердым намерением возвратиться скоро. Она была моя — я был в ней уверен, как в самом себе. Прошло три года разлуки, мучительные, пустые три года... И вот наконец я вернулся на родину».

Все, что здесь говорит Юрий, — картина отношений Лермонтова с Лопухиной перед его отъездом в Петербург. Лермонтов не заметил даже, что из четырех лет отсутствия Юрия он сделал в пьесе три — те три, которые сам провел в Петербурге. На этом рассказе Юрия кончается все действительное, что было в Москве буквально на днях.

Юрий и Александр стоят друг против друга в том же соотношении, как Карл и Франц Мооры в «Разбойниках» Шиллера (оттуда же и старый больной отец). Лермонтов писал пьесу быстро. Через две недели уже было готово четвертое действие. Правда, действия были очень короткими, и вообще вся пьеса, при ее пяти действиях, оказалась невелика. Малое число действующих лиц... стремительное развитие событий... Уже с середины второго действия вниманием зрителя овладевает Александр. В отсутствие Юрия он сумел обольстить Веру. «Я решил узнать хоть раз, что значит быть любимым... и для этого избрал тебя! — говорит он Вере. — Бог меня послал к тебе как необходимое в жизни несчастие. Но для меня ты была ангелом-спасителем. Когда я увидал возможность обладать твоей любовью — то для меня не стало препятствий... Все средства были хороши, я, кажется, сделал бы самую неслыханную низость, чтоб достигнуть моей цели...

а теперь плачу, как ребенок, плачу... когда вспомню, что был один раз в жизни счастлив». Александр видит, что Вера готова снова полюбить Юрия. Он прямо говорит ей: «Этого не будет... нет; что хоть раз мне принадлежало, то не должно радовать другого... а этот другой — мой брат Юрий». Завязывается борьба между братьями, в нее втянут и умирающий отец. Александр перехватывает записку Юрия к Вере, не дает им встретиться и через отца предупреждает князя об опасности. Князь увозит Веру в деревню.

Лермонтов ничего не решил этой пьесой. И от «изменницы» не отделался. Нет, она не похожа на изменницу, что бы там ни было. Не похожа ни на Аннет Столыпину, ни на Иванову Наташу. И хоть есть правда в словах Александра в заключительной сцене: «Ты думал, что когда раз понравился 17-летней девушке, то она твоя навеки, — что она не может любить другого, видевши раз такое совершенство, как ты...», — на Варвару Александровну нужно смотреть по-иному. В ней есть, как и в нем, то, что выше жизни, выше установлений человеческих. Он ведь видел, понял — нет ничего более чуждого для нее, чем Бахметев. Но она не унизится до бабьих измен, тайных страстей — душа ее живет свободно, принадлежит только ей и стремится к нему... Вот она, здесь, близко...

Еще не окончив пьесы, он написал Святославу Раевскому. На душе у него было тяжко, смутно, а это письмо он сочинил в озорном «юнкерском» стиле, как будто он был не Лермонтов, а, например, Барятинский... Он живо представил себе, как серьезный Святослав, увидев непристойные слова и легкомысленные фразочки, изумится, отложит листок в сторону и, постучав пальцами по столу, подумает: «Беда с этими гвардионцами!..» А на другом конце стола лежит у него тетрадь с «Маскерадом», снова возвращенная «для нужных перемен»... Потому-то он и не пишет в Тарханы. Не торопится отвечать. Потом Раевский возьмет листок снова и дочитает до конца, а там уже всерьез: «Объявляю тебе еще новость: летом бабушка переезжает жить в Петербург, то есть в июне месяце. Я ее уговорил потому, что она совсем истерзалась, а денег же теперь много, но я тебе объявляю, что мы все-таки не расстанемся».

В январе, в Тарханах, Лермонтов перечитывал Пушкина, вернее — клал книгу перед собой, перелистывал и с раздумьем вглядывался в страницы — он это все знал наизусть. И когда он писал «Двух братьев» — с думой о

Варваре Александровне — за ней вставал легкой тенью образ Татьяны из «Евгения Онегина» — замужней и столь прекрасной... Рядом — муж. И этот несчастный, упустивший свое счастье (как Лермонтов) Онегин...

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьяны показался...

А за Татьяной видится, совсем уже смутно, но с еще большей грустью, «та, с которой образован Татьяны милый идеал...». И что же вся эта братия журнальных писак? Им плевать на идеалы... Им надо по своему произволу славить, а потом развенчивать поэта. Но ты, поэт, если тебя еще не изгнали, не убили, посторонись, отойди, — тут дела ох какие важные: «журнальные сшибки»:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!

Пушкин жив и пишет. Между тем какой-то *Белинский* (уж не он ли вероломный друг Арбенина из «Странного человека»? — усмехнулся Лермонтов, закрывая прошлогодний номер «Телескопа»), написал, что он «уже совершил круг своей художнической деятельности». Этакая наглость! Да как вы, Белинские, можете знать, на что способен великий поэт! Великий поэт чем-то мешает писакам... Белинским... Булгариным... Многим из них не нравится «Онегин» и еще более «Домик в Коломне». Они не видят тут поэзии. Это для них — пустяки. Они хотят новых и новых «Кавказских пленников» и «Цыган». А что, если дать им, для пущей их злости журнальной, поэмку вроде «Гошпиталя» или «Уланши» и притом скла-

дом «Онегина»? Историйку ни о чем, о фате и бабе, о картах и дряни житейской, происходящую, ну, скажем, в Пензе или Тамбове... Героем быть должен непременно улан, бывший лихой юнкер, «одно из славных русских лиц»... Ну вот, как в «Уланше», пусть идет полк удальцов, но уж не в лагерь через деревню, а на зимние квартиры, в город.

Надо попробовать... Начать, а там — куда вывезет.

Пускай слыву я старовером,
Мне всё равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на прежний лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы...

Тамбов... Там, напротив гостиницы «Московская», дом казначея. Казначей — старый шулер, нечто вроде состарившегося Казарина из «Маскерада», «враг трудов полезных»; вокруг него такое же, как в «Маскераде», общество: «губернский врач, судья, исправник». Он стар и лыс, но у него (так уж это ведется) молодая жена, которую он не мог оценить иначе, как на деньги: «Ее ценил он тысяч во сто...», — и не зря. Он приспособил ее к своему шулерскому делу, уча во время игры «бросить вздох иль томный взор» его партнеру, чтоб тот, отвлекшись, «не разглядел проворной штуки»... Идет рассказ, плетется нехитрая интрига, и почти в каждой строфе Лермонтов оставляет по одной, две, три или четыре строки точек или черточек, чтобы читатель думал, что тут сокрыты непристойности, может быть, просто грубые, а может быть, и остроумные (пусть-ка Белинские и Булгарины поломают головы).

Старый муж и молодая жена — вроде как Лиговские, но совсем карикатурно (и не без мысли о Бахметевых... и о пушкинской Татьяне с ее супругом...). *Муж* все старее: Бахметеву 37, Лиговскому — 42, мужу Татьяны, очевидно, под или за пятьдесят, а казначей просто старик «с огромной лысой головой». Эта разница в возрасте таит опасность для мужей. А для казначея и вовсе катастрофу, так как он... И, несмотря на то, что он искуснейший шулер, игрок, не знающий себе равных в Тамбове, ему готовится проигрыш, да какой! Вдруг на него напало страшное невезение:

...Он взбесился —
И проиграл свой старый дом,
И всё, что в нем или при нем.
Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче — всё, всё дочиста...

Это была игра символическая — молодость играла со старостью и не могла не выиграть. Все проиграв, казначей просит «талью прометнуть одну», чтоб отыграться или — «проиграть уж и жену». Проиграл.

...Ее в охапку
Схватив — с добычей дорогой
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой...

Это как бы Арбенин, если бы он проиграл жену Звездичу (а он, если и не Звездичу, все-таки жену проиграл, «прометнув талью» с судьбою или с чертом...). Арбенин из «Маскерада» и Александр из «Двух братьев» лишены способности любить, но чистая женская душа им была необходима, чтобы опереться на что-то, почувствовать себя в определенной мере людьми. Но они готовы были растоптать, уничтожить эту чистую душу, когда она переставала им служить. В карикатуре «Тамбовской казначейши» шулер, проигравший все, зная, что он уже не воскреснет ни как шулер, ни как владелец дома и семьянин, вслед за хомутами и мебелью проигрывает и жену, которой цену положил во сто тысяч. Она безгласная вещь — ее хватают и несут, как мешок...

Не так ли была безгласна и покорна чужой воле Варвара Александровна... И если бы ему «прометнуть» с Бахметевым... Ведь Судьба — это ясно — здесь на его, Лермонтова, стороне.

Окончена «сказка» или «печальная быль». После того как улан бежал со сцены «с добычей дорогой», Лермонтову хватило строфы, чтобы поставить точку: «друзья; покамест будет с вас». Читатель в недоумении: уж не дурачат ли его? — как в «Графе Нулине» и «Домике в Коломне» Пушкина или как в «Беппо» Байрона. Пустой анекдот! Фарс! Но и при столь нехитрой (правда, на первый взгляд...) канве событий Лермонтов, как и Пушкин в гораздо более пространном «Онегине», забывает своих героев и говорит сам с собой (кажется, забывая и читателя, а также тех Белинских и Булгариных, кому предназначен анекдот).

Пушкин взял эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» из стихотворения Вяземского «Первый снег»: «И жить торопится и чувствовать спешит...» Эта строка уже не мыслится без «Онегина», она его начало. Перечитывая роман снова, Лермонтов останавливается на ней.

Лермонтов как будто видит изумленно поднимающиеся вверх брови господ Белинского и Булгарина, наткнувшихся вдруг там, где события прерваны на самом интересном месте, на «выспренние мечты» поэта-карикатуриста, задумавшегося ни с того ни с сего, вдруг заговорившего охрипшим от хохота, но глубоко печальным «романтическим» голосом:

Я жить спешил в былые годы,
Искал волнений и тревог,
Законы мудрые природы
Я безрассудно пренебрег.
Что ж вышло? Право смех и жалость!
Сковала душу мне усталость,
А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь!
Назад не возвратят усилья.
Так в *клетке молодой орел*,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подъемлет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда всё сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не всё ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:
Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы́,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

В эти размышления свободно вплелся пушкинский «*вскормленный в неволе орел молодой*», мечтавший улететь «туда, где за тучей белеет гора...»... Кавказ... Страна детства и страна будущего... Край свободы. Для Байрона таким краем была Греция — так же, как и Кавказ, она время от времени вспыхивала яростью против тирановчужеземцев, но турки не хотели уходить. На глазах у всего мира начал действовать в Греции Байрон, положивший основание ее свободе. В «Чайльд-Гарольде» он описал смерть гладиатора, и гладиатор здесь — собирательное лицо. «Не все ль равно, где умираем мы? — писал Байрон. — Мы все равно достанемся червям на пищу, падем ли в поле битвы или на обнесенном барьером пространстве: и то и другое лишь театральные подмостки, где должны пасть лучшие актеры». За каждым шагом Байрона следила Европа — чем не Колизей и тысячи взглядов, направленных на гладиатора? Лермонтов нашел это место в «Чайльд-Гарольде» и — в сжатом виде — перевел его. Байрон — гладиатор... Гладиатор и всякий поэт. А если поменять их местами — поэта и эту ветхую Европу («развратный Рим»)? Она смертельно ранена, и перед ее угасающим взором носятся воспоминания светлых дней юности. Поэт смотрит на нее.

В декабре Лермонтов много спорил с Раевским о знаменито-подлой речи Лелевеля по случаю трехлетия «свержения» Николая I с польского престола... Два года — 1834-й и 1835-й — польские эмигранты и французские журналисты в печати не только поносили императоров Александра и Николая, но и явно оскорбляли Россию. На подобные штуки уже отвечал Пушкин («Клеветникам России»). Лермонтов попробовал настроиться на его лад и тоже написал отповедь клеветникам:

Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять шумя восстали вы.
Уж вас казнил могучим словом
Поэт, восставший в блеске новом...

Но вдруг почувствовал, что стихи не удались ему, слишком вышли фельетонны...

Безумцы мелкие, вы правы,
Мы чужды ложного стыда!
Так нераздельны в деле славы
Народ и царь его всегда.
Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верны нашему царю!
И будем все стоять упорно
За честь его как за свою.

Эту строфу он зачеркнул сразу, едва написав. Не то, чтобы совсем отказался от мысли, в ней изложенной, а понял, что она неточно выражена. Для *них* — это так... Но *дома* — другое! Дома у нас и декабристы — патрио-

ты. А патриотизмом друг перед другом мы не тщеславимся попусту. И верноподданнические чувства у нас разве что поляк Булгарин в «Северной пчеле» выражает всенародно. Или вот Кукольник в драме «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»... Но ты, старушка Европа, не смей бранить Россию... Тебе ли ее бранить? Ты — умирающий гладиатор:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

Он написал еще строфу и — зачеркнул обе. Не нужно этого... Прочь, прочь все это — польских эмигрантов, псевдопатриотов...

Несколько дней Лермонтов маялся отчаянной тоской. «Я превращаюсь в Кукольника, — думал он. — Я хотел сделаться литератором, но от одного этого желания отупел и утратил дар... В моих старых тетрадях столько огня, они как вулкан!.. Неужели вся лава вытекла? Нет, нет, она тут, в груди...» Ему так хотелось вернуть эту способность в любом месте, днем и ночью, сыпать звуки — звуки любви и страдания... жить...

«My soul dark — Oh! quickly string...» — вспомнилось ему («Мрачна душа моя. — О! скорее ударь по струнам...»). Это стихотворение Байрона, когда-то многажды повторявшееся им вслух в Середникове, вдруг возродилось в нем со всем тогдашним чувством. Байрон, спаситель Байрон! Не подскажи он этого...

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая...

Пусть будет песнь твоя дика! Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

Нет, недаром это нашлось сейчас, здесь, в Тарханах, и в такую для души пору. Недаром он здесь один среди снежных полей, среди морозной тишины, нарушаемой только воем ветра. Судьба показала ему образ счастья — и отняла: Бог дал ему талант, зажег в нем пламя — и вот оно почти потухло... А душа-то все помнит, не может расстаться со всем, с чем сроднилась, страшится пустоты!

Между тем отпуск кончался, нужно было ехать в полк, а он не хотел, не мог... 4 февраля он вызвал из Чембара лекаря, тот нашел у него простуду и выписал свидетельство о болезни, потом приезжал еще и назначил ему выздоровление на 13 марта. Таким образом, отпуск продлился на пять недель. Из них две он провел в тяжких раздумьях о своей судьбе, прохаживаясь днем по расчищенным дорожкам, посещая церковь, шагая ночью по своим двум комнатам взад и вперед.

20 февраля он выехал в Москву — провел там дней десять. 25 февраля Александр Унковский, офицер лейб-гвардии Московского полка, пригласил его на концерт в Благородное собрание. Затем они вместе поехали в Петербург. Унковский был давний приятель Раевского, страстный любитель шахмат — он не раз устраивал у себя вечера шахматной игры, на которых случалось бывать и Лермонтову.

Когда он возвратился, Раевский показал ему рапорт Ольдекопа о четырехактном варианте «Маскерада». Лермонтов быстро пробежал его глазами: «В новом издании мы находим те же самые непристойные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардта, те же дерзости против дам высшей знати. Автор пошел на то, чтоб присоединить новый конец, не тот, какой был, но далеко не такой удачный, какой ему указывали. Арбенин отравляет жену; при этой сцене присутствует Неизвестный. Арбенина умирает. Ее смертью заканчивалась пьеса в первой редакции. Теперь автор прибавил еще один акт. Неизвестный и князь являются к Арбенину... Драматические ужасы наконец прекратились во Франции; так неужели их хотят возродить у нас? Неужели хотят и у нас внести яд в семейную жизнь? Женские моды, изношенные в Париже, приняты и у нас; это вполне невинно, но желать, чтобы у нас были введены чудовищные драмы, от которых отказались уже и в самом Париже, — это более чем ужасно, этому нет названия».

Не повезло «Маскераду» — его прочитал Бенкендорф, а если шефу жандармов он оказался не по нутру, то что же делать несчастному Ольдекопу... Тут и сам Гедеонов бессилен помочь автору... Лермонтов сидел, думал, думал, а потом вдруг стал смеяться:

— Это оттого, Святослав, что я «Маскерад» тебе по-

дарил... А ты, видать, невезучий... Не пускают меня в литераторы! Что делать?

— Да ведь ты не исполнил требований Ольдекопа.

— Конечно, не исполнил. Да и не думал.

— Но я тебе скажу вот что. Художнику обойти цензора ничего не стоит, еще Карамзин об этом говорил... Дался тебе этот дом Энгельгардта! Будто тебе не все равно, где твой маскерад происходит... И к чему ругать дам? Даже и яд можно выбросить.

— И Арбенина.

— Нет, я не шучу... Нина может остаться жить, а идеи твои все равно будут высказаны и Арбенин обрисован. Ольдекоп считает, что русской жизни не пристали ужасы. Так ты убери ужасы вещественные, а сосредоточься на духовных. А в конце пусть Арбенин, как Чацкий, отправится куда глаза глядят. Для русских людей это не редкость.

— Написать новую пьесу?

— Да.

Лермонтов покивал головой, соглашаясь, и задумался.

Однако время настало очень хлопотное. Государь собирался переехать на лето в Царское Село, и расквартированный там лейб-гвардии Гусарский полк должен был подтягиваться по всем статьям, тем более что командир всей гвардии великий князь Михаил Павлович будет здесь.

Лермонтову пришлось жить в Царском, а в Петербурге бывать лишь изредка, главным образом для приискания квартиры к бабушкиному приезду. В конце апреля это удалось сделать. «Квартиру я нашел на Садовой улице в доме князя Шаховского, за 2000 рублей, — пишет он бабушке, — все говорят, что недорого, смотря по числу комнат».

Царь приехал. Начались ежедневные учения, парады в присутствии высочайших особ. Лермонтов старался, не жалея сил, и несколько раз за короткое время попадал в приказы о поощрении. У него был лучший в полку скакун Парадёр, которого он только что, по приезде из отпуска, купил у командира полка Хомутова («Я на днях купил лошадь у генерала, — писал он бабушке, — и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, — а цена эта не велика»). Попойки, карточная игра — все это в полку поневоле прекратилось. Не до того было. А там предстояли летние учения в лагерях и маневры... Лермонтов прилетал на тройке своих башкирок, удивительно выносливых лошадок (от Царского до Петербурга — вскачь, и даже не вспотеют...), проводил вечер в новой квартире, куда уже зазвал жить Раевского, и, не успев ни хорошенько поговорить, ни отдохнуть, рано утром, почти затемно мчался обратно. В голове одна служба — ни пьес, ни стихов. Книгу раскрыть некогда. И стал в его душе копиться ужас... «Конец! — думал он по ночам, не в силах заснуть. — Конец! Вот оно, ничтожество... Еще год или два такой жизни — и готов новый Павел Петрович Шан-Гирей, отличный человек, служака, но не поэт... не поэт...»

Недели две он почти не спал. Его стало шатать. Он пожелтел. Это заметил командир, но он объяснял это себе непривычкой корнета к службе. Лермонтов крепился как только мог. Но тут, как нарочно, невероятный, ужасный случай, всколыхнувший весь Петербург. 9 мая на пароходе в Кронштадт, а оттуда за границу отъезжала сестра бабушки Наталья Алексеевна с родственниками. С нею ехал сын ее, тридцатилетний поручик лейб-гвардии Конного полка Павел Григорьевич Столыпин. При выходе парохода в Финский залив Столыпин у всех на глазах, никто не успел заметить как, упал в воду. Спустили лодку, в нее бросились матрос и пассажир-англичанин — этот англичанин успел схватить Столыпина за руку, но рука была в скользкой намокшей перчатке. Удержать не удалось. Столыпин утонул. Десять тысяч рублей золотом было рассовано по карманам его сюртука. Без них он, может, и выплыл бы. Пароход вернулся назад и высадил обезумевших от горя родных Столыпина... Всего два года прошло с тех пор, как Наталья Алексеевна похоронила младшего сына Михаила, воспитанника Школы юнкеров. Всему этому был свидетелем Алексей Григорьевич, третий сын Натальи Алексеевны, с которым Лермонтов жил в Царском Селе на одной квартире.

Лермонтов пришел в такое плохое состояние, что Хомутов приказал ему сидеть дома и прислал полкового лекаря, который объявил, что ввиду крайнего расстройства нервов и общего ослабления организма корнету необходимо взять курс лечения на кавказских водах. Лермонтов не решился воспользоваться этим заключением и остался в полку. Бабушка уже приехала и жила в квартире на Садовой. Шел июнь — дождливый, холодный. Лермонтов приезжал редко, но с каждой почтой слал письма.

В это-то время видел Лермонтова художник Моисей Меликов (они детьми встречались в Москве у Мещериновых), заметивший, что он как-то печален. Меликов был пансионером Академии художеств и в Царское Село приехал на этюды. Он рисовал в Царскосельском саду. «Отдохнув в одной из беседок сада, — писал он, — и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости... Заметно было, что он спешил куда-то». Лермонтов не спешил — ему хотелось быть одному.

В июле и августе пошла хлопотливая лагерная жизнь в селе Копорском близ Царского Села. Все это время Лермонтов ничего не писал. Слабость его прошла, он служил с полной нагрузкой, как все, однако с большой неохотой. Столыпин-Монго, с которым он в лагерях жил вместе, удивленно спрашивал:

— Что с тобой делается, Маё?

— Ничего, Мунго... Просто я думаю об отставке.

— Да зачем? Дослужись хоть до ротмистра... Мы молоды... Ну сделаешься фрачником... Это ведь, сам понимаешь, совсем не то... Что такое фрак против червонного ментика!

Монго писаный красавец, едва ли не первый в Петербурге, а в алом и золотом да еще с черными усиками он подлинная гроза для красавиц света. Но его больше привлекают актрисы. Сколько тратит он на цветы, конфеты, подкуп слуг и кучеров. Сейчас он влюблен в Катерину Пименову, балерину, но сколько нужно проворства и хитрости, чтобы увидеться с ней! Как и многие актрисы, она содержанка. Ее содержит богатый купец Моисеев. Он привозит ее в театр и увозит. Теперь она живет на его даче близ Красного кабачка на Петергофской дороге. Можно бы подкараулить момент, когда Моисеева не будет на даче, но когда же это делать? Дни заняты службой напролет... Однажды Монго не выдержал:

— Маё, седлай Парадёра.

— Так уже солнце зашло.

— Седлай.

Лермонтов понял, чего хочет Столыпин, но оседлал не Парадёра, а одну из башкирок. Через несколько минут они под покровом сумерек выскользнули из лагеря... Вернуться нужно было к шести часам утра.

Когда же в комнате дежурной
Они сошлися поутру,
Воспоминанья ночи бурной
Прогнали краткую хандру.
Тут было шуток, смеху было!
И право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило...

— Разве наш подвиг не достоин поэмы графа Диарбекира? — сказал Монго. — Он воспел Барятинского, Бибика и Лафу.

Приключение и в самом деле было забавным. Лермонтов шутя, в палатке, набросал небольшой стихотворный рассказ, приправленный точками пропущенных строк, но все же гораздо более скромный, чем юнкерские поэмы, скорее в духе «Тамбовской казначейши». Назвал ее «Монго». Столыпин носил ее в кармане и перечитал всем офицерам полка... Нравился ему и его карикатурный портрет (тем более что Маёшка не пощадил и себя):

Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил...

Мало действия и страстей в «Тамбовской казначейше» — в «Монго» еще меньше... Друзья прискакали к даче Моисеева, привязали коней к дереву, перелезли через забор и увидели в окне Пименову.

...она взглянула
И чуть не брякнулась со стула.
Пред ней, как призрак роковой,
С нагайкой, освещен луной,
Готовый влезть почти в окошко,
Стоит Монго, за ним Маёшка...

Лермонтов окончил поэму так же, как «Тамбовскую казначейшу» (и как Пушкин «Домик в Коломне») кукишем, скорее критику, чем читателю:

Так повесть кончена моя,
И я прощаюсь со стихами,
А вы не можете ль, друзья,
Нравоученье сделать сами?..

Но, конечно, это был пустяк, а не поэма, забава.

Когда закончились летние учения, Лермонтов снова стал жить в основном в Петербурге, выезжая в полк только на дежурства.

Почти весь сентябрь он трудился над новым вариантом «Маскерада», настойчиво подгоняемый Раевским. Пьеса шла трудно. Лермонтов в самом деле убрал и выпады против маскарадов у Энгельгардта, и смерть героини от яда. Исчезла баронесса Штраль и Неизвестный... Появилось новое лицо — Оленька, компаньонка Нины, сирота. А Нина стала кокеткой, действительно влюбленной в князя Звездича, а браслет уже не служит предметом для интриги, он не потерян, а просто снят Звездичем с руки Нины... Без изменений осталось только первое действие. Арбенин в новой пьесе не отравляет жены, а разыгрывает только сцену отравления, правда очень жестокую, — добивается от нее признания в измене и покидает ее навсегда. Пьеса была названа «Арбенин». Раевский отдал ее переписать и сразу же отнес в театральную цензуру. Он уверял Лермонтова, что она очень годится для сцены; при малом количестве действующих лиц (всего шесть, остальное — толпа, игроки, слуги) действие рассчитано строго, как в шахматной игре.

Лермонтов не стал спорить. Он не высказал Раевскому своего желания, чтобы «Арбенина» также не допустили на сцену... Бог уж с ним! Это просто точка, последний шаг в борьбе за выход на сцену. Ну, пусть он будет сделан — Раевским... Вместе же затевали... Теперь Арбенин не Каллы, не Демон, он утратил все сатанинское и стал просто злобным старым мужем, желающим спокойной жизни, бывшим шулером при молодой и ветреной жене. Видно, издавна в его мятущейся натуре жил и медленно вырастал байбак. Да, он рисовал его как бы Бахметевым, мельча, погружая в быт и лишая его «счастья», о котором он не имел права мечтать. Но Нина — разве Варвара Александровна? Почему бы и нет? Что ей остается делать при старом и нелюбимом муже? Развлекаться... кокетничать... Да и измена в таком положении, может быть, и не грех. Но Лермонтов спохватывается: нет, нет! Пьеса дрянь, все в ней лживо, и больше — никаких пьес. Лермонтов мрачнел. Нет, он не может быть в роли Звездича,

а Варвара Александровна — Нины... Им обоим нужно все или ничего... На их пути ложные шаги — неисправимы.

«Эта пиеса, — писал в рапорте тот же Ольдекоп, — под названием Маскерад, дважды была представлена на рассмотрение цензуры и возвращена как неуместная и слишком похожая на новейшие уродливые сочинения французской школы. Ныне пиеса представлена совершенно переделанная, только первое действие осталось в прежнем виде. Нет более никакого отравления, все гнусности удалены». Отзыв благоприятный; казалось, «Арбенин» должен попасть на сцену... Однако не попал. Ольдекопово начальство не согласилось с ним и начертало на его рапорте об «Арбенине»: «Запретить. 28-го октября 1836».

Театральная сцена не давалась. Лермонтов решил раз и навсегда оставить мысль о ней. Итак, он теперь не поэт и не драматический писатель. Остается последнее — романы и повести. Осенью этого, 1836 года он сделал еще несколько проб. Он решил возродить сожженный роман об Арбенине, написать его широкой кистью, основательно, как историю юноши, погубленного обществом. Хоть и не совсем, но все же отойти от себя в этом образе. Дать ему и все то, что есть в «Сашке», а особенно в «Странном человеке». Но начал он все-таки с женщины, с «непонятной» женщины, покинувшей свет, в котором некогда она блистала, — тридцатилетней графини, супруг которой имел «сомнительно-огромное состоянье». «Я хочу рассказать вам историю женщины, — писал Лермонтов, — которую вы все видали и которую никто из вас не знал». На следующей странице, после полушутливой беседы автора с читателями (вернее с читательницами), появляется и Арбенин: «В нашем равнодушном веке любопытных и страстных людей немного; но около 10 лет тому назад случился один такой чудак в Петербурге, и судьба, как нарочно, поставила его перед непонятной женщиной, которой историю я хочу вам рассказать. Александру Сергеевичу Арбенину было тридцать лет... Он родился в Москве».

После его рождения отец его по каким-то причинам «разъехался с своей супругой» (между прочим, такое произошло и в «Странном человеке») и стал жить с сыном в своей симбирской деревне (отец Сашки из поэмы «имел в Симбирске дом»...). «Деревня эта находилась на берегу Волги. От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и

желтые нивы. Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами; по ней мелькали белые паруса барок, и вечером раздавались песни бурлаков».

Это та же Волга, что и в «Сашке»... Но здесь, в повести, он Саша, не Сашка... Если в поэме предполагалась, хотя и не исполнилась, связь с полежаевским «Сашкой», то в этой повести о нем нет и мысли.

Описывая детство Саши, Лермонтов припомнил коечто из своего: «Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому, что няне Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барчонка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало ему душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие!»

Женщины избаловали ребенка — в нем проснулись своевольство и жестокость («природная всем склонность к разрушению»): «В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу». Судьба дорогой ценой спасла его от дальнейшего ожесточения — он заболел корью: «Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении». В это время проснулась к жизни его душа: «Он выучился думать... Воображение стало для него новой игрушкой... В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Что же дальше? Француз-гувернер? Потом любовь к дворовой девушке?.. Затем пансион... И вдруг пропала у

Лермонтова охота продолжать эту повесть. Сначала он думал отбросить детство и всю предысторию и начать прямо от встречи Саши с Софьей, как звали даму света тогда, при первой встрече, еще девицей. Но потом вовсе раздумал. В душе его было какое-то опустошение. Ему казалось, что он угасает, что творческие силы его иссякли. И вот уже нет веры в себя, а дальше — больше: стал думать о самоубийстве... Легче всего — подставить себя под пулю на дуэли. Шутки его с товарищами по полку становились все более нетерпимыми. Он пробовал расшевелить то одного, то другого — нет... Терпеливы и снисходительны товарищи. «Насколько они лучше меня!» — думал он с горечью. Кое-кто стал избегать его... Даже Монго поглядывал на него с удивлением. Ему-то больше всех доставалось сарказма, эпиграмм и всяких bon mot от Лермонтова, но он в отличие от многих был более чуток. Он понимал, что это неспроста, ведь Мишель именно не простой человек... Ясно, что он страдает. Вот только нельзя было добиться — отчего.

Написать повесть... Но ведь не просто какую-нибудь! Каких-нибудь — сотни! Их печет Франция; Жюль Жанен, сам повествователь, пишет, что повести «льются, как дождь, сыплются, как град»... Эти короткие историйки из жизни всех кругов общества, правдивые и вздорные, наполняют и русские журналы. Как высказался Сенковский, сам автор повестей: «Мы погибаем под повестями. Мы заповествуем вконец себя и наших современников...» Повести Пушкина и Гоголя тонут в океане, сотворенном Павловым, Марлинским, Погодиным, Одоевским, Марковым, Аладьиным, тем же Сенковским и многими, многими другими, все менее и менее талантливыми авторами... И все-таки пусть будет повесть Лермонтова — к тому все идет.

Тот же Арбенин, Александр... Но еще более отдаленный от автора. У него странная жизнь — он одинок, без средств, нанимает квартиру не в блестящем квартале, рядом с ростовщиком. С ним живет любовница, «которую он взял из жалости», бедная и верная ему и которую он не любит. Он мечтает иметь «миллион», постоянно думает об этом. Какое-то время тому назад он бывал в одном из аристократических московских домов — там была девушка Софья, которая его любила. Теперь же его там не принимают. Софья самая богатая в Москве невеста — ходят слухи, что у нее приданого не один миллион. За ней волочится граф, давний знакомец и недруг Арбенина («этот граф всегда был на дороге Александра»). Арбенин

пытается отговорить графа от женитьбы, но тот откровенно смеется над ним. Арбенин сидит дома со своей любовницей и размышляет о том, как добыть денег. Неожиданно входит живущий за стеной (знать, о многом он наслышан через эту стену) ростовщик и предлагает большую ссуду. Александр дает ему вексель на все свое имение. Уходя, как бы между прочим, ростовщик сообщает, что у Софьи не только миллионов, а вообще ничего нет. В Арбенине вспыхивает злорадное чувство — он владеет тайной... теперь можно пойти к Софье и (пусть это и низко, но он, как Александр в «Двух братьях», готов на это), запугав ее тем, что он все откроет графу, склонить хоть на минутную любовь (а вообще-то он ее «не любит»). «Посредством денег Александр пробирается в комнату Софьи». Он почти добился своего, но вдруг «входит горничная, говоря, что граф приехал; Александра прячут за гардину». Граф объясняется в любви Софье. Александр за гардиной злорадствует — пусть, пусть он женится на бесприданнице, мечтая о миллионах... Софья клянется графу, что любит его одного, но тут начинается фарс итальянских комических опер — Александр выскакивает и заявляет опешившему графу, что Софья говорит правду. Затем в комнату вламываются отец и дядя Софьи, — они кричат, что граф обесчестил ее, что он «должен жениться, что иначе они его лишат места, убьют и прочее. — Граф в отчаянии...». Александра прогоняют как лишнее лицо. Софья падает в обморок. Граф вынужден жениться на ней. В последней главе Александр болен. К нему заходит ростовщик, жалеет его и рассказывает, что накануне была свадьба графа. Александр посылает за графом, тот приходит, «подносит свечу к кровати и ужасается. Александр ему говорит, что он отомстил ему, что написал к своим приятелям всю историю; и потом говорит, что *у нее* ничего нет, и ставит в свидетели ростовщика. Сам падает без чувств. — Любовница в отчаянии проклинает графа; — Александр кается и говорит, что жалеет, что не имеет миллиона оставить ей. — И умирает».

Лермонтов прочитал этот план Раевскому и, конечно, услышал от него, что и ожидал:

— Нет, Мишель, это не годится! Что за лицо твой Александр!.. Мелкий негодяй и неудачник.

— Согласен. Тогда все... Больше я ничего писать не могу.

— Подожди, — Раевский вдруг улыбнулся, и Лермонтов с интересом посмотрел на него. — Не посчитай меня сумасшедшим или самовлюбленным болваном, но я, без всяких претензий на авторство, готов тебе помочь... Мы вместе пройдем этот мрачный перевал, на котором ты потерял силы. Помощь моя в соответствии с моими авторскими способностями будет весьма и весьма скромна, но...

Тут Раевский был молниеносно опрокинут на диван — Лермонтов с сияющим радостью лицом обхватил его, да так, что ребра едва не затрещали:

— Святослав! душа ты моя! милый мой! Да одно твое хотение помочь мне... Да ты меня воскресил!.. О, конечно, мы начнем работать.

Но вот этого Лермонтов никогда не мог себе представить — как писать вдвоем... Надо, однако, попробовать. Это ведь не с кем-нибудь, а со Святославом. Господи, как же мало иногда нужно, чтобы вернуть человека к свету, исторгнуть его из пропасти.

С конца октября и до самого нового года длилась эта работа. Начали они с обсуждения общего плана, вернее — только завязки сюжета, оставив дальнейшее на волю случая... А Святослав не совсем был чужд пера литературного. Он в это время как раз готовил рецензии для «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» («Русский инвалид» — газета, издававшаяся поэтом-сатириком Александром Федоровичем Воейковым), которые купил и собирался с января 1837 года редактировать его университетский приятель Андрей Краевский. У Раевского был большой интерес к русской истории, русскому фольклору. В декабре 1836 года он отрецензировал для «Прибавлений» труд И. Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» — вышла его первая часть (из обещанных восьми). Раевский читал вслух заклинания, заговоры, песни ведьм, русалок и «солнцевых дев», удивлялся терпению собирателя, потратившего восемь лет на поездки и хождения по Руси в поисках такого, тщательно скрываемого крестьянами фольклорного материала. «Критике остается только благодарить почтенного автора за великий его подвиг и с умилением смотреть на эту сокровищницу слова народного, — писал Раевский, — на этот, как выразился один из великих поэтов нашего времени, ковчег завета, куда народ полагает все плоды своих мыслей и все цветы своих чувствований. Богатство неисчерпаемое! Сюда, русские поэты, желающие быть истинно народными! Здесь почерпайте свои вдохновения, здесь знакомьтесь с таинствами

русского духа и передавайте нам заветные думы народа в гармонических своих песнопениях! Перед вами источник чистый, первородный».

Это Раевский адресовал в основном Лермонтову, который в последнее время не писал, правда, стихов, но интересовался всем народным, особенно песнями и былинами. И это был у него давний интерес. Раевский ревниво относился ко всяким отзывам о «своеродной» русской жизни. И даже похвалы Сахарову немного пригорчил упреками, возражая на его мысль о том, что русские поверья заимствованы в Греции и Индии... Сходство, писал он, еще не доказывает заимствования... «Почему не оставить места сомнению, — продолжал он, — что если б глубже, в подробности, была исследована частная жизнь восточных славян и древней Руси, то, может быть, отыскалось бы в этих поверьях много своеродного, вовсе не занесенного из чужи? Народ русский жил самобытно несколько веков; жизнь его, как жизнь всякого другого народа, была также полна, следовательно, должна была иметь и все фазы, все оттенки, наведенные не отражением цветов чужеземных, а иногда происходящие от причин внутренних, от переливов этой своеродной жизни».

Краевский — Раевский... Они были созвучны не только по именам. Их сильно роднил присущий обоим пламенный патриотизм. Краевский был помощником редактора «Журнала Министерства народного просвещения», печатал в нем свои рецензии на книги по этнографии и истории. Он был сотрудником «Энциклопедического лексикона» Плюшара, где поместил нашумевшую статью о Борисе Годунове, в которой старался доказать, что царь Борис не был виновен в гибели царевича Димитрия. Эту статью как раз в конце 1836 года Краевский выпустил и отдельным изданием. Кроме того, он был помощником Пушкина по изданию «Современника» — читал корректуры, сносился с типографией... Лермонтов пожелал было порасспросить его о Пушкине, но Краевский откровенно сказал, что встречи у них редкие и только деловые, а дела эти совершаются в основном письменно и через посыльных, так как Пушкин чрезвычайно занят... И все-таки — подарок судьбы — сотрудничать с Пушкиным, делать с ним одно дело.

Да, оба они — Краевский и Раевский — скромны, как-то не по времени скромны, вокруг море торгашества, наглости, кичливости. Они были по душе Лермонтову, но слиться с ними совершенно во всем он не мог — различия все же имелись. В них была невозмутимость, ясность, доверие к себе, видение цели. Им казалось, что они понимают Лермонтова, — они замечали его таланты, широту его знаний, высказывали уверенность в том, в чем Лермонтов и не мог быть уверен — что станет, и очень скоро, одним из лучших русских писателей. Краевский считал само собой разумеющимся, что Лермонтов будет печатать свои сочинения прежде всего у него — в «Прибавлениях...», а впоследствии в толстом журнале, к которому он и торил упорно свою трудную издательскую стезю, видя его даже во сне, — лучший в России журнал. Краевский с одобрением отнесся к затее друзей писать роман или большую повесть, — ясно было, что он не упустит ее из своих рук.

Писать решили о том, что знали близко. Героев — два. Один офицер, однако не гусар, а конногвардеец, притом прошедший польскую кампанию. Чин самый малый — прапорщик. Зато апломба — хоть отбавляй, потому что он богат, получил прекрасное воспитание, вообще — аристократ. Другой — чиновник, молодой, также дворянин, но обедневший, хотя и не вовсе неудачник, — он в департаменте столоначальник. Это близко к Раевскому, который как раз и был столоначальником в департаменте военных поселений. Как и у Раевского, фамилия героя оканчивалась на *-ский:* Красинский (Лермонтов придумал эту фамилию в связи с красотой и статностью Раевского). Офицер был назван Печориным — он явился из семьи *Печориных,* на балу у которых в «Арбенине» Казарин подсматривал за Настасьей Павловной Арбениной и князем Звездичем. Он москвич и теперь служит в Петербурге. Красинский — польского происхождения. Он не знатен, но внешность его — аристократически-утонченная, породистая. Если к этому прибавить ревниво оберегаемое чувство собственного достоинства и страстное желание выбиться на поверхность, то становится ясно, что предки его не были бедны и ничтожны... К моменту действия и начал выбиваться — он коллежский секретарь или надворный советник, то есть, если перевести это на язык военных чинов, он — майор, тогда как блестящий гвардеец Печорин всего только прапорщик. Преимущества Печорина лишь в его богатстве, возможности иметь собственный выезд, жить, не думая о деньгах, широко, беззаботно. Авторы сначала назвали Печорина Евгением Александровичем, но так как это некстати напоминало здесь *Евгения Александровича* Арбенина, то Евгения пе-

ременили на Григория (по-домашнему *Жоржа*). Красинского Лермонтов прямо хотел назвать Святославом, но поскольку это имя не польское, переменил его на сходное — Станислав. Названия для всей вещи придумать пока не удалось. Вместо этого Лермонтов вывел вверху листа огромными буквами слово *«РОМАН»*, заметив вслух, что ведь это может быть и заголовком, почему бы нет?

Неделю назад на Вознесенской улице сани, в которые был запряжен роскошный гнедой рысак, сбили с ног чиновника, возвращавшегося из департамента домой. Раевский как раз проходил мимо, и просто чудом был сбит не он... Он также был из пешеходов... Вот и завязка — завязка вражды между героями, потому что в санях, сбивших чиновника (уже в романе), сидел Печорин. Для того чтобы это произошло, Красинскому нужно было немного зазеваться... «Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. — Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, — но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков. Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха: он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь придти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны».

Вечером Печорин был в театре. Во время антракта, в трактире «Феникс», он рассказал приятелям о «задавленном» им чиновнике. «Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись». Но «задавленный» чиновник, «франт», как оказалось, сидел тут, за этим же трактирным столом и все слышал. Так, случайно, обнаружил он своего обидчика. «Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились...»

Казалось, дело шло к дуэли. В пустом фойе театра, когда опера шла своим ходом, Красинский пылко обличал Печорина: «Вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! — а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? — Я беден! — да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек. Я же только дворянин! — А! Вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! Никогда, никогда я вам этого не прощу!..» Но от дуэли Красинский отказался, объясняя это тем, что у него «одна мать, старушка», — что он «все для нее», и если он погибнет — «она либо умрет от печали, либо умрет с голоду»... Объяснение тем и кончилось. Но жалость к матери не единственная причина отказа от дуэли. В самом начале разговора Красинский сказал Печорину: «Драться! я вас понимаю! — насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. Нет, я б желал, чтоб вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен...». Это Хаджи Абрек, возродившийся в облике чиновника:

И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне...»

Красинский действительно единственная опора своей матери. Но он и в самом деле Хаджи Абрек. Ненависть его к Печорину затаилась, выжидая случая, — что подскажет судьба. А судьба, как нарочно, стала их все теснее сближать. Между прочим, та же судьба наградила Красинского такой внешностью, какой весьма не хватало Печорину, — высокий рост, голубые глаза, «правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою». У Печорина же — «невыгодная наружность», «вовсе не привлекательная»; он — «небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен... Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности». Это фигура, напоминающая скорее Квазимодо, чем Аполлона. Разница во внешности двух врагов должна будет как-то отозваться в романе. Но что же за роман без женщины? Мщение,

вражда, как и любовь (и как соперничество, как тщеславие), — все это завязывается вокруг женщины.

Лермонтов начал втягивать в роман, изменяя, преображая, приспосабливая к новым героям то, чем он жил в последние годы. Он не умел создавать совсем отстраненных от себя историй.

Действие романа началось «В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни» и, очевидно, рассчитано было на три года (до конца 1836-го). Уже в первой главе появляются, сначала как бы за сценой, Катерина Сушкова в виде Лизаветы Негуровой и Варвара Александровна Бахметева с мужем как княгиня и князь Лиговские, только что приехавшие из Москвы. В тот же день Печорин видит в театре и Негурову и Лиговскую... Пошла в ход история с анонимным письмом — подобно Лермонтову в истории с Сушковой, Печорин делает это для того, чтобы порвать с потерявшей для него интерес девушкой. Сушкова, будь роман издан, узнала бы себя. Но какой убийственно сатирический портрет свой увидела бы она здесь!

Чем дальше, тем меньше участвовал Раевский собственно в «изобретении» содержания. Он нарочно отмалчивался, писал под диктовку Лермонтова, делал всякие мелкие замечания и старался не мешать ему сочинять. Тот не замечал этого и думал искренне, что они пишут роман *вместе*.

Вот уже четвертая глава. Печорин едет с визитом к Лиговским на Морскую... Никаких следов сатиры и язвительности! Наоборот — только волнение, трепет, внимательный, исполненный любви взгляд. Он откровенно, прямо описывает Варвару Александровну под видом княгини Лиговской: «Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принесть счастие в жертву правилам, но не молве».

Пятую главу Лермонтов посвятил предыстории, то есть жизни Печорина в Москве, главным образом его отношениям с Верочкой, будущей княгиней Лиговской. Они встречались на детских вечерах, на прогулках (при этом Лермонтову вспомнилась поездка большой компанией в Симонов монастырь), летом в подмосковном имении у их общей тетушки (они были в отдаленном родстве). Когда Жорж уезжал из этого имения, накануне «они стояли вдвоем на балконе, какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя...» Затем Жорж вступил в гусарский полк и отправился на Польскую войну. «Жорж приехал к Р-вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав через другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». — Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце». Что-нибудь было, очевидно, похожее при отъезде Лермонтова из Москвы в Петербург.

Заколдованный круг! Эти Лиговские пришли из «Двух братьев» — молодая жена и старый муж, князь, человек недалекий, самодовольный. Княгиня в пьесе тоже зовется Верой. Какие бы события ни развивались дальше (в пьесе, в романе), так и кажется, что для Лермонтова важнее всего осмыслить первую после долгой разлуки встречу с Варварой Александровной. Исчерпать весь ее смысл — вычерпать до дна. Он чувствовал, что она для его души одно из самых больших событий в жизни, может быть, даже самое главное. Горькая встреча, похожая на последнее прощание... Это разговор при посторонних, с опасностью возбудить подозрение старого князя, обмен остротами и колкостями, под которыми чувствуются осторожные, боязливые вопросы, вспыхивающие в глубине глаз, скрытые в мимике и движениях. Этот разговор, начатый у Лиговских, продолжается у Печориных на званом обе-

де, в еще более многолюдном обществе, и потом снова у Лиговских. А вокруг них...

Лермонтов знал: начни только изображать эту светскую чернь — непременно выйдет смех, сатира... Люди здесь собираются не по талантам, не по уму или сродству душ, а по чинам, родовитости, доходам, влиятельности. И вот рядом с Печориным за столом и в гостиной — дипломат, «длинный и бледный, причесанный a la russe и говоривший по-русски хуже всякого француза», патриот, пытающийся выхвалить Петербург в ущерб Москве. Ему возражает княгиня Лиговская: «Я люблю Москву. С воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь все так холодно, так мертво...» Она сказала это, «взглянув на Печорина» — для него. В этот спор и Печорин внес свою лепту. «Москва моя родина», — сказал он кратко. И это были слова — точные — из письма самого Лермонтова к сестре Варвары Александровны, писанного 2 сентября 1832 года из Петербурга («Москва моя родина и всегда ею останется. Там я *родился*, там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!* — лучше бы этих трех вещей не было, но что делать!»).

У князя Лиговского была «тяжба с казною о 20 тысячах десятин лесу», и дело его, давно тянувшееся, разбиралось в столе, которым заведовал чиновник Красинский. Это имя ничего не говорило Печорину (он не знал фамилии «задавленного» им чиновника). Он, «узнав от князя, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю»... Так он, нечаянно, в трущобе у Обухова моста, столкнулся с тем человеком, который поклялся мстить ему всеми силами... И вот они уже оба сидят за многолюдным столом у Лиговских. Как бы то ни было, Красинский делает первые шаги в свете. Он появляется возле княгини Лиговской... Печорин услышал разговор княгини со своей кузиной: «Кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «et saver vous, ma chere, qu'il est tres bien!..» *... выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. Она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты, в свою очередь, возненавидел Красинского». Печорин дал себе слово «остаться победителем».

* А знаете, дорогая, он очень хорош!.. *(франц.)*.

Между тем Красинский, ничего не зная о похвалах княгини, оказался вечером возле богатого дома на Мильонной — сюда подъезжали кареты: «По обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностию быть раздавленными». Красинский стоял в толпе. «О, я буду богат непременно, — думал он, — во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость». «Вот подъехала карета, — писал Лермонтов, — из нее вышла дама: при блеске фонарей брильянты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это был князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но — увы! — его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на нашей улице праздник», — жалкая поговорка мелочной ненависти».

Князь Лиговской вынужден будет принимать у себя Красинского... так что... Словом, действие романа стало закручиваться вокруг княгини. Обнаружив это, Лермонтов на первом листе рукописи прямо над огромным, с жирными нажимами пера, словом *«РОМАН»* написал название: «Княгиня Лиговская» и подчеркнул его.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Краевский все чаще заходил к Лермонтову. Он жаловался на то, что у него мало сотрудников, а у него, мол, большие планы по поводу «Литературных прибавлений...», которые он хочет сделать патриотическим органом. При этом он сыпал именами сочинителей, уже уделивших ему кое-что. Это были Федор Глинка, Стромилов, Якубович, Бенедиктов, Розен, Даль, Одоевский, Козлов, Вронченко... Пушкин все печатает в своем «Современнике», но, однако, дал Краевскому стихотворение «Аквилон», написанное еще в 1824 году, — оно и появилось в первом номере «Прибавлений», 2 января 1837 года. Оно напоминает басню Лафонтена «Дуб и тростинка», переводившуюся Дмитриевым и Крыловым, но в нем не басенный слог и по-своему повернут смысл. Краевский, например, понял этот Аквилон, бурный северный ветер, как русскую силу, сломившую тот дуб, который «в красе надменной величался» в виду Москвы, то есть Наполеона.

Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой —
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.

В том же первом номере Краевский поместил начало своей статьи «Мысли о России» (через неделю, во втором, напечатал конец). Здесь были многие из тех вопросов, о которых друзья толковали у Лермонтова за шахматами или на пятницах у Краевского. А в последние два-три месяца разговоры их в большей или меньшей степени соотносились с «Философическим письмом» Чаадаева, напечатанным в октябре прошлого года в «Телескопе». Раевский и Краевский были решительными противниками всех идей этого письма, в особенности против утверждений, что Россия не имеет своей истории, что сначала в ней царило «дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть»; что, если «окинуть взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство», мы не найдем «ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника». Русская жизнь характеризовалась Чаадаевым постоянно со знаком минус, он не жалел для нее картинных выражений вроде «печальная история нашей юности», «детское легкомыслие», «хаотическое брожение в мире духовном», «тупая неподвижность», «полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи»... И рядом с этим какие похвалы западному миру, западной истории, западному христианству (папству). Постоянное, настойчивое указывание перстом на Запад, в Европу.

Краевский цитировал вслух лермонтовского «Умирающего гладиатора», видя в нем отпор Чаадаеву, и в особенности потому, что стихи написаны раньше, чем было напечатано «Философическое письмо»:

...Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою...

Лермонтов не возражал друзьям. В самом деле, нападки Чаадаева на русскую историю так страстны и резки, что читатель поневоле в пылу возмущения упускает то истинное, что все-таки сказано им. Для Лермонтова не было странным, что «Письмо» разделилось для него надвое, словно Чаадаевых было два... как бы два брата... добрый и злой. Один может любить, другой проклясть то, что тот любит. Такой раздвоенный человек может казаться злейшим врагом, а быть лучшим другом. Идти против всех и быть со всеми... Да нет ли этих свойств в самом русском характере? Былины и песни говорят, что есть: разбой и святость... бунт и смирение. Правда, сам Чаадаев «бесшабашную отвагу» русского человека не считает достоинством («Этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи»).

Но сам-то он бросил это письмо в русский мир со смелостью удивительной! Как в огонь кинулся... Чем дальше, тем больше волновали Лермонтова и «Философическое письмо», и сам его автор. Загадочная, но, без сомнения, русская душа. Какой он католик... какой папист... Нет у него ни хитрости, ни иезуитской выдержки, ни расчета. Грудью прямо на меч. Нет, этак только русский че-

ловек может. Изругав его, отвергнув, заклеймив, чувствуешь, что он много правды сказал. Иначе разве взорвалось бы все вокруг! Именно «бесшабашная отвага» и — никакого равнодушия. Зато сколько холодного равнодушия, рутинной застылости в том мире, куда Чаадаев бросил свой вызов! Россия... Откуда же этот холод в поколении молодых — бездействие, беспамятность... «Мы все имеем вид путешественников, — говорит Чаадаев. — Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в нас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам».

Однолинейные люди не в состоянии принять двух Чаадаевых. И сколько же их, этих однолинейных людей... И говорят, и пишут, и печатают. И правительство с ними заодно. Отчаянному философу закрыли все пути, отняли возможность говорить, ославили безумным.

«Никогда, может быть, — писал Краевский в своей статье, — не говорили и не писали у нас так много и так основательно о народности, о руссизме, о необходимости отвыкнуть от привычки к подражанию и отряхнуть с себя иго чужеземных, несвойственных нам обычаев и мнений, — как в настоящее время». Для русских (конечно, для господствующей их части) наступила «отрадная заря ближайшего знакомства с самими собою, к которому приготовили нас и мудрые распоряжения правительства, и произведения самородных русских талантов, и великолепный памятник отечественной истории, воздвигнутый гением Карамзина, обративший нас к изучению темной старины нашей, а литературе русской давший решительно народное направление».

Далее Краевский, несколько неуклюжим слогом и с частыми поклонами в сторону самодержавной власти, набросал идиллическую картину русской истории, все, очерненное Чаадаевым, усердно и даже до излишества обеляя... «Русь в тишине уединения, — писал он, — медленно и тайно приготовляясь к тому блистательному поприщу, которого границы теперь с каждым днем становятся яснее и яснее». В то время, как «разрываемая на части» Европа «не могла себе нигде найти спасения», в то время «на безвестном рубеже европейского мира с Азиатским, на чистом пространстве степей... начинался народ совершенно новый, не имевший никаких поэтических воспоминаний, не получивший никакого нравственного или политического наследия, долженствовавший создавать все сам собою». Средние века, связь с Византией, крещение Руси Владимиром, «монгольское иго», Смутное время, Петр Великий — до всего коснулся Краевский, везде указывая, что Россия не имела никаких связей с Западом, ничего не перенимала у него (это-то и Чаадаев говорил, но то, что он считал бедствием, Краевский безоговорочно возводит в степень блага). Однако, когда дошло до Петра, Краевский, казалось, не знал, что делать с его «переимчивостью»... «С быстротою, свойственною гениям, — писал он, — начал он знакомить свою Россию с Европою... Россия осталась при своей неповрежденной религии... У Европы она начала заимствовать только некоторые обычаи и общие всему человечеству умственные познания... Здесь видно особенное свойство русского характера, указывающее, может быть, лучше всяких других признаков, на высокое назначение русского народа, — я говорю об *удобовосприемлемости,* соединенной с совершенною *бесподражательностью:* мы знаем чужое больше, нежели другие, а живем по-своему». Нет, мы «не можем», «не должны» подражать «буйному» Западу... «Что ж мы такое, когда нет ни одного великого семейства народов, к которому бы принадлежали мы?.. Мы — русские, обитатели шестой части света, называемой Россиею... Мы русские — и это название для нас выше всех названий».

Краевский справедливо пишет о талантливости народа — крестьян, солдат... Государство наше «населено народом юным, свежим, одаренным от природы всеми благами ума и сердца, и при высоких чувствах души сохраняющим полное смирение и покорность единой отеческой власти...». Краевский перечисляет имена славнейших деятелей русской литературы, это «Державин, Крылов, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Грибоедов, Дельвиг»... Он говорит еще и еще о «бессилии», «утомлении» Европы, «взволнованной страшной бурею 1789 года» и спасенной «вступлением русских в Париж под победоносным предводительством Благословенного». В конце статьи Краевский берет еще более высокую и торжественную ноту: «Так! величественна судьба русской народнос-

ти!.. Будем же верны своему высокому призванию и, под кровом отечественной власти, спасаемые от бурь моря житейского, будем в тиши благодатной пристани воспитывать те плодоносные семена, кои долженствуют разрастись широкосенным, многообъятным древом!»

Насколько же сильнее потрясает душу *неправда* Чаадаева!.. И не пером Краевского с ней спорить нужно. Краевский — журналист, и статья его в значительной степени — расписка в благонадежности и попытка захватить в свой невод побольше подписчиков. Лермонтов подумал, что Раевский не имеет притязаний на авторство, а слог его *рецензий* куда изящнее и живее, чем в статьях Краевского. Пушкин деликатно посоветовал Краевскому не вести самому отдела критики, а пригласить постоянного сотрудника. И даже назвал имя — Белинского, печатавшего статьи в «Телескопе», закрытом за чаадаевское письмо. Перед тем Пушкин намеревался сам звать Белинского — в свой «Современник» и начал уже действовать, но, кажется, раздумал. Краевский немедленно послал Белинскому приглашение переехать в Петербург, предлагая ему даровую квартиру и две тысячи жалованья в год. Ответ Белинского привел Краевского в ярость:

— Да это просто наглец! Какие он ставит условия! И хотя бы какие основания были!.. Он хочет взять весь отдел критики, так что ни мне, ни Раевскому, ни вообще кому-нибудь нельзя будет в «Прибавлениях» разобрать ни одной книги... Ему не нравятся мои сотрудники, а особенно князь Вяземский, барон Розен и Виктор Тепляков... Он хочет полной независимости от меня... Нет, это, видно, будет щука позубастее Булгарина... Уж я напишу ему, напишу. Недаром у Пушкина-то не сладилось с ним.

И долго еще в таком духе говорил Краевский, а Лермонтов, наморщив лоб, вспоминал: *Белинский*?.. А, это он сказал о Пушкине, что тот свое поприще *закончил*. Но Пушкин и после этого пытался вызвать его в Петербург, залучить в «Современник»... Пушкин не мог ошибаться. Значит, это не булгаринского поля ягода... Да и так ли уж он неправ, требуя полной самостоятельности?

Лермонтов пересматривает номера «Телескопа», чтобы найти что-нибудь Белинского, но находит «Философическое письмо» Чаадаева... Перечитывая его, он видит, что самому Чаадаеву присущи все настоящие черты русского человека — осуждаемая им «бесшабашная отвага», которой следствие — «равнодушие к житейским опасностям», и смирение — покорность судьбе, то есть полное доверие

к справедливости Провидения (какая разница с Краевским, для которого Правительство яснее видится, чем Бог). Это и есть духовная свобода!.. Только Богу можно доверить все свое самое сокровенное. Так солдат в сражении истинно по-русски вверяет свою жизнь не Случаю, направляющему пули, а Богу, и, таким образом, идет прежде всего умирать, а не побеждать, — и этот-то путь и ведет его к победам. «Беспечная отвага» солдата не так уж беспечна и бездумна; она полна стихийного философского смысла и обозначает связь русского человека с высшими силами. Сначала Бог, а уж потом все.

Лермонтов вспомнил картину Петра Ефимовича Заболотского, выставлявшуюся в прошлом году в Академии художеств, — это был портрет унтер-офицера лейб-гвардии Московского полка гренадера Андреева, написанный в полный рост. Гигант в щеголевато пригнанной солдатской форме сидит, небрежно расставив ноги в белых брюках и придерживая поставленное между ног ружье со штыком. На земле — тяжелый ранец с широкими белыми ремнями. На груди Андреева три медали, на рукаве — нашивки за ранения. Лицо его морщинисто, умно и сурово. Это ветеран, прошедший все войны за последние двадцать пять лет. Конечно, воевал он и в 1812 году — был в Бородинском сражении. Лермонтов не просто видел эту картину — он был свидетелем работы художника над ней, ему случалось часто бывать у Заболотского и одному и с товарищами — они брали у художника уроки живописи и рисования. Пока художник писал, Лермонтов беседовал с унтер-офицером, происходившим, как оказалось, из пензенских мужиков.

Вот сюда и устремилась мысль Лермонтова, страстно пожелавшего через такого вот мужика-солдата добраться до сути своей собственной души. Самой страшной из битв была Бородинская, и поэтому Лермонтов, достав свое «Поле Бородина», стал писать его заново. И как же оно развернулось! Какой глубокой жизнью стало оно дышать — ни одного слова зря или невпопад... Это был разговор двух солдат — молодого и бывалого, который рассказывает, как «отдана» была врагу Москва:

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя;
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!..

В «отдаче» Москвы главное — «Господня воля», иначе не видать бы французам древней столицы Руси. Тем же Лермонтов и окончил стихотворение:

...Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

Раевский и Краевский оба, при всей своей сдержанности, выслушав «Бородино» из уст Лермонтова, необыкновенно оживились и даже рукоплескали, как в театре... Краевский, приняв глубокомысленный вид, сказал, что ничего подобного нет во всей русской поэзии, не исключая и Пушкина, и что он берет стихи для «Прибавлений». Лермонтов позволил ему сделать список. Друзья долго рассуждали о «Бородине» — они говорили о его несомненной народности («Былина нашего времени!.. Эпическое сказание, сотворенное великим поэтом...»); удивлялись его неожиданному появлению как бы из ничего, из застоя неписания и мрачности духа... Высказывали даже пожелание — послать его в Москву автору «Философического письма», как «ответ»... Наконец, Краевский, вздохнув, признался, что этих гениальных строк не стоит и сотня статей о России... Перечитывали еще и еще — дивились мужественному складу строф, многозначительности скупо набросанных картин, великой красоте души героя — несуетной, самоотверженной.

Лермонтов верил восторгам друзей и чуть ли не впервые в жизни почувствовал удовлетворение, пусть мимолетное, — да, он был доволен тем, что вышло, а более всего тем, что это первый шаг в новой эпохе его жизни. И нужно теперь же сделать второй, чтобы на этом пути укрепиться. Может быть, написать поэму из русской истории... И хорошо бы народным, былинным складом, будто на пиру слепцы-гусляры рассказывают о подвиге простого человека, солдата или купца. Он перечитывал «Древние российские стихотворения», песни, какие мог найти, снова и снова обращался к «Истории» Карамзина. Он ни на чем не мог остановиться, так как ему хотелось найти свою тему, свой сюжет. Он прислушивался к своему внутреннему голосу. Там пока пелось что-то неясное, но вот возникло и стало упорно звучать: «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич!..» Напев определился сам собою. Никаких рифм. Затем возникло неотступно-настойчивое: «Ай, ребята, пойте, — только гусли стройте!..»

Виделась ему зимняя Москва... золотые главы Кремля... Боярский выезд, свистящий полозьями по снегу...

Гордый черноусый опричник в дорогом кафтане, красующийся на вороном скакуне... Москва-река, где разметен снег, — место для кулачного боя обсажено елками. Яркие, веселые картины при солнце и белых снегах!.. Но не так весела жизнь в глубине этих картин. Обиду нанес «злой опричник царский Кирибеевич» молодому купцу Калашникову, словно демон хотел жену его обольстить. Однако не просто обольстить — из озорства, разгульности своей, нет — он ее полюбил, да так, что жизнь ему без нее немила... Но как любить мужнюю жену? Нигде ее не увидишь, как только в церкви да на улице, когда она оттуда домой идет. Жизнь течет по строгим законам и обычаям. И обезумевший от страсти Кирибеевич врезался в эту жизнь, разбил ее. Остановил он молодую купчиху на улице, стал ей говорить ласковые речи, целовать. Видел, что она ни жива, ни мертва, что ничего он не добьется, а в отчаянии и разум потерял, стал сулить ей пустое — «золота али жемчугу», «ярких камней аль цветной парчи»:

«...Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

Не полюбит, не обнимет... Не встреча это; не будет и никакого «прощания». А поскольку это не разбой, не шутка, то впереди ничего не может быть, кроме погибели. По закону Господнему устроена Русь; закон Господень нарушил Кирибеевич; и вот купец Калашников призывает своих братьев:

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду нá смерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежéй силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось Господь вас помилует!»

Бог должен рассудить Кирибеевича с Калашниковым. А царь, на глазах которого происходила эта битва, истинного смысла ее не знал. Бой шел как бы на глазах Бога,

оказавшегося на стороне купца, защищавшего святость таинства венчания, ведь они с женой в храме Божьем были «перевенчаны»... Кирибеевич платит головой за свою любовь. Он не «охальник», не буян, он в самом деле любит. Вот какими словами говорит он «царю грозному» о своей возлюбленной, не открывая ему, впрочем, кто она и того, что она замужем:

«На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе Божием..»

А как увидел Кирибеевич, что на Москве-реке вышел против него купец Калашников, то понял, что пришла расплата:

Побледнел в лице, как осенний снег...

По одному только удару нанесли бойцы друг другу. Удар Кирибеевича пришелся купцу в грудь, прямо в «медный крест со святыми мощами из Киева». Крест погнулся... Такая уж судьба Кирибеевича — невольно ругаться над святынями. Удар купца Калашникова был расчетливее — «прямо в левый висок со всего плеча». Кирибеевич погиб.

Закачался, упал за́мертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная...

Эти нежные песенные строки — будто плач по Кирибеевичу... Кирибеевич — любимый опричник царский, богатырь: он из рода Малюты Скуратова, и при одном его имени людей дрожь пробирает. Но Лермонтов историю оставляет в стороне, он строит русскую жизнь в поэме по-своему. У него тут закон незыблем, справедливость неукоснительно соблюдается. Опричник, самое большее, на что отваживается, — не украсть чужую жену, а отчаянно попрощаться с ней, хотя и против ее воли, на улице, на глазах «соседушек», которые, смеясь, смотрят из калиток. И уже это у Лермонтова — разбой и бунт, попытка разрушить прочные устои царства русского... Кирибеевич не притесняет народ, не врывается в дома по приказу государеву, — он только красуется на пирах, на кулачных боях, — опричнина, страшное для Руси явление, словно бы в прошлом и сосредоточена в несколько раз поминаемом страшном имени Малюты Скуратова. Хищная энергия Малюты словно бы переродилась у Кирибеевича в жажду любви. Без Алены Дмитревны «опостыли» ему кони и наряды, «не надо» ему «золотой казны»; только перед ней хотелось бы ему «показать удальство свое»... В первой главе поэмы, уже зная, что желание это безнадежно, он просит царя:

Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельцо браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется...

Хотел этого Лермонтов или нет, но в Кирибеевиче чувствуется он сам — это его безнадежная любовь к Варваре Александровне возродилась в опричнике, а в кулачном поединке Кирибеевича с Калашниковым — его, Лермонтова, постоянный духовный бой с тем, «перевенчанным», подпавшим под милость закона Божьего и государева.

А Алена-то Дмитревна? Вырвалась она из рук пришедшего в отчаяние человека, «в ноги мужу повалилася», прося не дать ее, «верную жену», «злым охульникам в поругание», сетуя на то, что «разбойник» «опозорил», «осрамил» ее. Но весь ее подробный рассказ о том, как и что было, говорит о смятении другого рода, словно она под поцелуями Кирибеевича открыла в себе что-то страшное, с чем бороться ей было не под силу, в чем не только мужу, но и себе невозможно признаться. Она запомнила все поцелуи, все жесты и слова обольстителя и невольно, без нужды, рисует подробную картину:

...И он стал меня целовать-ласкать,
И целуя всё приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,

Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»
«И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...»

А про «живое пламя» — это уж совсем было лишнее. Каково было слушать это Степану Парамоновичу... От страха перед собой обезумела Алена Дмитревна, рванулась так, что в руках Кирибеевича остались «узорный» платок и «фата» бухарская, с которыми он бы, вероятно, и отправился в степи приволжские, на житье казацкое, искать смерти, если бы не случился на другой день его поединок с Калашниковым. Кирибеевич не создан был для счастья на земле. То, что все-таки должно было бы принадлежать ему, попало в руки рассудительного торговца, живущего в рассчитанном круговороте своей механической жизни.

Когда Кирибеевич был убит, царь «прогневался гневом» и велел схватить купца.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя,
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что — не скажу тебе,
Скажу только Богу единому...»

Здесь купец вышел из своего рассчитанного круговорота, — он не сказал правды (как ему «положено» по его прямому характеру), через которую, вероятно, мог бы спасти свою голову. Он принял на себя судьбу преступника, который, будучи осужден на казнь, вызовет жалость народа и станет как бы мучеником, о котором поют песни... Никому ведь не ведомо, что погиб он за свою «святую правду-матушку»... И какая светлая грусть веет над его могилой! —

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж тульской, рязанской, владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безыменной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

И никому-то нет дела до Кирибеевича. Может быть, только одна Алена Дмитревна, молодая вдова, и вспомнит когда-нибудь о нем...

Итак, смутный, тяжелый период был пройден. После «Бородина» и «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтов почувствовал необыкновенный прилив сил; «страшная жажда песнопенья» вновь охватила его. Она была уже не та, не юношеская, не отчаянная, не самоубийственная, — словом, *другая*. Это было возрождение, страстно ожидавшееся, молимое... Он решил выйти в отставку. С «Бородина» и «Песни...» начать деятельность литератора. У Краевского в «Литературных прибавлениях...» и затем хорошо бы в «Современнике» Пушкина!.. Хотелось обе эти вещи показать Пушкину. Как умно ведется «Современник» — с каким достоинством, без всякого заискивания перед публикой. Куда пухлой «Библиотеке...» до него. Как пошлы и мелки зубоскал Сенковский и подлый хвастун Булгарин! В этом журнале Пушкина вызревает будущая русская литература. «Современник» — подлинно патриотичен, без деклараций и назойливых «мыслей о России» (вот где Краевскому нужно учиться ведению журнала). И никакой иностранщины: русские авторы, оригинальные статьи... А все прочие журналы полны материалов, переведенных из заграничных газет и журналов. «Современник» — журнал поэта, писателя, критика, постепенно стягивающего к себе единомышленников. Нельзя быть в стороне.

В конце января Лермонтов слег в простуде. Раза два навестил его лейб-медик Николай Федорович Арендт — ничего опасного не нашел, велел пить чай с малиной и не выходить из дому до его разрешения. 21-го в среду Лермонтов с утра чувствовал себя пободрее, писал маслом небольшую картинку, читал. Он с удивлением прислушивался к себе — чувствовал, что в его душе складывается какое-то новое состояние — утихла тревога, появилась уверенность в будущем... «Нет, — думал он, — нельзя быть в стороне! Я теперь могу и хочу быть заодно с Пушкиным». Потом он обедал с бабушкой и навестившей ее Маврой Николаевной Шлиппенбах, супругой на-

чальника Юнкерской школы. В пятом часу должен был явиться из департамента Раевский, но его не было. Он пришел уже около восьми. На нем лица не было. В первую минуту Лермонтов подумал, что его оскорбил кто-нибудь. Раевский остановился посреди комнаты и сказал:

— Пушкин смертельно ранен на дуэли.

И после довольно долгого молчания прибавил:

— Пойдем.

Лермонтов не стал спрашивать куда, быстро оделся в штатское, и они пошли пешком по Невскому. Вскоре они вошли в кондитерскую Вольфа и Беранже, все четыре зала которой были полны. К ним подскочил Александр Унковский, и они сели за столик у заиндевелого окна — здесь уже находились товарищи Раевского — Павел Смагин, столоначальник Главного управления путей сообщения, и Алексей Попов, экзекутор и казначей из департамента государственных имуществ, бывший сослуживец Раевского. Все они не раз бывали у Лермонтова и были с ним на «ты».

Из этой кондитерской Пушкин, ожидавший здесь своего секунданта, в 4 часа пополудни отправился на Черную речку, где стрелялся с кавалергардом Дантесом... Дантес?.. Лермонтову случалось его видеть у Трубецкого — статный, самоуверенный и с бездумным челом красавец, еще более импозантный, чем Монго, француз... Говорить ему с ним не случилось, и потому, кто его знает, что он такое. О нем говорили, что высший свет без ума от него, но высший свет — это Кочубеи, Воронцовы, Бобринские, Фредериксы, Нессельроде и тому подобные, а также резиденции посланников европейских держав, — Лермонтову не случалось там бывать (ему и в голову не приходило постараться проникнуть туда). В этих-то недоступных простому смертному сферах вращался в последнее время Пушкин, которого сделали камер-юнкером, придворным человеком.

Кондитерская Вольфа и Беранже располагалась вблизи квартиры Пушкина. Павел Смагин вызвался пойти и навести справки о здоровье раненого поэта. Было уже десять часов. Вернувшись, он сказал, что доктора подают надежду, хотя положение Пушкина тяжелое — он ранен в живот... Смагин видел там Жуковского и Вяземского, к Пушкину проходили какие-то неизвестные ему господа, но его дальше прихожей не пустили, как и других посторонних. Возле дома образовалась толпа. Двери кондитерской то и дело открывались, на улице выстроилась вереница саней. В разных углах кондитерской встревоженно гудели кучки посетителей. Ежеминутно слышалось имя Пушкина.

Дантес ухаживал за женой Пушкина, первой красавицей Петербурга. Пушкин ревновал... Для заезжего гостя он был просто камер-юнкером и некрасивым мужем прелестной женщины. Дамы высшего света находили ревность Пушкина смешной и осуждали его за это... Никого не интересовал его поэтический гений, его стихи, его «Современник». Каждая минута приносила Лермонтову новые подробности о том, как Пушкин противостоял «свету». Свет играл им — его чувствами, его честью. Ему послали по почте «диплом рогоносца»... Лермонтов сидел, положив сжатые кулаки на стол. Он слушал и ничего не мог сказать, не мог разомкнуть стиснутые зубы. Глаза его были пронзительно-страшны. Ему не нужен был весь ворох подробностей — в немногом он увидел все. Он замер в напряженном ожидании — выживет ли Пушкин.

На другой день к Лермонтову зашел Краевский. В его рассказах снова замелькали имена врагов Пушкина, прежде всего графини Нессельроде, дочери грабителя России графа Гурьева (прежнего министра финансов), а теперь жены отвратительного немца, сделавшегося благодаря своему тестю министром иностранных дел. Она ненавидела Пушкина. За что? Да за эпиграммы и острые слова на счет ее отца, на ее счет... А ведь она при механизме высшего света — часовщик, она заводит пружину и, когда нужно, переводит стрелки. Она покровительствовала Дантесу, именно благодаря ей он стал в свете своим.

Краевский рассказал также историю странной женитьбы Дантеса на свояченице Пушкина, сестре его жены... Об еще более подлом и беззастенчивом поведении Дантеса после этой свадьбы, чем до нее, — он преследовал на балах жену Пушкина, компрометируя ее страстными взглядами и казарменными любезностями и давая понять, что он женился на ее сестре затем, чтобы быть ближе к ней. Теперь Дантес еще более в моде — высший свет ему сочувствует, оправдывает: как же, ведь он не мог поступить иначе; его вынудили выйти к барьеру. Он ранен в руку и контужен в грудь. Карьера его в России прервана — в лучшем случае он должен будет покинуть ее. Но ведь не отечество покинет этот искатель

счастья! У него три отечества и два имени... Второе имя — от приемного отца, барона Геккерена, нидерландского посланника в Петербурге. «Фальшивая, гнусная личность этот Геккерен», — коротко добавил Краевский.

К обеду 28-го появились в доме на Садовой Столыпин-Монго и Юрьев, но Лермонтов и Раевский оставили их в обществе бабушки и отправились к дому на Мойке, где тяжело страдал Пушкин. Подойдя к Певческому мосту, они увидели на набережной толпу в несколько сотен человек. Чиновники, военные, люди в потертых шубах и даже тулупах... Все молчат, но каждого выходящего из дома стараются не упустить, добыть от него хоть какие-нибудь сведения. Лермонтов и Раевский несколько раз ходили в кондитерскую Вольфа и Беранже, возвращались к дому Пушкина и молча стояли в толпе. Лермонтов не хотел проталкиваться в переднюю квартиры, которая все время была полна, так что даже доктор Арендт едва мог протиснуться, входя или выходя. Он приезжал каждые два-три часа. Когда он выходил от Пушкина в очередной раз, к нему бросались с вопросами: «Что Пушкин?.. Легче ли ему?.. Есть ли надежда?..» Он коротко отвечал, что вся надежда — на Господа Бога, а Пушкин держится молодцом.

День прошел как в бреду... Настало 29 января. Около трех часов пополудни Пушкин скончался, и весть об этом мгновенно разнеслась по городу. На Невском, в Гостином дворе, на всех углах и во всех домах, даже самых бедных, но, вероятно, не во всех богатых, жалели о Пушкине и на чем свет стоит ругали иноземца, иностранца-французишку, поднявшего руку на Пушкина, на *нашего* Пушкина... К дому на Мойке уже нельзя было проехать, так было там людно. Но сколько же пришлось Лермонтову услышать и омрачающих память убитого поэта толков! Даже у себя дома, от аристократов, постоянно оказывавшихся у бабушки за столом. Пушкин, мол, вел себя неприлично в свете; он был смешон, жалок. Он говорил грубости Дантесу, не желал мириться. Изводил несчастного Геккерена. Ограничивал свободу жены своей, не имея на то никакого права по причине своего *безобразия*. Кроме того, жену свою он ревновал не любя, а любил-то он знаете кого? — свояченицу! Александрину Гончарову... Ну и бабушка Елизавета Алексеевна, тоже туда, вздор понесла: Пушкин-де сел не в свои сани и, севши в них, не умел управлять конями, помчавшими его

наконец на тот сугроб, с коего вел один лишь путь в пропасть!

Лермонтов заперся в кабинете. Как ему было жаль, что он не может, не умеет плакать. Не горестное расслабление, а железная сила начали приливать к его мускулам, гневная сила, словно готовился он к бою. Втянув голову в плечи, расставив руки, кружил он по комнате. Кто-то постучал в двери — он не отозвался. С отрочества знакомые строки о смерти Ленского звучали в нем, и он шептал их:

...Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет...

...Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

Но вот он уже сидит за столом, и перед ним листы бумаги...

Погиб поэт; — невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой;
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде — и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Похвал и слез ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор.
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный чудный дар
Из любопытства...

Нет, не *из любопытства* — это зачеркнуть...

И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар...
Что ж, веселитесь — он мучений...

Нет, лучше *гонений*... А впрочем, пусть останутся *мучения*...

Последних перенесть не мог;
Увял мгновенно дивный гений...

Нет, лучше —

Угас как светоч дивный гений...
Увял торжественный венок.

За дверью послышался голос Раевского. Лермонтов впустил его, держа в руке перо, и тот все понял, взял с полки книгу и молча сел у камина. Ясно, что Мишель пишет стихи на смерть Пушкина, — что же еще теперь можно писать.

Лермонтов продолжал:

Его противник хладнокровно
Наметил выстрел...

Еще раз:

Сошлись, противник хладнокровно
Навел удар... надежды нет...

Нет, это не был *противник!* Нет! — а вот что:

Его *убийца* хладнокровно
Навел удар... спасенья нет;
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Сюда заброшен волей рока...

...«Заброшен к нам по воле рока»...

Искатель счастья и чинов...

...«На ловлю счастья и чинов»...

Не мог щадить он нашей славы,
Язык чужой, чужие нравы
Смеясь он дерзко презирал...

...«Смеясь он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы»...

Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На чтó он руку поднимал!..
Его душа в заботах света
Ни разу не была согрета
Восторгом русского поэта,
Глубоким, пламенным стихом...
Но час настал и нет певца Кавказа!..

Последние четыре строки Лермонтов стремительно перечеркнул... Вместо Кавказа нужно будет дальше упомянуть как-нибудь лучшее, Что у Пушкина есть, — «Евгения Онегина».

И он *погиб*...

Нет, —

И он *убит* — и рано взят могилой...

Нет, —

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности и злобы гордеца...

Но лучше так:

Добыча ревности немой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Это о Ленском (вот и «Евгений Онегин»)... Задумавшись, Лермонтов стал чертить профиль — вроде бы Дантеса, но он неожиданно получился совершенно похожим на Дубельта, Леонтия Васильевича, родственника бабушки по Столыпиным, начальника штаба корпуса жандармов. Это его поразило.

Но дальше, дальше... Стихотворение нужно кончить в один прием.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Бежал...

Нет, —

Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам *безбожным*...

Нет, надо еще ниже поставить их: «ничтожным»...

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
И плачет сирая Россия...

Прежний был из одних лавров...

Последнюю строку вычеркнул — нет, не надо отходить от убитого поэта, не надо идти вширь — нужно говорить не о России, а о нем, и это-то и будет выражением чувств большинства, то есть всего честного и доброго, что есть в России.

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом *презрительных* невежд...

Нет, — *бесчувственных*... зачеркнул и это, и написал «насмешливых»... Злоба и насмешка — сатанинские свойства... И подлинно, все они — нечистая сила.

И умер он с *глубокой*...

Вернее — с *напрасной*...

...жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки *дивных* песен...

...*Чу́дных*...

И не воскреснуть им опять...
...И не проснуться им опять...

Лучше, звучнее: *«Не раздаваться* им опять...»

И теперь нужно последовать за ним в его последнее место, пусть мысленно, но со всем тем жестоким чувством утраты, которое может выразиться лишь простыми словами:

Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Едва поставив точку, Лермонтов переписал стихотворение набело, делая при этом множество поправок и меняя знаки пунктуации.

— Святослав! — кликнул он, окончивши работу.

Раевский бережно взял бумагу с еще непросохшими чернилами... Прочитал; вернулся к началу — прочитал еще раз... просиял:

— Мишель, у меня нет слов... Позволь мне переписать для себя, для Краевского, для Смагина.

— Разумеется, — сказал Лермонтов, сел возле камина и стал смотреть на слабо вспыхивающие огоньки.

Потом пришли Юрьев и Меринский — и они переписали стихотворение раза по два... Появился Краевский.

— Я говорил! — воскликнул Краевский. — Я верил!.. Ты заменишь нам Пушкина. Эту элегию я покажу Вяземскому и Жуковскому. Мы поместим ее в «Современнике», который, конечно же, будет издан в пользу осиротевшей семьи.

— Пушкина никто не заменит, — тихо сказал Лермонтов.

Списки «Смерти Поэта» множились. На другой день квартира Арсеньевой была полна родственников, друзей и знакомых, а также и каких-то неведомых лиц — все

просили переписать «Смерть Поэта». Раевский неустанно изготовлял списки и раздавал щедро, веря, что это благое в память Пушкина дело.

В этот день, 30 января, вышел пятый номер «Литературных прибавлений...», где на последней странице Краевский поместил небольшое — ровно со спичечный коробок — известие о смерти Пушкина, обведенное черной рамкой (автором его был князь Владимир Одоевский): «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща... Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потере, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужли в самом деле нет у нас Пушкина... К этой мысли нельзя привыкнуть!»

На следующий день Краевский получил нагоняй от попечителя Петербургского учебного округа князя Дондукова-Корсакова.

— Я должен вам передать, — сказал князь, — что граф Сергий Семенович (он имел в виду Уварова, министра народного просвещения) крайне вами недоволен... К чему эта публикация о Пушкине? Что за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да это еще куда ни шло! Но что за выражения!.. «Солнце поэзии...» — помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в средине своего великого поприща...» Какое же такое поприще? Граф Сергий Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Наконец он умер без малого сорока лет!.. Писать стишки не значит еще, как выразился граф, проходить великое поприще... Он поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от подобных публикаций.

Николаю Гречу был строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности...» Цензору Никитенко было указано вычеркнуть несколько слов в таком же духе, которые Сенковский хотел напечатать в своей «Библиотеке».

Чего-то боялись.

Отпевание тела Пушкина было назначено на 1 февраля в Исаакиевском соборе. Лермонтов с друзьями пришел туда, но увидел, что народ в недоумении топчется вокруг, а собор пуст... Прошло довольно много времени до тех пор, как один из знакомых конногвардейских офицеров, быстро проезжая мимо, крикнул Лермонтову: «В Конюшенной!» Вот оно что — переменили место... Конюшенная — придворная церковь, расположенная неподалеку от последней квартиры Пушкина. Здесь скоро собрались несметные толпы: целые департаменты, добившиеся в этот день разрешения не работать; вся Академия художеств, актеры, студенты (хотя строго велено быть лекциям), купцы, извозчики, рабочие... В одиннадцать часов дня началась служба. В церковь пускали по билетам, и туда проходили только важные сановники и иностранные дипломаты.

Зрелище было внушительное, так что один из дипломатов сказал некой русской даме: «Лишь здесь мы впервые узнали, что значил Пушкин для России. До этого мы встречали его, были с ним знакомы, но никто из вас не сказал нам, что он ваша народная гордость». Целая армия жандармов и переодетых полицейских окружала церковь и пронизывала толпу. В половине первого кончилось богослужение, отворились двери, и народ был призван в тишине и благочинии пройти мимо гроба... Сразу началась давка. Раздались крики... Каждый спешил протиснуться вперед. Лермонтов стоял на улице в распахнутой шубе — этой сцены для него было достаточно. Народ ломится к гробу своего великого поэта, как не ломился бы к гробу императора. И какая масса... Что перед ней жалкая кучка аристократов, которая и тут — и вовсе не по заслугам — имеет свои преимущества.

Лермонтов и Раевский раздавали стихотворение «Смерть Поэта» направо и налево, требованиям не было конца, но того, что произошло в дальнейшие дни, они никак не ожидали: оно стало известно всему Петербургу... везде, всем! Его знали наизусть... Спрашивали, кто таков этот Лермонтов... Называли его гением и радовались, что Пушкин оставил себе наследника... Лермонтов в несколько дней стал знаменит. До него доходили слухи, что «Смерть Поэта» одобрил Жуковский; что его декламирует друзьям слепой поэт Козлов. Что им восхищаются в семье Карамзиных. «Стихи Лермонтова прекрасные», — уже 2 февраля записал в своем дневнике Александр Иванович Тургенев, один из ближайших друзей Пушкина. Казалось странным, что и в высшем свете стихотворение получило ход, и там его переписывали, говорили о нем. Краевский передал друзьям, что даже его высочество наследник, ученик Жуковского, одобрительно отозвался о «Смерти Поэта».

Дантес был под арестом. Но что же, какое наказание его ждет? Он иностранец — не подсуден законам русским... А изгнание — разве это кара?.. Убийца. Им убит величайший русский поэт... И тут Святославу Раевскому пришла в голову в общем-то безумная мысль, хотя ничего безумного ему никогда не было свойственно.

— У меня есть список «Венцеслава» Ротру в переводе Жандра, — сказал он Лермонтову. — Нынче утром его открыл и вдруг прочитал такое, что само собою связалось с твоим стихотворением... Послушай:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Это не пропущено цензурой, — продолжал Раевский, — но кто это помнит? Не поставить ли эти строки эпиграфом к «Смерти Поэта»? Пусть новые списки взывают через этот эпиграф к правосудию нашего государя.

— Но ведь он все равно не может казнить подлеца.

— Ну так что? Зато будет сказано прямо: Дантес убийца и пощажен государем только потому, что он не его подданный... Многие прочтут это... Нужно создать мнение против негодяя.

Лермонтов согласился. Раевский стал на новых списках «Смерти Поэта» ставить эпиграф, но без имени автора, указывая только — «Из трагедии»... Эпиграф возбудил новые толки — к тому же с ним стихотворение стало звучать гораздо резче. Но и возражения защитников Дантеса стали определеннее: казнить?.. нет, закон этого не позволяет. Да и так ли уж он виноват?.. Ведь дело *чести*. И это иногда говорили не где-нибудь, а прямо в доме у Лермонтова!

В воскресенье, 7 февраля, днем у него собралось большое общество — тут были Раевский, Смагин, Попов и Унковский, чуть позже явились Меринский и Юрьев, за ними Столыпин-Монго с братом Николаем, камер-юн-

кером, чиновником министерства иностранных дел, и еще два-три молодых офицера, почти незнакомых Лермонтову. Разговор шел о Пушкине. Уже всем было известно, что 3 февраля гроб с телом поэта был тайно отправлен в Святые горы, в тот монастырь, где похоронена мать Пушкина. Кто-то сказал, что графиня Нессельроде, покровительница Дантеса, открыто принимает у себя его отчима — старика Геккерена, который даже при дворе впал в явную немилость и готовился к отъезду из России. Другой осудил жену Пушкина за легкомысленное кокетство. Говорили об офицерах, которые ждут случая, чтобы вызвать Дантеса на дуэль. Кто-то сказал, что это известно царю, поэтому он вышлет француза за границу прямо из-под ареста. Кто-то принес копию записки одного из докторов, присутствовавших при кончине Пушкина... Все говорили об удивительном мужестве поэта, о том, что смерть спасла его от еще более ужасных мук.

Николай Столыпин, которого Лермонтов вообще видел редко (он был завсегдатаем великосветских гостиных, в первую очередь Нессельроде), счел нужным заметить Лермонтову, что напрасно он назвал Дантеса убийцей и даже требует через эпиграф его казни.

— Апофеозируй Пушкина как тебе угодно, — сказал он, — но вызвал Дантеса все-таки он... Грубости Дантесу публично говорил также он, я сам слышал такое, что не поверил своим ушам, а Дантес, как благородный человек, терпел, надеясь на примирение... Он надеялся, что родство...

— Это ты оставь, — холодно ответил Лермонтов. — Ты сам-то, скажи, Николай, стоя у барьера, стал бы стрелять в Пушкина, если б даже он и оскорбил тебя?

— Мишель, ты рассуждаешь как барышня.

— Нет, Николай, не увертывайся. Ответ должен быть один, от русского один: всякую бы обиду я от Пушкина снес во имя любви к славе России.

Лермонтов впился огненными глазами в серые нагло-холодные глаза Столыпина:

— Отвечай.

— Да что отвечать! Тут была затронута честь... Что же ты, не знаешь, что такое честь дворянина? При чем тут слава России? Да ведь он и иностранец... А ты — «отмщенья, государь, отмщенья».

— Честь?!

— Да, честь. Ты не знаешь Дантеса. Жорж...

— К черту твоего Жоржа! Да и тебя с ним!

— Мишель...

— Если над *вами* нет закона и суда земного, если *вы* — палачи гения, так... есть, есть суд Божий!

Столыпин деланно рассмеялся и отошел в сторону, говоря: «У него раздражены нервы...» Но Лермонтов двинулся за ним, и было видно, что он еле сдерживает ярость. Вокруг них сгрудились остальные. Все умолкло в предчувствии скандала.

— Убирайся! — сказал Лермонтов. — Или я за себя не отвечаю.

— Да он бешеный, его нужно связать, — не теряя самообладания, проговорил Столыпин и вышел не торопясь.

Лермонтов, ни на кого не глядя, ушел в кабинет.

С того же дня в Петербурге стало распространяться прибавление к стихотворению «Смерть Поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...

И так далее, до грозно обличающих и угрожающих строк:

...И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Эпиграф из Ротру стал ненужным. Теперь списки пошли по рукам с добавлением новых строк и без эпиграфа. С новым окончанием стихотворение стало поистине громоносным. Нередко новые строки ходили и отдельно, и некоторые считали, что это написано не Лермонтовым... С эпиграфом и без него, с новой строфой и без нее, с эпиграфом и в то же время с новым окончанием, с заголовками «На смерть Пушкина», «Смерть Поэта» — стихотворение продолжало распространяться по всей России. В книжных лавках, в кондитерских, в казармах, в университете, в Академии художеств, в Юнкерской школе, на кораблях флота — всюду переписывали это ставшее самым знаменитым в русской поэзии стихотворение... Гнев на гонителей Пушкина возрастал. Ни один убийца не удостоился такого количества яростных проклятий, как Дантес. Лермонтов бил в колокол... Списки «Смерти Поэта» поступали в Третье отделение к Бенкендорфу, но пока это все оказывались списки без последней строфы, и шеф жандармов не видел в стихах ничего предосудительного. Однако Раевский почуял недоброе и сказал Лермонтову:

— Как бы тебе за славу не заплатить карьерой по службе.

Через Андрея Муравьева друзья обратились к его двоюродному брату, начальнику канцелярии Третьего отделения Александру Мордвинову с запросом о стихах. Тот «нашел их прекрасными» и только дал совет не публиковать их. Из этого они заключили, что в Третьем отделении пока имеется только первоначальный вариант... Пока... Мордвинов сказал также, что он «читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Муравьев посоветовал Лермонтову «успокоиться». Это было несколько преждевременно... Буквально на другой день обстановка переменилась. Бенкендорф через Дубельта дал знать Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что ее внуку грозят неприятности, если стихотворение «Смерть Поэта» дойдет до царя. По ее просьбе Лермонтов перестал раздавать списки стихотворения, а бабушка старалась разузнать, у кого они имеются и нет ли возможности отобрать. Но к Лермонтову идут и идут люди с просьбой о стихах. Он скрылся из дома к друзьям — ночевал у них... Краевский, узнав об опасности, грозящей Лермонтову, кинулся его предупредить, но не нашел его дома, и даже Елизавета Алексеевна не могла сказать, где он. Краевский оставил записку Раевскому: «Скажи мне, что сталось с Л.? Правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, закала́емая в память усопшему?» Вслед за этими тревожными словами следовало спокойное сообщение о том, что его «пятницы» заменяются на «вторники» и что он переехал на другую квартиру.

Тем временем и Бенкендорф и царь получили полные списки стихотворения. Царь — даже с таким заголовком: «Воззвание к революции»... 17 февраля Бенкендорф отослал список стихотворения начальнику штаба гвардейского корпуса генералу Веймарну с приказанием допросить Лермонтова и отправить под арест в одно из помещений Главного штаба, где содержать его строго, «без права сноситься с кем-нибудь извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе».

18 февраля днем Андрей Муравьев заехал к Лермонтову, чтобы успокоить его, не застал дома и оставил записку, а Лермонтов как раз в это время был у него. Он хотел разузнать через Муравьева, что ему грозит...

Долго он ходил по пустой гостиной в доме Муравьева.

Наконец зашел в образну́ю, наполненную редкими иконами и привезенными из разных стран церковными памятками, развешанными по стенам и лежащими на столике под стеклянными колпаками. Муравьев много путешествовал по святым местам в России и за границей. Лермонтов рассеянно глядел на все эти вещи, но вот увидел пальмовые ветви и решил, что они из Палестины... Их две.

В образной было тихо и сумрачно; свет зимнего дня едва проникал сквозь тонкую, почти прозрачную штору. А когда-то эти сухие ветви были живы и вместе с другими качались на вершине высокой пальмы, в лазури неба, может быть — на берегу Иордана... Забыв, зачем он тут, Лермонтов задумался. Мирно стало на душе у него. Муравьева он не дождался, а тот нашел потом у себя дома записку Лермонтова и на обороте ее посвященное ему стихотворение «Ветка Палестины»:

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?..

В этот же вечер Лермонтов был арестован. 19-го сделан был обыск в его квартире в Царском Селе (там оказалось не топлено и ящики стола были пусты) и в кабинете его на квартире бабушки... Царь приказал старшему медику гвардейского корпуса «посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он» («а затем мы поступим с ним согласно закону», — прибавил он). «Вступление к этому сочинению дерзко, — пишет Бенкендорф царю о стихах Лермонтова, — а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное». Царь: «Приятные стихи, нечего сказать...» У Лермонтова спрашивают, кто распространял стихотворение. Он сказал, что «один из его товарищей» (хотя далеко не «один» из его товарищей переписывал и распространял его стихотворение, но он решил сразу выгородить всех остальных; а один — это Раевский, его ближайший друг и «главный» распространитель), но назвать его отказался. Это было расценено как дерзость. От имени царя ему пригрозили, что если он не назовет распространителя своих стихов, то

будет разжалован в солдаты, а если назовет, то этому распространителю ничего не будет, кроме отеческого внушения от государя. Лермонтов подумал о бабушке... Он представил себе, что будет с ней, если его постигнет участь Полежаева. Он молод, он вынесет эту беду, а она? Переживет ли?.. Да и кто, если не он, подумает, позаботится о ней?.. И он назвал Раевского, и тот был арестован. Малодушный поступок тяжелым грузом лег на совесть Лермонтова.

19 или 20 февраля, еще не зная, что Раевский арестован (очевидно, думая, что его и вообще не арестуют), Лермонтов пишет требуемое Бенкендорфом «Объяснение». Начал он его с того, что был «болен», долгое время не мог выезжать из дому (сюда он отнес и все последующее после болезни время, так как не являлся все это время в полк): «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, — писал он. — Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно-осуждаемого — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать: на каких основаниях так громко они восстают против убитого? — мне отвечали, вероятно — чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушную руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего... Тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные, невыгодные для него, слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные... Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись... Сам я их больше никому не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божиим».

В это же время и Раевский, содержащийся под арестом на гауптвахте невдалеке от дома Арсеньевой, пишет свое объяснение. Перебелив его, он хочет передать черновик Лермонтову. Через одного из своих сторожей он отсылает его камердинеру Лермонтова Андрею Ивановичу Соколову с запиской: «Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею и тогда дело кончится ничем... А если он станет говорить иначе, то может быть хуже». Тайный почтальон был перехвачен на полпути, и Лермонтов не получил ни записки, ни черновика.

23 февраля было заведено «Дело по секретной части Министерства Военного департамента военных поселений, канцелярии 2-го стола № 22. По записке генерал-адъютанта графа Бенкендорфа о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым и распространении оных губернским сек-

ретарем Раевским». Из названия этого дела видно, что оно должно было вестить начальством департамента военных поселений, то есть генерал-адъютантом графом Петром Андреевичем Клейнмихелем, директором его. Он же был и дежурным генералом Главного штаба, и Лермонтов, содержащийся там под арестом, подлежал его ведению. Бенкендорф отправил все бумаги — и оба объяснения — Клейнмихелю, с которым Раевский был вообще в большом раздоре по службе, надоел ему постоянным своим правдоискательством. Он рад был случаю расправиться со строптивым чиновником и сразу подал ходатайство о предании его военному суду, то есть более строгому. Его радовало то обстоятельство, что записки обвиняемых сильно противоречат друг другу, да еще эта неудачная попытка обмануть следствие.

Тем временем в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба Лермонтов писал стихи. Ни бумаги, ни чернил ему не давали, но он попросил Андрея Ивановича заворачивать приносимый им обед в серую бумагу. А чернила? Открыв печную отдушину, Лермонтов нашел там богатейший запас сажи... Немного воды или вина — вот и прекрасные чернила. Спичкой писать не совсем удобно, а все-таки можно... Тихо здесь было, никто не мешал. На Дворцовой площади мела метель. Ангел мира на Александровской колонне вздымал крест в серые зимние тучи. Зимнего дворца почти не было видно во мгле. Неслышно проползали внизу экипажи. На окнах комнаты нет решеток, это не Шильон и даже не Петропавловская крепость, но все равно тюрьма. А он, Лермонтов, узник.

«Солнце нашей поэзии закатилось...» Но в наступившей тьме поэзия продолжала жить.

Это не карцер училища... Это уже настоящая неволя! Не здесь ли, не в этой ли комнате помещался Грибоедов, когда его вызвали с Кавказа по делу декабристов? Что он тут делал? Скорее всего сочинял стихи, ведь он поэт... Чувствовал ли он, что ему так недолго оставалось жить?.. В первую же ночь, слушая шаги солдата, бродившего взад и вперед по коридору, Лермонтов подумал о декабристах, сидевших в сырых казематах, где иные пробыли многие годы... Потом мысль его как бы взвилась в высоту и оттуда, из мрачного поднебесья, увидела всю Россию... Сколько тюрем, сколько печальных темниц!.. Сколько бледных лиц глядит сквозь решетки... Написать бы поэму о русском узнике... и как он поет свою песню:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!..

Это начало стихотворения пятилетней давности... Дальнейшее Лермонтов повернул по-новому:

Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскачу,
В степь, как ветер, улечу.

Русский — песенный — добрый молодец, разбойник, Кирибеевич, удалец, против которого судьба ворогом пошла.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком...

Так Лермонтов приобщился к сонму русских узников, стал их певцом и соседом... Может быть, за стеной никого и не было, но иногда ему казалось, что там кто-то поет. И стена была не голого камня, а чисто оштукатуренная и ровно окрашенная в зеленый цвет, но все равно: «сырая стена». Одному — пропа́сть... А если за стеной живая душа, товарищ, хотя и неведомый, то и горе вполовину.

...чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю...

(А может быть, они о том, что «окно тюрьмы высоко...».)

...но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...
И лучших лет надежды и любовь
В груди моей всё оживают вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слёзы из очей,
Как звуки, друг за другом льются...

Звуки — как слезы, а слезы — как звуки... Так через стены душа говорит с душой — они понимают друг друга с полузвука. Это братство, какого не может быть на паркете гостиных. Тревога души (состояние нечистое), рожденная на этих паркетах, пропадает в «темнице сырой»

так же, как и там, где «добрый конь» скачет, «хвост по ветру распустив».

Склоняется под ветром поспевающая рожь, шумит лес. Для ребенка эти нагретые солнцем пыльные дороги, ивы у воды, румяные плоды на дереве — счастье. Такое, ничем не смущаемое счастье принадлежит детству. А потом остается лишь память о нем, но и это — счастье. И когда взрослый человек в редкую минуту вырывается из суеты жизни, он видит в этих полях и садах свое детство, и в нем вспыхивает чувство чистое, религиозное. И если при этом слышится журчание ручья, плеск речной струи у берега, если прошумит ливень, пронизанный радугой, — счастье становится еще полнее, так как вода — таинственный символ перехода в иной мир, и хочется верить, что к своим близким, уже ушедшим, к ангелам и Богу.

Если даже не видеть и не слышать всего этого, а быть взаперти, под стражей, то оно может ярко вспыхнуть в воспоминании — это счастливое и такое редкое ощущение присутствия Бога в душе.

И снова идут в ход чернила из сажи:

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...

Потом еще дважды «когда...» (о ландыше... о «студеном ключе», усыпляющем мысль «таинственной сагой»...), и нигде не поставлено точки, так как фраза продолжается, и наконец:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..

Не стать счастливым, а только понять — *постигнуть,* — что такое счастье... И назвать его великим словом, поставленным в конце строки.

25 февраля последовало «высочайшее» решение, отнявшее у Клейнмихеля возможность раздуть дело так, чтобы упечь Раевского в Сибирь. Царь приказал перевести Лермонтова «за сочинение стихов» из лейб-гвардии Гусарского полка в Нижегородский драгунский, стоявший на Кавказе, а Раевского, «за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании» — на месяц под арест и выслать в Олонецкую губернию на службу (срок которой не указывался).

27-го военный министр граф Чернышов подписал приказ о переводе Лермонтова, и его отпустили домой под расписку — никуда не отлучаться без разрешения петербургского коменданта генерал-адъютанта Мартынова. Бабушка приехала за ним сама и даже поднялась на верхний этаж Главного штаба вместе с Андреем Соколовым, который собрал и унес вещи... И только теперь, по дороге домой, Лермонтов узнал от бабушки, что Раевский (это ей сказал Дубельт) действительно вовсе не был бы наказан, но царь рассердился на него за попытку передать тайно черновик показаний. Сверх того Клейнмихель чернил Раевского как только мог, аттестуя его «непокорным», не признающим авторитета старших по чину... Государь все-таки почувствовал, что тут есть какое-то личное пристрастие Клейнмихеля, поэтому и решил все дело сам и одним махом.

Петрозаводск, конечно, лучше, а вернее — ближе Сибири. Там служил некогда великий Державин, немало пострадавший от местных чиновников. За правдолюбие. Вот и другой правдолюбец едет туда. Надолго ли? На год, два, на пять лет? Лермонтов пришел в ужас. Он не думал о себе, о том, что ему придется покинуть Петербург и ехать в Грузию сражаться с лезгинами и, может быть, сложить там голову. Нужно было вовсе не называть Святослава на допросе! Почему же назвал? Да думал, что все пустяки. Да черт знает почему... язык мотнулся не в ту сторону. Лермонтов видел, что и бабушке жаль Раевского, вся карьера которого полетела в тартарары. Да, конечно, тайная передача показаний. Но под арест-то он попал потому только, что Лермонтов его назвал. А если бы не назвал...

Вечером этого же дня Лермонтов отправил записку: «Милый мой друг Раевский. Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... И не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!..»

Лермонтов обратился к коменданту за разрешением навестить Раевского, но получил отказ. Были минуты, когда из-за угрызений совести он приходил в отчаяние... В начале марта он пишет Раевскому: «Любезный друг. Я видел нынче Краевского; он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что всё, что бабушка может, она сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжелая минута, но прошла».

Наконец и Раевский сумел переслать Лермонтову письмецо... Оно было самое задушевное и бодрое. Раевский просил Лермонтова не винить себя, ведь кого-нибудь назвать действительно нужно было, а в таком случае, конечно, именно его, Раевского, как самого близкого друга, а кроме того, не один десяток списков «Смерти Поэта» сделан его почерком, ясно, что не для себя одного... Он надеялся, что их ссылка будет недолгой и они встретятся прежними друзьями... «Ты не можешь вообразить, — отвечает Лермонтов, — как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта... Я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться — иначе же я и так приеду... Если не позволят, то я все приеду... Что Краевский на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то право, меня бы огорчило... Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — Восток. Меня утешают слова Наполеона: Le grands noms ce font à L'Orient. (Великие имена делаются на Востоке)».

В это же время Елизавета Алексеевна, не перестающая хлопотать о прощении внука, пишет мужу Аннет Алексею Философову, адъютанту великого князя Михаила Павловича. Аннет уезжала в это время за границу, где вместе с великим князем находился ее муж, и повезла с собой это письмо: «Любезнейший Алексей Ларионович! Не знаю буду ли иметь силы описать вам постигшее меня нещастие, вы любите меня, примите участие в убивственной моей горести. Мишынька по молодости и ветрености написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал неприлично на щет придворных... Вы, чадолюбивой отец, поймете горесть мою, в внуке моем я полагала всё мое благо на земле, им существовала, им дышала, и может быть я его не увижу, — хотела с ним ехать, но в старости

и в параличе меня не довезут живую... Не посылает мне смерти Бог».

Это была косвенная просьба к Философову — просить великого князя замолвить за Лермонтова слово перед царем... А между тем троюродная тетка Лермонтова Прасковья Николаевна Ахвердова, многие годы прожившая в Тифлисе, пишет для него письмо к своему пасынку Егору Ахвердову, подпоручику, который живет в ее бывшем доме, — здесь Лермонтов остановится, в доме, где бывал и где нашел свое последнее счастье Грибоедов. Здесь князь Чавчавадзе с семьей нанимал флигель, приезжая на зиму из своего имения Цинандали. Вдова Грибоедова Нина Александровна — дочь князя Александра Герсевановича Чавчавадзе.

В середине марта Елизавета Алексеевна попросила Петра Ефимовича Заболотского написать портрет внука. Художник принялся за работу — для этого случая Лермонтов в последний раз надел расшитый золотыми шнурами алый доломан лейб-гусара и терпеливо выдерживал сеансы. Заболотский помог ему собрать в дорожный ящик все необходимые художественные принадлежности, чтобы можно было рисовать в горах, — куски грунтованного картона, масляные и акварельные краски, кисти, карандаши, бумагу, складной английский мольберт. Бабушка благословила его в дорогу иконой Иоанна Воина, просила его — везде, где бы он ни располагался на ночлег, ставить ее себе в изголовье... Офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать Лермонтову прощальный обед, но это было командиром решительно запрещено, так как могло быть принято за протест против перевода Лермонтова.

19 марта Лермонтов выехал из Петербурга.

2

Щедро наградила его судьба — сразу и слава и опала — и ссылка на Кавказ... Откуда им, гонителям, знать, что такое для него Кавказ? Получилось почти по Крылову: «И Щуку бросили — в реку!» — Будто к родному отцу... Будто к родной матери — к горам в снежных шапках, к диким ущельям, где гремят реки... Вспомнились Лермонтову стихи, которые он словно сегодня написал, а не в отрочестве:

> Как сладкую песню отчизны моей,
> Люблю я Кавказ...

24*

Кстати и эта нижегородская форма — папаха, бурка, военный сюртук с газырями на груди, сабля на ремешке через плечо. Ехать далеко и долго, но он уже сейчас весь принадлежит Кавказу. Он думает о Тифлисе, в котором ему, вероятно, придется часто бывать, как посетит могилу Грибоедова, как будет беседовать с его вдовой, с отцом ее — князем Александром Чавчавадзе, грузинским поэтом, русским офицером, служившим в лейб-гусарах, стоявших после походов 1813—1814 годов в Царском Селе. Впоследствии — штаб-офицер, он одно время командовал Нижегородским драгунским полком. Как участник дворянского заговора в Грузии, он был выслан в феврале 1834 года в Тамбов, а с мая того же года находился в Петербурге, хлопоча о разрешении возвратиться в Грузию. Теперь он там. Пребывая в Москве, Лермонтов не появлялся в свете, не бывал на балах. Он проводил много времени у Лопухиных — сидел по большей части вдвоем с Мери — Марьей Александровной. Она была для него как любимая сестра. В этих разговорах они сблизились еще теснее. Алексей Лопухин стал ему скучен — потолстел, приобрел важный чиновный вид; он служил в московской Синодальной конторе. Лермонтов посмеивался над ним, советовал ему жениться на купчихе. Алексей все еще дулся на него за историю с Сушковой. Бахметевых в Москве не было, и Лермонтов был даже рад этому — он боялся новой встречи с Варварой Александровной. Саша Верещагина была помолвлена — ее жених баварский дипломат барон Карл фон Хюгель, свадьба их назначена на осень. Саша уедет жить в Мюнхен. Лермонтов несколько раз навестил ее. В эти дни он встречал там двоюродную сестру Саши и свою старую знакомую Варвару Николаевну Анненкову, девицу сорока двух лет, имевшую большую склонность к сочинению стихов. Когда Саша при них получила письмо от жениха и стала тут же читать его, Лермонтов открыл ее альбом и стал писать. Потом, улыбнувшись лукаво, предложил перо Анненковой: «Не хотите ли продолжить?» Это была шуточная «Баллада», пародирующая «Смальгольмского барона» Жуковского:

До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон,
И кусал он, и рвал, и писал, и строчил
Письмецо к своей Сашеньке он...

Югельского Лермонтов произвел от Хюгеля. Он написал 38 строк этой смешной баллады и кончил на середине

39-й. Анненкова прибавила еще пять строк, и баллада была окончена, так что после письма Саша сразу прочитала ее. В этом альбоме Лермонтов нашел разные записи Катерины Сушковой, которая приезжала в Москву в 1836 году. Под ее выпиской из унылого Ламартина он написал: «Катюша, не грусти». А после цитаты из творений Святого Августина поместил «Послание»:

Катерина, Катерина,
Удалая голова!
Из Святого Августина
Ты заимствуешь слова.
Но святые изреченья
Помрачаются грехом,
Изменилось их значенье
На листочке голубом...

Саша попросила Лермонтова вписать в альбом свою знаменитую элегию «Смерть Поэта». Он поколебался немного, но раздумал.

— Ты все же не останешься без стихов на смерть Пушкина, — сказал он. — Но они будут немного смешны, а все же очень трогательны. В них видна добрая душа африканца, сына природы.

И записал:

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА
Стояля в шистом поле
Как ударил из пистолетрум
Не слышал как гром загремил.
Всю маладсов офисерум
Упаля на колен, палакал слозом,
Не боле по нем, кроме по нея.

Ашиль

Это было стихотворение слуги Лопухиных, арапа Ахилла, который был потрясен, когда ему сказали, что первый русский поэт, убитый на дуэли, по материнской линии происходит от черного жителя Африки.

В Москве Лермонтов жил в доме Екатерины Аркадьевны Столыпиной. Дети ее выросли. Аркашке шестнадцать лет, он учится в пансионе; дочерям — семнадцать, четырнадцать и тринадцать. Младшая, Мария, — трогательнейшее создание, тихое и задумчивое, словно не от мира сего... У Лермонтова невольно щемило сердце, — что будет с ней через три-четыре года, когда ее начнут «вывозить» в свет?.. Неужели потускнеет это чистое ангельское сияние?.. Так было с Аннет. Со многими это случалось. Лер-

монтову страстно захотелось вымолить ей иную, по-настоящему счастливую долю. Стихотворение свое он так и назвал — «Молитва странника»:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу душу невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Мария Лопухина, которой он прочитал это, просияла радостью:

— Какое глубокое христианское чувство, Мишель! Я, признаться, ничего подобного от тебя не ожидала... прекрасная молитва... Сам Бог тебе ее подсказал.

В Москве Лермонтов пребывал в состоянии спокойной, но глубокой грусти... На советы друзей собрать рукопись для издания книги стихов (ведь имя его уже было известно в публике) он отвечал так:

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь Бог да совесть!..

И он медлил с выездом, который все же неотвратимо приближался. Невольно думалось: а придется ли еще когда-нибудь вернуться сюда, в Москву, на родину? Здесь не нашел он счастья, но для него и нигде его нет... Нет и любящей его женщины, которой он сегодня мог бы открыть свои горькие чувства:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; — настанет час кровавый,
И я паду; и хитрая вражда

С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.

Он был «славен» — то есть известен, но с его именем было связано только одно стихотворение «Смерть Поэта». Это еще не настоящая поэтическая слава. Скорее слава бунтаря. Он оплакал русского гения, обругал свет, обличил убийц. Обличил, но им не грозит наказание; они сильны — некому их наказывать. «Хитрая вражда» их теперь будет преследовать его, Лермонтова. Что ж, к такому обороту своей судьбы он готов уже давно! У «певца» не может быть лаврового венка — только «терновый». Здесь, в Москве, он как бы забыл, что едет в Грузию; пустынность московской жизни наводила тоску. И ему не было странно, что юношеские мысли о смерти возвратились к нему в эти дни — возвратились с необычайной силой. «Давно пора мне мир увидеть новый» — то есть не земной, а небесный мир... Смерть — «вестник избавленья», который объяснит ему наконец цель его жизни:

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа уставшая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия...

...Однажды он завтракал на Кузнецком мосту у Яра и встретил там Мартынова. Белокурый красавец-кавалергард, внушительного роста, полный достоинства, нисколько не был похож на того Мартышку, с которым он в Юнкерском училище рубился на саблях. В порыве радости Лермонтов кинулся ему на шею:

— Мартыш! Милый!
— Здравствуй, Маёшка.
— Ты в отпуске?
— Еду на Кавказ охотником.
— В какой полк?
— Гребенской казачий.

— Жаль, не вместе будем... Я в Нижегородский.
— Вижу... Да ты в душе всегда был кавказец.
— Однако я не охотником.
— Слыхал... Но хорошо, что не солдатом... За стихи, которыми ты отпотчевал Дантеса и его друзей, могли бы...
— Твой однополчанин.
— Я не выбирал себе однополчан.

Мартынов немного насупился, ожидая от Лермонтова какой-нибудь выходки. Но Лермонтов больше ничего не сказал об этом. На другой день он приехал в Петровское, где жили Мартыновы, — отец, мать, двое сыновей и пять дочерей. У них были большие хлопоты — готовились к поездке в мае на воды в Пятигорск. Лермонтов весь вечер проговорил с девятнадцатилетней Натальей Соломоновной и нашел ее очень милой и умной. Мартынов дома надел гребенскую форму, которую только что привезли от портного, и вышел в гостиную показаться. Папаха, черкеска с газырями и вся в галунах, брюки с лампасами, шашка, кинжал на поясе, а к этому всему лихо подкрученные усы. Сестры пришли в безумный восторг. Нет, Лермонтов в своей нижегородской, тоже в общем-то картинной, не выглядел так эффектно — фигурой не вышел.

— А что, не худо? — с простодушным самодовольством спросил Мартынов басом, глядя на себя в зеркало и отставляя то одну, то другую ногу, словно актер на репетиции.

— Абрек! — сказал Лермонтов и неестественно громко захохотал.

Лермонтов выехал на юг 10 апреля, не дождавшись Мартынова. Не дождался он и Монго, который также собирался охотником в Черноморию драться с лезгинами и убыхами (он проехал спустя неделю). От мысли, что на Кавказе будет столько своих, Лермонтову стало веселее. Но дорога на юг оказалась не веселой — шел мокрый снег, до костей пронизывали ветры, готовые снести прочь с дороги и экипаж, и лошадей. Ни шуба, ни вино не согревали.

Вот и переправа через Дон — паром ходуном ходит, лошади ржут, казаки матерятся. В Ставрополь Лермонтов прибыл настолько простуженный и закоченевший от холода, что ехавшие с ним камердинер и конюх вынесли его из коляски на руках. Он никак не ожидал, что дело обернется так серьезно — в ногах появились ревматические боли, и ему пришлось лечь в госпиталь. В дальнейшем, ожидая выздоровления, он жил у своего родственника генерал-майора Петрова, недавно овдовевшего, — Петров был начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории. В это время у Петрова жили два его родственника, первый — сын «авангардной помещицы», сестры бабушки Лермонтова, Аким Хастатов, состоявший у Петрова адъютантом. После смерти матери Хастатов стал владельцем Шелкозаводска, имения на Тереке близ Кизляра; другой — Семен Осипович Жигмонт, тоже штабной адъютант.

Лермонтов не однажды обедал у гостеприимного генерал-лейтенанта Алексея Александровича Вельяминова, командующего кавказскими войсками, где познакомился со многими офицерами, в частности с генералом Владимиром Дмитриевичем Вольховским, начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса, товарищем Пушкина по Лицею... Все эти люди были прямые начальники Лермонтова. Они облегчили его участь как могли. Было решено отправить его для восстановления здоровья в Пятигорск, а осенью в экспедицию против горцев на Черноморское побережье, чтобы он имел возможность отличиться и дать им повод ходатайствовать перед царем о прекращении ссылки и переводе его обратно в Петербург. 13 мая Лермонтов подал рапорт об освидетельствовании его болезни и был отпущен на воды.

«Я теперь на водах, — писал он Марии Александровне Лопухиной, — пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай Бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве, а то, если ему придется путешествовать вслед за вами по Европе... У меня здесь славная квартира; каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком поскучать все время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам, и одно это укрепило мне ноги; поэтому я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают».

Вскоре в Пятигорск прибыло семейство Мартыновых. Не преминул отпроситься из полка и мелькнуть здесь и сам Мартышка. Монго, однако, не появлялся и по обычной своей лени писем не писал — он передавал поклоны с отъезжавшими на воды офицерами. Все они хвалили Столыпина как храброго, чуть ли не лучшего на Линии

офицера... Приезжал ненадолго из Ставрополя Павел Иванович Петров — с ним Лермонтов провел несколько дней в Железноводске.

Город становился все многолюднее. На бульваре заиграла музыка, запестрела нарядная толпа. Лермонтов по детским своим следам, вспоминая с невольной грустью то блаженное время, поднимался на Машук, но уже не дикой тропой, а увитой виноградными плетями аллеей, для устройства которой была взорвана часть скалистого склона. С площадки, где был раньше казачий дозор, можно было смотреть на снежную цепь гор и на Эльбрус в довольно большую трубу, специально устроенную неким предприимчивым человеком.

Сколько здесь было романтики и волнующей таинственности для мальчишки, только что прочитавшего «Кавказского пленника» и к тому же страстно и безнадежно влюбленного! Теперь не то... Теперь ему кажется, что его Кавказ, близкая сердцу страна, отодвинулся туда, за степь, сухую и печальную, за снежные вершины. В беседке на Машуке устроена Эолова арфа, но звуки ее напоминают не игру на флейте, как было задумано, а скрип колес горской арбы. На Машуке Лермонтов рисовал, написал маслом вид города... Увидев на улице гадалку, вспомнил, что ему предсказано быть великим человеком, и усмехнулся... Нет, только не ему!.. Великие люди — Байрон, Пушкин... Ему же в этом мире не достанется ничего.

В конце июня в Пятигорске распространился слух о гибели Бестужева-Марлинского на Черноморском побережье, у мыса Адлер — он был убит горцами при высадке русского десанта с моря. Еще одна жестокая утрата для русской литературы!.. Как много он обещал!.. Но никому не нужна была его жизнь, брошенная под пули.

Настал июль. В Пятигорске было неуютно. «Здесь погода ужасная, — пишет Лермонтов бабушке, — дожди, ветры, туманы; июль хуже петербургского сентября, так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше».

В начале июля Лермонтова пригласил к себе прибывший на воды генерал-майор Вольховский. Он получил письмо от Философова, своего приятеля (и родственника Лермонтова). Алексей Илларионович просил помочь Лермонтову заслужить «прощение». «Не нужно тебе говорить, — отвечал Вольховский, — что я готов и рад

содействовать добрым твоим намерениям на щет его: кто не был молод и неопытен? На первый случай скажу, что он по желанию генерала Петрова, тоже родственника своего, командирован за Кубань в отряд генерала Вельяминова: два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему небесполезны... Государь так милостив, что ни одно отличие не остается без внимания его». Два пеших эскадрона Нижегородского драгунского полка, производившие рекогносцировку в горах на лезгинской линии, должны были влиться в отряд Вельяминова и в начале октября находиться в Анапе, куда ожидали государя. Лермонтову было приказано явиться именно в Анапу. После приезда государя должна была начаться вторая, осенняя, экспедиция против горцев. До осени еще было далеко.

Однажды Лермонтов встретил на бульваре Николая Сатина, прихрамывавшего, с палочкой, томного и длинноволосого, — это один из соучеников Лермонтова по пансиону... В пансионе Сатин, как и многие, баловался стишками, а Лермонтову случилось раза два их высмеять. Для Сатина этого было достаточно, чтобы навсегда отвернуться от насмешника... Но все же... Их удел почти одинаков — они оба в ссылке. Сатин, высланный еще в 1835 году за какое-то дело, в которое замешаны были его приятели Герцен и Огарев, в Симбирскую губернию, заболел ревматизмом и был переведен сюда, в Пятигорск. Он слаб телом и не силен характером, поэтому болезнь расправляется с ним свирепо, — часто не пускает на прогулки, а то и укладывает в постель на несколько дней. Лермонтов и Сатин после пансиона никогда и не вспоминали друг о друге... Но стихотворение «Смерть Поэта» Сатину известно... «Откуда?» — спросил Лермонтов. «Доктор, меня пользующий, принес, — сказал Сатин. — Он мой давний друг и прелюбопытный человек». — «Расскажи мне о нем».

Сатин рассказал, что этот доктор, которого зовут Николай Васильевич Майер, знаком здесь со всеми ссыльными, лечит их, всячески старается им помочь и сам весьма свободного образа мыслей. Он родился и жил в Петербурге, весьма учен и начитан. Он был другом Бестужева-Марлинского и даже спас его однажды от возвращения в Сибирь, взяв на себя одно дельце и отсидев полгода в здешней крепости. Доносы на него текут отсюда рекой — и в Ставрополь, и в Петербург... Особенно старается вдова-генеральша Мерлини (вот ее дом — вы-

дается из общей линии фасадов на бульвар). Если случится быть у нее — помни об осторожности.

— Кстати, — сказал Сатин, — вот лавка Челахова, роскошный магазин.

Лермонтов взглянул на красивую вывеску: «Депо разных галантерейных, косметических и азиатских товаров» — и на лице его изобразилось недоумение.

— Хозяин, — продолжал Сатин, — прелюбезный молодой человек, армянин, хорошо знающий по-русски. У него есть библиотека, новые журналы... Зайдем.

В библиотеке за большим столом, заваленным газетами и журналами, сидели за чтением старик в синем сюртуке и маленький чернявый казачий офицер с рукой на перевязи. У противоположной от окон стены — книжные шкафы.

— Не очень жалует это тихое место водяное общество... Ресторация зато полна, — сказал Сатин.

Хозяин остался в торговом зале. Лермонтов начал перебирать журналы, ему бросилась в глаза желтая обложка «Современника». Это был шестой том (второй за 1837 год), изданный в пользу семейства Пушкина Вяземским, Жуковским, Краевским, Одоевским и Плетневым. В начале книжки — «Русалка» Пушкина. Потом стихи Ершова, Гребенки, Шаликова, Деларю, Соколовского, Губера, Языкова и... *М. Лермонтова*! «Бородино»... на пяти страницах. Лермонтов едва не подскочил на стуле от неожиданности, но не подал виду, ничего не сказал Сатину, молча прочел свое стихотворение и перешел к «Арапу Петра Великого» Пушкина. Потом взглянул еще раз на «Бородино» и подумал, что вот это и есть *начало,* и как хорошо, что в журнале Пушкина... рядом с его сочинениями. Он увидел свое стихотворение как-то по-новому — глазами сотен, может быть, тысяч читателей. Он спрашивал себя, интересно ли ему мнение этих читателей о «Бородине», то есть, собственно, есть ли у него тщеславие... Ему хотелось беспощадно обличить себя в собственных глазах, он подумал-подумал и — не нашел все же в себе не только мелкого тщеславия и жажды похвал, но и вообще желания славы. Обличения не получилось. Но тут ему стало грустно: «Что же, душа моя лишилась всякого огня, стала стариковской, равнодушной?» Он бросил «Современник» на стол и вышел из лавки. Бульвар был пуст. Над Машуком как дым ползли тучи.

Он простился с Сатиным, свернул в переулок, вышел на каменистую тропу и направился к Подкумку, шумевшему среди валунов... Этот шум казался ему сейчас понятней человеческой речи... Окрестности, затянутые туманом, были пустынны. Слушая плеск воды, Лермонтов думал, что вот так и его душа — говорит, говорит, течет по жизни не останавливаясь, и никому не понятен ее язык. А потом кончится жизнь, душа покинет земные пределы, и что же — будет ли она так же одинока? Будет ли так же говорить, говорить сама с собой, как вот эта мутная река, которая, может быть, давно умерла.

У Сатина он познакомился с доктором Майером. Сатин ходить не любил — он по большей части сидел у огня со страдальческим лицом, кутал колени в плед, жаловался... Майер его жалел. Лермонтову с ним было скучно: Сатин все заводил разговоры о литературе, но Лермонтов их не поддерживал, быстро переходил на шутки.

— Ты так же несносен, как был в пансионе, — морщился Сатин. — И что у тебя за привычка насмешничать.

— Это чтобы не приобрести привычки умничать, — отвечал Лермонтов серьезно.

Лермонтов стал заходить к Сатину ради Майера, с которым потом прогуливался. Майер был одного с ним роста, всегда в черном сюртуке и белой фуражке. Одна нога у него была короче, и он прихрамывал, опираясь на палку, но ходил быстро и был силен и ловок, напомнив Лермонтову и Квазимодо и Вадима... При этом в облике его было что-то аристократически-хрупкое, а в добрых карих глазах таилось страдание... Ему было лет тридцать. Виски у него уже сильно поседели. Это был поистине «странный человек», и Лермонтов был рад, что встретился с ним. Майер во время прогулок рассказывал о себе, о своем отце, вестфальском немце, который служил в Петербургской Академии наук «у продажи книг», имел казенную квартиру и ничтожный доход, так что три его сына чуть ли не с детства были приобщены к службе в той же академии... Майер учился в Медико-хирургической академии, когда отец его покончил с собой. Он отправился в Бессарабию, потом в Ставрополь, стал военным врачом... По сути дела, Майер провел детство и раннюю юность в книжной лавке — он рано научился читать, а книги были под рукой, и не только на русском, а на немецком, французском и латинском языках.

— Чего я только не читал тогда, — с улыбкой говорил Майер, — о минералах, планетах и звездах, путешествиях в Сибирь, сельском хозяйстве и философии вперемежку со стихами, богословскими трактатами, «Не-

стором» Шлецера и всякими риториками... Рассматривал ботанические и анатомические атласы, сидел ночами над Ролленем и Татищевым, и в результате образовалась у меня в голове каша... до сих пор не разберусь.

Лермонтов просил его рассказать о Марлинском. Автор «Аммалат-Бека», служивший на Кавказе солдатом, заболел, и ему разрешили лечиться в Пятигорске. Они жили втроем в одной комнате — Марлинский, Майер, пользовавший больного, и Палицын, поручик Тенгинского пехотного полка, причастный в свое время к Северному обществу (он был переведен на службу в Сибирский полк, оттуда — на Кавказ).

— Представьте, какая соблазнительная для доносчиков компания! Пятигорск ведь полон ими... Из-за них мы с Палицыным за год до того едва не угодили в Сибирь — мы прошли через допросы, насиделись в крепости... Однако пронесло... Я вам назову некоторых иуд: генеральша Мерлини, поручик Снесарев, штабс-капитаны Орел и Наумов, унтер-офицер Головин... Не забывайте, что вы ссыльный и находитесь под надзором... Так вот Марлинскому Николай Полевой, редактор «Московского телеграфа», прислал белую пуховую шляпу... Вы знаете, что это карбонарская шляпа, впрочем, для любого другого это бы ничего, но для декабриста, каторжника, солдата... Об этом было узнано из тайно прочитанного шпионами письма Полевого... 25 июля жандармский полковник Казасси нагрянул к нам в пять часов утра с обыском. Мы успели спрятать шляпу в печь за дрова, но Казасси был не промах, он и туда сунул нос... Я сказал, что эту шляпу Бестужев заказал для меня. Что бы мне ни грозило, но, во всяком случае, не такая строгая кара, какая ждала бы Бестужева или Палицына... Я отделался крепостью здесь.

Они уходили в пустынные места. Не всегда говорили. Бывало, целые часы проводили в молчании, не испытывая неловкости друг перед другом. Майер был более откровенен, чем Лермонтов, — он, например, рассказал, хотя и скупо, о своем страшном разочаровании в любимой им женщине... Он верил в бессмертие души и считал, что иначе не стоило бы жить... Говорил, что люди сошли с ума и погибают, что в мире идет не строительство будущего, а разрушение всего разумного, что надвигается хаос... Майер был добрый, но очень мрачный человек. И очень одинокий.

Майер жил в одном доме с декабристом, членом Северного общества князем Валерианом Голицыным, похожим на итальянца, сухощавым, черноглазым человеком, который еще в 1829 году переведен был на Кавказ из Сибири, дослужился до прапорщика, вышел в отставку и теперь отдыхает в Пятигорске перед отъездом на службу — по статским делам — в Астрахань. Лермонтов стал бывать здесь по вечерам. Они вели втроем долгие беседы, но князь Голицын никогда не касался в разговоре ни декабрьского восстания, ни своей сибирской ссылки, все время держась в кругу вопросов чисто философских. Он хорошо знал Канта, Гегеля, Шеллинга, и в беседах с ним Лермонтов почерпнул немало полезного. Во всех спорах князь оставался победителем, так как искусством спора владел в совершенстве. Он был слегка насмешлив и никогда не горячился. Случалось, утренняя заря заставала их за беседой, начатой еще на закате солнца.

Однажды Лермонтов застал у Сатина молодого человека, которого принял за мелкого чиновника, доведенного канцелярской работой до истощения. У него были впалые щеки и сверкающие глаза. Сатин их познакомил.

— Белинский, — назвал себя чиновник.

Лермонтов стал припоминать — фамилия знакомая... «Странный человек»... Ах да... Это он писал, что Пушкин завершил свое поприще, а Пушкин был жив и творил. Это критик. Пара к Булгарину... А Белинский уже знал «Смерть Поэта» и «Бородино».

Они молчали. Белинский смутился. Он вертел свою фуражку в руках, потом так неловко сунул ее на стол, что она упала. Он нагнулся и не сразу ухватил ее дрожащими пальцами. Лермонтов молча прошелся по комнате, придумывая предлог, чтобы уйти. Ну да, конечно, — критик начинает ученый разговор. Найдена и причина — том записок Дидро, лежащий у Сатина на столе. Энциклопедисты... Вольтер... Лермонтов, почти не слушая, отвечал невпопад и шутками. Разговор не клеился. Белинский покраснел, потом вовсе потерялся и, не зная как быть, встал, потоптался, кивнул Сатину и вышел.

Сатин был поражен.

— Это один из самых блестящих умов! — сказал он.

— Вижу, — ответил Лермонтов. — Блеск от самовара.

— Да ты читал ли его статьи?

— Нет.

— Ну, знаешь ли...

Поглядев на раздраженное, сердитое лицо Сатина, Лермонтов рассмеялся, сказал «Прощай» и ушел, решив больше не ходить сюда.

Он отправился в Кисловодск.

3

В первых числах ноября Лермонтов приехал во Владикавказ. Было раннее утро. Маленький городок с крепостью и слободками просыпался — пели петухи, раздавался стук кузнечного молота, струились в небо дымы... В широко разлившемся Тереке стояли коровы... Впереди громоздился в небо Главный Кавказский хребет во главе с Казбеком, который осетины называли горой Христа (Цериистий Цуб). Здесь начиналась Военно-Грузинская дорога.

Лермонтов остановился в гостинице, ворота которой выходили на базарную площадь, уже наполнявшуюся торговцами. Едва осмотревшись в комнате, Лермонтов вышел с трубкой на террасу. Казбек, возвышавшийся прямо перед ним, постепенно заволакивался облаками. Лермонтов чувствовал странное волнение — такое, какое мог бы, вероятно, испытывать блудный сын после долгих странствий, приблизившись наконец к родному пределу. Радостное и тревожное... Одно дело — горы издалека (из Пятигорска, Кисловодска, даже из Грозной), другое — прямо перед глазами... Через несколько часов можно достигнуть Дарьяльского ущелья, столь живописно изображенного Марлинским в «Аммалат-Беке» и Пушкиным в «Путешествии в Арзрум». Там отвесные скалы, тропа на головокружительной высоте, древние руины возле заоблачных ледников. Лермонтов смотрел на белую шапку Казбека, то вспыхивающую на солнце, то тускнеющую в тени облаков. Страж Востока... Мудрец... На эту вершину поднимали глаза Пушкин, Грибоедов, Марлинский — теперь их нет на свете... Нет... или они здесь?

Выехав из Пятигорска в начале сентября, Лермонтов задержался на две недели в Ставрополе. Ему нужно было к началу октября попасть в Геленджик, в отряд Вельяминова. Однако сам Вельяминов, давно расстроивший свое здоровье в кавказских походах, покинул отряд и находился в Ставрополе, надеясь все-таки подлечиться и успеть в Геленджик к встрече государя. Боевые подвиги генерала все были в прошлом — он имел ордена



М. Ю. Лермонтов в 1839 году.
Акварель А. И. Клюндера.



С. А. Раевский (?).
Акварель Лермонтова. 1836—1837 гг.



М. Ю. Лермонтов в штатском сюртуке.
Художник П. Е. Заболотский. 1840.



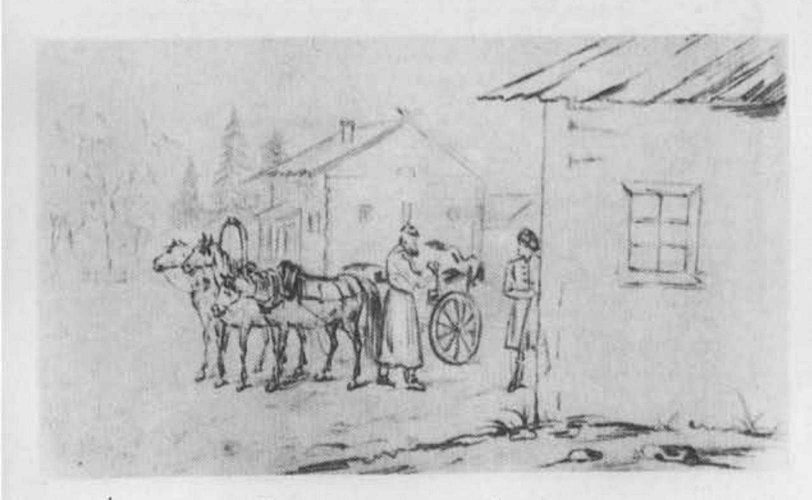
С. Н. Карамзина.
Художник П. Орлов.



А. А. Краевский.
Художник К. Турчанинов. 1845.



Е. П. Ростопчина. *Акварель П. Ф. Соколова.*



Тройка на деревенской улице.
Рисунок Лермонтова. 1832—1834.

Посвященье.

Автограф М. Ю. Лермонтова «Посвященье» к поэме «Аул Бастунджи».



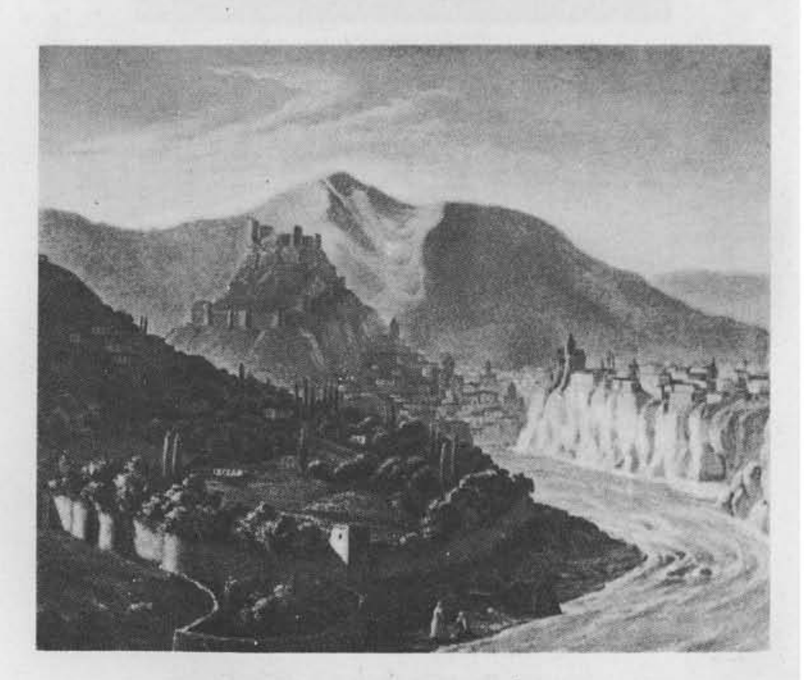
М. Ю. Лермонтов. *Автопортрет. 1837.*



Тамань. *Рисунок Лермонтова. 1837.*



А. И. Одоевский.
Литография с акварели Н. Бестужева.



Тифлис. *Картина Лермонтова. 1837.*



М. А. Назимов.



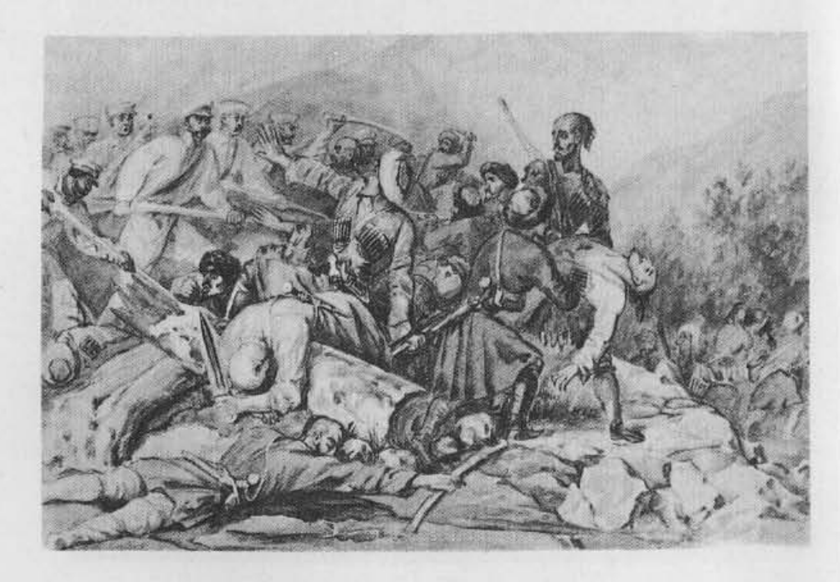
Л. С. Пушкин.
Рис. А. Орловского.



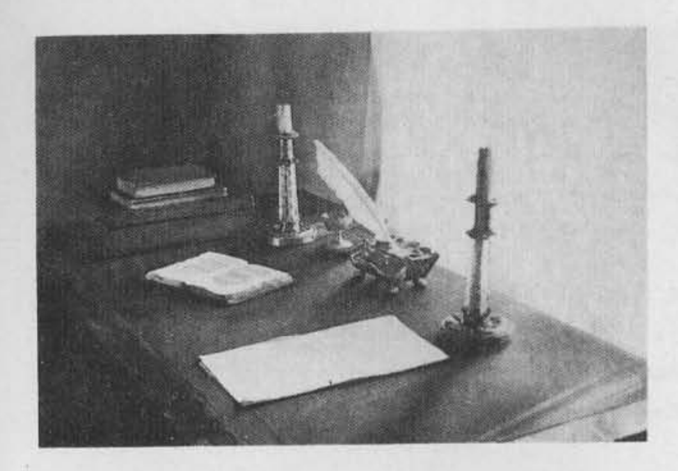
А. В. Галафеев.
Акварель с рисунка Д. П. Палена. 1840.



Домик Лермонтова в Пятигорске.



Эпизод из сражения при Валерике.
Акварель М. Ю. Лермонтова и Г. Г. Гагарина. 1840.



Письменный стол поэта в пятигорском домике.



Ламберт, Долгорукий, Лермонтов, Урусов, Евреинов на привале в Темир-Хан-Шуре в 1840 году. *Рисунок с натуры.*

1

Нетъ, не тебя такъ пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю въ тебѣ я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2

Когда порой я на тебя смотрю,
Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ:
Таинственнымъ я занятъ разговоромъ,
Но не съ тобой я сердцемъ говорю.

3,

Я говорю съ подругой юныхъ дней,
Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія,
Въ устахъ живыхъ уста давно нѣмыя,
Въ глазахъ огонь угаснувшихъ очей.

1.

Выхожу одинъ я на дорогу;
Сквозь туманъ кремнистый путь блеститъ;
Ночь тиха. Пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.

2

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля во сіяньи голубомъ....
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно?
Жду ль чего? жалѣю ли о чемъ?

3

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть:

Автограф стихотворений Лермонтова
«Нет, не тебя так пылко я люблю...»
и «Выхожу один я на дорогу...». *1841.*



М. Ю. Лермонтов в 1841 году. *Художник К. Горбунов.*



А. А. Столыпин (Монго)
в костюме курда.
Акварель Лермонтова. 1841.



Н. И. Лорер.
Художник Р. Шведе. 1841.



Всадник и амазонка. *Рисунок Лермонтова. 1840.*



Гостиная в доме Верзилиных, где произошла ссора Лермонтова с Мартыновым.

Отчизна

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победитъ ее разсудокъ мой,
Ни слава купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

Но я люблю — за что не знаю самъ? —
Ее полей холодное молчанье,
Ее лѣсовъ дремучихъ колыханье,
Разливы рѣкъ ее подобные морямъ.
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ
И, взоромъ медленно пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ опалённой жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ средь желтой нивы
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой многимъ незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу покрытую соломой,
Съ резными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

МЮ Лермонтовъ

Автограф стихотворения Лермонтова «Отчизна».



А. И. Васильчиков.
Рис. Г. Г. Гагарина. 1839.



Н. С. Мартынов.
Рис. Г. Г. Гагарина. 1841.



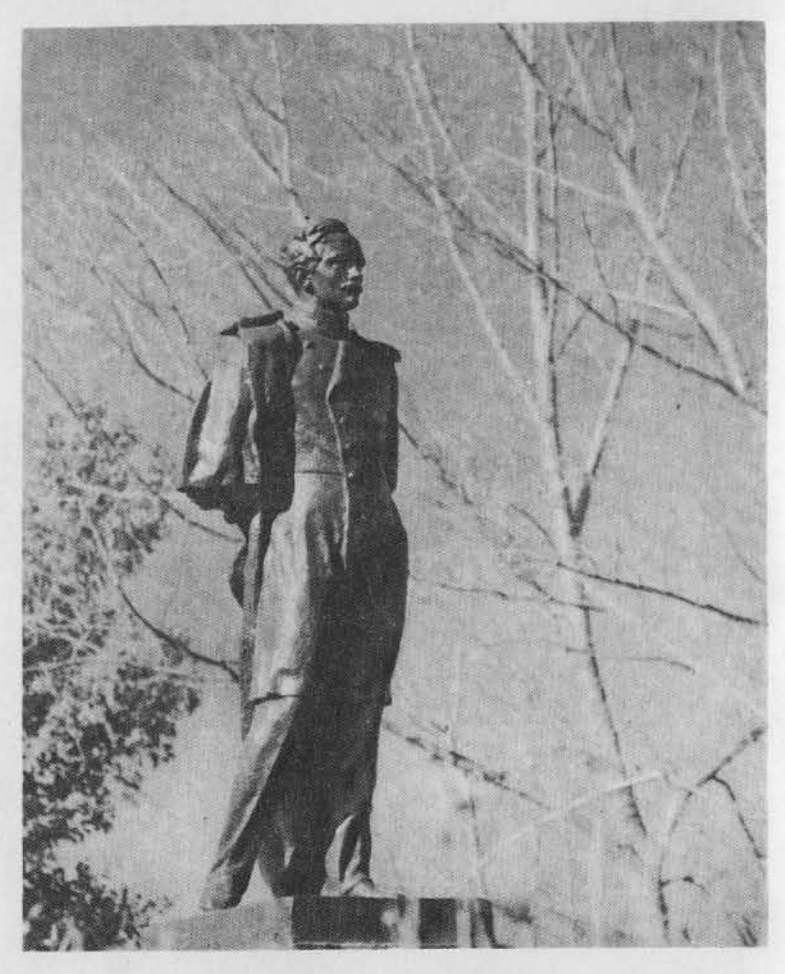
М. П. Глебов.



Могила М. Ю. Лермонтова в фамильном склепе в Тарханах.



Церковь Михаила Архистратига в Тарханах.



Памятник М. Ю. Лермонтову в Тарханах.
Скульптор Б. А. Зотов. 1958.

за Аустерлиц, Силистрию, Шумлу, Рущук, Бородино, Париж, а затем за походы на Кавказе, где сделался главным помощником Ермолова. Теперь же он и на коне мог ехать только шагом, часто бывал нездоров, но ни уважения в войсках, ни командирских способностей не утратил. У него было правило, чтобы все приезжающие в Ставрополь офицеры, от прапорщика до генерала, ежедневно обедали за его столом. Это относилось и к ссыльным вроде Лермонтова, и к разжалованным в солдаты. Обедало от двух до трех десятков человек. Роль «хозяйки» выполнял дежурный адъютант генерала, который так и обращался к нему: «А ну-ка, хозяйка, сделай то-то и то-то...» Разговоры за столом не умолкали — как правило, они были легкими и безопасными... рассказывались разные занимательные истории... Вельяминов похаживал вокруг стола, куря трубку и прислушиваясь к беседе. Если ему было интересно, он приказывал «хозяйке» подать гостям ликеров. Здесь Лермонтов перезнакомился с многими офицерами. Почти все декабристы, сосланные на Кавказ или переведенные сюда из Сибири, перебывали за этим гостеприимным столом, и генерал оказывал им уважение, как и всем прочим.

В конце сентября Лермонтов отправился в сопровождении линейного казака в Геленджик, в отряд, который после встречи там императора должен был бы начать второй этап военных действий против горцев. 24 сентября Лермонтов прибыл в Тамань, где несколько дней ждал корабля из Геленджика. В Тамани с ним случилось странное, вполне романтическое происшествие, которого Марлинскому — будь он жив — хватило бы для весьма занимательной повести. Он попал в гнездо контрабандистов, невольно подслушал кое-что и едва не поплатился за это жизнью. Старая казачка, слепой мальчик и девушка-дикарка... Да все это было бы и очень хорошо, если б не украли у него вещей — саблю, кинжал и шкатулку с письмами и деньгами.

27-го прибыл из Геленджика трехмачтовый транспорт «Буг». Лермонтов пошел в крепость к коменданту и там встретил капитана судна. Капитан объявил, что царь отменил осеннюю экспедицию, и отряд Вельяминова два дня тому назад выступил из геленджикских лагерей в Ольгинский тет-де-пон*. Лермонтову пришлось возвратиться в Ольгинское. Там 29 сентября он встретил Мар-

* Вид крепостного укрепления.

тынова, явившегося сюда в составе отряда из Геленджика, повинился ему, что посланные с ним матерью его из Пятигорска письма и деньги (300 рублей) пропали в Тамани... В Ставрополь они приехали вместе. Лермонтов занял у генерала Петрова денег, чтобы расплатиться с Мартыновым и приготовиться в путь, — он получил предписание ехать в Тифлис, в свой Нижегородский полк.

Но еще немало дней провел он в Ставрополе, где увиделся с Майером и Сатиным, которые жили на одной квартире. 17 октября сюда ожидали государя. Все кипело — выравнивались дороги, поправлялись заборы, ямы заваливались хмызом (как называли здесь хворост) и засыпались песком. Больной Вельяминов выехал во Владикавказ, на эту торжественную встречу.

А под Ставрополем разбил палатки для своего отряда генерал Засс, воспетый Полежаевым известный кавказский храбрец. Собрались здесь и толпы мирных горцев. В этом лагере было шумно и весело. Не кончались ни днем, ни ночью скачки, стрельба и застолья в палатках. 8 октября в Ставрополь прибыли из Сибири шестеро разжалованных в солдаты декабристов — Назимов, Нарышкин, Лорер, Лихарев, Черкасов и Одоевский. Прямо с дороги они попали в палатку Засса, где их радушно встретили хмельные офицеры во главе с генералом, — им подали вина... Они, однако, были смущены и далеко не сразу оттаяли. Сатин был здесь и потом рассказал Лермонтову об этой встрече.

Декабристы остановились в гостинице Найтаки. Лермонтова познакомили с ними, но случая сойтись поближе с кем-нибудь из них не находилось. Они носили свои солдатские шинели с большим достоинством, без тени рисовки, не то, что, например, «немирный» (как называл его сам царь) Колюбакин, которого Лермонтов встречал в Пятигорске, — тот *щеголял* солдатской формой, вечно терся среди «водяной» публики и принимал позы (Колюбакин был разжалован за то, что дал пощечину своему полковому командиру). Нет, соратники Рылеева не бравировали ничем — ни участием в восстании, ни каторгой и ссылкой. Они вели себя просто, сдержанно, благородно. Все смотрели на них с невольным восхищением. Лермонтову казалось, что он уже утратил способность восторгаться, но именно восторг испытал он, когда услышал, как в гостинице Александр Иванович Одоевский прочитал свое, только что написанное стихотворение:

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы — на юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьет,
И нас, и нас в далекий путь влечет...
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт чела не обовьет...

Их вот-вот разошлют по полкам, скорее всего в те, где есть опасность погибнуть, — вероятно, и в Нижегородский драгунский. Еще в пансионе узнал Лермонтов, выучил тогда наизусть послание Пушкина к декабристам в Сибирь и ответ ему Одоевского:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели...

Додо Сушкова своей рукой переписала ему эти стихи, принесенные ей Николаем Огаревым, юношей, бывавшим в их семье. Потом она открыла ему, что большая элегия «Что вы печальны, дети снов...», напечатанная в «Литературной газете» без имени автора, принадлежит Одоевскому. Эта элегия каждой своей строкой стала близка душе Лермонтова. Да, Одоевский ему брат по духу! Вот как он говорит о себе:

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал,
Но с юных лет пил желчь мучений
И в гробе заживо лежал;
Кто ядом облит был холодным
И с разрушительной тоской
Еще пылал огнем бесплодным,
И порывался в мир душой,
Но порывался из могилы...
Тот жил! Он духом был борец:
Он, искусив все жизни силы,
Стяжал страдальческий венец;
Он может бросить взор обратный
И на минувший, темный путь
С улыбкой горькою взглянуть...

После того как царь отбыл из Ставрополя в Новочеркасск, Петров объявил Лермонтову весьма приятную новость. После смотра войск в Тифлисе (это было 10 октября), которыми царь остался доволен, был отдан приказ о различных награждениях, в том числе и офицерам Нижегородского драгунского полка. Лермонтову, не при-

сутствовавшему на смотре, достался перевод в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший под Новгородом в военном поселении. Можно было теперь и не ехать в Тифлис! Через несколько недель он будет отчислен из Нижегородского полка, и нужно будет срочно выезжать в Петербург и Новгород. На эти недели Вельяминов мог бы оставить его тут, при штабе. Однако Лермонтов воспринял это прощение почти как катастрофу. Не съездить в Тифлис!.. не видеть Военно-Грузинской дороги!.. Терека, Арагвы... Грузии... Кахетии... И он рассудил так. Пока он числится в Нижегородском полку, он может поехать туда, — возвратиться же он назад оттуда, где застанет его приказ. Он решил ехать. И продвигаться не спеша, как путешественник. Подниматься на горы... Рисовать... Он уже объехал правый фланг Кавказской линии до Тамани. Теперь нужно повидать левый — до Кизляра. Заглянуть в Шелковое, имение Хастатовых на Тереке. Побывать в Грозной. И потом от Владикавказа начать путешествие в Грузию... Дождей не было. Погода еще стояла довольно теплая.

Он выехал из Ставрополя в Георгиевск, потом останавливался в Прохладной, Моздоке и Червленной. В Шелковом его принял только управитель (Акима Хастатова не было, он воевал за Кубанью). Здесь было на что посмотреть — по берегам широко разлившегося Терека высокий камыш, светлые дубовые рощи, заросли карагача, обвитого плетями дикого винограда. За Тереком волнами поднимаются лесистые горы, над ними белеет Казбек. Казачьи станицы окружены садами. Прекрасные сухие дороги. Лермонтов останавливался в простых куренях, пил молоко, слушал казачьи песни. Встречались казачки, поражавшие его утонченной, аристократической красотой. Он посетил Гребенскую и Старогладковскую станицы. В Кизляре побывал у коменданта — полковника Эриванского карабинерного полка Павла Александровича Катенина, поэта, — к нему было у Лермонтова письмо от генерала Петрова, его давнего приятеля. От Петрова Лермонтов знал, что Катенин в своем полку ведет яростную войну с офицерами, истязающими солдат и растаскивающими полковую казну, особенно с командиром — князем Дадиани, которого ему удалось разоблачить и подвести под суд. На смотре в Тифлисе царь приказал перед строем сорвать с него флигель-адъютантские аксельбанты и сослать его в один из пехотных полков, в глубину России.

Архаические стихи Катенина Лермонтову не нравились, — когда они ему попадались, ему казалось, что это написано во времена классицистов Хераскова и Сумарокова. Тем не менее Лермонтов отобедал у него, Катенин похвалил его «Бородино» и убеждал держаться этой линии, писать ясно и торжественно, брать предметы библейские или исторические. «Невежеством и безумием» называл он романтизм, а в сочинениях Кукольников и Подолинских неизменно находил «пошлость». Можно было и возразить, но Лермонтов молчал. Общего у них не нашлось ничего, кроме одного — любви к Пушкину. Вид у Катенина был усталый, углы губ страдальчески опущены книзу. Он, вероятно, был нездоров. Вообще Кизляр — место болотистое, гиблое.

Из Кизляра Лермонтов поехал в Грозную. И вот он здесь, во Владикавказе.

Рассчитывая провести на Военно-Грузинской дороге не меньше недели (вместо трех дней, за которые можно достигнуть Тифлиса), Лермонтов сделал в лавках некоторые запасы и нанял проводника-осетина до станции Казбек. День прошел в хлопотах, а под вечер, еще раз полюбовавшись горами, он сел в своей комнате за письма. Едва он обмакнул перо в пузырек с чернилами, как раздался стук в дверь. В вошедшем солдате-драгуне Лермонтов сразу узнал Александра Одоевского. Он только что подъехал с «оказией», солдатами, сопровождавшими почту через Кабарду.

Они проговорили до поздней ночи. Оба рады были новой дружбе. Да, именно дружбе, зародившейся и окрепшей во время этого разговора. Одоевский много рассказывал о себе, вернее — о своих товарищах, а это были Рылеев, братья Бестужевы, Кюхельбекер, Грибоедов... Он был самый молодой из них. И самый пылкий. Вместе со многими декабристами он считал себя «солдатом Рылеева». Самым близким другом Одоевского стал в это же время Грибоедов, скептически относившийся к известным ему планам переворота в России. Грибоедов даже переехал жить к Одоевскому после наводнения 7 ноября 1824 года, разрушившего его жилье. В квартире Одоевского на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади они жили одной семьей. Здесь от Грибоедова не таились в своих разговорах приходившие к Одоевскому, члену Северного общества, декабристы. Грибоедов давал им переписывать «Горе от ума», о цензурном разрешении которого он как раз в это время хлопотал...

В какое неистовство пришел Грибоедов, когда понял, что комедия не попадет на сцену! Он разорвал на клочки не только отдававшийся в цензуру список пьесы, но и то, что попалось ему в эту минуту из написанного его рукой.

— Он звал меня братом, — рассказывал Одоевский. — Не хотел расставаться со мной и уговаривал ехать с ним в Персию. На каторге до меня доходили слухи, что он за меня хлопочет... Потом я узнал, что он просил обо мне государя, Паскевича. «Бедный друг и брат! Зачем ты так несчастлив!» — писал он мне. Он призывал меня в этом письме к «внутренней жизни, нравственной и высокой, независимой от внешней» и прислал целую библиотеку хороших книг. Ах, как нам это было нужно! Мы устроили свой университет и читали друг другу лекции. В Читинском остроге узнал я о смерти Грибоедова в Тегеране... Ты знаешь, я так счастлив, что еду в Грузию! Это Бог помог мне... Мне ничего там не нужно, кроме могилы друга и брата моего в Тифлисе... Я тебе прочту, что я написал тогда в Чите. Слушай:

Где он? Кого о нем спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить...

— Я не верил тогда, что это может сбыться, — говорил Одоевский. — А теперь... Теперь мы с тобой, Миша (позволь мне тебя называть так), проедем по его следам, поклонимся его могиле и, может быть, увидим его вдову. У нас будет на пути много времени, и я тебе еще порасскажу о нем... Он ведь не только поэт, он умнейшая голова! Мудрый человек! Ему бы государством управлять... Да, да! Я тебе и это докажу, пока будем плестись по горам.

Они едут вдоль Терека, все выше и выше поднимаясь над ним в гору. Гремит тележка, сзади которой шагают привязанными две верховые лошади... На козлах кучер и проводник. После станции Балта Лермонтов достал альбом и, остановившись посреди широкого здесь ущелья, зарисовал Терек, осетинскую мельницу на нем, арбу, запряженную двумя быками, скалы и горы. Вольготно расположившись в тележке на сене или идя пешком, друзья не прекращали своей беседы. Каждый из них, как бы истомясь жаждой, припал к чистому источнику. Еще шесть верст великолепной дороги в скалах, станция Ларс,

и — вот оно, Дарьяльское ущелье! Узкая, с первого взгляда потрясающая трещина в гигантских темных скалах. Шоссе вьется по узкому каменному карнизу, переходя сразу за станцией через Чертов мост на правую сторону. Далеко внизу, ворочая и катя камни, с грохотом несется Терек — ряд ревущих водопадов. Шум такой, что не слышно голоса, нужно кричать в самое ухо. Одни камни. Мертвое царство, нигде ни травинки... Внизу полоса буйной пены, вверху — полоса неба... На третьей версте, против расположенного у самой дороги Дарьяльского укрепления, — полуразрушенная башня, остаток крепости, о которой упоминает Пушкин в «Путешествии в Арзрум», — она стоит на неприступной гранитной скале. Одоевский и Лермонтов шли пешком. Облако накрыло ущелье, стало еще мрачнее. Нет, это не облако, это крылья Демона... Вот жилище, единственно достойное его! Поднявшись на угловую башню Дарьяльского укрепления, Лермонтов нарисовал и башню «царицы Дарьи» и Терек, — только отсюда их можно видеть одновременно.

Но дальше, дальше... На огромной высоте прилеплены к скалам осетинские аулы — сакли-гнезда и боевые башни. Кажется, что только крылатые люди могут жить там. Время от времени попадаются остатки древних крепостей, охранявших Грузию от кочевников, непрерывно стремившихся пробиться туда.

Мысль о Демоне всецело завладела Лермонтовым. Под стук колес и копыт складывались новые строки поэмы:

...И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали...

На станции Казбек, у самого подножия Казбека, вздымающего на огромную высоту свои луга, каменистые отроги, сверкающие ледники и царственную седовласую главу, Лермонтов и Одоевский решили остаться дня на два. В этой долине, как оказалось, живут грузины, и вся она принадлежит грузинскому князю Казбеку, — Пуш-

кин описал его пьющим вино из бурдюка в дымном духане. Здесь наняли другого проводника и с его помощью побывали в храме Цминда-Самеба, стоящем высоко на отроге Казбека, у самых ледников. Оставив лошадей, прошли немного и по льдам, но подниматься к вершине Казбека проводник им не советовал, сказав, что там живет Господь Бог, что туда ни один человек не проникал и что на подступах к вершине, также на недоступной простому человеку высоте, обитают монахи, которых, правда, никто не видел, но там есть вырубленный в скалах монастырь Бетлеми (Вифлеем). Невдалеке от окончания ледника Орцвери они увидели несколько изъеденных временем, врытых в землю деревянных крестов, — сюда, как сказал проводник, монахи с Казбека спускаются по ночам молиться, так как эти кресты поставлены самой святой равноапостольной Ниной, просветительницей Грузии, молившейся здесь на пути в Мцхету.

Проводник говорил по-русски и, как оказалось, знал множество легенд. Заметив это, Лермонтов и Одоевский стали его выспрашивать, а вечером пришли к нему в саклю, где можно было упасть в обморок от духоты и дыма.

— Вдову Грибоедова зовут Ниной, — сказал Одоевский. — Это, верно, в честь той святой, которую сегодня столько раз упомянул проводник...

И тот по их просьбе рассказал «историю» (а вовсе, как он и отметил, не легенду). Он рассказал то, что, по его словам, знает каждый грузин, а если не знает, то он, конечно, не грузин, не картвел... Легенда, приправленная дымом очага и табака, была действительно прекрасна... Ночью друзья пробирались по улочкам Степанцминды (так называлось селение у станции Казбек) и потом нарочно уклонились к Тереку, не спеша на почлег. Луна освещала горы, и от них нельзя было отвести глаз. Одоевский задумался о своем... Лермонтов — о своем. Сами собой складывались и пели в нем строки:

На воздушном океане,
Без руля и без вертил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...

Серебрился Терек. Из мрака доносился вой шакалов. Из глубокой тьмы долины поднимался Казбек (проводник называл его грузинским именем Мкинвари). Легкие тени перебегали по синим льдам, казалось, что он дышит, слушает. Там, на его склонах, спустились из заоблачного Бетлеми таинственные старцы, которым не надо пищи, — молиться у крестов святой Нины, как молилась тут некогда она сама. Могучий Мкинвари затаился, слушая ее шепот. Склонив голову с крутыми рогами, стоял задумчиво на краю пропасти тур. Издалека пришла она в эти горы! Отец ее, Завулон, родственник великомученика Георгия, а мать — сестра иерусалимского патриарха Ювеналия. Когда был распят Христос, воспитательница Нины армянка Ниапхора рассказала ей, что на Голгофе метали жребий об его одежде. Хитон Христа достался Элиозу, еврею из Мцхеты. «Город Мцхета находится в Грузии, — сказала Ниапхора, — эта гористая страна пребывает в идолопоклонстве, и халдейские маги имеют там сильное влияние на народ». После этого разговора, ночью, во сне явилась Нине Богоматерь, на долю которой выпала Грузия — по-старому Иверия, — когда она вместе с апостолами решала, куда кому идти на проповедь. У нее в руках был крест из ветвей винограда. «Иди вместо меня на просвещение народа иверского», — сказала она... И Нина, которой было четырнадцать лет, взяла крест и пошла, понесла его и преодолела все: длинные дороги, крайнее утомление, страх перед зверями и разбойниками, холод и голод. Она падала в бессилии, плакала и молилась и не могла встать с земли по многу дней. Она шла, как шли апостолы, не думая о своей погибели. И вот она увидела высокие горы, покрытые снегом даже летом, в этих горах и была Мцхета, — великий город, где находился хитон Христа. 6 августа 324 года, в день Преображения Господня, пришла святая Нина в Мцхету и попала как раз на праздник Ормузда, когда тысячи жителей поклонялись идолам и огню. Многие чудеса совершила святая Нина — она обратила в христианство царя Мцхеты Мириана, собственноручно разбила идола Ормузда и воздвигла крест над Арагвой. Другой крест был поставлен ею на Тереке у горы Мкинвари — это место было избрано царем Мирианом для ежегодного празднования Пасхи. До сих пор, как сказал проводник, здесь, в храме Цминда-Самеба (Святой Троицы), на Пасху собирается народ со всей Грузии. В этом храме, высоко вознесенном над широкой долиной, сумрачно и прохладно, как в горной пещере. В нем всего одна икона, но она древнего византийского письма. Это икона Богоматери, написанная самим Мартыном Греком.

— Там, — указал проводник на горы Казбек и Гергети, — в огромной пещере томится прикованный к стол-

бу цепью богатырь Амирани, вызвавший на единоборство самого Бога... Рассердился Бог, сдвинул эти две горы вместе и запер богатыря во тьме. И освободится он только в день Страшного суда. Говорят, что он сделал добро людям, похитил с неба для них огонь.

Какие удивительные легенды...

— Еще говорят, — прибавил проводник, — что в Бетлеми похоронена великая царица Тамар.

Много тайн хранят вечные снега Казбека...

На третий день путники двинулись дальше, и скоро широкая долина сжалась в новое грозное ущелье с гранитными скалами, Хевское, — дорога поднималась все выше и выше. В этом ущелье Лермонтов зарисовал аул Сиони с церковью и башней на фоне скалистой горы Каварджины, вдали друг из-за друга выступают горы, внизу бежит Терек, а на дороге — пешеход в бараньей шапке и всадник в бурке, с плетью в руке. Стало заметно холоднее. Вот и Байдарское ущелье, где гремит река Байдара, и снег лежит на склонах все лето, — здесь зимой почти постоянные бури и часты обвалы. Путник, застигнутый во тьме снежной метелью, слышит гудение колокола и торопится на звук. Это звонит осетин, живущий у пика Джимарай-Хох. Помогать путникам и давать им в непогоду приют — его обязанность. У него две сакли — одна для себя, другая для гостей.

Дорога ведет на Гудаурский перевал, который называют еще и Крестовым, потому что здесь стоит каменный крест на высоком постаменте, обновленный по приказу Ермолова, но очень древний. От этого перевала Лермонтов и Одоевский поднялись на вершину Крестовой.

Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц...

Перед ними раскинулась Грузия, со всех сторон громоздились снежные горы и скалы, вдали, между гор, извивалась белая лента Арагвы. Горы и горы, до самого горизонта, который здесь очень далеко. Небо открылось прозрачной и страшной бездной, пустотой, так что невольно кружилась голова. Уходить отсюда не хотелось. Это было место, где душа просилась остаться навек. Лучшее место на земле! Не верилось, что можно забраться на такую громадную высоту.

Потом был долгий спуск верхом по зигзагам дороги в Койшаурскую долину, резко падающая вниз дорога на склоне Гуд-горы и затем путь по узкому карнизу над пропастью. Внизу, на расстоянии более полуверсты по отвесу бежала в цветущей долине Арагва. Путники расположились на отдых у подножия Гуд-горы на станции Гудаур. Стоя над пропастью у этой станции, Лермонтов вдруг понял, что именно тут стоял Пушкин. Вот он, строка за строкой, весь потрясающий вид, — взгляд, спускающийся постепенно от вершин к долине:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою, над снегами, у края стремнины...

Вниз, в долину вела почти отвесная тропа от хаотического нагромождения камней (их набросал в гневе горный дух Гуд) у подножия Крестовой горы — двухверстный труднейший спуск. Лермонтов и Одоевский преодолели его. Внизу Лермонтов расположился рисовать — перед ним была подступающая к Арагве плоская гора, на которой высились башни древнего монастыря, скала разделяла надвое бурное течение реки, на другой стороне — селение и квадратная боевая башня. Вдали снежные горы. В этих местах они пробыли также два дня. Видели несколько полуразрушенных древних монастырей. Им показывали священную рощу, которой не должен касаться топор. Здесь слышали они легенды о горном духе Гуде. Когда Лермонтов впервые услышал легенду о любви Гуда к юной красавице Нино, он был поражен сходством этого сюжета с его «Демоном». Злой дух хотел, чтобы и она полюбила его. В легенде у духа есть соперник — юноша, жених Нино, которого он пытается убрать со своей дороги.

Так обновлялся «Демон». Лермонтов и раньше собирался перенести действие поэмы на Кавказ, но теперь нашлось точное место. Вот это — Гуд-гора, Койшаурская долина, Арагва...

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...

...Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут звеня издалека...

На дороге скрипят арбы, запряженные черными волами, едет на ослике загорелый чернобородый монах. При въезде в селение натыкаешься на стаю разъяренных лохматых собак. Вечером на плоской крыше сакли девушки танцуют лекури под звон и грохот бубна и пение зурны.

В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится...

На обочине дороги, в глубине рощи, — кучка статных всадников с угрюмыми взорами, с ружьями за плечами. Волнистое стадо овец и пастух в синих шароварах, с длинной палкой, загнутой крючком. И снова взгляд упирается в голые черные или красноватые скалы, в безмолвные аулы на уступах или в бездне долин. В шумном духане говор, дым — возле него телеги, арбы, волы и верблюды. Часто слышатся на пути грузинские песни — странно, а все же в этих напевах было для Лермонтова много близкого.

Остальной путь проделали верхом. Через Ананури и Душети прибыли в Мцхету. Первым здесь им открылся древний монастырь Джварис-Сакдари (Святого Креста). Лермонтов нарисовал его еще издали — он виднеется на горе за Арагвой как бы в тумане, а на переднем плане — боевая башня и крестьянин, ведущий в поводу ослика, на котором сидит закутанная в белое покрывало женщина. Джварис находится на том месте, где Святая Нина поставила крест. Под ним, внизу, Кура вливается в Арагву.

...Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...

На другой стороне рассыпались между виноградниками дома ставшего совсем небольшим города. Там высится грандиозный патриарший собор Свэтицховели (Животворящего столпа), заложенный еще царем Мирианом, которого крестила Святая Нина. В этом храме, усыпальнице грузинских царей, многие века хранился хитон Спасителя, — в XVII веке персидский шах Аббас, совершивший набег на Грузию, взял его и отправил в подарок русскому царю Михаилу Федоровичу. Невдалеке от этого храма — древние постройки женского монастыря, где находилась келья Святой Нины. Над правым берегом Куры поднимается горный кряж с названием Картли. На нем, по преданию, погребен родоначальник картвелов (грузин), некий Картлос. Там же, на этих горах, над ущельем Армазис-Хеви, стоял золотой идол, который был ниспровергнут Святой Ниной.

На этом месте также был поставлен храм — вот его развалины: три отдельно стоящие остова без крыш. Внутри груды камня, кустарник. Лермонтов и Одоевский приехали сюда верхом в сопровождении проводника, который рассказывал, что здесь многие годы обитает один монах. Зовут его тем же именем, что и первого царя-христианина, — отец Мириан. Он живет в разрушенной колокольне, заделав камнями проемы, а служит в одной из развалин, где раньше был алтарь. Тут отец Мириан устроил навес из сучьев и найденных здесь же древних черепиц. Отец Мириан, темнолицый и седобородый старец, приветливо побеседовал с путниками и рассказал немного о себе. Он сам не помнит, но старые монахи, теперь уже покойные, говорили ему, что его, больного, ребенком лет пяти оставил здесь русский офицер (иные говорили, что генерал), подобравший его где-то в пути. Он был послан из Петербурга в Грузию Екатериной Великой. Так и остался мальчик безродным сиротой. Когда подрос — пытался бежать. Все пути приводили его назад. А потом он смирился, привык.

Это была совсем та «история молодого чернеца», о которой Лермонтов думал уже не один год (отчасти воплощенная в поэме «Исповедь»). Но здесь, в Грузии, в этих горах — это обретает совсем иную, настоящую, напряженную жизнь!.. Здесь, над Арагвой и Курой.

Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

4

В Тифлисе Лермонтов и Одоевский остановились в доме Егора Ахвердова, подпоручика Грузинского гренадерского полка. Дом этот, вернее — оставшийся от большой усадьбы флигель, с примыкавшим к нему виноградным садом стоял у подножия горы Мтацминда, — отсюда был виден весь Тифлис. На склоне этой горы находится монастырь Святого Давида. Не успев отряхнуть с себя дорожной пыли, путники отправились в этот монастырь к могиле Грибоедова. Дорога шла в гору. Вот и грот, облицованный мрамором... решетка... тишина и мрак... Вошли. Когда глаза привыкли к сумраку, увидели памятник — черный мрамор, бронзовый крест, коленопреклоненная фигура плакальщицы, барельеф Грибоедова... золотая надпись... «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, — прочитал Лермонтов, — но для чего пережила тебя любовь моя. Незабвенному его Нина...». Одоевский стал на колени.

Лермонтов глубоко задумался. Грибоедова постигла такая участь, о какой он, Лермонтов, мечтал с ранней юности. Так славно погибнуть! В битве с неисчислимой, яростной толпой, без надежды победить, с саблей в руке!.. Далеко от родины!.. И потом лежать в горах, над шумным восточным городом, где подернулась искренней печалью красота юной его возлюбленной, оставшейся жить вблизи этого праха. Она — дочь Востока, чистая и верная душа... Он — поэт русский. Всего удивительнее, что это не легенда, не предание давних времен, а жизнь! Грибоедов погиб всего восемь лет тому назад. Вдове его сейчас двадцать пять. Сегодня или завтра ее можно будет увидеть.

Вниз, к Куре, уходят крыши и сады города. На другой стороне обрывистой реки высится построенный Ермоловым замок Метехи. Там базар, шумные толпы... стук молотов... дым жаровен... Старый Тифлис тесен, можно целые кварталы обойти по крышам. К караван-сараю подходит вереница верблюдов с большими тюками. Как и везде на Кавказе, скрипят огромные колеса арб. Над крышами виден тонкий минарет мечети. А там — остатки турецкой крепости. С горы летит ручей, впадающий в Куру. Возле моста купола серногорячих бань. Эти бани подробно описал Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Вверх по горе идут обширные сады. Наверху строится новая часть города, европейская, заложенная Ермоловым. Тут все русское управление Грузией, дома генералов и крупных чиновников.

Грибоедов был дружен с Ермоловым. Генерал ценил глубокий ум и знания этого молодого, бесстрашного человека. Он был послан в Персию в первый раз в 1819 году и к тому времени знал уже персидский и арабский языки. Кавказ... Грибоедов... Вот о чем надо бы писать роман... Лермонтов вспомнил «Путешествие в Арзрум» Пушкина: «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова...» И дальше: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна... Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов...» Лермонтов решил расспрашивать всех, кто был близок к Грибоедову, кто хорошо знал его. И զароились мечты: выйти в отставку и поехать в Персию, посетить Тегеран, выучить персидский и арабский языки. Увидеть весь Восток и даже побывать в Мекке.

В тот же день Лермонтов оказался в доме Чавчавадзе. Оба они, Лермонтов и Одоевский, были приняты по-родственному. Лермонтов как родня Ахвердовой (а еще и как автор известного и тут стихотворения «Смерть Поэта»), а Одоевский как родственник Грибоедова. Александру Чавчавадзе предписано было жить в своем имении Цинандали, в Кахетии, но он медлил в Тифлисе, не спешил в уединение, хотя там, в Цинандали, какое уединение! Поблизости Караагач, стоянка Нижегородского драгунского полка; все офицеры — его гости. Дом Чавчавадзе в Тифлисе был открыт для друзей с утра до вечера. Каждый приходил когда мог. Офицеры, чиновники... Много родственников. Русские, грузины. Все обедали, гуляли в саду, читали, беседовали, музицировали. Всякий приезжий немедленно доставлялся сюда же. В том числе и иностранцы.

В этот вечер у Чавчавадзе был его дальний родственник и поэт Николоз Бараташвили, молодой человек с большими печальными глазами. Был и еще поэт — помощник секретаря главноуправляющего в Грузии Михаил Дмитревский. Два грузинских и три

русских поэта! Но в этот вечер ни Лермонтову, ни Одоевскому было не до стихов — они были поглощены дочерьми князя-поэта. Вот Нина Александровна, женщина красоты необыкновенной. Она была любезна с гостями, не выпячивала ни перед кем своего траура, но жестокая трагедия ее жизни была все-таки сильнее ее, — печаль, как бы далеко ни пряталась, никогда не покидала ее глаз. Сестра ее Екатерина (четырьмя годами моложе) была не менее прекрасна, но это была красота оживленная, блестящая, веселая. И если у Нины Александровны глаза были темные, то у Екатерины — голубые, лазурные, как небо в горах. У нее был прекрасный голос, а в придачу к нему — неистребимая жажда пения. Поэтому редко когда он не слышался в доме. Гости поневоле разделялись на две партии: поклонников черных глаз или голубых...

Звучали то фортепьяно, то чонгури... грузинский, русский и французский языки. Было какое-то очарование в смешении европейского с восточным. То же и костюмы: то сюртук, то чуха с откидными рукавами, то солдатская куртка, то мундир с эполетами, то черкеска, обшитая галуном. Женщины нередко появлялись в грузинском наряде.

Около двух недель провел Лермонтов в Тифлисе, ежедневно бывая в доме Чавчавадзе. С утра они с Одоевским ходили или ездили верхом по городу. Побывали в оружейных мастерских. Лермонтов купил там саблю работы мастера Геурга Елиазарашвили с грузинской надписью на клинке. Расположившись с мольбертом на высоком берегу Куры в предместье Авлабар, Лермонтов написал маслом вид Тифлиса с крепостью Нарикала на скале, горой Мтацминда, Курой, Метехским замком и садами на первом плане. Он делал рисунки в разных местах города. И, наконец, написал акварелью автопортрет, изобразив себя в бурке на фоне гор.

Приказ об исключении Лермонтова из списков Нижегородского полка мог прийти из Петербурга в любой день. Тогда нужно будет немедленно брать подорожную и мчаться в Россию. Но в России бумаги ходят медленно. Лермонтову хотелось побывать в Караагаче, взглянуть на Алазань, орошающую сады Кахетии. Может быть, проехать в Шемаху — дальше-то вряд ли удастся, а хотелось бы и в Эривань.

Вспомнив свое приключение в Тамани, где едва не погиб, Лермонтов задумал повесть с подобным сюжетом,

но с действием в Тифлисе. План, еще не продуманный хорошо, был записан наскоро: «Я в Тифлисе у Петр. Г.— ученый татар. Али и Ахмет; иду за груз. в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак; я рисовал углем на стене для забавы татар, и делаю ей черту на спине; следую за ней; она соглашается дать, только чтоб я поклялся сделать, что она велит; надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту: я забыл ее дом наверное. Мы решаемся отыскать; я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтобы он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж; а через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта дочь вышла замуж, находим дом, но ее не видать. Ахмет бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. — Раз мы идем по караван-сераю — видим: идет мужчина с женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночью оба на меня напали на мосту, схватили меня и — как зовут: я сказал, Он: «я муж такой-то» — и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил».

Многое зрело в голове у него — и новый «Демон», и поэма о монахе из монастыря над Арагвой, и роман о Кавказе ермоловского времени, и вот эта повесть. Не имея времени засесть за работу как следует, он набрасывал отрывки, планы, — и чаще всего не на бумаге, а просто в уме. Он уходил от своего прошлого — все вверх и вверх, на горы, и так высоко взошел, что едва различал там, внизу, Варвару Александровну, стоящую под зонтиком на солнечном лугу у Москвы-реки. Как тень от тучи рядом с ней мужская фигура... А тут, несмотря на осень, все так ярко и радостно, шумно и пестро. Звучит чонгури, и улыбаются такие голубые глаза, что можно зажмуриться, как от лучей солнца... Это богиня жизни и молодости, одна из граций, — Екатерина Чавчавадзе. Ей и поклоняются как богине, и подносят гимны — ее глазам, на русском и грузинском, французском и татарском языках... Не удержался и Лермонтов. Бросился в эту голубую бездну:

Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй звучит и тает
Твой голос молодой...

Ему трудно было скрывать смятение, в которое приводил его ее голос, когда она пела:

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает;
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,
И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

Но поистине они оба жили на небесах, но на разных: ее лазурные, солнечные, его — звездные, темные... Смолкало пение, и порыв его угасал. Но пение! Нельзя было не плениться им. Александр Чавчавадзе перевел для нее и положил на музыку стихотворение Одоевского «Соловей и Роза» — эта восточная канцона так всем понравилась, что ее приходилось повторять несколько раз на дню. Но Лермонтов ждал всегда грузинских народных песен, — слухом, душой, всем существом он отдавался их восточному строю. Он уже чувствовал, что ему скоро придется покинуть Грузию, и, может быть, навсегда. И тоска холодила его сердце, отравляла радости.

Сестры заметили этот особенный интерес Лермонтова к грузинской музыке, грузинским легендам (с каким волнением слушал он песню о сражении юноши с тигром!..) — это их трогало, и они старались чаще петь родные песни. Но Тифлис многоязычен и многоголос — он преддверие Востока. Здесь, на базарах и в караван-сараях, можно было услышать пение странствующих сказителей — ашиков, ашугов, сазандаров. От Терека до Нила раскинулась эта волшебная страна...

Однажды, узнав через посланных, что прибыл какой-то ашик из Шемахи, татарин, сестры велели сообщить ему, что у него будут гости — семья князя и ее друзья. Сестры оделись в мужские платья и превратились в прекрасных юных всадников, ловко управлявших своими конями. Лермонтов и Одоевский тоже оседлали лошадей. Вместе со слугами, которые везли ковры и разные припасы, в кавалькаде оказалось человек двадцать. На улицах этот маскарад никого не обманул — дочерей генерала Чавчавадзе узнавали все. Всюду им кланялись, снимая шапки. Там, где они проезжали, замирала на мгновение кипучая жизнь, стихал шум, погонщики отгоняли в сторону волов и верблюдов, поворачивали арбы, давая путь великолепным всадницам и их свите.

На широком дворе караван-сарая были раскатаны ковры, расставлены фрукты и бурдюки с кахетинским, разбросаны охапки цветов. Ашик, загорелый человек в остроконечной бараньей шапке, с крашенной охрою бородой, сел, скрестив ноги, на подушке и взял сааз с длинным тонким грифом. Двор быстро наполнился народом. Слушатели забрались на крышу, на стены и даже на деревья. Многие стояли на седлах своих коней, чтобы слышать хоть что-нибудь из-за толпы. Стоять надо было долго — ашик начал рассказывать и петь дастан — легенду, целый роман о любви Ашик-Кериба (или Керима) к прекрасной турчанке Магуль-Мегери. Лермонтов сидел, обхватив колени, напротив сказителя и не сводил с него глаз. Его пронзительный взгляд мог бы, вероятно, смутить певца, но тот не видел никого, покачиваясь с закрытыми глазами. Лермонтов не понимал ни единого слова, но этот голос, это персидское пение потрясали его. Эти напряженные до предела горловые рулады, надрывные стоны, слова, которые ашик произносил, как бы задыхаясь и жалуясь, этот сухой, раскатистый звук струн — все сжимало сердце, сладко бередило его... О, Восток!.. великий, таинственный... Слезы заблестели в глазах Лермонтова. Одоевский же беззвучно плакал, уткнувшись в ладони лицом. Это счастье длилось несколько часов. Лермонтов дал себе клятву изучить *татарский* (как называли азербайджанский) язык.

На следующий день он попросил Нину Александровну рассказать, что происходило в этом дастане с бедным Ашик-Керибом. Она ответила, что это поется и рассказывается по всему Востоку и всегда по-разному. Она не может передать полностью того, что они слушали вчера, так как не очень хорошо знает по-татарски, но расскажет коротко, как слышала раньше, еще в детстве. Это турецкая сказка... Лермонтов попросил позволения записывать.

— Давно тому назад, в городе Тифлизе, — начала свой рассказ Нина Александровна, — (татары говорят Тифлиз, а мы, грузины, Тпилиси) жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота

была ему единственная дочь Магуль-Мегери: хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца — и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо...

Как зимнее небо... Лермонтов подумал о своей душе, лишенной счастья, — именно как зимнее небо в России. Но сказка на то и сказка, чтобы счастливо кончаться: Ашик-Кериб получил свою красавицу. Лермонтов подумал, что если он напишет поэму об Ашик-Керибе, то там счастливого конца не будет. Там его не должно быть, раз его не бывает в жизни.

Грибоедов, русский ашик, также получил свою красавицу. Вот она, решившая всегда быть верной его памяти, отказавшая многим достойным женихам. Спокойная и даже иногда веселая, всегда приветливая и всегда прекрасная. Магуль-Мегери... смуглая, с черными бровями и глазами, глубокими, как ночь.

Лермонтов и Одоевский собираются наутро ехать — в полк, в Кахетию. Нина Александровна играет на прощание сочиненный Грибоедовым вальс. Все сидят, задумавшись.

Лермонтову необязательно было ехать в полк. Но ему хотелось побывать на берегах Алазани, а если удастся — в Азербайджане, может быть, попасть в Шемаху, город Ширванской провинции, откуда привез краснобородый ашик свой дастан о Керибе. Лермонтов и Одоевский поехали верхом и в проводники взяли «татарина», чтобы выспрашивать у него слова и начать понемногу учиться языку Востока.

Прибыв в Караагач, Лермонтов представился командиру полка полковнику Сергею Дмитриевичу Безобразову, вопреки своей фамилии, очень красивому человеку, одному из отчаяннейших храбрецов на Кавказе. Попал он сюда не своей волей, — будучи флигель-адъютантом при дворе, на вмешательство Николая I в его семейную жизнь он ответил резким письмом. В Нижегородском драгунском полку было много ссыльных и разжалованных. Они принимались здесь всегда сердечно — тут была как бы своя республика, со своими законами. Никто не видел здесь муштры, зверских наказаний, унижений. А служба шла исправно. Дома офицеров, казармы и палатки, конюшни и всякие службы городка весело белели в пышной зелени, — здесь, в отгороженной горами от севера долине, было еще лето. Полк нес свою всегдашнюю сторожевую службу. Лезгины постоянно угрожали набегами из-за реки, — владения Шамиля были близко. Да и по территории Азербайджана лезгины передвигались свободно. Тут ничего не стоило зазеваться и попасть в плен. Мигом — аркан на шее. Но досуга у офицеров полка было много, и Караагач сделался как бы увеселительным местом для жителей окрестных поместий и даже Тифлиса. Много раз тут бывали все члены семьи Чавчавадзе, проводившие лето в Цинандали. Тут устраивались спектакли, балы на открытом воздухе, пикники с музыкой и угощением, охота с собаками и ястребами, джигитовка и даже настоящие военные маневры с штурмом крепости.

Здесь был юг, благословенное место. С одной стороны вздымались голубые с белыми гребнями горы, с другой простиралась бесконечная, цветущая, как сплошной сад, долина, пересеченная множеством речек и излучистой серебряной Алазанью. За десятки верст видны были белые стены церквей, башни, селения и небольшие города, лепящиеся по скалистым склонам. Оттуда — из Нухи, Закатал — по пыльному каменистому пути идут караваны верблюдов, медленно движется охраняемая солдатами почта, к которой, как и почти везде на Кавказе, присоединяются путники... Там — Ширван, Эривань, Персия.

Лермонтову так хотелось отправиться туда, в дали, за Алазань, что он напросился в Шушу с нижегородскими ремонтерами за карабахскими конями. Оттуда он собирался поехать в Шемаху и потом, через Кубу и Нуху, вернуться в Грузию. Так он и сделал, объехав, с разными приключениями, чуть не весь Азербайджан. А 25 ноября пришел наконец приказ об исключении его из списков Нижегородского драгунского полка, и стал он собираться в далекий путь.

Еще не уехав из Тифлиса, он мысленно возвращался в Россию. Написал письма — Лопухиным, бабушке (от нее получил здесь два письма), Раевскому в Петрозаводск. «Любезный друг Святослав! — писал он. — Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор как я

здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии. С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... — Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. — Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь. Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское

Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, не позабудь меня, и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

Вечно тебе преданный М. Лермонтов».

И вот он пустился в обратный путь... Снова заблестела возле Мцхеты Арагва, поднялись под облака крутые горы, засыпанные снегом, холодные, — дорога на склоне Гуд-горы обледенела, тележку тянут нанятые на станции волы. Прощай, Восток!.. Лермонтов едет в обществе какого-то француза, любителя рисования, который постоянно чертит в своем альбоме контуры гор и, кажется, хочет изобразить во всей непрерывности всю Военно-Грузинскую дорогу. Француз поет, насвистывает, часто вылезает из тележки и идет пешком, останавливаясь и работая карандашом. У него на ремне через плечо большая кавалерийская фляга с кахетинским, которым он ежеминутно согревается.

В Коби Лермонтов написал «Подарок» — стихотворение о кинжале, который висел у него на поясе. В Тифлисе перед отъездом он сделал несколько знакомств. Его представили кузинам сестер Чавчавадзе Маико и Мае Орбелиани, красавицам. Был еще один случай, довольно грустный: ему показалось, а скорее всего так и было, что одна из его новых знакомых, грузинка, дочь отставного офицера, полюбила его. Он не мог этого не заметить, но и ответить ей было ему нечем... В день отъезда он побывал в этом доме. Грузинка простилась с ним без слов, но так необыкновенно, что поразила его: из богатой коллекции сабель и кинжалов, развешанной на огромном ковре, она взяла кинжал и поднесла ему...

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.
Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.
И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, — то сверкали.
Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

Впрочем, кинжал этот он попросту купил... А влюбленная грузинка примечталась.

Вот он достиг Казбека, границы двух миров... Что там впереди?.. Как и много лет назад, русские поля будут укрыты снегами... Под звон колокольчика он пронесется по ним... Но вспомнит ли его кто-нибудь на родине? И будет ли кому вспоминать? Козлов прекрасно перевел одну из «мелодий» Мура, русскую, — «Вечерний звон», и там сказано:

Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон...

Казбека не минуешь просто так, без привета и молитвы, без вопроса о грядущем. И главный вопрос: нужно ли возвращаться? То есть нужно ли жить?..

Спеша на север из далёка,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж Востока,
Принес я, странник, свой поклон...

Дай в жару прохлады... избавь от бури «в ущелье мрачного Дарьяла / Меня с измученным конем»... Но избавь только в одном случае — если я еще нужен на родине кому-нибудь.

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?
Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?
О если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

Не дал ответа Казбек. Лермонтов смотрел на его ледники и завидовал не вкушающим пищи старцам заоблачного монастыря Бетлеми... Там, только там жилище, достойное его души.

Из Владикавказа до Екатериноградской Лермонтов и его спутник-француз ехали несколько дней с оказией, замерзая от холодных ветров, снега и дождя. 15 декабря

они расположились в гостинице Найтаки в Ставрополе. У генерала Вельяминова продолжались многолюдные обеды, но сам он был тяжко болен, — верховая поездка из Владикавказа при встрече императора доконала его. Он был буквально при смерти.

Петров собирался в годовой отпуск, намереваясь провести его в своем костромском поместье. Лермонтову оставалось несколько дней до выезда из Ставрополя. Он встретил здесь Сатина и Майера; первого старался избегать (а если не удавалось — донимал его насмешками), а с Майером охотно беседовал у камелька.

Однажды у Петровых, в комнате Семена Осиповича Жигмонта, Лермонтов неожиданно для себя начал писать повесть. Он хотел было развернуть в подробное повествование тифлисский набросок, но события, случившиеся с ним в Тамани, вдруг затмили выдуманные тифлисские страсти с ночными приключениями и трупом русского офицера, сбрасываемым в Куру. Работа так его увлекла, что он забыл, где находится, зачеркивая строки и надписывая сверху новые, а потом подклеивая облатками клочочки бумаги с новыми поправками и вставками... Семен Осипович осторожно заглянул раза два в свою комнату, махнул рукой и ушел. Уже к полуночи Лермонтов хватился, что он не у себя, разыскал Жигмонта, и они долго хохотали:

— А я смотрю, строчит и строчит... и в ус не дует... я на цыпочках к генералу... куда же мне.

— А я-то... как без памяти... Сижу и сижу... Думаю: вот кончу и спать лягу.

На другой день Лермонтов перебелил этот черновик и тут же стал его пачкать — сделался черновик другой... Тут он уже надписал заглавие — «Тамань».

Он спрятал рукопись в чемодан.

...Ему хотелось встретить Новый год в Москве.

5

После святок в Москве началось веселье — балы, вечера, свадьбы. Алексей Лопухин снова собирался жениться, бывал в семье Оболенских, где поглядывал на дочь их, Варвару Александровну. Как-то зазвал с собой и Лермонтова, который там познакомился с Юрием Самариным, девятнадцатилетним юношей, заканчивающим университет. Самарин занимался в это время своей диссертацией о писателях-проповедниках XVII столетия

Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче. Замыслы у него были большие, и даже эта диссертация являлась только частью будущей работы. Он с восторгом жал руку Лермонтову, что-то бормоча о гениальном стихотворении «Смерть Поэта», о Пушкине, которого обожал. Его поначалу смутил мужественный и суровый вид Лермонтова, но когда Лермонтов рассмеялся и начал с ним говорить, разговор пошел самый непринужденный. Этот юноша понравился Лермонтову с первого взгляда.

В середине января Лермонтов узнал, что здесь, в Москве, в военном госпитале, пролежав почти полгода в лютой чахотке, умер Александр Полежаев, произведенный в офицеры за несколько дней до смерти. Мундир прапорщика на него надели уже *на покойного*. Вот как завершился путь Сашки, которого Николай I поцелуем в лоб благословил из студентов в солдаты. Умер... Москва в это время шумела и веселилась — о Полежаеве нигде разговору не было. Лермонтов раскрыл одну из его книг, и со страницы так и полыхнуло:

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит.
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!..

Это начало «Песни погибающего пловца» — пловец погиб, девятый вал опрокинул его суденышко. Поглощены воющей пучиной Грибоедов, Пушкин, Марлинский, Полежаев... Бушует черная стихия. Не видать во тьме берегов... Гибель — фатальная неизбежность. Так что же — ждать ее? И неужели — трепетать? Нет... Идти навстречу... Байрон вспомнил однажды, как его школьный товарищ в Харроу, «взяв пистолет и не справляясь, был ли он заряжен, приставил его себе ко лбу и спустил курок, предоставив случаю решить, последует выстрел или нет». Лермонтов вдруг почувствовал, что он мог бы проделать то же самое. Этот английский фаталист не единственное храброе существо на свете. «Судьба человека написана на небесах», — говорят на Востоке.

В Червленной он слышал историю о том, как храбрый офицер, много воевавший, не однажды раненный, был зарублен пьяным казаком на станичной улице... Это,

верно, было ночью. Офицер, конечно, шел домой после карточной игры у товарищей. Тут как бы сам собой возник сюжет повести: за карточным столом, где шел разговор о *предопределении*, этот офицер, человек, конечно, странный (и *чужак*, — одинокий человек, словно Ашик-Кериб во время странствий), решил испытать судьбу и приставил к своей голове дуло пистолета, не зная, заряжен ли он. Лермонтов очень ясно представил себе всю эту компанию. Комната с низким потолком, свечи, карты, деньги и бутылки. Кто-то (Лермонтов не любит новых имен — пусть это будет прежний его герой — Печорин) подбросил вверх карту. И когда она коснулась стола, офицер-фаталист нажал на курок. Осечка...

Получался рассказ или записки Печорина, — может быть, можно будет потом вставить в «Княгиню Лиговскую», — мог же Печорин отправиться охотником на Кавказ, — а там кто знает, может быть, получится и ссылка за что-нибудь. За дуэль, например... Он представил себе, как Печорин идет звездной ночью по станице: «Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Получалось так, что Печорин мыслит от лица всего своего поколения. Но много ли скажешь в одной неболь-

шой повести? Вероятно, не больше, чем в стихотворении. Он вспомнил своих сверстников — университетских знакомых, юнкеров, офицеров... Ничем особенно не увлеченная, мало во что верящая, хотя и нельзя сказать, чтобы совсем пустая молодежь. Декабрист Одоевский гораздо моложе их. А в таком-то возрасте, как они, в решительную минуту, на Сенатской площади, — «Умрем!.. ах, как славно мы умрем!» — восклицал он, идя на смерть с таким же восторгом, как на любовное свидание... Услышав подобное, Печорин пожал бы плечами — смерть для него лишь холодная и презираемая им неизбежность.

Лермонтов заставил и Печорина рискнуть жизнью — он кинулся в окно избы и обезоружил казака-убийцу, — пуля просвистела мимо его головы. Свой черновой набросок, еще не озаглавленный, он закончил так: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!»

«Княгиню Лиговскую» он продолжать не мог. То ли ждал встречи с Раевским, чтобы вместе обсудить продолжение, то ли хотел бросить этот роман, чтобы начать другой. Но главное сомнение было в месте действия: Москва?.. Петербург?.. Нет-нет, только Кавказ! Только Восток!.. Вот он отметил уже две крайние точки границы — Линии, на правом фланге — Тамань; на левом — одна из станиц на Тереке вблизи Кизляра... Как и многие, Печорин брошен в эту огненную кузницу. Он будет герой-современник, — как бы бледная тень героя прежних — не так уж и давних дней — Грибоедова. О Грибоедове Лермонтов не забывал никогда. Грибоедов вытеснил из его сердца Байрона. Ашик в тифлисском караван-сарае, задыхаясь и жалуясь, пронзительно оплакивал убитого «правоверными» русского поэта, — в пении, кроме дастана о Керибе, невольно прочитывался и такой плач... Если будет роман, то путь героя проляжет от Кавказской линии, через Дарьял и Тифлис (где главная точка — могила Грибоедова) в Персию... Может быть, отправить — порознь — и Печорина и Красинского на Кавказ, а семейство Лиговских на воды — и там вновь столкнуть их судьбы.

Ах, этот чертов Гродненский полк... Бабушка хлопочет — может, и не нужно будет появляться там. Одно название Поселения ввергает в хандру. Держали бы там

жандармов, а не лейб-гусар. Но в любом случае — в отставку!.. Теперь-то должны отпустить.

В конце января Лермонтов прибыл в Петербург. Бабушка жила на Фонтанке против Летнего сада.

«Любезный дядюшка Павел Иванович, — писал он 1 февраля Петрову в Ставрополь, отсылая ему денежный долг. — Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствований и многих *плясок* в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний. Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро грозит приятное путешествие в *великий* Новгород, *ужасный* Новгород».

О первых неделях пребывания в Петербурге он пишет подробно Марии Александровне Лопухиной: «Мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в непрерывной беготне: представления, парадные визиты — вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он, правда, очень хорош, но мне уже надоел; вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! — не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат. Наконец, я порядком пал духом и хочу даже как можно скорее бросить Петербург и отправиться куда бы то ни было, в полк или хоть к черту; тогда по крайней мере у меня будет предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого... Приехав сюда, я нашел дома целый ворох сплетен; я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь; простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле, но увы! раз я вам это говорю, это как раз доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории, истории — жалобы, упреки, подозрения, заключения, — это просто несносно, особенно для меня: я отвык от этого на Кавказе... Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось — и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника». Бабушка надеется, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, но дело в том, что ей внушили эту надежду Бог знает с какой целью, а она на этом

основании не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь».

Всего охотнее он навещает Краевского, который стал заправским издателем. «Литературные прибавления» идут хорошо. Краевский принимает участие в «Современнике», но уже обозначилось для него дело: он вместе с князем Владимиром Одоевским (двоюродным братом Александра Одоевского) задумал купить у Павла Свиньина не выпускающийся им с 1831 года журнал «Отечественные записки», чтобы сделать его *лучшим* русским журналом. Краевский убеждал Лермонтова больше писать, ибо, считал он, вряд ли нынче найдется другой такой талант. Он просил стихов, прозы, заметок, переводов, всего, что напишется. Спрашивал о романе. У Краевского Лермонтов познакомился с Владимиром Одоевским, который сразу стал расспрашивать его о брате Александре, Нине Грибоедовой... Одоевский как раз в это время собирал сведения для биографии Грибоедова (в основном от Жандра и Бегичева, друзей Грибоедова).

Кумиром Одоевского был Ломоносов, которого он ставил в один ряд с Леонардо да Винчи и другими гигантами эпохи Возрождения. Как и Ломоносов, Одоевский стремился к универсальному знанию — он хотел изучить все, чего достигли науки и искусство к настоящему времени. Он не был гениален, но поражал воображение разнообразными талантами. Он превосходно знал презираемую им современную (особенно немецкую) философию. Любил — и еще лучше знал — православную патристику и богословие ставил выше философии. Он писал интересные повести в философско-фантастическом роде, статьи, сказки (кто не знал прелестного «Городка в табакерке»). Он был химик, музыковед, пианист, математик, педагог... Знал толк в сельском хозяйстве. Словом, это был неустанный деятель, хлопотун...

Слушать его было трудно: он угадывал возражения, обгонял их и менял тему, — невозможно было уловить, где, когда в его речи произошел поворот. Он как бы не говорил, а работал, неустанно набивая слушателя мыслями, по большей части важными и оригинальными.

Когда он заговорил об алхимии, Краевский засмеялся («Ну вот, опять!..»), взял книгу и ушел в другую комнату.

— Смеются... вот так всегда. Даже друзья мои не понимают, сколько дела на свете. У народа нет книг. Нет у нас своей музыки... архитектуры... медицины... Старое — забыто, новое — неизвестно... Там юноши не знают прямой дороги — здесь старики тянут в болото... Да что вы! я не исчислил и тысячной части дел.

Через Одоевского призвал Лермонтова к себе Жуковский. В одну из суббот вместе с Одоевским он поднялся на верхний этаж Шепелевского дворца, где в низких, но просторных комнатах обитал маститый поэт. Два широких дивана спинками друг к другу стояли посреди кабинета, один обращен к горящему камину, другой к рабочему столу на высоких ножках (для писания стоя). На шкафах, на каминной полке множество гипсовых слепков — поэты и герои Эллады... Там уже было несколько человек — Плетнев, Кольцов, Александр Карамзин, Иван Козлов. Слепой поэт сидел в кресле-самокате, был прекрасно одет и имел очень непринужденный вид. Изможденное, красивое лицо его дышало энергией, голубые глаза смотрели на собеседника, так что незнающему трудно было догадаться, что он слеп, — он беседовал у камина с Александром Карамзиным, сыном знаменитого историографа. Лермонтов был в сюртуке, только усы выдавали в нем военного. В этот раз, также впервые у Жуковского, был еще один молодой поэт — Яков Грот, только что напечатавший в «Современнике» свой перевод «Мазепы» Байрона.

Жуковский в этот вечер все вспоминал Пушкина, говорил о новом издании его сочинений, о «Борисе Годунове» и советовал всем чаще обращаться к «Истории государства Российского» Карамзина как к источнику поэзии... Кольцов, стихотворец из народа, стоял потупившись посреди комнаты, вроде как в церкви, и вслушивался в каждое слово. Лермонтов довольно долго сидел в одиночестве, пока Жуковский не предложил ему прочесть «Смерть Поэта». Он прочитал, но плохо, сбивчиво, и потом сказал, что он не совсем доволен этим стихотворением, так как оно не тщательно отделано... А теперь...

— Не исправляйте! — сказал Жуковский. — Вся Россия знает его таким, как оно у вас вылилось в первую минуту. Оно принадлежит истории. А то, что вы умеете отлично отделывать написанное, мы видим по «Бородину»... Это железо! Это именно выковано! Прочтите нам еще что-нибудь.

Лермонтов не стал отказываться и прочел «Молитву странника». Немедленно раздались похвалы, а Козлов захлопал в ладони и звонко крикнул: «Молодец!»

— Нельзя ли еще что-нибудь? — спросил Плетнев.

— «Тамбовская казначейша», — объявил он. Голос его окреп, озорство засветилось в глазах.

Чтение закончилось под одобрительный смех.

— Ну что, Петр Александрович, — обратился Жуковский к Плетневу, который с этого года редактировал «Современник» один, но все же с помощью друзей, — годится для нашего журнала?

— Думаю, да. Но нужно показать Вяземскому... Да еще Мария Николаевна прочтет, — нерешительно пробормотал Плетнев. Видно было, что хотел бы отказаться, но не смеет... Как откажешь Жуковскому?

Великая княгиня Мария Николаевна, восемнадцатилетняя дочь царя и воспитанница Плетнева, была благодаря ему любительницей поэзии. Вот она и навязалась Плетневу в помощницы по «Современнику», сильно осложнив тем самым его работу. А тут эта «Тамбовская казначейша»... ну как ее покажешь...

Жуковский понимал, что творится в душе Плетнева. Но с самым невинным видом попросил Лермонтова доставить ему список поэмы.

— Я отвезу Вяземскому, — сказал он. — А Мария Николаевна нам не помешает... Пустим в ближайший нумер.

На другой день Лермонтов, поленившись отдать переписать поэму, привез Жуковскому свой единственный экземпляр. Жуковский занимался английским языком, — в кабинете у него разложены были книги по истории и географии Англии. Большая карта британских островов была приколота к ширмам. Жуковский, бывший воспитателем наследника престола, сразу после смерти Пушкина вынужден был отправиться со своим учеником в путешествие по России, — недавно вернулся, а теперь должен опять ехать, но уже в Европу, в основном, как предполагалось, в Англию. Узнав, что Лермонтов читает по-английски, Жуковский оживился, раскрыл Байрона, и они стали вместе читать «Гяура». Узнав, что Лермонтов мечтал перевести эту поэму, он схватил его за руку: «Нет-нет! не переводите... Не нужно вам переводить. Это не ваше дело... Оставьте это мне. Таков уж я уродился стихотворец, что мне надо разжечь свою трубку от чьего-то уголька...»

Лермонтов рассказал, что он переписывал «Шильонского узника» себе в тетрадь. Выразил сомнение в том, что Жуковскому нужно учить что-то. «Многое позабыл, — сказал Жуковский. — А ведь в Англии не будешь держать под мышкой лексикон. Вот и вспоминаю, доучиваюсь». На прощание он преподнес Лермонтову экземпляр своей «Ундины» («Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским, с рис. г. Майделя», — издано в Петербурге в 1837 году) и на титульном листе сделал дарственную надпись. Сходя по лестнице, а потом в санях, закрываясь воротником от ветра, Лермонтов вспоминал добрые и усталые глаза Жуковского. Чуть раскосые, восточные... В нем, русском поэте, половина турецкой крови.

26 февраля Лермонтов прибыл в Селищенские казармы, где располагался лейб-гвардии Гренадерский гусарский полк, — сто сорок пять верст от Петербурга до станции Спасская Полисть. Ямщик попался удалой — засвистели полозья, загремел колокольчик. Через шесть часов Лермонтов был на месте. А уже через неделю он умчался в Петербург, в краткий отпуск. Отъезд его совпал с проводами поручика Михаила Цейдлера, его товарища по Юнкерскому училищу, на Кавказ, куда он отправлялся охотником. После буйной пирушки на станции, где Лермонтов сочинил и прочел экспромт «Русский немец белокурый...», они простились и разъехались в разные стороны — Цейдлер в Москву, Лермонтов в Петербург. В Селищи он вернулся 15 или 16 марта, а 28 снова уехал в отпуск, который длился до 10 апреля. 4 апреля в Петербурге великий князь Михаил Павлович, как последнее условие перед переводом Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк, потребовал от него подписку о строгом будущем «исполнении правил». Лермонтов дал эту подписку и поехал в Селищи в последний раз, уже для окончательного прощания с гродненцами. 25 апреля он покидает Гродненский полк окончательно, пробыв там в общем немногим более месяца. Все это время бабушка Лермонтова вела успешные хлопоты — было ясно, что он скоро снова наденет форму царскосельского гусара, поэтому и не было необходимости укрепляться в чужом полку и всерьез браться за службу. Это понимал и командир полка генерал-майор князь Дмитрий Георгиевич Багратион-Имеретинский.

Уже 9 апреля последовал высочайший указ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк, куда он и явился 14 мая... За две недели до этого вышел 18-й номер «Литературных прибавлений», где была напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого

опричника и удалого купца Калашникова» за подписью « — Ъ». Он пока не хотел выставлять полной фамилии. «Бородино» в «Современнике» было подписано лишь потому, что он не успел предупредить Краевского, да и напечатано оно было тогда, когда он находился уже в ссылке. А теперь он не забыл попросить Жуковского поместить в журнале «Тамбовскую казначейшу» без подписи.

«Песню...» заметили, и, конечно, в скором времени все знали, кто ее автор. Известность Лермонтова укреплялась. Козлов, которого Лермонтов увидел у Екатерины Аркадьевны Столыпиной (он был там со своей дочерью Александрой Ивановной, своей бессменной помощницей), высказал ему свой неподдельный восторг. К удивлению Лермонтова, он тут же прочел всю «Песню...» наизусть и с таким декламаторским блеском, что до крайности взволновал всех слушающих. Козлов запоминал все прочитанное. Он крепко пожал руку Лермонтову:

— Ваш друг Краевский бывает у меня. Приходите с ним.

Еще в январе Лермонтов прочитал в «Литературных прибавлениях» стихотворение Козлова «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки», где слепой поэт так живо возрождает свое юношеское чувство, вспоминает Москву, — великолепные, истинно поэтические стихи. И вот теперь он решился спросить Козлова, кому посвящены эти стихи. Козлов не удивился вопросу, как будто ждал его. Он рассказал, что этот «друг», с которым он увиделся после «долгой, долгой» разлуки, Анна Григорьевна Хомутова, сестра командира лейб-гвардии Гусарского полка... В январе этого года она приехала из Москвы и живет теперь в Царском Селе у брата.

Жена Козлова в давние времена молодости, до замужества, была ее подругой. Тогда — это было в Москве — разыгралась трагедия... Никто из троих ничего не забыл за долгие годы. Он, слепец, измученный страданиями, во всей свежести сохранил свою молодую душу — она живет, кипит в его поэзии. Страстная вера в «небесную родину», в бессмертие души дает ему силы. Он в каждом, кто оказывался возле него, невольно укреплял веру в значительность, высокость человеческой жизни, учил преодолевать страдания и не оставаться в бездействии.

В последнее время ему становилось все хуже. Он еще выезжал к друзьям (его выносили прямо в кресле в

экипаж), но все мучительнее были его бессонные ночи, все продолжительнее судороги, сильнее боли. Переставали слушаться руки, притуплялся слух. Он ничего не боялся, но боялся оглохнуть. Он просил читать себе — не только книги, но и журналы, которыми снабжали его друзья. Это было чтение на многих языках. И не переставал сочинять стихи, которые охотно декламировал. Родные для себя звуки услыхал Лермонтов в «Стансах» Козлова, как раньше слыхал в «Чернеце». Это было новое стихотворение. Описание ночной грозы, которое кончалось так:

Восторгом оживлен небесным,
Я был не раб земных оков, —
Органом звонким и чудесным
В огромной стройности миров.
И Бог сильней вещает мною
И в думах пламенных моих,
Чем вкруг шумящею грозою
И в дивных ужасах ночных.

Однажды, будучи в Царском Селе, Лермонтов разговорился с Анной Григорьевной о Козлове. Она почувствовала, что он понимает ее, и была откровенна. Да, у них была любовь — первая, страстная... Козлов, ее кузен, был светским львом, первым танцором на балах, стихотворцем, сочинявшим мадригалы на французском языке. Судьба распорядилась по-своему — он женился на ее подруге. У них появились дети — сын, дочь. В 1814 году они отправились в Петербург. Здесь он служил, пока недуги не оторвали его от всякой деятельности, кроме поэтической. «Но почему вы долго не виделись? Разве вы все это время не бывали в Петербурге?» — «Бывала много раз и подолгу жила... Я и его встречала, вернее — видела... Так повелось, что мы с женой его даже не кланялись... Эти встречи были редки, случайны. Но вот я решилась возобновить дружбу... Как это было — вы знаете по стихам».

На следующий день Лермонтов принес Хомутовой стихотворение:

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный,
Воспоминаньем оживленный,
Он перед вами изливал.
Он вас не зрел, но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи

Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.

И я, поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить как тайной,
Печальным выраженьем их.
Я верю, годы не убили,
Изгладить даже не могли,
Всё, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословенье
На вашу жизнь, за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.

Окунувшись в привольную жизнь лейб-гусара, Лермонтов заскучал. Суета, писать некогда... Летние учения и маневры не наполнили его жизни, они «производят только усталость», как писал он Раевскому в начале июня. Ему хотелось на Кавказ. А Раевский, кажется, сумел отпроситься из Петрозаводска к водам. «Если ты поедешь на Кавказ, — пишет ему Лермонтов, — то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее». Но Раевского отпустили все-таки не на Кавказские воды, а в Эстляндию, в местечко Гапсаль.

В конце июня туда же, на воды, выехали из Москвы супруги Бахметевы — Николай Федорович и Варвара Александровна. Она недавно родила, но ребенок не прожил и трех дней. Варвара Александровна была очень слаба и печальна. Они остановились в Петербурге у Столыпиных, где уже гостила Елизавета Аркадьевна Верещагина, — это был дом, где съезжалась и постоянно встречалась многочисленная родня — Шан-Гиреи, Хастатовы, Юрьевы, Атрешковы, Арсеньевы, Философовы, Столыпины. Как только Бахметевы приехали, Аким Шан-Гирей послал нарочного в Царское Село. Через два часа Лермонтов был дома.

Собираясь к Столыпиным, он волновался и каждую минуту готов был отказаться от встречи с Варварой Александровной. «Ах, хоть бы отнялись ноги», — промелькнула у него трусливая мысль. Его обычная уверенность в себе вдруг пропала. Он лихорадочно соображал — ехать, не ехать... Если ехать — зачем?.. что говорить?.. Ведь ничего не скажешь: не то, чтобы нельзя, а не нужно... И опять тут Шан-Гирей влез не в свое дело, восторженная балда.

Долго кружил Лермонтов по своему кабинету... Наконец вынул из ящика стола свой кавказский автопортрет и завернул его в бумагу. Мысль явилась довольно дикая — вручить его Варваре Александровне... Но что она с ним будет делать? Бахметев ревнивец, — зная про их прежнюю любовь, подозревая, что она и сейчас есть, он терпеть не может Лермонтова. Что же тогда будет? А что бы ни было! Главное — дать ей в руки. Она посмотрит и запомнит. И портрет этот, если даже Бахметев его сожжет или растопчет, всегда будет с ней. Это немного жестокий замысел, но пусть!

И он поехал, и все так и сделал. Она посмотрела на портрет, побледнела и положила его в уголок дивана. Бахметев заерзал на стуле, открыл рот и снова закрыл его, не зная, что сказать. Затем он нахмурился и быстро вышел из комнаты. Лермонтов и Варвара Александровна смотрели в глаза друг другу. «Я не хочу без тебя жить», — говорили ее глаза. «И я без тебя», — читала она в его помраченном тоской взоре... Они прощались. И чувствовали, что навсегда...

На другой день Бахметевы уехали. Варвара Александровна все-таки увезла с собой портрет. Елизавета Аркадьевна Верещагина, хитровато улыбаясь, сказала Лермонтову:

— Славный ты портрет сделал для Сашеньки.

— Для...

— Ну да, для баронши моей... Я так и сказала Николаю Федоровичу, что ты даришь через них этот портрет Сашеньке, чтобы она на чужбине не забывала лучших своих друзей... Они ведь из Гапсаля едут в Германию, будут и в Штутгарте... А что?

— Ничего!

Лермонтов был выбит из колеи. Несколько дней он не мог собраться с мыслями, ему казалось, что вся жизнь его провалилась — и прошлое, и будущее. А когда вышел XI том «Современника» с «Казначейшей» («Тамбовскую...» убрали), он обнаружил множество купюр и взбесился. Это случилось у Краевского, где он увидел новую книжку журнала.

— Это черт знает что такое! — говорил Лермонтов, не смущаясь присутствием постороннего (тут был ли-

тератор Иван Панаев). — Позволительно ли делать такие вещи!.. Это ни на что не похоже.

Он хотел было разодрать книжку, но Краевский остановил его. Лермонтов замолчал, подсел к столу, взял красный карандаш и нарисовал на обложке черта... Молча походил по кабинету и, не говоря ни слова, ушел.

...Царское Село — Петербург... Петербург — Царское Село. Жизнь Лермонтова как маятник ходит между двумя этими точками. Там и тут — все надоело. Сунешься к кому-нибудь из офицеров — бутылки, карты, шум... а книги, если они у них еще и есть, покрываются пылью. Глядишь, между молодыми прожигателями жизни то у одного, то у другого засеребрятся виски. Иные всю жизнь вот так... Таковы ли были в свое время декабристы? О, нет... Александр Одоевский от тех пор невредимой донес до нашего времени свою поэтическую душу. Они не во всем были правы, но они жили высоким. Это было время Пушкина, Грибоедова, Рылеева.

Лермонтов пересматривал свои бумаги, чувствуя в этих размышлениях что-то знакомое... Ах, да, вот «Фаталист», где Печорин ночью, под звездным небом, клянет свое поколение, «скитающееся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха», «неспособное более к великим жертвам», которое «равнодушно переходит от сомнения к сомнению»... Может быть, написать трагедию в стихах о Печорине? Уже ясно, что он будет героем его будущих больших сочинений, которому он отдаст свои думы... Как Пушкин Пленника отправить его на Кавказ. Пусть, подобно Гамлету, он выйдет на авансцену с печальным монологом:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы...

Печорин на Кавказе... Демон на Кавказе... Последние их попытки «спастись» — отбиться от вечного мрака перед тем, как в него кануть... Не имея возможности

вырваться на Кавказ в действительности, Лермонтов уходит туда душой.

...над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал...

«Гордый дух» озирает «дикий и чудный» «Божий мир» *с презрением.* Этим Лермонтов сразу отдаляет его от себя; между ними непроходимая граница — Кавказ, взбудораживший все чувства Лермонтова, с детства ставший его мечтой, любовью... Кто с большей любовью смотрел на снежные горы, чем Лермонтов во время своего путешествия? На эту красоту смотрел и Демон:

Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

Каждый вечер Лермонтов доставал тетрадь с кавказскими набросками «Демона». Постепенно все они находили свое место в рамках старого текста, подсказывали новые сюжетные линии, — поэма преображалась. Возникали новые картины, и Лермонтов чувствовал — их-то он и искал, годами, явно и неосознанно думая над своей главной поэмой... На высоком утесе «седой Гудал», грузинский князь, построил себе дом-крепость... Вот он выдает замуж свою дочь, красавицу Тамару... В доме пир. Тамара танцует «на кровле, устланной коврами»:

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..

...То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забыть? — забвенья не дал Бог:
Да он и нé взял бы забвенья!..

Тем временем к дому Гудала двигался караван с дарами — ехал на брачный пир жених Тамары, «властитель Синодала», молодой князь. И Демон, опомнившись от непривычного для него замешательства, начал борьбу. «Постигнутое» им снова забыто. То ли он ошибся в своем

прозрении, то ли сам не знал, что делал, но слабый росток добра, начало возрождения своего, он тут же начал топтать. Хитро («лукаво») расставил он свои ловушки на пути жениха Тамары, и тот погиб. Прекрасный карабахский конь принес во двор Гудала бездыханное тело.

На беззаботную семью,
Как гром, слетела Божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой...

Еще не похоронен мертвый, а Демон повел свои неотразимо обольщающие речи, выбирая самые нежные, самые поэтические, «волшебные» слова. Подлинная ли любовь звучала в этих гимнах кавказской природе, красотами которой он обволакивает сознание Тамары? Могут ли любовь и лукавство существовать вместе? Нет в этих гимнах безоглядности, бескорыстия — они устремлены к одной цели. Они не вылились свободно и радостно, а сочинены, измышлены — и с каким искусством... дьявольским! Ясно, что сорвись план Демона, он снова будет «презирать и ненавидеть» эти чудесные пейзажи, этот чудный мир, сотворенный Богом. Но он так увлекся своей ложью, что заставил душу Тамары «рвать свои оковы», привел ее в «невыразимое смятенье», а потом явился ей во сне, — хотел бы ангелом-хранителем, да не смог; но все же не самим собой:

То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

Очевидно, так он скрыл свою отталкивающую, безобразную («ужасную»; «адскую») сущность, но Тамара все-таки сквозь любовь, грусть, жалость, пылающие в его глазах, увидела все это, узнала его. «Меня терзает дух лукавый... Я гибну...» — взывает она к отцу и просит отдать ее под защиту Спасителя, в монастырь. В прежних вариантах поэмы героиня — монахиня изначально. Здесь же она делается монахиней из-за Демона, пытаясь уйти от него. Странный у Демона путь к добру. Стремясь к нему, он падает еще ниже. Нет, он не может своей волей

преодолеть Божьего проклятия. Чем глубже он падает, тем его речи изощреннее, он, как гениальный актер, в каждое слово вкладывает (как кажется) всю душу. Он играет *трагедию*. Но именно играет. И заставляет наконец Тамару полюбить себя:

Кто б ни был ты, мой друг случайный, —
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.

...Но ты всё понял, ты всё знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне...

Поклясться? Сколько угодно! И потекли клятвы ликующего Демона. Кажется, не слова, а драгоценные камни, звезды и яркие искры разноцветных огней сыплет он в ночи... За любовь ее он обещает ей то, чего не в силах сделать, — перестать быть адским духом:

Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум...

...«Яд коварной лести», — проговаривается он...

...Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру...

...Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя...

После «верования добру» — гигантомания и мысль о «царствовании» над миром, — не в преисподней, не в аду (то есть *внизу*), а в «надзвездных краях», — выше ангелов Божьих! Его последний монолог удивительно страстен — он кажется непосредственным, льющимся из бесхитростного сердца, — он проговаривается; заносится; начав говорить о добре, почти сразу бросает это и соблазняет Тамару блеском демонической власти:

Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:

Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам...

Наконец, он начинает болтать буквально что попало, лишь бы это звучало красиво:

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное —
Люби меня!..

Повергая ее в искушение, он забывает о своих «добрых» желаниях. Но и это не все: он, кажется, при всей своей дьявольской мудрости *не видит,* что в нем нет места ни одной искре доброты. Он губит Тамару. Он думает, что ее душа стала принадлежать ему, что Бог ее не простит за то, что она полюбила Демона. Что теперь он не будет одинок в пустом пространстве. Ложь, зло, мудрость и глупость, а также искусство (то есть все искусственное, неестественное) — неизменные свойства Демона. Он не может вырваться из их круга. Удел его безнадежен.

Лермонтов прочитал «Демона» Краевскому. Потом Шан-Гирею и Юрьеву. Затем на квартире Монго в Царском Селе — там было несколько офицеров. Прочел еще в двух или трех местах. Результат был один и тот же — все верили Демону! Все восхищались его чудным красноречием (только Шан-Гирей, не заметив, что Демон ткет искусную ложь, сказал очень горячо, что Демон «должен только обольщать, не помышляя ни о каком возрождении и спасении своем»). Как им подсказать, что такое эти гимны Демона... Нет, кто-нибудь да догадается, что они — то высокое, но ложно направленное искусство, которое развращает и губит доверчивые души... Итак, «Демон» закончен, но... как бы безмолвно просит подумать над ним еще. Не сейчас, когда-нибудь.

В конце августа вдова знаменитого историографа Екатерина Андреевна Карамзина, проводившая, как всегда, лето со своим семейством в Царском Селе, попросила кого-то представить ей Лермонтова — общих знакомых у них было много. Так Лермонтов оказался в кругу, где любил бывать Пушкин, где своими людьми были Вяземский (он был сводным братом Екатерины Андреевны), Жуковский, Александр Тургенев, Владимир Одоевский... На вечера к Карамзиным (у Екатерины Андреевны было несколько взрослых дочерей и сыновей), которые принадлежали к большому свету, собирались не для пустых пересудов, — здесь царствовали литературные интересы. Душой этих собраний в последнее время стала падчерица Карамзиной — Софья Николаевна, дочь Николая Михайловича Карамзина от первого брака. Ей было уже тридцать шесть лет... Лермонтов с первого дня нашел с ней общий язык. Итак, еще одна старая дева появилась среди самых задушевных друзей Лермонтова (Софья Бахметева... Мария Лопухина...). Однако эта старая дева была полна молодой энергии, умна, весьма начитанна, добра и умела не просто вести беседу, а задавать тон на своих вечерах. Как вспоминала одна из современниц, — «перед началом вечера Софи, как опытный генерал на поле сражения и как ученый стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников; она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или соседкой, которые лучше всего к ним подходили. У нее в этом отношении был совершенно организаторский гений... В Софье Николаевне общительность была страстью».

Лето 1838 года кончалось, и высший свет, занимавший дачи в Царском Селе и Павловске, торопился как можно веселее его закончить. Оказавшись знакомым Карамзиных, Лермонтов попал в моду у той части общества, которая до этих пор была ему недоступна. Он танцует в Ротонде, участвует в конных прогулках, наконец, Софья Николаевна приглашает его играть в любительском спектакле и участвовать в «карусели» — конном празднестве в дворцовом манеже... Он разучивает две роли — негоцианта Джоната в водевиле Скриба и Мазера «Карантин» и ревнивого супруга в каком-то другом водевиле. Он подружился с братьями Софьи Николаевны — Александром, Андреем и Владимиром, в особенности с первым, с которым он, собственно, продолжил знакомство, так как виделись однажды у Жуковского. Александр писал недурные стихи — они печатались в 1837 году в «Современнике», уже после кончины Пушкина и в «Литературных прибавлениях» у Краевского. Он был веселого нрава и постоянно изобретал всякие смешные розыгрыши.

В этом обществе Лермонтов нашел немало приятных для себя людей, но салон Карамзиных был одним из самых блестящих великосветских, и наряду с братьями Карамзиными, братьями Шуваловыми, Смирновой-Россет,

Валуевыми и т. д. он встречает здесь, например, родню Бенкендорфа — его шурина Захаржевского и его же сестру Шевич, сестру Клейнмихеля Огареву, семейство генерала Клюпфеля. Лермонтов принят всем этим аристократическим кругом и уже вынужден посещать многих, не так уж или вовсе не интересных ему людей. Но ограничиться лишь узким кругом друзей невозможно — светский водоворот затягивает своей страшной механической силой. Лермонтов недоволен этим уже с самого начала знакомства с Карамзиными, которые открыли ему двери в «свет», уничтоживший Пушкина. Он не хочет подчиняться его законам. Так, не желая участвовать в общих празднествах по поводу окончания дачного сезона, то есть в спектакле и конной карусели, он решил пересидеть на гауптвахте, куда попасть ничего не стоило. Пусть им не кажется, что он так счастлив, оказавшись в кругу «избранных»... Репетиции, в которых как ни в чем не бывало участвовал Лермонтов (сами-то репетиции в тесном домашнем кругу его вполне устраивали), уже кончались, до праздника оставалось всего три дня. 22 сентября в Царском Селе был парад в присутствии начальника всей гвардии великого князя Михаила Павловича. Лермонтов, зная, как ревностно относится великий князь к соблюдению формы, явился на парад с игрушечной саблей на боку.

«В четверг (22 сентября), — писала Софья Николаевна своей сестре, — мы собрались на репетицию в последний раз... Вы представляете себе, что мы узнали в это утро, — наш главный *актер* в двух пьесах Лермонтов был посажен на пятнадцать дней под арест великим князем...» *Главного актера* спешно заменили. Праздник прошел без него. На гауптвахте Лермонтов провел и собственный праздник — ночь со 2 на 3 октября, свое рождение. Попытки отпроситься в Петербург хотя бы на несколько часов не удались. Камердинер принес ему краски и разные художественные принадлежности. Лермонтов принялся писать по памяти Кавказ. Ему пошел двадцать пятый год. По прошествии пятнадцати дней его не выпустили из-под ареста — великий князь, негодовавший на него за то, что он нарушил свою подписку об «исполнении правил», приказал держать его еще пять.

Лермонтову страстно хотелось покинуть Петербург. Уехать куда-нибудь — в Москву, на Кавказ. «Попросил отпуска на полгода — отказали, — пишет он Марии Александровне Лопухиной, — на 28 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал; всё это время я надеялся увидеть вас; сделаю еще одну попытку — дай Бог, чтоб она удалась. Надо вам сказать, что я самый несчастный человек, и вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы: я пустился в большой свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; может быть, вам покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостиным, когда я там не нахожу ничего интересного? Ну, так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой недостаток — это тщеславие и самолюбие; было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают, а я и виду не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже *лев*, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить всё это более чем несносным; но этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там».

Он появляется в салонах Елизаветы Хитрово, Воронцовой-Дашковой, Долли Фикельмон... Становится завсегдатаем вечеров (точнее — ночей) у Одоевского. Этой осенью он возобновил знакомство — вернее дружбу — с Додо Сушковой, теперь графиней Ростопчиной, уже известной поэтессой, которая так же вращается в большом свете. Но излюбленное его место — дом Карамзиных, и именно в те вечера, когда здесь не бывает Клейнмихе-

лей и Клюпфелей. 29 октября он читал здесь «Демона». «Мы получили большое удовольствие — слушали Лермонтова (он у нас обедал), — писала Софья Николаевна Карамзина сестре, — который читал свою поэму «Демон». Ты скажешь, что название избитое, но сюжет, однако, новый, он полон свежести и прекрасной поэзии. Поистине блестящая звезда восходит на нашем столь бледном и тусклом литературном небосклоне». О «Демоне» пошли слухи. Все старались как-нибудь добыть себе список, и действительно — такие списки появились в аристократических домах.

В ноябре Лермонтов был на свадьбе Катерины Сушковой, которая сладилась неожиданно для всех быстро, за неделю. Катерина решила не упускать свой, может быть, последний шанс. «Некто господин Хвостов» (как писала об этой свадьбе Верещагина своей дочери), а точнее — сын племянницы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки Лермонтова, Александр Васильевич Хвостов, чиновник министерства иностранных дел, который «приехал из Америки, там жил четыре года». Верещагина писала это письмо в присутствии и при участии Лермонтова. Он вписал сюда стихотворный экспромт на французском языке и несколько шутливых строк. «Елизавета Алексеевна Арсеньева у жениха — посаже́нной матерью, и Миша Лермонтов на свадьбе, — продолжала Верещагина. — Жених назначен chargé d'affaire * в Америку, в Соединенные Штаты... Говорят, что умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой, и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что у невесты был посаже́нный отец Сенковский, и много было смешнова и странностей было много».

Лермонтов не принял приглашения быть шафером у Сушковой, но на свадьбу пришел. В церкви, во время венчания, он делал вид, что Сушкова своим замужеством разбивает ему сердце. «Скорбный поэт, — вспоминала графиня Ростопчина, — стоя за ее спиной, от тоски, волнения, раздирательных чувств то и дело готов был падать в обморок и то опирался на руку одного, то склонялся головой на перси другого сострадательного смертного...» По возвращении в дом Лермонтов продолжал свои шалости. Например, он взял солонку и рассыпал по полу соль, говоря: «Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь».

* Поверенным в делах *(франц.)*.

Елизавету Алексеевну не радовало то, что Лермонтов вошел в большой свет. Она мечтала женить его, но невесту присматривала не в большом свете. «Миша для них беден, — пишет Верещагина дочери. — Что такое 20 тысяч его доходу. Здесь толкуют сто тысяч мало, говорят petite fortune *. А старуха сокрушается, боится Beau-Mond'a **». Елизавета Алексеевна постоянно делилась подобными «сокрушениями» с Верещагиной и ее сестрой — Екатериной Аркадьевной Столыпиной... Лермонтов об этом знал, но только посмеивался.

Лермонтов часто обедает у Столыпиных. Аркашка вырос — он теперь юнкер, очень худой и рослый. Днем в его комнате полно юнкеров, друзей по училищу, — бесятся, смеются, курят так, что хоть топор вешай. А к девяти часам вечера идут в училище — ночевать они обязаны только там... Дочери Екатерины Аркадьевны часами сидят за фортепьяно. Учителя у них самые модные — Рейнгардт и Генцель. Семья Шан-Гиреев тоже тут, — и Марья Акимовна, и Павел Петрович и Аким, и подросшие меньшие. Лермонтов любит возиться с Николенькой Шан-Гиреем, ловким и боевым подростком, — они устраивают борьбу, падают на пол, хохочут... Когда у Столыпиных бывает Козлов, он всегда заставляет Николеньку читать себе журналы. Николенька усердно читает, и ему не скучно, так как Козлов нарочно оживляет чтение смешными замечаниями. Были вечера, когда у Столыпиных играл знакомый Козлова, чуть ли не жених его дочери Алины, пианист Даргомыжский, маленький, очень модно одетый человечек с писклявым голосом, но весьма самоуверенный и обходительный в обществе. Лермонтов рисовал на всех карикатуры, не исключая и себя, но особенно часто крошку-пианиста рядом с дамами.

Хмурый день кончается рано. Часто идет мокрый снег, порывами налетает ветер. Даже в теплых, ярко освещенных гостиных ощущается это сырое дыхание наступающей зимы. Лермонтов сбегает с середины бала, с последнего акта оперы. До конца, то есть почти до утра, сидит только у Одоевского и Карамзиных. Одоевский и Краевский неустанно напоминают ему, что имя его теперь звучит громко, что его долг писать и писать и что они согласны не иметь удовольствия видеть его у себя на вечерах, если он будет сидеть за письменным столом...

* Малое состояние *(франц.)*.
** Большого света *(франц.)*.

Что он должен участвовать в их, так широко теперь разрекламированном, журнале, который выйдет на бой против трехголовой журнальной гидры Булгарина-Сенковского-Греча. И он им обещал — и стихов, и прозы. Лермонтов твердо решил, что настало время ему выступить на сцену и — под своей полной фамилией.

Глубокой осенью, в конце ноября, он написал стихотворение «Поэт», где мысли о пророческом и грозном даре поэта приняли его излюбленный «восточный» оттенок:

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал, —
Наследье бранного востока...

Это стихотворение было как бы развитием и углублением «Думы». От разговора о «нашем поколении» он здесь переходит к порицанию современной поэзии в лице «поэта», который «в наш век изнеженный» променял *на злато* свою грозную власть над людьми:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных...

Такой полноты власти над *толпой*, как здесь описано («...колокол на башне вечевой...»), не имел ни один русский поэт, — здесь сказались легенды о древних поэтах и пророках, из которых вырос этот идеальный образ. В современности только совокупность поэтов, отказавшихся от «злата», принявших в свою душу этот древний идеал, может будить народные силы, слиться с народом... «Поэт» был декларацией Лермонтова, предназначенной для обнародования. И он передал его князю Одоевскому для «Отечественных записок». Вместе с ним отдал «Думу». Оба эти стихотворения были как бы продолжением «Смерти Поэта».

Он продолжал писать. Кавказ жил в нем, согревая и ободряя его душу. В «Поэте» он сверкнул «отделкой золотой» кинжала, который «не одну порвал кольчугу», пока не сделался «игрушкой», ржавеющей на стене. И снова кинжал — на этот раз бежавший с поля битвы черкес, услышавший «слово отверженья» сначала от друга, потом

от родной матери, кончает при помощи собственного кинжала со своей позорной жизнью и делается призраком, не знающим покоя, бродящим по аулам.

...И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но внемля громкий стих Корана,
Бежит опять, под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

Это была короткая поэма «Беглец» с подзаголовком «горская легенда».

Шумит Терек... Молодая казачка в станице баюкает ребенка. Жизнь на Линии, полная тревог, привычна для нее с детства. И вообще кавказская война кажется ей вечной... Вот теперь ее муж, казак, «старый воин», что «закален в бою», сторожит врага на крутом берегу... А потом вырастет сын:

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...

Он представил себе Печорина слушающим эту песню. Небольшая крепость, невдалеке от станицы, в сторону Кизляра... Черкесские и кумыкские аулы по берегам реки. У Акима Хастатова, как он рассказывал, в Шелковом, жила молодая кумычка Бэла. Если верить ему — история самая занимательная. Увидев Хастатова у Столыпиных, Лермонтов приступил к нему с расспросами. Хастатов и рад — приключение обросло множеством подробностей. Обычаи кумыков... имена... легенды о знаменитых наездниках и знаменитых конях-скакунах... Но Лермонтову очень хотелось описать и Военно-Грузинскую дорогу с Гуд-горой, Крестовой. Мелькнула мысль о романе как путевых записках.

Он так и начал: «Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан, с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красно-

ватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею».

Это было начало повести «Бэла», которой Лермонтов дал подзаголовок — «Из записок офицера о Кавказе».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

Елизавета Аркадьевна Верещагина каждый вечер садилась за письмо к дочери, продолжая одно по нескольку вечеров. Огромное семейство встретило новый, 1839 год. «У нас очень часто весельи для молодежи, вечера, — пишет она 10 января, — сбирается все наше семейство. Танцы, шарады и игры, маскерады. Миша Лермонтов часто у нас балагурит... Хвостова, бывшая Сушкова, вчера у нас долго была, так изломалась и одевается — манеры точно парижской уличной девки...» — и так далее, от Хвостовой к петербургским обедам («очень столы умеренны, а у нас по-московски, все полно, с чаем сколько хочешь...»), к французской балерине Тальони, сводившей тогда с ума весь Петербург: «Тальони до сих пор в большой силе, новый балет «Гитана» вот уже в 20-й раз, и с трудом можно достать ложи, всякой раз полно» («и выучилась плясать по-русски, но очень нехорошо и так что она огорчилась, что мало ей восхищались, когда плясала по-русски. Не за свое дело взялась...»).

В первом номере «Отечественных записок» (это был том необыкновенной толщины) появилась «Дума» Лермонтова. В типографии печатается второй — здесь помещено его стихотворение «Поэт». В руках у Краевского еще несколько стихотворений Лермонтова и повесть «Бэла». Краевский предвещает ему великую славу и просит больше писать. Они вместе с Одоевским уговаривают его оставить военную службу. Службу пока оставить нельзя, а писать все-таки можно. Лермонтов вернулся в это время к «Демону», чтобы уж совсем его доделать и напечатать.

Итак, Демон полагал, что искушения его неотразимы, и это действительно было так. Кроме великого искусства — искусной речи, у него был еще и «волшебный» го-

лос. И сверх того он в самом деле полюбил — это придало его речам еще более страшную силу. В самый первый миг перед ним мелькнул забытый им свет *добра*. В этот миг он даже забыл слова искушения. Потом, вызвав в Тамаре сострадание к себе, гонимому Богом существу, он завладел ее волей, забыл ту «святыню», которая на миг возродилась в нем, бросил всякую мысль о «возрождении», примирении с небом, стремясь только к тому, чтобы приобрести себе *подругу*, чтобы не пребывать в бездне *одному*. Ни на одну из земных женщин не обрушивались еще такие сокрушительные искушения. Ее душевных сил не могло хватить на то, чтобы противостоять Демону до конца. Ее попытка уйти от него (в монастырь) не спасла ее. Она пала. Нет, — думал Лермонтов, — Бог не может не простить ей этого греха. Она полюбила Демона из сострадания, которого он не мог не вызвать в ней. Любил и он, но его любовь губительна и страшна, в ней нет ни капли сострадания. Ее сострадание понятно и свято — ведь Демон — падший ангел. Кто знает, не из подобных ли размышлений выросла первая половина XVI главы второй части «Демона».

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненье разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, Боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица...

Ангел, сострадающий падшей Тамаре, несет ее душу в рай («Благо Божие решенье!..»). Демон не отнимает у него этой души, хотя и считает ее своей: у Бога — не отнимешь. Демон снова остался один. Он не имел и не имеет никакого понятия о чувстве сострадания. Не знает, что без него — без сострадания — нет спасения.

Но и теперь он не счел «Демона» оконченным. Что-то мешало ему отдать его в печать.

Он работал по ночам. А днем — и вплоть до позднего вечера — так или иначе захватывал и нес его вихрь светской жизни. 22 января состоялась свадьба лейб-гвардии Гусарского полка ротмистра Алексея Григорьевича Столыпина (брата Аннет) с княжной Марией Васильевной Трубецкой, фрейлиной императрицы. Здесь Лермонтов впервые не на параде, а почти в домашней обстановке увидел императора Николая Павловича, столь памятного ему по разносу, который тот учинил некогда Благородному пансиону в Москве. Царь был в сюртуке, настроен очень благодушно, улыбался, но, как ни хотелось ему хотя бы отчасти слиться с толпой, это ему не удавалось, — толпа обмирала вокруг него и съеживалась, царь на две головы возвышался над ней.

Свадьбу эту императрица устроила у себя в Аничковом дворце. Лермонтов был приглашен как родственник жениха. Венчание происходило в дворцовой церкви в присутствии всех членов царской фамилии. Посаженым отцом невесты был сам император. Шафером ее был брат Александр Трубецкой, друг Дантеса и фаворит императрицы. Шафером жениха был Столыпин-Монго. Церемония длилась недолго — молодые отбыли «в дом свой», как отмечено в камер-фурьерском журнале, а следом за ними туда же — родственники молодых и царь, который благословил невесту «по обыкновенному порядку иконою», а потом «кушал чай» и через несколько минут уехал.

Императрица Александра Федоровна, еще далеко не утратившая своей красоты, всегда интересовалась поэзией и вообще литературой, в том числе книгами, запрещенными в России; как только что-нибудь бывало запрещено — это тотчас, втайне от супруга, оказывалось у нее в кабинете... Царь делал вид, что не знает этого. Слава Лермонтова через светских знакомых уже дошла до нее. Ей так расхвалили «Демона», что она попросила генерал-адъютанта графа Василия Алексеевича Перовского (он был

приятелем Жуковского и Пушкина и сам писал кое-что — его письма из Италии к Жуковскому напечатаны в 1825 году в «Северных цветах») доставить ей список поэмы. Лермонтова не представили императрице, но во время чая в Белом зале, когда шла свадьба, Перовский указал ей на него. Он не приглянулся ей — некрасивые и малорослые мужчины ей не нравились. Улучив минуту, Перовский подошел к Лермонтову и передал ему просьбу императрицы. Они немного поговорили. Высокий, с суровым, изрезанным морщинами лицом, граф оказался любезным, остроумным и даже смешливым человеком. В нем не было никакой кичливости. Он готовился в это время к Хивинскому походу, а у Лермонтова, давно знавшего об этом (сборы-то были давние), еще на Кавказе появилась мысль проситься в Хивинский отряд. И просился... Не пустили.

Дней через десять Лермонтов доставил Перовскому список «Демона». 10 февраля Перовский читал его императрице (царь немного прихворнул и не пришел на это чтение). В тот же день она писала своей подруге графине Бобринской: «Сегодня... вечером — русская поэма Лермонтова «Демон» в чтении Перовского, что придавало еще большее очарование этой поэзии. — Я люблю его голос, всегда немного взволнованный и как бы запинающийся от чувства»... Как видно, «Демон» императрице понравился. Список остался во дворце.

Служба тяготила Лермонтова, но бабушка была против отставки — у нее появилась надежда, что Миша сделает себе военную карьеру. Видя, что она всю свою жизнь посвящает ему, он не мог не сделать ей этой уступки. Отпусков ему не давали. Полк ему буквально осточертел. Каждый раз он ехал в Царское Село скрепя сердце... Но был и там небольшой кружок товарищей, так или иначе близких ему. О некоторых из них написал в своих воспоминаниях князь Михаил Борисович Лобанов-Ростовский, который именно в январе — феврале 1839 года, по окончании Московского университета, приехал в Петербург, где начал служить во Втором отделении собственной Его Величества канцелярии и подружился с царскосельскими гусарами.

Сначала он пишет об Андрее Шувалове, который «сражался на Кавказе, где получил солдатский Георгиевский крест и легкую рану в грудь. Он был высокого роста и тонок; у него было красивое лицо... При худощавом сложении у него были стальные мускулы и удивительная ловкость на всякого рода физические упражнения: он стрелял из пистолета, фехтовал, делал гимнастику, прыгал в длину и высоту как профессиональный артист, превосходно справлялся с самыми горячими английскими лошадьми... Он очень нравился женщинам... Брат его Петр был полной противоположностью... Менее высокого роста, он обладал широкой грудью... Нос, рот и вся форма лица напоминали маску, снятую с Наполеона после его смерти; я говорю — маску, так как это красивое лицо с матовой кожей, окаймленное шелковистыми черными волосами, имело обычно безжизненное выражение... Он пробуждался, когда беседа затрагивала одну из его жизненных струн».

Затем Лобанов-Ростовский описал гусара-поляка Ксаверия Браницкого, который «был добрый и прекрасный малый, всегда живой и любивший весело пожить, краснобай, склонный приврать, но сознававшийся немедленно, как только его уличали в преувеличениях... Он вел крупную игру, но ему не везло; он охотно посещал продажных женщин, любил хорошее вино... Несмотря на крупное содержание, которое он получал от родителей, он был вечно без гроша... Он продолжал развлекаться за счет своих приятелей, пока отец не сжаливался над ним и не снабжал его снова лошадьми, экипажами и деньгами». Затем выступил на сцену Столыпин-Монго: «Он только что вернулся тогда из кавказской экспедиции и щеголял в восточном архалуке и в огромных красных шелковых шароварах, лежа на персидских коврах и куря турецкий табак из длинных, пятифутовых черешневых чубуков с константинопольскими янтарями... Он хотел прослыть умным, для чего шумел и пьянствовал, а на смотрах и парадах ездил верхом почеркесски, на коротких стременах, чем навлекал на себя выговоры начальства. В сущности это был красивый манекен мужчины с безжизненным лицом и глупым выражением глаз и уст, которые к тому же были косноязычны». «Я также подружился в этом полку с родственником великолепного истукана, не имевшим, однако, с ним ничего общего, — продолжает Лобанов-Ростовский. — Это был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии, притом — поэзии, проникнутой глубокой мыслью, с пантеистическим оттенком, изображающей чувства пламенные, но окутанные некоторой грустью... Он также побывал на Кавказе... Он был некрасив и мал ростом, но у него было очаровательное выражение лица, и глаза его искрились умом. С глазу на глаз или в кружке, где не

было его однополчан, это был человек любезный, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. В своем же обществе это был демон буйства, криков, разнузданности и насмешки»...

Но и царскосельское «буйство» Лермонтову надоело. Он начал скучать, не зная, что предпринять.

К счастью, в середине февраля он простудился, к счастью же — слегка, но две недели просидел дома под прикрытием свидетельства лейб-медика... В первых числах марта он ответил Алексею Лопухину на письмо, в котором тот сообщал о рождении сына. «Милый Алексис. Я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравил тебя, но верь мне, что я искренно радуюсь твоему счастью и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул и отправился целиком (то есть целиной. — *В. А.*). Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию (несварение. — *В. А.*), которая вдобавок разрешается стихами. Кстати о стихах: я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные». Далее шло стихотворение «Ребенка милого рожденье...», потом обещание написать «новую арию» для «маленького крикуна»; потом сетования на то, что ему не дают отпуска, нельзя идти в отставку... «бабушка не хочет — надо же ей чем-нибудь пожертвовать»... «Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом», — писал он в конце. Дальше было еще несколько строк; кто-то отрезал конец письма.

Жизнь «поколения» идет размеренно-механически; даже самое буйство входит в ряд «обычного» (все пьянствуют и буянят — это *хороший* тон для офицера). Перед кем бить в колокол? Никто никуда не порывается. Были декабристы... Был великий Рылеев, разбудивший своими стихами не одну душу... Эти времена ушли. После пушечных залпов в декабре 1825 года на Сенатской площади Россия замерла. Не нашлось у нас своего Барбье, а если бы нашелся — он не смог бы и пикнуть. В 1832 году в России появились «Ямбы» Барбье, конечно, запрещенные царской цензурой к ввозу. С тех пор Лермонтов знает наизусть все яростные сатиры этого пылающего гневом сборника — и «Пролог», и «Собачий пир», и «Популярность». Июльская революция 1830 года в «Собачьем пире»

изображена была в виде могучей женщины из народа, которой «люб народа крик и вопль кровавой схватки», «и в мраке ночи воющий набат!»:

В три дня ее рукой низвергнута корона
И брошена к народу с высоты...

Да, но пришло новое правление... Оно сразу забыло все, за что бился народ на баррикадах... И чем стал победивший Париж?

Салонных шаркунов он сделался притоном:
К пустым чинам и почестям жадна —
Толпа их бегает из двери в дверь с поклоном,
Чтоб выпросить обрывок галуна!..

Это псы, пирующие после побоища, в котором они не участвовали. Ритм этой сатиры слышен в «Поэте» Лермонтова. И вот он зазвучал снова, этот ритм, похожий на удары в колокол. В новом стихотворении с эпиграфом из «Пролога» Барбье («Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горланящих шарлатанов, продавцов пафоса и мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе?») — речь не о революциях и сброшенных с высоты коронах. Нет, в России этими делами и не пахнет. Впереди — мрак, никаких обнадеживающих проблесков. Парады... дуэли... балы... карты... продажные женщины. «Поколение» — от двадцати до тридцати — растрачивает свою молодость в механическом круговороте забот и забав... «Думу» прочли — многие поняли, приняли. Но не поздно ли уже? Многие скрывают даже от друзей свои естественные чувства и раздумья. Это *свет*, во что бы то ни стало соблюдающий «приличия». Выйти к ним со словом любви и правды уже просто страшно, — нет, они все поймут, им будет больно, но им, кажется, уже нет дороги назад.

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной,
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи:
— То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!..

Вот какая вышла «ария для крикуна»... Молодому мечтателю отвечает кто-то из толпы, но из аристократической, не народной:

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что́ нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.
А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор...

Им не нужен поэт, хотя в них еще не все умерло. Не нужен ни Андрею Шувалову, занятому женщинами, ни Ксаверию Браницкому, которого не волнует ничто, кроме карт, ни тем более Монго, счастливому сибариту, счастливому в своих красных шароварах, на мягких подушках, пускающему ароматный дым в потолок... Это стихотворение — «Не верь себе» — Лермонтов отдал Краевскому для «Отечественных записок». В начале марта здесь появилась «Бэла», — Лермонтов перечитал ее, — да, с этого можно начинать... Его решение печататься, выйти в свет укреплялось... И журнал новый, и он в нем — с первого номера... Краевский вознамерился давать его сочинения в каждом номере. Его компаньоны — Одоевский и Панаев — считают, что это правильно. Они предполагают, что это будет главным из всего, что появится в журнале.

К этому времени Лермонтов окончательно решил писать «длинную цепь повестей» о Печорине, считая «Бэлу» первой (среди последующих намереваясь поместить «Фаталиста» и «Тамань»). Эта «цепь» должна основаться на путевых записках Печорина, которые попали к другому «записывающему» офицеру, с Печориным, однако, незнакомому. Оставив штабс-капитана Максима Максимыча на станции в Коби, он ускакал налегке во Владикавказ, оставив на всякий случай читателю надежду на встречу с Максимом Максимычем: «Мы не надеялись более никогда встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» И вот Лермонтов сел за рассказ, в котором автору повестей (может быть, романа) должны попасть записки героя. Он начал писать его просто как продолжение «Бэлы»: «Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ...» Здесь, остановившись в гостинице, он «вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!..». А через день Максим Максимыч со своей тяжело нагруженной повозкой дотащился до Владикавказа и поселился в той же гостинице и даже в одной комнате с «путешествующим и записывающим» офицером. Двор этой гостиницы стал как бы сценой, на которой автор представил читателю своего главного героя — Печорина — и объяснил, как к нему попали записки этого человека. Из этих записок, брошенных Печориным без сожаления (он ехал «в Персию — и дальше...»), Максим Максимыч собирался «наделать патронов». « — Отдайте их лучше мне. — Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь...» Итак, добрый десяток тетрадей. А «в Персию — и дальше» — это безнадежное желание самого Лермонтова, завязшего в своем военно-столичном быте. Более дикой суеты, как в это время, у него, пожалуй, никогда в жизни не бывало; но не бывало и такого глубокого одиночества.

В том же месяце марте Александр Карамзин, собираясь отдать в цензуру и напечатать книжкой свою стихотворную повесть «Борис Ульин», уговорил Лермонтова сделать то же с «Демоном». Обе повести были вручены Владимиру Карамзину, который и отнес их 7-го числа в цензурный комитет. Их читал цензор Никитенко. Обе они были к печатанию разрешены. Александр Карамзин сразу занялся изданием книжки, и «Борис Ульин» вышел в свет очень скоро (это стихотворный рассказ о молодом офицере, который писал стихи, мечтал, влюбился в деревне в скучающую девицу-аристократку, которая уехала в Петербург и забыла его, а он попал на войну с поляками и был убит в первом же бою). Но «Демон» не увидел печати — Лермонтов не торопился его издавать, не отдал и Краевскому в журнал. Тот экономно размещал по очередным номерам «Отечественных записок» стихи Лермонтова: в 4-й — «Русалку», в 5-й — «Ветку Палестины» и «Не верь себе», в 6-й — два перевода из Байрона: «Еврейскую мелодию» и «В альбом»...

Летом, в середине июня, Краевский принес Лермонтову четвертый номер «Московского наблюдателя».

— Крикун мальчишка, — так называл Краевский Бе-

линского, — дельную статью написал. Отдает должное нашему журналу (хотя не без критики) и очень едко высмеивает «Сына отечества»... Он хочет перебраться из Москвы к нам, и я все больше склоняюсь к тому, чтобы его пригласить.

Статья Белинского называлась «Русские журналы». Лермонтову смутно припомнилось, что он по какой-то причине связал его имя с именем Булгарина. Вспомнил, столь же смутно, и мимолетную встречу с ним в Пятигорске у Сатина. «Что ж! — подумал он, — хорошее дело, если человек посерьезнел и отказался от ложных взглядов». Статья оказалась действительно серьезной.

Белинский отметил ряд «блистательных» повестей в первых номерах «Отечественных записок» — Одоевского, Соллогуба, Панаева, Даля и среди них — Лермонтова: «В 3-м № помещена «Бэла», рассказ г. Лермонтова, молодого поэта с необыкновенным талантом. Здесь в первый еще раз является г. Лермонтов с прозаическим опытом — и этот опыт достоин его высокого поэтического дарования. Простота и безыскусственность этого рассказа — невыразимы, и каждое слово в нем так на своем месте, так богато значением». Далее, при разборе стихотворного отдела журнала, Белинский похвалил все стихи, помещенные здесь Лермонтовым, — «Думу», «Поэта», «Русалку», «Ветку Палестины», «Не верь себе». Последнее Белинский процитировал почти целиком.

Мельгунов в «Литературных прибавлениях» Краевского писал о «Думе»: «Эти стихи г. Лермонтова, молодого поэта с большим дарованием, наводят тяжелую грусть и заставляют невольно задуматься. Дай Бог, чтобы предчувствие не сбылось, чтоб поколение наше оставило прочный след на земле, запечатлев его плодовитой мыслью и гениальным трудом. Так времена спешат: спешите и вы вперед, не медлите» (он же в следующем году о «Думе»: «Это стихотворение есть страница из современной истории, глубоко философский вывод из ее фактов»).

К этому времени репутация Лермонтова как поэта установилась прочно. И вот только теперь (что, конечно, случайно совпало с выступлением Белинского) Софья Николаевна Карамзина дает ему свой альбом с тем, чтобы он написал туда стихи... Он знал, что это альбом для избранных, «лучших» и «великих», а не просто вольный и лишенный претензий, какие есть чуть ли не в каждом доме. Тот, кому он давался, был как бы заранее *скован* и *обязан*... Лермонтов все-таки взял его, положил у себя дома и недели две не открывал. Ему стало ясно, что тут без *истории* не обойдется и что совершенно всерьез он ничего сюда не напишет.

26 июня он вернул Софье Николаевне альбом. Вечером следующего дня она писала сестре Екатерине Николаевне Мещерской: «За чаем у нас были Смирновы, Валуевы, гр. Шувалов, Репнин и Лермонтов. С последним у меня в конце вечера случилась *неприятность*; я должна рассказать тебе об этом, чтобы облегчить свою совесть. Я давно уже дала ему свой альбом, чтобы он в него написал. Вчера он мне объявляет, *что когда все разойдутся, я что-то прочту и скажу ему доброе слово.* Я догадываюсь, что речь идет о моем альбоме, — и в самом деле, когда все разъехались, он мне его вручает с просьбой прочесть вслух и, *если стихи мне не понравятся, порвать их, и он тогда напишет мне другие.* Он не мог бы угадать вернее! Эти стихи, слабые и попросту скверные, написанные на *последней* странице, были ужасающе банальны: «он-де не осмеливается писать там, где оставили свои имена столько знаменитых людей, с большинством из которых он не знаком; что среди них он чувствует себя как неловкий дебютант, который входит в гостиную, где оказывается не в курсе идей и разговоров, но он улыбается шуткам, делая вид, что понимает их, и, наконец, смущенный и сбитый с толку, с грустью забивается в укромный уголок», — и это все. «Ну, как?» — «В самом деле, это мне не нравится: *очень заурядно* и стихи посредственные». — «Порвите их». Я не заставила просить себя дважды, вырвала листок и, разорвав его на мелкие кусочки, бросила на пол. Он их подобрал и сжег над свечой, очень сильно покраснев при этом и улыбаясь, признаться, весьма принужденно. Маменька сказала мне, что я сошла с ума, что это глупый и дерзкий поступок, словом, она действовала столь успешно, что довела меня до слез и в то же время заставила раскаяться, хотя я утверждала (и это чистая *правда*), что не могла бы дать более веского доказательства моей дружбы и *уважения* к поэту и человеку. Он тоже сказал, что благодарен мне, что я верно сужу о нем, раз считаю, что он выше ребяческого тщеславия. Он попросил обратно у меня альбом, чтобы написать что-нибудь другое, так как теперь *задета его честь.* Наконец он ушел довольно смущенный, оставив меня очень расстроенной».

В тот же вечер Лермонтов сопровождал ее и Владимира Карамзина во время верховой прогулки. Она старалась «рассеять неприятные впечатления» от происшедшего

днем, но Лермонтов этим происшедшим в конце концов остался доволен, — Софья Николаевна, как и он сам, не оказалась истинно светским человеком. Ее *долг* был — поблагодарить за стихи, выразить свое удовольствие (ведь в общем тут достаточно *имени*), а за его спиной, может быть и посмеяться над ними. Вот тут-то Лермонтов и принял ее всей душой. 30 июня была еще верховая прогулка. «А вечером, — пишет Карамзина сестре, — у нас снова собрались все наши завсегдатаи, в том числе и Лермонтов, который, кажется, совсем не сердится на меня за мою неслыханную дерзость по отношению к нему как к *поэту*».

В Царском Селе шла обычная летняя жизнь — чаепития, танцы, прогулки, поездки в Павловск. Иногда бывал у Карамзиных Иван Петрович Мятлев, только что вернувшийся из трехлетнего путешествия по Европе. Это был прославленный в Петербурге балагур и острослов, рассказчик анекдотов, сочинитель романсов и песенок, но в особенности «макаронических» стихотворений, где перемешаны в самом смешном порядке русские и французские слова (он написал также огромную поэму этим смешанным языком — о путешествии некоей мадам Курдюковой, провинциальной барыни, за границу). Этот балагур был немолод, осанист на вид, к тому же камергер, но неистребимая страсть писать смешные пустяки и всюду их читать (он добрался даже до царя, которого рассмешил до колик) сделала его буффоном и почти посмешищем. За глаза его звали Ишкой Мятлевым. Шутовство его было уморительно, но удручающе однообразно, что тоже было смешно. Так что и в большом свете, как оказалось, были свои скоморохи.

22 июля читал у Карамзиных свои мемуары Филипп Филиппович Вигель — он имел недоброе, но талантливое и хлестко-остроумное перо, а портреты изображаемых им лиц у него получались не совсем достоверными, но в деталях поразительно точными... Многие из этих лиц были живы, и это давало мемуарам Вигеля особенный — скандальный колорит... Он, директор Департамента иностранных исповеданий, был в приятельских отношениях со всем кругом старших литераторов, не исключая Пушкина и Жуковского. Это был старый арзамасец (член литературного общества, созданного Жуковским в 1815 году) под кличкой Ивиков Журавль, в сокращении — Журка. Случалось, что те, о ком он писал, присутствовали на чтении. Успех он имел необыкновенный. Издавна

бывал у Карамзиных и другой арзамасец, также приятель Жуковского, теперь — министр внутренних дел, Дмитрий Николаевич Блудов. В последние годы, правда, он появлялся здесь редко. Его дочь Антонина передавала Софье Николаевне, что он «очень *ценит* Лермонтова и почитает единственным из наших молодых писателей, чей талант *постепенно созревает*, подобно богатой жатве, взращиваемой на *плодоносной почве*, ибо находит в нем *живые источники* таланта — душу и мысль!».

Лермонтов постепенно становится душой небольшого кружка самых близких друзей Карамзиной. Она пишет сестре, что его «присутствие всегда приятно и всех одушевляет». Узкий кружок друзей Карамзиных привлекал его больше, чем многолюдные сборища у Одоевского, где нередко встречались люди, не знакомые друг с другом (тут бывало много интересного, но это совсем другое дело!). Впервые в жизни он почувствовал себя на своем месте, в своем кругу. Только здесь душа его переживала мирные минуты. И вот что написал он в ту пору, в августе 1839 года, в альбом Софье Николаевне взамен разорванного стихотворения:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,
Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...

Саша — это Александр Карамзин, любитель розыгрышей и автор «Бориса Ульина», увы, безжалостно разгромленного в «Московском наблюдателе» Белинским (в ответ на похвалы этой поэме в «Отечественных записках»). «Борис Ульин» был назван «жалким произведением, обличающим в авторе его образцовую бездарность».

Приезжал в Царское Село Одоевский — всякий раз навещал Лермонтова. Именно в это лето они перешли на «ты». Вдвоем (иногда втроем, если была жена Одоевского Ольга Степановна) они много толковали о том о сем, и

так у них сложилось, что больше всего — о Боге, Церкви, молитве... Какой это был контраст к прогулкам верхом, поездкам в Павловск, где у молодой княгини Щербатовой, прекрасной вдовы, устраивались шумные чаепития, а потом игры со всякими проказами: столько озорства, смеху, крика — не подумаешь, что это взрослые люди. Одоевский не понимал ничего такого и приходил в ужас, когда видел, что образованные люди бездельничают.

Продолжалась и его ночная работа. Не говоря никому об этом ни слова, он писал поэму о молодом чернеце, *бэ́ри,* каждую ночь переносясь душой к месту слияния Арагвы и Куры, в Мцхету, в горы Картли, к ущелью Армазис-Хеви... Темное лицо, легкая седая борода отца Мириана, отшельника, черная ряса, подпоясанная веревкой... простор неоглядный... леса на склонах гор... скалы... древние храмы... Он вспоминал Грузию с каким-то щемящим сердце восторгом, как вспоминает, верно, странник свою родину на далекой чужбине. Это было необыкновенно и странно.

Первые строки поэмы сложились так легко, словно они в нем жили, возникнув там, над Мцхетой, под облаками... «Божья благодать сошла / На Грузию! — она цвела...» — сказочная, райская страна: дружество, родство, братство разлито во всей ее природе, — «будто две сестры» бегут, «обнявшись», две реки... деревья — «как братья в пляске круговой»... скалы «жаждут встречи каждый миг» друг с другом, — «простерты в воздухе давно / Объятья каменные их...». И все природы голоса сливались тут...» И тем страшнее бывает отторженность человека от природы, от свободы. Бэри — один из таких людей.

Мальчик, оставленный в монастыре русским генералом, оказался не в тюрьме, а в братской общине монахов, — здесь он, тяжело больной, был спасен от смерти «искусством дружеским».

Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел вздыхая на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом,
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез

Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли...

Все остальное, то есть вся поэма (24 главки из 26) — предсмертная исповедь молодого послушника, так и не успевшего «изречь монашеский обет». Эти три дня, в которые его искали, он *жил...* Это и была цель его побега, которая слилась в его душе из двух желаний — найти «родную сторону» и «обняться с бурей»... Рядом были и другие желания (все входящие в желание *жить*):

Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы...

Все это было одно:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы...

Беглец попал в грозу... потом заблудился в лесных дебрях... вступил в жестокую битву с барсом... Он слился с природой, — «как зверь, был чужд людей / И полз и прятался, как змей»... Венцом этой жизни стало утро после грозы:

Всё, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул...

Так всегда смотрел Лермонтов в чистое лазурное небо, смотрел, как бы видя там, чувствуя всей душой, свое родное... То, к чему горы Кавказа были ступенью. Так сам Лермонтов, особенно в последний год, хотел вырвать-

ся из своего «монастыря» и *жить*, хотя бы и в лесу, в горах... пусть даже дни, а не годы... пусть в одиночестве... И если бы не приютный огонек у Карамзиных, совсем бы ему было плохо.

5 августа «Бэри» был закончен. Немного позднее Лермонтов переменит название на «Мцыри», потому что от кого-то из знакомых петербургских грузин узна́ет, что *бэри* по-грузински вовсе не молодой чернец, а старик, монах; *мцыри* же — послушник, как раз молодой чернец и к тому же одинокий чужеземец (второй смысл слова). Это было совершенно то, что нужно... Затем, тогда же, в начале августа, Лермонтов написал два стихотворения, которые были откликом на беседы с Одоевским, — «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и «Три пальмы». Последнее Краевский поместил в ближайший номер «Отечественных записок», а 19 августа, сообщая в «Литературных прибавлениях» о содержании 8-й книжки журнала, назвал это стихотворение «*Две* пальмы»... Лермонтов, смеясь, говорил, что Краевский упредил арабов, уничтожавших пальмы, вырубил одну раньше них.

Краевский показал ему письмо Белинского из Москвы от 24 августа (у Белинского с Краевским шли переговоры — в августе Белинский уже согласился на переезд). «Теперь перелистываю 8 № «Отечественных записок», — писал Белинский. — Стихотворение Лермонтова «Три пальмы» чудесно, божественно! Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое». Спустя месяц Белинский писал в Германию своему другу Николаю Станкевичу: «На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов; вот одно из его стихотворений...» Приведя весь текст «Трех пальм», он продолжает: «Какая образность! — так все и видишь перед собою, а увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина — так и блестит всею яркостью восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, отдельно взятом!»

Душа Лермонтова стремится на Восток — она полна воспоминаний и предчувствий... С Кавказа идут вести о жесточайших битвах. Генерал Граббе штурмует аул Ахульго, где засел со своими мюридами * Шамиль. Аул казался неприступным. В течение июля и августа громили его русские пушки. 22 августа после 36 часов резни

* **Мюрид** — проповедник «джехада», войны против «неверных», то есть немусульман. У Шамиля они были военачальниками.

грудь в грудь с врагом резиденция Шамиля пала. Сам он, однако, ускользнул, спустившись на веревках со скалы к реке. Значит, война не окончена. В начале сентября Лермонтов через Владимира Одоевского получил известие о смерти Александра Одоевского, скончавшегося от лихорадки в селении Псезуапе, во время экспедиции против горцев на Черноморском побережье. Это случилось 15 августа. Живо припомнилось Лермонтову их совместное путешествие из Владикавказа в Тифлис... посещения могилы Грибоедова... всё-всё... Он написал стихотворение «Памяти А. И. О.......го», своего рода новую «Смерть Поэта», но не гневное, как не гневен был душою и сам Одоевский:

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно...

А «Молитва» написалась так легко, словно он просто вспомнил ее. Пришли и встали на место слова, исполненные чудесной легкости и глубочайшей искренности:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Лермонтову казалось, что наступило лучшее время его жизни. Грустное, с мечтами о недостижимом, с прежним разладом в душе, но — лучшее. Несмотря даже на то, что душа его опустошена была последней встречей (вернее — последним расставанием) с Варварой Александровной и смертью Одоевского... Лучшее, потому что писалось не только хорошо, но и по-новому.

За «Молитвой» последовала баллада «Дары Терека», а затем он начал стихотворение «На буйном пиршестве задумчив он сидел...» — новое раздумье о «ликующем поколении», в котором *один* лишь предвидел грядущие беды:

...в даль грядущую, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел...

И вот он уже пишет прозу... Десять тетрадей записок Печорина должны быть преисполнены интереса...

Лермонтов не стал изобретать ничего особенного, а вспомнил свой приезд на воды, в Пятигорск, в мае 1837 года, и с этого начал, но уже от имени Печорина: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество».

Дней за десять Лермонтов написал «Княжну Мери», которая как бы притянула к себе остальные повести и стала центральной среди них. Произошло в некотором роде чудо — возник роман, о котором он думал, но которого пока не строил, писал отдельные повести и размышлял о Печорине... Он попытался выстроить его. Получилось так: «Бэла»; «Максим Максимыч»; «Фаталист»; «Княжна Мери» — под общим названием «Один из героев нашего века» («Тамань» сюда не вошла).

12 сентября Лермонтов прочитал «Княжну Мери» у Карамзиных (в присутствии Александра Ивановича Тургенева). Краевскому в журнал эту повесть не дал, сказав, что будет издавать книгу, однако не теперь, так как он еще не совсем уверен, что она окончена... Здесь описаны пока только кавказские похождения Печорина. Лермонтову все же жаль было совсем оставлять «Княгиню Лиговскую», начатую с Раевским... Но «Княжной Мери» он был доволен — в ней Печорин (а это часть его записок) сумел очень много любопытного сказать о себе. Нет, Лермонтов не себя рисовал в образе Печорина и не кого-нибудь из своих друзей или знакомых, но собрал в нем много такого, что встречается в лучших людях его поколения. Печорин сильный, глубоко чувствующий, талантливый человек, способный на многое и многое хорошее, но... он равнодушен и к своей и к чужой жизни, не прощает людям несовершенств и слабостей и даже стремится поставить их при случае в такое положение, где бы эти их качества выявились до конца... И все же он делает это (как в случае с Грушницким) с надеждой, что человек одумается и повернет в лучшую сторону. Это характер, который может вызвать самые противоположные чувства — симпатию или полное отрицание... Он хорошо образован, много читал, и у него философский склад ума. В его *журнале* много тонких рассуждений, обнаруживающих знакомство его с трудами многих великих мыслителей. Это современный Гамлет, в котором так же много таинственного, как и в герое трагедии Шекспира.

Лермонтов дал Печорину кое-что и от себя — без этого ведь никак не могло обойтись... В особенности свое отношение к былому: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, ничего...» В «Княжне Мери», в глубине ее, *за* сюжетом и *за* персонажами, трепещет это прошедшее, напоминая иногда о самом дорогом. Родинкой Веры — о Варваре Александровне, о любви, так как эта родинка («У Вареньки родинка... Варенька уродинка...») — дорогой с ранней юности знак всего, что связано с этой любовью. И Пятигорск (как и Кисловодск) здесь не только удобное место для завязки интриги и столкновения разнообразных лиц, — нет. Это первый взгляд Лермонтова-ребенка на горы Кавказа, — здесь для него было много первого: любовь, поэзия... А ссыльное лето 1837 года, связанное с именем Пушкина? Поэтому так живут и дышат в «Княжне Мери» окрестности Пятигорска и Кисловодска — степь и горы, скалы и небо, дороги и тропы, леса и потоки... «Я люблю скакать на горячей лошади, — пишет Лермонтов, — по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль,

стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».

Новые попытки выйти в отставку не удались. Оскорбленный «вероломством» Лермонтова великий князь Михаил Павлович не принимал от него просьб об отпуске, несмотря на то, что Лермонтов каждый месяц отмечаем был в «высочайших приказах о поощрении», то есть служил весьма исправно. Великий князь подозревал, что за этой исправностью кроется не только личная непокорность Лермонтова, нелюбовь его к военной службе, но и саркастическое отношение к парадному блеску гвардии, которой единственно жил и дышал великий князь... Всякие шумные сходки в гусарском полку, разные выходки и «шалости» офицеров он стал приписывать влиянию Лермонтова, так как видел, что это умнейший из них человек, авторитетный среди сослуживцев в силу своей беспощадной насмешливости. Двор всегда боялся гвардии, но после 14 декабря 1825 года она стала смирна и совершенно безопасна. Великий князь Михаил Павлович один управлялся с ней. Поэтому Лермонтов всегда смотрел на шумные офицерские сборища (в том числе и у него на квартире) со смесью презрения и сожаления. Несколько достойных уважения людей (наперечет...) терялось в общей массе. И когда в Петербурге среди разных развлечений как-то нечаянно сложился некий кружок молодых людей, начавший сходиться то у одного, то у другого на квартире по ночам, после театра, — Лермонтов ожил, в нем затеплились неясные надежды.

Встречи показали, что число их участников постоянно: *шестнадцать*. Вспомнили повесть Бальзака «Histoire des treize» («История тринадцати»), в которой действует группа людей, называвшая себя «Les treize» («Тринадцать»). Решили больше никого не принимать, засекретить свои ночные разговоры и назваться «Les seize» («Шестнадцать»). Это были Лермонтов, Монго, Браницкий, братья Шуваловы, братья Долгорукие, Дмитрий Фредерикс, Николай Жерве, Федор Паскевич, Петр Валуев, Борис Голицын, Иван и Григорий Гагарины, Александр Васильчиков и Михаил Лобанов-Ростовский. Браницкий и Иван

Гагарин были с Лермонтовым одногодки. Жерве старше их на семь лет, а Григорий Гагарин на четыре. Все остальные моложе — Валуев на один год, Монго на два, Шувалов на три, Фредерикс и Васильчиков на четыре, Александр Долгорукий, Лобанов-Ростовский и Борис Голицын на пять, Сергей Долгорукий на шесть, а сыну фельдмаршала Паскевича было и вовсе шестнадцать лет. Собирались только для разговоров. Очень важно рассаживались по диванам и стульям, закуривали кто сигары, кто трубки и заводили разговоры о политике.

Как вспоминал Браницкий, они «все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии вовсе и не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества».

Разговоры в самом деле не вышли за пределы кружка, но о самом существовании «Les seize» в обществе узнали довольно скоро, тем более что в театрах и на великосветских вечерах они также держались вместе. Ничего особенно значительного из «Les seize» не вышло — уже зимой кружок начал рассеиваться, но все-таки это было настоящее, серьезное общение людей примерно одного поколения, общение без сплетен, шума, карт и попоек... Даже фат Монго начинал здесь скорбеть о пустоте гвардейской жизни и вместе с другими мечтать о каком-то большом деле или об отъезде на Кавказ под горские пули... В других обстоятельствах, вне кружка, это были веселые молодые люди, но здесь, ночью, в табачном дыму, обнаруживалось, как много в них меланхолии, раннего разочарования во всем, даже нежелания жить. И ведь все это были родовитые аристократы, богатые люди с огромными возможностями выбора путей в жизни. Это было грустно видеть. Лермонтов понял, что они для России не сделают ничего. Их ум, таланты, свободомыслие, храбрость — все пойдет прахом, рассеется трубочным дымом... Возникшие было надежды пропали.

Осенью Лермонтов сблизился с Александром Ивановичем Тургеневым, человеком из поколения «отцов», и разговоры с ним от раза к разу стали укреплять душу Лермонтова, затосковавшую было на призрачных ночных бдениях «Шестнадцати». Тургенев был удивительный человек — это был мир, и настолько разнообразный, что его нельзя было ни за какое время исчерпать... Массивный, тучный, с небольшими, но зоркими серыми глазами, он был вездесущ. Он объездил Европу, был знаком со всеми

знаменитыми писателями в Германии, Франции, Англии. Письма его к друзьям (среди них к Жуковскому и Вяземскому) печатались в России в разных журналах, — в 1836 году в «Современнике» Пушкина под названием «Хроника русского». Во всех странах он собирал материалы по русской истории, добивался доступа в архивы Ватикана, Парижа, Лондона... Он был блестящим собеседником, никогда не говорившим о пустяках... Его брат декабрист Николай Тургенев живет в Англии, в изгнании, — он не может вернуться в Россию, потому что считается одним из главных организаторов восстания. Александр Иванович неустанно хлопочет о его прощении (ему помогает в этом Жуковский), но царь требует одного: явки с повинной.

Александр Иванович был дружен с Пушкиным со дней его отрочества. В 1811 году содействовал его поступлению в Лицей. Он был возле поэта в последние дни его жизни. Может быть, именно по его рекомендации Карамзины решили привлечь Лермонтова в свою среду — «Смерть Поэта», а потом «Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича...» убедили его в том, что это большой поэт. И не поэты Жуковский и Вяземский, а именно он, Тургенев, проникся горячим сочувствием к Лермонтову, верой в него (Жуковскому не понравился «Демон», хотя в остальном он считал Лермонтова одним из самых талантливых молодых поэтов, а Лермонтов, почувствовав некий холодок с его стороны, перестал посещать его субботы в Шепелевском дворце).

Очень часто у Карамзиных, на балах, в театре Лермонтов возле Тургенева. В фойе, в зале у колонны, за обеденным столом, в экипаже, на прогулке пешком они беседуют, и, как почувствовал Лермонтов, этот пожилой, грузный человек тянется к нему душой, сочувствует ему. Божий дар всегда привлекал Тургенева в людях — это было в человечестве, как он полагал, главное. Вместе с тем, восхищаясь, Тургенев страдал и печалился о *человеке,* в котором такой дар жил, — о непрочном *сосуде,* который может быть разбит при любой случайности.

Лермонтов расспрашивал его о Пушкине. В ноябре — декабре 1836 года и в январе 1837-го Тургенев особенно близко сдружился с Пушкиным. Тогда как большой свет злорадно посмеивался над «дурными» настроениями поэта в связи с интригами Дантеса и его друзей (даже Софья Николаевна Карамзина и Вяземский не одобряли «смешного» поведения Пушкина в обществе, его мрачности),

Жуковский и Тургенев понимали его, стремились ему помочь. Но если Жуковский хлопотал лишь о предотвращении дуэли, то Тургенев входил во все интересы Пушкина, посвящая его в свои. Они жили близко друг от друга и встречались иногда несколько раз на дню. «Он полон идей, — писал Тургенев в Москву одной своей знакомой о Пушкине, — и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое прежде было столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы». В это время Пушкин деятельно занимался своим журналом. 10 декабря они были вместе во французском театре; и когда французский посол де Барант спросил его о французских актерах этого театра, Тургенев ответил: «Играют похабные пьесы».

Через пять дней Пушкин читал Тургеневу «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Они беседовали о «Слове о полку Игореве» (Пушкин дал Тургеневу для брата Николая список «Слова...», которое он готовил для издания), о Михаиле Орлове, о Ермолове и Чаадаеве. Пушкин прочитал Тургеневу свое письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года, которое, опасаясь перлюстрации, не решился отослать. Пушкин спорил с Чаадаевым, особенно по поводу «нашей исторической ничтожности» («Клянусь честью, — писал Пушкин, — что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»), но соглашался с оценкой теперешней жизни («Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»). Тургенев сказал, что некоторые места этого письма вспоминаются при чтении его, Лермонтова, стихов, таких, как «Дума» и «Поэт»... Общество не изменилось! Тургенев говорил о том, как поразила его «Капитанская дочка», которую он прочел в декабре 1836 года в четвертом томе «Современника», — все случайности, которые с легкостью совершает герой романа, суть звенья в предопределенной ему судьбе!

Тургенев совершенно откровенен с Лермонтовым. Узнав, что он интересуется Ермоловым и Грибоедовым, Тур-

генев сказал ему, что «Ермолов, желая спасти себя, спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа», то есть сообщил о предстоящих обыске и аресте в связи с восстанием 14 декабря 1825 года, — Грибоедов успел сжечь документы, из-за которых мог пострадать не только он. И очень, очень грустен был рассказ Александра Ивановича о том, как он хоронил Пушкина.

— Государь повелел мне провожать тело Пушкина до последнего жилища его... я выехал в ночь... не взял казенной подорожной... Передо мной скакал в своем возке жандарм... Гнали так, что пала одна из лошадей, впряженных в сани с гробом.

Он рассказал, как мужики Осиповой, хозяйки Тригорского, копали могилу в ограде монастыря, а он между тем осматривал церковь и прочие здания. Могилу рыли и на другой день, так тверда была мерзлая земля. 6 февраля отслужили панихиду, опустили в могилу гроб. Все это было в присутствии жандарма, но почти без провожающих (так было приказано).

— Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал, несмотря на желание и убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь... В Михайловском спросил старого, исписанного пера, — мне принесли новое... Я обещал Осиповой ваши стихи и после отправил их ей.

Александр Иванович не скупился на рассказы о своих путешествиях. Он не был обыкновенным путешественником-зевакой, ищущим развлечений. Лермонтов хорошо знал это по его заграничным кореспонденциям, печатавшимся в журналах. Но одно дело читать в журнале, другое слушать живую речь свидетеля многих событий культурной жизни Европы... думать при этом, сравнивая услышанное с тем, что есть дома. Тургенев не европеист, не пылает исключительными западными пристрастиями. Везде и всюду он русский (недаром — «Хроника *русского...*»), даже до таких вещей, как постоянно возимая с собой святая вода из Троице-Сергиевой лавры... как непременный чай и весь чайный прибор среди его дорожных вещей... как заветная иконка и много другого, без чего не умеет жить на чужбине русский человек.

Рим, Париж, Лондон... Очень любопытен был его рассказ о посещении в 1828 году Абботсфорда, имения Вальтера Скотта в Шотландии, где он провел два дня. Описание этой поездки Тургенев отдал Пушкину для «Современника», но после его смерти оно пропало вместе с некоторыми другими бумагами из архива поэта.

Многое из того хорошего, что видел Тургенев в европейских странах, он хотел бы видеть в России, которую, как он считал, душит исконная татарщина. При всей своей европейской наружности Петербург — город лихоимцев-баскаков, орды чиновников, боящихся света и прогресса. Он сокрушался о том, что эти «татары» не дают свободно дышать русским писателям и журналистам (речь, конечно, не о Булгариных). Сколько крови выпили из Пушкина, пока не уходили совсем. А уходили — и тут не поняли, что это слава России!.. Любой генерал, как бы ни был он глуп и дик, имеет в России больше почета, чем великий поэт. Татарщина... татарщина...

Бывая у Тургенева, Лермонтов удивлялся изобилию коробок и папок со всякими выписками, — Тургенев, исследовавший многие архивы Европы, теперь вынужден был заниматься исследованием уже своих историографических богатств. Он подбирал и отдавал переписывать материалы, надеясь кое-что издать. Особенно много было у него записок иностранцев о России — на латинском, итальянском, французском, английском и польском языках. Были также многочисленные выписки, относящиеся до других славянских земель. Материалами Тургенева широко пользовались Карамзин и Пушкин. Он называл себя «собирателем источников», живущим в «стихиях истории». «И я находил новую жизнь в этих подвалах смерти, — говорил он об архивах. — И тем более наслаждался, что, углубляясь в область прошедшего, я мог забывать *свое* время». «Я не привык жить для себя самого», — сказал Александр Иванович. И в самом деле, он, используя все свои связи, помогал бедным и обиженным, всем без разбору — от мужика до министра (были и такие случаи). Он писал бесконечные просьбы, прошения и объяснения... Когда бывал в Москве, являлся раз в неделю в пересыльную тюрьму на Воробьевых горах и беседовал с осужденными, привозил им деньги и одежду... записывал их просьбы. Во всех странах он всегда спешил осмотреть тюрьмы, детские приюты, инвалидные дома, заведения для слепых. Не было границ его человеколюбию.

Тургенев покровительствует Лермонтову в свете, — «таскает» его в наиболее интересные места (а самое-то интересное для них — дом Карамзиных), — например, на вечера вюртембергского посланника князя Генриха

Гогенлое-Кирхберга — рауты по вторникам. Это был салон *дипломатический* и *придворный*, и здесь более всего говорили о политике. Жена посланника — Екатерина Ивановна Голубцова, которую Тургенев называл «милая Гогенлоге», — умела дать этим собраниям непринужденность и даже уют... Здесь встречал Лермонтов французского посланника барона де Баранта, члена Французской академии, писателя-историка. В России, как и везде в Европе, известна была его 13-томная «История герцогов бургундских из дома Валуа» — точное и строгое исследование по истории Франции XIV—XV веков. В 1837 году в Петербурге вышел в переводе на русский язык его труд «Французская литература в течение XVIII столетия», книга очень живая и умная, с своеобразным взглядом на каждого из описываемых представителей литературы того века, в котором царили Вольтер, Бюффон и Руссо.

Сын французского посланника 22-летний Эрнест де Барант — также чин при посольстве, хотя и мелкий, но надеющийся в ближайшем будущем на более крупное. Лермонтов видит его на великосветских раутах. Молодой Барант не в отца, любящего остроумную, но не пустую беседу, доброжелательного и скромного, — он заносчив, самоуверен, язвителен. Между ним и Лермонтовым сразу же возникла незримая стена враждебности. Они начали сторониться друг друга, избегая продолжительных бесед. Во французское посольство Лермонтов еще ни разу не был приглашен. В этом чувствовалась какая-то странность. Вскоре разъяснилось, что она и в самом деле была.

Кто-то нашептывал Барантам, что Лермонтов презирает французов и в известном своем стихотворении «Смерть Поэта» бичует не столько Дантеса, сколько нацию, к которой Дантес принадлежит. Они, не надеясь на свое знание русского языка, не стали делать собственных заключений и прибегли — через посредство первого секретаря посольства барона д'Андрѐ — за разъяснением смысла стихотворения к Александру Ивановичу Тургеневу. Это было на вечере у Гогенлое... Тургенев не помнил текста и на другой день запросил его у Лермонтова. «Через день или два, — писал Тургенев Вяземскому, — кажется, на вечеринке или на бале у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андре, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию».

Лермонтов немало времени проводил на раутах и балах, танцевал, беседовал о политике, «волочился» за красавицами вроде Эмилии Карловны Мусиной-Пушкиной или Марии Алексеевны Щербатовой, кстати, довольно серьезно в него влюбленной. И в это же время, в самом конце 1839 года, незаметно для всех он готовил свои первые книги — собрание стихотворений и роман.

Краевский торопил его, просил дать скорее рукописи, собираясь заняться их изданием. Они обсуждали название романа, и Лермонтов согласился на предложенный Краевским вариант: «Герой нашего времени». В результате перестановок повестей получилась следующая структура: *Часть первая* — «Бэла», «Максим Максимыч», затем в составе «Журнала Печорина» — «Тамань», и далее *Часть вторая* — «Княжна Мери», «Фаталист». Таким образом, и «Тамань» нашла свое место. После заглавия «Журнал Печорина» и перед «Таманью» Лермонтов поместил «Предисловие», которое начал с заявления, что «Печорин, возвращаясь из Персии, умер» и что это известие его «очень обрадовало» («Оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!»). То есть вы, читатели, конечно, считаете (и по большей части правильно) писателей безнравственными людьми, — смотрите! — и здесь оно так!.. Писатель желает получить славу и деньги за чужие записки. Он *рад* смерти человека и считает подлог делом невинным. Что это — шутка, ирония, мрачный юмор? Да всего понемногу... А дальше всерьез: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям». Сообщив, что у него в руках «осталась еще толстая тетрадь» записок Печорина, Лермонтов так закончил свое «Предисловие»: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!» — «Не знаю...»

В последних числах декабря «Герой нашего времени» был приготовлен к печати и передан Краевскому. Со стихами было труднее, так как Лермонтову не хотелось

брать в книгу ничего из написанного до 1836—1837 годов... Это, однако, не было еще в точности решено.

Среди этих забот он узнал от Верещагиной, что лежит почти уже при смерти Иван Иванович Козлов. Поспешил навестить его. Козлов был в постели, в своем кабинете. Боли ни на минуту не оставляли его, изрезанный морщинами лоб его блестел от пота, который часто промокала платком сидевшая тут его дочь. Узнав, что пришел Лермонтов, Козлов протянул руку — пальцы его были сведены судорогой и разжались с большим трудом... Он заговорил, но и речь его была уже не та... Однако он заговорил о поэзии:

— Я прочитал в «Отечественных записках» вашу «Молитву». Как вас благодарить? У меня действительно «минута жизни трудная», и я повторяю ваши стихи много раз в день вместе с другими молитвами... Уверен, что не только мне принесли вы отраду этим маленьким шедевром поэзии... Я попытался сочинить и свою «Молитву».... Вот, не угодно ли... Это сонет.

И тут голос Козлова вдруг окреп, пропали медленность и нечеткость в произношении слов:

Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.

Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слёзы покаянья.

Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины жар священный,
Дай Иоанна чистоту;

Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

Козлову оставалось жить всего месяц.

2

Новый год Лермонтов встретил у Карамзиных вместе с Тургеневым и Вяземским. В ту же ночь успел побывать у Одоевского. А 1 января в пять часов пополудни он явился на бал во французское посольство — роскошный,

блестящий бал, где присутствовала, хотя и недолго, императрица с сыном-наследником. К вечеру залы посольства, к досаде Баранта, стали пустеть — общество перетекало в Большой каменный театр, где после спектакля, то есть после одиннадцати часов, начинался традиционный новогодний маскарад. Гремела музыка. В ложах сидели маскированные красавицы, глядя на толпу, тоже маскированную, которая, словно по Невскому проспекту, шла по залу, обходя его кругом и растекаясь по другим помещениям и лестницам. Духота и давка... Около двенадцати приехал император с сыном. Была ли императрица — неизвестно, — она любила на маскарадах теряться в толпе и всегда делала это так искусно, что ее почти никто не узнавал. Николаю же маскироваться было бесполезно, его узнавал всякий.

За несколько дней до Нового года и на маскараде 1 января Лермонтова видел молодой тогда Иван Сергеевич Тургенев. «В наружности Лермонтова, — писал он, — было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий... На бале ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза».

Не так уж сложна и привлекательна светская жизнь — много в ней блеску и шума, но нет глубины. Если бы не голубые глаза Щербатовой, то ему бы и вовсе нечего было делать на этих балах. Не так давно он в свете, но уже устал от него. После новогоднего маскарада он написал стихотворение, в котором эта усталость и выразилась. Он его пометил 1 января и отдал Краевскому, который уже почти обязал его отдавать ему все написанное, стихи и прозу, — для журнала и для «Литературной газеты» (новое название «Литературных прибавлений»), а также для сборника стихотворений Лермонтова, который теперь собирал он, Краевский, отобрав у Лермонтова рукопись... Краевский хочет издать две книги Лермонтова — «Героя нашего времени» и «Стихотворения». Ранних

стихов Лермонтов ему не дал. Сказал, что напишет новые.

В 1839 году Лермонтов не брал с Краевского денег за напечатанное, а теперь решил взять. Теперь он не любитель, а профессиональный литератор... Елизавета Аркадьевна Верещагина в одном из своих писем к дочери коснулась и этого вопроса, объяснив дело по-своему: «Миша Лермонтов подрядился за деньги писать в журналах. Прежде все давал даром, но Елизавета Алексеевна уговорила его деньги взять — нынче очень год тяжел, ей половины доходу не получить». Может быть, Краевский закупил разом и будущие сочинения Лермонтова.

А Лермонтову все чаще вспоминались годы, проведенные в Тарханах и Середникове, лето в Кропотове. Ему казалось, что душа его омертвела. А тогда как страстно он мечтал, сколько болезненных, тяжелых дум мучило его днем и ночью... как сильно он любил...

...Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей...

...Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Он чувствует, что скоро и очень решительно разделается с этой жизнью, одним ударом порвет цепь. Как это произойдет — подскажет она же, эта жизнь... мертвящая, опустошающая... А он еще считал себя сильным человеком, способным к существованию в одиночестве, в одинокой независимости. Нет: коготок увяз — всей птичке пропасть!.. Жизнь без Неба, когда за стенами, покрытыми дорогими обоями с золотым тиснением, за зеркальными окнами, за громом мазурок — ничего нет!.. А душа спит — или умирает, — отравленная скукой:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!..

Даже в галантные альбомные стихи (посвященные А. О. Смирновой, А. К. Воронцовой-Дашковой, М. А. Щербатовой) проникает этот образ «ледяного... беспощадного света» (к Щербатовой). Свет полон худшего из демонских качеств — искусственности, поддельности. Все истинно живое гибнет в нем. Демон может не только величественно пролетать «над вершинами Кавказа», — он способен замешаться в жизнь, и не в какую-нибудь отдаленную во времени или сказочную, легендарную, а в сегодняшнюю, вот прямо здесь, в Петербурге... Что, если привести Демона в свет, в бальную залу?.. Разве он не найдет здесь родственного себе царства?

Лермонтов, не решив еще, что это будет (продолжение ли «Сашки», новая ли большая вещь...), начал набрасывать строфы.

Кипя огнем и силой юных лет,
Я прежде пел про Демона иного,
То был безумный, страстный, детский бред.
Бог знает где заветная тетрадка?..

Не в замке Гудала, а в богатом петербургском доме оказался этот Демон — то ли Мефистофель... то ли «сам великий Сатана иль мелкий бес из самых нечиновных». Он «сволочь» или «знать», судя «по рогам и платью», но, во всяком случае «безобразный»... В тишине спальни он нашептывает свои соблазнительные речи спящей девушке, начав издалека, — со своей любви к другой девушке, также светской... Он рассказывает, как однажды ночью «пролетал над сонною столицей»:

И я кругом глубокий кинул взгляд
И увидал с невольною отрадой
Преступный сон под сению палат,
Корыстный труд пред тощею лампадой,
И страшных тайн везде печальный ряд;
Я стал ловить блуждающие звуки,
Веселый смех и крик последней муки:
То ликовал иль мучился порок!
В молитвах я подслушивал упрек,
В бреду любви — бесстыдное желанье;
Везде — обман, безумство иль страданье!

(В тонких замечаниях Лермонтова о грехе, очевидно, сказалось чтение «Добротолюбия», аскетической хрестоматии, подаренной ему Одоевским.)

Демон влюбился в девочку исключительной красоты:

...Нет, никогда свинец карандаша
Рафа́эля, иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль...

И если в Тамаре Демон отметил одну красоту, то здесь для него нашлось и нечто более, быть может, важное:

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; — только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность...

И далее:

...не раз
Хотелось мне совет ей дать лукавый;
Но ум ее и сметливый и здравый
Отгадывал всё мигом сам собой...

Это не свет ее развратил; в свет она еще не вступила... Но когда ей исполнилось семнадцать лет, она была принята здесь как своя.

Кипел, сиял уж в полном блеске бал.
Тут было всё, что называют *светом*...
Не я ему названье это дал,
Хоть смысл глубокий есть в названье этом.
Своих друзей я тут бы не узнал;
Улыбки, лица лгали так искусно,
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно...

Столько лжи, что даже Демон, так сказать, царь этой лжи, едва не смутился... Если бы в этой толпе оказались его «друзья» («мелкие бесы»), то их трудно было бы отличить в бальной толпе от людей.

Так, в общем нечаянно, начала осуществляться мечта Лермонтова, зародившаяся почти десять лет тому назад: «*Memor:* написать длинную сатирическую поэму: приключения демона».

Тем временем вышел первый номер «Отечественных записок» со стихотворением «Как часто, пестрою толпою окружен...» (во второй Краевский готовил «Тамань» и «Казачью колыбельную песню»), а 20 января в «Литературной газете» — элегия «И скучно и грустно...».

Белинский, живший по приезде из Москвы на квартире Панаева, пишет статьи и рецензии для «Отечественных записок», и ему все больше и больше нравятся стихи Лермонтова. Каждое из появляющихся в печати его стихотворений Белинский принимает с восторгом, всем говорит о нем, упоминает в письмах... Белинский почти не выходит из своего кабинета, дорожит временем и постоянно работает, сносясь с редакцией через посыльных или Панаева. Все они сразу же увидели, что это не «крикун-мальчишка», а критик по призванию и великолепный работник. А на любви к Лермонтову Белинский и Краевский сошлись еще более. Панаев передавал Краевскому, а тот Лермонтову восторженные отзывы Белинского о нем: «Дьявольский талант»; «Пушкин умер не без наследника»... «И скучно и грустно» он назвал «молитвой», которую он «твердит как безумный»... Лермонтов пропускал все это мимо ушей, а потом спохватился и удивился своему равнодушию к похвалам.

Жизнь его все более запутывалась. С одной стороны, он готовился стать профессиональным литератором (надеялся крупно заявить о себе двумя книгами, потом издавать журнал и написать еще ряд романов), с другой — стал ненавидеть всю эту круговерть с балами и раутами (но только там он мог видеть тех женщин, которых он не столько, быть может, любил, сколько не мог покинуть). В отставку его по-прежнему не пускали, и положение его стало, как он считал, безвыходным. Как отделаться от света? Не так же ли, как от Демона?

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался — стихами!

Так — и от света... Но не просто *отделаться,* а и *отделать.* В следующей строфе он называет стихи «оружием отличным», и не только против «врагов»:

Вам насолить захочется ль друзьям?
Пустите в них поэмой или драмой!..

Лермонтов решил пустить в свет чуть ли не романом в стихах — нешуточным, с тонкой разработкой характеров. Это было бы, может быть, в некотором роде продолжение

«Героя нашего времени», если не предыстория Печорина.

В своем ночном монологе Демон (Мефистофель... бес... Сатана...) рассказывает историю полюбившейся ему девушки, Нины. Та, которой он это рассказывает (ее имя не названо), спит, но она, вероятно, и есть главная героиня романа. А Нина скорее всего один из многочисленных эпизодов... «Сказка для детей» (как назвал он начало стихотворного романа) должна была стать той перчаткой, которую Лермонтов намеревался бросить в лицо большому свету.

Свет, кстати сказать, словно чувствуя это, приготовил против Лермонтова свою дубинку — одному из светских знакомых Лермонтова, Владимиру Соллогубу, графу, по слухам — великой княгиней Марией Николаевной, была заказана повесть о мелком офицерике, проникшем благодаря влиятельным друзьям в недоступные ему ранее роскошные гостиные. С июня 1839 года повесть Соллогуба, названная «Большой свет», лежала у Одоевского, одного из редакторов «Отечественных записок». Прочитал ее и Краевский. Но Соллогуб так далек оказался от правды, что ни Одоевский, ни Краевский не увидели в главном герое повести — Леонине — Лермонтова, хотя и нашли всевозможные намеки на другие лица, в том числе соллогубовский автошарж (князь Щетинин)... Повесть долго не печаталась потому, что Соллогуб обещал дать вторую часть, но не написал ее.

Лермонтов волочился сразу за несколькими светскими красавицами. Среди них были Мария Алексеевна Щербатова, девятнадцатилетняя вдова, и жена секретаря русского консула в Гамбурге Тереза фон Бахерахт, муж которой был приятелем Вяземского и Тургенева. В свои тридцать шесть лет она выглядела очень молодо и была в расцвете своеобразной и благородной красоты. Разговор ее был увлекателен, но не пуст, так как она интересовалась литературой, читала по-русски и хорошо знала стихи Пушкина. Лермонтов, как известный уже поэт, сильно возбуждал ее любопытство.

Возле обеих этих женщин стал появляться молодой де Барант, уверенный в себе и говорливый, но чрезмерно спесивый. Это стало похоже на вызов — Барант явно искал ссоры с Лермонтовым. Но Лермонтов не торопил событий. Он с откровенной насмешкой поглядывал на француза и нередко встречал его взгляд, преисполненный едва прикрытой ярости. Было с чего прийти в бешенство горячей голове — Барант, вероятно, никогда не читал в чужих глазах столько глубокого и мертвенно-холодного презрения. Нет, Барант не мог отнести только к себе, к своей персоне, такое уничтожающее презрение. Он стал думать, что все-таки им — ему и его отцу — неверно растолковали стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта», — и он, ненавидя Дантеса, все же ненавидит и всех французов. Да, да! И вот он демонстрирует это своими, надо сказать, весьма выразительными глазами... Напрасно было послано ему приглашение на новогодний бал в посольство. Роль защитника нации придала Баранту уверенности и наглости.

16 февраля на балу в доме Лавалей Барант сказал Лермонтову:

— Правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счет невыгодные вещи?

— Я никому не говорил о вас ничего предосудительного, — холодно ответил Лермонтов («Ну, ну, пойдешь ли дальше?» — насмешливо думал он).

Барант несколько замялся, но вот еще более дерзко вскинул голову:

— Все-таки, если переданные мне сплетни верны, то вы поступили весьма дурно.

Лермонтов спокойно ответил:

— Выговоров и советов не принимаю и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким.

Барант знал, конечно, что дуэли в России строго запрещены, что царь Николай к дуэлянтам беспощаден, как к нарушителям закона, — и он сделал вид, что уверен в боязни Лермонтова выйти на поединок.

— Если бы я был в своем отечестве, — сказал он, — то знал бы, как кончить это дело.

— В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, — ответил Лермонтов. — И мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно.

Барант вызвал Лермонтова. Этого разговора никто из бывших на балу не слыхал. Лермонтов попросил Монго быть его секундантом, и тот утром следующего дня поехал к Баранту договариваться об условиях дуэли.

— Я буду драться на шпагах, — сказал ему француз.

— Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах, — возразил Монго.

— Как же это, офицер не умеет владеть своим оружием...

— Он кавалерийский офицер, и его оружие сабля, —

если вы не против, он будет биться с вами на саблях... Но у нас в России не привыкли к этому... мы деремся на пистолетах, что вернее и решительнее кончает дело.

Когда к Лермонтову приехал секундант Баранта виконт Рауль д'Англес, Лермонтов успокоил его, согласившись драться на шпагах (саблей он владел все-таки лучше, и Монго это знал). На шпагах было решено драться до первой крови, а потом — на пистолетах.

18 февраля Лермонтов и Столыпин выехали к месту дуэли — на Парголовскую дорогу, к той самой Черной речке, где Пушкин стрелялся с Дантесом. Было двенадцать часов дня. Шел мокрый снег... Через два часа Лермонтов вернулся домой. Аким Шан-Гирей, приехавший в это время из Артиллерийского училища, увидел, что вся одежда Лермонтова мокра.

— Откуда ты эдак? — спросил он.

— Стрелялся.

— Как... что... зачем... с кем?..

— С французиком.

Камердинер помогал Лермонтову переодеваться — в это время он рассказывал Шан-Гирею:

— Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров, и поехали мы за Черную речку... Они были на месте... Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали... Дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался... Мунго продрог и бесился... Так продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас... Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух... Мы помирились и разъехались. Вот и все.

Переодевшись, Лермонтов поехал к Краевскому и рассказал ему о дуэли (тут был Панаев). Краевский посоветовал ему больше никому не рассказывать об этом и не сознаваться начальству, а то мало того, что могут сослать на край света, но еще и разжалуют в солдаты. Барант наверняка будет молчать, ибо ему в противном случае придется покинуть Петербург и его дипломатическая карьера в России кончится. Плохо будет и Баранту-отцу.

— Молчи! А уж там будь что будет... Ты между тем пиши стихи... Да нужно, чтобы и «Герой...» твой вышел

без помех; завтра возьму его из цензуры и снесу в типографию... Ах, ах, братец, как же это.

Краевский был очень встревожен... Молчать? Но ведь шила в мешке... Так и вышло. Уже через неделю командир лейб-гвардии Гусарского полка генерал-майор Николай Федорович Плаутин потребовал от Лермонтова объяснения обстоятельств дуэли. Лермонтов направил ему эти объяснения в первых числах марта, — он кратко описал словесную стычку с Барантом на балу и самую дуэль, — никаких просьб или оправданий в этом письме не было. Лермонтов продолжал появляться в свете. А накануне он принес Краевскому новое стихотворение:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово...

Не встретит, но это пока не услышит его *он,* единственный, кому оно предназначено:

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Краевский, похвалив стихи, заметил, что надо бы написать «из пламени», а не «из пламя»...

— Да? — удивился Лермонтов. — А ну-ка дай.

Он взял листок, карандаш, подумал-подумал, но поправить ничего не смог и сказал:

— Пусть так остается.

И уже по дороге домой вспомнил строки из стихов Козлова: «Как бездна пламя и мечты...» «В нем то, чему здесь имя нет...»... Вспомнились такие же формы слов из

стихотворений Ломоносова, Дмитриева, из басен Крылова. Нет, ошибки нет, может быть, и устаревшая, но еще не ушедшая форма.

11 марта великий князь Михаил Павлович издал приказ по Гвардейскому корпусу о предании Лермонтова военному суду при Гвардейской Кирасирской дивизии. В этот день Лермонтов был арестован и помещен в Ордонанс-гауз на Садовой, но вскоре, из-за его переполненности, был переведен на Арсенальную гауптвахту на Литейной. 16 марта он был допрошен.

«Миша Лермонтов опять сидит под арестом, — пишет Верещагина дочери, — и судят его — но кажется, кончится милостиво. Дуэль имел с Барантом, сыном посла. Причина — барыни модные. Но его дерзости обыкновенные — беда. И бедная Елизавета Алексеевна. Я всякой день у нее. Нога отнималась. Ужасное положение ее — как была жалка. Возили ее к нему в караульную».

Шан-Гирея пускали к Лермонтову беспрепятственно, и он приносил ему книги, играл с ним в шахматы, рассказывал городские новости. Ходили слухи, что Лермонтов отделается легко, его не накажут строго, так как между Францией и Россией натянутые отношения и русский посол в Париже граф Пален сидит в Петербурге и не едет на свою службу... Похоже, что Барантам придется покинуть Россию. Николаю I было доложено, что Лермонтов при объяснении с Барантом «вступился вообще за честь русских офицеров перед французом» (даже военный суд установил, что он «вышел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из желания поддержать честь русского офицера»). Шан-Гирей рассказал, как Хастатов, большой чудак, слушая уверения Елизаветы Алексеевны в том, что ее внука не ушлют и не разжалуют, сказал «в сторону», театрально, густым басом: «Как же! Напротив того, говорят, что упекут голубчика...» Елизавете Алексеевне стало плохо. Французский посол собирался отправить сына в Париж. Вяземский писал с ним своей жене, находившейся тогда в Париже: «Это совершенная противоположность истории Дантеса. Здесь действует патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза».

Вообще Вяземский довольно холодно относился к Лермонтову, который платил ему тем же. Но Лермонтов помнил все-таки, что он был другом Пушкина, а кроме того, нельзя было не оценить его ума и тонкого остроумия. Поэтому, несмотря на отчужденность, случались у них и

беседы один на один. Вяземский некогда мечтал о хорошем русском журнале — он создал «Московский телеграф», сделав его редактором Николая Полевого. Но Полевой от его рук отбился, журнал сделался таким, что Вяземский оставил его. Теперь этот журнал закрыт, а Полевой подвизается в петербургском «Сыне отечества» и входит в трио вместе с Булгариным и Сенковским, старательно искупая свою вину перед Третьим отделением — свободомыслие, за которое закрыли его журнал. Он попал теперь в *грязные писаки*.

Вяземский да Александр Иванович Тургенев — вот те *читатели*, которые смогут понять «Героя нашего времени». Только они, и уж никак не журналисты! Книга печатается, и не пройдет и двух-трех недель, как она попадет в зубы журнальным критикам. Лермонтову подумалось, что хорошо бы на первых страницах этой книги поместить предисловие наподобие «Пролога» в «Фаусте»... И даже в стихах. Стихотворный *разговор* (в этом жанре лучшее — «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина). Итак: «Журналист, читатель и писатель». Французский эпиграф — перевод двустишия из «Изречений в стихах» Гёте: «Поэты похожи на медведей, сытых тем, что сосут свою лапу» (не обозначив имени Гёте, пометил под эпиграфом: «Неизданное»). Ремарка: «Комната писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель, с сигарой, стоит спиной к камину. Журналист входит». Журналист (Булгарин... Полевой... Сенковский...) начинает с лести — а вдруг перепадет что-нибудь для его журнала? — которую кончает бестактным вопросом: «Ну, что вы пишете?» Ответ писателя — откровенная насмешка:

...Да ничего...
О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайною мольбою
К N. N., неведомой красе, —
И страшно надоели все.

На самом деле все «описанное» делается новым под пером талантливого поэта, и у него нет вопроса «о чем писать». А в этих словах он как бы причисляет себя к сонму бездарных стихотворцев, для которых этот журналист, находящий в них *поэзию*, царь и бог. Журналист,

вероятно приняв все это не в шутку, открыл рот, чтобы перечислить невоспетые предметы, но тут, выпустив клуб дыма и бросив сигару в камин, повел свою брезгливо-насмешливую речь *читатель* (Вяземский... Тургенев... князь Козловский... сам Лермонтов...):

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста;
Да как-то страшно без перчаток...

...Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Журналист попытался было поправить свой авторитет («Как вы, открыто негодуя, / На музу русскую смотрю я. / Прочтите критику мою»), но был унижен еще более:

Читал я. Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету!..
В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Вот кто встретит «Героя нашего времени», оценит и поймет Печорина. Журналист давно испорчен, он уже не *читатель*, — он утратил свежесть чувства и даже от хороших книг не получает удовольствия. Его ответ читателю — жалобы замученного бранью коллег, невозможностью угодить всем (высшему и низшему кругам), обязанностью прочитывать горы новых книг, книжонок, брошюр и листков. У него нет ни одного доброго слова *о книге*, все равно какой.

Стихотворение кончается большим монологом писателя. Он продолжает свою первую реплику («О чем писать?..»), и похоже, что эта речь не для журналиста и не для читателя, а для себя и, может быть, не вслух даже, — слишком углубленные, тонкие мысли в этом монологе. Он размышляет о «строгом» (чистом?) искусстве, куда не примешивалось бы ни слишком «ребяческое» вдохновение, которое «осмеёт, забудет свет», ни чересчур яростное обличение (и то и другое — слишком лично и как бы случайное, что ли... Обо всем этом шла речь в

его стихотворении «Не верь себе»)... Личность всегда навлекает на себя гонения. Не лучше ли все эти личные вдохновения похоронить в глубине сердца, представив толпе объективное, общее?

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлёк
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю...

Это — отталкивание от демонического искусства, попытка оторвать от него поэзию. Христианское чувство греха заставляет поэта обуздывать свое воображение, сдерживать чувства. «Необузданный поток...»; «Преступная мечта...»; «Тайный яд...»... Отталкивание и невозможность оторваться... Тоска о «строгом», истинно великом...

20 марта Лермонтова навестил Соллогуб — он принес третий номер «Отечественных записок», где напечатана была его повесть «Большой свет». Лермонтов не нашел в ней ровно ничего против себя или вообще о себе; Соллогуб, как ходили слухи, написал *пасквиль* против него, но слухи не соответствовали истине. Соллогубу не хотелось портить его добрых отношений с Лермонтовым... и он их не испортил. Лермонтов дал ему переписать «Журналиста, читателя и писателя». От него он узнал, что молодой Барант, уже получивший паспорт для отъезда во Францию, всюду высказывает свое недовольство показаниями Лермонтова о том, что тот во время дуэли выстрелил в сторону, пощадив, таким образом, его, храброго француза... «Он выстрелил в меня», — утверждал Барант.

— Он, кажется, не прочь от новой дуэли, — сказал Соллогуб. — Но готов «простить» тебе неправду, если ты откажешься от нее и извинишься.

22 марта Лермонтов послал со своим камердинером Андреем Соколовым записку к брату своего сослуживца Ксаверия Браницкого — Александру, — с просьбой дать ее прочесть Эрнесту де Баранту и потом сжечь. Он вызвал Баранта для объяснений в этот же день на гаупт-

вахту к восьми часам вечера и вышел к нему в коридор «под предлогом естественной надобности», так что караульный офицер, мичман Кригер, ничего не заметил (или, что вернее, сделал вид, что не заметил). Объяснение противников при свидетеле — Браницком — было коротким. Лермонтов предложил Баранту дождаться выпуска его из-под ареста и стреляться еще раз, если он не откажется от своих претензий. И Барант от них отказался, так как утром должен был уезжать... «Сударь, слухи, которые дошли до вас, неточны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным», — сказал он Лермонтову. Однако Барант рассказал об этой встрече своей матери, а та помчалась к великому князю Михаилу Павловичу с жалобой, что Лермонтов угрожает ее сыну.

Лермонтов и Браницкий были допрошены, и судебное дело затянулось. Лермонтов был переведен в Ордонансгауз на более строгое содержание. «Миша Лермонтов еще сидит под арестом, — пишет дочери Верещагина, — и так досадно — все дело испортил. Шло хорошо, а теперь Господь знает как кончится... Жалка бабушка — он ее ни во что не жалеет. Несчастная, многострадальная... И ежели бы не бабушка, давно бы пропал. И что еще несносно — что в его делах замешает других, ни об чем не думает, только об себе, и об себе неблагоразумно. Никого к нему не пускают, только одну бабушку позволили, и она таскается к нему, и он кричит на нее, а она всегда скажет — желчь у Миши в волнении...»

В первые дни после перевода в Ордонанс-гауз к нему действительно никого не пускали. Он читал Вальтера Скотта, Купера, Гёте и Цедлица и писал стихи. В конце марта или начале апреля он сделал свободный перевод баллады Йозефа фон Цедлица «Корабль призраков», сильно ее сократив, во многом изменив и вставив в нее две строфы из другой баллады (того же автора) «Ночной смотр». Наполеон раз в году, в час своей кончины, встает из забытой могилы на далеком острове и мчится на призрачном корабле:

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он...

...Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,

Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою...

Бывший всемирный герой, потрясатель тронов, страдает в безнадежном, вечном одиночестве — один на острове, один на корабле, один на берегу Франции, среди тьмы и тишины. Будущего нет. Память влечет его назад: Эльба («Битва народов» под Лейпцигом)... Россия... Пирамиды (ранний поход в Египет)... Неизменна и постоянна только могила. Это путешествие происходит каждый год с нерушимой космической периодичностью, не лишаясь при этом драматизма единожды совершившегося. Это апофеоз безнадежности самого славного и блестящего итога земной деятельности.

А женская судьба — особенно судьба чистой души в свете? И ее ждет предопределенный итог. Вот молодая княгиня Щербатова («Такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать», — как сказал Лермонтов о ней Шан-Гирею). Лермонтов под арестом, а свет сделал ее героиней своих сплетен — и она бежала в Москву... Чем это все кончится для нее?

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

Здесь же он написал «Соседку», русскую балладу, где главное — мечта о воле; затем маленькое стихотворение «Из Гёте» («Горные вершины...») и «Благодарность», в которой запечатлена минута подлинного отчаяния:

За всё, за всё Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Мысль о смерти — желанной смерти — возродилась в нем, но уже не так стихийно, как в ранние годы, не в

вертеровском смысле, а с холодным отчаянием неверия в свое будущее. Он твердо решил проситься на Кавказ, в любой действующий полк, и больше всего боялся, что его загонят в какую-нибудь глухую провинцию. Нет, лучше пойти вслед за Марлинским и Одоевским! В связи с желанием его ехать на Кавказ были у него споры с бабушкой. Да, случалось, он не сдерживался, сердился на нее, так как она сильно хлопотала как раз о противоположном — чтоб послали в любое другое место. Он ей предлагал переехать в имение Хастатова на Тереке (он знал, что Хастатов охотно продал бы его своим). Сердился на нее; потом, когда она, заплаканная, уходила, сердился на себя... На душе становилось тяжелее.

Между тем судное дело закончилось. Решение суда уточнил 11 апреля великий князь Михаил Павлович: «Сверх содержания его под арестом с 10 прошедшего марта выдержать еще под оным в крепости в каземате три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином». 13 апреля доклад генерал-аудиториата был представлен царю. «Поручика Лермонтова, — написал он в тот же день на обложке доклада, — перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика Столыпина и г<рафа> Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным». К этому Николай прибавил: «Исполнить сегодня же». Через военного министра графа Чернышева Николаю был сделан запрос: как быть с решением генерал-аудиториата о выдержании Лермонтова в крепости в течение трех месяцев. Царь ответил, что «переводом Лермонтова в Тенгинский полк желает ограничить наказание». Через два-три дня его должны были выпустить для сборов к отъезду на Кавказ, так как Тенгинский полк находился именно там — воевал на правом фланге Линии.

12 апреля вышел третий номер «Отечественных записок» со стихотворением Лермонтова «Журналист, читатель и писатель». На следующий день окончено было печатание «Героя нашего времени». 13 или 14 апреля в Ордонанс-гауз приехали Краевский и Белинский и привезли книгу. Краевский, поздравив Лермонтова с выходом романа и довольно-таки благополучным исходом суда, уехал, оставив его наедине с Белинским.

Белинский уже прочитал «Героя нашего времени», он вообще уже сделался безусловным поклонником поэзии

Лермонтова, однако сам Лермонтов его как-то смущал, приводил в замешательство своими шутками, пристальным взглядом, нарочито откровенными рассказами о «бабах». Ни разу еще при встречах у Краевского не получилось у них серьезного разговора. Именно в Ордонансгаузе Лермонтов понял, что Белинский — журналист далеко не как другие, что в нем нет никакой фальши и говорит он все то, чем действительно живет. Понравилась ему и детская стыдливость Белинского.

В тот же день Белинский рассказал Панаеву, у которого жил, о своей встрече с Лермонтовым:

— Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком! Вы знаете мою светскость и ловкость: я вошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая?.. Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе... Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть... Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом.

Через день-другой Белинский, находившийся под впечатлением этой встречи, писал Боткину: «Кстати: вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так и думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина»... Я с ним спорил, и мне

отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай Бог!»... Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею».

20 апреля Лермонтов покинул Ордонанс-гауз, но не прошло и двух дней, как его вызвал к себе граф Бенкендорф. Шеф жандармов говорил с поэтом сурово. У него были такие требования, что Лермонтов пришел одновременно в изумление и негодование. Оказывается, Эрнест де Барант не успокоился. Его отец продолжает мечтать о его дипломатической карьере в России, но, не надеясь на выдержку сына, хочет, чтобы Лермонтов принес ему свои извинения в том, что унизил его ложью. Это опять о выстреле в сторону! Бенкендорф прямо объявил Лермонтову, что если он не сознается во лжи — ему будет плохо. И это после окончания суда, после решения самого царя! В случае признания «лжи» Бенкендорф обещал Лермонтову хлопотать перед царем о его полном прощении. Лермонтов решил бороться.

В тот же день он отправил письмо великому князю Михаилу Павловичу, выплеснув сначала в черновик все свое возмущение, а потом дав ему более спокойный и немногословный вид. «Получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, — писал он, — я из слов его сиятельства увидел, к неописанной моей горести, что на мне лежит не одно обвинение за дуэль с господином Барантом и за приглашение его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честию, офицер, имевший счастие служить под высоким начальством вашего императорского высочества. Граф Бенкендорф изволил предложить мне написать письмо господину Баранту, в котором я бы просил у него извинения в ложном моем показании насчет моего выстрела... Вашему императорскому высочеству осмеливаюсь повторить сказанное мною в суде: я не имел намерения стрелять в господина Баранта, не метил в него, выстрелил в сторону, и это готов подтвердить честью моею...» Лермонтов взывает к «великодушию и справедливости» великого князя и просит о защите и оправдании своем «во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека».

Великий князь передал это письмо царю, и тот, очевидно, решил, что Бенкендорф несколько переступил границы приличия, — ведь на военно-судном деле Лермонтова красовалась высочайшая резолюция... Бенкендорф больше не возвращался к своим претензиям.

Елизавета Алексеевна стала собираться в Тарханы, чтобы там ожидать возвращения внука с Кавказа. Все родственники были очень недовольны Лермонтовым. («Никто его не жалеет, а бабушка жалка, — пишет Верещагина дочери. — Но он... на всех сердится, всех бранит, все виноваты, а много милости сделано для бабушки и по ее просьбам, и многие старались об нем для бабушки, а для него никто бы не старался».) Никто из них не обратил внимания ни на его стихи в журналах, ни на только что вышедшую книгу. Ему стало особенно холодно и одиноко... Отъезд его казался ему чудом, даром судьбы. В Москву... на Кавказ... И в то же время так жаль было несбывшейся мечты — выйти в отставку, писать и печататься, издавать свой журнал. В каждом номере помещать свое...

Это только облакам все равно — на юг или на север несет их ветер... («Тучки небесные, вечные странники!..») Никогда еще не были у него так натянуты нервы. 3 мая, в пятницу, он уезжал. Распрощавшись с бабушкой, оставив ее в полуобморочном состоянии, он поехал к Карамзиным и пробыл у них около часа. Софья Николаевна еле сдерживала слезы. И сам он, в мрачном молчании стоя у окна, чувствовал, как его глаза наполняются жаркой влагой. Его просили прочитать стихи, и он, глядя на облака, проплывающие над Летним садом, прочитал «Тучи».

Вслед за Лермонтовым собирались ехать на Кавказ Александр Долгорукий, Дмитрий Фредерикс, Николай Жерве, Монго (он вышел было в отставку, но царь, простив участие в дуэли, велел ему служить, — он вступил в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Кахетии). Княгиня Щербатова уже была в Москве. Туда же отправились недавно Вяземский и Александр Тургенев. Никого так не хотел видеть Лермонтов, как Тургенева.

6 мая в два часа пополудни Лермонтов прибыл в Москву и сразу бросился к Тургеневу в Малый Власьевский переулок на Арбате, где тот занимал мезонин в доме своей двоюродной сестры. Александра Ивановича не оказалось дома.

3

Если бы не ссылка — Лермонтов охотно остался бы в Москве навсегда. Его приняли здесь как известного и замечательного поэта. Слава Богу — он не гвардеец, хотя и остался «гвардии поручиком» согласно офицерскому патенту, и о гвардии здесь нет и помину, разве что о залетных щеголях из Петербурга. Через Тургенева и Самарина он перезнакомился здесь со всеми литераторами — с Погодиным, Хомяковым, Михаилом Дмитриевым, Загоскиным и другими, встречался с ними у Свербеевых, Елагиных, Павловых, везде находя живой, настоящий интерес к себе. Многие сокрушались о том, что он вынужден ехать на Кавказ, под чеченские пули. Он видел здесь Чаадаева, Орлова, Ермолова — Тургенев представил Лермонтова каждому из них. Ермолов уже приобрел «Героя нашего времени» и собственноручно его переплел, как и все книги своей библиотеки.

9 мая Лермонтов был приглашен на именинный обед Гоголя, который состоялся у Погодина (где Гоголь жил в это время), в саду при доме. Народу собралось много, кроме Тургенева и Вяземского, тут были Чаадаев, Орлов, Хомяков, Константин Аксаков, Свербеев, Баратынский, Самарин, актер Щепкин, Федор Глинка, Загоскин, Дмитриев, несколько университетских профессоров, из женщин — жена Хомякова (сестра поэта Языкова, который в это время находился на лечении за границей), жена Свербеева (урожденная княжна Щербатова) и Авдотья Петровна Елагина. Сергей Тимофеевич Аксаков был болен, простужен, но все-таки приехал, закутав себе голову чем-то теплым. Он-то и описал этот обед.

«После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками, — писал он. — Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно... Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток». Читанное Лермонтовым — отрывок о битве мцыри с барсом... Вечером, уже в доме, пили чай. Тургенев записал в дневнике: «Веселый обед. С Лермонтовым о Барантах, о князе Долгорукове и о Бахерахтше... Жжёнка и разговор о религии. В 9 час. разъехались». На следующий день Тургенев отметил: «Вечер у Свербеевой... Лермонтов и Гоголь. До 2-х часов». Гоголь прочитал «Героя нашего времени» и сказал Аксакову на обеде у Погодина, что «Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца».

В эти дни Хомяков в письме к Языкову сожалел, что Лермонтов едет на Кавказ: «Боюсь не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор». Самарин на этот раз впервые увидел Лермонтова в саду Погодина, 9 мая. «Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, — записал Самарин в дневнике, — обрадовался... Тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсом. Ему понравился Хомяков... Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня...». После этих встреч Самарин писал одному из своих друзей: «Я часто видел Лермонтова за всё время пребывания его в Москве. Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме, и в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишенного всякого участия, и потому чувствовать себя поддавшимся ему было унизительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами, и, после того как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаете оставаться для него чем-то чисто внешним, не имеющим права что-либо изменить в его существовании».

10 мая, очевидно, еще днем Тургенев навестил княгиню Щербатову, бежавшую в Москву от петербургских пересудов. «Сквозь слезы смеется, — записал он в дневнике. — Любит Лермонтова». Лермонтов, однако, недаром не был у нее вместе с Тургеневым, — ее надо было щадить, не давать ходу дальнейшим сплетням. Или уж нужно было сделать ей предложение и жениться, на что уезжающий в ссылку, под пули, Лермонтов не мог, конечно, решиться. Может быть, он и вообще не хотел этого делать.

Вместе с Тургеневым Лермонтов бывал в семье Мар-

тыновых — своего приятеля Мартышки, который, зарекомендовав себя плохим офицером в Кавалергардском полку, множество раз подвергшись взысканиям за опоздания на учения и смотры, за плохую езду на лошади, решил спасать свою военную карьеру и еще осенью 1839 года подался охотником на Кавказ. Тургенев лаконично записывал в своей тетради: «12 мая... После обеда в Петровское к Мартыновым... Несмотря на дождь, поехали в Покровское-Глебово... возвратились к Мартыновым — пить чай и сушиться... Лермонтов любезничал и уехал»; «19 мая, воскресение... обедал дома, после в Петровское, гулял с гр. Зубовой, с Демидовыми, с Анненковой, с Мартыновыми... Цыгане. Волковы, Мартыновы. Лермонтов... Наслушавшись цыган, поехали к Пашковым»; «22 мая... в театр, в ложи гр. Броглио и Мартыновых, с Лермонтовым; зазвали пить чай у них, и с Лермонтовым и с Озеровым кончил невинный вечер; весело».

У Мартыновых впервые увидел Лермонтова восемнадцатилетний князь Мещерский. «Войдя в многолюдную гостиную дома, — писал он, — принимавшего всегда только одно самое высшее общество, я с некоторым удивлением заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера в весьма нещегольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья. Мое любопытство не распространилось далее этого минутного впечатления: до такой степени я был уверен, что этот бедненький армейский офицер, попавший, вероятно, случайно в чуждое ему общество, должен обязательно быть человеком весьма мало интересным. Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера, когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был не кто иной, как поэт Лермонтов» От Лермонтова не укрылось все это, и он наказал юного сноба. При этой встрече и потом он без устали рассказывал ему смешные малороссийские анекдоты, уморительные истории про несуществующего своего денщика-хохла, о каком-то своем имении на Украине, и чопорный князек хохотал до слез, веря всему; потом он все это поместил в свои мемуары.

Мартыновы собирались в подмосковное имение. «Мы

еще в городе, — писала Е. М. Мартынова сыну Николаю на Кавказ, — погода всё еще холодная... Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе — слава Богу, он скоро уезжает: для меня его посещения неприятны».

Бывает Лермонтов в доме Оболенских, почти родственном для него, — на одной из княжон Оболенских — Варваре Александровне — женат Алексей Лопухин. Здесь часто бывает и Мария Александровна Лопухина — Мери, — с которой Лермонтов, беседуя, проводит целые часы. Видел он и Варвару Александровну Бахметеву, но мельком. С первого взгляда убедился в том, что жизнь ее сломана и что Бахметев, которому от нее не досталось ни капли тепла, угнетает ее, не умея сдержаться или посочувствовать ей... Когда Лермонтов увидел ее пятилетнюю дочь Ольгу, это потрясло его больше, чем встреча с ней самой, а это потрясение напомнило ему похожую историю из жизни Байрона, — тот момент, когда он увидел ребенка Мери Чаворт. Байрон рассказал об этом в стихах. Лермонтов не подражал ему в стихотворении «Ребенку», но в нем не могла не отозваться глубокая грусть Байрона, уверившегося, что счастье не для него, *оно не для поэта...*

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

Ему не хотелось уезжать из Москвы, он медлил. 19-го прибыл Монго — он отправлялся на следующий день и

звал Лермонтова с собой, но тот не поехал. 22 мая появился в Москве Александр Павлович Реми, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку, бывавший у Карамзиных. Подполковник Реми ехал штабным офицером к своему бывшему командиру Хомутову в Новочеркасск. Уезжал он 25 мая. Лермонтов решил ехать с ним.

За несколько дней до отъезда Лермонтов получил из Петербурга пятый номер «Отечественных записок», где было напечатано его стихотворение «Воздушный корабль». Здесь же он нашел небольшую рецензию Белинского на «Героя нашего времени». «Наконец, среди бледных и эфемерных произведений русской литературы нынешнего года, — писал критик, — произведений, из которых только разве некоторые имеют относительное достоинство и только некоторые примечательны в отрицательном смысле, — наконец явилось поэтическое создание, дышащее свежею, юною, роскошною жизнию сильного и самобытного творческого таланта. «Герой нашего времени» принадлежит к тем явлениям истинного искусства, которые, занимая и услаждая внимание публики, как литературная новость, обращаются в прочный литературный капитал, который с течением времени все более и более увеличивается верными процентами. Да, это не роман, не повесть, которые при своем появлении возбудят общее внимание, даже наделают шума, а потом скоро забудутся и приобщатся к мертвому архиву решенных дел... Роман г. Лермонтова проникнут единством мысли, и потому, несмотря на его эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать. Тут нет ни страницы, ни слова, ни черты, которые были бы наброшены случайно; тут все выходит из одной главной идеи и все в нее возвращается... В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке, вопрос, на который откликнутся все, и потому роман должен возбудить всеобщее внимание, весь интерес нашей публики. Глубокое чувство действительности, верный инстинкт истины, простота, художественная обрисовка характеров, богатство содержания, неотразимая прелесть изложения, поэтический язык, глубокое знание человеческого сердца и современного общества, широкость и смелость кисти, сила и могущество духа, роскошная фантазия, неисчерпаемое обилие эстетической жизни, самобытность и оригинальность — вот качества этого произведения, представляющего собою совершенно новый мир искусства. Все это заставило нас обратить на него полное внимание и основательно познакомить с ним наших читателей, раскрыв перед ними богатство заключающейся в нем эстетической жизни: в отделении «Критики» одной из следующих книжек «Отечественных записок» читатели найдут подробный разбор поэтического создания г. Лермонтова».

И вот последний вечер в Москве, 24 мая, у Павловых. Здесь был Вигель, мемуары которого он слушал в его чтении у Карамзиных. Вигель подсел к Лермонтову и стал расхваливать Москву.

— Если бы мне позволено было оставить службу, — вздохнул Лермонтов, — с каким бы удовольствием поселился я здесь.

— Ненадолго, мой любезнейший, — отвечал Вигель.

Лермонтов отошел от него, но тут его взяла под руку хозяйка дома, Каролина Карловна, и, прохаживаясь с ним, стала хвалить «Героя нашего времени», а потом читать свои стихи. Он слушал рассеянно, думая о своем... Когда он уезжал, Самарин вышел с ним на крыльцо... Шел дождь.

4

10 июня, прибыв в Ставрополь, Лермонтов расположился в гостинице Найтаки, привел себя в порядок и вышел к общему столу. Тут оказалось довольно много офицеров, приехавших из разных полков. Были и знакомые — Жерве, Фредерикс, Глебов, Александр Долгорукий, Сергей Трубецкой... В городе он нашел Монго. В Ставрополе толклась масса «охотников» — готовился большой поход против Шамиля. Среди этих охотников, по большей части петербургских гвардейцев, был брат сослуживца Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку Иосифа Ламберта Карл — кавалергард, только что вернувшийся из путешествия по Испании и Алжиру. Ламберт нанимал в городе квартиру — он пригласил Лермонтова жить у него.

Офицеры были заняты приготовлением экипировки и оружия, поисками хороших лошадей — всякий из них надеялся отличиться в сражениях, и никто не думал о возможной гибели... А Лермонтову нужно было ехать в

Тифлис, где располагался штаб Тенгинского полка (он был назначен в полк командиром взвода 12-й мушкетерской роты). Однако обстоятельства сложились так, что Лермонтов в Тифлис не поехал, а остался в качестве штабного офицера при командующем — генерал-адъютанте Павле Христофоровиче Граббе, который сменил на этом посту покойного Вельяминова. Дело в том, что Лермонтов, приехав вместе с подполковником Реми в Новочеркасск, три дня прогостил у бывшего командира лейб-гвардии Гусарского полка, а теперь наказного атамана Войска Донского Михаила Григорьевича Хомутова. От него он узнал о предстоящей экспедиции против горцев и получил совет попроситься в действующий отряд. В письме к Граббе Хомутов просил о содействии Лермонтову в этом. Граббе зачислил Лермонтова в штабные адъютанты и назначил наблюдающим в предстоящий поход. Ссыльным и наказанным Лермонтов себя не чувствовал — слишком много было здесь людей, приехавших по доброй воле — кто за чинами, кто за крестами, кто за тем и другим, а иные и за романтикой.

«Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, — пишет Лермонтов 17 июня Алексею Лопухину, — в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк!.. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю...» «Ужасно я устал и слаб... — кончает он письмо. — Ужасно устал... Жарко... Уф! — *Лермонтов*».

Тенгинский полк действовал тогда на правом фланге Линии — по Черноморью. Совсем недавно — в феврале и марте этого 1841 года — русские войска потерпели там ряд неудач. Взяты были горцами Лазаревская, Вельяминовская и Михайловская крепости (в последней солдат Архип Осипов совершил подвиг, взорвав пороховой погреб в то время, как горцы проникли в форт). Из прочих крепостей порой трудно было высунуться — горцы держали их в непрерывной осаде. Но на левом фланге, в Чечне, опасность для русских была еще большей, — здесь к лету 1840 года Шамиль сосредоточил огромные силы, заставив и мирные аулы изменить царю. Он вторгся в Аварию, занял все переправы по Сулаку и Сунже и готовился к нападению на Грозную, куда весь июнь подтягивались казачьи, пехотные и артиллерийские части. Начальник 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Галафеев был назначен командиром большого отряда, который должен будет выступить из Грозной навстречу горцам. Все это время мюриды Шамиля Ташав-хаджи и Ахверды-Магома тревожили русских малыми набегами.

Грозная, в которой Лермонтов побывал в 1837 году, была все так же невзрачна — невысокий, полуосыпавшийся вал, через который бесцеремонно протоптаны тропинки, заросший бурьяном ров, две чугунные пушки, обращенные к мосту через Сунжу в сторону гор, дом начальника, низенькие казармы, еврейская слободка за валом (кучка мазанок), населенная торговцами... сады, огороды...

Лермонтов приехал в самый разгар подготовки к походу. На берегу Сунжи стояло множество палаток; пехота, казаки с лошадьми, артиллеристы возле пушек — все двигалось, шумело... Нагружались повозки, чистились орудия. Время от времени группы казаков с пиками отправлялись через мост к Ханкальскому ущелью для разведки. Днем нещадно палило солнце, и по молчаливому согласию начальства и офицеры и нижние чины позволяли себе вольность в одежде — у кого грудь нараспашку, кто в черкеске, кто в одной рубахе. У большинства офицеров отогнуты стоячие воротники, все они в белых полотняных фуражках... В крепости Лермонтов познакомился с Львом Сергеевичем Пушкиным, братом поэта, штабс-капитаном Нижегородского драгунского полка, и с декабристом Владимиром Лихаревым, рядовым Тенгинского пехотного полка. По вечерам офицеры собирались в доме командира отряда генерал-лейтенанта Аполлона Васильевича Галафеева, где ужин сопровождался шумной беседой.

В конце июня Лермонтов раза два выезжал из Грозной в крепость Герзель-аул на Аксае и по дороге попадал в мелкие стычки с горцами. В Герзель-ауле он нашел Мартынова, командовавшего здесь ротой гребенских казаков. Казаки постоянно тревожили горцев, выгоняя их из аулов и вытаптывая конями посевы... Встреча старых друзей была весьма сердечной.

2 июля стало известно, что Шамиль взял долго не дававшийся ему большой аул Черкей, укрепился там и стал готовиться к захвату всего Северного Дагестана. Галафеев решил немедленно выступить в Чечню и уничтожать аулы, чтобы отвлечь из армии Шамиля жителей этих аулов для защиты своих семей. А потом двинуться и на самого имама. 6 июля на рассвете отряд потянулся через мост — полторы тысячи донских и моздокских ка-

заков, около семи батальонов пехоты и четырнадцать пушек. Через Ханкальское ущелье вышли к аулу Большой Чечен, и тут началось жестокое и бессмысленное марсово действо, такое, каким Мартынов занимался вокруг Герзель-аула. После небольшой перестрелки и бегства стариков, женщин и детей Большой Чечен был сожжен, сады вырублены, и на поля, где созревал хлеб, были посланы казаки. Вечером остановились в ауле Дуду-Юрт и утром, уничтожив его, двинулись дальше и сожгли еще несколько аулов. Основная часть чеченцев была у Шамиля, поэтому сопротивление оказывали лишь очень небольшие группы, которые не могли помешать разорению своего края. Мрачный, черный след оставлял за собой в горах русский отряд.

Двигаясь дальше, Галафеев приказывал жечь всякое, даже самое маленькое селение, а казаки все время продвигались не по дороге, а по полям, вытаптывая и сжигая все, что можно. Горцев постепенно становилось все больше. Они и в самом деле покинули Шамиля и время от времени толпами выбегали из леса и завязывали перестрелку. 8 июля в Гойтинском лесу отряд наткнулся уже на мощные завалы из бревен, из-за которых его встретил свинцовый ураган. Завалы эти были — не без труда — взяты в штыки. Затем были сожжены аулы Гойты, Чонгурой-Юрт. После ночевки в Урус-Мартане уничтожили и его, не забыв, конечно, о посевах и садах. 10-го сожгли еще ряд аулов — Чурик-Рошня, Пешхой-Рошня, Гажи-Рошня и Гехи (после ночевки в нем). 11-го направились к Гехинскому лесу. Он темной, зловещей стеной обступил узкую дорогу. Тут горцы начали сильно тревожить отряд, пытаясь отрезать обоз, с ужасным криком совершая нападения и стреляя из-за деревьев. Их пришлось отогнать выстрелами из орудий. И снова завалы, которые ничем не возьмешь, кроме штыков. Падают солдаты... Убито несколько офицеров...

Становилось ясно, что впереди собирается туча, — горцы готовят большое сражение. Наконец в лесу появился большой просвет — целое поле, — за ним речка, а на другом берегу снова лес. Поле казалось чистым, неприятеля не было видно. И тут генерал Галафеев совершил ошибку: начал действовать, не разведав местности. Сразу, с ходу он приказал двум батальонам Куринского полка занять лес по сторонам дороги, чтобы двинуть обоз. «Но лишь только артиллерия, — пишет историк кавказских войн А. Юров, — выехавши за стрелками, начала сниматься с передков, как орудия и цепь были засыпаны пулями. Мгновенно три батальона куринцев бросились в опушку... Добежав до леса, куринцы неожиданно наткнулись на отвесный овраг, увенчанный грозными завалами, откуда летели пули, поражая наших егерей на выбор... Подсаживая друг друга, куринцы, по грудь в воде, перебрались через овраг, одновременно вскочили на завалы по обе стороны дороги и сошлись лицом к лицу с чеченцами; огонь умолк, и началась работа штыком и кинжалом. Схватка продолжалась недолго; неприятель не мог устоять против егерей, лихих мастеров в лесном бою, и высыпал на поляну на левом берегу реки, но картечь снова их вогнала обратно».

В лесу куринцы и мингрельцы продолжали свою лихую работу... Но масса горцев была столь велика, что отдельные их партии прорывались к обозу и даже напали на свиту генерала Галафеева. Несколько раз на протяжении битвы оказывалась в опасности артиллерия отряда. «Если лесной бой вообще принадлежит к числу труднейших операций на войне, — продолжает Юров, — то картина боя в вековом чеченском лесу поистине ужасна. Здесь управление войсками невозможно... Едва разорвется цепь, как, точно из-под земли, вырастали сотни шашек и кинжалов и чеченцы с потрясающим даже привычные натуры гиком бросались вперед. Хороший отпор — и всё снова исчезает, только пули градом сыплются в наши ряды. Горе, если солдаты терялись или падали духом: ни один из них не выносил своих костей из лесной трущобы».

Это было грандиозное побоище — в лесу, в речке Валерик, текущей в отвесных берегах, на опушке осталось сотни убитых — чеченцев втрое больше, чем русских... Во время сражения Лермонтов имел задачу наблюдать за действиями передовой колонны — он вместе с нею ворвался в завалы и потом передавал приказания Галафеева командирам, действовавшим в лесу, скача туда и обратно под пулями и участвуя в стычках по пути. Александр Долгорукий и Карл Ламберт выполняли такое же поручение, как и Лермонтов. Фредерикс и Трубецкой сражались во главе левой штурмовой колонны. В первых рядах правой шли в бой Жерве и Столыпин-Монго. Сергей Трубецкой был тяжело ранен в шею. Глебов — в ключицу. Уже на исходе дела убит был декабрист Лихарев — за Валериком, на выходе из леса. Остатки чеченцев продолжали стрелять из-за деревьев, и нужно

было быть начеку. Лермонтов шел с Лихаревым, беседуя о Канте и Гегеле и в пылу спора неосторожно останавливаясь. В одну из таких остановок Лихарев был убит пулей в спину навылет.

«Должно отдать также справедливость чеченцам, — писалось в «Журнале военных действий» от лица генерала Галафеева, — они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших надтеречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи — все это вместе могло бы поколебать твердость солдата и ручаться им за успех, в котором они не сомневались. Но эти солдаты были те самые герои, которые не раз проходили по скалам Кавказа, эти солдаты были ведо́мы теми же офицерами, которые всегда подавали им благородный пример редкого самоотвержения, и чеченцы, невзирая на свое отчаянное сопротивление, были разбиты. Они в сем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потери с нашей стороны в этот день состояли из убитых 6 обер-офицеров, 63 нижних чинов; раненых: двух штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов; контуженных: 4 обер-офицеров и 46 нижних чинов; без вести пропавших: 1 обер-офицер и 7 человек нижних чинов; 29 убитых и 42 раненых лошадей. По переходе через речку Валерик, войска следовали далее по направлению к деревне Ачхой, не будучи обеспокоиваемы более неприятелями. Прибыв к речке Натахи, я расположил отряд лагерем по обоим берегам речки. Тут я узнал от взятой в плен женщины, что чеченцы имели полную надежду воспрепятствовать переходу отряда через реку Валерик и что поэтому еще многие семейства находились до самого появления наших войск на полевых работах».

На следующий день, 12-го, остановились в поле на продолжительную дневку — нужно было похоронить убитых. Лермонтов зарисовал акварелью эту сцену в своем альбоме. Там же сделал несколько набросков бывшего при Валерике сражения. Лекари хлопотали около раненых — слышались стоны. Сколько жертв с той и другой стороны! И чего этим достигли? Ничего... Прошли по чужой земле, и вот сейчас начнется возвращение домой. Ничего не завоевали, никого не покорили, скорее наоборот — еще сильнее ожесточили в стремлении к свободе. В этот же день поднялась вдали пыль, послышалась песня... Появились казаки с пиками, затем пехота, пушки. Это был отряд генерал-майора Лабынцева, посланный на смену галафеевскому. Он также оставлял за собой пепелища и запустение. Этот отряд углубился в горы, а Галафеев, дотоптав еще оставшиеся кое-где посевы и сжегши два-три аула, при постоянной перестрелке с горцами, вернулся в Грозную.

После трехдневного отдыха и некоторого переформирования 17 июля отряд выступил в новый поход — в Северный Дагестан, которому угрожал Шамиль. Снова потянулась по пыльной дороге вдоль бурной Сунжи конница, зашагали солдаты, загремела полковая музыка. Лермонтов снова в седле. За двенадцать дней сделали 150 верст через Умахан-Юрт, Герзель-аул, Внезапную, Миатлы в Темир-хан-Шуру, куда прибыли 29 июля. Шамиль их не ждал. Он продолжал собирать горцев под знамена газавата, и на его сторону один за другим переходили горные аулы. Он угрожал еще верной русскому царю Аварии, но Галафеев не имел достаточных сил, чтобы оградить ее от него и повел прежнюю тактику разорения края, двигаясь в глубь Чечни и нигде не закрепляясь.

Лермонтов, оставаясь штабным офицером, участвовал во многих стычках, удивляя даже бывалых солдат своей храбростью. Спал он не в палатке, а вместе с солдатами на своей бурке, у костра, ел также с ними. Это не очень нравилось другим штабным офицерам, например квартирмейстеру барону Россильону. «Когда я его видел на Сулаке, — вспоминал он, — он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае».

В походе Лермонтов перестал бриться — так, небритым и в холщовой фуражке, нарисовал его в палатке Россильона барон Пален.

В начале августа отряд Галафеева через Темир-хан-Шуру, Внезапную и Герзель-аул — то есть тем же самым путем — вернулся в Грозную. Галафеев направил в Ставрополь ходатайство о награждении отличившихся

офицеров, не забыв и Лермонтова. Раненые и больные офицеры были отпущены для лечения и отдыха в Пятигорск. Лермонтов поехал тоже — по случаю обострившегося ревматизма (очевидно, сказались ночевки на земле в холодные ночи). К концу августа в Пятигорске и Кисловодске оказались все товарищи Лермонтова — Монго, Трубецкой, Жерве, Ламберт, Сергей и Александр Долгорукие и еще кое-кто. Здесь уже находились Васильчиков и Григорий Гагарин, приехавшие служить в комиссии барона Гана, ревизовавшей край.

Все занялись отдыхом, картами, чтением, много рисовали. Лермонтов, Александр Долгорукий и Трубецкой как рисовальщики во многом уступали Гагарину, но все-таки он мог считать их своими коллегами по искусству... Лермонтов часто работал вместе с Гагариным. Так как Гагарина интересовали война с горцами, военный быт, сражения, а сам он пока ничего этого не видел, то Лермонтов (а иногда Долгорукий или Трубецкой) слегка набрасывали карандашом какую-нибудь вспомнившуюся им сцену, а Гагарин, подбадриваемый их советами, придавал рисунку артистическую живость и тонко иллюминовал его акварелью... Так были сделаны несколько эпизодов из сражения при Валерике. Лермонтов пользовался случаем отработать технику своего рисунка — ведь Гагарин был мастер, он учился в Италии и Франции, среди его учителей Карл Брюллов, Орас Верне... Еще в Петербурге Лермонтов восхищался его иллюстрациями к «Тарантасу» Соллогуба, этими путевыми картинами из русской жизни, — Соллогуб и Гагарин вместе поехали осенью 1839 года в Казань и вернулись только в конце января 1840 года. Повесть эта и рисунки лежат у Краевского, который собирается заняться их изданием. Однако общение Лермонтова с Гагариным скоро прервалось — художник в начале сентября уехал в Петербург, рассчитывая весной вернуться на Кавказ и побывать в походе против чеченцев. Простились они в Кисловодске.

В начале сентября Лермонтов, находясь в Пятигорске, написал стихотворение о битве при Валерике, обращенное к некой светской красавице, с которой они «душою... чужды», но которую ему позабыть «было невозможно»... Это, конечно, была не Варвара Александровна и даже не Щербатова — о них он никак не мог сказать следующего:

...Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;

Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам Бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвеньи
Не лучше ль кончить жизни путь...

Этот женский образ условен; может быть, это воспоминание о тех чувствах, которые мучили его в детстве и ранней юности (об Анюте Столыпиной... Ивановой Наташе...). *Тогда* он еще мог обмануться:

И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаяньи бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет...

Это отчасти Борис Ульин — герой стихотворной повести Александра Карамзина. Очевидно, Лермонтову хотелось представить в своем стихотворении обобщенные образы, как в «Герое нашего времени». Очень может быть, что это всего лишь фрагмент большой поэмы о войне на Кавказе, первый ее краткий очерк. Поход... штыковая атака... резня в волнах Валерика... Солнце палит нещадно.

А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?..

Проснулась душа фаталиста — проснулась после боя. В ней поселилось отвращение к убийству, к войне. Оружие выпало из его рук... А как он сражался! Самозабвенно, горячо... Во время сражения сердце его спало.

Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом

И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...

Взгляд на снега Казбека вернул фаталиста из сонного оцепенения к жизни, к размышлению, к Богу... Святые старцы в заоблачном монастыре Бетлеми, живущие там, может быть, со времен святой равноапостольной Нины, не вкушают пищи и молятся денно и нощно за человека... За горца, аул которого сожжен и хлеб затоптан, а семья ютится по-звериному в пещере... за солдата, забывшего о сохе и родных краях и гибнущего от пули и кинжала неизвестно ради чего. С «тяжелой думой о конце» смотрит проснувшийся фаталист на царственную главу Казбека.

...Приближалась середина сентября, а писем еще ни от кого, кроме Краевского, не было. 12-го Лермонтов пишет Алексею Лопухину: «Ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий... Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты ее в Москве». Он описал здесь «одно довольно жаркое» дело, то есть Валерикское сражение, прикинувшись азартным воякой: «Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю куда отправлюсь — в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными...» Удовольствий!.. Видно, Лопухину, как и многим, Лермонтов никогда не открывал своих настоящих мыслей, настоящего себя. Самое большое удовольствие, которое могла подарить Лермонтову война, — это смертельная пуля. Он думал об этом не шутя. Его безрассудная храбрость оправдывалась, может быть, в основном этим. С другой стороны, если ты боевой офицер и воюешь — *ищи или не ищи* смерти, а свое получишь. В том же стихотворении о Валерике Лермонтов описал смерть любимого солдатами капитана. Тогда же он написал «Завещание», в котором герой — все тот же тип Бориса Ульина — простого честного офицера, — смертельно ранен («навылет в грудь») и, как бывает в русских песнях, просит товарища, едущего домой («завещает» ему), передать его последние пожелания.

Ужасно мучается от раны в шею Сергей Трубецкой (пуля, едва не задев дыхательное горло, засела в тканях, и ее не решались извлечь). У Глебова разбита ключица, рука на перевязи, он желт, в лице ни кровинки. Лермонтов закрывает глаза и вспоминает душный, пахнущий порохом день, — рубашка мокра от пота, из-под фуражки текут струйки... впереди, сзади — солдаты с ружьями наперевес, и их белые рубахи темны от пота и пыли. Вот падает один солдат... другой... Но выстрелы все реже... Можно поговорить — в одном из идущих рядом солдат он узнал Лихарева, пошел рядом с ним. Заговорили. О том, что Гегель оспаривал идею Канта о вечном мире. Вечный мир по Гегелю — гниющее озеро, превращающееся в болото; нужен ветер, ураган, чтобы взбаламутить его. Гегель согласен с Шиллером, что мирная жизнь не есть высшее благо. При долгом мире нравственный организм народа застаивается, костенеет, загнивает. Нужна война, все потрясающая, освежительная война. По Гегелю Наполеон прямо спаситель человечества — какие болотища-трясины перевернул, разметал... как потянулись люди к высшей нравственности... Прав ли Гегель? Лермонтов с Гегелем не согласен. Лихарев тоже. Человек должен непрерывно совершенствоваться, не отбрасывая себя убийствами к дикому состоянию. Лихарев падает, выронив ружье...

А вот и отзвуки мирной жизни, вести из «болота». Краевский прислал «Литературную газету» за май и «Отечественные записки» за июнь и июль — там отзывы о «Герое нашего времени», о стихах. Краевский пишет, что сборник «Стихотворения» 13 августа разрешен цензурным комитетом (Никитенко не решился взять ответственность целиком на себя — все-таки автор в опале, сослан). Краевский по уши в долгах, журналу его предрекают скорый конец, но он упрямо выходит в назначенное время и — претолстыми книжками!.. «Библиотека для чтения» бранит его без устали, но, как пишет Лермонтову Краевский, «твои стихи неизменно хвалит». А вот отзыв Сенковского о Лермонтове-прозаике: «В повестях, изданных им теперь под заглавием «Герой нашего времени», он является умным наблюдателем, с положительным взглядом на предметы и с поэ-

тическим воображением. Рассказ его превосходен; язык легок, прост и весьма приятен. Характер этого героя весьма занимателен и хорошо выдержан».

Но Белинский! Белинский!.. Он сделался как бы трубадуром и глашатаем Лермонтова, неистовым его пропагандистом. И Лермонтов видит, что его никто не любит и не понимает так глубоко, как Белинский. И как хорошо он начал — с Кавказа: «Так как сценою действия избран Кавказ, — пишет он после похвал характерам Печорина, Максима Максимыча и Грушницкого (они «принадлежат к лучшим созданиям, какими гордится наша литература»...), — то читатели и найдут в этом романе самое поэтическое и при этом самое верное изображение сей поэтической стороны, так ложно представленной в фразистых описаниях Марлинского. Г-н Лермонтов знаком с Кавказом не понаслышке, любит его со всею страстию поэта и смотрит на него не с экзальтациею, которая видит во всем одну внешность и выражает восторг криком, но с тем сосредоточенным чувством, которое проникает в сущность и глубину предмета... В стихотворении «Дары Терека» его могучая и роскошная фантазия создала апотеоз Кавказа, дав ему индивидуальную личность, поэтически олицетворив Каспия и Терек; в стихотворении «Памяти А. И. О<доевско>го» он как бы мимоходом намекает на поэтическую внешность Кавказа... В «Колыбельной казачьей песне» он поэтически воссоздал сторону жизни тех новых и удалых сынов Кавказа, без которых неполна и неопределенна его физиономия. И в этих песнях так роскошно, в таком простом величии и в такой поразительной истине является поэтический образ Кавказа, сокровенная мысль природы, которая явилась в его недвижных громадах, мысль, как бы оторвавшаяся от явления и явившаяся в новых, идеальных образах лирической поэзии. Но в «Герое нашего времени» вы видите повседневную жизнь обитателей Кавказа... Тут не одни черкесы: тут и русские войска, и посетители вод, без которых неполна физиономия Кавказа. Бывшие там удивляются непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности. Юный поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей лучшими, благодатнейшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как он был колыбелию поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов».

Выпад против Марлинского Лермонтову не понравился — Марлинский не так «фразист», как кажется Белинскому, и не так чужд Лермонтову. Да и Кавказ он знал не «понаслышке»... Все остальное, в особенности о «колыбели», Лермонтов сам подсказал Белинскому в Ордонанс-гаузе, не зная, конечно, что тот об этом напишет. Да, «дивные впечатления» — это верно. Хорошо, что он начал с Кавказа.

Статья Белинского о «Герое нашего времени» сама по себе почти роман — критик писал ее под впечатлением встречи с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе, и Печорина он поверял Лермонтовым, хотя и не отождествляя их вполне. Он как бы защищал и утверждал здесь личность самого Лермонтова... Подробный анализ, множество цитат, часто очень пространных, как бы перевоплощали «Героя...» в другую форму — в форму статьи... Но и тут Белинский не удержался и начало статьи посвятил утверждению места Лермонтова как поэта в текущей литературе. В опустевшем после Пушкина литературном мире Белинский видит только Кольцова, возле которого в последнее время *вдруг* «взошло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой величины». Отозвавшись с большой похвалой о «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», Белинский сделал примечание: «Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье».

Уже на следующей странице Белинский проводит некоторое сравнение Лермонтова с Пушкиным: «До Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирическою. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался на роман... Однако ж очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше, как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно «Повести Белкина», принадлежат

исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с бо́льшим развитием его художнической деятельности, он непременно дойдет до драмы». О «Маскараде» и других драмах Лермонтова Белинский не слыхал...

Рассмотрев «Бэлу», «Максима Максимыча» и «Тамань», Белинский обратился к «Княжне Мери», которой посвятил наибольшее количество страниц в статье. Тут *таинственный* Печорин открылся наконец, хотя все же и не вполне. «Какой страшный человек этот Печорин! — восклицает Белинский. — Потому что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопочете? за что сердитесь? Право, нам кажется, вы пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не поставлено прибора... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такою запальчивою храбростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш».

Такое понимание своего героя Лермонтов мог принять вполне. Увидел Белинский и связь Печорина с поэзией Лермонтова: «Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, — пишет он, — так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови...

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха». Белинский чутко уловил, что обещанной Лермонтовым «толстой тетради», где Печорин «рассказывает всю жизнь свою» (предисловие к «Журналу Печорина»), не существует. «Благодарим автора за приятное обещание, — пишет Белинский, — но сомневаемся, чтобы он его выполнил: мы

крепко убеждены, что он навсегда расстался с Печориным».

...И снова — Грозная... сборы в поход. Опять должен будет сон овладеть сердцем поэта... каждый миг рука его должна быть готова на убийство. На этот раз Лермонтов прикомандирован к кавалерии. Теперь ему не избежать участия в вытаптывании еще не вытоптанных посевов, как и Мартынову, который командует в этом отряде линейными казаками. Впрочем, топчут казаки, а Лермонтов и Мартынов едут бок о бок и беседуют. Лермонтов, между прочим, спросил его, пишет ли он еще стихи или бросил.

— Где мне, Маёшка, с тобой состязаться, — басом и несколько смущенно сказал Мартынов.

— А все же?

— Да вот есть поэмка о Герзель-ауле.

Лермонтов так пристал к нему, что тот решился прочесть свою «поэмку», написанную в июне этого года, еще до Валерика.

Слушая, Лермонтов все серьезнел и серьезнел. Его поразило, как похож этот «Герзель-аул» на его «Валерик», хотя Мартынов и написал свою вещицу раньше, да и вообще не видел «Валерика». Смерть раненого... описание бивака... поединок казака с чеченцем... Особенного блеску в поэме нет, но в журналах печатают много стихов и похуже. А вот и предметы, которых Лермонтов в «Валерике» не затронул:

...Поля засеянные топчем,
Уничтожаем всё у них...

...Налётом быстрым, соколиным,
Являясь разом в трех местах,
Мы их травили по долинам
И застигали на горах,
На *них ходили мы облавой,*
Сперва оцепим весь аул,
А там, меж делом и забавой,
Изрубим ночью караул...

Да, но все это одно сплошное молодечество... сознание своей полной правоты... У Мартынова война — веселое, как будто охота с борзыми, дело. Лермонтов не дослушал до конца и смотрел, задумавшись, на горы. Лошади шли шагом... на дороге вилась пыль... Раздавались отдельные выстрелы. Казаки, ехавшие по полю, пели с присвистом и гиканьем.

Около трех недель отряд Галафеева преследовал ар-

мию Ахверды-Магомы. 29 сентября и 3 октября были крупные стычки, а 4 октября возле аула Шали — большое сражение, в котором войском мюридов командовал сам Шамиль. Он едва не попал в плен.

В этом походе Лермонтов подружился с отчаянным головорезом Руфином Дороховым. Этот жестокий воин был сентиментальным поэтом, переводившим элегии Ламартина (они печатались в журналах, и их одобрял Жуковский). Он охотно отзывался на просьбы Лермонтова прочесть что-нибудь, и на биваке, всегда в изрядном подпитии, декламировал, развалившись на бурке у костра:

Зачем не в силах я с блестящею зарею
К вам, сладкие мечты, мгновенно долететь?
Давно простился я с обманчивой землею;
Но долго ль мне на ней мучения терпеть?..
Когда с дубравы лист слетает пожелтелый,
То вихрь его несет за дальних гор поток —
И я душой увял, как лист осиротелый...
Умчи же и меня, осенний ветерок!..

Несмотря на свои сорок лет, Дорохов был всего только юнкером. Он командовал сотней конных «охотников» — отборных храбрецов. Этот летучий отряд действовал не по команде генерала, а по ближайшим обстоятельствам дела. Этот Дорохов еще в 1820 году был разжалован из прапорщиков в рядовые «за буйство и ношение партикулярной одежды» и только в 1828 году был произведен в свой прежний чин. А в начале 1838 года он снова был разжалован в рядовые (за нанесение кинжалом раны какому-то карточному шулеру). От каторги его спас хлопотавший за него Жуковский. В 1840 году он с трудом вышел в юнкеры. Был знаком с князем Вяземским. В 1829 году он на Кавказе встречался с Пушкиным.

Юность Дорохова давно минула, но пылкость его натуры не остывала. «Беззаветная» команда (как ее называли в отряде) охотников совершала чудеса храбрости и много помогала отряду в разных критических положениях, но вот, в битве 10 октября на речке Хулхулу Дорохов был тяжело ранен в ногу и «вынесен из фронта». Командование охотниками было поручено Лермонтову. Он с удовольствием взялся за это, быстро сделавшись и сам подобным этим не то партизанам, не то разбойникам, стремительным и беспощадным.

«Невозможно было сделать выбора удачнее, — писал

генерал-лейтенант Галафеев в рапорте, — всюду поручик Лермонтов первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы». В отряде было много горцев, не знавших русского языка, и Лермонтову очень помогло — пусть и неполное — знание «татарского» языка. Среди охотников были казаки, чеченцы, несколько разжалованных офицеров. Один из таких разжалованных, Петр Султанов, вспоминал: «Поступить к нам могли люди всех племен, наций и состояний без исключения, лишь бы только поступающему был известен татарский язык. Желавшему поступить назначался экзамен, состоявший в исполнении какого-нибудь трудного поручения. Если экзаменующийся не проваливался, то ему, в награду за это, брили голову (коли она и без того уже не была брита), приказывали отпустить бороду (коли она не была отпущена), одевали по-черкесски и вооружали двустволкой со штыком, у которой один ствол был гладкий, а другой нарезной, и таким образом новообращенный становился членом «беззаветной» команды».

Лермонтов сумел всех этих людей расположить к себе. Он наслаждался новым и необычным своим состоянием... В походе он, как вспоминал современник, «не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается. В бою она искала самых опасных мест». 12 октября, как говорится в донесении, Лермонтов на фуражировке около Шали, «пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукою хищников». 15-го он «с командою первый прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от пушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела».

Около 20 октября Лермонтов пишет Алексею Лопухину и снова в некоем буднично-военном тоне: «Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижала:

я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное. Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли что ли? или пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена».

27 октября отряд Галафеева двинулся в новый поход. В этот же день начались жаркие дела. Войска шли по узкой лесной тропе под перекрестным огнем неприятеля, теряя людей и не чая, как быстрее выбраться из чащи... Как писал со слов артиллериста Мамацева историк В. Потто, «последний арьергардный батальон, при котором находилось орудие Мамацева, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос с своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий. Но этого не случилось. Мамацев подпустил неприятеля почти в упор и ударил картечью. Чеченцы отхлынули, но тотчас собрались вновь, и начался бой, не поддающийся никакому описанию. Чеченцы через груды тел ломились на пушки; пушки, не умолкая, гремели картечью и валили тела на тела».

В тот же день, по донесениям, Лермонтов «первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командой в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами». На следующий день Лермонтов при переходе через Гойтинский лес «первый открыл завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых».

30 октября отряд подтянулся к уже знакомой речке Валерик... И снова бой — опять устроенные горцами завалы, опять штурм высокого берега, рев пушек и визг картечи, опять бой в лесу и красная вода в реке... горы тел... «При речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена». Ахверды-Магома очистил эту позицию гораздо быстрее, чем это было 11 июля... О, Гегель!.. здесь не скоро образуется гниющее болото мира и покоя... Этот край многократно обновился — и еще обновится — реками крови... Лермонтов воюет, и душа его спит. Он как бы забыл о Боге, о старцах Бетлеми и о том, что убийство — тяжкий грех... Сеют смерть и красавец Монго, и граф Ламберт, и Мартышка-стихотворец... Их совесть спокойна. Все в порядке: идет обыкновенная бойня, а не война, так как почти ничего и никем не завоевывается... Сражения происходят по нескольку раз на одном и том же месте.

После короткой поездки в Ставрополь 6—8 ноября Лермонтов опять в отряде Галафеева. Большой экспедицией, состоящей из нескольких крупных отрядов, командует сам генерал-адъютант Граббе. Запылали аулы Большой Чечни, затрещали вырубаемые сады... В лесах и ущельях горцы пытаются дать отпор, но всегда без успеха. Три армии во главе с мюридами Джеват-ханом, Шуаиб-муллой и Домбаем предпринимают атаку за атакой. Горцы отчаянно лезут на пушки, ложатся кучами, гибнут от штыков, не умея им противостоять. Погода стоит уже ненастная, в горах выпало много снегу. Солдаты и лошади измучены до предела.

20 ноября отряд вернулся в Грозную. Граббе решил прекратить военные действия и распустить войска на

зимние квартиры. Все те места, где шли бои летом и осенью этого года, вернулись под власть Шамиля. Все жертвы оказались напрасными. Шамиль, популярность которого на Кавказе необыкновенно возросла, разъезжал по аулам, проповедуя шариат и газават (закон Корана и Священную Войну), готовясь к новой борьбе.

В конце ноября Лермонтов приехал в Ставрополь. Он получил наконец патент на «чин поручика гвардии», присвоенный ему еще в декабре 1839 года и только что утвержденный. Числясь в пехотном полку, Лермонтов все-таки не простой пехотный офицер, а гвардеец. Он получил приказ явиться в штаб Тенгинского полка, чтобы быть зачисленным *налицо*. Однако Граббе не торопил его с отъездом. 9 декабря генерал-лейтенант Галафеев подал рапорт с описанием решительных и мужественных действий Лермонтова во время экспедиций и с просьбой перевести его «в гвардию тем же чином с отданием старшинства», а Граббе представил Лермонтова к награде золотой саблей с надписью «За храбрость». Все эти представления были отосланы для утверждения в Петербург.

Каждый день Лермонтов обедает в многолюдном офицерском обществе у генерал-адъютанта Граббе. Он и Лев Сергеевич Пушкин чаще всего занимают обедающих разговорами и остротами. Здесь были оправившийся от раны Дорохов, Бибиков, Александр Долгорукий, Трубецкой, Монго, Ипполит Вревский, начальник штаба полковник Александр Семенович Траскин, Васильчиков, Вольф и еще множество лиц, по большей части молчаливых, — Лермонтов и Пушкин называли этих жующих молчальников «картинною галерееюо».

Граббе полон литературных интересов — в молодости он писал стихи, а сейчас ведет записки о пережитом, передуманном и прочитанном. Траскин тоже усердный читатель — они с Граббе обмениваются книгами и впечатлениями. «Героя нашего времени» они прочли, знают и стихи Лермонтова. Отношение их к нему очень уважительное. В декабре прислан был Краевским в Ставрополь и сборник «Стихотворения М. Лермонтова», с интересом принятый здешним пестрым обществом... у Лермонтова вновь появились надежды не только на отпуск, но и на отставку. Возродилась мечта стать литератором, издателем собственного журнала.

Офицеры нередко собирались у Ипполита Вревского, с которым Лермонтов познакомился еще до первой ссылки. Тут видел он декабриста Михаила Назимова, юнкера

Кабардинского егерского полка, стоявшего в Прочном Окопе. Назимов только что произведен был в юнкера из рядовых. В свои сорок лет он был совершенно седой, но брови и усы у него были черные. Когда он появлялся, офицеры прекращали свою обычную болтовню. Начинался серьёзный разговор. Назимов состоял в Северном обществе с 1823 года, близко знал Рылеева и, конечно, всех других петербургских декабристов, «солдат Рылеева». Из окна своей камеры в Петропавловской крепости он видел казнь пятерых, осужденных на смерть. Одиннадцать лет провел в Сибири. Рассказы Назимова потрясали душу. Но когда он начинал рассуждать о теперешнем положении дел в России, Лермонтов с трудом воздерживался не только от возражений, но и от насмешки, так как Назимов считал, что многие нынешние распоряжения правительства разумны и ведут ко благу и что в литературе якобы начинает процветать свободная мысль, особенно в журналистике... Но не всегда возражения Лермонтова были насмешкой, хотя и могли показаться таковой. Однажды на вопрос Назимова о том, какое направление у нынешней молодежи, Лермонтов ответил:

— У нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин.

Он ответил за всех своих сверстников, и это была правда. Назимов пожал плечами и умолк.

Во второй половине декабря Лермонтов отправился в Анапу, в штаб Тенгинского пехотного полка. Уже стояла зима со снегом и оттепелями... путь оказался нелегким. В Тамани, по-зимнему неприветливой, Лермонтов навестил декабриста Николая Лорера, снимавшего домик возле Фанагорийской крепости, — он привез ему письмо и книгу («О подражании Христу» Фомы Кемпийского) от его племянницы А. О. Смирновой-Россет (то и другое она передала Лермонтову в Петербурге перед его отъездом). «С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился, — вспоминал Лорер. — Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных от правительства... Не могу отдать себе отчета, почему мне

с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно».

31 декабря Лермонтов присутствовал на полковой проверке в Анапе. Здесь и встретил новый — 1841 — год. 5 или 6 января он был вызван в Ставрополь — его ждал сюрприз: из Петербурга пришел приказ о предоставлении ему двухмесячного отпуска. Его, без сомнения, выхлопотала бабушка... О, это, как показалось ему, было хорошее предзнаменование! 14 января он получил отпускной билет и выехал. Перед отъездом генерал Граббе вызвал его, и они долго беседовали без свидетелей... Граббе вручил Лермонтову письмо для передачи Ермолову.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1

30 января 1841 года в 4 часа пополудни, в большой — свыше двадцати градусов — мороз Лермонтов въехал в Москву. Здесь его ждала бабушка. Повидавшись с родными, навестив друзей, передав письмо Граббе Алексею Петровичу Ермолову, он вместе с бабушкой отправился в Петербург. Они прибыли сюда 5 февраля, во время масленицы, и поселились на Шпалерной, в доме приятельницы Арсеньевой — Татьяны Тимофеевны Бороздиной. Это был одноэтажный деревянный особняк. Изголодавшись по дружескому общению, Лермонтов целые дни разъезжал по городу. Соллогуб, Краевский, Одоевский, Ростопчина, Карамзины... В первые же дни он появился в большом свете. 9 февраля, в Прощеное воскресенье, он был на многолюдном балу в доме Воронцовых-Дашковых, где присутствовали императорская чета и великий князь Михаил Павлович. Опальному офицеру не полагалось быть на балу в присутствии членов царской семьи. Хозяйка дома графиня Александра Кирилловна, заметив грозный взгляд великого князя, обращенный на Лермонтова, увела Лермонтова через задние покои, и он уехал. А ей пришлось взять всю ответственность на себя, упрашивать великого князя не гневаться. Лермонтову не хотелось осложнять отношений с начальством, так как сразу по приезде в Петербург начал хлопоты об отставке. Однако возродившиеся было надежды на отставку опять поколебались: он узнал, что в наградах, к которым он был представлен, ему отказано.

В эти дни он писал А. И. Бибикову в Ставрополь: «Начну с того, что объясняю тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощеньи моем, а мне дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой

же день отправился на бал к г. Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо... 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук... Верно, отряд не выступит прежде 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг».

Лермонтова вызвал дежурный генерал Главного штаба Клейнмихель, относившийся к нему еще с 1837 года весьма предубежденно, и объявил, что он «уволен в отпуск лишь для свидания с бабушкой, а что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещений таких собраний». Бабушка продолжала хлопоты. Скоро должен был приехать из Москвы Жуковский, который закончил свою деятельность при дворе и собирался в Германию, где ждала его молодая невеста. Карамзины были уверены, что Жуковский не откажется замолвить слово за Лермонтова если не перед императором, то перед императрицей.

Краевский принес Лермонтову ворох журналов с отзывами о «Герое нашего времени» и «Стихотворениях» и убедил его внимательно прочитать все это, даже писания Бурачка, издателя «Маяка современного просвещения и образованности», который совершенно не принял романа. В «Северной пчеле» — две *похвальные* статейки Булгарина... Лермонтов уже знал, откуда это взялось (бабушка, желая сделать добро внуку, пошла к *известному журналисту* Булгарину и дала ему 500 рублей, не видя в этом ничего плохого). Отзыв Булгарина был удивительно нелеп. Похвалы его были сокрушительны: «Герой нашего времени», — писал он, — есть создание высокое, глубоко обдуманное, выполненное художественно. Господствующая идея есть разрешение великого нравственного вопроса нашего времени: к чему ведут блистательное воспитание и все светские преимущества без положительных правил, без веры, надежды и любви? Автор отвечает своим романом: к эгоизму, к пресыщению жизнью в начале жизни, к душевной сухотке, и наконец к гибели». Честно отрабатывая свои деньги, Булгарин призывал: «Родители, юноши, девицы! Читайте, изучайте и поучайтесь!» Лермонтов хохотал как безумный, громко повторяя эту фразу... Бурачок, однако, был еще смешнее: «Психологические несообразности на каждом шагу перенизаны мышлением неистовой словесности, — писал он о «Герое...». — Короче, эта книга — идеал легкого чтения. Она должна иметь громкий успех! Все действующие лица, кроме Максима Максимыча... удивительные герои; и при оптическом разнообразии, все отлиты в одну форму — самого автора Печорина, генерал-героя, и замаскированы, кто в мундир, кто в юбку, кто в шинель, а присмотритесь: все на одно лицо и все — казарменные прапорщики, не перебесившиеся. Добрый пучок розог — и все рукой бы сняло!..» И далее: «Весь роман — эпиграмма, составленная из беспрерывных софизмов, так что философии, религиозности, русской народности и следов нет... В ком силы духовные заглушены, тому герой наших времен покажется прелестью, несмотря на то, что он — эстетическая и психологическая нелепость. В ком силы духовные хоть мало-мальски живы, для тех эта книга — отвратительно несносна».

Краевский показал Лермонтову письмо казанского студента Артемьева, возмутившегося нападками Бурачка на «Героя...», очень толковое письмо. Он писал о «Маяке...»: «За что же там не хотят признать «Героя нашего времени» прекрасною творческою книгою? За то, что Лермонтов можно (да кажется и должно) сказать — единственный представитель нашей литературы — не вставил в свою книгу азбучных сентенций, не сказал, что *порок гнусен,* а *добродетель похвальна!* Да неужели весь век сидеть нам с указкой? Стражи «Маяка» боятся, что мы все, прочитавши книгу Лермонтова, сделаемся такими же героями нашего времени, как и Печорин».

В журнале Погодина «Москвитянин», начавшем выходить с этого года, во втором номере — большая статья Степана Шевырева. Он принял и высоко оценил все — и автора с его стихами и прозой, и многих героев романа Лермонтова, и описанную им природу Кавказа, но осудил Печорина... Он принимал его только как урок, как предостережение (подобно Булгарину). Начал с похвал: «По смерти Пушкина ни одно новое имя, конечно, не блеснуло так ярко на небосклоне нашей словесности, как имя г. Лермонтова. Талант решительный и разнообразный, почти равно владеющий и стихом и прозою... Он и одушевленный лирик и замечательный повествователь». Похвалы следуют и далее, но они не общего характера, не попусту.

«Верное чувство жизни, — пишет он, — дружно в новом поэте с верным чувством полезного. Его сила творческая легко покоряет себе образы, взятые из жизни, и дает им живую личность. На исполнении видна во всем печать строгого вкуса: нет никакой приторной выисканности, и с первого раза особенно поражают эта трезвость, эта полнота и краткость выражения, которые свойственны талантам более опытным, а в юности означают силу дара необыкновенного».

Вспомнив, что Пушкин впервые прославился поэмой из кавказской жизни, Шевырев отметил, что и «новый поэт наш начинает также Кавказом... Нам понятно, почему дарование поэта, о котором мы говорим, раскрылось так быстро и свежо при виде гор Кавказа. Картины величавой природы сильно действуют на восприимчивую душу, рожденную для поэзии, и она распускается скоро, как роза при ударе лучей утреннего солнца. Ландшафт был готов. Яркие образы жизни горцев поразили поэта; с ними смешались воспоминания столичной жизни, общество светское мигом перенесено в ущелья Кавказа — и все это оживила мысль художника».

Так же, как и Белинский, Шевырев противопоставил Лермонтова Марлинскому (у которого он видит «яркость и пестроту красок», желание «насиловать образы и язык», «кидать краски с своей палитры гуртом, как ни попало»): «Кавказский пленник» был почти уж забыт читателями с тех пор, как «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур» пестротою щедро наляпанных красок бросились им в глаза. Потому с особенным удовольствием можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротою и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорил трезвую кисть свою картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности. Дорога через Гуд-гору и Крестовую, Кайшаурская долина описаны верно и живо».

Шевырев выделил из всех частей романа две — «Бэлу» и «Княжну Мери», как самые значительные, — одну «из жизни племен кавказских», другую «из светской жизни русского общества». «Вся эта повесть вынута прямо из нравов черкесских», — пишет он. «В другой картине, — говорит он, — вы видите русское образованное общество. На эти великолепные горы, гнездо дикой и вольной жизни, оно привозит с собой свои недуги душевные, привитые к нему из чужи, и телесные — плоды его искусственной жизни... Весь этот мир — верный сколок

с живой и пустой нашей действительности. Он везде один и тот же... в Петербурге и в Москве, на водах Кисловодска и Эмса. Везде он разносит праздную лень свою, злоязычие, мелкие страсти». Затем пошел разговор о героях. «Из побочных лиц первое место мы должны, конечно, отдать Максиму Максимовичу, — пишет Шевырев. — Давно, давно мы не встречались в литературе нашей с таким милым и симпатичным характером, который тем приятнее для нас, что взят из коренного русского быта». После «выродка» Грушницкого и «материалиста и скептика» доктора Вернера Шевырев переходит к женским образам: «Бэла и княжна Мери образуют между собою две яркие противоположности, как те два общества, из которых каждая вышла, и принадлежат к числу замечательнейших созданий поэта, особенно первая». Что касается Веры, то Шевырев видит в ней лишь «лицо вставочное и не привлекательное ничем». Отметив вскользь «два маленьких эскиза» — «Тамань» и «Фаталиста», — он все остальные страницы статьи посвятил Печорину, то есть главному герою романа, к которому «как нити паутины, обремененной яркими крылатыми насекомыми, примыкают к огромному пауку, который опутал их своею сетью». Это «живой мертвец». Он «скучал в Петербурге, скучал на Кавказе, едет скучать в Персию; но эта скука его не проходит даром для тех, которые его окружают. Рядом с нею воспитана в нем непреодолимая гордость духа, которая не знает никакой преграды и которая приносит в жертву все, что ни попадется на пути скучающему герою, лишь бы ему было весело... Бывают минуты, что он понимает вампира... Половина души его высохла, а осталась другая, живущая только затем, чтобы мертвить все окружающее». Шевырев признал, что такой характер может быть в жизни, но — не в России, а на Западе. Там литература разбивает на осколки и размножает в бесчисленных маленьких копиях великие образы Фауста, созданного Гёте, и Байроновых Манфреда и Дон-Жуана. Эти герои — титаны. В копиях же не остается от этого титанизма и следа... «Печорин, конечно, не имеет в себе ничего титанического, — пишет Шевырев. — Он и не может иметь его; он принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада... Но не в этом еще главный его недостаток. Печорин не имеет в себе ничего существенного, относительно к чисто русской жизни, которая из всего прошедшего не могла извергнуть такого ха-

рактера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга... Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазии — и в этом смысле *герой нашего времени*».

Пытаясь найти в образе Печорина хоть что-нибудь *полезное*, Шевырев портит свою статью сентенцией булгаринского толка: «Он выдает нам этот призрак, принадлежащий не ему одному, а многим из поколений живущих, за что-то действительное, — и нам становится страшно, и вот *полезный* эффект его ужасной картины... Употребим же с *пользою* урок, предлагаемый поэтом. Бывают в человеке болезни, которые начинаются воображением, и потом мало-помалу переходят в существенность. Предостережем себя, чтобы призрак недуга, сильно изображенный кистью свежего таланта, не перешел для нас из мира праздной мечты в мир тяжкой действительности».

Итак, Шевырев, искренне расположенный к Лермонтову, не понял в его романе главного — Печорина.

Краевский советовал Лермонтову сделать второе издание романа. Тот согласился, и дело пошло так быстро, что помогавший Краевскому в издании книг Лермонтова Александр Киреев (тот самый служащий Петербургской театральной конторы, пытавшийся некогда помочь ему в постановке «Маскарада») выдал ему деньги вперед. Лермонтов решил прибавить к роману общее предисловие. «Эта книга, — писал он, — испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей... Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?.. Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями: у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!»

Между тем Краевский подкладывал ему на стол все новые и новые журналы с критикой, в основном — хвалебной, утверждающей первенство Лермонтова в современной литературе. Греч писал в «Русском вестнике», что «Герой нашего времени» относится к малому числу «превосходнейших произведений нашей литературы вообще». Белинский в обзоре «Русская литература в 1840 году»: «Оригинальных изящных произведений в прошлом году вышло немного; но «Герой нашего времени» и «Стихотворения Лермонтова» — эти две книжки, которые одинокими пирамидами высятся в песчаной пустыне современной им литературы, — делают 1840 год одним из плодороднейших в литературном отношении и дает ему цену хорошего десятилетия».

Не менее многочисленны были отзывы на книгу стихотворений. Две статьи написал Белинский. Одну, как бы предварительную, небольшую («простое библиографическое известие», как назвал ее Белинский, но это была яростная полемика с недоброжелателями Лермонтова) — в «Отечественных записках» 1840 года за ноябрь, другую — капитальную, там же, во втором номере 1841 (вышел 1 февраля). Посвятив почти половину статьи рассуждениям на тему о том, что такое настоящая поэзия, Белинский наконец говорит: «Немного поэтов, к разбору произведений которых было бы не странно приступать с таким длинным предисловием, с предварительным взглядом на сущность поэзии: Лермонтов принадлежит к числу этих немногих... Подробное рассмотрение небольшой книжки его стихотворений покажет, что в ней кроются все стихии поэзии, что она заключает в себе возможность в будущем нескольких и притом больших книг... Мы увидим, что свежесть благоухания, художественная роскошь форм, поэтическая прелесть и благородная простота обра-

зов, энергия, могучесть языка, алмазная крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания — суть родовые характеристические приметы Лермонтова и залог ее будущего, великого развития».

Белинский приводит большие цитаты, часто дает стихи целиком. Он наслаждается, упивается стихами Лермонтова и не боится пересолить в похвалах... И по поводу стихотворения с эпиграфом (или пометкой) «1-е января» говорит: « Если бы не все стихотворения Лермонтова были одинаково *лучшие,* то это мы назвали бы одним из лучших». Восторг вызвали у него обе «Молитвы» (о второй — «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» — он говорит: «Сколько нежности без всякой приторности: какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогает в голубиной натуре человека; но в духе мощном и гордом, в натуре львиной — все это больше, чем умилительно»), «Журналист, читатель и писатель», «Ребенку» («О, как глубоко поучительна эта повесть, как сильно потрясает она душу!..»), «Сосед», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Расстались мы...», «Отчего», «Ветка Палестины», «Тучи», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Воздушный корабль» («Мы не назовем Лермонтова ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным; но не думаем сделать ему гиперболической похвалы сказав, что *такие* стихотворения, как «Русалка», «Три пальмы» и «Дары Терека», можно находить только у таких поэтов, как Байрон, Гёте и Пушкин»).

Разборы свои Белинский закончил поэмой «Мцыри». «Что за огненная душа, — пишет он, — что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, веет его собственным духом, поражает его собственною мощью. Это произведение субъективное... Подробности и изложение этой поэмы изумляют своим исполнением. Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, что вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму... Какое разнообразие картин, образов и чувств!.. Картины природы обличают кисть великого мастера: они дышат грандиозностию и роскошным блеском фантастического Кавказа. Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта... На недоступных вершинах Кавказа, венчанных снегом, находит он свой Парнас... Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действия которой совершается тоже на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне»...».

И вот итог статьи: «бросая общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы видим в них все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия. В этой глубокой натуре, в этом мощном духе все живет... Он всевластный обладатель царства явлений жизни, он воспроизводит их как истинный художник; он поэт русский в душе — в нем живет прошедшее и настоящее русской жизни; он глубоко знаком и с внутренним миром души. Несокрушимая сила и мощь духа, смирение жалоб, елейное благоухание молитвы, пламенное, бурное одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны отчаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги современного общества, картины мировой жизни, хмельные обаяния жизни, укоры совести, умилительное раскаяние, рыдание страсти и тихие слезы, как звук за звуком, льющиеся в полноте умиренного бурею жизни сердца, упоение любви, трепет разлуки, радость свидания, чувство матери, презрение к прозе жизни, безумная жажда восторгов, полнота упивающегося роскошью бытия духа, пламенная вера, мука душевной пустоты, стон отвращающегося самого себя чувства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, борьба полноты чувства с разрушающею силою рефлексии, падший дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная вакханка и чистая дева — все, все в поэзии Лермонтова: и небо, и земля, и рай, и ад... По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов. Его поприще еще только начато, и уже как много им сделано, какое неистощимое богатство элементов обнаружено им: чего же должно ожидать от него в будущем?»

Александр Никитенко, цензор и литератор, тоже выступил с большой статьей о «Стихотворениях М. Лермонтова» (в «Сыне отечества» № 1 за 1841 год). Вот он «с некоторой боязнью» входит в книгу, в этот «мирный приют» поэта. «Что же это такое? где мы? — восклицает он, — ведь это храм. На вас так и веет благоуханием све-

жих, прекрасных стихов; слышатся звуки, какие может изобрести только сердце, чтобы взволновать, очаровать ими людей; около нас носятся стройные, живые образы: здесь непременно живет поэзия, иначе быть не может». Процитировав полностью «Дары Терека» и «Думу», Никитенко говорит: «Не видите ли вы в этих прекрасных стихотворениях доказательств неоспоримого поэтического призвания? Почти во всех прочих вы найдете то же». Он нашел у Лермонтова «песнь поэзии», «определенность, полноту, доконченность», образы, которые «как будто сами собою восстают из глубины природы и, полные блистательной энергии, не стоят перед вами в безмолвном оцепенении, а движутся и живут». Он нашел в идеях Лермонтова шеллингианство, сказав об этом игриво-метафорически: мол, «идеи» Лермонтова «не разлетелись в разные стороны», а «получили такое хорошенькое тело, стройное, здоровое, белое, с самою прекрасною головкою, с глазами, полными страсти и ума, с носиком, немножко вздернутым, потому что это уж нечто фамильное у всех олицетворенных идей нашего века: но ведь это только новый оттенок прелести», — тому, кто это читал, нужно было знать, что у философа Шеллинга немного вздернутый нос (портреты его были в России хорошо известны). В конце статьи Никитенко отметил стихи, в которых, как он счел, нет ничего «хорошего», это — «1-е января», «И скучно и грустно», «Благодарность» («серые лоскутики», «лирические личности души», у которых нет права на «высшее существование»).

Некто Л. Л. в двух декабрьских номерах «Северной пчелы» поместил статью «Стихотворения Лермонтова», написанную в форме письма к Булгарину, издателю этой газеты. Оно начинается прямо с грубой хвалы Булгарину... Хвалит же он его за то, что «умный, но скучный, лишенный всякой поэзии роман» — то есть «Герой нашего времени» — так бы и остался «нетронутым в книжных лавках», если бы... Вот тут-то и штука. «Вы прочли его, — пишет Л. Л. — Через несколько дней вышла в «Северной пчеле» статья ваша, а через несколько недель «Героя нашего времени» в книжных лавках почти не было!» Значит, несмотря на то, что роман «скучен» и «лишен всякой поэзии», Булгарин расхвалил его. Затем Л. Л. пустился в воспоминания и припомнил, что он учился в одно время с Лермонтовым в пансионе и университете, что читал его стихи в пансионских рукописных журналах (один из них, «Арион», у него даже сохранился).

Лермонтов никак не мог вспомнить, кто бы это мог быть... Отмахнувшись с пренебрежением от романа Лермонтова, Л. Л. стал хвалить его стихи и уж тут выказал себя страшным поклонником его и даже энтузиастом. «Лермонтов, — пишет он, — это чисто русская душа, в полном смысле этого слова; и если можно сравнить его поэтические создания с чем-нибудь, так я сравню их с русскою народною песнею, конечно, разумея здесь сравнение не формы, не выражения, но идеи, по элементов русского духа». После этого Л. Л. с многочисленными цитатами показал, что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — «в высочайшей степени проникнута русским духом». От «Мцыри» он в совершенном восторге: «Боже мой, сколько здесь поэзии, какая полнота чувства, какая неисчерпаемая глубина мысли!» Он цитирует «Думу»... «Согласитесь, почтеннейший Фаддей Венедиктович, — обращается он к Булгарину в порыве чувства, — что это стихотворение есть страница из современной истории, глубок философский вывод из ее фактов. Прочтя эту «Думу», есть над чем подумать и о чем призадуматься». Л. Л. ставит Лермонтова на высокое место: «С 1837 года дарование поэта нашего мужает и крепнет постепенно. Нельзя ли в этом факте подметить утешительную разгадку глубокой тайны, скрывающей будущую судьбу русской поэзии? В 1837 году не стало Пушкина... Последние умирающие звуки лиры его сливаются с первыми юношескими песнями нового поэта».

Отозвался в конце 1840 года на сборник стихотворений Лермонтова и Осип Сенковский в своей «Библиотеке для чтения». И этот насмешник, с пренебрежением относящийся ко всему на свете, кроме себя, не мог не признать таланта Лермонтова, хотя сделал он это с некоторыми оговорками. Он считал, что Лермонтова «еще» нельзя называть «великим» поэтом, а можно — «настоящим». Он привел в своем отзыве целиком несколько стихотворений. «Молитву» («В минуту жизни трудную...»): «Тут, кажется, нет никакой хитрости: молитва так проста! А сколько искусства, сколько поэзии, сколько свежести в этой простоте!..», «Не менее красоты представляет и следующая пьеса, которую автор назвал Думою...» «Стихотворение «Дары Терека»... одно из самых блестящих во всем собрании...» «Казачья колыбельная песнь — прелесть...» «Еще замечательнее, во всех отношениях, стихотворение под заглавием «Ребенку»... Надобно еще привесть «Ветку Палестины», потому что приведение каждой такой пье-

сы — новая похвала поэту... Приведенные здесь пьески показались нам лучшими во всем собрании, в котором все хорошо... Жаль расстаться с такими милыми стихами; мне бы хотелось выписывать их до бесконечности».

Краевский счастлив: Лермонтов — *его* открытие, Лермонтов *почти* великий поэт сейчас, а в будущем — безусловно... Лермонтов печатается только у него (за редкими — и досадными — исключениями). Он издатель книг Лермонтова в настоящем, и, без сомнения (постарается не упустить), — в грядущем... Лермонтов приехал с Кавказа полный всевозможных планов, — стихи, поэмы, повести... Правда, он говорит о собственном журнале (ему не нравится направление «Отечественных записок»), но ведь до дела-то не дойдет, не великим поэтам издавать журналы, это дело купцов. А на словах у него широко получается. «Мы должны жить, — говорит он, — своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, там, на Востоке, тайник богатых откровений...» — «Каких же?» — спрашивает Краевский, но Лермонтов уже о другом: «Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».

Краевский, по случаю, и сам занимался в это время Востоком — переводил описательный труд А. Клота-Бея «Египет». Лермонтов говорил о своем журнале, Краевский ему поддакивал, а его сочинения являлись в каждом номере «Отечественных записок». Однажды Лермонтов застал у Краевского входившего тогда в моду портретиста, девятнадцатилетнего художника Кирилла Горбунова, крепостного человека, за которого, чтобы выкупить его на волю, хлопотали Брюллов и Жуковский. Краевский попросил Лермонтова «смирно посидеть». В результате получился очень похожий, превосходный акварельный портрет — Краевский сказал, что отдаст его награвировать.

Жуковский уже приехал — Лермонтов видит его у Карамзиных, а Софья Николаевна умоляет его заступиться за Лермонтова, добиться для него отставки. Обстоятельства сложились как будто благоприятные — воспитанник Жуковского великий князь Александр Николаевич женится, в связи с этим будет много всяких милостей, наград, прощений. Есть надежда! Лермонтов должен был выехать из Петербурга на Кавказ 9 марта, но ему дали отсрочку — знак хороший. Все друзья Лермонтова надеялись, что в этот раз ему не придется отправляться под чеченские пули... Все, но не он сам.

10 марта Лермонтов записал в альбом фрейлины Марии Бартеневой два стихотворения — «Есть речи — значенье...», старое, и новое — «Любовь мертвеца», переделку французского стихотворения Альфонса Карра. Это, однако, был не простой перевод. Лермонтов только потому и сделал его, что у Карра он, неожиданно для себя, нашел идеи некоторых своих ранних стихотворений. В первой половине марта он написал два стихотворения, отразившие два состояния его души в то время — безысходность гнета военного мундира и военно-чиновничьей столицы («Пленный рыцарь») и грустная сладость любви к России («Родина» — в рукописи «Отчизна»). В «Пленном рыцаре» чувствуется страшная тяжесть каменных сводов и стен «темницы» («В каменный панцырь я ныне закован...»):

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцырь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

В «Родине» безнадежность также есть, но она спрятана глубже, растворена в стихии безотчетной — странной — любви... Сердце любит то, в чем рассудок не находит отрады.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень...

Холодное, бедное, грустное, но — родное, свое...

...В марте у Краевского несколько раз столкнулся Лермонтов с Александром Павловичем Башуцким, известным сочинителем трехтомной «Панорамы Санктпетербурга» (1834), своего рода энциклопедии по столице... Мечтая о

лаврах писателя, Башуцкий в 1840 году выпустил роман под названием «Мещанин», сочинение неудачное, — Бурачок и Полевой, чтобы унизить Лермонтова, ставили «Героя нашего времени» на одну доску с этим романом. Теперь Башуцкий сблизился с Краевским, а этот открыл в нем талант очеркиста. Башуцкий начал сотрудничать в «Отечественных записках» и вместе с Краевским строить проекты разных сопутствующих журналу изданий, например сборника «физиологических» очерков под названием «Наши, списанные с натуры русскими», — с привлечением сюда лучших прозаических сил и, конечно, Лермонтова. Предполагалось помещать здесь очерки-портреты о типах русских людей (офицеры... чиновники... разные мастеровые...).

Башуцкий упросил Лермонтова написать очерк об одном из типов российских жителей — о каком он хочет. Упросить было бы невозможно, если бы Лермонтов не вспомнил обыкновенных армейских офицеров, служащих на Кавказе, на Линии, — и именно таких, которые отсутствие образования или воспитания, а также богатства и светскости, замещают особенной «страстью» — увлечением всем черкесским, становятся «существами полурусскими, полуазиатскими».

Небольшой очерк был написан быстро — одна характерная черта героя тащила за собой другую, пока наконец не сложился из них образ «настоящего кавказца», храброго, честного, немного смешного, но в общем симпатичного. После этого пришло ему на ум заняться еще одним прозаическим сочинением — в духе фантастических повестей Одоевского. Герой этого сочинения — художник по фамилии Лугин (от города Луги, что под Петербургом), который втянут в призрачную жизнь, в бесконечную карточную игру со стариком-призраком, в надежде выиграть его дочь, красавицу, тоже призрачную. Для старика с дочерью их призрачная жизнь — проклятие, они жаждут покоя, обыкновенного, как у обыкновенных мертвецов — могильного... Но Лугин как-то этого не понимает... не думает об этом.

«Однажды он объявил, — вспоминала Ростопчина, — что прочитает нам новый роман под заглавием «Штосс», причем он рассчитал, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради было белая бумага».

История была действительно ужасная. Художник Лугин, почти все проигравший старику, уже начал продавать свои вещи. Красавица-призрак жаждет быть проигранной, но ее отцу неизменно везет, хотя и он жаждет обратного. «Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куш: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой... И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством...»

В этой незаконченной (если только она не была так и задумана незаконченной) повести мистика и городская реальность, ирония и тревога, шарж и лиризм сплелись в одно таинственно-трагическое целое. Лермонтов подал ее как розыгрыш, но, вероятно, многие слушатели почувствовали, что этому несчастному Лугину он дал что-то очень существенное от себя. Это стремительное приближение катастрофы... эта надежда добиться ускользающего выигрыша... «Отлично принятый в свете», как говорит Ростопчина, обласканный друзьями, Лермонтов чувствовал, что официальный Петербург выталкивает его вон, и не просто вон, а во тьму... во мрак и ужас... В это именно время, как вспоминает Соллогуб, Лермонтов «любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого поднималась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом», то есть Петербург, поглощенный морем.

В конце марта, совершенно случайно, он попал к знаменитой гадалке Александре Филипповне Кирхгоф. Он рассеянно слушал, что говорила она его приятелю, а потом спросил ее, выпустят ли его в отставку, оставят ли в Петербурге. Кирхгоф сказала, что ему никогда больше

в Петербурге не бывать и что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов посмеялся такому гаданию, но в груди у него похолодело. Он почти поверил этому. И хотя ему дали отсрочку на несколько дней, он стал всем говорить, что собирается в путь... Ростопчина сочинила стихотворение «На дорогу!» — с посвящением «Михаилу Юрьевичу Лермонтову» и эпиграфом из «Божественной комедии» Данте.

Есть длинный, скучный, трудный путь...
К горам ведет он, в край далекий;
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть!
Там к жизни дикой, к жизни странной
Поэт наш должен привыкать
И песнь и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!
Там блеск штыков и звук мечей
Ему заменят вдохновенье,
Любви и света обольщенья...
...Но есть заступница родная
С заслугою преклонных лет, —
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая,
Но заняты радушно им
Сердец приязненных желанья, —
И минет срок его изгнанья,
И он вернется невредим!

Это было написано 27 марта. А 24-го Жуковский передал императрице письмо бабушки Лермонтова. Императрица в противоположность императору сочувствовала Лермонтову и делала попытки заступиться за него, правда, безуспешно. Жуковский еще не теряет надежды — 16 апреля свадьба великого князя, бывшего его ученика. Он ободряет Лермонтова и просит его больше писать и готовить новую книгу стихов. Они видятся у Карамзиных, Одоевского, Ростопчиной, в Шепелевском дворце, где живет Жуковский.

В первых числах апреля вышел 4-й номер «Отечественных записок», где была помещена «Родина». В этой же книжке Краевский дал нечто вроде объявления: «Герой нашего времени» соч. М. Ю. Лермонтова, принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках: первое издание его все раскуплено; приготовляется второе издание, которое скоро должно показаться в свет; первая часть уже отпечатана. Кстати о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с

Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замышлено им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценнейшие подарки».

Объявление сильно запоздало — «тревоги военной жизни» надвигались вновь... Если бы отставка, — он засел бы за романы (Суворов... 1812—1815 годы... Ермолов и Грибоедов на Кавказе...). Явился бы и новый журнал, и в нем стали бы печататься эти романы. Однако с течением времени становилось ясно, что гадалка Кирхгоф права. Кажется, что и в том, что «уж ни о чем просить не станешь».

— Убьют меня, Владимир, — сказал он Соллогубу.

— Как ты смеешь... — зашумел тот и, пытаясь выбить из него эту страшную мысль, говорил много, убедительно, но ничего не достиг. Лермонтов то же самое сказал Ростопчиной. На ее прекрасных близоруких глазах показались слезы, но она быстро справилась с собой и стала вышучивать Лермонтова и, наконец, даже рассмешила его.

В начале 1841 года в Петербурге было много разговоров о недавнем грандиозном празднике в Париже. В ноябре 1840 года с острова Св. Елены в столицу Франции был перевезен прах Наполеона. Кроме разговоров, были стихи — Хомяков, например, напечатал в «Москвитянине», в первых трех его номерах, три стихотворения об этом событии. В первом из них он говорит о том, как встретит фрегат, везущий останки вождя, «с шумом буйных ликований, /Поздней ревности полна,/ В дни несчастья, в дни страданий /Изменившая страна!». Хомяков писал об «огне святыни» (пожаре Москвы), спалившем «силу гордости земной», о том, что «не меч, не штык трехгранный.../ Усмиритель бури бранной — /Наша сила, русский крест!».

В первых числах апреля и Лермонтов написал стихотворение о перенесении праха Наполеона — «Последнее новоселье». У него был свой Наполеон — великий вождь, нашедший упокоение на одинокой скале посреди великого, как он, океана. Его стихотворение напоминало «Смерть Поэта». Его можно было бы назвать «Смерть Вождя». Та же обличительная, ораторская речь. Поэт умер «с напрасной жаждой мщенья»... Вождь «угас» на острове, «замучен мщением бесплодным»... И если там выступают «убий-

ца», «палачи» («наперсники разврата»), то здесь — целый народ, французы (среди которых Дантес и Барант-сын встречали прах Наполеона). Да, в «Смерти Поэта» Лермонтов не думал «поносить» нацию, и ему ничего не стоило успокоить подозрительных и щепетильных Барантов... Но как быстро он, Лермонтов, попал в положение Пушкина — у барьера, против очередного француза-выскочки, искателя «счастья и чинов». И вот Барант ликует, празднуя что-то такое, к чему он не имеет никакого отношения, а он, Лермонтов, поэт, впавший в суровую немилость у царя, лишается возможности делать то, что он может и хочет. Не желая воевать и убивать, должен ехать за этим, а возможно, и за собственной смертью. Целую нацию поносить нельзя. Но при теперешних обстоятельствах, в связи с перенесением праха Наполеона, немало горьких слов просится с пера, слов негодования именно против французов.

Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!..

Во время Великой французской революции народ сделал «из вольности — орудье палача» и начал погибать, пока не явился *он*, тот, который создал новую державу. Как и в «Воздушном корабле» Лермонтов вспоминает кратко походы Наполеона — Египет, Европа, Москва.

А вы, что́ делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его!..

Он прочитал это стихотворение на одной из суббот у Жуковского, и тот сказал, что оно «прекрасно»... Но — вот неожиданность! — оно не понравилось Белинскому («Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне — французах — жаль думать, что это Лермонтов, а не Хомяков»). И вот только тут Лермонтов понял, что всякое мнение о нем Белинского стало ему дорого... то есть он уже совершенно повернулся душой к Белинскому, увидел в нем истинного своего Читателя.

В начале апреля вышел четвертый номер «Москвитянина», и тут Лермонтов нашел статью Шевырева «Стихотворения Лермонтова», которая по первом прочтении чувствительно задела его самолюбие — это был разгром всей его поэтической системы. Разгром первый и скорее всего не последний. Шевырев считал, что Лермонтову рано было «собирать свои звуки, рассеянные по альманахам и журналам, в одно», что он, как критик, останавливается «в недоумении» перед этой книгой: «...мы хотели бы начертать портрет лирика; но материалов еще слишком мало для того, чтоб этот портрет был возможен. К тому же с первого раза поражает нас в сих произведениях как-то необыкновенный протеизм таланта, правда, замечательного, но тем не менее опасный развитию оригинальному». *Внимательно прислушиваясь* к звукам этой «новой лиры», Шевырев слышит «попеременно звуки — то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова», перед ним «мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова», ему «иногда видна манера поэтов иностранных». «Сквозь все это постороннее влияние, — пишет критик, — трудно нам доискаться того, что собственно принадлежит новому поэту... его лира не обозначила еще своего особенного строю; нет, он подносит ее к лирам известных поэтов наших и умеет с большим искусством подладить свою на строй, уже известный».

Окончание статьи — слегка прикрытый призыв к Лермонтову: «Поэты русской лиры! Если вы сознаете в себе высокое призвание, — прозревайте же от Бога данным вам предчувствием в великое грядущее России, передавайте нам видения свои и созидайте мир русской мечты из всего того, что есть светлого и прекрасного в небе и природе, святого, великого и благодарного в душе человеческой, — и пусть заранее предсказанный вами, из воздушных областей вашей фантазии, перейдет этот светлый и избранный мир в действительную жизнь вашего любезного отечества».

Такая статья не могла не омрачить души Лермонтова, и без того расстроенной и мрачной в эти дни... Все отсрочки миновали — прошел и день отъезда, но Лермонтов медлил, не уезжал, надеясь на чудо. Жуковский советовал ехать без промедления и ждать окончательного решения своего дела на Кавказе. Он все-таки ожидал благоприятного исхода хлопот. 11 или 12 апреля, утром, как вспоминал Краевский, «вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он, в буквальном смысле слова, катался по нем в сильном воз-

буждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами... Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!» — Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк». Тут все стало ясно... Клейнмихель не стал бы действовать без распоряжений Бенкендорфа и царя.

Весь день 12 апреля Лермонтов провел у Карамзиных. Племянник Екатерины Андреевны Карамзиной Павел Вяземский, сын Петра Андреевича, двадцатилетний молодой человек, попросил Лермонтова перевести стихотворение Гейне «Сосна и пальма» — немецкий текст нашелся у Карамзиных. Этот юноша — Павел Вяземский — видел в Лермонтове образец для подражания, ходил за ним по пятам и верил всему, что он ни скажет, хотя Лермонтов не упускал случая разыграть его, — Петр Андреевич был очень недоволен таким пристрастием сына. Когда принесли стихи Гейне, Лермонтов, как вспоминал Павел Вяземский, «наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод» (и дорабатывал его потом). К вечеру пришли Жуковский, Ростопчина, Плетнев, Соллогуб, Наталья Николаевна Пушкина. Это были проводы Лермонтова. Он ехал 14-го. Софья Николаевна Карамзина подарила Лермонтову колечко, но едва он его взял, как тут же уронил, оно покатилось по паркету и пропало... Все гости участвовали в поисках, даже Жуковский ползал по полу, но колечко исчезло. Ростопчина сочинила на этот случай стихотворение:

Блестело... искрилось... сияло...
И взорам нравилось оно, —
И вдруг, как сон, оно пропало,
Бог весть куда занесено!

...Нечистой силы наважденье
Его, быть может, унесло,

В знаменованье и значенье,
Что в будущем грозится зло?

...Что всё, что дорого и мило,
Что всё, что светит и горит,
Во мрак ничтожности, в могилу
Судьба безжалостно умчит?..

На следующий день Лермонтов принес Ростопчиной в подарок чистый альбом, в котором на первой странице поместил стихотворение «Графине Ростопчиной»:

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены...

Они ужинали втроем — Лермонтов, Ростопчина и Андрей Карамзин. «Во время всего ужина, — вспоминала Ростопчина, — и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце».

Поздно вечером Лермонтов пришел к Одоевскому. Он не скрыл от него своих предчувствий, и у них был долгий разговор. Одоевский подарил Лермонтову записную книжку в кожаном переплете и так написал на первом листе: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». Сам... Книжка становилась неким талисманом для поэта, смущаемого мыслью о погибели... На втором листе Одоевский сделал несколько выписок из Нового Завета — из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова и из первого послания апостола Павла к коринфянам.

Выписки имели отношение к спорам между Одоевским и Лермонтовым. Одоевский счел, что именно эти отрывки будут напоминать Лермонтову о самых важных моментах их разговора, может быть, о тех, где они пришли к согласию... Вот что выписано из послания Павла: «Не весьте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?» («Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» — *гл. 3, ст. 16*); «Держитеся любве, ревнуйте же к дарам духовным, да пророчествуете» («Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». — *14—1*); «Любовь же николи не отпадает; аще и пророчествия упразднятся, аще и языцы умолкнут, аще и разум испразднится» («Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки

умолкнут, и знание упразднится». — *13—8);* «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и тело духовное» («Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». — *15—44);* «Тако и писано есть: первый человек Адам бысть в душу живущую, последний Адам есть дух животворящий» («Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а последний Адам есть дух животворящий». — *15—45).*

Прощаясь с Лермонтовым, Одоевский поцеловал его.

Рано утром Лермонтов отправил записку к Краевскому: «Любезный Андрей Александрович. Очень жалею, что не застал уже тебя у Одоевского и не мог таким образом с тобою проститься...» Елизавета Алексеевна не спала всю ночь, плакала и молилась... Вид ее был так жалок, что и у Лермонтова слезы навернулись на глаза. Он принял от нее иконку, постарался утешить ее... «Вот будет свадьба наследника, — сказал он, — мне выйдет прощение, и я вернусь. И уж больше никуда не уеду».

К восьми часам утра Лермонтов приехал в контору дилижансов. Его провожал Аким Шан-Гирей. «Пока закладывали лошадей, — вспоминал он, — Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». — «Какой ты еще дитя, — отвечал он. — Ничего, все перемелется — мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки — и будь здоров».

Три дня тащился дилижанс до Москвы. Расставшись с Петербургом, Лермонтов забыл о нем. Все его планы и надежды оказались разбитыми. Что же теперь, какая жизнь?.. Пройти опять через войну, кровь, смерть, усыпив свое сердце, умертвив душу, может быть, и тело оставив на растерзание шакалам и птицам в глухом лесу у подножия гор... Нет, он не бежит от смерти — она свою жертву найдет везде. Он не хочет *убивать*. Он решил сделать все, чтобы не воевать больше. Он дремал в пути, и ему виделись безмолвные горы, поднявшие снежные вершины в синее небо, вознесшиеся над людскою суетой.

Непокоренный Эльбрус... А там — с надвинутой на пасмурный лоб шапкой облаков — Казбек. Еще никому не доступны сегодня кельи монастыря Бетлеми, где молятся святые старцы, но по ущельям гремят колеса северян,

захвативших край. Прошли годы с тех пор, как отзвучали грозные слова Эльбруса, обращенные к Казбеку, но еще гудит в горах эхо от них... Был спор (как в новогреческой песне, переведенной Гнедичем, где спорили горы Олимп и Киссав). Отчего умолк и словно умер Казбек? Кто отнял у него жизнь и все надежды?

На одной из станций Лермонтов открыл подаренную ему Одоевским книжку и начал писать стихотворение «Спор». И продолжал его в дороге. «Нет, не дряхлому Востоку /Покорить меня!» — отвечает Казбек Эльбрусу, но тот указывает ему на Север...

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье,
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки...

Судьбы Божии неисповедимы... И великан вынужден покориться:

...Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку нá брови надвинул —
И навек затих.

2

В Москву Лермонтов приехал 17 апреля в семь часов вечера и остановился у своего бывшего сослуживца по лейб-гвардии Гусарскому полку Дмитрия Розена, сына тоже *бывшего* командующего Отдельным Кавказским корпусом генерала Григория Владимировича Розена, который еще в 1838 году был смещен Николаем со своего поста и отправлен для службы в московский департамент Сената. Розены жили на казенной квартире в Петровском дворце. Генерал был разбит параличом, — они только что возвратились из-за границы с вод. Москва готовилась к приезду императора и его семьи, — начальство, как всегда, усердствовало в наведении благолепия на город. Из Петербурга

наехало множество высокопоставленных чиновников, генералов, жандармов.

Лермонтов почувствовал, что ему не удастся пробыть здесь долго. До приезда царя нужно убраться.

Через день-другой приехал в Москву Монго. Его слезные письма к царю с просьбами об отставке (ради его дряхлого деда — адмирала Мордвинова, за которым нужен был уход) не имели успеха. Ему предложено было доказать свое усердие на Кавказе. Оба они, Лермонтов и Столыпин, направлялись в действующий отряд Галафеева, находящегося в Темир-хан-Шуре.

Лермонтов побывал у многих своих родственников, не забыл, конечно, и друзей — Алексея и Марию Лопухиных, Софью Бахметеву. Супругов же Бахметевых в Москве не оказалось, и Лермонтов был даже рад этому — он боялся той боли, которая затаилась в глубине сердца, но могла подняться оттуда, страшная, если... Нет, это было бы слишком тяжело... Столыпин в Москве посещал одни места, Лермонтов другие. Он, конечно, явился у Павловых и Свербеевых, где собирались литераторы. 19-го утром побывал у Лермонтова Самарин: «Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали, — вспоминал Самарин. — Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы... В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого» (Лермонтов выразил свою мысль по-французски). Вечером он был у Самариных. На другой день они вместе были под Новинским на гуляниях. Балаганы были открыты для народа «безденежно». С 19-го начали всюду гореть плошки иллюминации. День за днем не прерывался праздничный звон колоколов. Император запаздывал.

В один из этих дней видел Лермонтова во французском ресторане будущий переводчик его стихов на немецкий язык Фридрих Боденштедт, немец, бывший с 1840 года учителем немецкого языка в доме М. Н. Голицына. Боденштедт оказался за столом в компании молодых светских людей. «Мы пили уже шампанское, —

вспоминал он. — Снежная пена лилась через край бокалов... «А, Михаил Юрьевич!» — вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!» — а остальное общество коротким: «Здравствуйте!» У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости. Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера. Очевидно, он был одет не в парадную форму. У него на шее был небрежно повязан черный платок; военный сюртук без эполет был не нов и не доверху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое белье. Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев, говоря по-французски, представил меня вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя — это был Михаил Лермонтов — неприятно поразили меня... После того как Лермонтов быстро отведал несколько кушаньев и выпил два стакана вина (при этом он не прятал под стол свои красивые, выхоленные руки), он сделался очень разговорчив, и, надо полагать, то, что он говорил, было остроумным и смешным, так как слова его несколько раз прерывались громким смехом».

Во многих домах и даже в Благородном собрании видели Лермонтова в этот его приезд в Москву, но эти считанные дни он посвятил не только рассеянию и удовольствиям. Он писал стихи. В доме Екатерины Александровны Свербеевой на Страстном бульваре он читал их избранному кружку — кое-кто их даже записывал на слух. Люди, видевшие в этой гостиной Пушкина, считавшие своим родным достоянием стихи Языкова, Хо-

мякова, преклонявшиеся перед Гоголем, принимали Лермонтова очень тепло. Хозяйка, которой в это время было тридцать три года, красавица, умнейшая из московских барынь, прямо считала Лермонтова великим поэтом. С нею согласны были многие, но в особенности Дмитрий Александрович Валуев — племянник Языкова — и все семейство Елагиных во главе с Авдотьей Петровной Елагиной, племянницей Жуковского, матерью братьев Киреевских. По Москве пошел в списках «Спор», который привез Елагиным Грановский. За ним — уже в Москве написанный «Сон», горестно поразивший друзей поэта, — неужели это предчувствие? — невольно думалось им.

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Затем — маленькая элегия «Утес» («Ночевала тучка золотая...»), грустная дума о глубоком одиночестве («утес-великан», плачущий в пустыне после того, как его покинула мимолетная «тучка золотая»). Потом он сделал три варианта перевода стихотворения Гейне из «Книги песен» — оно (как всегда бывало у Жуковского, а у Лермонтова — едва ли не в первый раз) поразило его глубоким соответствием с самой большой мукой его жизни — тоской о потерянной возлюбленной — к тому же напомнило ему послание его к Наташе Ивановой, 1831 года, в котором он предполагал, что она не разлюбила его, а «любовь хотела скрыть, / Казаться хладною и в тишине любить...». Вот третий вариант перевода:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Лермонтов тут же перечеркнул это, как будто испугавшись обжигающей явственности этого откровения, как при блеске молнии показавшего всю его жизнь — до конца... Может быть, не забыл он и слова пастора к умирающей Юлии из романа Руссо о том, что «беспредельность, слава Божия и все атрибуты Вседержителя — вот чем будут поглощены души, удостоенные вечного блаженства; что счастье созерцать Господа изгладит все

воспоминания, что души умерших не встретятся *не узнают* друг друга даже в небесах и, с восторгом созерцая то, что откроется перед ними, позабудут всё земное».

Много думал в эти московские ночи Лермонтов о власти любви над душой человека, власти демонской, неотразимой и погибельной. Не о светских увлечениях, мимолетных, хотя иногда и сильных, очарованиях, но о той единственной — как сама душа — любви... И вот в какой-то момент, неожиданно, мысль об этой любви воплотилась у него в образ женщины-демона, у которой была «непонятная власть» демона-убийцы. Он вспомнил грузинскую легенду о коварной царице, жившей в замке над бездной Дарьяла. Картина встала перед его глазами во всей полноте красок. Это была баллада «Тамара». Колдовским чарам не могли противостоять ни воин, ни купец, ни пастух. Всех наутро с плачем несли волны Терека — всех сопровождало *нелицемерное* (вот что страшно!) «прости»:

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

Обещал — но уже «безгласному телу», — и ему звучал «так сладко» (может быть, и будет звучать так вечно...). Убитый любовью как бы вознагражден тем, что он слышит эту ложную, не небесную сладость. Эта женщина-демон все свои жертвы навеки оставляет при себе, заставляя их и в смерти быть счастливыми, но счастливыми по-земному, как бы ожидающими «восторгов свиданья» и «ласк любви».

Среди стихотворений, записанных в книжку, подаренную Одоевским, Лермонтов поместил краткую заметку, как бы ответ кому-то (или многим), толковавшему о великом прошлом России: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжелого сна — и встал и пошел... и встретил он 37 королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия».

...Приближался день отъезда. Лермонтов мрачнел. Многие это замечали. Поэт Василий Красов видел его накануне отъезда на Кавказ в Благородном собрании: «Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергичное, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил

из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце — так мне жаль его было».

Из Благородного собрания Лермонтов поехал к Самарину, неожиданно для того, так как они виделись утром у Россетти (брата А. О. Смирновой) и не договаривались о новой встрече. Лермонтов попросил Самарина передать Погодину в «Москвитянин» стихотворение «Спор», — в журнал, так унизивший его поэзию разбором его книжки... Разве не напечатал бы Краевский это прекрасное стихотворение в «Отечественных записках» или «Литературной газете»?.. Да и никакой петербургский журнал не отказался бы от него. Почему же именно «Москвитянин»? Самарин ничего не сказал, просто обещал передать (что и сделал). Но потом долго раздумывал об этом, пытаясь понять, почему этот сильный могучий человек, величественно-гордая натура, как бы склоняется перед каким-то «Москвитянином»... Ему показалось (и потом он стал больше верить в это), что поступок Лермонтова — акт смирения... В самом деле, именно такой сильный человек мог бы стать глубочайшим аскетом, смиреннейшим из монахов.

«Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве», — писал Самарин Ивану Гагарину, одному из былых «шестнадцати».

Лермонтов собирался пробыть в Москве еще несколько дней и поэтому не поехал с Монго, отправившимся накануне. Но вдруг решил ехать... И объявил Самарину, что едет завтра. Столыпина он нагнал в Туле. Они вместе навестили тетку Лермонтова Елену Петровну Виолеву, теперешнюю владелицу Кропотова (Лермонтов продал ей свою часть отцовского имения). Обедали они у Александра Меринского, товарища своего по Юнкерскому училищу («Лермонтов был весел и говорлив», — вспоминал он). В тот же день вечером полетели дальше.

Погода была сырая, холодная... Они решили провести дня два-три в Воронеже, ожидая лучшей погоды. Остановились там в гостинице Евлаховой. Здесь Лермонтов написал два стихотворения, первое — баллада «Свиданье», где он попытался дать картину летней ночи в Тифлисе, тревожной, полной таинственной жизни. Герой баллады и действователь, и рассказчик. Он смотрит на себя со стороны:

Там за твердыней старою
    На сумрачной горе
Под свежею чинарою
    Лежу я на ковре...

Это кровавая повесть (типа «Черной шали» Пушкина) с убийством из ревности. Второе стихотворение — «Листок», где традиционная романтическая тема гонимого ветром листка (Жуковский... Денис Давыдов... Дорохов...) получила совершенно новый вид. Лермонтовский листок, который «до срока созрел», носился по свету, а потом и вовсе засох, — герой вроде Печорина. Он «засох», «увял», то есть умер, — и путь его «до Черного моря» — это путь мертвеца в иную страну. Берег моря здесь рай — тут солнце, тут растет «молодая», «младая», «высокая» чинара, она «блистает», раскинув ветви «по небу», «с ней шепчется ветер, зеленые листья лаская», а «райские птицы» поют ей «про славу морской царь-девицы». Это как бы жизнь молодой и беспечной барыни. И так захотелось мертвому пришельцу-листочку хоть «на время» приютиться меж листьев «изумрудных», отдохнуть, что он так же, как райские птицы, готов развлекать эту барыню: «Немало я знаю рассказов мудреных и чудных»... И получает равнодушно-жестокий ответ:

— На что мне тебя? — отвечает младая чинара,
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Беспросветное, горькое, мертвое одиночество!..

...9 мая Лермонтов прибыл в Ставрополь, а 10-го написал два письма. Бабушке: «Не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды... Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку». Софье Николаевне Карамзиной: «Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это: но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским

и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете. Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о падение! Если вы позволите, я напишу вам их здесь...» — далее идет текст стихотворения «Ожидание» на французском языке... Под конец в письме прорывается жалоба: «Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться».

В этот же день Лермонтов и Столыпин получили подорожную до крепости Темир-хан-Шура и вечером выехали. Столыпин, как старший по чину (он был капитан), назначен был ответственным за своевременное прибытие их в полк. 12-го остановились в Георгиевске. Тут они встретили ремонтера Борисоглебского уланского полка Петра Магденко, который ехал в Пятигорск в собственной четырехместной коляске с поваром и лакеем. Вечером Лермонтов должен был ехать, но разразился страшный ливень. «Принесли что у кого было съестного, — пишет Магденко, — явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут». Магденко понятия не имел о подлинных желаниях Лермонтова и Столыпина — какое уж там «влечение к трудностям боевой жизни»... Настала ночь. Столыпин крепко спал. Лермонтов курил трубку, вслушиваясь в монотонный плеск воды, бегущей с крыши, и в отдаленные раскаты грома.

«На другое утро Лермонтов, — пишет Магденко, — входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал несколько имен); поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? — быстро спросил Лермонтов. — Там комендант

старый Ильяшенков, и являться к нему нам ничего, ничего не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь... Столыпин сидел, задумавшись. «Ну что, — спросил я его, — решайтесь, капитан?» — «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд...» Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: «Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: — Вот послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск! В Пятигорск!..» — Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку — это оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкесов гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне. Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России... Промокшие до костей приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через двадцать в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним»...»

Теперь нужно было добиться главного — разрешения остаться в Пятигорске. Через того же Найтаки призвали они писаря комендантского управления, который составил необходимые рапорты от имени Лермонтова и Столыпина, где они сказывались больными. Комендант, полковник Василий Иванович Ильяшенков, распорядился об освидетельствовании их обоих врачебной комиссией, которая нашла у них признаки ревматизма и лихорадки,

обычных болезней кавказских офицеров. Ильяшенков разрешил им остаться в Пятигорске для лечения водами и сообщил об этом в Ставрополь начальнику штаба войск. Полагая, что штаб их медицинские свидетельства примет во внимание, Лермонтов и Столыпин решили как следует обосноваться в городе и наняли небольшой домик с камышовой крышей у подножия Машука. Рядом нанимали квартиры Глебов, Васильчиков, Трубецкой и Мартынов, так что лето обещало быть нескучным. К этому времени прибыли слуги Лермонтова — конюх Иван Вертюков и камердинер Иван Соколов с вещами и лошадьми. Одну ночь, пока в домике все приводилось в порядок, Лермонтов ночевал в комнате Мартынова. У них был самый задушевный разговор. Лермонтов был добр и ласков и называл Мартынова своим единственным другом, радуясь, что он не будет на водах одинок.

Как вспоминал владелец этого домика плац-майор Василий Иванович Чилаев (или Чиладзе), «образ жизни Лермонтова в Пятигорске был самый обыкновенный и простой. Ничто не напоминало в нем поэта, а скорее помещика-офицера с солидною для кавказца обстановкой. Квартира у него со Столыпиным была общая, стол держали они дома и жили дружно. Заведовал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. В домике, который они занимали, комнаты, выходящие окнами на двор, назывались столыпинской половиной, а выходящие в сад — лермонтовской...».

В первые же дни Лермонтов купил скакуна по кличке Черкес и нанял еще двоих слуг — повара и помощника камердинера (это был грузин Христофор Сапикидзе). «Дом его, — сообщает Чилаев, — был открыт для друзей и знакомых, и, если кто к нему обращался с просьбой о помощи или одолжении, никогда и никому не отказывал, стараясь сделать все, что только мог. Вставал он неодинаково, иногда рано, иногда спал часов до девяти и даже более. Но это случалось редко. В первом случае, тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай, во втором же прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около двух часов возвращался домой обедать, и почти всегда в обществе друзей-приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось четыре-пять блюд, по заказу Столыпина, мороженое же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты подавались каждодневно. Вин, водок, закусок всегда имелся хороший запас. Обедало постоянно четыре-пять, а иногда и более приглашенных или случайно приходящих знакомых, преимущественно офицеров. После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике, а некоторые спускались в сад полежать на траве, в тени акаций и сирени. Около шести часов подавался чай, и затем все уходили. Вечер, по обыкновению, посвящался прогулкам, танцам, любезничанью с дамами или игре в карты»... «Иногда по утрам, — продолжает Чилаев, — Лермонтов уезжал на своем лихом Черкесе за город. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой, степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни».

В начале июня вдруг пришел приказ полковника Траскина коменданту Ильяшенкову отправить Столыпина и Лермонтова или «по назначению», или в госпиталь Георгиевской крепости, так как, по мнению Траскина, прекрасно знавшего уловки кавказских офицеров, их болезнь «может быть излечена и другими средствами», не только водами, а «Пятигорский госпиталь и без того уже наполнен больными офицерами, которым действительно необходимо употребление минеральных вод и которые пользуются этим правом по разрешению, данному им от высшего начальства». Ильяшенков вынужден был дать предписание Столыпину и Лермонтову покинуть Пятигорск, но в то же время позволил им обратиться к лекарю пятигорского госпиталя Ивану Егоровичу Барклаю-де-Толли, с которым друзья и нашли в конце концов общий язык. Лермонтов, будучи в общем здоровым, получил от него такое свидетельство: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цынготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г. Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года; оставленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия для его здоровья». Затем пошли рапорты Лермонтова командиру 77-го Тенгинского пехотного полка и пятигорскому ко-

менданту Ильяшенкову... Потом рапорт Ильяшенкова Траскину... И затем — разрешение Траскина (это уже 7 июля).

28 июня Лермонтов отправил письмо бабушке: «Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также тотчас сюда. Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет. То, что вы мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам. Прощайте, милая бабушка...»

Бумага о продаже «людей» — от Степана Рыбакова, управляющего в Тарханах. Книга — «Стихотворения графини Евдокии Петровны Ростопчиной», вышедшая в свет через несколько дней после отъезда Лермонтова из Петербурга. Ростопчина передала Елизавете Алексеевне Арсеньевой экземпляр с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург. 20-е апреля 1841».

К началу июля в Пятигорске собралось большое общество. Лермонтов со многими из приехавших был знаком — с поэтом, чиновником из Тифлиса Дмитревским, с Львом Сергеевичем Пушкиным, с декабристами Лорером и Назимовым, с Руфином Дороховым, лейб-гусарами Тираном и Манзеем, с гродненским гусаром Арнольди и его сестрой Софьей Ивановной (они — сводные брат и сестра Смирновой-Россет), с генералом Галафеевым, князем Владимиром Голицыным, который был начальником кавалерии в экспедиции 1840 года, с командиром Нижегородского драгунского полка полковником Безобразовым... Здесь была дальняя родственница Лермонтова Екатерина Быховец со своей теткой, — смуглая красавица, всем своим обликом и даже прической («греческой», с обручем) напоминавшая Лермонтову Варвару Александровну, бывшую Лопухину.

Арнольди, поселившийся рядом с Лермонтовым, вспоминал: «На дворе дома, нами занимаемого, во флигеле, поселился Тиран, по фасу к Машуку подле нас жил Лермонтов с Столыпиным, а за ними Глебов с Мартыновым. С галереи нашей открывался великолепный вид: весь Пятигорск лежал как бы у ног наших, и взором можно было окинуть огромное пространство, по которому десятками рукавов бежал Подкумок. По улице, которая спускалась от нашего дома перпендикулярно к бульвару, напротив нас, поместилось семейство Орловой... а ниже нас виднелась крыша дома Верзилиных, глава которого, казачий генерал, состоял на службе в Варшаве».

Молодежь чаще всего собиралась в доме Верзилиных («Там Лермонтов и мы все были дома», — вспоминал Николай Раевский, офицер Тенгинского пехотного полка). Здесь жила жена генерала с двумя дочерьми — от первого и второго браков — Эмилией и Надеждой и падчерицей, дочерью генерала от его первого брака — Аграфеной. В просторных, хорошо убранных комнатах этого дома было уютно и весело. Лермонтов тут бывал почти каждый день. Аграфене Петровне было двадцать два года, Надежде Петровне всего пятнадцать, а Эмилии Александровне двадцать шесть. Она была очень красива, хотя и считалась уже старой — начало увядать и ее прозвище, данное ей в лучшие времена, — Роза Кавказа.

На Лермонтова Роза Кавказа большого впечатления не произвела, но она все-таки считала его своим кавалером, как и Мартынова, с особенной тщательностью красовавшегося перед ней в своем романтическом черкесском наряде, с большим кинжалом на поясе, с большими висячими усами и в папахе. Лермонтов добродушно посмеивался и над Розой Кавказа, и над Господином Кинжалом, не выходя из дружеского тона, однако те, оба, сердились и даже просили Лермонтова бросить шутки. Эмилия Александровна, как старая дева, во всех шутках видела намерение ее унизить, а Мартынов только что пережил большие неприятности, вернее — крушение многих своих надежд. Чаянно или нечаянно, но попал он в своем полку в некую нехорошую историю (ходил слух, что связанную с игрой в карты), наметилась было дуэль, но она как-то сорвалась — пошли невыгодные для Мартынова слухи и по этому поводу. И тут Мартынов сделал глупость — вышел в отставку, рассчитывая прервать слухи...

Это породило новые предположения. Бросив полк, Мартынов поселился в Пятигорске, решив пока ничего не предпринимать. В Пятигорске мало кому была известна его история, но он подозрительно прислушивался — не толкуют ли о нем, не смеются ли... Ему казалось также, будто все видят, что он избегает ездить верхом, что не умеет (*казачий* офицер!) пустить коня рысью и все срывается в галоп. Он молодечески засучивал рукава черкески и все грознее смотрел. Вид у него был действительно весьма внушительный. Он все более страстно хотел уважения от всех — от товарищей, от женщин — у последних, правда, он имел постоянный успех, покоряя их своей красотой и любезностью, но товарищи... а больше всех Лермонтов и Глебов (самые близкие!), как нарочно, избрали его предметом своих карикатур и острот. Не злых, нет... просто дружеских, но очень смешных. Глебов и Мартынов жили в соседних комнатах одним хозяйством. Иногда Мартынов не выдерживал и, стараясь быть как можно более спокойным, просил приятелей оставить в покое его черкеску и кинжал, потому что именно черкеска и кинжал стали у тех главным мотивом эпиграмм и рисунков. Конечно, эти просьбы вызывали только смех.

В июле Лермонтов часто уезжал в Железноводск, принимать там ванны, но это место привлекало его больше своей тишиной — несколько домиков, калмыцких кибиток, сады, горные кручи, рощи, шумные ключи... Иногда ехали сюда из Пятигорска целой кавалькадой через колонию Каррас, — девицы Верзилины, Глебов, Арнольди, Мартынов... Лермонтов всегда в стороне на своем Черкесе — гарцует, заставляет коня вставать на дыбы и чуть ли не танцевать лезгинку (один Мартынов не восхищался его искусством). Весело обедали в колонии у Рошке, в саду за каменным столом.

После поездки или вечера у Верзилиных Лермонтов любил, особенно в тихую ночь, выйти на улицу, прогуляться в одиночку вдоль пахнущего серой ручья, бегущего по краю бульвара, мимо домов с уже темными окнами. Изредка к нему кто-нибудь присоединялся. Но во время таких прогулок Лермонтов бывал молчалив и никогда не рад непрошеному собеседнику. В одну из таких ночных прогулок он сказал разжалованному в солдаты юнкеру Павлу Гвоздеву, которого знал давно: «Чувствую, что мне очень мало осталось жить». Часто у него в комнате до рассвета горела свеча... О чем он думал в эти ночи? Бог весть, но вот одна из его дум тех дней:

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Опять — сон... опять — сладкий голос... желание уйти от временного бытия на земле к вечным «свободе и покою»... Желание всегда слышать голос любви-убийцы, взять этот голос с собой в вечность. И эта объемлющая все мироздание ночь, в которой Земля — одна из голубых звезд. И Бог во всей пустыне — в высоте, везде...

Все явственнее виделся ему уход из жизни. И в то же время он со страстью джигитовал на своем Черкесе, насмешничал над *Верзилией* (Эмилией Верзилиной) и Мартышкой, над князем Ксандром, то есть Умником или Дипломатом-не-у-Дел, как он звал чопорного Васильчикова, над молодым прапорщиком Семеном Лисаневичем и над кем-то еще, не желая, конечно, никого из них сделать своим врагом, думая (иногда напрасно), что все это в пределах дружеской шутки.

Не страх, а холод смерти сжимал его душу, и даже в шутках вдруг проглядывало что-то ужасное. Его присутствие стало смущать и тревожить людей. Даже Монго и двух слов не говорил с ним иногда за весь день. Взгляд Лермонтова стал настолько тяжел, что никто не смел смотреть ему в глаза, словно сквозь них, изнутри,

смотрел не Лермонтов, а кто-то всевластный и страшный для людей.

Невыносимо трудной стала казаться ему жизнь. Любовь-убийца, опустошившая его душу, подбиралась к нему и тут, — в чертах кузины Екатерины Быховец проглядывал ее лик, — весь облик Варвары Александровны, для него как бы умершей (ему казалось, что он никогда и не вспоминал о ней, но она всегда жила в нем...). Екатерина Быховец чувствовала что-то необычное в его отношении к ней, думая, что он влюблен в нее, но он, не желая портить добрых и чисто родственных отношений, был с ней откровенен:

1

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

3

Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

Здесь о страшном и тяжком рассказано нежным, грустным, музыкально звучащим голосом. Стихотворение обращено к девушке милой и невинной. Лермонтов не решился пугать ее открытым, почти предсмертным страданием. Красота стихов как бы затмила это страдание.

А может ли страдать это чудище — любовь-убийца, на голос которой (как в «Тамаре») «шел воин, купец и пастух»?.. А что, если бы один из них, например, воин, могучей рукою выволок этого демона в женском образе на свет божий?.. не дал бы себя погубить?.. точно ли он спасся бы?.. Мог ли бы он, сделав такое усилие, спастись?.. И вот появилась баллада «Морская царевна». Морской демон в образе юной «царевны» предлагает «царевичу», купающему коня, «провесть» с нею ночь — понятно, какой ценой. Он слышит сначала *голос* (как было и в «Тамаре»), потом видит «младую» голову, «синие очи», жемчуг брызг на шее... Кажется, ему не устоять... Царевич решил бороться, идти против судьбы:

...За косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл; товарищей громко зовет...

Но торжество его мгновенно потухло на берегу, когда он увидел, что̀ притащил из воды:

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь дрожит;

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрек...

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

Нет, от судьбы все же нельзя уйти... Победив, царевич потерпел поражение.

...В июле приехал в Пятигорск известный московский врач, университетский профессор Иустин Евдокимович Дядьковский. Он привез Лермонтову гостинцы и письмо от бабушки, — Елизавета Алексеевна знала Дядьковского давно. Да и Лермонтов во время учения в Московском университете видел профессора и был свидетелем его популярности среди студентов. Дядьковский был болен чахоткой и уже терял последние силы. Он был так худ и слаб, что Лермонтов с трудом узнал в нем некогда бодрого, энергичного человека, носившего зимой шубу нараспашку. Он зашел к Лермонтову, не застал его и оставил слугам свой адрес. Вечером Лермонтов был у него. Очень извинялся, что не брит. В разговоре вспоминали Москву, переходили от философии к литературе — до полуночи рассуждали об Англии, Бэконе, Байроне. Лермонтов читал ему свои стихи и нашел в нем одного из самых благодарных слушателей. На другой день у Верзилиных, сидя за чаем, Лермонтов вновь читал стихи. Вечером отвез

35*

профессора домой. Дядьковский так ослаб, что Лермонтов чуть не на руках внес его в квартиру. Ясно было, что этот человек проживет совсем недолго. Лермонтову стало грустно — не последний ли это его собеседник и слушатель...

А его друзья-приятели просили от него не стихов, а эпиграмм и карикатур и вместо Бэкона обсуждали местных красавиц. Им хотелось веселья, новых и новых развлечений, чего-нибудь особенного... Ожидали каких-нибудь идей и от него. Вот он и придумал — устроить бал под открытым небом, на бульваре, устроив нечто вроде зала или гостиной в гроте Дианы. Идея была принята с восторгом. «Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шелковыми материями в виде персидской палатки, — вспоминала Эмилия Александровна, — пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки». Музыканты располагались над гротом. Толпы зрителей окружали импровизированную бальную залу, не переступая границы. Лермонтов был в очень возбужденном состоянии, много танцевал. На рассвете он проводил до дому Екатерину Быховец и уехал верхом в Железноводск... Было 9 июля.

Он чувствовал, что в его душе совершается перемена. Ему стало казаться, что он, как герой «Морской царевны», победил, но не в пример ему открыл в себе возможность возрождения в новом облике. Если он прежде был как бы пророком любви-убийцы, то теперь не должен ли он стать пророком любви к ближнему?.. Он вспоминал беседы с Одоевским и перечитывал записанные им цитаты из апостола Павла, гимн любви христианской: «Держитеся любве...»... «Любовь же николи отпадает...» Лермонтов погружается в чтение Евангелия. Вот Павел, проповедник любви Христовой, пишет о себе во втором послании к коринфянам: «Я... был в трудах, безмерно в ранах, более в темнице и многократно при смерти... Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение... Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне... В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе»... Вот судьба христианского пророка...

10 или 11 июля в записной книжке Одоевского появилось стихотворение «Пророк»:

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...

Это Павел, тринадцатый апостол... бывший гонитель христиан. Имя его было Савл — или Саул — в честь первого еврейского царя, из рода которого он происходил. Однажды, на пути в Дамаск, где собирался он разгромить христианскую общину, явился ему в сиянии сам Господь... Тогда умер Савл и родился Павел — для того, чтобы повернуть историю человечества на другой путь... Став апостолом, он совершил три тяжелейших миссионерских похода по странам Малой Азии и Европы, Евангелием и Крестом покоряя людей. Ему не нужно было для этого наполеоновских полчищ. Да и что такое Наполеон? Честолюбец и убийца. Эта мысль встала в сознании Лермонтова во всей своей ясности: Павел не просто затмевает Наполеона (как и всех завоевателей, действовавших мечом) — он уничтожает его.

Белые снега Казбека вставали вдали. Там поставила крест Святая Нина. Ночами спускаются к нему, из заоблачного Бетлеми, не вкушающие пищи старцы... Ах, если бы подняться туда, — по древней железной цепи, свисающей с голой скалы, — оставить всю эту суету и посвятить себя молитвам!

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи...

...Или — умереть... Ну, вот пройдет лето, в сентябре хочешь не хочешь — в отряд, в экспедицию. Горцы в этом году дерутся отважнее, чем всегда, — Пятигорск полон безруких, безногих, простреленных и порубленных офицеров. А сколько их в земле покоится — знает Бог.

3

В Пятигорске далеко не только больные и раненые — здесь множество офицеров и даже юнкеров из всех кавказских полков, — они приехали просто развлечься, покинули свои полки без разрешения начальства. Они шумят и мечут банк в ресторации, таскаются по бульвару... В июле сюда вдруг нагрянул начальник штаба войск Траскин, необыкновенной тучности человек. Он сразу принялся за «бездельников» и почти всех их разогнал по полкам. От его благорасположения зависели и Лермонтов со Столыпиным, знакомые с ним по Ставрополю и даже успевшие завязать с ним дружеские отношения... Однако, не надеясь на дружбу, они накупили себе билетов на купания в ваннах Пятигорска и Железноводска и с 9 июля почти постоянно находились в Железноводске.

13 июля, в воскресенье вечером, Столыпин и Лермонтов приехали к Верзилиным, где уже собралось довольно большое общество, намеревавшееся отправиться отсюда в ресторацию. Но было так весело, что, как вспоминала Эмилия Александровна, все «порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la derniere fois de ma vie» *. — «Ну уж так и быть, в последний раз, пойдемте». Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык à qui mieux **. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «montagnard au grand poignard» ***. (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово

* Мадемуазель Эмилия, прошу вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни *(франц.)*.
** Наперебой *(франц.)*.
*** Горец с большим кинжалом *(франц.)*.

poignard * раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «Язык мой — враг мой», — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis» **. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора».

Никто не слышал, что сказал Лермонтову Мартынов, когда поздно вечером они вышли от Верзилиных. Никто не слыхал, что отвечал ему Лермонтов. Но на вторник, на 15 июля, была назначена между ними дуэль. Час поединка, место его должны были выбрать секунданты. Мартынов пригласил Глебова, уговорить которого пришлось с большим трудом, Лермонтов — Васильчикова и, принимая все за никчемное недоразумение, продолжал шутить, — решил назвать народу побольше и прибавил к Васильчикову еще двух секундантов — Трубецкого и Столыпина. Хотел было еще Дорохова, но раздумал — этот шуток не понимал. Он решил явиться на дуэль во главе целого отряда секундантов. И какая же поднимется кутерьма... путаница... Наконец разберутся, что стрелять не в кого и не с чего и в ход пойдет шампанское... Мартышка, в сущности, добряк.

Мартынов же, видя, что Лермонтов превращает дуэль в фарс, бесился еще больше, но хранил внешнее бесстрастие. Секунданты, в общем не зная толком, кто на чьей стороне (Васильчиков думал, что Столыпин позван вместо него), были уверены, что все кончится миром. Поэтому не стали приглашать доктора. Не было и никаких уговоров помириться. 14-го Лермонтов и Столыпин уехали в Железноводск.

Утром 15-го, в тот день, на который назначена была дуэль, в Железноводск приехали Екатерина Быховец с теткой, Дмитревский, Лев Сергеевич Пушкин и юнкер Александр Бенкендорф (сын эстляндского губернатора, двоюродного брата начальника Третьего отделения), — женщины в коляске, трое мужчин верхом.

«Как приехали на Железные, — вспоминает Екатерина Быховец, — Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На

* Кинжал *(франц.)*.
** Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями *(франц.)*.

мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же, уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез он меня благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я пришла к нему на квартиру, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами».

В колонии вся компания остановилась пообедать. Был тихий солнечный день. Но когда выезжали оттуда, часов в пять, задул ветер, в воздухе поднялась пыль, свет померк. Лермонтов, целуя руки кузины, сказал с нежностью:

— Душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни!

Кузина весело смеялась. Лермонтов сел с Дмитревским в извозчичьи дрожки и укатил. Ветер дул все сильнее. Дома Лермонтов приказал оседлать Черкеса, прыгнул в седло и выехал за ворота — нужно было спешить. Впереди он увидел Мартынова, пустившего в галоп своего белого жеребца и поднявшего облако пыли. Еще далее впереди пылила бричка Глебова и Васильчикова. Они везли пистолеты... Монго и Трубецкой еще не выехали, но вот-вот должны были появиться. Небо все более темнело. Упали первые крупные капли дождя... Лермонтов оглянулся, — ну конечно, Монго будет теперь ждать, когда пройдет дождь. Потом оглянулся снова — да, их нет.

Васильчиков и Глебов остановились на поляне среди кустов, — склон Машука был довольно крутой, но они спешили, им хотелось управиться с дуэлью до дождя. Они махали руками Мартынову и Лермонтову: «Сюда! Сюда!» Уже шел мелкий дождь, ветер наносил его порывами. Мартынов привязал коня к кусту и, не глядя на Лермонтова, мрачно молчал, надвинув папаху на самые брови. Лермонтов несколько недоумевал: что такое случилось с Мартышкой?.. До сих пор смотрит тучей.

— Ну что, начнем? — неуверенно спросил Васильчиков.

Лермонтов кивнул.

— Может, помиритесь? — спросил Васильчиков.

Лермонтов засмеялся и ничего не сказал. Мартынов вспыхнул и отвернулся.

— Коли так, пошли!

Глебов и Васильчиков крупными шагами размерили дистанцию в обе стороны — по десяти шагов... барьер — пятнадцать.

Ливень стал сечь тугими струями. Мартынов встал под уклоном, лицом к Машуку. Лермонтов поднялся выше и оказался лицом к Бештау, откуда шли черные тучи. Внизу, за Мартыновым, была видна дорога. Трубецкой и Столыпин не едут — пережидают дождь... Отходя на свое место, теперь уже все поняв, Лермонтов громко сказал Васильчикову, что стрелять в Мартынова не будет. Васильчиков подал заряженный пистолет Лермонтову; Глебов — Мартынову... Помедлили еще минуту... Над Машуком раздался сильный удар грома, сверкнула длинная молния, и дождь пошел стеной...

— Сходись! — крикнул Глебов.

«Лермонтов остался неподвижен, — вспоминал Васильчиков, — и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте...».

«Был отмерен барьер в 15 шагов, от него в каждую сторону еще по десяти. Мы стояли на крайних точках, — вспоминал Мартынов. — По условию дуэли каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришел на барьер, ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок... От сделанного мною выстрела он упал».

КОНЕЦ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дорогой читатель! После того как Лермонтов, пораженный пулей *убийцы* (в этом случае нет слова точнее), упал, кончилась его биография, и я поставил слово «КОНЕЦ». После выстрела Мартынова началась так называемая «дуэльная история» — допросы, суд, секунданты и Мартынов так запутали дело, что от правды почти не осталось следа. Неизвестно, сколько правды и сколько выдумки в позднейших воспоминаниях Васильчикова и Мартынова. За сто пятьдесят лет, протекших со дня дуэли, было написано огромное количество статей и книг, где авторы пытались раскрыть тщательно скрытое, — в этих исследованиях много догадок, порой остроумных и в чем-то убедительных, но и сегодня нельзя ответить с уверенностью на многие вопросы, связанные с этой дуэлью. Мы не знаем, что — конкретно — послужило причиной ссоры, что сказал Мартынов, о чем противники говорили, выйдя от Верзилиных; не знаем, кто присутствовал на дуэли, и как она вообще происходила. Не знаем, что было непосредственно после смертельного выстрела Мартынова, — кто, куда и зачем поскакал, кто оставался с телом поэта (или его увезли сразу), был ли он убит наповал или... И так далее — вопросы и вопросы... Все это нужно весьма кропотливо исследовать. И это была бы уже другая книга — не биография поэта, а рассказ о том, что было после его смерти, причем он по необходимости должен был бы охватить весь 150-летний период.

Похороны Лермонтова состоялись 17 июля 1841 года. А. И. Васильчиков, С. В. Трубецкой и А. А. Столыпин 16 июля обратились к протоиерею П. М. Александровскому с просьбой совершить отпевание (закон в то время приравнивал убитого на дуэли к самоубийце и лишал его христианского погребения). Священник сделал запрос начальству и на следующий день получил разрешение от Следственной комиссии, которая сочла, что Лермонтов может быть погребен «так точно, как в подобном случае камер-юнкер Александр Сергеев Пушкин», который «отпет был в церкви». Лорер свидетельствует: «Были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнею почестью поэта и товарища». Тело поэта принял Машук, по склонам которого он взбирался некогда мальчиком...

Эта могила оказалась временной. Е. А. Арсеньева выхлопотала разрешение перевезти прах внука в Тарханы. 12 февраля 1842 года бывший камердинер Лермонтова Иван Абрамович Соколов, во время дуэли и похорон находившийся в Пятигорске, выехал из Тархан в Пятигорск с двумя товарищами. 27 марта свинцовый гроб был поставлен на дроги и двинулся в путь... 23 апреля 1842 года он был установлен в Тарханах в фамильном склепе Арсеньевых.

Что касается Мартынова, то он ожидал в наказание себе самое меньшее — ссылки в Сибирь или разжалования в солдаты. Однако решение царя его утешило: «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию». Церковные власти назначили ему 15 лет покаяния (он должен был жить при монастыре, посещать церковные службы и ежедневно являться к своему духовнику), но по усиленным просьбам Мартынова уже в 1843 году ему сбавили 10 лет. В 1846 году он был освобожден совсем.

Е. А. Арсеньева, бабушка поэта, была сломлена этим горем. Ее разбил паралич, и через три года после смерти Лермонтова она скончалась.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

1814 — в ночь со 2 на 3 октября родился Михаил Юрьевич Лермонтов *(здесь и далее даты по ст. стилю).*

1817 — *24 февраля* скончалась М. М. Лермонтова, мать поэта.

1825 — *летом;* пребывание Л. с бабушкой и родственниками на Кавказе.

1827 — *летом;* Л. гостит у отца, Ю. П. Лермонтова, в селе Кропотово. *С осени* Л. — в Москве, в доме Костомаровой на Поварской.

1828 — *летом;* Л. в Тарханах; пишет поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник» и «Корсар». *С 1 сентября* — учение в пансионе. Первые стихотворения.

1829 — *летом;* каникулы в Середникове; начало работы над «Демоном». Написаны поэмы «Две невольницы», «Два брата», «Олег» и «Преступник» и около 50 стихотворений.

1830 — после преобразования пансиона в гимназию Л. подает прошение об увольнении. *16 апреля* уволен. *Лето* в Середникове. *1 сентября* Л. держит экзамен в Московский университет. *В сентябре* в книжке «Атенея» — первое печатное стихотворение Л. («Весна»). В этом году написаны поэмы «Джюлио», «Последний сын вольности», третья редакция «Демона» и около ста стихотворений. Созданы две драмы («Люди и страсти», «Испанцы»). В Москве эпидемия холеры.

1831 — *12 сентября* возобновление занятий в университете. *В июле* Л. гостит у Чарторижских в имении Никольское-Тимонино. *1 октября* скончался отец Л. Написаны поэмы «Исповедь», «Азраил», «Каллы», «Ангел смерти», четвертая ред. «Демона», драма «Странный человек» и множество стихотворений.

1832 — *6 июня* отчислен из университета; *в конце июля* выехал в Петербург. *В ноябре* вступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. *26* или *27 ноября* лошадь расшибла ему ногу. Написана 5-я ред. «Демона», поэмы «Моряк» и «Измаил Бей» и около 50 стихотворений.

1833 — *в апреле* по выздоровлении вернулся в школу; *лето* в лагерях, где написаны «юнкерские» поэмы «Гошпиталь», «Уланша», «Петергофский праздник». В этом году написана основная часть романа «Вадим» и поэмы «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек».

1834 — *5 июня* выпускные экзамены; лето в Петергофских лагерях; *22 ноября* произведен в корнеты и начал службу в лейб-гвардии Гусарском полку, стоявшем в Царском Селе.

1835 — в «Библиотеке для чтения» *(август)* напечатана поэма «Хаджи Абрек». *В октябре* запрещена цензурой 1-я ред. драмы «Маскарад». *В декабре* Л. закончил 2-ю ред. драмы. *С 20 декабря* отпуск — поездка в Тарханы. В этом году написаны поэмы «Сашка» и «Боярин Орша».

1836 — *с начала года Л.* в Тарханах, здесь пишет драму «Два брата», поэму «Тамбовская казначейша», стихи. В марте вернулся в полк. *Летом* написал поэму «Монго». *Осенью* работал над романом «Княгиня Лиговская». Пятиактный вариант «Маскарада» запрещен цензурой.

1837 — *29 января* написано стихотворение «Смерть Поэта» (без заключительной части). *7 февраля* к нему добавлено 16 строк. *18 февраля* Л. арестован. *19 марта* выехал в ссылку на Кавказ. *23 марта — 10 апреля* — в Москве. *С середины мая до середины сентября* — в Пятигорске. *В сентябре* побывал в Тамани. *В октябре — ноябре* выехал в Тифлис. *11 октября* — приказ о переводе Л. в лейб-гв. Гродненский гусарский полк. На Кавказе начата 6-я ред. «Демона», записан «Ашик-Кериб», начата «Тамань». В этом году написана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», ряд стихотворений.

1838 — *3 января* прибыл в Москву; *в конце января* — в Петербург. *26 февраля* прибыл в Гродненский гусарский полк, стоявший близ Новгорода. *9 апреля* переведен в лейб-гвардии Гусарский. В этом году закончил «Демона», написал поэму «Беглец», повесть «Бэла».

1839 — Л. работает над «Героем нашего времени», печатает его по частям, а также стихи в «Отечественных записках». Написан «Мцыри».

1840 — *18 февраля* дуэль с Барантом. На гауптвахте Л-ва посетил Белинский. В апреле вышло в свет отдельное издание «Героя нашего времени». *3 мая* Л. выехал в ссылку на Кавказ. *9 мая* в Москве на именинном обеде Гоголя читает «Мцыри». *В июле* выступил в поход против горцев из крепости Грозная. *11 июля* участвует в большом сражении у речки Валерик. После отдыха на водах *(конец августа — 26 сентября)* — новый поход. *В октябре* вышел в свет сборник «Стихотворения М. Лермонтова». *В декабре* поездка в Тамань.

1841 — *14 января* Л. выехал в отпуск. *30 января* прибыл в Москву, *5 февраля* — в Петербург. *19 февраля* разрешено цензурой 2-е изд. «Героя нашего времени». Жуковский хлопочет о прощении Л. Попытки поэта выйти в отставку. В Петербурге написаны «Кавказец», «Штосс». *14 апреля* Л. выезжает на Кавказ. *17—23 апреля* — в Москве. *С конца мая* — в Пятигорске. Лермонтов и Столыпин наняли домик у подножия Машука. Л. пишет стихи. *13 июля* ссора с Мартыновым. *15-го* дуэль. Л. был убит.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Сочинения М. Ю. Лермонтова

1. Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. и с примечаниями проф. Д. И. Абрамовича. 5 тт. Спб., 1910—1913 (Академическая библиотека русских писателей. Вып. 6-й).
2. Иллюстрированное Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. В. В. Каллаша. 6 тт. М., «Печатник», 1914—1915.
3. Лермонтов М. Ю. Сочинения в шести томах. М.—Л., АН СССР, 1954—1957.
4. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в четырех томах. Л., «Наука», 1979—1981.

2. Литература о М. Ю. Лермонтове

1. Андреев-Кривич С. А. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., 1954.
2. Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси, «Заря Востока», 1958; Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Худ. лит.», 1969.
3. Белинский В. Г. М. Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии. Л., «Худ. лит.», 1940.
4. Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография. Т. 1. М., Гос. изд. худож. литературы, 1945.
5. Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891.
6. Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Воронеж, 1972.
7. Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., «Худ. лит.», 1986.
8. Григорьян К. Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени». Л., «Наука», 1975.
9. Лермонтовская энциклопедия. М., «Сов. энцикл.», 1981.
10. Лермонтовский сборник (Пушк. дома). Л., «Наука», 1985.
11. Литературное наследство. Тт. 43—44 (М. Ю. Лермонтов, т. 1), М., АН СССР, 1941; тт. 45—46 (то же, т. 2), М., АН СССР, 1948; т. 58 (Пушкин. Лермонтов. Гоголь), М., АН СССР, 1952.
12. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. М., «Современник», 1985.
13. Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., «Наука», 1964.
14. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., изд. «Худ. лит.», 1972.
15. «М. Ю. Лермонтов». Исслед. и материалы. Сб. Пушк. дома. Л., «Наука», 1979.
16. Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставроп. книжное изд-во, 1974.
17. Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставроп. книжное изд-во, 1954.
18. Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939.
19. Удодов Б. Т. «М. Ю. Лермонтов». Воронеж, 1973.
20. Щеголев П. Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1—2. Л., «Прибой», 1929.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 7336

Афанасьев Виктор Васильевич

ЛЕРМОНТОВ

Заведующий редакцией **С. А. Лыкошин**
Редактор **М. В. Печенева**
Художественный редактор **С. В. Курбатов**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **Т. Пескова, В. Назарова**

Сдано в набор 29.11.90. Подписано в печать 01.08.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4+ +1,68 вкл. Усл. кр.-отт. 33,18. Учетно-изд. л. 32,0. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 5 р. 50 к. Заказ 1325.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва, К-30, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01518-5